

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF HISTORY

Научный журнал

2020

№ 68

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29498 от 27 сентября 2007 г.)

Подписной индекс 44014 в объединенном каталоге «Пресса России»

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, входящих
в международные реферативные базы данных и системы цитирования,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»,
Высшей аттестационной комиссии

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ»**

Галажинский Эдуард Владимирович, д-р психол. наук, проф., ректор Томского государственного университета;
Дацышен Владимир Григорьевич, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального университета (Красноярск); **Джозефсон Пол**, PhD, проф. Колби Колледжа (г. Уотервилл, США); **Иванова Наталья Анатольевна**, д-р ист. наук, главный научный сотрудник Института Российской истории РАН (Москва); **Киришин Юрий Федорович**, д-р ист. наук, проф., президент Алтайского гос. университета (Барнаул); **Красильников Сергей Александрович**, д-р ист. наук, проф., кафедры отечественной истории Новосибирского государственного университета; **Лузянин Сергей Геннадиевич**, д-р ист. наук, проф., руководитель Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС Института Дальнего Востока РАН; **Мерлин Од**, д-р политической истории, проф. Свободного университета Брюсселя (Бельгия); **Саква Ричард**, PhD, проф. Кентского университета (г. Кентербери, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); **Функ Дмитрий Анатольевич**, д-р ист. наук, проф., директор Института этнологии и антропологии РАН (Москва); **Ермекабай Жарас Акишевич**, д-р ист. наук, проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала МГУ (Астана); **Суляк Сергей Георгиевич**, канд. ист. наук, гл. ред. международного исторического журнала «Русин», президент общественной организации «Русь» (Молдавия)

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ»**

Зиновьев Василий Павлович, главный редактор, д-р ист. наук, профессор кафедры российской истории Томского государственного университета; **Федосов Егор Андреевич**, канд. ист. наук, ассистент кафедры российской истории – ответственный секретарь; **Молодин Вячеслав Иванович**, д-р ист. наук, проф., академик РАН, советник директора, заведующий отделом Института археологии и этнографии СО РАН; **Некрылов Сергей Александрович**, д-р ист. наук, заведующий кафедрой российской истории Томского государственного университета; **Румянцев Петр Петрович**, канд. ист. наук, доцент кафедры российской истории Томского государственного университета; **Рындина Ольга Михайловна**, д-р ист. наук, профессор кафедры музеологии, природного и культурного наследия Томского государственного университета; **Троицкий Евгений Флорентьевич**, д-р ист. наук, проф. кафедры мировой политики Томского государственного университета; **Фурсова Елена Федоровна**, д-р ист. наук, зав. отделом этнографии Института археологии и этнографии СО РАН; **Харусь Ольга Анатольевна**, д-р ист. наук, проф. кафедры истории и документоведения Томского государственного университета; **Шерстова Людмила Ивановна**, д-р ист. наук, профессор кафедры российской истории Томского государственного университета; **Шиловский Михаил Викторович**, д-р ист. наук, проф. кафедры отечественной истории Новосибирского государственного университета; **Черная Мария Петровна**, проф. кафедры археологии и исторического краеведения Томского государственного университета; **Чиндина Людмила Александровна**, проф. кафедры археологии и исторического краеведения Томского государственного университета

Номер подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Томского государственного университета.

This issue has been prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and Tomsk State University.

Научный редактор выпуска доктор исторических наук М.П. Чёрная.
Scientific editor of the issue Doctor of History M.P. Chernaya.

Журнал включен в базу данных Emerging Sources Citation Index в Web of Science Core Collection.
Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index на Web of Science.

The Journal is included in the Emerging Sources Citation Index in the Web of Science Core Collection.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index and put on the Web of Science.

**EDITORIAL COUNCIL OF THE
“JOURNAL OF TOMSK STATE UNIVERSITY.
HISTORY”**

Galazhinsky Eduard V., Dr. of Psychology, Professor, Rector of Tomsk State University; **Datsyshen Vladimir G.**, Dr. of History, Professor, Head of the Department of World History, Siberian Federal University (Krasnoyarsk); **Josephson Paul**, PhD, prof. Colby College (Waterville, USA); **Ivanova Natalia A.**, Dr. of History, Senior Researcher, Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences (Moscow); **Kiryushin Yuriy F.**, Dr. of History, Professor, President of Altai State University (Barnaul); **Krasilnikov Sergey A.**, Dr. of History, Professor of the Department of Russian History, Novosibirsk State University; **Luzyanin Sergey G.**, Dr. of History, Professor, head of the Center for the study of strategic issues in northeast Asia and the SCO of the Institute of the Far East of the Russian Academy of Sciences; **Merlin Aude**, PhD (History), Professor of the Free University of Brussels (Belgium); **Sakwa Richard**, PhD (History), Professor of the University of Kent at Canterbury (Great Britain); **Funk Dmitry A.**, Dr. of History, Professor, Director, Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences (Moscow); **Ermekbay Zharas A.**, Dr. of History, Professor of Department of social and humanitarian disciplines of Kazakhstan Moscow State University branch (Astana); **Sulyak Sergey G.**, PhD of History, editor-in-chief of the international historical magazine «Rusin», president of public organization «Rus’» (Moldova)

**EDITORIAL BOARD OF THE
“JOURNAL OF TOMSK STATE UNIVERSITY.
HISTORY”**

Zinoviev Vasily P., Editor-in-Chief, Dr. of History, Professor of the Department of Russian History, Tomsk State University; **Fedosov Egor A.**, Executive Editor, PhD (History), lecturer of Department of Russian History; **Molodin Vyacheslav I.**, Dr. of History Professor, academician of RAS, adviser to the Director, head of the Department Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; **Nekrylov Sergey A.**, Dr. of History, Professor, Head of the Department of Russian History, Tomsk State University; **Rumyantsev Peter P.**, PhD (History), Associate Professor of the Department of Russian History, Tomsk State University; **Ryndina Olga M.**, Dr. of History, Professor of the Department of museology, natural and cultural heritage, Tomsk State University; **Troizkiy Eugeny F.**, Dr. of History, Professor of the Department of World Politics, Tomsk State University; **Fursova Elena F.**, Dr. of History, head of Ethnography Department of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS; **Kharus Olga A.**, Dr. of History, Professor of the Department of History and Documentary Studies, Tomsk State University; **Sherstova Lyudmila I.**, Professor of the Department of Russian History, Tomsk State University; **Shilovsky Mikhail V.**, Dr. of History, Professor of the Department of Russian History, Novosibirsk State University; **Chernaya Maria P.**, Dr. of History, Professor of the Department of Archaeology and Local History, Tomsk State University; **Chindina Lyudmila A.**, Dr. of History, Professor of the Department of Archaeology and Local History, Tomsk State University

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Китова Л.Ю., Ганенок В.Ю., Исмайлова Э.Р. Археологические конференции как эффективная форма научной коммуникации (сравнительный анализ двух периодических форумов)	5
--	---

ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ

Баранова С.И. Региональные версии изразцового декора. О понятии «северодвинская школа»	15
Беляев Л.А. Русские подвесные кресты и иконки XVII–XIX веков: сибирская перспектива	23
Бобров В.В. Теоретико-методологические проблемы археологии Западной Сибири в новых формационных условиях	29
Варенов А.В., Кудинова М.А. Сибирские и центральноазиатские персонажи тюркского времени в трехрогих головных уборах и петроглифы памятника Уцзячуань	35
Лапшин В.А. Ордынские послы в Твери XIV века по археологическим свидетельствам	43
Молодин В.И. Сейминско-турбинские бронзы в одиновской и кротовской культурах	49
Молодин В.И., Нестерова М.С., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С. Свидетельства сосуществования носителей одиновской и кротовской культур (по материалам памятников Барабинской лесостепи)	57
Тишкин А.А., Пластеева Н.А. Лошади из курганов, раскопанных около г. Бийска в 1925 г. (Верхнее Приобье): историографический аспект и археозоологические определения	65
Хохоровски Я. Сибирские и европейские <i>гипербореи</i> в рассказе Геродота – литературный миф или эхо исторической действительности?	72
Шнирельман В.А. Археология, культурное наследие, вандализм и вооруженные конфликты	79

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГРАФИИ

Березкин Ю.Е. Сибирский фольклор и его соседи	89
Надь З. Параллельные истории жизни. Переселенцы и ханты в Западной Сибири	98
Октябрьская И.В. Ареальные исследования в российской этнографии: традиции и современное состояние	103
Пивнева Е.А. Коренные малочисленные народы Севера в поликультурном пространстве Западной Сибири: к проблеме этнической идентификации	109
Рындина О.М. Платок в картине мира манси	116
Томиллов Н.А. Этнография тюркских народов в трудах сибиреведов (к итогам 50-летних исследований)	121
Фурсова Е.Ф. Локальные тексты и контексты интервью как источник по этнокультурной идентичности русских старожилов Восточного Казахстана	128
Шерстова Л.И. Евразийская ментальность: сибирский аспект	133

ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИИ

Аксанова Г.А. Первые поколения русского населения в Омском Прииртышье XVII–XIX вв. по данным одонтологии	139
Газимзянов И.Р. Палеоантропологические данные к вопросу о ранних этапах формирования венгерского народа	145
Смердина Ю.Г., Смердина Л.Н., Рыкун М.П. Патология зубочелюстной системы у жителей юга Западной Сибири в эпоху Средневековья по данным краниологического материала	152

CONTENTS

SCIENTIFIC LIFE

Lyudmila Yu. Kitova, Vladimir Yu. Ganenok, Esmira R. Ismailylova. Archaeological conferences as an effective form of science communication (comparative analysis of two regular forums)	5
--	---

PROBLEMS OF ARKHEOLOGY

Svetlana I. Baranova. Regional versions of the tile decor. About the concept of “Northern Dvina style”	15
Leonid A. Belyaev. Russian pendant crosses and icons of the 17th–19th c. in the Siberian outlook	23
Vladimir V. Bobrov. Theoretic and methodological issues of Western Siberian archaeology in new formation conditions	29
Andrey V. Varenov, Maria A. Kudina. Siberian and Central Asian turkic-time personages in three-horned headdresses and petroglyphs of the Wujiachuan rock-art site	35
Vladimir A. Lapshin. Horde’s ambassadors in Tver of the 14th century according to archaeological evidence	43
Vyacheslav I. Molodin. Seima-Turbino bronzes in Odino and Krotovo cultures	49
Vyacheslav I. Molodin, Marina S. Nesterova, Lyudmila N. Mylnikova, Lilia S. Kobleva. Evidence of the coexistence of the population of the Odino and Krotovo cultures (based on materials from the Baraba forest-steppe)	57
Alexey A. Tishkin, Natalia A. Plasteeva. Horses from the mounds excavated near Biysk in 1925 (Upper Ob region): historiographic aspect and archaeozoological definitions	65
Jan Chochorowski. Siberian and European <i>hyperboreans</i> as related by Herodotus – literary myth or echo of historical reality?	72
Victor A. Shnirelman. Archaeology, culture heritage, vandalism and armed conflicts	79

PROBLEMS OF ETHNOGRAPHY

Yuri E. Berezkin. The Siberian folklore and its neighbours	89
Zoltan Nagy. Parallel life-stories: deported people and Khanties in Western Siberia	98
Irina V. Oktyabrskaya. Areal research in Russian ethnography: traditions and current state	103
Elena A. Pivneva. Indigenous peoples of the north in the polycultural space of Western Siberia: on the problem of ethnic identification	109
Olga M. Ryndina. Wrap in the Mansi view of the world	116
Nikolay A. Tomilov. The Turkic peoples ethnography in the works of Siberia researchers (to the results of 50 years of studies).....	121
Elena F. Fursova. Local texts and contexts of the interview as a source on the ethnocultural identity of Russian old-timers in East Kazakhstan	128
Lyudmila I. Sherstova. Eurasian mentality: Siberian aspect	133

PROBLEMS OF ANTHROPOLOGY

Galina A. Aksyanova. The first generations of the 17–19th centuries Russian population in the Omsk Irtysh region according to dental anthropology	139
Ilgizar R. Gazimzyanov. Paleoanthropological data related to the early stages of the formation of the Hungarian People	145
Julia G. Smerdina, Lidia N. Smerdina, Marina P. Rykun. Dentition pathology in residents of southern areas of West Siberia in the Middle Ages as suggested from the craniological data	152

Солодовников К.Н., Багашёв А.Н., Савенкова Т.М. Ареалы антропологических общностей населения неолита Юга Западной и Средней Сибири	158
---	-----

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Шевелев Д.Н. Возрождая национальную идею: идеология антибольшевистского движения Востока России в институциональном, дискурсивном и коммеморативном измерениях	168
--	-----

ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Карлова К.Ф. О некоторых проблемах интерпретации образа бога Сета в раннединастическом периоде	175
--	-----

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Расколец В.В., Костерев А.Г., Ким М.Ю. Радиофизическое сообщество г. Томска в 1910–1960-е гг.: институционализация направления и роль лидеров в развитии	183
--	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	197
----------------------------------	-----

Konstantin N. Solodovnikov, Anatoliy N. Bagashev, Tatyana M. Savenkova. Areas of anthropological communities of the neolithic population in the South of Western and Central Siberia	158
--	-----

PROBLEMS OF HISTORY OF RUSSIA

Dmitriy N. Shevelev. Reviving the national idea: ideology of the anti-bolshevik movement in Eastern Russia in institutional, discursive and commemorative dimensions	168
--	-----

PROBLEMS OF WORLD HISTORY

Ksenia F. Karlova. On some problems on interpretation of the image of god Seth in the early dynastic period	175
---	-----

PROBLEMS OF HISTORY OF SCIENCE AND TECHNIC

Viktor V. Raskolets, Anton G. Kosterev, Maksim Yu. Kim. Radiophysical community in Tomsk in the 1910–1960s: institutionalization of the direction and the leaders' role in the development	183
--	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	197
--	-----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 902: 001.89
DOI: 10.17223/19988613/68/1

Л.Ю. Китова, В.Ю. Ганенко, Э.Р. Исмаиловой

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФОРУМОВ)

*Настоящая работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности
Томского государственного университета.*

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Анализируется опыт организации регулярных конференций двух археологических центров Сибири: Томска – Западносибирские археолого-этнографические совещания / конференции (ЗСАЭС / ЗСАЭК), и Кемерово – Всесоюзные конференции по проблемам археологии Евразии скифского времени, которые проводились в 1979–1989 гг. Выявляются причины и предпосылки их организации, определяются общие и особенные черты их проведения, рассматриваются научное значение и современное состояние этих двух научных форумов.

Ключевые слова: регулярные конференции; Томск; Кемерово.

Для любой науки коммуникация является важнейшей составляющей ее развития. Археологические конференции стали традиционной и наиболее удобной формой общения ученых, позволяющей освещать научные открытия, представлять новые идеи и методы исследования, рассматривать дискуссионные вопросы науки, подводить итоги изучения той или иной проблемы.

В современных условиях почти каждый научный центр стремится организовать регулярно действующие конференции, симпозиум, семинар. В Сибири хорошо известны Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края» в Барнауле, международная конференция в Тюмени «Экология древних и традиционных обществ», Международный Северный археологический конгресс в Ханты-Мансийске и ряд других. Но так было не всегда. В середине XX в. в Сибири не проводилось ни одной археологической конференции, а в 1970-е гг. появились такие, в дальнейшем знаменательные, форумы, как Западносибирское археолого-этнографическое совещание (1970) в Томске и I Всесоюзная археологическая конференция «Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства» (1979) в Кемерове. История их организации и проведения имеет как общие, так и специфические черты. Для организации конференций в Томске и Кемерове в указанное время сложились свои причины и предпосылки.

Томский государственный университет (ТГУ) – старейший и первый в Сибири, уже в XIX в. имел для

развития археологии такое консолидирующее начало, как археологический музей. На территории Томской губернии был открыт ряд памятников – Томская стоянка, Томский могильник и др. Более ста лет назад здесь уже целенаправленно проводились археологические изыскания. Особенно важными для появления у томских исследователей идеи организации систематических конференций в Сибири стали 1940–1960-е гг. На протяжении этих лет в изучении сибирской археологии отмечается ряд факторов, способствовавших претворению в жизнь идеи томских совещаний археологов и этнографов.

В указанное время в сибирских регионах происходит значительное расширение масштабов археологических работ за счет новостроечных экспедиций, плановых работ академических, вузовских и музейных учреждений, появляются обобщающие работы по ряду культур и эпох, усиливается интерес к этногенетическим вопросам происхождения народов Сибири [1. С. 37–46]. Кратное увеличение источникового фонда в регионе привело к появлению многообразных, зачастую дискуссионных концепций и реконструкций развития древних и средневековых обществ, что в условиях недостатка общения и обмена опытом между специалистами, координации усилий коллективов археологов не позволяло выйти на новый исследовательский уровень [2. С. 5]. Как отмечалось выше, до 1960-х гг. в Сибири не проводилось научных конференций, на которых бы обсуждались археологические или этнографические проблемы. В 1960-е гг. было организовано несколько всесоюзных и региональных

конференций и совещаний, но они имели нерегулярный характер [3. С. 20–21].

Тем не менее идеи усиления сотрудничества между специалистами по западносибирской археологии, комплексного взаимодействия последних с этнографами, антропологами, лингвистами, представителями естественных и точных наук получили распространение в послевоенные годы в Томске.

В 1940–1960-е гг. именно Томск стал одним из ведущих центров изучения археологии Сибири, в котором широко использовались возможности междисциплинарного сотрудничества. В 1944–1946 гг. у устья р. Басандайки под руководством археолога из Томского государственного университета К.Э. Гриневича проводились комплексные экспедиции с участием археологов, историков, почвоведов, географов, антропологов [4. С. 198]. В Томском пединституте работал лингвист А.П. Дульзон, активно использовавший данные археологии и этнографии при выяснении вопросов этногенеза коренных жителей Сибири. Под руководством Андрея Петровича томские археологи, этнографы, антропологи и лингвисты осуществляли плановые разведки и экспедиции на реки Чулым, Кеть, Тым, Обь. В 1958 г. в Новосибирске прошла конференция с участием специалистов по археологии, антропологии, лингвистике, где А.П. Дульзон выступил с разработанной им программой комплексных исследований региона, а также предложил создать единый центр для координации данных исследований, собирать территориальные совещания по различным вопросам изучения древностей Западной Сибири [5. С. 21–22]. Кроме того, по инициативе А.П. Дульзона в 1969 г. в Томском пединституте была организована конференция по проблемам этногенеза коренных народов Сибири и их языков, в работе которой приняли участие ученые разных гуманитарных профилей. В итоговом решении, принятом участниками конференции, отмечалась целесообразность создания при Институте истории, филологии и философии (ИИФФ) СО АН СССР межведомственного центра по координации исследований вопросов происхождения аборигенов Сибири [6. С. 2]. Именно во время проведения этого форума были остро обозначены вопросы развития археологии в регионе, «поэтому предложение В.И. Матющенко о проведении Западносибирского совещания археологов и этнографов в Томском университете сразу получило поддержку» [2. С. 5], в том числе академика А.П. Окладникова и В.Н. Чернецова [7. С. 172].

Конечно, для организации и проведения Западносибирских совещаний необходим был лидер. И такой неформальный глава формирующегося археологического центра в Томске был – Владимир Иванович Матющенко. Без сомнения, мы поддерживаем известное мнение о том, что инициатива и активная деятельность по организации в Томске первых Западносибирских археологических совещаний (ЗСАС) являются значимым вкладом В.И. Матющенко в развитие археологии региона [8. С. 14–15]. По-видимому, идея данных совещаний появилась у Владимира Ивановича в конце 1960-х гг., когда в рамках одного из секторов Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории,

археологии и этнографии Сибири (ПНИЛИАЭС), действующей в ТГУ с 1968 г., удалось собрать воедино силы университетских археологов, антропологов и этнографов, что в совокупности с богатыми фондами Музея археологии и этнографии Сибири (МАЭС) и кабинета антропологии ТГУ дало возможность вести изыскания на широкой междисциплинарной и источниковедческой основе.

Томские археологи, подводя итоги в 1969 г. и намечая перспективы развития археологии Сибири в советский период, отмечали, что многие проблемы, стоявшие перед исследователями в указанное время, могли бы быть решены при усилении координации между последними, наличии согласованных планов работ между научными учреждениями. По мнению В.И. Матющенко и Л.М. Плетневой, конференция 1958 г. в Новосибирске и создание гуманитарного направления при СО АН СССР не смогли изменить к лучшему ситуацию с организацией археологических исследований в Сибири [1. С. 44].

Исходя из сложившихся исторических условий, ТГУ закономерно стал местом проведения совещаний, что говорило о высокой оценке достижений томских ученых среди специалистов по археологии Западной Сибири [8. С. 15].

В Кемерове процесс формирования археологического центра занял более короткий промежуток времени: вторая половина 1950-х – первая половина 1970-х гг. – и шел более быстрыми темпами. Это объясняется тем, что город был молодой, без традиций археологического изучения региона, самостоятельная Кемеровская область образовалась в 1943 г., а университет открыт в 1974 г. Однако здесь, как и в Томске, сыграла организационную роль личность исследователя – А.И. Мартынова, который после окончания Московского пединститута им. Н.К. Крупской приехал в 1955 г. по распределению в Кемерово. С 1956 г. он начал активно заниматься археологией, исследовать древние памятники в Кемеровской области и Красноярском крае, преподавать в Кемеровском пединституте (КГПИ), создал неформальную лабораторию археологических исследований (ЛАИ) при КГПИ, где занимались наукой сотрудники и студенты и обрабатывался археологический материал, полученный из раскопок памятников [9]. Тогда это были артефакты тагарской культуры, которые к 1970-м гг. представляли существенную источниковую базу для исследований в КГПИ. На материалах тагарской культуры были защищены в 1960-е гг. три кандидатские (А.И. Мартынов, В.В. Бобров, А.М. Кулемзин) и в 1975 г. одна докторская (А.И. Мартынов) диссертации. Материалы тагаро-таштыкского переходного времени явились источником для кандидатских диссертаций Г.С. Мартыновой и М.Б. Абсалямова. ЛАИ издавала труды, в которых публиковались материалы исследователей-сибиреведов не только из Кемерова, но и из Москвы, Ленинграда и соседних сибирских городов. А.И. Мартынов в 1973 г. подготовил и издал свой первый учебник по археологии для студентов пединститутов, а в 1975 г. в Кемеровском государственном университете (КемГУ) была создана первая в Сибири кафедра

археологии со специализацией по археологии для студентов. К концу 1970-х гг. археологами КемГУ был накоплен значительный материал по тагарской культуре и переходному тесинскому (для лесостепного варианта тагарской культуры – шестаковскому) этапу для обсуждения на широком форуме. Все эти благоприятные обстоятельства явились предпосылками для организации и проведения регулярно действующего форума в Кемерове. Причина проведения регулярных конференций – желание кемеровских археологов заявить о себе, поделиться с коллегами накопленными идеями, аккумулировать новые материалы по проблемам археологии скифского времени, которыми занимались основные члены кафедры археологии в 1970-е гг.

В 1979 г. в Кемерове прошла I Всесоюзная археологическая конференция «Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства», в которой приняли участие 142 человека из 24 городов Советского Союза и из Болгарской Народной Республики [10. Л. 14]. Проблемами археологии скифского времени занимались сотни исследователей в разных республиках СССР. Территория степной зоны Евразии, на которой обитали ранние кочевники, простиралась от Фракии до Ордоса. Кроме того, в предшествующие годы были сделаны блестящие открытия курганов скифского времени Аржан I М.П. Грязновым, Саглы-Бажи II А.Д. Грачом в Туве, а также обнаружен ряд новых погребальных комплексов в Горном Алтае, Монголии, Казахстане. Эти открытия требовали нового осмысления, многие вопросы датировки, периодизации, происхождения культур скифо-сибирского мира вызвали дискуссии среди исследователей, поэтому конференция, организованная в Кемерове, вызвала небывалый интерес ученых всей страны. Открывал конференцию академик А.П. Окладников, на пленарном заседании выступили такие выдающиеся ученые, как В. М. Мас-сон, М.П. Грязнов, Ю.А. Заднепровский, В.В. Кропоткин, В.И. Кузищин, Л.Р. Кызласов, Г.Е. Марков. Во многих докладах подводились итоги изысканий на отдельных территориях евразийского пространства периода раннего железного века или высказывались новые идеи, которые хотели обсудить все участники конференции, поэтому было решено не разделять исследователей на секции. Было заслушано более 60 докладов. Особенно бурную дискуссию вызвали: доклад М.П. Грязнова, в котором он сформулировал новую концепцию происхождения культур скифского времени огромного Евразийского пояса степей [11. С. 4–7]; доклад А.И. Мартынова, в котором он изложил точку зрения на круг культур скифского времени как скифо-сибирское культурно-историческое единство и новую историческую общность [12. С. 9–13; 13. С. 11–20]; совместный доклад А.И. Мартынова, Г.С. Мартыновой, А.М. Кулемзина, посвященный выделению новой шестаковской культуры [14. С. 33–35]. По материалам конференции через год был выпущен расширенный сборник статей [15].

Поскольку опыт проведения этой конференции оказался удачен, а интерес к рассматриваемым проблемам не был исчерпан, была намечена дальнейшая

программа исследования проблем скифо-сибирского мира и принято решение проводить подобный форум в КемГУ регулярно.

Вторая конференция состоялась в 1984 г. и была посвящена проблемам искусства и идеологии племен скифо-сибирского мира. В ее работе приняли участие более 100 человек, с докладами выступили 44 участника, 38 из которых прибыли в Кемерово из разных научных центров страны, в том числе из Москвы, Ленинграда, среднеазиатских республик СССР [16. Л. 13]. Примечательно, что на кафедре археологии КемГУ работали 6 преподавателей, 5 сотрудников и было несколько хоздоговорных тем, на которых трудились более 30 человек, которые даже без приглашенных могли обеспечить проведение любого научного семинара, поэтому количество участников конференции и докладчиков разнито. К конференции был издан сборник, в котором опубликовано 68 докладов, принадлежащих как уже состоявшимся, так и молодым ученым и аспирантам [17]. Вторая конференция позволила исследователям всесторонне рассмотреть общие и частные аспекты искусства и идеологии племен скифо-сибирского мира, выявить влияние греческой цивилизации на западе и индоиранской на востоке, в некоторых случаях обратить внимание на связь культур скифского времени с предшествующими археологическими культурами.

В 1987 г. в Кемерове была организована очередная всероссийская конференция «Проблемы археологии степей Евразии», посвященная разным проблемам археологии в степной и горно-долинной зонах Евразии в периоды Древности и Средневековья, особое внимание уделялось вопросам формирования и развития производящих форм хозяйства. В конференции участвовали 150 исследователей из Москвы, Ленинграда, Ташкента, Самарканда, Кишинева, городов Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Почти половина докладов (68) была посвящена вопросам археологии скифского времени [18, 19].

В 1989 г. была проведена следующая всесоюзная археологическая конференция – «Проблемы археологии скифо-сибирского мира», в центре внимания которой находились социальная структура и общественные отношения [20. Л. 30]. Эта конференция опять собрала более 100 участников со всего Советского Союза. Тезисы докладов были опубликованы в двух частях [21, 22]. На форуме обсуждались методы получения из археологических материалов информации об обществах скифского времени, в ходе дискуссий была более четко определена социально-стратовая структура скифо-сибирского мира. А.И. Мартынов выступил с обоснованием спорной идеи существования ранних государств в обществах степной Евразии скифской эпохи и определением скифо-сибирского мира как оригинальной степной скотоводческой цивилизации Евразии со специфическими признаками, отличными от ранних цивилизаций, созданных земледельцами Древнего Востока [23. С. 5–12]. Таким образом, он заложил основы для дальнейшей многолетней дискуссии по поводу особенностей исторического развития скотоводческих обществ.

Г.Н. Курочкин предложил концепцию двух социальных моделей развития скифо-сибирского мира: евроскифской (милитаризированной) и тагарской (теократизированной), обусловленных географическим и внешнеполитическим положением территории расселения племен [24. С. 36–39].

Таким образом, на регулярных конференциях в Кемерове целенаправленно поднимались основные проблемы культур скифо-сибирского мира, вводились в научный оборот новые идеи и материалы открытий. Дискуссии шли не только на заседаниях, но и в кулуарах. Публикации материалов этих конференций до сих пор востребованы.

На конференции 1989 г. была отмечена организационная роль кемеровских археологов в изучении проблем скифо-сибирского мира и закреплена решением ее участников идея создания многотомной истории степной Евразии на базе кафедры археологии КемГУ с привлечением к написанию отдельных разделов этого труда ведущих ученых страны, занимающихся исследованиями археологических культур скифского времени.

Еще в середине 1990-х гг. в планах работы кафедры археологии КемГУ была заявлена тема «Изучение истории степной Евразии», однако средств на подготовку многотомного издания или очередной конференции по скифо-сибирскому миру не находилось. Причем дело было не только в трудных 1990-х гг., мы видим причину и в другом: интерес главного организатора этих мероприятий А.И. Мартынова был обращен на новую тему.

В 1988 г. по инициативе кафедры археологии КемГУ был создан музей-заповедник «Томская писаница». Анатолий Иванович – главный инициатор, организатор деятельности музея, главный его сотрудник. Он все силы положил на его создание и дальнейшее развитие. Поэтому в 1995 г. на базе музея «Томская писаница» проводится конференция по наскальному искусству. Я.А. Шер, работающий на кафедре археологии КемГУ с 1985 г., также занимается в первую очередь проблемами первобытного искусства и заключает в 1991 г. долговременный договор по изучению наскальных изображений Евразии с Национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ, фр. – CNRS). В 1998 г. под руководством Я.А. Шера в Кемерове проводится большая международная конференция по первобытному искусству. В.В. Бобров к 1990-м гг. полностью переориентировался на исследование проблем неолита и бронзы Западной Сибири. Практически из всех членов кафедры, а преподавательский состав вырос до 13 человек, никто не проявил инициативу по возобновлению работы конференции по скифо-сибирской проблематике. Таким образом, когда-то так ярко начавшаяся работа регулярно проводившейся конференции с очень представительным составом и количеством участников, с обсуждением животрепещущих проблем скифо-сибирского мира тихо почил в бозе.

Напротив, Западносибирское археологическое совещание, организованное впервые в 1970 г. в Томске, прошло длительный путь своего существования. По

воспоминаниям одного из его участников, В.В. Боброва, первое совещание носило камерный характер: на нем присутствовали всего 24 исследователя. Сайт ЗСАК дает нам информацию о 35 участниках [25]. Первоначально планировалось проведение совещаний в Томске каждые два года [26. С. 295]. После II ЗСАС было решено, видимо, ввиду слишком малого срока для выполнения поставленных на предыдущем совещании задач, организовывать ЗСАС каждые три года [27. С. 227]. Периодичность в три года также не всегда соблюдалась: после форума 1993 г. следующий был в 1995 г., конференция (такой статус получили томские совещания с 1998 г.) 2005 г. прошла после форума 2001 г. и т.д. Тем не менее традиция проведения томских совещаний имеет – и это самое главное – регулярный характер, в отличие от многих других, например Уральских археологических совещаний, где между I и II, V и VI форумами были длительные перерывы [28. С. 24].

Организаторы томских совещаний стремились рационализировать формы проведения подобных форумов путем ограничения тематики рассматриваемых проблем с планированием работы совещаний на годы вперед и издания тезисов докладов участников до начала работы ЗСАС, что обеспечивало эффективность и успешность форумов [3. С. 23; 29. С. 117]. Не всегда участникам ЗСАС удавалось выдерживать проблематику форумов [30. С. 264], однако большинство докладов на совещаниях было посвящено тем или иным аспектам западносибирской археологии, а впоследствии и смежным с ней дисциплинам [3. С. 29].

Среди всех проведенных томских совещаний (конференций) I ЗСАК (1970 г., проходило в МАЭС ТГУ), посвященное вопросам культурно-хронологической принадлежности археологических памятников Западной Сибири, является во всех отношениях особенным. Несмотря на региональный статус совещания, в его работе приняли участие практически все ведущие специалисты по археологии Западной Сибири (археологи из Института археологии АН СССР и его Ленинградского отделения, Уральского университета и др.). Проведение совещания взяли на себя сотрудники ПНИИАЭС ТГУ, однако участники I ЗСАК отметили необходимость привлечения академических центров Москвы, Ленинграда и Новосибирска к организации следующих форумов [26. С. 296]. Примечательно, что среди археологов, участвовавших в совещании, не было ни одного доктора наук. Данный факт отражает реалии западносибирской археологии 1950–1960-х гг., когда в регионе профессиональных археологов было всего несколько десятков, и новые исследовательские центры создавались трудами отдельных молодых ученых (Т.Н. Троицкой в Новосибирске, А.И. Мартыновым в Кемерове и т.д.). Впоследствии большинство участников I ЗСАК получили докторские степени, стали основателями собственных научных школ [29. С. 117].

В соответствии с тематикой совещания 1970 г. докладчиками был поднят ряд дискуссионных вопросов по отдельным памятникам, культурам и эпохам Западной Сибири и сопредельных районов. Как справедливо

отмечает Л.А. Чиндина, важную роль в дискуссиях на данном и ряде последующих томских совещаний (конференций) сыграло научное наследие В.Н. Чернецова [31. С. 6], личности которого посвящались отдельные форумы ЗСАЭС / ЗСАЭК (в 1995, 2005, 2016 гг.). В частности, в докладах на I ЗСАС была обозначена необходимость нового взгляда на генезис и периодизацию кулайской, потчевашской, усть-полуйской культур [32. С. 19]. Широкое представительство на совещании имели свердловские археологи во главе с В.Ф. Генингом, которые в двух обширных докладах фактически представили схему культурно-исторического развития лесостепного Прииртышья от неолита до позднего Средневековья. По мнению В.И. Молодина, многие пункты представленной концепции «до настоящего времени не утратили научной значимости» [33. С. 237–247].

Определив ряд достижений западносибирской археологии (расширение полевых работ, создание периодизационных схем для отдельных территорий и др.), участники совещания также обозначили проблемы, к которым будут неоднократно возвращаться на ЗСАЭС / ЗСАЭК: теоретико-методические вопросы (критерии выделения археологических культур и этапов, классификация и типология материалов и памятников, методы датирования, отсутствие общей терминологии и т.д.), неравномерность в изучении региона, слабое использование методов естественных и точных наук [26. С. 293–295].

Важным решением I ЗСАС является формирование координационной комиссии по археологии Западной Сибири из представителей академических, вузовских и музейных учреждений (В.И. Матющенко, Т.Н. Троицкая, Г.Б. Зданович и др.), в задачу которой входило решение текущих проблем между совещаниями и усиление сотрудничества между отдельными археологическими центрами [26. С. 296; 34. С. 3]. В 1972 г. в состав комиссии был включен академик А.П. Окладников, что прибавило ей авторитет и поддержку со стороны ИИФФ СО АН СССР [27. С. 228].

В середине XX в. произошел рост интереса исследователей к вопросам происхождения коренного населения Сибири, вызванный в первую очередь слабой изученностью темы, а также угасанием и исчезновением на глазах ученых отдельных культур и народов [6. С. 2]. В рамках томских совещаний / конференций этногенетическая проблематика стала одной из основных. Уже на II ЗСАС (1972) в докладах ряда участников рассматривались возможности соотнесения археологических памятников с определенными этносами. По мнению В.И. Мошинской, ввиду скудности источниковой базы по эпохе позднего Средневековья «определить, с какой именно этнической общностью мы имеем дело, археолог не может» [35. С. 9–10]. В свою очередь, М.Ф. Косарев отмечал, что точка зрения Ванды Иосифовны является излишне скептической, приведя в пример возможность установления преемственности между еловским населением эпохи бронзы и нарымскими селькупам [36. С. 233]. Решением II ЗСАС признана необходимость более основательных изысканий на памятниках эпохи железа, в частности позднего Сред-

невековья [27. С. 227]. Однако дальнейшее рассмотрение вопросов этногенеза коренных народов Сибири не могло обойтись без привлечения специалистов по смежным с археологией дисциплинам, в первую очередь этнографов. В ходе дискуссий по проблемам социально-экономического развития древних обществ Западной Сибири на III ЗСАС (1975) были заслушаны доклады этнографов (Н.В. Лукиной, В.М. Кулемзина, В.И. Васильева и др.), философа (А.Ф. Косарева), геолога (А.М. Малолетко, совместно с Ю.Ф. Кирюшиным) [30. С. 263–265].

На состоявшемся в 1978 г. IV Западносибирском совещании «Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири», ставшем археолого-этнографическим (ЗСАЭС), наряду с археологами широкое представительство имели и этнографы. Кроме того, специфика темы IV ЗСАЭС способствовала активному участию в работе форума биологов, геологов, географов, антропологов и филологов [37. С. 3]. Именно с 1978 г. заседания Западносибирских совещаний начинают приобретать всесоюзный и международный характер. Так, на IV ЗСАЭС приехали ученые из Петропавловска и Кустаная (Казахская ССР), Киева (Украинская ССР), Венгрии. Растет и количество участников, оно достигает 97 человек [25].

В усилении сотрудничества археологов и этнографов определенную роль сыграло V ЗСАЭС (1981) [4. С. 200], на котором прозвучала серия докладов (В.И. Матющенко, В.Б. Богомолова, Н.А. Томилова и др.) по вопросам соотношения археологических и этнографических данных, теоретико-методологическим аспектам археолого-этнографических изысканий. Именно с V ЗСАЭС идеи этноархеологии, археолого-этнографических комплексов получили признание научного сообщества [38. С. 12]. М.Ф. Косарев в докладе на V ЗСАЭС поднял актуальную и сегодня проблему установления равновесия между поиском новых материалов и их последующим изучением. Ученый отмечал, что «методологические принципы нашей археологической науки должны исходить из единства научной и морально-этической сторон исследовательского процесса, из необходимости жалеть памятники» [39. С. 3].

К моменту проведения V ЗСАЭС произошли изменения в координационной деятельности совещаний. В феврале 1981 г. Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР был утвержден приказ о создании при ПНИИАЭС ТГУ Научно-координационного совета по археологии и этнографии Западной Сибири взамен действовавшей до этого комиссии [34. С. 3]. Однако, как следует из заметки в газете «Красное знамя», состав Научно-координационного совета и его председатель (А.П. Окладников) были избраны еще на IV ЗСАЭС, т.е. совет действовал с конца 1970-х гг. [37. С. 3].

В 1980-е гг. Научно-координационный совет решал широкий спектр задач, связанных с организацией ЗСАЭС и других форумов, усилением сотрудничества между отдельными коллективами исследователей, академическим и вузовскими учреждениями в сфере

археолого-этнографических изысканий, согласованием тем диссертаций и научных планов отдельных исследовательских центров, охраной историко-культурного наследия [34. С. 3–4].

В 1984 г. в ТГУ состоялось совместное заседание Научно-координационного совета, представителей ряда министерств и управлений культуры республик и областей, сибирских отделений ВООПИК, посвященное подготовке томов к Своду памятников истории и культуры народов Сибири. Участники заседания обсудили ситуацию с паспортизацией и учетом памятником, меры по ускорению работы над составлением Свода [40. С. 3]. Научно-координационный совет по археологии и этнографии Западной Сибири действует до сих пор (председатель совета – академик В.И. Молодин) [41. С. 70], в чем большая заслуга заместителя председателя совета – Л.А. Чиндиной.

1990-е гг. стали тяжелым испытанием для деятельности совета. Его члены работали на общественных началах, фактически не получая помощи от базового центра – ТГУ [42. С. 24]. Сегодня Научно-координационный совет является одним из организаторов ЗСАЭК, однако в целом необходимо отметить снижение активности данной организационной структуры по сравнению с первым десятилетием работы.

Включение в работу томских совещаний этнографов, специалистов по смежным и естественным наукам позволило вывести на новый – междисциплинарный – уровень изучение ряда актуальных для археологии Западной Сибири проблем. Наряду с решением вопросов организации археологических исследований, охраны историко-культурного наследия основным направлением деятельности ЗСАЭС / ЗСАЭК являются также дискуссии по вопросам происхождения и развития культур и народов региона, реконструкции духовной и социально-экономической жизни населения Западной Сибири и сопредельных территорий от верхнего палеолита до этнографической современности [7. С. 172]. «В результате была смоделирована новая схема культурного развития западносибирских обществ от неолита до XVIII в.» [32. С. 21].

Отдельное место на томских совещаниях / конференциях занимает обсуждение теоретико-методологических и методических вопросов археологических и этнографических изысканий в западносибирском регионе. Начиная со II ЗСАС на заседания специально выносились доклады теоретико-методологического характера [26. С. 295]. Пристальное внимание ученые уделяют проблеме выработки общей терминологии. Так, участники ЗСАЭС / ЗСАЭК неоднократно делали доклады по проблемам основополагающих понятий отечественной археологии: «археологическая культура», «тип», «источник» и т.д. [32. С. 21].

Большое значение участники томских форумов придают публикации материалов исследований, созданию коллективных фундаментальных трудов. Еще на I ЗСАС было предложено подготовить «Древнюю историю Западной Сибири», организовать издание «Западно-Сибирского археологического ежегодника» [26. С. 296]. Несомненным успехом работы ЗСАЭС является публикация в 1990-е гг. четырехтомных

«Очерков культурогенеза народов Западной Сибири» [34. С. 4]. Также представляется важным, что организаторы ЗСАЭК предпринимают активные шаги по развитию данного форума, повышению его эффективности. Начиная с 1970-х гг. на период между совещаниями выносились тематические семинары, которые позволяли глубже рассматривать наиболее злободневные проблемы западносибирской археологии. К примеру, на II ЗСАС участники решили провести в 1973 г. в Свердловске семинар по вопросам изучения керамических комплексов [27. С. 227], в 1976 г. в Новосибирске был проведен семинар по проблемам изучения кулайской культуры [43. С. 11] и др. В работе XVI (2013) и XVII (2016) ЗСАЭК использовались сопутствующие форумам семинары, когда приглашенные ведущие специалисты читали лекции по определенным проблемам, затронутым на конференции, с их последующим обсуждением [44. С. 142].

Западносибирские конференции вплоть до настоящего времени остаются одними из наиболее представительных и популярных форумов в сфере отечественной археологии и смежных с ней дисциплин, что объясняется актуальностью и широким территориально-хронологическим охватом рассматриваемых на них проблем. По нашим подсчетам, в томских совещаниях / конференциях за период с 1970 по 2016 гг. принимали участие специалисты из 75 городов России, ближнего и дальнего зарубежья (Казахстана, Украины, Эстонии, Армении, Монголии, Южной Кореи, Японии, Венгрии, Германии, Польши, Дании). При этом на всех семнадцати форумах присутствовали ученые только из шести российских центров: Томска, Кемерово, Новосибирска, Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Свердловска (Екатеринбурга). В последнее десятилетие отмечается усиление интереса иностранных специалистов к тематике ЗСАЭК, подтверждением чему служит представительство 8 и 9 зарубежных центров на XV (2010) и XVII (2016) форумах соответственно. Проведение ЗСАЭК постоянно поддерживается различными грантами, академическими институтами Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, что обеспечивает авторитет томских форумов и плодотворность дискуссий по фундаментальным проблемам.

Успеху и длительности проведения регулярных конференций в Томске способствовали не только актуальные вопросы, рассматриваемые на каждом форуме, но и инициатива, желание томских коллег организовывать и проводить этот форум. Мы наблюдаем явную преемственность в ее организации. После отъезда В.И. Матющенко в Омск в 1976 г. его на посту председателя ЗСАЭС / ЗСАЭК сменили Л.А. Чиндина и Н.В. Лукина, в 1990-е гг. – Е.А. Васильев и также Л.А. Чиндина; последние ЗСАЭК организовывали в 2013 г. – Е.А. Васильев, в 2008, 2010, 2016 и в 2020 гг. – М.П. Черная.

Итак, при сравнительном анализе двух периодических форумов можно сделать следующие выводы: Всесоюзные конференции, проводимые в Кемерове в период 1979–1989 гг., стали вехой в развитии археологии Евразии скифского времени. За десятилетие на четырех конференциях были рассмотрены вопросы

датировки, периодизации, генезиса культур скифского круга, выявлены основные аспекты искусства и идеологии ранних кочевников степей Евразии, всесторонне рассмотрены социальные отношения у племен скифо-сибирского мира, введены в научный оборот новые открытия и идеи.

Западносибирские археолого-этнографические совещания / конференции имеют 50 лет своей истории и 18 форумов. Они внесли огромный вклад в разработку теоретико-методологических и практических вопросов археологии Западной Сибири и сопредельных регионов. Примечательно, что томские коллеги определяют тему каждой конференции и в каждый период выбирают наиболее актуальные проблемы. Так, в первые годы проведения ЗСАС, когда началось массовое исследование археологических памятников в Западной Сибири, на конференциях преобладало рассмотрение проблем хронологии, культурной и этнической принадлежности археологических памятников, вопросов экономики и социальной структуры древнего населения Западной Сибири, т.е. обсуждались традиционные для археологов темы. С 1980-х гг. на ЗСАЭК более активно велись дискуссии по методологическим проблемам археологических и этнографических исследований Западной Сибири, реконструировались мировоззрение и история народов региона, обсуждались вопросы смены культур, миграций и системы жизнеобеспечения традиционных обществ.

Для ЗСАЭК XXI в. характерны такие глубокие методологические темы, как «Пространство культуры

в археолого-этнографическом измерении», «Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий», «Культура как система в историческом контексте», «Восток и Запад: проблемы синхронизации этнокультурных взаимодействий». Таким образом, мы наблюдаем поиск новых тем и актуальных вопросов организаторами ЗСАЭК для рассмотрения научным сообществом.

Безусловно, организация и проведение такой конференции, как ЗСАЭК, требуют совместных усилий всех археологов, этнографов и антропологов ТГУ, но личность председателя – главного организатора, который всех объединит, определит каждому круг задач, остается решающей. Поэтому если в КемГУ у главного организатора регулярных конференций по скифо-сибирской проблематике А.И. Мартынова интерес к данной теме пропал, и не нашлось преемника в ее проведении, то томский пример организации регулярных форумов имеет длительную историю благодаря сохранению традиций и преемственности, проявлению интереса местных ученых к данной научной коммуникации, поиску ими новых тем и форм проведения ЗСАЭК. В этом мы видим успех данного форума. Более того, значение конференций в Томске определяется не только развитием археологии и этнографии Западной Сибири, но и сохранением за Томским государственным университетом роли ведущего вуза Сибири.

ЛИТЕРАТУРА

1. Матющенко В.И., Плетнева Л.М. Сибирская археология за 50 лет советской власти // Вопросы истории Сибири. 1969. Вып. 4. С. 29–46.
2. Чиндина Л.А. От редактора. Четверть века из истории западносибирской археологии // Методика комплексных исследований культур и народов Западной Сибири / отв. ред. Л.А. Чиндина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1995. С. 5–8.
3. Матющенко В.И. Триста лет истории сибирской археологии : в 2 т. Омск : Изд-во Омск. гос. ун-та, 2001. Т. 2. 173 с.
4. Гусев А.В. На пути интеграции археологии и этнографии: исследования археологов Томского университета в 1940–1990-е гг. // Проблемы археологии и истории Северной Евразии / отв. ред. М.П. Черная. Томск : Аграф-Пресс, 2009. С. 198–200.
5. Чиндина Л.А. А.П. Дульзон и Томская археология // Интеграция археологических и этнографических исследований / отв. ред. М.А. Корусенко. Владивосток : Омск : Наука, 2000. С. 21–23.
6. Решение II межвузовской научной конференции по проблеме происхождения аборигенов Сибири и их языков // Советский учитель. 1969. № 21. С. 2.
7. Чёрная М.П. XV Юбилейная Западносибирская археолого-этнографическая конференция «Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний» (Томск, 19–21 мая 2010 г.) // Вестник РГНФ. 2010. № 4. С. 172–178.
8. Молодин В.И. Памяти Владимира Ивановича Матющенко // Археологические материалы и исследования Северной Азии Древности и Средневековья / отв. ред. Л.А. Чиндина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 13–17.
9. Китова Л.Ю. Анатолий Иванович Мартынов – создатель Кемеровской археологической школы // Археология Южной Сибири : к 80-летию А.И. Мартынова. 2012. Вып. 26. С. 25–30.
10. Протоколы заседаний кафедры археологии КемГУ 1979–1980 учебного года // Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 561. 21 л.
11. Грязнов М.П. О едином процессе развития скифо-сибирских культур // Тезисы докладов Всесоюзной археологической конференции «Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства» / отв. ред. А.И. Мартынов. Кемерово : КемГУ, 1979. С. 4–7.
12. Мартынов А.И. Скифо-сибирское единство как историческое явление // Тезисы докладов Всесоюзной археологической конференции «Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства» / отв. ред. А.И. Мартынов. Кемерово : КемГУ, 1979. С. 9–13.
13. Мартынов А.И. Скифо-сибирское единство как историческое явление // Скифо-сибирское культурно-историческое единство : материалы I Всесоюз. археологической конф. «Скифо-сибирское культурно-историческое единство» / отв. ред. А.И. Мартынов. Кемерово, 1980. С. 11–20.
14. Мартынов А.И., Мартынова Г.С., Кулемзин А.М. Конец скифской эпохи в Южной Сибири. Шестаковская культура // Тезисы докладов Всесоюзной Археологической конференции «Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства» / отв. ред. А.И. Мартынов. Кемерово : КемГУ, 1979. С. 33–35.
15. Скифо-сибирское культурно-историческое единство : материалы I Всесоюз. археологической конф. / отв. ред. А.И. Мартынов. Кемерово : КемГУ, 1980. 371 с.
16. Протоколы заседаний кафедры археологии в 1983–1984 учебном году // ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 1080. 23 л.
17. Скифо-сибирский мир (искусство и идеология) : тез. докладов II Всесоюз. археологической конф. / отв. ред. А.И. Мартынов. Кемерово : КемГУ, 1984. 162 с.
18. Проблемы археологии степной Евразии : тез. докладов : в 2 ч. / отв. ред. В.Н. Добжанский. Кемерово : КемГУ, 1987. Ч. 1. 159 с.
19. Проблемы археологии степной Евразии : тез. докладов : в 2 ч. / отв. ред. В.Н. Добжанский. Кемерово : КемГУ, 1987. Ч. 2. 204 с.
20. План и отчет о работе кафедры археологии за 1989–1990 учебный год // ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 2338. 34 л.

21. Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения) : тез. всесоюз. археологической конф. : в 2 ч. / отв. ред. В.Н. Добжанский. Кемерово : КемГУ, 1989. Ч. I. 153 с.
22. Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения) : тез. всесоюз. археологической конф. : в 2 ч. / отв. ред. В.Н. Добжанский. Кемерово : КемГУ, 1989. Ч. II. 147 с.
23. Мартынов А.И. Скифо-сибирский мир – степная скотоводческая цивилизация V–II вв. до н.э. // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения) : тез. всесоюз. археологической конф. / отв. ред. В.Н. Добжанский. Кемерово : КемГУ, 1989. Ч. I. С. 5–12.
24. Курочкин Г.Н. Евроскифская и тагарская социальные модели // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения) : тез. всесоюз. археологической конф. / отв. ред. В.Н. Добжанский. Кемерово : КемГУ, 1989. Ч. I. С. 36–39.
25. Западносибирская археолого-этнографическая конференция. Летопись нашей конференции. URL: <http://zsaek.tsu.ru/node/7> (дата обращения: 16.06.2020).
26. Решение совещания по вопросам хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири, принятое 31 мая 1970 года // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири / отв. ред. В.И. Матющенко. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1970. С. 293–296.
27. Решение совещания по проблемам культурной и этнической принадлежности археологических памятников Западной Сибири, принятое в Томске 19 мая 1972 года // Из истории Сибири. 1973. Вып. 7. С. 226–228.
28. Мельникова О.М. Уральское археологическое совещание как событие памяти и как реальность // Археологическое наследие Урала: от первых открытий к фундаментальному научному познанию (XX Уральское археологическое совещание) / пред. ред. кол. Р.Д. Голдина. Ижевск : Изд-во Удмурт. гос. ун-та, 2016. С. 21–24.
29. Матющенко В.И. Как это было? // Вестник Омского университета. 2001. № 3. С. 141–145.
30. Решение совещания по проблеме «Экономика и социальная структура древнего населения Западной Сибири», принятое в Томске 22 марта 1975 года // Из истории Сибири. 1976. Вып. 21. С. 263–265.
31. Чиндина Л.А. Традиции и наследие // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий / отв. ред. Л.А. Чиндина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 4–7.
32. Чиндина Л.А. Тридцатилетний этап археологии Томского университета // Из истории Сибири : к 30-летию лаборатории / отв. ред. Э.И. Черныя. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. С. 17–24.
33. Молодин В.И. Очерки истории сибирской археологии. Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2015. 311 с.
34. Чиндина Л.А., Черная М.П. К истории Западносибирских археолого-этнографических конференций. Вместо предисловия // Культура как система в историческом контексте : опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний / отв. ред. М.П. Черная. Томск : Аграф-Пресс, 2010. С. 3–5.
35. Мошинская В.И. О возможностях этнической интерпретации археологических материалов // Из истории Сибири. 1973. Вып. 7. С. 3–11.
36. Косарев М.Ф. Материалы совещания по проблемам культурной и этнической принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1973 // Советская археология. 1975. № 3. С. 232–238.
37. Дремов В.А. Как жилось сибиряку в древности? // Красное знамя. 1978. № 69. С. 3.
38. Новикова Н.И. Человек-оркестр. Интервью с доктором исторических наук, профессором Н. А. Томиловым // Вестник Омского университета. Сер. Исторические науки. 2016. № 3 (11). С. 10–23.
39. Косарев М.Ф. Некоторые методологические проблемы западносибирской археологии // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири / отв. ред. Л.М. Плетнева. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. С. 3–7.
40. Чиндина Л.А. У археологов и этнографов готовится Свод памятников // Красное знамя. 1984. № 97. С. 3.
41. Черная М.П. Томск, томики и русская археология в творческой судьбе Вячеслава Ивановича Молодина // Мультидисциплинарные аспекты изучения древней и средневековой истории : к 70-летию акад. В.И. Молодина / отв. ред. А.П. Деревянко, М.В. Шуньков. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. С. 69–83.
42. Жизнь в науке // Актуальные проблемы древней и средневековой истории Сибири / отв. ред. А.И. Боброва. Томск : Изд-во ТГУ, 1997. С. 21–28.
43. Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. 256 с.
44. Черная М.П. XVII Западносибирская археолого-этнографическая конференция в Томске: новый шаг в 45-летней истории ЗСАЭК // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2017. Т. 16, № 3: Археология и этнография. С. 141–151.

Lyudmila Yu. Kitova, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: lyudmila.kitova@mail.ru

Vladimir Yu. Ganenok, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: vova.ganenok.96@mail.ru

Esmira R. Ismailylova, Kemerovo State Vocational School (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: ismailylova.esmira@mail.ru

ARCHAEOLOGICAL CONFERENCES AS AN EFFECTIVE FORM OF SCIENCE COMMUNICATION (COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO REGULAR FORUMS)

Keywords: regular conferences; Tomsk; Kemerovo.

The purpose of the article is a comparative analysis of two academic conferences that are held regularly: the West Siberian Archaeological Meeting / West Siberian Archaeological and Ethnographic Conference (WSAM/WSAEC) at Tomsk State University (TSU) and regular All-Union conferences on archaeology of the Scythian period at Kemerovo State University (KemSU). The study is based on the materials of these conferences and unpublished archival data.

Until 1958, no archaeological conferences had been held in Siberia. Historically, it was the university in Tomsk that became the first to host regular forums as the University archaeological museum existed since the 19th century and the institution attracted researchers having received such a prominent organizer as V.I. Matyushchenko in the 1960s. The 1st WSAM took place in 1970. The opening in 1968 of the Problem Research Laboratory of History, Archaeology and Ethnography became an important prerequisite for the integration of interdisciplinary research and holding regular academic conferences at TSU.

In Kemerovo, the idea of organizing regular conferences on the issues of archaeology of the Scythian period appeared also in the late 1970s, all conditions having been developed for this. KemSU had a leader, Doctor of History, Professor A.I. Martynov who defended his thesis in archaeology. In 1975, the Department of Archeology was established at KemSU, consolidating all archaeologists of Kemerovo region and conducting training. During the 1950–1970s, a significant source base was accumulated on the Tagar archaeological culture of the Scythian circle. As a result, the work of the regular All-Union Conference on topical issues of the Scythian-Siberian world was organized. These conferences became a milestone in the development of the archeology of Eurasia of the Scythian time.

At present, WSAM/WSAEC have 50-year-long history and include 18 forums. They made a huge contribution to the development of theoretical, methodological and practical issues of archaeology of Western Siberia and neighbouring regions. It is noteworthy that Tomsk colleagues set the topic of each conference and choose the most pressing issues every time. Such a longstanding tradition of holding regular conferences in Tomsk was formed owing to the continuity of its organizers, the preservation of their interest and the

search for new issues and forms for conducting WSAEC. The significance of conferences in Tomsk is proved not only by the development of archaeology and ethnography of Western Siberia, but also by the preservation of the role of TSU as a leading university in Siberia.

REFERENCES

- Matyushchenko, V.I. & Pletneva L.M. (1995) Sibirskaya arkeologiya za 50 let sovetskoy vlasti [Siberian archeology for 50 years of Soviet power]. *Voprosy istorii Sibiri*. 4. pp. 29–46.
- Chindina, L.A. (1995) Ot redaktora. Chetvert' veka iz istorii zapadnosibirskoy arkeologii [Editorial. A quarter century from the history of West Siberian archeology]. In: Chindina, L.A. (ed.) *Metodika kompleksnykh issledovaniy kul'tur i narodov Zapadnoy Sibiri* [Methodology for comprehensive studies of cultures and peoples of Western Siberia]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 5–8.
- Matyushchenko, V.I. (2001) *Trista let istorii sibirskoy arkeologii* [Three Hundred Years of the History of Siberian Archeology]. Vol. 2. Omsk: Omsk State University.
- Gusev, A.V. (2009) Na puti integratsii arkeologii i etnografii: issledovaniya arkeologov Tomskogo universiteta v 1940–1990-ye gg. [Towards the Integration of Archeology and Ethnography: Archeological Research in Tomsk University in 1940–1990]. In: Chernaya, M.P. (ed.) *Problemy arkeologii i istorii Severnoy Evrazii* [Problems of Archeology and History of Northern Eurasia]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 198–200.
- Chindina, L.A. (2000) A.P. Dul'zon i Tomskaya arkeologiya [A.P. Dulzon and Tomsk archeology]. In: Tomilov, N.A. (ed.) *Integratsiya arkeologicheskikh i etnograficheskikh issledovaniy* [Integration of Archaeological and Ethnographic Research]. Vladivostok, Omsk: [s.n.]. pp. 21–23.
- Anon. (1969) Reshenie II mezhevuzovskoy nauchnoy konferentsii po probleme proiskhozhdeniya aborigenov Sibiri i ikh yazykov [Decision of the Second Interuniversity Conference on the problem of the origin of Siberian natives and their languages]. *Sovetskiy uchitel'*. 21. p. 2.
- Chernaya, M.P. (2010) Xv Jubilee Western-Siberian Archeological-Ethnographic Conference "Culture as a System in Historical Context: Experience of Western Siberian Archeological-Ethnographic Meetings" (Tomsk, May 19–21, 2010). *Vestnik RGNF*. 4. pp. 172–178. (In Russian).
- Molodin, V.I. (2007) Pamyati Vladimira Ivanovicha Matyushchenko [In memory of Vladimir Ivanovich Matyushchenko]. In: Chindina, L.A. (ed.) *Arkeologicheskie materialy i issledovaniya Severnoy Azii Drevnosti i Srednevekov'ya* [Archaeological Materials and Exploration of North Asian Ancient Times and Middle Ages]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 13–17.
- Kitova, L.Y. (2012) Anatoliy Ivanovich Martynov – sozdatel' Kemerovskoy arkeologicheskoy shkoly [Anatoliy Ivanovich Martynov – founder of the Kemerovo Archaeological School]. *Arkeologiya Yuzhnoy Sibiri*. 26. pp. 25–30.
- The State Archive of Kemerovo Region (GAKO). *Protokoly zasedaniy kafedry arkeologii KemGU 1979–1980 uchebnogo goda* [Records of meetings of the Department of Archeology of KemSU in 1979–1980 academic year]. Fund R-353. List 2. File 561.
- Gryaznov, M.P. (1979) O edinom protsesse razvitiya skifo-sibirskikh kul'tur [On the common process of development of the Scythian-Siberian cultures]. In: Martynov, A.I. (ed.) *Problemy skifo-sibirskogo kul'turno-istoricheskogo edinstva* [Problems of the Scythian-Siberian Cultural and Historical Unity]. Kemerovo: [s.n.]. pp. 4–7.
- Martynov, A.I. (1980a) Skifo-sibirskoe edinstvo kak istoricheskoe yavlenie [Scytho-Siberian unity as a historical phenomenon]. In: Martynov, A.I. (ed.) *Problemy skifo-sibirskogo kul'turno-istoricheskogo edinstva* [Problems of the Scythian-Siberian Cultural and Historical Unity]. Kemerovo: [s.n.]. pp. 9–13.
- Martynov, A.I. (1980b) Skifo-sibirskoe edinstvo kak istoricheskoe yavlenie [Scytho-Siberian unity as a historical phenomenon]. In: Martynov, A.I. (ed.) *Problemy skifo-sibirskogo kul'turno-istoricheskogo edinstva* [Problems of the Scythian-Siberian Cultural and Historical Unity]. Kemerovo: [s.n.]. pp. 11–20.
- Martynov, A.I., Martynova, G.S. & Kulemzin, A.M. (1979) Konets skifskoy epokhi v Yuzhnoy Sibiri. Shestakovskaya kul'tura [The end of the Scythian era in Southern Siberia. The Shestakovo culture]. In: Martynov, A.I. (ed.) *Problemy skifo-sibirskogo kul'turno-istoricheskogo edinstva* [Problems of the Scythian-Siberian Cultural and Historical Unity]. Kemerovo: [s.n.]. pp. 33–35.
- Martynov, A.I. (ed.) (1980) *Skifo-sibirskoe kul'turno-istoricheskoe edinstvo* [Scythian-Siberian Cultural and Historical Unity]. Kemerovo: Kemerovo State University.
- The State Archive of Kemerovo Region (GAKO). *Protokoly zasedaniy kafedry arkeologii KemGU 1983–1984 uchebnogo goda* [Records of meetings of the Department of Archeology of KemSU in 1983–1984 academic year]. Fund R-353. List 2. File 1080.
- Martynov, A.I. (ed.) (1984) *Skifo-sibirskiy mir (iskusstvo i ideologiya)* [Scythian-Siberian World (Art and Ideology)]. Kemerovo: Kemerovo State University.
- Dobzhansky, V.N. (ed.) (1987a) *Problemy arkeologii stepnoy Evrazii* [Problems of Steppe Eurasia Archeology]. Vol. 1. Kemerovo: Kemerovo State University.
- Dobzhansky, V.N. (ed.) (1987a) *Problemy arkeologii stepnoy Evrazii* [Problems of Steppe Eurasia Archeology]. Vol. 2. Kemerovo: Kemerovo State University.
- The State Archive of Kemerovo Region (GAKO). *Plan i otchet o rabote kafedry arkeologii za 1989–1990 uchebnyy god* [The plan and report on the work of the Department of Archeology for the 1989–1990 academic year]. Fund R-353. List 2. File 2338.
- Dobzhansky, V.N. (ed.) (1989a) *Problemy arkeologii skifo-sibirskogo mira (sotsial'naya struktura i obshchestvennye otnosheniya)* [Problems of archeology of the Scythian-Siberian world (social structure and social relations)]. Vol. 1. Kemerovo: Kemerovo State University.
- Dobzhansky, V.N. (ed.) (1989b) *Problemy arkeologii skifo-sibirskogo mira (sotsial'naya struktura i obshchestvennye otnosheniya)* [Problems of archeology of the Scythian-Siberian world (social structure and social relations)]. Vol. 2. Kemerovo: Kemerovo State University.
- Martynov, A.I. (1989) Skifo-sibirskiy mir – stepnaya skotovodcheskaya tsivilizatsiya V–II vv. do n. e. [The Scythian-Siberian world as a steppe cattle-breeding civilization of the 5th – 2nd cc. BC]. In: Dobzhansky, V.N. (ed.) *Problemy arkeologii skifo-sibirskogo mira (sotsial'naya struktura i obshchestvennye otnosheniya)* [Problems of archeology of the Scythian-Siberian world (social structure and social relations)]. Vol. 1. Kemerovo: Kemerovo State University. pp. 5–12.
- Kurochkin, G.N. (1989) Evroskifskaya i tagarskaya sotsial'nyye modeli [Euro-Scythian and Tagar social models]. In: Dobzhansky, V.N. (ed.) *Problemy arkeologii skifo-sibirskogo mira (sotsial'naya struktura i obshchestvennye otnosheniya)* [Problems of archeology of the Scythian-Siberian world (social structure and social relations)]. Vol. 1. Kemerovo: Kemerovo State University. pp. 36–39.
- Zsaek.tsu.ru. (n.d.) *Zapadnosibirskaya arkeologo-etnograficheskaya konferentsiya. Letopis' nashey konferentsii* [West Siberian Archaeological and Ethnographic Conference. Annals of our conference]. [Online] Available from: <http://zsaek.tsu.ru/node/7> (Accessed: 16th June 2020).
- Anon. (1970) Reshenie soveshchaniya po voprosam khronologii i kul'turnoy prinalozhnosti arkeologicheskikh pamyatnikov Zapadnoy Sibiri, prinyatoye 31 maya 1970 goda [The decision of the meeting on the chronology and cultural affiliation of archaeological sites of Western Siberia, adopted on May 31, 1970]. In: Matyushchenko, V.I. (ed.) *Problemy khronologii i kul'turnoy prinalozhnosti arkeologicheskikh pamyatnikov Zapadnoy Sibiri* [The problems of chronology and cultural identity of archaeological monuments of Western Siberia]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 293–296.
- Anon. (1972) Reshenie soveshchaniya po problemam kul'turnoy i etnicheskoy prinalozhnosti arkeologicheskikh pamyatnikov Zapadnoy Sibiri, prinyatoye v Tomske 19 maya 1972 goda [The decision of the meeting on the problems of cultural and ethnicity of archaeological sites of Western Siberia, adopted in Tomsk on May 19, 1972]. *Iz istorii Sibiri*. 7. pp. 293–296.
- Melnikova, O.M. (2016) Ural'skoe arkeologicheskoe soveshchanie kak sobytie pamyati i kak real'nost' [Ural archaeological meeting as an event of memory and as reality]. In: Chernykh, E.M. (ed.) *Arkeologicheskoe nasledie Urala: ot pervykh otkrytiy k fundamental'nomu nauchnomu poznaniyu*

- (XX Ural'skoe arkhеologicheskoe soveshchanie) [The Archaeological Heritage of the Urals: From the First Discoveries to Fundamental Scientific Knowledge (The 20th Ural Archaeological Meeting)]. Izhevsk: Udmurt State University. pp. 226–228.
29. Matyushchenko, V.I. (2001) Kak eto bylo? [How it was?]. *Vestnik Omskogo universiteta – Herald of Omsk University*. 3. pp. 21–24.
 30. Anon. (1976) Reshenie soveshchaniya po probleme “Ekonomika i sotsial'naya struktura drevnego naseleniya Zapadnoy Sibiri”, prinyatoye v Tomske 22 marta 1975 goda [The decision of the meeting on the problem “Economics and social structure of the ancient population of Western Siberia”, adopted in Tomsk on March 22, 1975]. *Iz istorii Sibiri*. 21. pp. 263–265.
 31. Chindina, L.A. (2005) Traditsii i nasledie [Traditions and Heritage]. In: Chindina, L.A. (ed.) *Problemy istoriko-kul'turnogo razvitiya drevnikh i traditsionnykh obshchestv Zapadnoy Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [The problems of historical and cultural development of ancient and traditional societies of Western Siberia and adjacent territories]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 4–7.
 32. Chindina, L.A. (1998) Tridsatiletniy etap arkhеologii Tomskogo universiteta [Thirty years of archeology at Tomsk University]. In: Chernyak, E.I. (ed.) *Iz istorii Sibiri. K 30-letiyu laboratorii* [From the History of Siberia. To the Thirtieth Anniversary of the Laboratory]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 17–24.
 33. Molodin, V.I. (2015) *Ocherki istorii sibirskoy arkhеologii* [Essays on the history of Siberian archeology]. Novosibirsk: SB RAS.
 34. Chindina, L.A. & Chernaya, M.P. (2010) K istorii Zapadnosibirskikh arkhеologo-etnograficheskikh konferentsiy. Vmesto predisloviya [On the history of West Siberian archaeological and ethnographic conferences. For the foreword]. In: Chernaya, M.P. (ed.) *Kul'tura kak sistema v istoricheskoy kontekste: Opyt Zapadno-Sibirskikh arkhеologo-etnograficheskikh soveshchaniy* [Culture as a System in a Historical Context: Experience of West Siberian Archaeological and Ethnographic Meetings]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 3–5.
 35. Moshinskaya, V.I. (1973) O vozmozhnostyakh etnicheskoy interpretatsii arkhеologicheskikh materialov [On the possibilities of ethnic interpretation of archaeological materials]. *Iz istorii Sibiri*. 7. pp. 3–11.
 36. Kosarev, M.F. (1975) Materialy soveshchaniya po problemam kul'turnoy i etnicheskoy prinalozhnosti arkhеologicheskikh pamyatnikov Zapadnoy Sibiri. Tomsk, 1973 [Materials of the meeting on the problems of cultural and ethnic affiliation of archaeological sites of Western Siberia. Tomsk, 1973]. *Sovetskaya arkhеologiya*. 3. pp. 232–238.
 37. Dremov, V.A. (1978) Kak zhilos' sibiryaku v drevnosti? [How did the Siberian live in ancient times?]. *Krasnoye znamya*. N. 69. p. 3.
 38. Novikova, N.I. (2016) One-man band. Interview with Senior Doctorate, Professor N. A. Tomilov. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya "Istoricheskiye nauki"* – *Herald of Omsk University. Historical Studies*. 3(11). pp. 10–23. (In Russian).
 39. Kosarev, M.F. (1981) Nekotorye metodologicheskie problemy zapadnosibirskoy arkhеologii [Some methodological problems of West Siberian archeology]. In: Pletneva, L.M. (ed.) *Metodologicheskie aspekty arkhеologicheskikh i etnograficheskikh issledovaniy v Zapadnoy Sibiri* [Methodological aspects of archaeological and ethnographic research in Western Siberia]. Tom: Tomsk State University. pp. 3–7.
 40. Chindina, L.A. (1984) U arkhеologov i etnografov gotovitsya Svod pamyatnikov [Archaeologists and Ethnographers are preparing a Code of Monuments]. *Krasnoye znamya*. 97. p. 3.
 41. Chernaya, M.P. (2018) Tomsk, tomichi i russkaya arkhеologiya v tvorcheskoy sud'be Vyacheslava Ivanovicha Molodina [Tomsk, Tomsk residents and Russian archeology in the creative fate of Vyacheslav Ivanovich Molodin]. In: Derevyanko, A.P. & Molodin, V.I. (eds) *Mul'tidistsiplinarnye aspekty izucheniya drevney i srednevekovoy istorii: k 70-letiyu akad. V.I. Molodina* [Multidisciplinary aspects of the study of ancient and medieval history: on the 70th anniversary of Academician V.I. Molodina]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 69–83.
 42. Bobrova, A.I. (ed.) (1997) *Aktual'nye problemy drevney i srednevekovoy istorii Sibiri* [Topical Problems of Siberian Ancient and Medieval History]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 21–28.
 43. Chindina, L.A. (1984) *Drevnyaya istoriya Srednego Priob'ya v epokhu zheleza. Kulayskaya kul'tura* [The Ancient History of the Middle Ob in the Era of Iron. The Kulay Culture]. Tomsk: Tomsk State University.
 44. Chernaya, M.P. (2017) XVII Zapadnosibirskaya arkhеologo-etnograficheskaya konferentsiya v Tomske: novyy shag v 45-letney istorii ZSAEK [XVII western Siberian Archaeological and Ethnographic Conference in Tomsk: a new step in the 45-year history]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoriya, filologiya – Novosibirsk State University Bulletin. Series: History and Philology*. 16(3). pp. 141–151. (In Russian).

ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ

УДК 738.81+749.21
DOI: 10.17223/19988613/68/2

С.И. Баранова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ИЗРАЗЦОВОГО ДЕКОРА. О ПОНЯТИИ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ ШКОЛА»

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Раскрывается содержание неиспользованного и неизвестного в современной литературе понятия «северодвинская школа», введенного видным исследователем русского изразца А.В. Филипповым, но до сих пор не ставшего предметом специального изучения. Обращение к истории исследования изразцового производства этого региона, выполненное на основе архива А.В. Филиппова, а также дополненного материалами, полученными в результате исследований последних лет, позволяет раскрыть содержание определения, которое, на взгляд автора, может быть введено в современный научный оборот.

Ключевые слова: изразец; художественное ремесло; Русский Север; А.В. Филиппов; историография прикладного искусства; Великий Устюг; Тотьма.

Результаты изучения русского изразца позднего Средневековья свидетельствуют об определенном единообразии изделий, произведенных на весьма обширной территории Московской Руси. В какой-то момент это привело к утрате самобытности развитых ранее школ (например, псковской, сложившейся еще в XIV в.) и унификации изразечной продукции на всей территории России.

Тем не менее на окраинах страны рождались и складывались, не оказывая, кажется, никакого влияния на «общее культурное развитие», собственные версии изразца. Они появлялись благодаря возможностям торговли, умениям местных ремесленников и влиянию художественных мотивов, занесенных извне, — из-за границы, со страниц «Символов и эмблемат», из крупных центров, получивших европейский стилевой и технологический импульс во второй половине — конце XVII в. Доставленные из Москвы образцы, воспринятые приемы и мотивы порождали локальную моду, державшуюся десятилетиями, а иногда и более [1; 2. С. 270–281; 3; 4].

В изразцовом искусстве мы знаем не так много примеров местных художественно-производственных традиций, сложившихся благодаря старомосковскому подходу к занесенным издавна новациям и их использованию. Тем они ценнее. Однако лишь немногие из подобных «культурных резервуаров» на Русском Севере и в Сибири сегодня открыты и изучены, хотя интерес к ним растет. Именно этому мы обязаны появлением в истории русского изразца термина «северодвинская школа».

Впервые определение «северодвинская школа» прозвучало во втором выпуске известного исследования А.В. Филиппова «Древнерусские изразцы XVII в.» [5]. Отмечая «оригинальность и неповторимость румы изразцов Великого Устюга, которые помогли установить по этому и ряду других признаков существование на севере одного из крупных самостоятельных центров изразцового производства», он считал, что оно «может быть объединено понятием Северо-Двинской школы» [5].

Это определение не использовалось в дальнейшем в каких-либо публикациях, в том числе в работах специалистов, стремящихся представить ту или иную традицию, стиль, технологию русского изразца. В частности, его не употреблял в своем известном издании С.А. Маслих, который опубликовал значительный объем изображений устюжских изразцов [6. Ил. 177–195].

История обращения А.В. Филиппова к изразцовому производству Русского Севера связана с его изучением русских изразцов на местах. «Зачем приехал профессор Филиппов», — так называлась заметка от 30 июля 1927 г. в газете «Красный Север», выходившей в Великом Устюге. «Что же привело этого ученого в наше далекое захолустье?» — спрашивает местный автор, некто «Неприветный», и сам же отвечает: «Пребывание профессора связано со сбором северных изразцов... Их сравнительное изучение, начатое членом Академии художественных наук профессором Филипповым, совершающим в настоящее время научную поездку для их исследования, уже указывает и на

большую оригинальность северных изразцов, и на местную их выработку» [7].

В первую очередь в поле зрения Филиппова попали фасадные изразцы Великого Устюга; по сути, это было началом изучения устюжского керамического декора, продолженное в дальнейшем С.А. Маслихом [6, 8], С.И. Барановой [2. С. 270–281; 9], Ю.Ю. Лисенковой [10], С.В. Митуричем и Г.Н. Чебыкиной [11. С. 149–168]. Филиппов отмечал, что «сохранились изразцы и в наружных облицовках 11 церквей... К сожалению, все эти наружные изразцы в настоящее время забелены и заштукатурены. Нами раскрыт один из сотен таких изразцов на Преображенской церкви. Хотелось бы, чтобы ГубОНО и Северодвинский музей приняли меры к раскрытию всех этих облицовок» [12]¹.

Использование в местной архитектуре изразцов связано главным образом с формированием архитектурного облика Устюга, который складывался во второй половине XVII в.² Процесс создания и развития производства полихромных (пятницевных) изразцов в этом городе и его активное введение во внешнее убранство местных храмов относится к рубежу 1680-х и 1690-х гг., чему способствовало не только интенсивное каменное строительство, но и приобретение Устюгом в 1682 г. статуса главного города Великоустюжской и Тотемской епархии (1682–1788). Увлечение многоцветными изразцами в качестве элемента архитектурного убранства продолжалось здесь до середины XVIII в.

Первое применение изразцов в декоре архитектурных памятников Великого Устюга XVII в. было, как и повсюду в провинции, вызвано импульсом, полученным из Москвы. В декоре Вознесенской церкви были использованы ранние изразцы, привезенные из Москвы [8. С. 13; 13. С. 91].

Однако уже во второй половине столетия устюжские изразцы не только копируют рисунки московских изделий, но и демонстрируют новые элементы, нередко с изменением сюжета. В одних случаях это откровенные реплики, позволяющие предположить московское или иное (например, поволжское) влияние и даже производство, в других – изразцы с региональными особенностями, свидетельствующими не только о местном производстве, но и о местных художественных предпочтениях. Иная трактовка известных орнаментов в декоре памятников Устюга указывает на использование для их оттиска собственных, местных форм, отличных от столичных, при этом московские мотивы в них все же доминируют.

Со второй четверти XVIII в. в устюжском изразцовом деле происходили большие изменения: изразцы с фасадов зданий постепенно переходили в их интерьеры, где получили затем исключительно широкое распространение. Местные мастера-гончары приступили к интенсивному производству наборов керамики специально для печей. Так начался второй, «интерьерный», этап развития устюжской майолики, который бурно развивался до конца XVIII в. (рис. 1, 2).

Этот период, представленный многочисленными печами, крайне заинтересовал Филиппова. Исследователь писал: «За 20 дней пребывания в Устюге мною

зарегистрированы, главным образом в частных домах, 93 существующие старинные изразцовые печи, 16 разобранных печей с сохранившимися изразцами и 14 бесследно исчезнувших... Все печи имеют оригинальные, чисто местные особенности и стили, и производства» [12].

Как известно, Филиппов считал, что роль технологии в производстве изразцов выявляется только при соединении ее изучения со стилистическим анализом: «Мною впервые применен новый метод научного исследования древних русских изразцов – метод технического и стилистического анализа памятников. Такой метод, тщательно проведенный, дает возможность установить школы и эпохи изразцового дела в Древней Руси, обрисовывая целый ряд особенностей каждой школы» [Там же]. В Устюге Филиппова чрезвычайно заинтересовали технологические особенности производства изразцов: состав черепка и глазури, формы матрицы, особенности обжига изразцов и т.д., им отмечены «высокое художественное качество и художественная и технологическая оригинальность» местной керамики [Там же].

В этой связи особенно важным стало посещение центра устюжского гончарного производства в слободе Дымково, где Филиппов не только обследовал четыре изразцовых печи теплой слободской церкви, отметив, что это лучшие из виденных им в Вологде и Устюге печей, но и исследовал историю слободы [Там же]. Исследователь вспоминал: «Священник Чистяков сообщил о слышанном им от старика-гончара предании о том, что изразцы производились именно в Дымкове. Здесь до сего времени работают гончары, обслуживающие посудой Устюг. Название слободы имеет гончарный уклон» [Там же].

За время поездки Филипповым были обследованы и ближайшие города – Тотма и Вологда. В Тотме, расположенной на полпути между Вологдой и Великим Устюгом, было свое изразцовое производство, о чем также пишет Филиппов. Остатки тотминского изразцового производства на берегу р. Сухоны были найдены работниками местного музея в 1920-е гг. [8. С. 21; 12].

А.В. Филиппов фиксировал изразцы не только в многочисленных зарисовках, но и в своих «анкетах», хранящихся в настоящее время в его архиве. Это специальные формы под названием «Вопросы для собирания материалов для древнерусской керамики», которые сам исследователь называл анкетами. Филипповские анкеты – результат многолетнего (1913 – начало 1950-х гг.) сбора материалов по различным «отделам»: изразцам, черепице и кирпичам. Зарисовки, выполненные А.В. Филипповым для анкет отличаются чрезвычайной тщательностью (рис. 3, 4) [12].

Результаты своей поездки Филиппов представил на заседании группы керамики Комитета декоративных искусств ГАХН 30 мая 1928 г. в докладе «Северодвинская школа изразцового дела XVII–XVIII веков»³. Из отдельных записок, а также тезисов доклада, сохранившихся в архиве известно его содержание: «Метод изучения, применяемый к исследованию русских изразцов. Типы изразцовых печей. Особенности

применения изразцов в главных центрах средней и северной России. Насыщенность Вологдо-Двинского района древними изразцовыми памятниками и их своеобразие. Результаты обследования В. Устюга ле-

том 1927 г. Периоды развития изразцового дела. Характеристика памятников и школы. (Доклад сопровождается демонстрацией памятников, зарисовок, фотографий и эстампажей)» [12].



Рис. 1. Зарисовка печного изразца в Великом Устюге в 1927 г. из анкеты [Там же]



Рис. 2. Зарисовка печного изразца в Великом Устюге в 1927 г. из анкеты [Там же]

А. В. ФИЛИНШОВЪ

МОСКВА, В. ПЕРЬСНЯ, 7.
АРТЕЛЪ ХУДОЖНИКОВЪ-
ГОЩАРОВЪ „ИУРАВА“.
ТЕЛ. 1-33-10.

Вопросы для собиранія матеріаловъ по исторіи древне-русской керамики.

Отдѣлъ I: ИЗРАЗЦЫ.

Великий Устюг

1. Съ какого памятника? Добиковская ц-вь, печь церковного, гражданского?
2. Вѣкъ (или годы) постройки или установки керамики.
3. Назначеніе: печные кафли, внутренняя облицовка; наружная облицовка. Класс 11х24
4. Размѣры изразцовъ 242х202 мм; площади керамики
5. Терракотовые или поливные (3)
6. Изъ глины какого цвѣта: красной, свѣтлой?
7. Есть-ли рюмки? Ихъ высота; форма?
8. На чемъ были поставлены: на извести, цементѣ, глинѣ?
9. Лѣпные, гладкіе, живописные?
10. Характеръ лѣпки: эмалевый, обронный, натуральный?
11. Оттиснуты изъ формы или вылѣплены отъ руки? Прирѣзались-ли?
12. Формы изразцовъ: ☐ ☒ ☐
13. Ихъ профиля (если фигурные)?
14. Рисунки на изразцахъ
15. Мотивы изображеній: Гаски
16. Число красокъ ; цвѣтъ фона , узора
17. Какой цвѣтъ преобладаетъ?
18. Характеръ красокъ и поливъ: эмаль; глазурь; роспись красками по бѣлой эмали (или по цвѣтной)
а) подглазурными красками, в) надглазурными.
19. Есть-ли на поливѣ цекъ (кракле)?—потеки?
20. Сохранность изразца ; черепка ; поливы
21. Нѣтъ-ли слѣдовъ реставраціи: подкраски холоднымъ способомъ? слѣдовъ закраски или забѣлки.
22. Гдѣ въ настоящее время находятся? в облицовке печи
23. Не встрѣчаются-ли изразцы тѣхъ же формъ въ другихъ памятникахъ? Гдѣ?
24. Не имѣется-ли описаній, фотографій или зарисовокъ? Если опубликованы, то гдѣ?

Время и мѣсто описи.

1927, В.-Устюг

Рис. 4. Анкета с описанием печных изразцов в Великом Устюге в 1927 г. [12]

По заключению Филиппова, главным центром производства и сохранности изразцов был Устюг: «На основании многолетнего обследования и сравнительного изучения памятников древнерусского изразцового дела, его истории, техники и центров производства, можно с уверенностью установить, что Великий Устюг – самый крупный в СССР центр по количеству сохранившихся старых изразцовых печей» [12]. Подобно московским, великоустюжские мастера изготавливали изразцы на экспорт. Фасадной керамикой их производства украшены храмы Лальска, Сольвычегодска, Туглима, Яхренъги [14].

Образцы печных изразцов Филиппов передал в музейные собрания Москвы. Так, он писал, что в 1929 г. передал в Музей керамики коллекцию изразцов XVIII в. «в количестве 38 штук», собранную им в Великом Устюге в 1927 г. во время научной поездки. «Среди них: 1) большое клеймо на 9 изразцах с бирюзовым рисунком по белому полю из разобранной печи дома Н.В. Сметанина (б. булочная Тряпицына (Красный, б. Торговый, пер. д. 14 в В. Устюге); 2) клеймо на четырех изразцах многоцветной поливы – из дома б. Азовых (Советский проспект № 78. В. Устюг). Изразцы с мелким многоцветным узором – из разобранного дома Глезер (Советский проспект, ул. Красноармейская в В. Устюге). Означенные изразцы поступили от Северо-Двинского Музея, куда была передана разобранная печь. Остальные изразцы, частью из дома Азовых, частью из других домов в Устюге, переданы центральной библиотекой в Северо-Двинский музей» [15]⁴. Часть привезенных Филипповым изразцов попала в собрание Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника (МГОМЗ). В настоящее время изразцы Великого Устюга также хранятся в собраниях ГИМ, Русского музея и, конечно, в музеях Великого Устюга, Вологды, Тотьмы и др.

Красноглиняные печные изразцы из Устюга с массивными, отступающими от краев румпами, оригинальными орнаментами на лицевой пластине отличаются от изразцов, распространившихся по России в XVIII в., что сразу выделяет их из круга изделий того времени. Это отмечается всеми, кто изучает русский изразец, и, в частности, С.А. Маслюком: «Совершенно иным путем шли мастера Великого Устюга. Они в течение всего XVIII в. выделяли только рельефные многоцветные изразцы с орнаментальными рисунками. Роспись на изразцах совсем не применялась... Разнообразные сюжеты и колорит клейм делают устюжские печи похожими на восточные, которыми, может быть, и вдохновлялись северные художники на своих красочных, многолюдных ярмарках, которые устраивались два года» [8. С. 21].

Схожие с великоустюжскими изразцы производили в Тотьме. О местном производстве свидетельствуют также самобытные черты изразцов Сольвычегодска, в прошлом – вотчины Строгановых. Все они демонстрируют сходство с изразцами Великого Устюга при отсутствии прямого изобразительного аналога среди других отечественных изделий.

«Северодвинскую школу» отличает внешнее своеобразие, присущее всякому оригинальному явлению.

Композиционную основу «зеркала» печи Великого Устюга составляют главным образом крупные клейма, состоящие из нескольких изразцов, дополненных другими частями печного набора. Их объединяет характерный растительный орнамент из переплетенных побегов, листьев и цветов, выполненный в невысоком рельефе – «мелкотравчатый», по выражению Филиппова.

Ярким отличием устюжского изразцового производства и характерной чертой печного набора являются витые колонки. Палитра строится на сочетании бирюзового, белого, желтого и коричневого цветов, реже добавлен синий; для фона чаще всего использовался зелено-бирюзовый и белый.

На наш взгляд, самым характерным признаком печных устюжских изразцов XVIII в. является их демонстративный консерватизм, восходящий к ценной керамике Руси второй половины XVII в. Он проявляется в палитре предметов, а также в их рельефе, орнаментах и использованных мотивах. Это особенно заметно на фоне печной керамики того времени, где господствуют живописные (расписные) сюжетные изразцы, которые связаны своим происхождением с облицовочными европейскими плитками, пришедшими в Россию с Запада в петровскую эпоху.

Конечно, в XVIII в. и в Устюге встречались печи с живописными сюжетными изразцами, на которых изображены различные аллегорически-назидательные и галантные сцены [11. С. 24–27]. Чаще всего это были привозные изделия, в том числе из Москвы, были и местные, но значительно в меньшем количестве. Устюжские гончары, словно сопротивляясь новым веяниям, создают собственный стиль, руководствуясь вкусами местного купечества, продолжавшего традиции прошлого.

Возникшая в период высшего расцвета изразца в Московском государстве во второй половине XVII в. и существовавшая почти два столетия «устюжская» («северодвинская») школа выражала эстетические запросы горожан. Сложился особый стиль северодвинского изразца XVIII – начала XIX в., выработанный местными мастерами, которые накопили к этому времени богатый опыт.

В заключение следует отметить, что изразцы «северодвинской школы» образуют компактную группу, которая может быть отнесена к числу таких мощных и прогрессивных явлений русской провинциальной культуры, как, например, «строгановская художественная школа», хотя и гораздо менее масштабное (отметим, кстати, что ремесленники Сольвычегодска и Великого Устюга, в том числе изразечники, были явно знакомы с изделиями друг друга).

С другой стороны, северодвинские изразцы – великолепный пример того, как возникшая несколькими десятилетиями ранее тенденция в развитии художественного ремесла, в центральных районах страны подвергаясь новым европейским веяниям, нашла воплощение в образовании локальной школы, культивирующей и сохраняющей заданный вариант развития, опираясь на сравнительно устойчивую местную моду, налаженную систему технологии и, видимо, личные взаимоотношения между мастерами и заказчиками.

XVIII век – пестрый в культурном отношении. Сегодня кажется, что его образуют, с одной стороны, обитатели императорских дворцов, а с другой – крепостные крестьяне, жившие в условиях чуть ли не домонгольской Руси. На самом же деле пространство жизни образуют ее промежуточные слои. Примеров, когда модели, созданные в эпоху Алексея Михайловича или Феодора Алексеевича, успешно использовались позднее – неисчислимо множество. Столько же примеров и местных, сложившихся благодаря старомосковскому подходу к занесенным издавна новациям и их использованию, художественно-производственных традиций. Особенно много подобных «культурных резервуаров» на Русском Севере и в Сибири. Совсем

немногие из них сегодня открыты и изучены, на них редко останавливают свое внимание специалисты, стремящиеся представить ту или иную традицию, стиль, технологию в полном объеме. Появление в истории русского изразца термина «северодвинская школа» – тот самый случай.

Таким образом, можно с полным основанием говорить о существовании «северодвинской школы» в изразцовом искусстве, формировавшейся на протяжении XVII–XVIII вв. Под влиянием московских импульсов северные мастера, следуя пожеланиям заказчиков, создали местное производство, заложив тем самым основу для расцвета одной из самых самобытных региональных версий русского изразца.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и далее приводятся ссылки на архив, который хранится в собрании Е.А. Бобринской и готовится к передаче в музей. Приношу глубокую благодарность за возможность использования материалов архива.

² Тогда были возведены такие архитектурные памятники с изразцовым декором (в том числе и с несохранившимися изразцами), как Вознесенская церковь (1648), Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря (1659), соборы Иоанна Устюжского (1663) и Прокопия Праведного (1668), Власьевская (Богоявленская; 1689) церковь, Спасо-Преображенский собор (1689–1696), Ильинская церковь (1695; 1736–1745), церковь Антония и Феодосия Печерских (1696–1703), Дмитриевская церковь в Дымкове (1700–1708), Сретенско-Мироносицкая церковь (1714–1722), кельи и пилоны ворот ограды Иоанно-Предтеченского монастыря (первая половина XVIII в.), церковь Николы Гостунского (1682–1685; конец 1720-х гг.), Леонтьевская церковь (1738–1741), изразцовые капители основного объема Симеоновской церкви и отдельно стоящей колокольни (1757–1765).

³ Северо-Двинская губерния – административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1918–1929 гг. Центр – город Великий Устюг.

⁴ Автором были исследованы великоустюжские изразцы, хранящиеся в собрании МГОМЗ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранова С.И. Миграция московских изразцов // Коломенское : материалы и исследования. М. : МГОМЗ, 2007. Вып. 9. С. 64–78.
2. Баранова С.И. Русский изразец : записки музейного хранителя. М. : МГОМЗ, 2011. 432 с.
3. Баранова С.И. Московский изразец XVII века: от Белого моря до Поволжья и Сибири // Архитектурное наследство. М. ; СПб. : Коло, 2014. Вып. 60. С. 43–59.
4. Баранова С.И. Московский изразец XVII века в пространстве России // Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 1 (57). С. 98–106.
5. Филиппов А.В. Древнерусские изразцы. 1940. Вып. 2: Изразцы XVII в. // РусАрх : электрон. науч. б-ка по истории древнерусской архитектуры. URL: <http://www.rusarch.ru/filipov1.htm> (дата обращения: 29.02.2012).
6. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX веков. 2-е изд. М. : Изобразительное искусство, 1983. 28 с.
7. Зачем приехал профессор Филиппов // Красный Север. 1927. 30 июля.
8. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX веков. 1-е изд. М. : Изобразительное искусство, 1976. 29 с.
9. Баранова С.И., Лисенкова Ю.Ю. Изразцовый декор памятников архитектуры Великого Устюга // Архитектурное наследство. М. ; СПб. : КРАСАНД, 2012. Вып. 56. С. 77–94.
10. Лисенкова Ю.Ю. Изразцовое убранство храмов Великого Устюга XVII – первой половины XVIII веков. Этапы развития и художественные особенности : автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2012. 29 с.
11. Великоустюгский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник : альбом-путеводитель по коллекциям народного и декоративно-прикладного искусства / сост.: С.В. Митурич. М. : Три квадрата, 2013. 176 с.
12. Архив Филиппова : рукопись. В настоящее время архив не систематизирован и не имеет шифра. Хранится в частном собрании.
13. Немцова Н.И. Владимиро-суздальские рамочные изразцы // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М. : Наука, 1991. С. 75–94.
14. Лисенкова Ю.Ю. Изразцовое убранство храмов Великого Устюга XVII–XVIII вв. // Вестник РГГУ. 2013. № 7. С. 208–216.
15. Отдел Учета Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII века». Папка ГМФ. 1929. № 3. Акты приемки. 30.03.1929 г. Оп. 1. Д. 14. Л. 12.

Svetlana I. Baranova, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation). E-mail: svetlanbaranova@yandex.ru
REGIONAL VERSIONS OF THE TILE DECOR. ABOUT THE CONCEPT OF “NORTHERN DVINA STYLE”

Keywords: tile; artistic craft; Russian North; A.V. Filippov; historiography of applied art; Veliky Ustyug; Totma.

It is well-known that tiles produced in Muscovy in the 17th and partly in the 18th century, in terms of its plots and artistic features, had uniformity and an obvious standard. The reason behind that lays in fact that the very history of tiles' distribution comes from one particular center which is, indeed, Moscow, and, of course, in its printing, because tiles were made according to one specific technology and served unified usage, such as designing the exteriors and interiors of status buildings, including such an important for the national culture architectural form as stove. Thus, paying attention to the individual local trends and formation of local centers which are different from the metropolitan ones is very important for understanding of the Russian province's culture development. Among them, we can distinguish monuments of tiling basically connected with Veliky Ustyug and, partly, with Totma, which are located in the basin of the Northern Dvina River, and, maybe, some other large towns, such as, for example, Vologda.

There is no such term as “Northern Dvina style” in the modern scientific literature. The very possibility of highlighting the “North Dvina Style” in the art of Russian tiles and using this term as a tool in a discussion about the peculiarities of the development of the material culture of the Late Middle Ages and the New Age in the North deserves special consideration. This required, firstly, referring to

the materials of the archive of A.V. Filippov, which made it possible to understand the course of his thought and restore the foundations, on which he relied in the selection of tile masters of Veliky Ustyug and Totma into a separate craft group. Secondly, the field and analytical studies carried out in recent decades in the specified region were reviewed anew. Thirdly, the samples of the products of this school were revised and redefined, which are presented in large numbers in the collections of a number of the largest museums in Russia, but are usually incorrectly attributed.

The article discusses the history of the emergence of this concept, which takes place in the works of Alexey Vasilyevich Filippov, the famous Russian researcher of applied art and history of silicate building materials production technology. Here are given the data on the collection of materials during A.V. Filippov's special research trips to the North in 1927, where he examined and studied more than a hundred old tiled stoves, at that time been in the houses of local residents or already dismantled and turned into sets of tiles, and also tiles on the facades of churches. The following is the history of the largest center of tile production and the characteristic features of Ustyug tiles, which determined the originality of the "North Dvina style".

The conclusion of the study confirms the validity of distinguishing of a special style of tiles by A.V. Filippov, the objective nature of the term he proposed and the need for its actualization in modern scientific discourse.

REFERENCES

1. Baranova, S.I. (2007) Migratsiya moskovskikh izraztsov [Migration of Moscow tiles]. In: Verkhovskaya, E.A. (ed.) *Kolomenskoe: materialy i issledovaniya* [Kolomenskoye: Materials and Research]. Vol. 9. Moscow: MGOMZ. pp. 64–78.
2. Baranova, S.I. (2011) *Russkiy izrazets : zapiski muzeynogo khranitel'ya* [Russian tiles: notes of a museum curator]. Moscow: MGOMZ.
3. Baranova, S.I. (2014) Moskovskiy izrazets XVII veka: ot Belogo morya do Povolzh'ya i Sibiri [The Moscow tile of the 17th century: from the White Sea to the Volga region and Siberia]. In: Bondarenko, I.A. (ed.) *Arkhitekturnoe nasledstvo* [Architectural Heritage]. Vol. 60. Moscow; St. Petersburg: Kolo. pp. 43–59.
4. Baranova, S.I. (2014) Seventeenth century Moscow tiles in Russia. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*. 1(57). pp. 98–106. (In Russian).
5. Filippov, A.V. (1940) *Drevnerusskie izraztsy* [Old Russian tiles]. Vol. 2. [Online] Available from: <http://www.rusarch.ru/filippov1.htm> (Accessed: 29th February 2012).
6. Maslikh, S.A. (1983) *Russkoe izraztsovoe iskusstvo XV–XIX vekov* [Russian tile art of the 15th – 19th centuries]. 2nd ed. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo.
7. *Krasnyy Sever*. (1927) Zachem priekhal professor Filippov [Why did Professor Filippov come]. 30th June.
8. Maslikh, S.A. (1976) *Russkoe izraztsovoe iskusstvo XV–XIX vekov* [Russian tile art of the 15th – 19th centuries]. 1st ed. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo.
9. Baranova, S.I. & Lisenkova, Yu.Yu. (2012) Izraztsovyi dekor pamyatnikov arkhitektury Velikogo Ustyuga [Tiled decor of architectural monuments in Veliky Ustyug]. In: Bondarenko, I.A. (ed.) *Arkhitekturnoe nasledstvo* [Architectural Heritage]. Vol. 56. Moscow; St. Petersburg: KRASAND. pp. 77–94.
10. Lisenkova, Yu.Yu. (2012) *Izraztsovoe ubranstvo khramov Velikogo Ustyuga XVII – pervoy poloviny XVIII vekov. Etapy razvitiya i khudozhestvennye osobennosti* [Tile decoration of churches in Great Ustyug of the 17th – first half of the 18th centuries. Development stages and artistic features]. Abstract of Art Studies Cand. Diss. Moscow.
11. Miturich, S.V. (2013) *Velikoustyugskiy istoriko-arkhitekturnyy i khudozhestvennyy muzey-zapovednik: al'bom-putevoditel' po kolleksiyam narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva* [The Veliky Ustyug Historical, Architectural and Art Museum-Reserve: An Album-Guide to Collections of Folk and Decorative and Applied Art]. Moscow: Tri kvadrata.
12. The Filippov's Archive: manuscript. The Archive is not systematized and has no cipher. In a private collection.
13. Nemtsova, N.I. (1991) Vladimiro-suzdal'skie ramochnye izraztsy [The Vladimir-Suzdal frame tiles]. In: Vygolov, V.P. (ed.) *Pamyatniki russkoy arkhitektury i monumental'nogo iskusstva* [Monuments of Russian Architecture and Monumental Art]. Moscow: Nauka. pp. 75–94.
14. Lisenkova, Yu.Yu. (2013) Izraztsovoe ubranstvo khramov Velikogo Ustyuga XVII–XVIII vv. [Tile decoration of churches of Great Ustyug of the 17th – 18th centuries]. *Vestnik RGGU*. № 7. pp. 208–216. (In Russian).
15. The Accounting Department of the State Museum of Ceramics and "Kuskovo Estate of the 18th century". Folder GMF. 1929. № 3. Acceptance certificates. March 30, 1929. List 1. File. 14. p. 12.

УДК 902:739.5(470+571)
DOI: 10.17223/19988613/68/3

Л.А. Беляев

РУССКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КРЕСТЫ И ИКОНКИ XVII–XIX ВЕКОВ: СИБИРСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Статья подготовлена в рамках НИОКТР АААА-А18-118021690056-7 «Динамика исторической жизни и культурная идентичность в Восточной Европе от эпохи Великого переселения народов до Московской Руси – археологическое измерение».

Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Ставится вопрос о необходимости новой методики анализа предметов христианского благочестия, в первую очередь литых из сплавов меди и вообще металлических. Многочисленность и популярность металлических литых изделий в России XVII–XIX вв. выделяет их в один из признаков своеобразия культуры Московского царства. Сибирь особо важна, так как христианская мелкая пластика имеет здесь нижнюю границу появления, конец XVI в. Работа с локальными, этноконфессионально окрашенными вариантами предметного мира способствует развитию «русской археологии» Сибири и ускоряет формирование национальной археологии всей России.

Ключевые слова: молитвенные образы; подвесные кресты и иконы; Сибирь; Московское государство; национальная археология России.

В статье¹ предлагаются новые версии в подходе к изучению малой пластики с христианскими сюжетами конца Средневековья и Нового времени в России. Это подходы картографический и хронологический, т.е. вполне традиционные, но в тесной связи с корректировкой принятых приемов типологии / иконографии, а также с этнокультурной и этноконфессиональной проблематикой. Таким образом, статья строится как постановка задачи, как формулирование вопросов, которые следует задать давно известному, очень обильному и вместе с тем чрезвычайно рыхлому, сравнительно плохо структурированному материалу. Конкретная, практическая цель этой ревизии методов – найти возможность использовать огромную и крайне привлекательную для «знаточеского» изучения (в том числе для коллекционирования) общность предметов в работе по формированию национальной археологии России, причем с опорой на огромное пространство от Урала до Тихого океана. Вероятный инструментальный результат здесь может быть достигнут в области хронологии, истории технологии, археологии потребления, культурных контактов и т.п. Однако рисуется более общая и высокая цель – выделить еще одну дефиницию, определяющую культурное своеобразие Московской Руси в «длинном» интервале от зарождения во второй половине XII–XIV в. до финала в империи Нового времени (а отчасти даже в новейший период и в современном срезе).

Эта работа вписывается в уже существующий контекст национальной археологии России, где за последние 20–40 лет удалось, как представляется, выстроить методику работы с локально окрашенными варианта-

ми предметного мира. Оказалось, что они способны служить доказательными и понятными признаками для выделения культуры ранней Москвы и Московского царства. Эти элементы обнаруживают генетическую связь со средиземноморским кругом, причем в самых различных, часто далеко отстоящих друг от друга по хронологии и территории вариантах. Таким образом, установление происхождения отдельных элементов помогает выделять этнокультурные маркеры. Но, сколь ни ценно оно само по себе, это лишь один из элементов генезиса. Гораздо важнее выявление особенностей механизма запроса на новшества, их восприятия и дальнейшей переработки, использования, приспособления к местной культурной среде [1, 2].

Итак, выделяемые элементы в основном заимствованы в тех или иных областях культуры Запада, реже исламского Востока. Но это только первая стадия генезиса. Основой является не заимствование (лучше сказать – знакомство) с тем или иным классом объектов, но выбор образца и его последующее присвоение, часто связанные с выработкой характерного, узнаваемого местного типа и его дальнейшим широким распространением. В результате составляются хорошо выраженные, выглядящие как вполне самостоятельные группы предметов с особыми хронологическими и географическими рамками, отвечающими распространению власти великого князя, а затем царя Московского. Среди наиболее точных культурных признаков – погребальные древности: такие неоспоримо «московские», как антропоморфные белокаменные саркофаги с их четкой привязкой к слою родовой аристократии и не менее четкими временными рамками рубежа

XIV / XV – середины XVII в. (библиографию и дискуссию см.: [3]); связанные с ними и практически синхронные им намогильные плиты XIV–XVII вв. [4]; недавно выделенные на основе аналогии орнамента и хроногеографии распространения белокаменные «московские» кресты [5]. Их распространение показывает отчетливую связь с московской традицией – несмотря на то что в большинстве это тяжелые и громоздкие изделия, по сути – малые архитектурные формы.

В области вещевой укажем на столь же зависящие от движения московской «моды» предметы, например чашечки для елеопомазания, появляющиеся в погребениях с конца XIV в. [6], и особые виды текстильных изделий (импортный характер многих из них не меняет дела: как выясняется, платежеспособный спрос московского рынка эффективно влиял на столь отдаленные сферы, как производство и торговля сукнами в Северной Европе, что подтверждает хронокартография пломб) [7]. Не столь выразительны, но до известной степени показательны также некоторые технологические формы бытовой керамики, такие как индустрия московской «красной» посуды XV–XVI вв. Два последних элемента имеют продолжение и после завершения московского этапа культуры, протягиваются в XVIII–XIX вв., меняя при этом внешнее обличье.

В более позднее время, в XVII в., очевиден новый, оригинальный (хотя и с явным европейским генезисом) вид продукции – характерные московские изразцы, тесно связанные с архитектурой, бытом, художественной жизнью Московского царства (см.: [8] и другие работы автора). В области архитектуры даже делеция культурных элементов, как ни парадоксально, способна обозначить особую московскую традицию. Так, использование черепицы, производство которой выходит в Московии XVI–XVII вв. на высокий технологический уровень, характерно только для этой эпохи: в XI–XV вв. такой тип кровельного покрытия не применяли вовсе, а после «архитектурной революции» Петра I он так и не получил серьезного распространения. Очень важны как генезис этого элемента (показавший зависимость от итальянского строительства, а в нем – от практики архитекторов-витрувианцев [9]), так и рождение местных форм и их очевидная привязанность к сакральным и высоко статусным сооружениям, т.е. церквям (в основном главы и вообще посвояемые покрытия), дворцам, башням крепостей [10].

Это, конечно, далеко не весь спектр материальной культуры Московского царства, и совсем не обязательно, что элементы «московскости» окажется возможным выявить во всех ее разделах. Но особенно популярные, многочисленные, явно выделяемые потребителям изделия давно следует рассмотреть с этой точки зрения.

Безусловно, к ним относятся христианские молитвенные апотропеи – подвесные иконки и кресты (последние, собственно, являются разновидностью иконок). Они были широко распространены и образовали легко выделяемую уже на визуальном уровне (с учетом форм, особенностей техники и функций) область характерных русских изделий XVI–XVII вв. Они имеют все те же характерные особенности: типология и

иконография обнаруживают родство не столько со старовизантийской традицией, сколько с общехристианскими формами эпохи Контрреформации в Европе, однако в московской версии они несколько трансформированы, так что способны служить образцами именно русской православной пластики и в XVIII, и в XIX в. Да и распространены они здесь гораздо шире, чем на Западе. Примером могут служить крестики с «лучами» и орудиями Страстей, встречаемые на кладбищах воинов и первопроходцев второй половины XVII – первой половины XVIII в. от Азова и Дербента до острогов Сибири и Дальнего Востока (Албазинский, Илимский и др.), хотя исходный центр помещался, очевидно, в Центральной России, если не прямо в Московском уезде. Характерны и ромбические богато декорированные кресты, и появляющиеся (явно под влиянием католической иконографии) сцены Распятия на фоне виноградных лоз, и другие вестернизованные версии [11].

Нет ни возможности, ни нужды говорить о всем многообразии русской литой церковной пластики XVII–XIX вв., ей уделяется достаточно внимания, издаются специальные сборники и монографии [12, 13], проводятся выставки. Но следует отметить ее исключительную массовость и мобильный характер; то и другое очень важно для исследования передвижения «московских людей» в пространстве, а также для изучения проникновения таких изделий в конфессионально и этнически инородную среду.

Это, конечно, очевидные факты. Как превратить их в инструментальные? Вероятно, следует уйти из области «знаточества» и «коллекционирования». Не секрет, что изделия православной литой пластики в России служат предметом собирательства, по крайней мере с XIX в., и этот процесс не был остановлен даже в атеистический период, а с 1980-х гг. стал широко распространенным увлечением. Известна также ненадежность хронологии изделий: при более или менее ясных датах начала их умножения дробные ступени развития выделяются, скорее, интуитивно, с опорой на авторитет «знатока» или музейного эксперта (как правило, следующего в русле той же самой традиции).

Не легче обстоит дело и с конфессиональной характеристикой этого материала. В литературе свободно гуляют такие термины, как «старообрядческая пластика», «старообрядческое литье» и им подобные. Несомненно, центры литья последователей старого обряда существовали, их продукция изучалась. Но вот использование ее на пространстве России, принятие или отторжение ее иконографии в «народной церкви», т.е. представителями традиционного православия, все-таки до сих пор не рассмотрены, так же как нет и попыток обратного; правильно было бы установить, до какой степени произведенные православными литые изделия оказывались под запретом для блюстителей старой веры (речь, конечно, идет только о таких изделиях, где признаки никоновской реформы не выражены наглядно). Говоря короче, нет смысла именовать всю общность литой пластики второй половины XVII – XIX в., особенно в отдаленных районах Севера и в Сибири, «старообрядческим литьем».

Можно сказать, что перед нами две технические задачи. Первая – на основе надежных свидетельств выделить хронологические маркеры развития религиозной малой пластики. Такими маркерами должны служить точно датированные независимыми материалами закрытые археологические комплексы. Недавно, когда возникла необходимость проверить традиционными способами типологии / иконографии сомнительную дату литого изделия, установленную естествен-

нонаучным методом, выяснилось, что пределах XV–XVIII вв. (и даже позднее) основа для такой датировки пока отсутствует (речь идет о литом кресте-энколпионе из Новодевичьего монастыря, в конце концов датированном второй половиной XVI – концом XVII в. по стратиграфии, в то время как естественнонаучная дата указала на время не ранее конца XIX в., а иконографическая «музейная» указывала на вторую половину XV – середину XVI в.) (рис. 1, 1) [14].

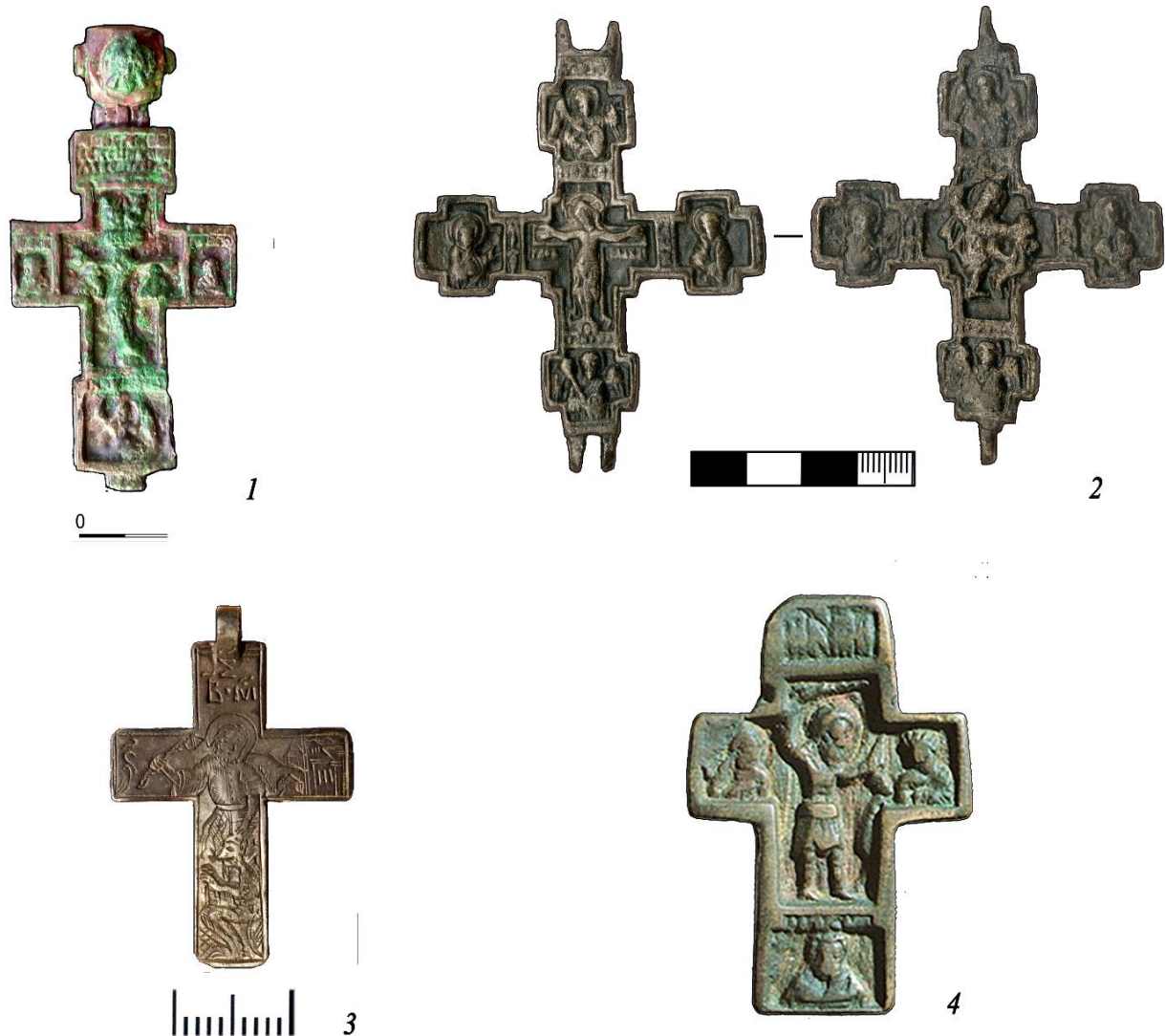


Рис. 1. Крест-энколпион второй половины, лицевая сторона, литье, XVI–XVII вв.; Новодевичий монастырь, Москва, раскопки ИА РАН, 2017 г. (1); крест-энколпион, литье, XIV–XV вв.; Зачатьевский (Алексеевский) монастырь на Остоженке, Москва, раскопки ИА РАН, 2000-е гг. (2); подвесной крест, гравировка, чернь, вторая половина XVII в.; Новодевичья слобода, Москва, раскопки ИА РАН, 2015 г. (3); подвесной крест, литье, эмаль, XVII в.; Данилов монастырь, Москва, раскопки 1980-х гг. (4)

Именно здесь кажется важным привлечь ресурсы «русской археологии» Сибири. Совершенно очевидно, что историческая канва ее освоения переселенцами из-за Урала позволяет выработать коллективный *terminus post quem* – последняя четверть XVI в. Конечно, этого недостаточно для точной градуировки, основой которой должен послужить материал сибирских объектов, имеющих точную дату основания (таких объектов, прежде всего острогов, значительное количество, и они усиленно изучаются в последнюю четверть века). Давно следует составить полный свод изделий религи-

озной литой малой пластики, обнаруженных при раскопках памятников русского присутствия на восток от Урала, выделив образцы с твердой нижней (еще лучше бы, конечно, просто с твердой) датой. Трудно сказать, насколько подъемным трудом окажется такая сводка, но нет сомнений в том, что грант на подобную работу не пропадет зря, а поставленная в качестве задачи аспиранту, обладающему должными амбициями, она получит все шансы на успешную защиту. Можно, конечно, и разделить тему в пространстве, поручив такие сборы исследователям отдельных регионов.

Следующим этапом работы, если и когда она будет исполнена, видится сравнение получивших даты образцов с общей картиной имеющихся аналогичных изделий. После чего, возможно, появится почва для выделения региональных особенностей набора предметов – его нужно будет пополнить материалами из музейных коллекций и даже частных собраний, где они лишены надежных паспортов. Все это даст надежду на выявление групп изделий, связанных с той или иной конфессиональной группой христианского населения Сибири. Надежда эта, думается, не слишком велика, но лучше получить отрицательный ответ, чем без оснований делить предметы на старообрядческие и ортодоксальные.

Речь, конечно, не только о выделении старообрядческой пластики. Важно рассмотреть и более ранние иконографические модели, получить ясное суждение об их источнике.

Полагают, что для XIII–XV вв. маркером новгородского присутствия следует считать сюжет «Гроб Господень», принадлежащий к кругу европейских паломнических сюжетов эпохи поздней романики, – иконографические штудии это подтвердили (так же как интерес к нему старообрядцев, не видевших, конечно, в этом сюжете латинских нитей). [15; 16. Табл. 67]

В связи со всем этим, по-видимому, должно быть сформировано и особое направление «народной», апокрифической иконографии с ее удивительно далеко простирающимися побегам. Яркий пример таковой – увлекавший многих исследователей сюжет побиения беса святым Никитой (в последние два десятилетия учетом изделий с такой иконографией много занимается В.В. Хухарев, подсчеты которого интересны) [17, 18]. Деяния этого персонажа, уже в Средние века отслоившись от апокрифического жития святого Никиты Готфского, проникли в часть Прологов и в область гимнографии. Святой Никита оказался, наряду со святым Николаем Мирликийским (от которого его, впрочем, многое отличает) одним из самых почитаемых святых в народной религии России. Его Житие включалось в некоторые Прологи и Минеи Четьи, но не смогло там удержаться и при ревизии древнерусских церковных сочинений в первой четверти XVIII в. попало под запрет. По определению Синода, оно было изъято из официальной церковной книжности, а Никита Бесогон исключен из церковных календарей (полную библиографию см.: [19]).

Отмеченная еще в XIX в. странная приверженность к изображениям этого святого, которые включались и в клейма подвесных крестов всех видов, и, реже, в подвесные или путевые иконки, вряд ли требует объяснений. Ее следует просто признать как наблюдаемый на материале историко-этнографический факт, отметив, что герой-победитель злого начала выглядит естественной фигурой в ряду святых защитников. Выбор именно его из достаточно обширного списка допустимо объяснять тем, что на Руси этот сюжет оказался связанным и со значением имени святого (победитель), и с образованным от этого слова именем креста (Никитирион).

Очевидное народное почитание святого само по себе уже включает его в набор специфически московских сюжетов. Конечно, район или точка, откуда началось распространение иконографии, с неизбежностью стали вопросом дискуссии. Изначально считалось, что этот район – Тверь и другие земли Северо-Запада. Более того, на такой основе делались выводы о заселенности тех или иных районов Москвы выходцами из тверских пределов [20]. По мере расширения работ становится все яснее, что, как бы ни выглядел генезис предметов с такой иконографией, в Москве XV–XVI вв. они были распространены не менее, чем в других местностях. Фактически нет ни одного изученного археологами монастыря в Москве, где сюжет «Никита мучает беса» не был бы представлен серией находок, причем встречаются они и на приходских кладбищах, давая подчас исключительно яркие, практически уникальные образцы (рис. 1, 2, 3, 4).

Несомненно, необходим отдельный свод с картограммой встречаемости, который включит не только памятники до конца московского периода, но и более поздние. Априорно считается, что его и позже продолжали почитать в среде староверов, так что апокрифический сюжет «мучения беса» после его изыятия из святцев (отчасти, возможно, именно поэтому) сохранил популярность, получил исключительно широкое распространение за Уралом и встречается чаще всего в тех районах, которых достигали и где селились русские первопроходцы в XVII–XIX вв.

Возможно, все это так и есть, но хотелось бы увидеть статистические подтверждения, причем в сравнении с другими сюжетами, на фоне общих подсчетов, примерно так, как это было сделано в свое время с каменными иконками Т.В. Николаевой [16]. Это очень многодельная работа, но и она осуществима, если начать с определенных локусов с перспективой собрать затем таблицы воедино. Отметим, что спонтанно достоверность утверждений подтверждается не во всех выборках. Так, в часто используемой сводке крестов из Илимского острога нет не только изображений Никиты Бесогона, но и вообще святых – представлены только стандартные (при всей их развитости) христологические композиции. Совершенно такую же картину дают находки в Албазинском и некоторых других острогах [21, 22]. Возможно, в чисто этнографических сборах религиозной пластики Сибири, относящихся к концу XVIII–XIX в., картина будет иной².

В завершение отметим еще одну сторону рассмотрения христианской металлопластики в сибирской перспективе. Должным образом изученная, она обещает ярче осветить процесс формирования евразийского пространства, показать важные элементы единой культурно-ментальной матрицы, обычно менее заметной, но гораздо более надежной и позитивной, чем административно-политические скрепы. Работа с локальными, окрашенными этноконфессионально вариантами предметного мира на огромном пространстве от Урала до Тихого океана будет способствовать не только развитию «русской археологии» Сибири, она ускорит формирование национальной археологии всей России.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Статья представляет текст доклада на конференции, поэтому снабжена сносками только на самую общую литературу. Полный ее обзор – дело будущего.

² Во всяком случае в области нелегальной торговли литые предметы (в основном иконки-плакетки) с таким сюжетом представлены очень хорошо.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беляев Л. А. Историческая археология России: неожиданные перспективы // Труды Отделения историко-филологических наук РАН. 2018. М., 2019. С. 121–133.
2. Беляев Л.А. Археология России Нового времени: тенденции развития // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 49. С. 66–70.
3. Беляев Л.А. К хронологии антропоморфных саркофагов Руси XV–XVII вв. // КСИА. 2018. Вып. 252. С. 219–232.
4. Беляев Л.А. Надгробие (до XVIII в.) // Православная энциклопедия. М. : Православная энциклопедия, 2017. Т. 48. С. 284–292.
5. Алексеев А.В., Кузьменко С.В. Московские средневековые каменные кресты с геометрическим декором. Москва ; Звенигород, 2020. 124 с.
6. Беляев Л.А. К истории и методике изучения погребальных сосудов Позднего Средневековья // De mare ad mare. Археология и история. Смоленск : Свиток, 2017. С. 119–136.
7. Беляев Л.А. Свинцовые пломбы Москвы и стратиграфия раскопа № 7/2015 в Зарядье // Нескончаемое лето : сб. статей в честь Елены Александровны Рыбиной. М. ; Великий Новгород, 2018. С. 24–26.
8. Баранова С.И. Русский изразец : записки музейного хранителя. М. : МГОМЗ, 2011. 432 с.
9. Баранова С.И., Беляев Л.А. Рождение черепицы: первые керамические кровли Руси (XV в.) // Комплексный подход в изучении Древней Руси. М., 2019. С. 25–26.
10. Беляев Л.А. Наброски по археологии Ренессанса в России XVI века // Археология художественного видения: художественно-исторические контексты. М. : РГГУ, 2019. С. 212–234.
11. Гнутова С.В. Орудия Страстей Христовых на русских крестах XVII–XIX веков. // Россия и христианский Восток. URL: <https://ros-vos.net/christian-culture/12/1/1/>
12. Русское медное литье : сб. статей / сост. и науч. ред. С.В. Гнутова. М. : Сол Систем, 1993. Вып. 1-2. 43, 200 с.
13. Беляев Л.А. Натальный крест // Православная энциклопедия. М. : Православная энциклопедия, 2017. Т. 48. С. 430.
14. Беляев Л.А. Крест из Новодевичьего монастыря: археологический контекст и типология энколпионов XVI–XVII вв. // Российская археология. 2020. № 4. В печати.
15. Беляев Л.А. Пространство как реликвия: о назначении и символике каменных иконок Гроба Господня // Восточно-христианские реликвии. М., 2003. С. 482–512.
16. Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня, XI–XV вв. М. : Наука, 1983. 161 с.
17. Хухарев В.В. Кресты и иконки с сюжетом «Никитино мучение» // Археология Подмосковья. М. : Ин-т археологии РАН, 2015. Вып. 11. С. 455–466.
18. Хухарев В.В. Святой влкм. Никита, погонитель бесов – в медном литье старообрядцев // Рябининские чтения – 2015. Петрозаводск : Музей-заповедник «Киж», 2015. С. 246–250.
19. Крюкова А.Н., Прокопенко Д.В., Макаров Е.Е., Саенкова Е.М. Никита, великомученик Готфский // Православная энциклопедия. М. : Православная энциклопедия, 2018. Т. 49. С. 525–535.
20. Векслер А.Г., Беркович В.А. Находки натальных крестов с изображением святого Никиты-бесогона из раскопок на улице Большая Дмитровка в Москве // Статистический сборник. М., 2005. Кн. 3. С. 223–230.
21. Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога. Новосибирск : ИНФОЛИО, 2007. 248 с.
22. Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII–XVIII вв. Владивосток, 1999. 335 с.

Leonid A. Belyaev, Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: labeliaev@bk.ru

RUSSIAN PENDANT CROSSES AND ICONS OF THE 17th–19th C. IN THE SIBERIAN OUTLOOK

Keywords: devotional images; pendant crosses and icons; Siberia; Moscow state; national archaeology of Russia.

The article raises the question of the need for a new method of processing objects of Christian piety, primarily cast from copper alloys and metal in general. They are still studied in the same ways as the rather rare hanging icons made of stone, precious metals, wood and bone. In contrast, metal cast products in Russia in the 17–19th centuries. were exceptionally numerous. This popularity itself turns them into one of the signs of the uniqueness of the culture of the Muscovy, inherited and developed by the peoples of the Russian Empire. The excessive number of metal icons and crosses presupposes their statistical processing and mapping. But these methods are difficult to apply if each product is included in the catalog as a unique item with a detailed description. It is necessary, archaeologically fixing each find and including in the review all items of museum storage, to obtain, on their basis, a complete picture of the occurrence of individual form-types of products, establish their more detailed chronology, highlight and compare iconographic subjects in different parts of the country. Siberia is especially important, since Christian small plastic art has a lower limit of appearance here, the end of the 16th century. In addition, many monuments of the Russian development of Siberia did not exist for too long, the finds on them have narrow dates. It is assumed that certain plots of iconography, such as the apocryphal scene of Saint Nikita beating the demon, persisted longer and were more widespread than in European Russia, possibly due to the large percentage of adherents of the old faith. However, until now the publications of Siberian collections do not support this hypothesis. One way or another, the place of this saint in the folk religion of Russians in Siberia may shed light on the reasons for his high popularity, on the reasons for the singling out of this particular Byzantine saint among the host of other ascetics as revered mainly by Orthodox Russians.

It is likely that a broader and more systematic coverage of the material will make it possible to more clearly identify the features of Russian religious plasticity, finally securing for this gigantic community the nature of the definition of the Russian presence, the bearer of special cultural features developed in the era of the Muscovite kingdom. It promises to be on a par with such already clearly identified, but far from so widespread in space and time, features of "Moscowness" as anthropomorphic sarcophagi, special tombstones, burial vessels and stone crosses, some forms of ceramic products, tiles from the 17th century. Such work with local, ethno-confessional-colored variants of the objective world contributes to the development of "Russian archeology" in Siberia and accelerates the formation of national archeology throughout Russia.

REFERENCES

1. Belyayev, L.A. (2019) Istoricheskaya arkheologiya Rossii: neozhidannye perspektivy [Russian historical archeology: unexpected prospects]. In: Tishkov, V.A. (ed.) *Trudy Otdeleniya istoriko-filologicheskikh nauk RAN. 2018* [Proceedings of the Department of Historical and Philological Sciences of the Russian Academy of Sciences. 2018]. Moscow: RAS. pp. 121–133.
2. Belyaev, L.A. (2017) Historical Archaeology in Russia: New Directions of Research. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 49. pp. 66–70. (In Russian). DOI: 10.17223/19988613/49/12
3. Belyaev, L.A. (2018) Chronology of Anthropomorphic Sarcophagi in Medieval Russia of the 15th–17th Centuries. *Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii – KSIA (Brief Communications of the Institute of Archaeology)*. 252. pp. 219–232. (In Russian).
4. Belyaev, L.A. (2017) Nadgrobiye (do XVIII v.) [The tombstone (until the 18th century)]. In: Patriarch of Moscow and All Russia Kirill. (ed.) *Pravoslavnaya entsiklopediya* [Orthodox Encyclopedia]. Vol. 48. Moscow: Pravoslavnaya entsiklopediya. pp. 284–292.
5. Alekseev, A.V. & Kuzmenko, S.V. (2020) *Moskovskie srednevekove kamennye kresty s geometricheskimi dekorami* [Moscow medieval stone crosses with geometric décor]. Moscow; Zvenigorod: RAS.
6. Belyaev, L.A. (2017) K istorii i metodike izucheniya pogrebal'nykh sudov Pozdnego Srednevekov'ya [On the history and methods of studying the burial vessels of the Late Middle Ages]. In: Belyaev, L.A. & Gonyany, M.I. (eds) *De mare ad mare. Arkheologiya i istoriya* [De mare ad mare. Archeology and History]. Smolensk: Svitok. pp. 119–136.
7. Belyaev, L.A. (2018) Svintsovyye plomby Moskvyy i stratigrafiya raskopa № 7/2015 v Zaryad'e [Lead seals in Moscow and stratigraphy of excavation No. 7/2015 in Zaryadye]. In: Singkh, V.K. (ed.) *Neskonchayemoe leto* [Endless Summer]. Moscow; Velikiy Novgorod: [s.n.]. pp. 24–26.
8. Baranova, S.I. (2011) *Russkiy izrazets. Zapiski muzeynogo khranitel'ya* [Russian tile. Notes of a museum curator]. Moscow: MGOMZ.
9. Baranova, S.I. & Belyaev, L.A. (2019) Rozhdenie cherepitsy: pervyye keramicheskiye krovli Rusi (XV v.) [The birth of tiles: the first ceramic roofs in Russia (15th century)]. In: Konyavskaya, E.L. (ed.) *Kompleksnyy podkhod v izuchenii Drevney Rusi* [An Integrated Approach to the Study of Ancient Russia]. Moscow: Indrik. pp. 25–26.
10. Belyaev, L.A. (2019) Nabroski po arkheologii Renessansa v Rossii XVI veka [Sketches on the Archeology of the Renaissance in Russia in the 16th century]. In: Limanskaya, L.Yu. (ed.) *Arkheologiya khudozhestvennogo videniya: khudozhestvenno-istoricheskiye konteksty* [Archeology of Artistic Vision: Artistic and Historical Contexts]. Moscow: RSUH. pp. 212–234.
11. Gnutova, S.V. (n.d.) *Orudiya Strastey Khristovykh na russkikh krestakh XVII–XIX vekov* [Instruments of the Passion of Christ on Russian crosses of the 17th – 19th centuries]. [Online] Available from: <https://ros-vos.net/christian-culture/12/1/>
12. Gnutova, S.V. (ed.) (1993) *Russkoye mednoe lit'e* [Russian copper casting]. Vol. 1–2. Moscow: Sol Sistem.
13. Belyaev, L.A. (2017) Natel'nyy krest [Baptismal cross]. In: Patriarch of Moscow and All Russia Kirill. (ed.) *Pravoslavnaya entsiklopediya* [Orthodox Encyclopedia]. Vol. 48. Moscow: Pravoslavnaya entsiklopediya. p. 430.
14. Belyaev, L.A. (2020) Krest iz Novodevich'ego monastyr'ya: arkheologicheskiy kontekst i tipologiya enkolpionov XVI–XVII vv. [Cross from Novodevichy Convent: Archaeological Context and Typology of Encolpions of the 16th–17th centuries]. *Rossiyskaya arkheologiya – Russian Archeology*. 4. [In print].
15. Belyaev, L.A. (2003) Prostranstvo kak relikviya: o naznachении i simvolike kamennykh ikonok Groba Gospodnya [Space as a relic: on the purpose and symbolism of the stone icons of the Holy Sepulcher]. In: Lidov, A.M. (ed.) *Vostochno-khristianskiye relikvii* [Eastern Christian relics]. Moscow: Progress-Traditsiya. pp. 482–512.
16. Nikolaeva, T.V. (1983) *Drevnerusskaya melkaya plastika iz kamnya, XI–XV vv.* [Old Russian small plastic made of stone, the 11th – 15th centuries]. Moscow: Nauka.
17. Khukharev, V.V. (2015) Kresty i ikonki s syuzhetom “Nikitino mucheniye” [Crosses and icons with the plot “Nikita’s torment”]. In: Engovatova, A.V. (ed.) *Arkheologiya Podmoskov'ya* [Archeology of the Moscow Region]. Vol. 11. Moscow: RAS. pp. 455–466.
18. Khukharev, V.V. (2015) Svyatoy vlkm. Nikita, pogonitel' besov – v mednom lit'e staroobryadtsev [Holy Great Martyr Nikita, the Exterminator of Demons, in the copper casting of the Old Believers]. In: Ivanova, T.G. (ed.) *Ryabininskie chteniya – 2015* [The Ryabinin Reading – 2015]. Petrozavodsk: [s.n.]. pp. 246–250.
19. Kryukova, A.N., Prokopenko, D.V., Makarov, E.E. & Saenkova, E.M. (2018) Nikita, velikomuchenik Gotfskiy [Nikita, the Great Martyr of Gotf]. In: Patriarch of Moscow and All Russia Kirill. (ed.) *Pravoslavnaya entsiklopediya* [Orthodox Encyclopedia]. Vol. 49. Moscow: Pravoslavnaya entsiklopediya. pp. 525–535.
20. Veksler, A.G. & Berkovich, V.A. (2005) Nakhodki natel'nykh krestov s izobrazheniem svyatogo Nikity–besogona iz raskopok na ulitse Bol'shaya Dmitrovka v Moskve [Finds of pectoral crosses depicting St. Nikita the Exorcist from excavations on Bolshaya Dmitrovka Street in Moscow]. In: Soloviev, V. (ed.) *Stavrograficheskiy sbornik* [Stavrographic Collection]. Vol. 3. Moscow: Moscow Patriarchate; Drevlekhranilishche. pp. 223–230.
21. Molodin, V.I. (2007) *Kresty-tel'niki Ilimskogo ostroga* [Crosses of the Ilimsk fortified town]. Novosibirsk: Infolio.
22. Artemiev, A.R. (1999) *Goroda i ostrogi Zabaykal'ya i Priamur'ya vo vtoroy polovine XVII – XVIII vv.* [Towns and forts of Transbaikalia and the Amur Region in the second half of the 17th – 18th centuries]. Vladivostok: [s.n.].

УДК 902(571.1)
DOI: 10.17223/19988613/68/4

В.В. Бобров

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В НОВЫХ ФОРМАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Дан анализ методологии научных исследований в западносибирской археологии в новых формационных условиях. Несмотря на негативные последствия реформаторской политики, археологическая наука не только сохраняет собственные традиционные методы и подходы в исследованиях, но и развивает новые в рамках субдисциплин. Трансформация связана с внедрением общих гуманитарных методологических направлений зарубежной науки, таких как структурализм, диффузионизм, детерминизм. Обозначены некоторые современные проблемы теоретического характера западносибирской археологии. Раскрыто значение Западносибирских археолого-этнографических конференций для развития теоретико-методологического направления науки.

Ключевые слова: археология; методология; теория; Западная Сибирь; структурализм; диффузионизм; системный подход.

30 лет существования отечественной гуманитарной науки в новых идеологических условиях не могло не отразиться на ее общеметодологических принципах и теории. По выражению академика А.О. Чубарьяна, десять лет потребовалось историкам на поиски общей идеологической платформы в 1990-е гг. В отличие от них археологическая наука в большей степени была подготовлена к кардинальным изменениям, затронувшим всю социально-экономическую систему страны, включая надстроечные институты. Советская археология была знакома с методологическими подходами и теоретическими разработками зарубежных специалистов, хотя и в ограниченном варианте. Более того, идеология «новой», или «процессуальной», археологии, получившей распространение в странах Старого и Нового Света в 60–70-х гг. прошлого столетия, была близка общей методологической платформе советской археологии [1. С. 6, 318; 2. С. 364–365]. Современный этап развития отечественной археологии, на мой взгляд, сохраняет традиционную методологическую основу, особенно выраженную в «историзме» науки, но при этом использует и многие достижения зарубежных партнеров в области методики и научных подходов. Результат интеграционных процессов, «науки без границ», нашел отражение в археологии азиатской части России, в частности Западной Сибири. Вряд ли ошибусь, если скажу, что в настоящее время методический арсенал западносибирской археологии в изучении археологических источников не уступает мировому уровню, а в области их интерпретации, в исторической и социальной реконструкции опережает его.

Все же новые формационные условия не могли не породить проблемных ситуаций как в научной среде, так и собственно в науке. Первый блок имеет объективные и субъективные предпосылки. Они находят отражение в профессиональной подготовке, квалифи-

кационным росте, в постоянном процессе самообразования, на которые влияет множество факторов – от экономических до бюрократического прессинга. В качестве некоторых результатов этих факторов можно отметить, что, начиная с нулевых годов XXI столетия, сформировался рынок историко-культурной и археологической экспертизы, существенно помолодел и количественно вырос состав держателей Открытых листов, родилась несвойственная отечественной науке рейтинговая система, имеющая наряду с положительным результатом негативный эффект. В частности, возникла необходимость публикационной активности, причем ориентированная на престижные зарубежные и отечественные периодические издания. Это следует дополнить далеко не качественной (напрашивается более жесткое определение) реформой высшего образования, включая его послевузовскую форму. Итогом процессов, происходящих в научной среде, явился рост неэффективных трудозатрат, тиражированных в различных нормативных циркулярах для научного сообщества.

Все это не могло не сказаться на методологическом и теоретическом уровне археологических исследований. Положительную динамику сохраняют, несмотря на оптимизацию, крупные научные коллективы, сформировавшие школу. Примерами являются школа палеолитоведения под руководством академика А.П. Деревянко и школа археологии палеометалла академика В.И. Молодина в Институте археологии и этнографии СО РАН. Публикации результатов научных исследований таких коллективов выдержаны в формате соавторства, как это принято в естественнонаучной среде, а близость археологии естественным наукам достаточно хорошо известна исследователям-практикам. Таким же примером является Томский государственный университет, но в своеобразном формате, реализующем

сохранение научной археологической традиции в новом структурном объединении – научно-образовательном центре (НОЦ).

Трансформация в методологии западносибирской археологии проявилась во внедрении структурного подхода (в представлении Леви-Стросса), принципа детерминизма, идей диффузионизма, использовании классификационных терминов и понятий зарубежной исторической и социальной наук. В частности, таких как «доисторический период», «социально-стратифицированные общества» и др.

В качестве методологической основы структурный подход, наряду с системным, представлен практически во всех диссертационных работах, защита которых состоялась в последние десятилетия. Однако от декларации до реализации – «дистанция огромного размера». Более того, среди специалистов-теоретиков гуманитарной науки нет единства в понимании основного метода структурного подхода (см., напр.: [3, 4]. Сомнения вызывает также его использование в работах, посвященных темам вещеведческого характера. Хотя много сторонников и противоположной точки зрения. Если структурный подход в какой-то степени оказал позитивное воздействие на результаты исследований, особенно в области мировоззрения и мифологии обществ дописьменного периода истории, то этого нельзя сказать об использовании принципа детерминизма для объяснения специфики археологических культур Западной Сибири. Преимущественно он находит воплощение в изучении взаимоотношения человека и природы. Экологическое направление в отечественной археологии ориентировано на выявление и изучение механизмов этой взаимосвязи, прежде всего со стороны общественной системы, и ее исторических последствий. На мой взгляд, это составляет содержание социальной адаптации, которой подчинена жизнедеятельность общества.

Пространство западносибирского региона имеет широкое расположение ландшафтных зон, границы которых подвержены колебаниям в период глобальных климатических циклов. Преимущественно принцип детерминизма находит отражение в исследовании адаптационных процессов, протекавших в различных историко-хронологических периоды в разных экосистемах. В работах, посвященных этим проблемам, если их суммировать, можно отчетливо выявить две формулы. Во-первых, процесс адаптации на территории Западной Сибири никогда не заканчивался. Во-вторых, природа влияла (в лучшем варианте) на формирование культуры. Причем в первом случае речь идет исключительно об адаптации в условиях природной среды. Может ли быть этот процесс непрерывным? Если провести ревизию опубликованных работ западносибирских археологов, то можно выстроить достаточно многочисленный ряд исследований, в которых решается проблема адаптации древних обществ от эпохи камня до Средневековья включительно с привлечением специалистов естественных наук, прежде всего палеогеографии. Причем в специальной литературе длительность процесса адаптации можно выявить в одной конкретной ландшафтной зоне.

Обращаясь к традиционной культуре народов, например Сибири (принцип археолого-этнографических параллелей), вряд ли удастся проследить постоянный процесс адаптации к природным условиям. Если представить реальную ситуацию любого древнего хронологического периода, в который возникала необходимость приспособления к «непривычным» природным условиям в процессе освоения новой территории (миграционный вариант смены культур) или вынужденной смены традиционной формы хозяйственной деятельности, то процесс адаптации мог пройти очень быстро. Это собственный опыт и опыт автохтонного народа-реципиента. Но эти теоретические положения не получили достойного внимания. Среди немногочисленных публикаций, которые освещают данную проблему, выделяется масштабная по содержанию, но краткая по форме работа В.И. Молодина. Он рассматривает экологический кризис, произошедший на рубеже II–I тыс. до н.э. на значительной территории Северной Азии, а на археологических источниках раскрывает социальные механизмы выхода этнокультурных объединений из него, а также вызванные этим процессом исторические и социально-экономические последствия [5]. Работа содержит примеры отсутствия трансформации культуры мигрантов в «чужеродной» географической среде, что чрезвычайно важно с теоретической точки зрения. Кроме природной среды как фактора адаптации, другие ее формы, такие как социокультурная или межкультурная, специально в западносибирской археологии не рассматриваются. К межкультурной адаптации можно было бы отнести решение проблем взаимодействия древних обществ, но оно ограничивается констатацией фактов взаимодействия на уровне материальных комплексов. В таком виде взаимодействие в большей степени соответствует идеям культурной диффузии, которые, на мой взгляд, не дают объяснения внутренних причин появления инноваций в культурной среде. Более того, это научное течение получило широкое распространение и ориентацию на познание развития культуры цивилизаций нового и новейшего времени, особенно в связи с формированием такого направления, как культурология.

Вторая формула, кроме сторонников концепции «влияния природы на формирование культуры», представлена единичными приверженцами жесткого детерминизма. Они, предлагая рассматривать природную среду как культуuroобразующий фактор, придерживаются радикальной точки зрения [6], при этом или отрицая принадлежность тезиса к идеям географического детерминизма, или откровенно поддерживая ее (палеогеографы).

Однако было бы неправильно не отметить работы, содержащие экологическую проблематику, методологическую основу которых составляют принципы материализма. В качестве примера приведу коллективную монографию уральских археологов, совместную с зарубежными коллегами [7]. Хотя список таких работ будет обширным.

Вернусь к такому научному направлению, как диффузионизм, который в истоках формирования содержит идею географического детерминизма. Термин

«диффузия» в последние годы вошел в научный словарь современных западносибирских исследований, соответствуя своему значению в переводе с латинского языка. Это не вызывает критической оценки. Но научная теория с методологической точки зрения имеет существенный недостаток, который заложен в главной посылке – доминанта внешнего влияния как фактора социокультурного развития общества. Следует признать, что «современный» диффузионизм (в этнологии и археологии) имеет познавательное значение. Среди сибирских специалистов только один археолог взял на себя смелость обозначить, что теоретической основой его исследования «...послужили разработки в рамках отдельных направлений эволюционизма (изменчивость и наследственность) и диффузионизма (заимствование, перенос, смешение)...» [8. С. 6]. В реальности же это исследование основано на принципах исторического материализма.

От общих и, хотелось бы надеяться, небесполезных рассуждений обратим внимание на некоторые проблемные ситуации в западносибирской археологии, сложившиеся в конце XX – начале XXI столетий. Одной из главных проблем является как общая, так и локальная периодизация, теоретические и практические разработки которой восходят к истокам археологической науки. В последние три десятилетия она приобрела особую актуальность. Это связано с обобщением обширных источников разных историко-хронологических периодов в разных экосистемах Западной Сибири, формированием новых взглядов на культурно-исторические процессы этого региона, а также Южной Сибири и казахстанских степей, внедрением новых методических подходов в исследования археологических источников.

К проблеме общей периодизации относится выделение переходного периода от эпохи камня к эпохе палеометалла. В ее решении приняли участие практически все специалисты, занимающиеся исследованием эпохи бронзы Западной Сибири. В итоге предложено не менее шести терминов и понятий, характеризующих данный историко-хронологический период [9]. Можно согласиться с Л.С. Клейном, для которого периодизация имела два аспекта: деление на эпохи и как разновидность классификации, и оба они ограничены трудностями технического критерия и возможностями определения рубежей периодизации (условны или реальны) [10]. В практике советской археологии был опыт наряду с техническим критерием ввести исторический, в частности появление скотоводства и земледелия. Но он не приобрел общевразийского характера в периодизации.

Кроме трудностей технического порядка существовали причины и условия, не зависящие от воли человека, которые могли привести к «сбою» в монолинейном техническом прогрессе, отражение которого заложено в общей археологической периодизации. Свидетельством тому – неравномерность исторического развития, истоки которой уходят в «седую» древность. На территории Западной Сибири одним из таких условий было отсутствие природных ресурсов для перехода к металлу и его освоению [11]. Рудные ис-

точники находятся за пределами крупнейшей в мире западносибирской низменности. Логичнее было бы предположить многообразие путей смены эпох. Это, на мой взгляд, и нашло отражение в разных понятиях. Но нельзя не обратить внимания на то, что термин «энеолит» приобрел многих сторонников. В значительной степени, по-моему, это связано с тем, что в этот термин вкладывают хронологический смысл, что ведет к механистической трактовке культурно-исторического процесса в среде с неадекватными условиями развития общества.

В связи с историко-хронологическим периодом смены эпох обращу внимание на одно очень важное с теоретической точки зрения обстоятельство. Оно относится к археологии северных широт Западной Сибири, в частности Зауралья и Нижнего Приобья. По мнению уральских археологов, переходный период здесь длился не менее тысячи лет. Тем не менее в этом хронологическом интервале выделено существование нескольких культурных типов, демонстрирующих в одних районах развитие традиций, в других, вероятно, их смену [12–15]. Объяснения этим явлениям, как и определения причин поступательного движения древних обществ в своеобразном природном окружении, не последовало до настоящего времени.

Теоретическую проблему составляют содержательная часть и историко-культурные процессы переходного периода ранней бронзы на территории лесостепного и южно-таежного Приобья. В частности, особого внимания заслуживают исследование и обоснование соответствия комплексов сейминско-турбинской эпохи понятию «ранняя бронза» как в этом регионе, так и других районов, вплоть до Урала. Основанием является аргументированная теория об изначальных сибирских компонентах формирования этого археологического феномена.

На территории Западной Сибири практически одновременно сформировались и одновременно завершили свое существование два этнокультурных объединения – саргатское и кулайское, заняв соответственно большую часть лесостепной и таежной зоны. Они просуществовали почти тысячу лет. Первая часть этого времени относится к скифской эпохе, вторая – к гунно-сарматской. С исследованием этих объединений связаны как минимум две проблемы. Первую можно представить в виде вопроса: случайно ли длительное сосуществование социальных объединений двух достаточно воинственных и агрессивных народов, и было ли это противостояние регулируемым механизмами предгосударственного общества? Теоретический аспект проблемы заложен в изучении исторических причин этого явления. Вторая проблема связана с соответствием содержания историко-культурного развития и процессов в таежной зоне Западной Сибири понятию «гунно-сарматская эпоха». Оно не противоречит саргатской культуре, ареал которой предположительно можно рассматривать, по выражению Д.Г. Савинова, провинцией хунну. Может, этим объясняется редкий для евразийского пространства степей и лесостепи случай сохранения культуры от V в. до н.э. до IV в. н.э.

Рассматривая проблему общей периодизации археологии, нельзя не обратить внимания на попытки изменить хронологическую границу начала раннего Средневековья. Несмотря на то, что она рассматривается относительно исторических процессов в кочевом мире Центральной Азии, эта проблема не может не коснуться сопредельных территорий Западной Сибири. Эта тема, как и сам термин «средневековье», на мой взгляд, имеют больше отношение к теории и методологии исторической науки.

Выделенные проблемы теоретического и методологического характера, на мой взгляд, являются главными в западносибирской археологии, хотя ими не исчерпывается предложенная специалистами тематика.

В ключе поставленной темы особо остановлюсь на значении Западносибирских археолого-этнографических совещаний (ЗСАЭС) в аспекте истории науки. Этот сибирский научный форум должен по праву войти в историю отечественной гуманитарной науки хотя бы потому, что он все пятьдесят лет следовал одному из важнейших, на мой взгляд, принципов теории археологии – археолого-этнографические параллели. Он был органично реализован в монографиях и статьях последних лет М.Ф. Косарева, последователя учения своего наставника – выдающегося археолога и этнографа В.Н. Чернецова. Этим же отличались его доклады на ЗСАЭС. Альянс археологов и этнографов, несомненно, оказал положительное воздействие на качество научных исследований представителей этих наук. Не исключаю, что обсуждение проблем этногенеза народов Западной Сибири, метода ретроспекции в решении данной проблемы на западносибирских археолого-этнографических совещаниях наряду с другими факторами привели Н.А. Томилова к формированию такого направления, как «этноархеология». Но не в понимании Л.Р. Бинфорда. Впоследствии в тематику этого альянса включились антропологи, лингвисты, историки, искусствоведы и др. Такая кооперация существенно обогащала гуманитарные знания о западносибирском регионе. Подобного примера единения археологов и этнографов, которое демонстрирует западносибирское совещание, непросто найти на советском пространстве и в современной России.

Другой, менее выразительной, но все же особенностью ЗСАЭС является ее тематика, которая не только, как сейчас принято говорить, является ответом на вызов научных знаний, но и ориентирована на соответствующий ему методологический и теоретический уровень. Подтверждают этот тезис проблемы, вынесенные в название совещаний. Преобладающая часть их связана с историческим содержанием археолого-этнографических исследований, в частности таких, как проблема изучения экономики и социальной структуры населения региона, мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим источникам, культура как система в историческом контексте, проблемы исторической интерпретации по археологическим и этнографическим источникам, естественно-географическая среда и исторический процесс и др. Не оставлены без внимания проблемы

методологии археологических и этнографических исследований, теории и методологии изучения системы жизнеобеспечения традиционных обществ. В западносибирских археолого-этнографических совещаниях находит отражение общая тенденция развития современного этапа отечественной археологической науки.

На мой взгляд, на современном этапе происходит новый качественный скачок, особенно в области методологии науки, призванной ответить на познавательные вызовы общества. В последние десятилетия произошли формирование и становление субдисциплин со свойственными им предметом, объектом и методами исследования. Среди них в первую очередь выделю петроглифоведение, или петроглифику. Ее становление и развитие связаны с именами таких исследователей, как Я.А. Шер, М.А. и Е.Г. Дэвлет, В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, Е.А. Миклашевич, М.С. Килуновская и др. Произошло также их корпоративное объединение: Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусства, долгие годы возглавляемая Я.А. Шером (кафедра археологии КемГУ), центр палеоискусства в Институте археологии РАН под руководством, светлой памяти, Е.Г. Дэвлет, Совместная лаборатория мультидисциплинарных исследований наскального искусства при НГУ (заведующий – академик В.И. Молодин). Научному сообществу достаточно хорошо известно, какой прорыв был сделан этим научным направлением в области документирования недвижимых памятников искусства благодаря внедрению новых методов и современных технических достижений. Достоянием человечества стало множество изображений, скрытых временем от визуального восприятия. Мультидисциплинарный подход, активно внедряемый научной школой Института археологии и этнографии СО РАН (академики А.П. Деревянко и В.И. Молодин), раскрывает широкий круг знаний и умений древних народов. В качестве примера приведу монографию «Феномен алтайских мумий», авторы которой представляют 19 учреждений как нашей страны, так и Западной Европы [16]. Исключительное место в данном подходе занимает палеогенетика, результаты исследований которой, в частности сибирских археологических источников, имеют мировой резонанс. Наконец, не могу не упомянуть такую субдисциплину, как «историческая археология», теоретико-методологическая платформа которой разработана членом-корреспондентом РАН Л.А. Беляевым с участием многих специалистов, в том числе сибирских учреждений. Приведенные примеры и те, которые остались за пределами этой статьи, позволяют предполагать, что отечественная археологическая наука приобретает качественно новый уровень на современном этапе развития, сохраняя лучшие традиции советского времени.

Д.Г. Савинов опубликовал в виде методического пособия небольшую теоретическую работу, которую назвал «Гуманитарная археология» [17]. На мой взгляд, этот термин может определять идеологию современной отечественной археологии, а ее методологическую платформу – «интеграционная археология» (лат. *integratio* – восстановление).

ЛИТЕРАТУРА

1. Клейн Л.С. Новая археология (критический анализ теоретического направления в археологии Запада). Донецк : Изд-во ДонНУ, 2009. 393 с.
2. Шер Я.А. Новая археология и Клейновская «Новая археология» // Клейн Л.С. Новая Археология (критический анализ теоретического направления в археологии Запада). Донецк : Изд-во ДонНУ, 2009. С. 364–371.
3. Горбунова Т.Г., Тишкин А.А. Методика системного изучения археологических источников // Теория и практика в археологических исследованиях. 2005. № 1. С. 11–18.
4. Мельникова О.М. Методология современной отечественной археологии: стихия традиции или интуитивный поиск основного выбора // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург : Магеллан, 2008. С. 6–13.
5. Молодин В.И. Экологический «стресс» на рубеже II–I тыс. до н.э. и его влияние на этнокультурные и социально-экономические процессы у народов Западной Сибири // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. Томск : Аграф-Пресс, 2008. С. 22–24.
6. Мартынов А.И. Макро- и микроприродная среда, как культуuroобразующий фактор в археологические периоды // Культура как система в историческом контексте: опыт западносибирских археолого-этнографических совещаний. Томск : Аграф-Пресс, 2010. С. 73–75.
7. Среда, культура и общество лесостепного Зауралья во второй половине I тыс. до н.э. Екатеринбург ; Сургут : Магеллан, 2009. 298 с.
8. Мандрыка П.В. Бронзовый и ранний железный век в южной части Среднего Енисея и низовьев Ангары : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Барнаул, 2018. 54 с.
9. Бобров В.В. Энеолит Западной Сибири (современное состояние изучения и проблемы) // Современные проблемы археологии России. Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. I. С. 347–349.
10. Клейн Л.С. Археологическая периодизация в новом тысячелетии // Российский археологический ежегодник. СПб. : Университетский издательский консорциум, 2014. № 4. С. 57–60.
11. Косарев М.Ф. К вопросу о неравномерности исторического процесса (по сибирским археолого-этнографическим материалам) // Проблемы археологии и истории Северной Евразии. Томск : Аграф-Пресс, 2009. С. 36–40.
12. Шорин А.Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблема культуuroгенеза. Екатеринбург, 1999. 182 с.
13. Чаиркина Н.М. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург : УрО РАН, 2005. 312 с.
14. Кокшаров С.Ф. Памятники энеолита севера Западной Сибири. Екатеринбург : Волот, 2009. 272 с.
15. Фёдорова Н.В. Археологические культуры Ямала. Энеолит и эпоха бронзы // История Ямала. Екатеринбург : Баско, 2010. Т. I: Ямал традиционный, кн. 1: Древние культуры и коренные народы. С. 47–135.
16. Феномен алтайских мумий. Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2000. 320 с.
17. Савинов Д.Г. Гуманитарная археология. СПб. : ЭлекСис, 2019. 96 с.

Vladimir V. Bobrov, Institute of Human Ecology the Federal research center of Coal and Coal Chemistry SB RAS; Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: bobrov4545@mail.ru

THEORETIC AND METHODOLOGICAL ISSUES OF WESTERN SIBERIAN ARCHAEOLOGY IN NEW FORMATION CONDITIONS

Keywords: archaeology; methods; theory; Western Siberia; structuralism; diffusionism; system approach.

Theory and methodology form the foundation of science. Based on this premise, the work aims to study and evaluate the theoretical and methodological aspects of Siberian archaeological researches (in the 1990–2020s) of the pre-literate period of history. Based on special literature and author's abstracts of candidate and doctor thesis, it can be concluded that the complex of the traditional basic methods of archeology are still in use. At the same time, there is a search for new methodological approaches in formation of such sub-branches as petroglyph study, historical archaeology, ethno-archaeology (in terms of N.A. Tomilov's school). As for the general methods of humanitarian and social sciences, some transformation has been noticed in Western Siberian archaeology. In new conditions in Russia, it is embodied in implementation of structuralism, diffusionism and determinism ideas. The structuralism methods specifics consist in syncretism with a system approach which was actively included in Russian archaeology in the 1970s. The determinism ideas appear in the research of human adaptation to the environment. The radical point of view is presented in the works of individual researchers. Among the variety of directions in diffusionism, the theory of "cultural diffusionism" is being introduced into West Siberian archeology.

The article presents actual theoretical issues of local archaeology. The most important of them, according to the author, is the problem of studying the content of the transition period between the Stone and Paleometal Age. It is defined by 6 terms in modern Western Siberian archaeology. An independent problem is the transformation or change of cultural types in the taiga zone, in which the transition between epochs took at least a thousand years. These phenomena have not been explained yet either theoretically or from the point of view of the development of historical and cultural processes. The theoretical aspect deals with the Early Bronze Age dating of Seima-Turbino assemblages in the forest-steppe Ob region. The reasons of the simultaneous existence of two militant ethno-cultural formations in Western Siberia (Sargatka culture and Kulay culture), what is more, in the unique chronological range from the Scythian period to the Early Middle Age, need to be explained.

The conclusion part contains an aspect of archaeology history. It deals with the role of Western Siberian archaeological and ethnographic conferences concerning science development in the region, particularly theory and methods for 50 years. It has been concluded that at the actual stage of development, Russian archaeology is rising to a new level preserving the best traditions of Soviet period.

REFERENCES

1. Kleyn, L.S. (2009) *Novaya arkheologiya (kriticheskiy analiz teoreticheskogo napravleniya v arkheologii Zapada)* [New archeology (a critical analysis of the theoretical direction in the archeology of the West)]. Donetsk: Donetsk National University.
2. Sher, Ya.A. (2009) *Novaya arkheologiya i Kleynovskaya "Novaya arkheologiya"* [New archeology and Klein's "New archeology"]. In: Kleyn, L.S. *Novaya arkheologiya (kriticheskiy analiz teoreticheskogo napravleniya v arkheologii Zapada)* [New archeology (a critical analysis of the theoretical direction in the archeology of the West)]. Donetsk: Donetsk National University. pp. 364–371.
3. Gorbunova, T.G. & Tishkin, A.A. (2005) *Metodika sistemnogo izucheniya arkheologicheskikh istochnikov* [Methodology for the systemic study of archaeological sources]. *Teoriya i praktika v arkheologicheskikh issledovaniyakh – Theory and Practice of Archaeological Research*. 1. pp. 11–18.
4. Melnikova, O.M. (2008) *Metodologiya sovremennoy otechestvennoy arkheologii: stikhiya traditsii ili intuitivnyy poisk osnovnogo vybora* [Methodology of modern Russian archeology: the element of tradition or an intuitive search for the main choice]. *Voprosy arkheologii Urala*. 25. pp. 6–13.
5. Molodin, V.I. (2008) *Ekologicheskiy "stress" na rubezhe II–I tys. do n.e. i ego vliyanie na etnokul'turnye i sotsial'no-ekonomicheskie protsessy u narodov Zapadnoy Sibiri* [Environmental "stress" at the turn of the 2nd – 1st millennium BC and its impact on ethnocultural and socio-economic processes among the peoples of Western Siberia]. In: Chernaya, M.P. (ed.) *Kul'tura kak sistema v istoricheskom kontekste: opyt Zapadno-Sibirskikh*

- arkheologo-etnograficheskikh soveshchaniy* [Culture as a System in a Historical Context: the Experience of West Siberian Archaeological and Ethnographic Meetings]. Tomsk: Agraf-Press. pp. 22–24.
6. Martynov, A.I. (2010) Makro- i mikro-prirodnaya sreda, kak kul'turoobrazuyushchiy faktor v arkheologicheskie periody [Macro- and micronatural environment as a culture-forming factor in archaeological periods]. In: Chernaya, M.P. (ed.) *Kul'tura kak sistema v istoricheskom kontekste: opyt Zapadno-Sibirskikh arkheologo-etnograficheskikh soveshchaniy* [Culture as a System in a Historical Context: the Experience of West Siberian Archaeological and Ethnographic Meetings]. Tomsk: Agraf-Press. pp. 73–75.
 7. Berseneva, N.A. et al. (2009) *Sreda, kul'tura i obshchestvo lesostepnogo Zaural'ya vo vtoroy polovine I tys. do n.e.* [Environment, culture and society of the forest-steppe Trans-Urals in the second half of the 1st millennium BC]. Ekaterinburg; Surgut: Magellan.
 8. Mandryka, P.V. (2018) *Bronzovyy i ranniy zheleznyy vek v yuzhnoy chasti Srednego Eniseya i nizov'ev Angar* [Bronze and Early Iron Age in the southern part of the Middle Enisei and the lower reaches of the Angara]. Abstract of History Dr. Diss. Barnaul.
 9. Bobrov, V.V. (2006) Eneolit Zapadnoy Sibiri (sovremennoe sostoyanie izucheniya i problemy) [Eneolithic of Western Siberia (current state of study and problems)]. In: Derevyanko, A.P. (ed.) *Sovremennyye problemy arkheologii Rossii* [Modern Problems of Russian archeology]. Vol. 1. Novosibirsk: SB RAS. pp. 347–349.
 10. Kleyn, L.S. (2014) Arkheologicheskaya periodizatsiya v novom tysyacheletii [Archaeological periodization in the new millennium]. In: Vishnyatsky, L.B. (ed.) *Rossiyskiy arkheologicheskiy ezhegodnik* [Russian Archaeological Yearbook]. Vol. 4. St. Petersburg : Universitetskiy izdatel'skiy konsortium. pp. 57–60.
 11. Kosarev, M.F. (2009) K voprosu o neravnomernosti istoricheskogo protsessa (po sibirskim arkheologo-etnograficheskim materialam) [On the unevenness of the historical process (based on Siberian archaeological and ethnographic materials)]. In: Chernaya, M.P. (ed.) *Problemy arkheologii i istorii Severnoy Evrazii* [Problems of Archeology and History of Northern Eurasia]. Tomsk: Agraf-Press. pp. 36–40.
 12. Shorin, A.F. (1999) *Eneolit Urala i sopredel'nykh territoriy: problema kul'turogeneza* [Eneolithic of the Urals and Adjacent Territories: The Problem of Cultural Genesis]. Ekaterinburg: UrB RAS.
 13. Chairkina, N.M. (2005) *Eneolit Srednego Zaural'ya* [Eneolithic of the Middle Trans-Urals]. Ekaterinburg: UrB RAS.
 14. Koksharov, S.F. (2009) *Pamyatniki eneolita severa Zapadnoy Sibiri* [Eneolithic Monuments of the north of Western Siberia]. Ekaterinburg: Volot.
 15. Fedorova, N.V. (2010) Arkheologicheskie kul'tury Yamala. Eneolit i epokha bronzy [Archaeological cultures of Yamal. The Eneolithic and the Bronze Age]. In: Poberezhnikov, I.V. (ed.) *Istoriya Yamala* [History of Yamal]. Vol. 1. Ekaterinburg: Basko. pp. 47–135.
 16. Molodin, V.I. et al. (2000) *Fenomen altayskikh mumiy* [The Phenomenon of Altai Mummies]. Novosibirsk: SB RAS.
 17. Savinov, D.G. (2019) *Gumanitarnaya arkheologiya* [Humanitarian Archeology]. St. Petersburg: ElekSis.

УДК 903.27(510.2)
DOI: 10.17223/19988613/68/5

А.В. Варенов, М.А. Кудинова

СИБИРСКИЕ И ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ПЕРСОНАЖИ ТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ В ТРЕХРОГИХ ГОЛОВНЫХ УБОРАХ И ПЕТРОГЛИФЫ ПАМЯТНИКА УЦЗЯЧУАНЬ

*Исследование осуществлено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-09-00557 «Изучение памятников
наскального искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)».*

*Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской
археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги
и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного
университета.*

Приводятся аналогии изображенным на памятнике наскального искусства Уцзячуань персонажам в трехрогих головных уборах как из погребальных комплексов древнетюркского времени (могильники Кудыргэ, Сюттю-Булак), так и среди наскальных выбивок и граффити на западе Внутренней Монголии (пустыня Бадын-Джаран), в уезде Чжунвэй пров. Нинся, в Чу-Илийском междуречье, на севере Хакасии и на востоке Горного Алтая. Авторы, в развитие идей П.П. Азбелева, считают, что сюжет изображений из Уцзячуань, как и на кудыргинском валуне, отражает христианское (несторианское) влияние, представляя вариант темы поклонения волхвов.

Ключевые слова: Северо-Западный Китай; древнетюркское время; петроглифы; «трехрогие» головные уборы; памятник Уцзячуань.

В начале июля 2019 г. авторам удалось посетить петроглифы памятника Уцзячуань (吴家川) в уезде Цзинъюань на востоке провинции Ганьсу КНР. Издавший их в 1983 г. Чжан Баоси отмечал, что рисунки в технике выбивки выполнены металлическими инструментами, он также сопоставил наскальные изображения персонажей в трехрогих головных уборах из Уцзячуань и рельефные головы на керамике местной неолитической культуры Баньшань [1. С. 46, 47].

В данной статье ставятся следующие задачи: для уточнения датировки персонажей в трехрогих головных уборах памятника Уцзячуань и раскрытия семантики китайских петроглифов рассмотреть аналогии среди изобразительного искусства Южной Сибири и Центральной Азии; провести анализ интерпретаций трехрогих персонажей и выбрать, какая из них наиболее соответствует реалиям китайской писаницы; найти другие «трехрогие» антропоморфные изображения среди петроглифов Северо-Западного Китая и оценить их значение для дальнейшего изучения наскального искусства региона.

Памятник Уцзячуань невелик: это две плоскости южной экспозиции. На восточной плоскости присутствуют фигурки оленей и козлов, а также современные иероглифические надписи. На западной плоскости, помимо оленей и козлов, выбиты восемь всадников (в силу чего памятник невозможно датировать эпохой бронзы, тем более неолита) и несколько антропоморфных фигур (рис. 1, 1). Не менее шести всадников и один стоящий (или сидящий) человек изображены в специфических головных уборах, напоминающих корону с тремя зубцами. Один всадник, расположенный в центральной части западной плоскости, «скачет»

в левую сторону (рис. 2, 1). Три всадника правее него, в правом верхнем углу, также «скачут» влево (рис. 2, 2). Пятый всадник, тоже едущий влево, находится в левой части западной плоскости ниже антропоморфного персонажа с большой круглой головой (рис. 2, 4). Изображение пятого всадника сохранилось плохо, особенно задняя часть фигуры коня, но на старой фотографии 1983 г. он виден вполне отчетливо (рис. 1, 2). Шестой всадник расположен правее пятого, там, где на нашем фото помещена цифра «4» (рис. 2, 4). На протирке 1983 г. шея, голова коня и верхняя часть туловища седока четко различимы (рис. 1, 2). Фигура стоящего человека находится в нижней левой части западной плоскости, левее и чуть ниже круглоголового персонажа (рис. 2, 4). На протирке 1983 г. фигура осталась за границей кадра. Эту фигуру можно воспринимать и как сидящую, если ее очень длинные опущенные вниз «руки» считать контуром широкополого одеяния, а то, что передано выбивкой внутри него – сложенными на груди или на животе «настоящими» руками и подогнутыми ногами (рис. 2, 3).

«Сидящая» трактовка находит соответствие в древнетюркских изображениях Горного Алтая и иных районов. В погребении 16 могильника Кудыргэ на двух сторонах валуна-изваяния выгравирована так называемая «сцена коленопреклонения» (рис. 3, 1). Показана сидящая женщина в трехрогом головном уборе с ребенком, перед которыми склонились три гораздо меньших по размеру спешившихся всадника. Центральный из них тоже в трехрогом головном уборе [2. С. 51–52. Рис. 18]. В течение почти сотни лет, прошедших с момента раскопок Кудыргэ в 1924–1925 гг., «сцена коленопреклонения» трактовалась либо как

отражение раннесредневековой социальной и / или этнокультурной ситуации (подчинение бедных богатым / знатым или одних племен другим), либо как поклонение людей неким древнетюркским божествам [3. С. 19–21; 4. С. 12–27]. В частности, Л.Р. Кызласов пришел к выводу, что сидящая женщина в трехрогой тиаре – это богиня Умай, а склонившийся перед ней человек в таком же головном уборе – шаман [5. С. 51]. Напротив, А.С. Суразаков считал, что на валуне зафиксировано поклонение семье (вдове и ребенку) умершего вождя [6. С. 51].

С середины 60-х гг. XX в. в качестве еще одного источника, отражающего бытование в раннем Средневековье трехрогих головных уборов у кочевников, рассматриваются древнетюркские каменные изваяния, распространенные преимущественно в Семиречье и на Тянь-Шане. Я.А. Шер датировал их VI–VIII вв. [7. С. 44]. С.М. Ахинжанов считал их женскими изображениями

шаманок кимако-кипчакского политического объединения, типичными для IX–X вв. [8. С. 76, 79]. Л.Н. Ермоленко в 1995 г. утверждала, что «большинство реальных изваяний в “трехрогих” головных уборах имеют аналогии среди реалий древнетюркских изваяний среднеазиатско-казахстанского региона VII–VIII вв.» [9. С. 55]. В том же 1995 г. при раскопках древнетюркского женского погребения в кургане № 54 на могильнике Суттуу-Булак (Сюттю-Булак) в Центральном Тянь-Шане (Кыргызстан) были встречены костяные пластины с многофигурными гравированными композициями [10]. На одной из них изображена внутренняя часть юрты, в которой сидят два человека – мужчина и женщина. На голове у женщины – трехрогий головной убор (рис. 3, 2). По мнению Ю.С. Худякова, многофигурные композиции из Суттуу-Булака «могли служить иллюстрациями к повествованию о деяниях эпических героев» [11. С. 245].

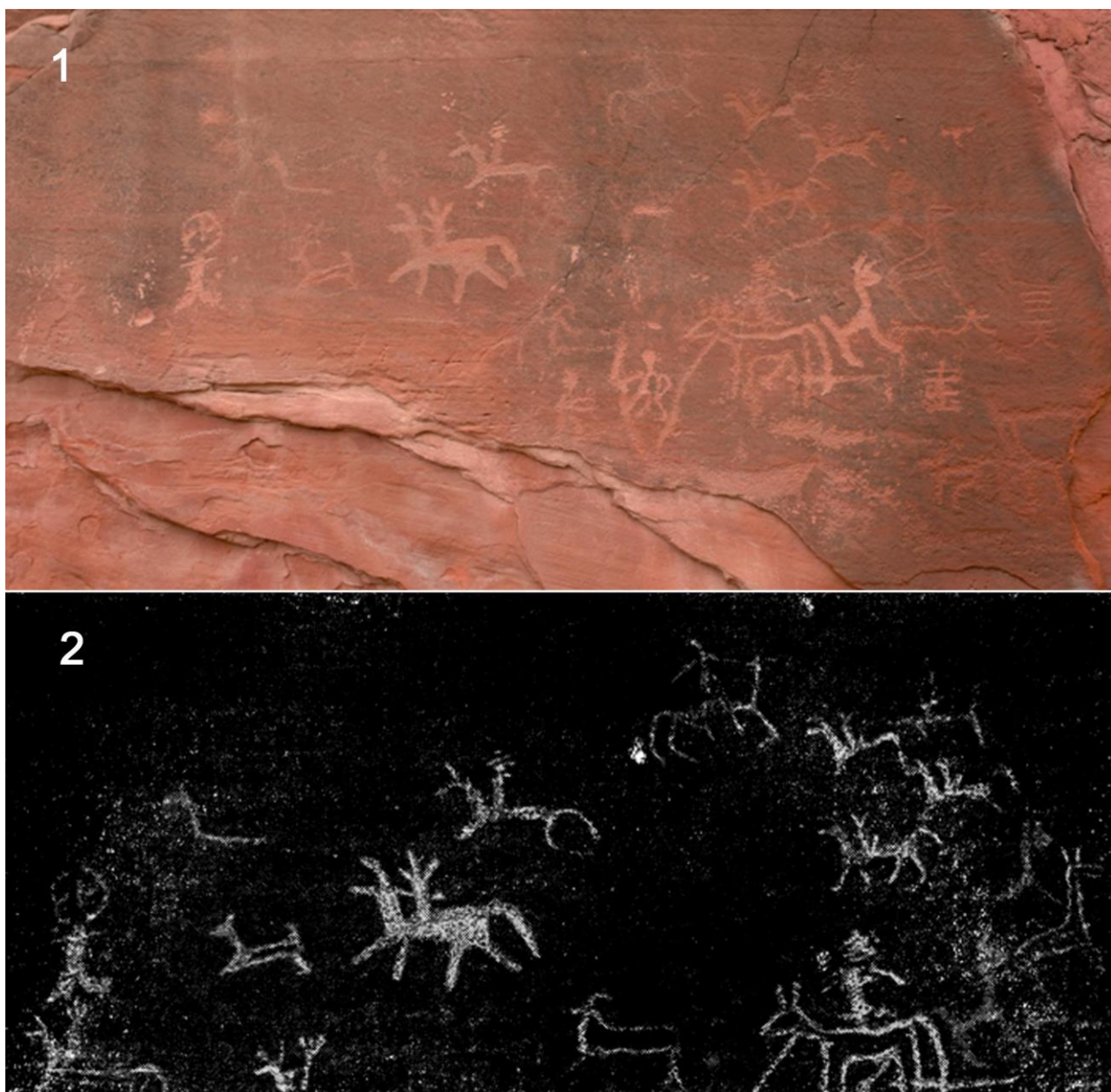


Рис. 1. Западная плоскость памятника Уцзячуань:

1 – фото А.В. Варенова; 2 – сканирование А.В. Варенова (разрешение 1 200 dpi) по: [1. С. 47. Рис. 4].



Рис. 2. Детали западной плоскости памятника Уцзячуань:

1 – всадник в трехрогом головном уборе в центре плоскости; 2 – три всадника в рогатых головных уборах в правой части плоскости; 3 – стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе в левой части плоскости; 4 – левая нижняя часть западной плоскости (слева направо): стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе, круглоголовый персонаж (солнечное божество / шаман), горный козел, внизу по центру и справа, у границы плоскости – всадники № 5 и 6 в рогатых головных уборах. 1–4 – фото А.В. Варенова

Женщина в трехрогом головном уборе, сидящая на тахте рядом с мужчиной внутри юрты (шатра), выбита и на поверхности древнетюркского изваяния № 2 из Когалы в Чу-Илийском междуречье (рис. 3, 6). Аналогичный, только более схематичный, рисунок есть и среди гравировок Сулекской писаницы на севере Хакасии (рис. 3, 4). А.Е. Рогожинский сознательно оставил за пределами своей публикации вопросы семантической и исторической интерпретации изобразительных материалов со стелы № 2 из Когалы [12. С. 341–342]. И.Л. Кызласов, издавший в 1998 г. гравированное изображение сидящей в шатре пары из Сулека, напротив, основное внимание уделил его семантике и предположил, что так изображались древнетюркские божества Тенгри и Умай, божественность которых «выражена лишь их трехрогими головными уборами», а также жрецы и «некие богоподобные персонажи (прежде всего, очевидно, катун)» [13. С. 47]. С.Г. Скобелев, тогда же обратившийся к иконографии образа богини Умай в древнетюркскую эпоху, главными ее атрибутами считал крылья, а головной убор в виде трехрогой (трехлучевой) тиары или нимб – факультативными [14. С. 164–166]. Он приводит изображение женщины с крыльями и в трехрогом головном уборе

на металлическом предмете в виде рыбки – случайной находке, хранящейся в Минусинском музее (рис. 3, 5).

В ходе исследования вопроса о возможной иконографии божеств древнетюркского пантеона обзор раннесредневековых изображений персонажей в трехрогих головных уборах на территории Южной Сибири и Центральной Азии в 2010 г. предпринял Ю.С. Худяков, включивший в круг источников, помимо валуна из Кудыргэ, пластинок из Сутуу-Булака и петроглифов также ряд древнетюркских каменных изваяний (рис. 3, 7–10). Рассмотрев выдвигавшиеся ранее версии о том, что так выглядели древнетюркские божества Тенгри, Умай и / или шаманы, он пришел к выводу, что никаких оснований считать, будто древние тюрки «представляли своих богов Тенгри и Умай в антропоморфном облике, не существует», а «трехрогие» изображения – это «головные уборы с высоким коническим верхом и боковыми наушами», которые «определенно вошли в моду и приобрели престижный характер у древнетюркских женщин в период существования Первого Тюркского каганата» [15. С. 99, 101]. Однако трехрогий головной убор необязательно может быть парадным или ритуальным, о чем свидетельствуют открытые в 2017 г. в урочище Дялбак в Восточном Алтае ранне-

средневековые гравированные изображения [16. С. 271–272]. Среди них есть фигура сидящего на коне воина с

копьем в руках и в трехрогом головном уборе (возможно, коническом боевом шлеме с рогами) (рис. 3, 3).

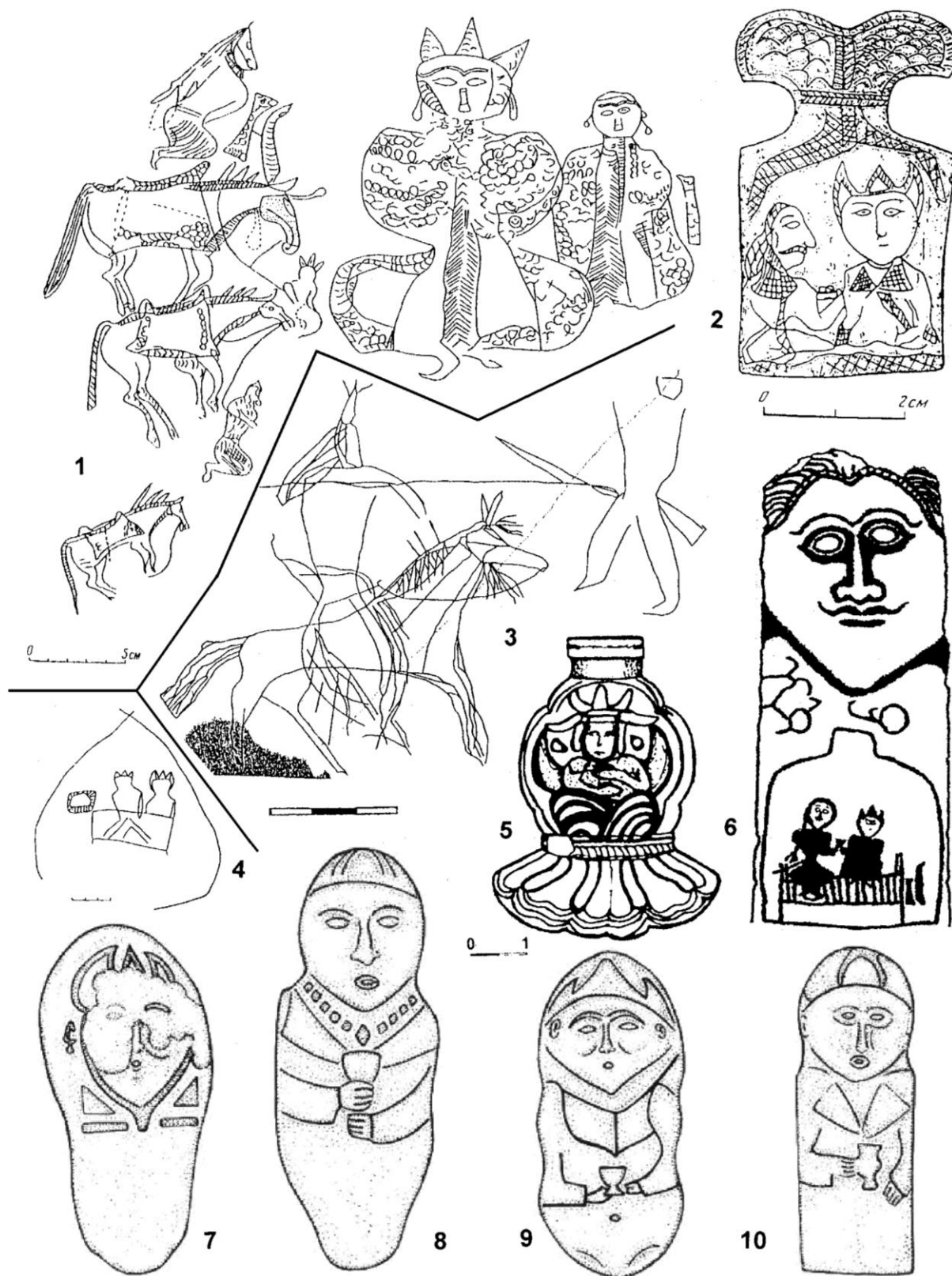


Рис. 3. Аналогии «трехрогим» персонажам с писаницы Уцзячуань:

1 – «сцена коленопреклонения» на валуне из погр. 16 могильника Кудыргэ; 2 – костяная пластинка из кургана № 54 могильника Суттуу-Булак (Сюттю-Булак); 3 – наскальная гравировка из урочища Дялбак; 4 – гравировка с Сулекской писаницы; 5 – бронзовый игольник из фондов Минусинского музея; 6 – сцена, выбитая на изваянии из Когалы; 7–10 – каменные изваяния в «трехрогих» головных уборах. Разный масштаб. Рисунки масштабированы и скомпонованы в таблицу А.В. Вареновым по: [1 – 3. табл. VI, 2; 2 – 11. С. 243. Рис. 2; 3 – 16. С. 271; 4 – 13. С. 42. Рис. 5; 5 – 14. С. 164. Рис. 3; 6 – 12. Рис. 8, 2; 7–10 – 15. С. 103. Рис. 1]

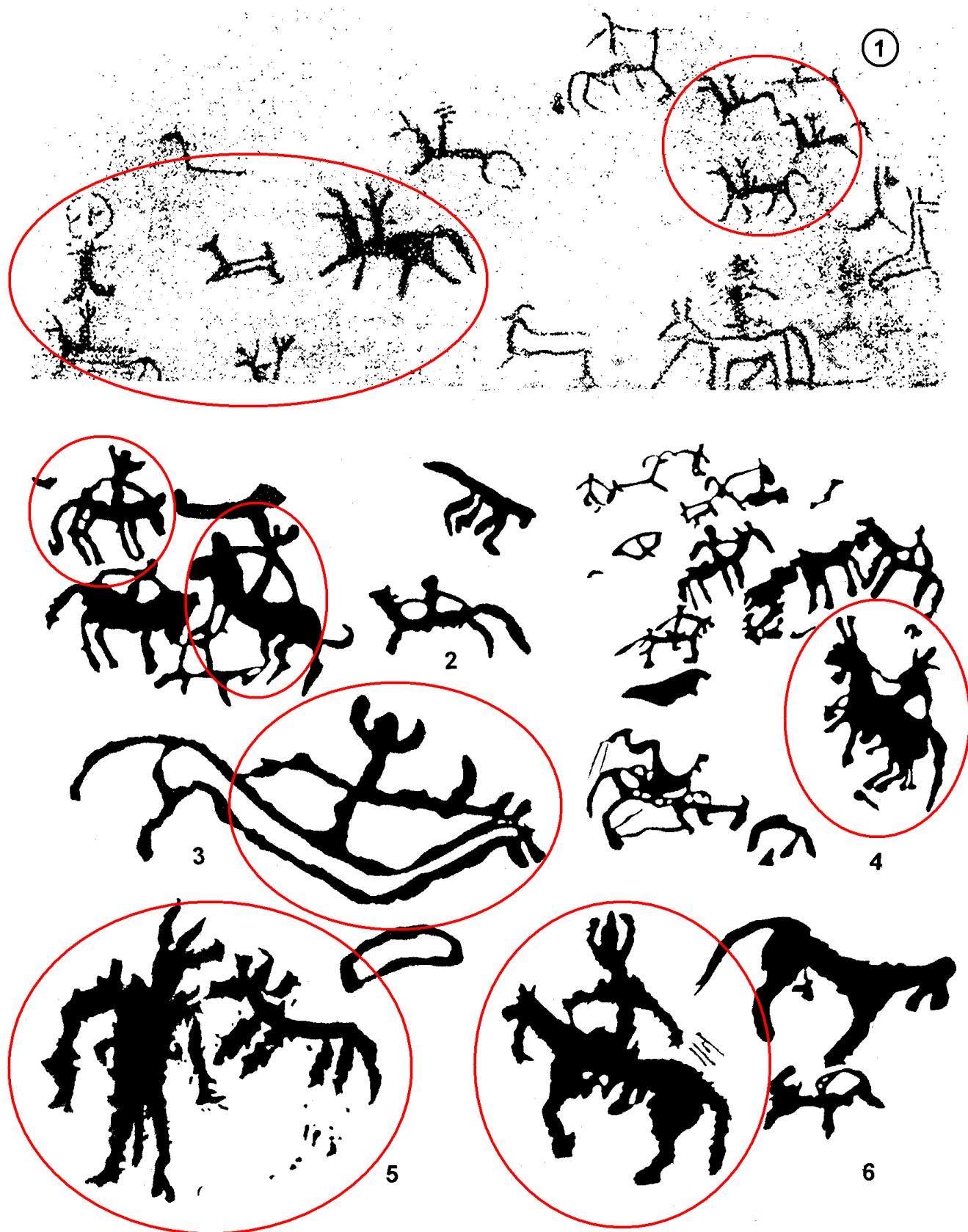


Рис. 4. Наскальные изображения «трехрогих» всадников в Китае:

1 – западная плоскость писаницы Уцзячуань; 2–4, 6 – местонахождение Маньдэлашань из пустыни Бадын-Джаран (Внутренняя Монголия); 5 – местонахождение Шифанцзюань (уезд Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района). Разный масштаб. Рисунки масштабированы и скомпонованы в таблицу А.В. Вареновым по: [1 – 1. С. 47. Рис. 4 (в обратных цветах); 2–4, 6 – 17. С. 248, 259, 289, 290. Рис. 266, 343, 579, 587; 5 – 18. С. 309. Рис. С-5]

П.П. Азбелев «сцену коленопреклонения» интерпретирует как отражение христианского (несторианского) сюжета о поклонении волхвов [4. С. 48–49]. Не вдаваясь в обсуждение предложенной петербургским исследователем трактовки сцены на валуне из Кудыргэ, можно предположить, что всадники в рогатых головных уборах на писанице из Уцзячуань, сгруппированные по трое в левой и в правой частях западной плоскости, спешат на поклонение к стоящему (или, скорее, сидящему) слева от них персонажу в таком же трехрогом головном уборе (рис. 4, 1). Этот персонаж, как и на кудыргинском валуне, по росту превосходит и всадников, и даже их коней. Исходя из ориентации скалы с рисунками по сторонам света, верховые паломники в трехрогих головных уборах едут, как и новозаветные волхвы, с востока на запад. Судя по степени их сохранности, правая группа «рогатых» всадников чуть моложе левой.

Для поиска аналогий всадникам в трехрогих головных уборах из Уцзячуань среди известных наскальных изображений Северо-Западного Китая были просмотрены монографические публикации петроглифов из Ганьсу и соседних провинций Цинхай, Нинся и Внутренняя Монголия. За исключением памятника Уцзячуань, персонажей в трехрогих головных уборах среди изданных к настоящему моменту петроглифов Южной и Северной Ганьсу нет [19, 20]. Нет их и в наскальных рисунках соседнего Цинхая, гор Иньшань и степи Уланьчаб в южной части Внутренней Монголии [21–23]. Всадники в похожих головных уборах встречены в четырех пунктах местонахождения петроглифов Маньдэлашань, что находится на юго-востоке пустыни Бадын-Джаран (*кит.* Баданьцзилинь) в западной части Внутренней Монголии [24. С. 248, 259, 289, 290. Рис. 266, 343, 579, 587]. В двух случаях их головные уборы напоминают ковбойскую шляпу с широкими полями, или даже сомбреро (рис. 4, 2, 3), в двух других похожи на высокую шапку с торчащими отворотами (рис. 4, 2, 4) и лишь в одном – на корону или рогатый шлем (рис. 4, 6). В двух пунктах кони «рогатых» всадников показаны с четырьмя ногами, в двух – только с двумя. Еще один рисунок персонажа в трехрогом головном уборе есть на памятнике Шифанцзюань, расположенном в уезде

Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района, лежащего примерно на равном расстоянии от Уцзячуань и Маньдэлашань, на полпути между ними [17. С. 309. Рис. С-5]. Этот антропоморф с акцентированным признаком мужского пола и в трехрогой короне с высокими зубцами стоит рядом с конем, голова (но не грива!) которого увенчана похожим трезубцем. Однако он гораздо крупнее лошади, которая на его фоне смотрится как собака (рис. 4, 5). В других обобщающих изданиях, также описывающих наскальные изображения уезда Чжунвэй, данный петроглиф отсутствует [18. С. 140–219; 25. С. 204–352].

В заключение хотелось бы остановиться на вопросе выделения наскальных изображений тюркского времени в Китае и в иных регионах. В Китае данная тема разработана очень слабо, а тюркские наскальные гравировки китайские исследователи петроглифов, видимо, пока попросту не замечают. Во всяком случае, рисунков, выполненных в технике резной линии, в опубликованных ими сводах практически совсем нет. При чтении же отечественной литературы порой складывается впечатление, что петроглифы древнетюркского времени представлены только гравировками [26, 27].

Проблема заключается в трудности отделения тюркских выбивок, особенно простых (таких, например, как схематичные изображения горных козлов – *теке*) от более ранних или более поздних (этнографически современных) [28. С. 62–63]. Подходы к ее решению видятся в выделении хронологических маркеров в виде раннесредневековых реалий, присутствующих не только среди гравированных, но и среди выбитых наскальных изображений, к которым можно было бы привязывать в силу совместного нахождения в одной композиции и / или стилистического сходства и иные рисунки. К числу задействованных исследователями хронологических индикаторов тюркской эпохи в массиве наскальных выбивок можно отнести стрижку конской гривы в виде трех зубцов [29] и всадников со знаменами [30]. Еще одним признаком тюркской эпохи для выбитых наскальных рисунков, как мы пытались продемонстрировать, являются изображения персонажей в трехрогих головных уборах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чжан Баоси. Ганьсу шэн Цзинъюань сянь Уцзячуань фасянь яньхуа [张宝玺. 甘肃省靖远县吴家川发现岩画] Петроглифы, обнаруженные в Уцзячуань, уезда Цзинъюань пров. Ганьсу // *Вэнью*. 1983. № 2. С. 46–47. (На кит. яз.).
2. Руденко С.И., Глухов А.Н. Могильник Кудыргэ на Алтае // *Материалы по этнографии*. Л. : Изд. Гос. Русского музея, 1927. Т. III, вып. 2. С. 37–52.
3. Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М. ; Л. : Наука, 1965. 144 с.
4. Азбелев П.П. Кудыргинский сюжет. СПб. : ЛЕМА, 2010. 60 с.
5. Кызласов Л.Р. К истории шаманских верований на Алтае // *КСИИМК*. 1949. Вып. XXIX. С. 49–52.
6. Суразаков А.С. К семантике изображений на Кудыргинском валуне // *Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I–II тысячелетии н.э.* Кемерово : Кузбассвуиздат, 1994. С. 45–55.
7. Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья. М. ; Л. : Наука, 1966. 138 с.
8. Ахинжанов С.М. Об этнической принадлежности каменных изваяний в «трехрогих» головных уборах из Семиречья // *Археологические памятники Казахстана*. Алма-Ата : Наука, 1978. С. 65–79.
9. Ермоленко Л.Н. К проблеме каменных изваяний в «трехрогих» головных уборах // *Наскальное искусство Азии*. Кемерово : Кузбассвуиздат, 1995. Вып. 1. С. 54–55.
10. Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.А. Новые находки предметов изобразительного искусства древних тюрков на Тянь-Шане // *Российская археология*. 1997. № 3. С. 142–147.
11. Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.А. Многофигурные композиции на костяных пластинах из памятника Суттуу-Булак // *Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири*. Новосибирск : ИАЭ СО РАН, 1996. С. 242–245.

12. Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и востоке Казахстана // Роль кочевников в формировании культурного наследия Казахстана. Алматы : Print-S, 2010. С. 329–344.
13. Кызласов И.Л. Изображение Тенгри и Умай на Сулукской писанице // Этнографическое обозрение. 1998. № 4. С. 39–53.
14. Скобелев С. Г. Иконография образа богини Умай в древнетюркскую эпоху // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Новосибирск : Изд-во НГУ, 1999. Вып. 2: Горизонты Евразии. С. 162–167.
15. Худяков Ю.С. Об изображении божеств древнетюркского пантеона на памятниках искусства кочевников Южной Сибири и Центральной Азии эпохи раннего средневековья // Древности Сибири и Центральной Азии. Горно-Алтайск : ГАГУ, 2010. № 3 (15). С. 93–103.
16. Константинов Н.А., Урбушев А.У. Раннесредневековые гравировки Дялбака // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. Вып. 2. С. 270–272.
17. Чжоу Синхуа. Чжунвэй яньхуа [周兴华. 中卫岩画]. Петроглифы Чжунвэй. Иньчуань : Нинся жэньминь чубаньшэ, 1991. 6. 442 с. (На кит. яз.)
18. Ли Сянши, Чжу Цуньши. Хэланьшань юй Бэйшань яньхуа [李祥石, 朱存世. 贺兰山与北山岩画]. Петроглифы гор Хэланьшань и Бэйшань. Иньчуань : Нинся жэньминь чубаньшэ, 1993. 369 с. (На кит. яз.)
19. Ду Чэнфэн. Сунань яньхуа [杜成峰. 肃南岩画]. Петроглифы Южной Ганьсу. Ланьчжоу : Ганьсу миньцзу чубаньшэ, 2014. 200 с. (На кит. яз.)
20. Хань Циган. Субэй яньхуа [韩积罡. 肃北岩画]. Петроглифы Северной Ганьсу. Ланьчжоу : Ганьсу жэньминь мэйшу чубаньшэ, 2015. 270 с. (На кит. яз.)
21. Тан Хуйшэн, Чжан Вэньхуа. Цинхай яньхуа – шицян ишу чжун эрьюань дуйли сывэй цзи ци гуаньнянь дэ яньцзю [汤惠生, 张文华. 青海岩画—史前艺术中二元对立思维及其观念的研究]. Петроглифы Цинхай – исследование дуалистического мышления и его идей в первобытном искусстве. Пекин : Кэсюэ чубаньшэ, 2001. 280 с. (На кит. яз.)
22. Гай Шаньлинь. Иньшань яньхуа [盖山林. 阴山岩画]. Петроглифы гор Иньшань. Пекин : Вэньу чубаньшэ, 1986. 2, 20, 442 с. (На кит. яз.)
23. Гай Шаньлинь. Уланьчабу яньхуа [盖山林. 乌兰察布岩画]. Петроглифы степи Уланьчаб. Пекин : Вэньу чубаньшэ, 1989. 22, 336 с. (На кит. яз.)
24. Гай Шаньлинь. Баданьцилинь шамо яньхуа [盖山林. 巴丹吉林沙漠岩画]. Петроглифы пустыни Баданьцилинь. Пекин : Бэйцзин тушугуань чубаньшэ, 1997. 400 с. (На кит. яз.)
25. Сю Чэн, Вэй Чжун. Хэланьшань яньхуа [许成, 卫忠. 贺兰山岩画]. Петроглифы гор Хэланьшань. Пекин : Вэньу, 1993. 34, 398 с. (На кит. яз.)
26. Konstantinov N., Soenov V., Cheremisin D. Battle and hunting scenes in Turkic rock art of the early Middle Ages in Altai // Rock Art Research. 2016. Vol. 33, № 1. P. 8–18.
27. Серегин Н.Н., Мухарева А.Н. История изучения петроглифов раннего средневековья на территории Алтая // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2015. № 1 (9). Сер. Археология. Вып. 2. С. 95–106.
28. Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2011. 444 с.
29. Güneri A.S. Altay Dağları Bölgesi Kaya Resimleri: Klasik Türk Dönemi-2 Evresi Türk Tasvir Sanatına Dair Yeni Kavramlar // Arkeoloji ve Sanat. 2018. № 159: Eylül-Aralık. P. 149–160. (На тур. яз.)
30. Рогожинский А.Е. Флаги на скалах (изображения знамен в ландшафтах с петроглифами тюркской эпохи Казахстана) // Изобразительные и технологические традиции ранних форм искусства (2). Памяти Е.Г. Дэвлет. М. ; Кемерово : Кузбассвузиздат, 2019. С. 275–289. (Труды САИПИ; вып. XII).

Andrey V. Varenov, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: avvarenov@mail.ru

Maria A. Kudinova, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: maria-kudinova@yandex.ru

SIBERIAN AND CENTRAL ASIAN TURKIC-TIME PERSONAGES IN THREE-HORNED HEADRESSES AND PETROGLYPHS OF THE WUJIACHUAN ROCK-ART SITE

Keywords: North-Western China; Ancient Turkic period; petroglyphs; three-horned headdresses; Wujiachuan rock-art site.

In the article, a comparative analysis of images of characters in 3-horned headdresses of various monuments is carried out in a wide space-time range. The main materials are the petroglyphs of the Wujiachuan rock-art site in Jingyuan County of the Gansu Province (China), analogies to which the authors find in burial complexes, stone statues, among the rock carvings and graffiti in South Siberia and Central Asia.

The article sets the following tasks: to clarify the dating and reveal the semantics of "3-horned" anthropomorphic images of the Wujiachuan site by analysing similar 3-horned characters and their interpretations on other monuments; to evaluate the significance of this plot of Chinese petroglyphs for further study.

The west surface of the Wujiachuan rock-art site has carvings of 8 horsemen and several anthropomorphic figures. 6 of these riders and one standing man are wearing headdresses resembling a crown with 3 'horns'. Chinese archaeologists date the site from Neolithic to the beginning of the CE.

The standing figure however can also be perceived as a seated one if its very long, downward 'arms' are to be considered as the outline of a wide-brimmed robe, and the carved lines within it are the 'real' arms folded on the chest or on the stomach with bent legs. This interpretation corresponds with ancient Turkic images of Gorny Altai and other regions.

A boulder with engraved 'knee bending scene' was excavated in the grave 16 of the Kudyrge burial ground in Altai. A seated woman in a 3-horned headdress with a child is depicted, before whom three much smaller in size dismounted horsemen are bowing. The middle horseman is also wearing a 3-horned headdress. Engraved images of women in 3-horned headdresses were also met on rocks and on bone artefacts from Kirgizia, Kazakhstan and Khakasia.

Considering a version that this was a presentation of the ancient Turkic deities or shamans, Yu. S. Khudyakov came to the conclusion these '3-horned' images conveyed the headdresses with a high conical top and side ear-flaps of ancient Turkic women. However, the engraving from Dyalbak in Eastern Altai testifies that such headdress may not necessarily be ceremonial or ritual, but a variation of a conical combat helmet with horns.

P.P. Azbelev interprets the 'knee bending scene' from Kudyrge as a reflection of the Christian (Nestorian) narrative of worship of the Magi. It can be assumed that the Wujiachuan horsemen in horned headdresses, grouped in threes on the left and right sides of the west surface are rushing to worship the standing (or rather sitting) figure also in a 3-horned headdress. This personage, like on the Kudyrge boulder, surpasses both riders and even their horses in height.

Rock carvings of riders in 3-horned headdresses have also been found in North-Western China in the Badain Jaran Desert at the west of Inner Mongolia and in Zhongwei County of the Ningxia Province. The authors believe that plots with 3-horned characters, like images of horsemen with banners, are markers for petroglyphs of the ancient Turkic period.

REFERENCES

1. Zhang Baoxi (1983) Gansu sheng Jingyuan xian Wujiachuan faxian yanhua [张宝玺. 甘肃省靖远县吴家川发现岩画] [Petroglyphs discovered in Wujiachuan, Jingyuan County, Gansu province]. *Wenwu*. 2. pp. 46–47.
2. Rudenko, S.I. & Glukhov, A.N. (1927) Mogilnik Kudyrga na Altae [Kudyrga Burial Ground at Altai]. *Materialy po etnografii*. 3(2). pp. 37–52.
3. Gavrilova, A.A. (1965) *Mogilnik Kudyrga kak istochnik po istorii altaiskih plemen* [Kudyrga burial ground as the source on the history of Altai tribes]. Moscow; Leningrad: Nauka.
4. Azbelev, P.P. (2010) *Kudyrginskiy syuzhet* [The Kudyrga plot]. St. Petersburg: LEMA.
5. Kyzlasov, L.R. (1949) K istorii shamanskikh verovaniy na Altae [To the history of Shamanistic beliefs in Altai]. *Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii – KSIA (Brief Communications of the Institute of Archaeology)*. 29. pp. 49–52.
6. Surazakov, A.S. (1994) K semantike izobrazheniy na Kudyrginskom valune [To the semantics of Kudyrga boulder images]. In: Martynov, A.I. et al. (eds) *Etnokulturnye protsessy v Yuzhnoi Sibiri i Tsentralnoi Azii v I–II tysyacheletii n.e.* [Ethnocultural processes in Southern Siberia and Central Asia in the 1st – 2nd millennium AD]. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. pp. 45–55.
7. Sher, Ya.A. (1966) *Kamennye izvayaniya Semirechya* [Stone sculptures of Semirechye]. Moscow; Leningrad: Nauka.
8. Akhinzhanov, S.M. (1978) Ob etnicheskoy prinadlezhnosti kamennykh izvayaniy v “trekhrogiikh” golovnykh uborakh iz Semirech'ya [On ethnicity of stone sculptures in “three-horned” headdresses from Semirechye]. In: Akishev, K.A. (ed.) *Arkheologicheskie pamyatniki Kazakhstana* [Archaeological monuments of Kazakhstan]. Alma-Ata: Nauka. pp. 65–79.
9. Ermolenko, L.N. (1995) K probleme kamennykh izvayaniy v “trekhrogiikh” golovnykh uborakh [On the problem of sculpture in the “three-horned” headdresses]. In: *Naskal'noe iskusstvo Azii* [Asian Rock Art]. Vol. 1. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. pp. 54–55.
10. Khudyakov, Yu.S., Tabaldiev, K.Sh. & Soltobaev, O.A. (1997) Novye nakhodki predmetov izobrazitel'nogo iskusstva drevnikh tyurok na Tyan'-Shane [New finds of Old Turks art objects in Tien-Shan]. *Rossiyskaya Arkheologiya – Russian Archeology*. 3. pp. 142–147.
11. Khudyakov, Yu.S., Tabaldiev, K.Sh. & Soltobaev, O.A. (1996) Mnogofigurnye kompozitsii na kostyanykh plastinakh iz pamyatnika Suttuu-Bulak [Multi-figure compositions on bone plaques from the Suttuu-Bulak site]. In: Derevyanko, A.P. & Molodin, V.I. (eds) *Noveyshie arkheologicheskie i etnograficheskie otkrytiya v Sibiri* [The latest archaeological and ethnographic discoveries in Siberia]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 242–245.
12. Rogozhinsky, A.E. (2010) Novye nakhodki pamyatnikov drevnetyurkskoy epigrafiki i monumental'nogo iskusstva na yuge i vostoche Kazakhstana [New finds of ancient Turkic epigraphy sites and monumental art at the South and East of Kazakhstan]. In: Erofeev, I., Zhanaev, B. & Masanov, L. (eds) *Rol' nomadov v formirovaniy kul'turnogo naslediya Kazakhstana* [The role of nomads in the formation of Kazakhstan cultural heritage]. Almaty: Print-S. pp. 329–344.
13. Kyzlasov, I.L. (1998) Tengry and Umay Imprint on Sulek Rock Paintings. *Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic Review*. 4. pp. 39–53. (In Russian).
14. Skobelev, S.G. (1999) Ikonografiya obraza bogini Umay v drevnetyurkskuyu epokhu [Iconography of Umai Goddess Image in Ancient Turkic Period]. In: Mitko, O.A. (ed.) *Evrasiya: kulturnoe nasledie drevnih tsivilizatsiy*. [Eurasia: Cultural Legacy of Ancient Civilizations]. Vol. 2. Novosibirsk: Novosibirsk State University. pp. 162–167.
15. Khudyakov, Yu.S. (2010) Ob izobrazhenii bozhestv drevnetyurkskogo panteona na pamyatnikakh iskusstva nomadov Yuzhnoy Sibiri i Tsentral'noy Azii epokhi rannego srednevekov'ya [On the images of gods of Ancient Turkic pantheon on the art objects of nomads of South Siberia and Central Asia of the Early Medieval epoch]. In: Soenov, V.I. (ed.) *Drevnosti Sibiri i Tsentral'noy Azii* [Antiquities of Siberia and Central Asia]. Vol. 3(15). Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University. pp. 93–103.
16. Konstantinov, N.A. & Urbushev, A.U. (2018) Rannesrednevekovye gravirovki Dyalbaka [Early medieval engravings of Dyalbak]. In: Tishkin, A.A. (ed.) *Sovremennye resheniya aktual'nykh problem evraziyskoy arkheologii* [Modern solutions to pressing problems of Eurasian archeology]. Vol. 2. Barnaul: Altai State University. pp. 270–272.
17. Zhou Xinghua. (1991) *Zhongwei yanhua* [周兴华. 中卫岩画] [The Rock Arts in Zhongwei]. Vol. 6. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
18. Li Xiangshi & Zhu Cunshi. (1993) *Helanshan yu Beishan yanhua* [李祥石、朱存世. 贺兰山与北山岩画] [The Rock Art in Mt. Helan and Mt. North]. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe.
19. Du Chengfeng. (2014) *Sunan yanhua* [杜成峰. 肃南岩画] [Sunan Cultural Relic]. Lanzhou: Gansu minzu chubanshe.
20. Han Jigang. (2015) *Subei yanhua* [韩积罡. 肃北岩画] [Rock Paintings of Subei]. Lanzhou: Gansu renmin meishu chubanshe.
21. Tang Huisheng & Zhang Wenhua. (2001) *Qinghai yanhua – shiqian yishu zhong eryuan duili siwei ji qi guanyan de yanjiu* [汤惠生、张文华. 青海岩画 – 史前艺术中二元对立思维及其观念的研究] [Qinghai Petroglyphs – a Study of Dualism and its Ideas in Prehistoric Art]. Beijing: Kesue Chubanshe.
22. Gai Shanlin. (1986) *Yinshan yanhua* [盖山林. 阴山岩画] [Petroglyphs in the Yinshan Mountains]. Vol. 2. Beijing: Wenwu Chubanshe.
23. Gai Shanlin. (1989) *Wulanchabu yanhua* [盖山林. 烏蘭察布岩画] [Petroglyphs in the Wulanchabu Grassland]. Vol. 22. Beijing: Wenwu Chubanshe.
24. Gai Shanlin. (1997) *Badanjilin shamo yanhua* [盖山林. 巴丹吉林沙漠岩画] [The Rock Paintings in Badanjilin Desert]. Beijing: Beijing tushuguan chubanshe.
25. Xu Cheng & Wei Zhong. (1993) *Helanshan yanhua* [许成、卫忠. 贺兰山岩画] [Petroglyphs in the Helan Mountains]. Vol. 34. Beijing: Wenwu.
26. Konstantinov, N., Soenov, V. & Cheremisin, D. (2016) Battle and hunting scenes in Turkic rock art of the early Middle Ages in Altai. *Rock Art Research*. 33(1). pp. 8–18.
27. Seregin, N.N. & Mukhareva, A.N. (2015) Istoriya izucheniya petroglifov rannego srednevekov'ya na territorii Altaya [History of the study of petroglyphs dates as of the early Middle Ages on the territory of Altai]. *Nauchnoe obozrenie Sayano-Altaya – Sayan-Alnai Scientific Review*. 1(9). pp. 95–106.
28. Kubarev, V. D. (2011) *Petroglify Kalbak-Tasha I (Rossiyskiy Altay)* [The Petroglyphs Kalbak-Tash I (Russian Altai)]. Novosibirsk: SB RAS.
29. Güneri, A.S. (2018) Altay Dağları Bölgesi Kaya Resimleri: Klasik Türk Dönemi-2 Evresi Türk Tasvir Sanatına Dair Yeni Kavramlar [Petroglyphs of the Mongolian Altai: New Concepts of the Turkic Rock Art of the Classical Turkic Period-2]. *Arkeoloji ve Sanat*. 159. September-December. pp. 149–160.
30. Rogozhinsky, A.E. (2019) Flagi na skalakh (izobrazheniya znamen v landshaftakh s petroglifami tyurkskoy epokhi Kazakhstana) [Flags on the Rocks (banner representations within the petroglyphic landscapes of the Turkic period in Kazakhstan)]. In: Devlet, M.A. (ed.) *Izobrazitel'nye i tekhnologicheskie traditsii rannikh form iskusstva (2)* [The visual and technological traditions of early art forms]. Vol. 12. Moscow; Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. pp. 275–289.

УДК 902.01(470.331)"13"
DOI: 10.17223/19988613/68/6

В.А. Лапшин

ОРДЫНСКИЕ ПОСЛЫ В ТВЕРИ XIV ВЕКА ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ («Древности»), проект № 18-09-40111 «Социокультурные трансформации в Восточной Европе и формирование Руси: новые материалы, интерпретации, обобщения».

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Статья посвящена отражению летописного свидетельства о посещении Твери ордынскими послами в археологическом материале. Благодаря детальной дендрохронологической шкале влажного культурного слоя Тверского кремля стало возможно связать восточные импорты из горизонта 1364–1385 гг. с конкретным историческим событием. Уникальна находка в слоях третьей четверти XIV в. фрагментов четырех кашинных сосудов с росписью люстром, изготовленных в Иране в последней трети XII – первой трети XIII в. Такую керамику мог привести в Тверь золотоордынский аристократ, купивший / получивший ее в подарок в Иране. Это обстоятельство позволяет связать данные находки с посещением Твери ордынскими послами в 1370 г.

Ключевые слова: Тверь; Северо-Восточная Русь; Золотая Орда; дендрохронология.

Археология поселений в силу специфики накопления культурного слоя отражает длительные процессы и, за редчайшими исключениями, не позволяет судить о единичных событиях. Одному из таких уникальных случаев посвящена данная статья.

Сейчас Тверь – небольшой провинциальный город, расположенный недалеко от Москвы. В прошлом же Тверь – один из важнейших русских средневековых городских центров, столица Тверского княжества (1247–1485) и главный соперник Москвы в борьбе за политическое лидерство на Руси в XIV в. Оба центра относятся к числу относительно «молодых» городов: они основаны как небольшие пограничные крепости Владимирского княжества в середине XII в. (Москва) и начале XIII в. (Тверь). Поход Батыя 1238 г. привел к захвату и разрушению почти всех городов Северо-Восточной Руси, в том числе Москвы и Твери. Однако вторичному разрушению подвергались в 1252, 1281 и 1293 гг. прежде всего наиболее густо заселенное ядро земли и находившиеся в нем крупные и богатые Владимир, Суздаль, Переяславль, Юрьев, Ростов. Москва и Тверь, очевидно, внимания не привлекали как окраинные, малозначительные и бедные центры. Это, по-видимому, позволило им довольно быстро восстановиться. Во всяком случае, уже в 70-е гг. XIII в. на западной окраине Северо-Восточной Руси возникают два новых удельных княжества с центрами в Москве и Твери.

В 1993–1997 гг. на территории Тверского кремля были впервые проведены раскопки широкой площадью – 1400 м² (рис. 1) [1]. В центральной части средневековой Твери отложился так называемый «влажный слой», характерный для некоторых северорусских городов. Влажный слой образуется там, где его подстилают водонепроницаемые слои, исключаящие

естественный дренаж осадков. Культурный слой, насыщенный влагой, препятствует жизнедеятельности гнилостных бактерий и консервирует органические остатки – дерево, бересту, кожу, ткани. Но главная его ценность – хорошая сохранность бревен построек, мостовых и частоколов, ограждавших городские дворы. Материалы раскопа легли в основу дендрохронологической шкалы средневековой Твери [2–4].

При обработке материалов раскопа Тверской кремль-11 сделан ряд наблюдений, которые могут представлять интерес не только для занимающихся археологией Твери. Прежде всего следует не забывать, что результат дендроанализа – это дата рубки дерева, а не дата строительства. Каждая постройка переживает стадии строительства, функционирования и разрушения. Следовательно, археологический материал, с нею связанный, датируется некоторым периодом времени. Время разрушения постройки может быть определено по времени строительства перекрывающей ее более поздней постройки. Но такая дата не может не быть условной, так как при этом мы допускаем, что одновременно произошли три события: во-первых, разрушение ранней постройки, во-вторых, рубка леса для нового строительства (собственно дендродата); в-третьих, сооружение поздней постройки. На практике полное совпадение всех трех событий маловероятно. При новом строительстве часто использовались бревна из разобранных построек, что в еще большей степени затрудняет датирование комплексов. В некоторых случаях удалось зафиксировать факт ремонта (замены бревна нижнего венца). Все эти обстоятельства делают весьма проблематичной возможность точного датирования построек по единичным спилам.

Новгородская хронология построена на основе дендрошкалы уличных мостовых, которые в среднем

настилались каждые 20 лет. При этом находки, сделанные на городских усадьбах, соотносятся с мостовыми «по нивелиру» и соответствующим образом датируются. Исключение составляет Ильинский раскоп,

в который не попала средневековая улица, а в шурфе, заложенном на Ильинской улице, сохранились лишь нижние ярусы; поэтому строительные горизонты были выделены на основе датировки построек [5].

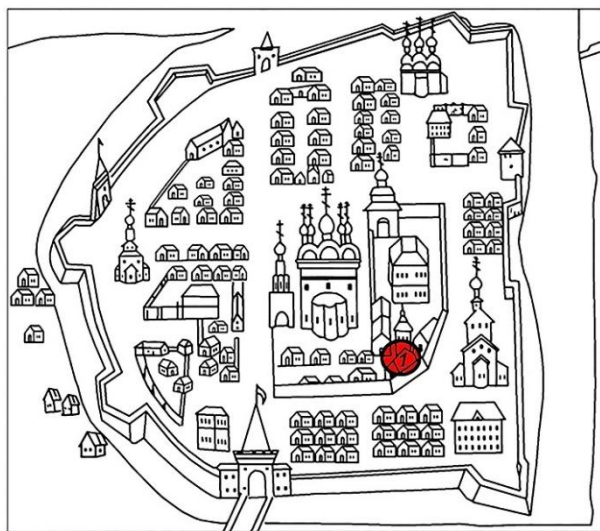


Рис. 1. «Фасад города Твери» Ивана Янцева первой половины XVIII века (РГВИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724 – фрагмент) до регулярной перепланировки 1760-х гг. 1 – место раскопа Тверской кремль-11

Эта система датирования очень удобна при обработке массового материала, но нельзя забывать о ее условности. По умолчанию предполагается, что жизнь новгородских усадеб синхронна со сменой ярусов мостовых. Однако это далеко не так. Первые опыты сопоставления строительных горизонтов усадеб с ярусами мостовых ближайшей улицы показывают, что они не совпадают [6, 7]. Синхронные изменения в застройке усадеб и мостовых происходят лишь в случае глобальных событий, например крупных городских пожаров.

В Твери мостовые не могут использоваться как основа хронологической шкалы. Они появляются только в конце XIV в., в верхней части влажного слоя, где дерево, как правило, сохраняется неудовлетворительно. Поэтому выбран принцип датирования строительных горизонтов по совокупности дат построек, составляющих усадьбу. При построении хронологической шкалы раскопа выделялись опорные постройки-комплексы с наибольшим количеством датированных спилков. Каждая постройка сопоставлялась с постройками вышележащего и нижележащего слоев. В результате этих стратиграфических и планиграфических наблюдений выделены горизонт поздних сооружений и 11 средневековых строительных горизонтов. Датировка горизонта включает младшие порубочные даты входящих в него комплексов, составляющие в сумме период строительства горизонта, и дату наиболее раннего из комплексов вышележащего горизонта как предел существования комплекса построек рассматриваемого горизонта. Как уже говорилось, последняя дата в определенной мере условна. Для получения представления о степени этой условности необходимо сравнить строительные горизонты с календарными датами. Таковую возможность дают летописные даты пожаров. Разница с летописными свидетельствами составляет от 1 года до 5 лет, что, учитывая описанную некоторую условность хро-

нологических границ строительных горизонтов, представляется вполне приемлемым.

Таким образом, для участка, раскопанного автором в Тверском Кремле, была выработана хронологическая «решетка», позволяющего датировать любую находку с точностью в среднем до двух десятилетий (рис. 2) [1. С. 85–86].

Во втором-третьем десятилетиях XIV в. основную часть раскопанного участка занимали три двора, разделенные частоколами. После большого пожара, связанного со штурмом города московским и ордынскими войсками в 1327 г., наблюдается запустение. Затем начинается строительство нового двора, занимающего территорию двух дворов предыдущего времени. В 60-е гг. XIV в. усадьба перестраивается и еще расширяется, занимая всю раскопанную территорию.

Эти городские дворы выделяются не только размерами, но и богатством и разнообразием находок. Особенно богат второй, более поздний и более обширный двор, функционировавший два десятилетия – с 1364 по 1385 г. (усадьба 5-A). Среди находок, характерных только для этого двора, – предметы с надписями, костяные печати – принадлежность княжеских чиновников, а также часть золотого креста-энколпиона (реликвария), находки уникальной по ценности и редкости, и предметы вооружения, снаряжения коня и всадника – украшения поясного набора и сбруи [Там же. С. 181–183].

Еще одна особенность этого двора – многочисленные находки восточных импортов, по-видимому, попавших в Тверь через Орду: египетское стекло, кашинная и колыбная керамика. Большая часть кашинной керамики представлена образцами, характерными для городов Золотой Орды XIV в. (рис. 3, 4). Но с этим двором связана и уникальная находка фрагментов четырех кашинных сосудов с росписью люстром, изготовленных в Иране в последней трети XII – первой

трети XIII в. (рис. 4, 4–5). По гипотезе В.Ю. Коваля, такую керамику мог привести в Тверь золотоордынский аристократ, купивший или получивший ее в подарок

в Иране, где только и могла храниться более 100 лет после изготовления эта раритетная и очень дорогая посуда [8. С. 291].

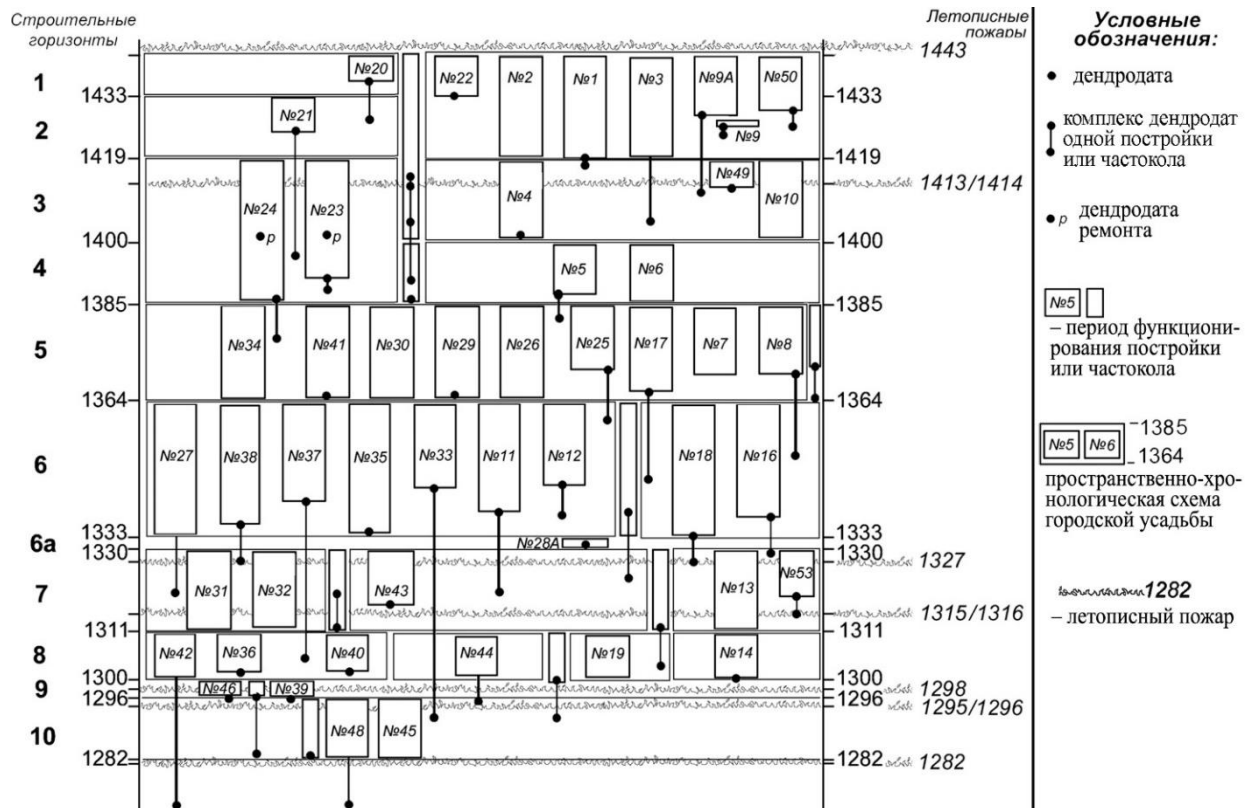


Рис. 2. Пространственно-хронологическая схема построек раскопа Тверской кремль-11: 1 – дендродата; 2 – комплекс дендродат одной постройки или частокола; 3 – дендродата ремонта; 4 – период функционирования постройки или частокола; 5 – пространственно-хронологическая схема городской усадьбы; 6 – летописный пожар

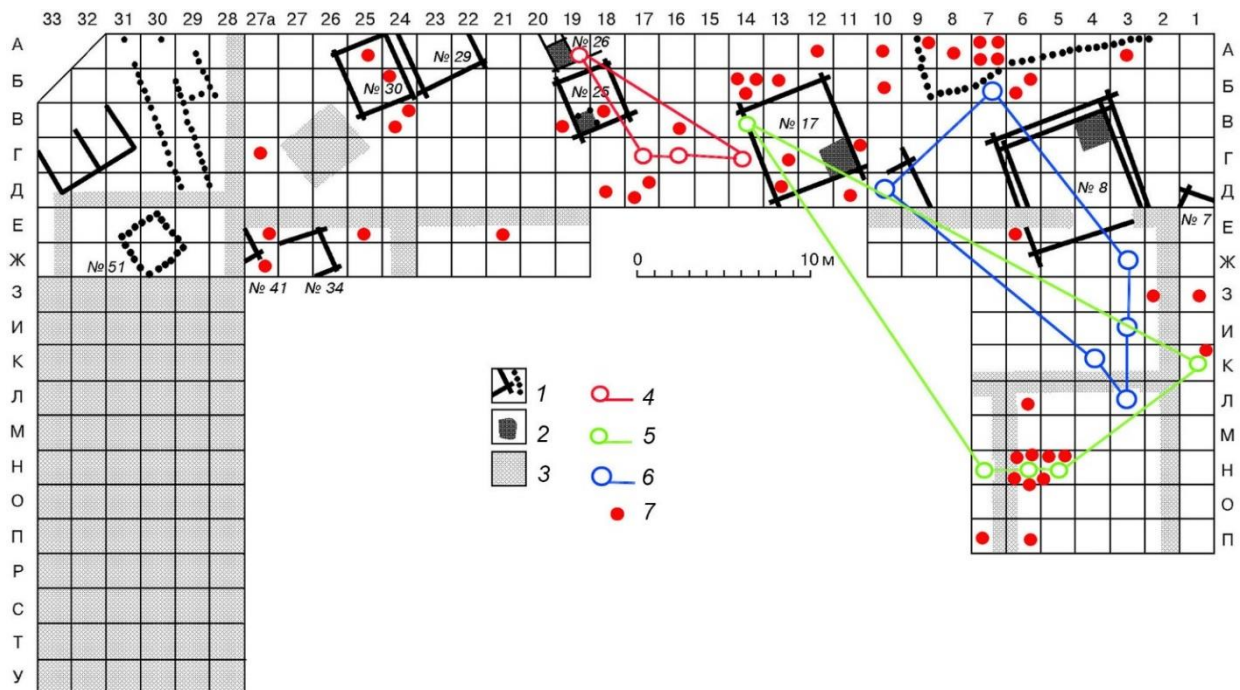


Рис. 3. Раскоп Тверской кремль-11. Постройки горизонта 5 (1364–1385) с графами связей между находками обломков, принадлежащих одним и тем же сосудам: 1 – деревянные конструкции; 2 – печи; 3 – поздние перекопы; 4 – фрагменты иранской люстровой фаянсовой чаши; 5 – фрагменты хорезмийской «штампанной» фляги; 6 – фрагменты полуфаянсовой чаши с полихромной (черно-синей) подглазурной росписью; 7 – отдельные фрагменты кашинной керамики

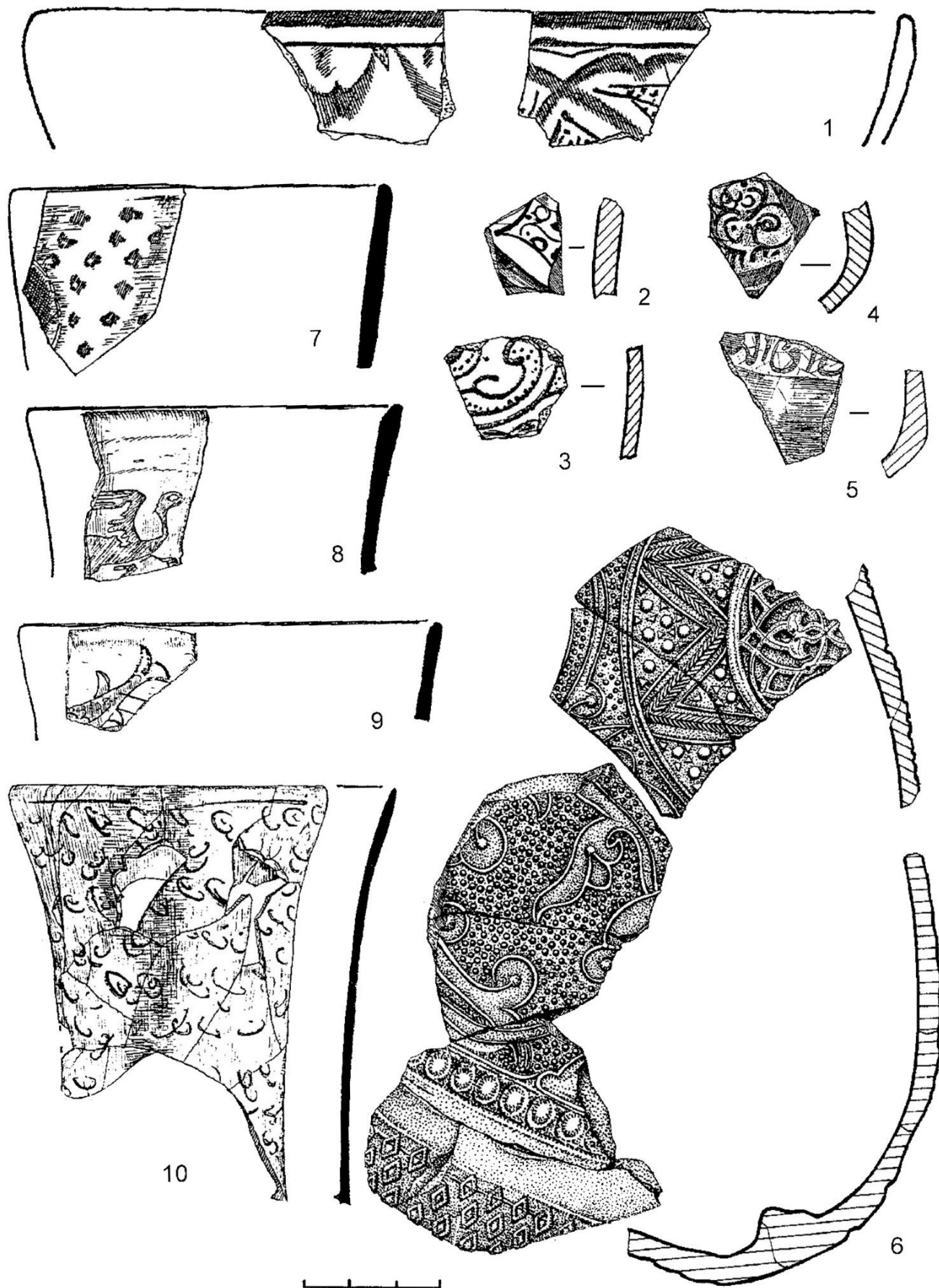


Рис. 4. Находки из раскопа Кремль-11. Вещи, попавшие в Тверь через Золотую Орду: 1-5 – поливная полихромная посуда; 6 – фрагменты приседельной фляги из колыбной керамики; 7-10 – кубки; 1-6 – кашин; 7-10 – стекло, цветные эмали

Кажется, предположение В.Ю. Ковалья можно конкретизировать. Один из эпизодов борьбы Твери и Москвы упомянут летописью под 1370 г., когда послы хана Каптагай и Тюзак привезли в Тверь ярлык на великое княжение князю Михаилу Александровичу, но не застали его – он вынужден был бежать от войск Дмитрия Московского в Литву [9. Стб. 92]. В этих условиях татарских послов должен был принимать глава администрации князя. Соблазнительно связать находки люстровой посуды, а также колыбной приседельной фляги с пребыванием на усадьбе татарских послов. Планиграфия находок фрагментов восточной посуды, в частности распределение фрагментов одних и тех же сосудов, хорошо иллюстрирует летописное извещие [8. С. 294. Рис. 57].

Время жизни на усадьбе 5-А (1364–1385) приходится на первую половину княжения Михаила Александровича (1368–1399). Хотя в целом тридцатилетнее правление князя характеризуется историками как время «укрепления политической независимости Твери» [10. С. 233–253], начало его было весьма беспокойным: первые семь лет своего правления Михаил почти не бывал в Твери. В этот период должна была укрепиться реальная власть чиновника, замещавшего великого князя в Твери. Золотой крест-энколпион указывает на очень высокий статус его владельца – представителя светской или духовной элиты. Позволим себе предположение, что таковым мог быть тверской тысяцкий.

Усадьба погибла в пожаре около 1385 г. Соответствующего летописного известия нет. На 1377–1382 гг. (6885–6890) приходится лакуна в тверском летописании [11. С. 81]. Возможно, на нее приходится и данный пожар. Во всяком случае, в 1386/1387 г. в Твери были сооружены дополнительные укрепления [12. С. 93]. Обычно всякого рода перестройки и перепланировки производились после больших пожаров.

На то, что это был не рядовой пожар, указывает и находка в нем нижней части золотого энколпиона. Украшения из драгоценных металлов в Средневековье часто шли в переплавку и использовались как сырье. Но совершенно невероятно представить, чтобы ремесленник разрубил крест, содержащий частицу мощей святого. Судя по обстоятельствам находки (нижние части створок найдены вместе, верхняя часть отсутствует), крест был разрушен на груди его владельца.

После 1385 г. застройка участка коренным образом изменилась: на месте большого двора возникла улица, разделяющая два обычных небольших городских двора. По-видимому, хозяин двора, а возможно, и вся его семья погибли.

Вот так через археологический контекст летописное событие 1370 г., когда тверской тысяцкий на своем дворе принимал ордынских послов, обретает материальное воплощение в богатом наборе находок, маркирующих высокий статус княжеского чиновника, и раритетной, очень дорогой посуде, привезенной в Тверь золотоордынским аристократом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лапшин В.А. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопа Тверской кремль-11, 1993–1997 гг.). СПб. : Изд-во филол. фак-та С.-Петерб. ун-та, 2009. 540 с.
2. Черных Н.Б., Карпунин А.А. Абсолютная дендрохронологическая шкала Твери XII–XV вв. // Российская археология. 2001. № 3. С. 46–54.
3. Черных Н.Б., Карпунин А.А. Результаты дендрохронологического исследования дерева построек из раскопа Тверской кремль-11 // Тверской кремль: комплексное археологическое источниковедение. СПб. : Европейский дом, 2001. С. 21–35.
4. Черных Н.Б., Карпунин А.А. Абсолютная дендрохронологическая шкала Твери XI – начала XX вв. // Российская археология. 2004. № 3. С. 68–78.
5. Колчин Б.А., Черных Н.Б. Ильинский раскоп (стратиграфия и хронология) // Археологическое изучение Новгорода. М. : Наука, 1978. С. 57–116.
6. Петров М.И. К вопросу о формировании строительного яруса // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород, 2008. Вып. 22. С. 108–120.
7. Петров М.И. Дневная поверхность: к проблеме согласования пластов и ярусов // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород. 2009. Вып. 23. С. 226–243.
8. Коваль В.Ю. Керамика востока в Тверском кремле // Лапшин В.А. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопа Тверской кремль-11, 1993–1997 гг.). СПб. : Изд-во филол. фак-та С.-Петерб. ун-та, 2009. С. 273–296.
9. Полное собрание русских летописей. М. ; Л., 1965. Т. XV. 432 с.
10. Ключевский В.О. Княжество Тверское (1247–1485 гг.). Тверь : Риф, 1994. 432 с.
11. Малыгин П.Д. Средневековые письменные источники о топографии Твери // Тверской кремль: комплексное археологическое источниковедение. СПб. : Европейский дом, 2001. С. 80–100.
12. Полное собрание русских летописей. М. ; Л., 1965. Т. XI. 264 с.

Vladimir A. Lapshin, Institute of the History of Material Culture RAS (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: vladimirlapshin51@yandex.ru

HORDE'S AMBASSADORS IN TVER OF THE 14th CENTURY ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE

Keywords: Tver; North-Eastern Russia; Golden horde; dendrochronology.

This paper discusses the evidence of chronicles on the visit of the Golden Horde's ambassadors to Tver in the light of archaeological data. In 1993/1997, at the territory of the Tver Kremlin, first excavations in large areas (1400 m²) were conducted (Fig. 1) [1]. The materials from this excavation formed the basis of the dendrochronological scale of mediaeval Tver [2; 3; 4]. Owing to the detailed dendrochronological scale of the damp cultural layer of the Tver Kremlin (Fig. 2), it has become possible to link Eastern imports found in the building horizon of 1364–1385 with a particular historical event. In the second to third decades of the 14th century, the main section of the excavated area was occupied by three properties separated by stockades. After a strong fire effected by the storm of the city by Moscow and Horde forces in 1327, the desolation of the site is observed. Afterwards, the building of a new household begins occupying the territory of two properties of the precedent period. In the 1360s, this estate is reconstructed and expanded occupying the entire excavated territory. These urban properties are distinguished not only in their size but also in the richness and diversity of the finds. Especially rich is the second, later and more spacious, property which was functioning for two decades – since 1364 to 1385 (Estate 5-A). Among the

finds characteristic of this property there are objects with inscriptions and bone seals belonging to princely functionaries, as well as part of a gold encolpion cross (reliquary). These are objects unique in their value and rarity. Also weaponry, items of horse and rider's outfit, and ornaments of belt and bridle sets were uncovered [1. P. 181–183]. Items of the Golden Horde Kashi pottery and Syro-Egyptian glass are not uncommon in Tver of the 14th century (Fig. 3, 4). However the find of fragments of four Kashi vessels with lustre painting is unique. They were retrieved from deposits of the third quarter of the 14th century having been manufactured in Iran of the last century of the 12th – first third of the 13th century (Fig. 4: 4-5). Pottery of this type might have been brought to Tver by a Golden Horde aristocrat who bought it or received as a present in Iran where this rare and very expensive ware could solely have been kept for over 100 years after its manufacture. This circumstance enables us to connect these finds with the visit of the Golden Horde khan's ambassadors Kaptagay and Tyuzak to Tver in 1370. They brought there a yarlyk (special credentials) for grand reign of Prince Mikhail Aleksandrovich but did not find the latter who had to flee to Lithuania from the troops of Dmitry of Moscow. The time of occupation of estate 5-A (1364–1385) falls on the first half of the reign of Prince Mikhail Aleksandrovich (1368–1399). Although, in general, the thirty-year rule of this prince is characterised by historians as the time of 'the strengthening of the political independence of Tver' [10. P. 233–253], its beginning was rather troublesome: the first seven years of his reign, Mikhail almost never visited Tver. During that period, the real power of the functionary filling in for the Grand Prince in Tver must have been strengthened. The gold encolpion cross indicates a very high status of its owner as a representative of the secular and religious elite. It seems appropriate to suppose that this was the Tver tysyatsky who did receive the Horde's ambassadors in the absence of the Prince.

REFERENCES

1. Lapshin, V.A. (2009) *Tver' v XIII–XV vv. (po materialam raskopa Tverskoy kreml'-11, 1993–1997 gg.)* [Tver in the 13th – 15th centuries (based on excavations made in 1993–1997)]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
2. Chernykh, N.B. & Karpukhin, A.A. (2001) Absolyutnaya dendrokronologicheskaya shkala Tveri XII–XV vv. [Absolute dendrochronological scale of Tver in the 12th – 15th centuries]. *Rossiyskaya arkhologii – Russian Archaeology*. 3. pp. 46–54.
3. Chernykh, N.B. & Karpukhin, A.A. (2001) Rezultaty dendrokronologicheskogo issledovaniya dereva postroek iz raskopa Tverskoy kreml'-11 [Results of dendrochronological study of the lumber from the Tver Kremlin-11 excavation]. In: Beletsky, S.V. & Lapshin, V.A. (eds) *Tverskoy kreml': kompleksnoe arkhologicheskoe istochnikovedenie* [The Tver Kremlin: a comprehensive archaeological source study]. St. Petersburg: Evropeyskiy dom. pp. 21–35.
4. Chernykh, N.B. & Karpukhin, A.A. (2004) Absolyutnaya dendrokronologicheskaya shkala Tveri XI – nachala XX vv. [Absolute dendrochronological scale of Tver in the 12th – early 20th centuries]. *Rossiyskaya arkhologii – Russian Archaeology*. 3. pp. 68–78.
5. Kolchin, B.A. & Chernykh, N.B. (1978) Il'inskiy raskop (stratigrafiya i khronologiya) [Ilinsky excavation (stratigraphy and chronology)]. In: Kolchin, B.A. & Yanin, V.L. (eds) *Arkheologicheskoe izucheniye Novgoroda* [The Archaeological Study of Novgorod]. Moscow: Nauka. pp. 57–116.
6. Petrov, M.I. (2008) K voprosu o formirovaniy stroitel'nogo yarusy [On the formation of building horizons]. In: *Novgorod i Novgorodskaya zemlya. Istoriya i arkhologiya* [Novgorod and Novgorod land. History and Archeology]. Vol. 22. Velikiy Novgorod: [s.n.]. pp. 108–120.
7. Petrov, M.I. (2009) Dnevnyaya poverkhnost': k probleme soglasovaniya plastov i yarusov [Daylight surface: on matching layers and tiers]. In: *Novgorod i Novgorodskaya zemlya. Istoriya i arkhologiya* [Novgorod and Novgorod land. History and Archeology]. Vol. 23. Velikiy Novgorod: [s.n.]. pp. 226–243.
8. Koval, V.Yu. (2009) Keramika vostoka v Tverskom kremle [Ceramics of the East in the Tver Kremlin] In: Lapshin, V.A. *Tver' v XIII–XV vv. (po materialam raskopa Tverskoy kreml'-11, 1993–1997 gg.)* [Tver in the 13th – 15th centuries (based on the materials from excavations made in 1993–1997)]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 273–296.
9. Bychkov, A.F. (ed.) (1965) *Polnoe sobranie russkikh letopisey* [Complete Collection of Russian Chronicles]. Vol. 15. Moscow; Leningrad: [s.n.].
10. Klyug, E. (1994) *Knyazhestvo Tverskoe (1247–1485 gg.)*. [Principality of Tver (1247–1485)]. Tver: Rif.
11. Malygin, P.D. (2001) Srednevekovye pis'mennye istochniki o topografii Tveri [Medieval written sources about the topography of Tver]. In: Beletsky, S.V. & Lapshin, V.A. (eds) *Tverskoy kreml': kompleksnoe arkhologicheskoe istochnikovedenie* [The Tver Kremlin: a comprehensive archaeological source study]. St. Petersburg: Evropeyskiy dom. pp. 80–100.
12. Platonov, S.F. (1965) *Polnoe sobranie russkikh letopisey* [Complete Collection of Russian Chronicles]. Vol. 11. Moscow; Leningra: I.N. Skorokhodov.

УДК 903.2(1-925.11/.16)
DOI: 10.17223/19988613/68/7

В.И. Молодин

СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКИЕ БРОНЗЫ В ОДИНОВСКОЙ И КРОВОТОВСКОЙ КУЛЬТУРАХ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-00406 «Население Среднего Приомья в раннем голоцене по материалам новейших археологических комплексов: периодизация, хронология, культурогенез».

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Рассматривается проблема специфики существования бронз сейминско-турбинского типа у носителей одиновской и кротовской культур эпохи ранней–развитой бронзы в Обь-Иртышском междуречье, которые достаточно известны в регионе. На поселениях и в могильниках обнаружены литейные формы для изготовления предметов сейминско-турбинского типа. Кротовцы не только адаптировали сейминско-турбинские предметы, но изобрели новые формы, известные только в Прииртышье. В одиновских комплексах есть иные формы сейминско-турбинских предметов. Можно полагать, что через кротовцев шел транзит предметов сейминско-турбинского феномена на запад и особенно на восток. Не исключено, что в лесостепном Прииртышье на рубеже III–II тыс. до н.э. сформировался очаг носителей сейминско-турбинских бронз.

Ключевые слова: одиновская культура; кротовская культура; сейминско-турбинский транскультурный феномен.

За последнее пятидесятилетие учеными Советского Союза и современной России проделана огромная работа по изучению культур эпохи бронзы на территории Западной Сибири. Особое место занимали образования периода ранней–развитой бронзы, расположенные в лесостепной зоне Западной Сибири и относящиеся к доандроновской эпохе. К их числу относятся такие культуры, как окуневская [1], самусьская [2–4], кротовская [5–7], елунинская [8, 9], каракольская [10, 11], крохалевская [5, 12, 13], одиновская [14, 15] и др. Данные культуры объединяет ряд близких черт в формах и орнаментации глиняной посуды, отдельных составляющих инвентаря и погребальной практики, однако каждое из этих образований имеет свою специфику, что и позволило в свое время выделить их как особые.

Была проведена работа и по корреляции данных образований [3]. Характерной особенностью ряда отмеченных культур является наличие бронз сейминско-турбинского типа в составе комплексов, что также является эпохальным показателем для перечисленных культурных образований.

Проблемы, связанные с изучением сейминско-турбинской металлургии в 80-е гг. прошлого века и ярко обозначенные Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых в фундаментальных исследованиях [16, 17], и сегодня, с накоплением новых материалов, не утратили своей актуальности. Помимо открытия сейминско-турбинских бронз в Синьцзяне [18–20], особенно важно нахождение таких бронз в комплексах, надежно связанных с конкретными археологическими культурами. По меньшей мере две таких культуры известны на территории лесостепной части Западной Сибири, о них-то и пойдет речь в настоящем исследовании.

Определенные особенности имеют предметы сейминско-турбинского облика, связанные с погребальными комплексами елунинской культуры [21], бронзы самусьско-кижировского типа представлены в памятниках самусьской культуры [17]. Весь этот материал может быть рассмотрен особо, он также неоднократно исследовался в специальных работах.

Одиновская и кротовская культуры изучены на сегодняшний день достаточно неплохо. Широкомасштабным раскопкам подвергались как поселенческие, так и погребальные комплексы их носителей. При этом значительный материал опубликован [6, 22, 23 и др.]. В погребальных комплексах обеих культур найдены классические бронзовые предметы сейминско-турбинского облика. Речь идет как о специфических кельтах, своеобразных наконечниках копий, так и, что особенно важно, о литейных формах для их производства, представленных в материалах кротовской культуры. Реже, но все-таки встречаются, возможно, близкие к сейминско-турбинским формам свидетельства бронзолитейного производства и на одиновских поселениях [24].

Устойчивая повторяемость этого явления на целом ряде могильников (несколько более ранних – одиновских – таких как Тартас-1, Преображенка-6 [25], и более поздних – кротовских – таких как Ростовка, Сопка-2/4БВ [6, 7]), несомненно, свидетельствует о том, что явление это было отнюдь не случайным, а вполне устоявшимся.

Как я уже подчеркивал, в захоронениях могильников кротовской культуры (Ростовка, Сопка-2/4БВ) были найдены литейные формы для классических кельтов и наконечников копий сейминско-турбинского облика [6, 7], а также технические средства для их изготовления. Более того, на могильнике Сопка-2/4БВ

обнаружено захоронение мастера-литейщика, свидетельствующее, по-видимому, о формировании такого института в среде носителей культуры [26]. Случаи находок литейных форм для изготовления предметов сейминско-турбинского облика были не единичными, а, можно сказать, достаточно частыми, если не массовыми.

На поселениях одиновской культуры (Марково-2, Тартас-1) мы находили следы вполне развитого бронзолитейного производства [14]. Это прежде всего крупные тигли для выплавки довольно большого объема металла, однако фрагментов литейных форм для отливки изделий сейминско-турбинского типа здесь пока не обнаружено. Последнее заставляет предполагать, что такие предметы путем обмена попадали к носителям одиновской культуры от непосредственных носителей сейминско-турбинского транскультурного феномена при их продвижении по акватории Иртыша, а затем веерообразно на запад и восток, в зону лесостепей, при этом активно использовались текущие в широтном направлении речные системы (в частности, р. Омь – правый приток Иртыша).

Особо важно подчеркнуть, что источниками сырья для производства бронзовых орудий, в связи с отсутствием собственной рудной базы в лесостепном Прииртышье, служили месторождения на территории современных Восточного Казахстана, Рудного Алтая и, возможно, еще более южных районов Центральной Азии. Поэтому путь поставки сырья совпадал с направлением магистрального движения носителей транскультурного феномена. Носители одиновской культуры, конечно, умели изготавливать бронзовые предметы, однако представляется, что морфология этих изделий была более простой, чем сейминско-турбинская, и одиновцы вряд ли в полной мере обладали секретами тонкостенного литья.

В более поздний хронологический период (последняя четверть III тыс. до н.э.), когда на историческую арену активно выходит кротовская культура, носители которой определенное время сосуществовали с одиновцами, в регионе наступает явный расцвет бронзолитейного производства. Именно в это время традиции, связанные с изготовлением сейминско-турбинских бронз, были активно восприняты аборигенами (т.е. кротовцами) и не только адаптированы в их среде, но даже способствовали выработке новых форм, существенно обогащающих составляющую самого транскультурного феномена.

Об этом ярко свидетельствуют находки литейных форм для отливки классических сейминско-турбинских предметов, обнаруженных в культурных слоях поселений кротовской культуры, например створка каменной литейной формы для отливки кельта (Венгерово-2) [27], обломок формы для изготовления наконечника копья (поселение Черноозерье-VI) [28, 29], бронзовый кельт с сохранившейся частью деревянной рукояти (поселение Старый Тартас-1) [30] и т.д.

Традиции, связанные с изготовлением сейминско-турбинских бронз, настолько адаптировались у носителей кротовской культуры, что способствовали появлению в их среде новых своеобразных форм бронзовых

предметов, которые нигде более, кроме лесостепного Прииртышья, не встречаются – ни на западе, ни на востоке.

Вместе с тем сейминско-турбинский колорит прослеживается на этих предметах совершенно отчетливо. Речь идет о таких изделиях, как однолезвийный кинжал из Ростовки с навершием в виде лошади и лыжника [31], бронзовый втульчатый наконечник копья из окрестностей г. Омска, на котором в качестве скобы на втулке изображена фигурка «кошачьего хищника» [17. Рис. 31, 1], бронзовое навершие в виде головы коня (разрушенный современными бугровщиками могильник вблизи г. Омска) [32, 33]. Уместно полагать, что эти оригинальные предметы (в основе, несомненно, сейминско-турбинские) впитали в себя автохтонный колорит носителей аборигенной кротовской культуры.

В захоронениях кротовской культуры также обнаружены *in situ* три цельнолитых двулезвийных кинжала с бронзовой рукоятью (единственный пока достоверный случай), которые автор этих строк связывает с проявлением сейминско-турбинского феномена в Центральной Азии и Южной Сибири [34]. В материалах кротовского могильника Сопка-2/4БВ такие кинжалы встречаются наряду с литейными формами и предметами классического сейминско-турбинского облика [6]. Исследователи не раз отмечали, что изображение лошадок на рукоятях кинжалов по манере исполнения напоминает навершия сейминско-турбинского типа [35, 36].

Отмечается и некоторая специфика сейминско-турбинских изделий, обнаруженных в погребальных комплексах, с одной стороны, одиновской культуры, с другой – кротовской [25, 37–39], что, видимо, объясняется различиями во времени их бытования у носителей рассматриваемых культур. Данный феномен может свидетельствовать о довольно длительном процессе влияния сейминско-турбинского транскультурного феномена на культуры западносибирских аборигенов, а также об истоках волн, откуда происходило это влияние (рис. 1, 2). Особенно наглядно эти различия фиксируются на формах кельтов. Так, для комплексов одиновской культуры характерны преимущественно кельты типа К-4, а для кротовской культуры их набор более представительен и многообразен и, следуя типологической разработке Е.Н. Черныха и С.В. Кузьминых [17], последние представлены разрядами К-18.

В дополнение к сказанному выше уместно отметить, что традиция, связанная с изготовлением сейминско-турбинских бронз, видимо, настолько адаптировалась у кротовцев, что активно использовалась даже в последующее, уже позднекротовское время. Свидетельство этому мы находим в одном из захоронений могильника позднекротовской (черноозерской) культуры на памятнике Тартас-1 [40] в виде обломка литейной формы для изготовления кельта. Эта традиция окончательно угасает только с приходом на данную территорию носителей андроновской (федоровской) культуры, когда в регионе в целом происходит практически полная смена населения и пришлые с запада андроновцы (федоровцы) окончательно утверждают свои доминирующие позиции, в том числе и в формах бронзового инвентаря.

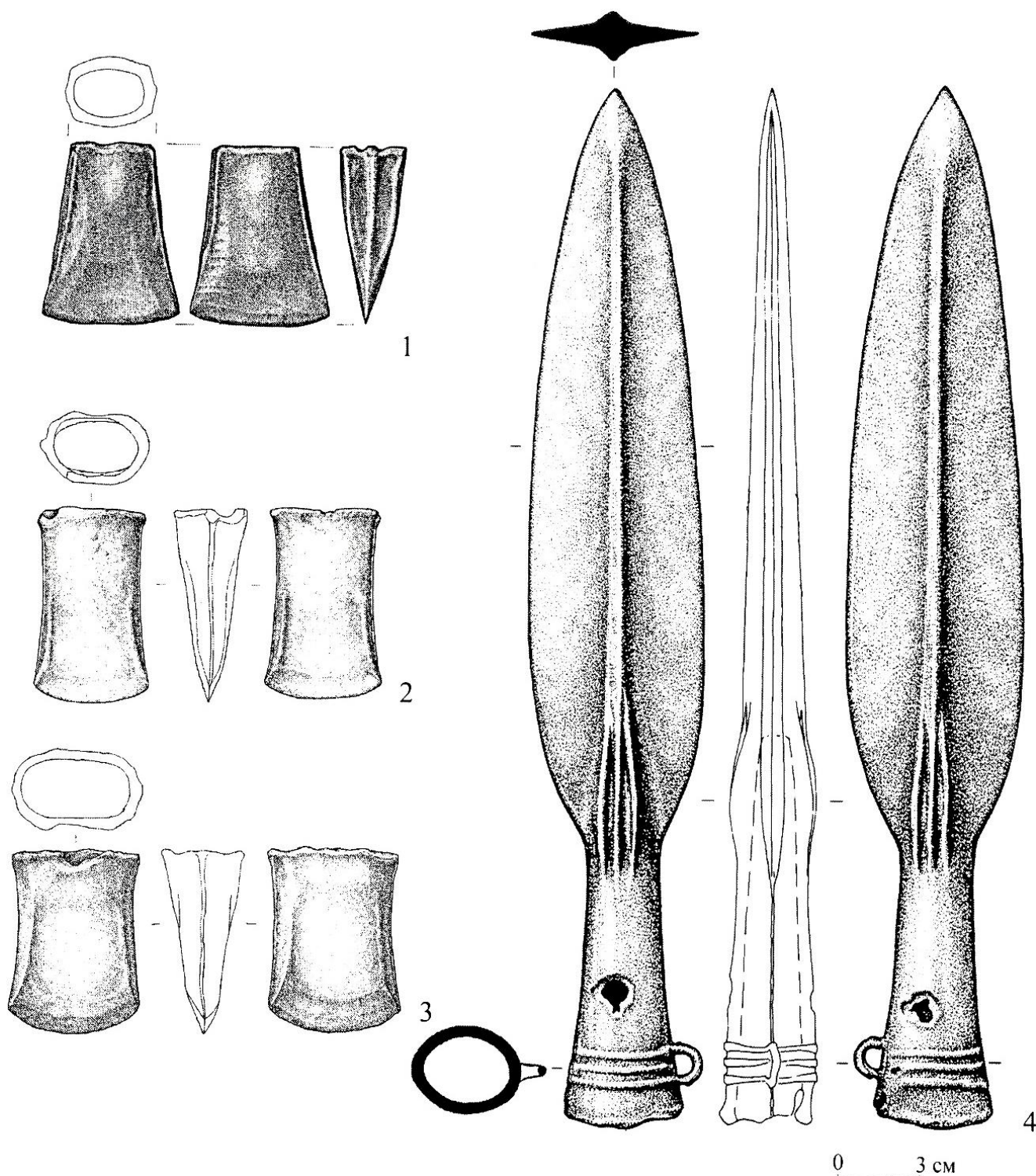


Рис. 1. Изделия сейминско-турбинского типа из комплексов одиновской культуры:
1 – могильник Тартас-1; 2–4 – могильник Преображенка-6

Обозначенные особенности могут говорить еще и о том, что сейминско-турбинские изделия, найденные в одиновских комплексах, являлись предметами импорта, попавшими в западносибирскую лесостепь в результате миграций носителей сейминско-турбинского транскультурного феномена, тогда как изделия кротовской культуры были в значительной степени местного производства, продуктами собственных мастеров-литейщиков. Однако последнее не означает, что

контакты у аборигенов с носителями транскультурного феномена уже не существовало. Скорее, даже напротив, через носителей кротовской культуры мог осуществляться транзит на восток к носителям крохалевской, а затем и окуневской культур, где тонкостенное литье бронзы активно осваивалось как технологический прием, о чем свидетельствуют находки предметов сейминско-турбинского облика и у крохалевцев, и у окуневцев [41, 42].

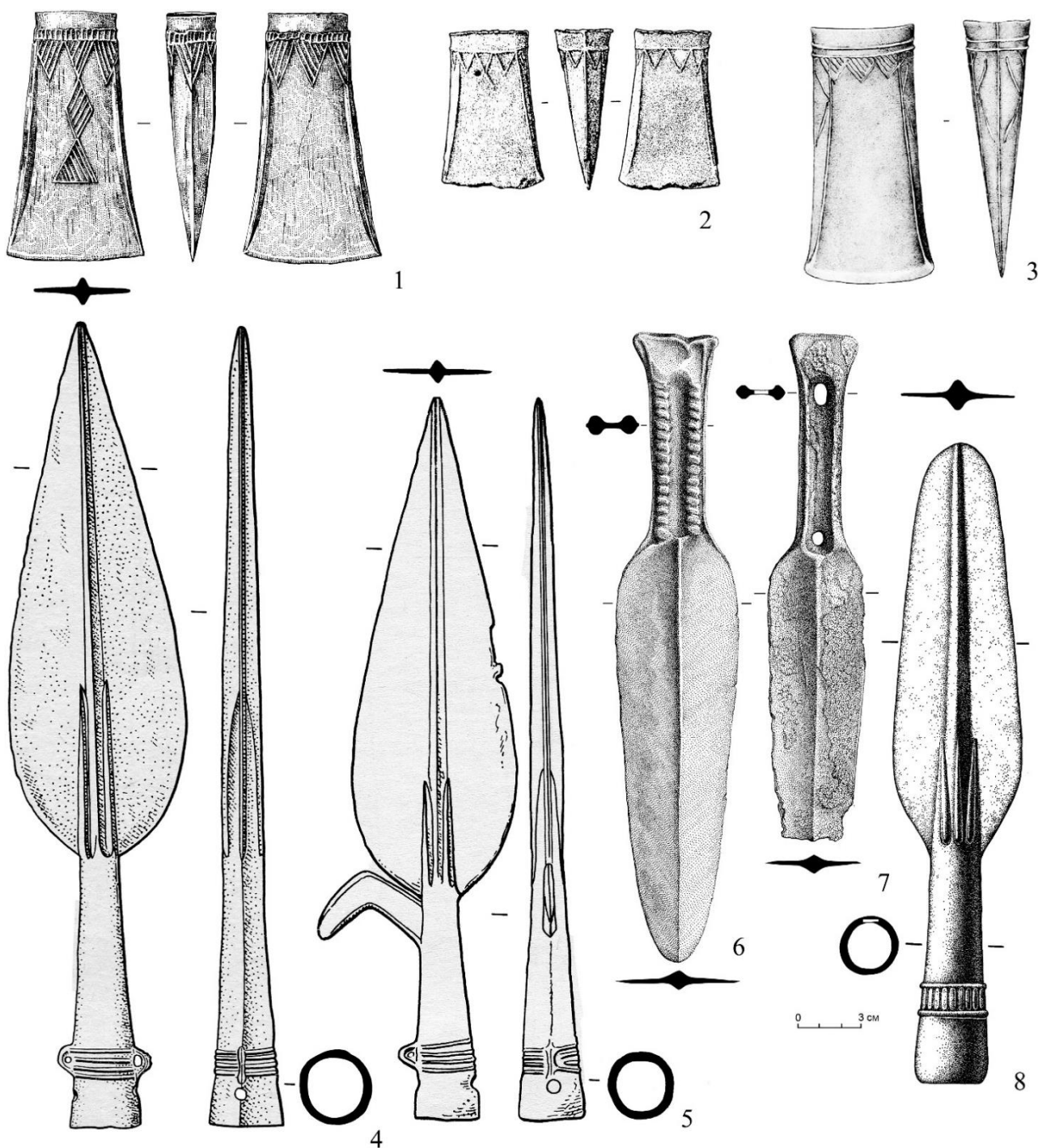


Рис. 2. Изделия сейминско-турбинского типа из комплексов кротовской культуры: 1, 2, 6–8 – могильник Сопка-2/4БВ; 3 – поселение Венгерово-2; 4, 5 – могильник Ростовка; 1, 3 – реконструкция по негативу литейной формы

Не исключено, что в лесостепном Прииртышье к концу III тыс. – началу II тыс. до н.э. сформировался своего рода очаг носителей сейминско-турбинских бронз, из которого импульсивно распространялись мигранты на запад и на восток. Об этом свидетельствуют и два крупных могильника с сейминско-турбинскими бронзами [7, 32], и обилие единичных находок [17], и антропоморфные и зооморфные жезлы, обнаруженные в этом же регионе [43].

Как уже приходилось отмечать, носители кротовской культуры сменяют на территории Обь-Иртышской лесостепи представителей одиновской культуры, о чем сви-

детельствуют и неоднократные стратиграфические наблюдения [44], и серии радиоуглеродных датировок [45, 46]. Вместе с тем очевидно и то, что определенное время носители данных культурных образований сосуществуют на одной территории, о чем свидетельствуют, например, находки одиновской керамики в кротовских поселенческих комплексах [47]. В конечном итоге носители одиновской культуры были ассимилированы или же вытеснены кротовцами, очевидно, на север, в южнотаежную зону, где и развивали исконное для региона металлургическое производство, по-видимому, в этнически более близкой для них среде раннесузгунской культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Максименков Г.А. Окуневская культура : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1975. 40 с.
- Матюшенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Томск : Изд-во ТГУ, 1973. Ч. II: Самульская культура. 139 с. (Из Истории Сибири; вып. 10).
- Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М. : Наука, 1981. 278 с.
- Молодин В.И., Глушков И.Г. Самульская культура в Верхнем Приобье. Новосибирск : Наука, 1989. 168 с.
- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск : Наука, 1977. 175 с.
- Молодин В.И., Гришин И.Г. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. Новосибирск, 2016. Т. 4. 452 с.
- Матюшенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. Томск, 1988. 132 с.
- Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул : Изд-во АГУ, 2002. 293 с.
- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин А.А. Елунинская культура бронзового века в Обь-Иртышском междуречье // На пути открытия цивилизации. СПб. : Алетей, 2010. С. 552–566.
- Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск : Наука, 1988. 173 с.
- Молодин В.И. Каракольская культура // Окуневский сборник : культура и ее окружение. СПб., 2006. С. 273–282.
- Полосымак Н.В. Керамический комплекс поселения Крохалева-4 // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск : Наука, 1978. С. 36–45.
- Бобров В.В. Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху бронзы : втореферат дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1992. 41 с.
- Молодин В.И. Памятники одиновского типа в Барабинской лесостепи // Проблемы западносибирской археологии: эпоха камня и бронзы. Новосибирск : Наука, 1981. С. 63–75.
- Зах В.А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Иртышья. Новосибирск : Наука, 2009. 317 с.
- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Памятники сейминско-турбинского типа в Евразии // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 84–105.
- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Азии. М., 1989. 320 с.
- Молодин В.И., Комиссаров С.А., Ван Пэн. Бронзовые наконечники копий сейминско-турбинского типа из Китая // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. Т. 1. С. 715–716.
- Молодин В.И. Сейминско-турбинские проявления в Центральной Азии и в Китае // Ancient cultures of Mongolia, Baikal Siberia and Northern China : the VIII Intern. Academic Conf. Changchun, 2017. P. 337–347.
- Mei J. Early Metallurgy in China: Some Challenging Issues in Current Studies // Metallurgy and Civilization: Eurasia and Beyond : Proc. of the 6th Intern. Conf. on the Beginnings of the Use of Metals and Alloys (BUMA VI). Beijing, 2009. P. 9–16.
- Кирюшин Ю.Ф. О культурной принадлежности памятников предандроновской бронзы лесостепного Алтая // Урало-алтаистика: археология, этнография, язык. Новосибирск : Наука, 1985. С. 72–77.
- Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи (к постановке проблемы) // Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее (к юбилею профессора Т.Н. Троицкой). Новосибирск, 2010. С. 61–76.
- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. Новосибирск, 2012. Т. 3. 220 с.
- Молодин В.И., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. Т. 46, № 3. С. 49–58.
- Молодин В.И. Сейминско-турбинские бронзы в «закрытых» комплексах одиновской культуры (Барабинская лесостепь) // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии : к 70-летию академика А.П. Деревянко. Новосибирск, 2013. С. 309–324.
- Молодин В.И. Погребение литейщика из могильника Сопка-2 // Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул, 1983. С. 96–109.
- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Борзых К.А., Селин Д.В., Нестерова М.С., Ковыршина Ю.Н. Проявление сейминско-турбинского феномена на поселении кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. XXI. С. 321–325.
- Кондратьев О.М. Раскопки поселения эпохи ранней бронзы Черноозерье VI в 1970 г. // Из истории Сибири. Томск, 1974. Вып. 15. С. 17–19.
- Стефанова Н.К., Стефанов В.И. О поселении Черноозерье VI, исследованных на его площади захоронениях и некоторых проблемах среднеиртышской археологии периода доандроновской бронзы // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь : (к 70-летию Т.М. Потемкиной). Курган, 2007. С. 84–94.
- Молодин В.И., Дураков И.А., Софейников О.В., Ненахов Д.А. Бронзовый кельт турбинского типа из Центральной Барабы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. XVIII. С. 226–230.
- Матюшенко В.И. Нож из могильника у деревни Ростовки // КСИА. 1970. Вып. 123. С. 103–105.
- Молодин В.И., Нескоров А.В. Коллекция сейминско-турбинских бронз из Прииртышья (трагедия уникального памятника – последствия бугровщичества XXI века) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 3 (43). С. 58–71.
- Молодин В.И. Бронзовое навершие сейминского типа с конем // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях : светлой памяти Елены Ефимовны Кузьминой. Барнаул : Изд-во АГУ, 2014. С. 86–90.
- Молодин В.И. Феномен бронзовых кинжалов из погребальных комплексов кротовской культуры (хронология, территория, истоки) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. Вып. 2–6 (62). С. 97–107.
- Винник Д.Ф., Кузьмина Е.Е. Второй Каракольский клад Киргизии // КСИА. 1981. Вып. 167. С. 49–52.
- Самашев З.С., Жумабекова Г. К вопросу о культурной атрибуции некоторых случайных находок из Казахстана // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Сер. общественных наук. 1993. № 5 (191). С. 23–33.
- Кузьминых С.В. Сейминско-турбинская проблема: новые материалы // КСИА. 2011. Вып. 225. С. 240–263.
- Кузьминых С.В. Сейминско-турбинский транскультурный феномен: формирование, развитие и исторические судьбы // Мобильность и миграция: концепции, методы и результаты. Новосибирск, 2019. С. 89–103.
- Грушин С.П. Особенности сейминско-турбинских наконечников копий лесостепного Обь-Иртышья // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в Евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). СПб., 2019. Т. II: Связи, контакты и взаимодействия древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV–V тыс. до н.э.). С. 82–83.
- Молодин В.И., Дураков И.А. Захоронения с литейными формами на могильнике позднекротовской (черноозерской) культуры Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. Т. 46. № 2. С. 26–35.
- Бобров В.В. Бронзовые изделия самульско-сейминской эпохи в Кузнецкой котловине // Археология, этнография, антропология Евразии. 2000. № 1. С. 76–79.
- Леонтьев Н.В., Леонтьев С.Н. Материалы эпохи бронзы Казыро-Киргизского междуречья // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. СПб., 2006. С. 228–234.
- Molodin V.I. Scepters of the Developed Early Bronze Age in the South of Western Siberia // Искусство бронзового века. Новосибирск : Изд-во НГУ, 2015. С. 189–210.

44. Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Соловьев А.И. К периодизации культур эпохи бронзы Обь-Иртышской лесостепи: стратиграфическая позиция погребальных комплексов ранней – развитой бронзы на памятнике Тартас-1 // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3 (47). С. 40–56.
45. Молодин В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы // Вестник НГУ. Сер. История и филология. 2014. Т. 13. Вып. 3: Археология и этнография. С. 136–167.
46. Молодин В.И., Марченко Ж.В. Стратиграфия погребальных комплексов эпохи бронзы могильника Тартас-1 и ее радиоуглеродное обоснование // Международный симпозиум «Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы». Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. С. 63–64.
47. Молодин В.И., Нестерова М.С., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С. Свидетельства сосуществования носителей одиновской и кротовской культур (по материалам памятников Барабинской лесостепи) // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 68. С. 57–64.

Vyacheslav I. Molodin, Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: Molodin@archaeology.nsc.ru

SEIMA-TURBINO BRONZES IN ODINOVO AND KROTOVO CULTURES

Keywords: Odinovo culture; Krotovo culture; Seima-Turbino transcultural phenomenon.

The issues related to the study of the Seima-Turbino metallurgy in 1980s were examined by E.N. Chernykh and S.V. Kuzminykh in the fundamental research [Chernykh, Kuzminykh, 1987; 1989]. They are still relevant even with discovery of the new materials.

It is especially important that such bronzes were in the archaeological complexes related to a particular archaeological culture. At least two of these cultures are known on the Western Siberian forest-steppe area.

Currently Odinovo and Krotovo cultures (Bronze Age) are currently well-studied on the materials of burial complexes and settlements [Molodin, 2010: 61–76; Molodin, 2012; Molodin, Grishin, 2016]. The burial complexes of both cultures contained classical bronze artifacts of Seima-Turbino type. The stable repetition of this phenomenon on different burial sites of Odinovo and Krotovo cultures indicates that this phenomenon wasn't accidental, but quite well-established. Moreover, the burials of Krotovo culture contained foundry molds for manufacturing classical axes and spears of Seima-Turbino type (Rostovka and Sopka-2/4BV sites) [Matyushchenko, Sinitsyna, 1988; Molodin, Grishin, 2016], as well as equipment for their production [Molodin, 1985].

In addition, three solid two-edged daggers with the bronze handle were found *in situ* in the burials of this culture. Author of this paper associates them with the Seima-Turbino phenomenon in Central Asia and South Siberia [Molodin, 2015].

Researchers have noted some specific character of the Seima-Turbino artifacts found, on the one hand, in the burial complexes of the Odinovo culture, and on the other hand, in the Krotovo culture [Molodin, 2012; Kuzminykh, 2011; 2019; Grushin, 2019]. This specificity could be explained by the chronological differences of their existence.

The traditions associated with the Seima-Turbino bronzes' manufacture were received by the Krotovo culture's bearers and quite adapted in their environment. This is most clearly illustrated by the findings of foundry molds for the manufacturing of these artifacts that were found in the settlement of Krotovo culture, for example, Vengerovo-2 [Molodin et al., 2015] and the Chernoozerie-VI settlement [Kondratyev, 1976; Stefanova, Stefanov, 2007].

The tradition of Seima-Turbino bronzes' manufacturing in the Krotovo culture was actively used even in the late period of Krotovo culture existence [Molodin, Durakov, 2018]. It was finally extinguished only with the arrival of Andronovo (Fedorovo) culture's bearers to this area. These features may indicate that the Seima-Turbino artifacts found in the Odinovo complexes were imported to the West Siberian forest-steppe as a result of the migration of Seima-Turbino phenomenon's bearers, while the artifacts of Krotovo culture were largely local. The Odinovo culture's bearers were apparently assimilated or replaced by the Krotovo culture's bearers to the taiga region of Western Siberia, having lost the Seima-Turbino tradition and developing the indigenous metallurgy.

REFERENCES

1. Maksimenkov, G.A. (1975) *Okunevskaya kul'tura* [The Okunevo culture]. Abstract of History Dr. Diss. Novosibirsk.
2. Matyushchenko, V.I. (1973) *Drevnyaya istoriya naseleniya lesnogo i lesostepnogo Priob'ya (neolit i bronzovyy vek)* [Ancient history of the population of the forest and forest-steppe region of the Ob (Neolithic and Bronze Age). Vol. 2. Tomsk: Tomsk State University.
3. Kosarev, M.F. (1981) *Bronzovyy vek Zapadnoy Sibiri* [Bronze Age of Western Siberia]. Moscow: Nauka.
4. Molodin, V.I. & Glushkov, I.G. (1989) *Samus'skaya kul'tura v Verkhnem Priob'e* [The Samus culture in the Upper Ob region]. Novosibirsk: Nauka.
5. Molodin, V.I. (1977) *Epokha neolita i bronzy lesostepnogo Ob'-Irtys'h'ya* [The Neolithic and Bronze Age of the Ob-Irtysh forest-steppe]. Novosibirsk: Nauka.
6. Molodin, V.I. & Grishin, A.E. (2016) *Pamyatnik Sopka-2 na reke Omi: kul'turno-khronologicheskii analiz pogrebal'nykh kompleksov krotovskoy kul'tury* [Monument Sopka-2 on the Om River. A cultural-chronological analysis of burial complexes of the Krotovo culture]. Vol. 4. Novosibirsk: SB RAS.
7. Matyushchenko, V.I. & Sinitsyna, G.V. (1988) *Mogil'nik u d. Rostovka vblizi Omska* [Burial ground at the village of Rostovka near Omsk]. Tomsk: Tomsk State University.
8. Kyrushin, Yu.F. (2002) *Eneolit i rannyya bronza yuga Zapadnoy Sibiri* [Eneolithic and Early Bronze Age of the South of Western Siberia]. Barnaul: Altai State University.
9. Kyrushin, Yu.F., Grushin, S.P. & Tishkin, A.A. (2010) *Eluninskaya kul'tura bronzovogo veka v Ob'-Irtys'skom mezhdurech'e* [The Elunin culture of the Bronze Age in the Ob-Irtysh interfluvium]. In: Kozhin, P.M., Kosarev, M.F. & Dubova, N.A. (eds) *Na puti otkrytiya tsivilizatsii* [On the path of the discovery of civilization]. St. Petersburg: Aleteya. pp. 552–566.
10. Kubarev, V.D. (1988) *Drevnie rospisi Karakola* [Ancient paintings of Karakol]. Novosibirsk: Nauka.
11. Molodin, V.I. (2006) *Karakol'skaya kul'tura* [The Karakol culture]. In: Savinov, D.G. (ed.) *Okunevskii sbornik: Kul'tura i ee okruzhenie* [The Okunevo Collection: Culture and its Environment]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 273–282.
12. Polosmak, N.V. (1978) *Keramicheskii kompleks poseleniya Krokholevka-4* [Krokholevka-4 ceramic complex]. In: Molodin, V.I. (ed.) *Drevnie kul'tury Altaya i Zapadnoy Sibiri* [Ancient cultures of Altai and Western Siberia]. Novosibirsk: Nauka. pp. 36–45.
13. Bobrov, V.V. (1992) *Kuznetsko-Salairskaya gornaya oblast' v epokhu bronzy* [Kuznetsk-Salair mountain region in the Bronze Age]. Abstract of History Dr. Diss. Novosibirsk.
14. Molodin, V.I. (1981) *Pamyatniki odinovskogo tipa v Barabinskoy lesostepi* [Monuments of the Odinovo type in the Barabinsk forest-steppe]. In: Troitskaya, T.N. (ed.) *Problemy zapadnosibirskoy arkheologii: epokha kamnya i bronzy* [Problems of Western Siberian Archeology: The Era of Stone and Bronze]. Novosibirsk: Nauka. pp. 63–75.
15. Zakh, V.A. (2009) *Khronostratigrafiya neolita i rannego metalla lesnogo Tobolo-Irtys'h'ya* [Chronostratigraphy of the Neolithic and Early Metal of the forest Tobolo-Irtysh region]. Novosibirsk: Nauka.
16. Chernykh, E.N. & Kuzminykh S.V. (1987) *Pamyatniki seyminsko-turbinskogo tipa v Evrazii* [Monuments of the Seima-Turbino type in Eurasia]. In: Bader, O.N., Kraynov, D.A. & Kosarev, M.F. (eds) *Arkheologiya SSSR. Epokha bronzy lesnoy polosy SSSR* [Archeology of the USSR. The Era of the Bronze Forest Belt of the USSR]. Moscow: Nauka. pp. 84–105.

17. Chernykh, E.N. & Kuzminykh, S.V. (1989) *Drevnyaya metallurgiya Severnoy Azii* [Ancient Metallurgy of North Asia]. Moscow: Nauka.
18. Molodin, V.I., Komissarov, S.A., Van Pen (2017) Bronzovye nakonechniki kopiy seyminsko-turbinskogo tipa iz Kitaya [Bronze spearheads of the Seima-Turbino type from China]. In: Derevyanko, A.P. & Tishkin, A.A. (eds) *Trudy V (XXI) Vserossiyskogo arkhеologicheskogo s"ezda* [Proceedings of the V (XXI) All-Russian Archaeological Congress]. Vol. 1. Barnaul: Altai State University. pp. 715–716.
19. Molodin, V.I. (2017) Seyminsko-turbinskie proyavleniya v Tsentral'noy Azii i v Kitae [Seima-Turbino occurrences in Central Asia and China]. *Ancient Cultures of Mongolia, Baikal Siberia and Northern China*. Proc. of the 8th Academic Conference. Changchun. pp. 337–347.
20. Mei, J. (2009) Early Metallurgy in China: Some Challenging Issues in Current Studies. *Metallurgy and Civilization: Eurasia and Beyond: Proc. of the 6th Intern. Conf. on the Beginnings of the Use of Metals and Alloys (BUMA VI)*. Beijing. pp. 9–16.
21. Kiryushin, Yu.F. (1985) O kul'turnoy prinadlezhnosti pamyatnikov predandronovskoy bronzy lesostepnogo Altaya [On the cultural identity of the pre-Andronovo bronze monuments of the forest-steppe Altai]. In: Ubryatova, E.I. (ed.) *Uralo-altaistika: arkhеologiya, etnografiya, yazyk* [Ural-Altaistics: Archeology, Ethnography, Language]. Novosibirsk: Nauka. pp. 72–77.
22. Molodin, V.I. (2010) Sovremennye predstavleniya ob epokhe bronzy Ob-Irtyshskoy lesostepi (k postanovke problemy) [Modern ideas about the Bronze Age of the Ob-Irtysh forest-steppe (to the formulation of the problem)]. In: Molodin, V.I. (ed.) *Arkheologicheskie izyskaniya v Zapadnoy Sibiri: proshloe, nastoyashchee, budushchee* [Archaeological Research in Western Siberia: Past, Present, Future]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University. pp. 61–76.
23. Molodin, V.I. (2012) *Pamyatnik Sopka-2 na reke Omi: kul'turno-khronologicheskii analiz pogrebal'nykh kompleksov odinovskoy kul'tury* [Monument Sopka-2 on the Om River. A cultural-chronological analysis of burial complexes of the Odino culture]. Vol. 3. Novosibirsk: SB RAS.
24. Molodin, V.I., Durakov, I.A., Mylnikova, L.N. & Nesterova, M.S. (2018) The Adaptation of the Seima-Turbino Tradition to the Bronze Age Cultures in the South of the West Siberian Plain. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 46(3). pp. 49–58. (In Russian). DOI: 10.17746/1563-0110.2018.46.3.049-058
25. Molodin, V.I. (2013) Seyminsko-turbinskie bronzy v "zakrytykh" kompleksakh odinovskoy kul'tury (Barabinskaya lesostep') [Seima-Turbino bronzes in the "closed" complexes of the Odino culture (Barabinsk forest-steppe)]. In: Molodin, V.I. & Shunkov, M.V. (eds) *Fundamental'nye problemy arkhеologii, antropologii i etnografii* [Fundamental Problems of Archeology, Anthropology and Ethnography]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 309–324.
26. Molodin, V.I. (1983) Pogrebenie liteyshchika iz mogil'nika Sopka-2 [Burial of a caster from the Sopka-2 burial ground]. In: Kiryushin, Yu.F. (ed.) *Drevnie gorniki i metallurgi Sibiri* [Ancient Miners and Metallurgists of Siberia]. Barnaul: Altai State University. pp. 96–109.
27. Molodin, V.I., Mylnikova, L.N., Durakov, I.A., Borzykh, K.A., Selin, D.V., Nesterova, M.S. & Kovyshina, Yu.N. (2015) Proyavlenie seyminsko-turbinskogo fenomena na poselenii krotovskoy kul'tury Vengerovo-2 (Barabinskaya lesostep') [Demonstration of the Seima-Turbino Phenomenon at the Vengerovo 2 Settlement of Krotovo Culture (Baraba Forest-Steppe)]. In: Derevyanko, A.P. (ed.) *Problemy arkhеologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of Archeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories]. Vol. 21. Novosibirsk: SB RAS. pp. 321–325.
28. Kondratiev, O.M. (1974) Raskopki poseleniya epokhi ranney bronzy Chernoozer'e VI v 1970 g. [Excavations of an Early Bronze Age settlement Chernoozer'e VI in 1970]. In: Gening, V.F. & Matyushchenko, V.I. (eds) *Iz istorii Sibiri* [From the History of Siberia]. Vol. 15. Tomsk: Tomsk State University. pp. 17–19.
29. Stefanova, N.K. & Stefanov, V.I. (2007) O poselenii Chernoozer'e VI, issledovannykh na ego ploshchadi zakhoroneniya i nekotorykh problemakh sredneirtyshskoy arkhеologii perioda doandronovskoy bronzy [On the settlement of Chernoozer'e VI, burials investigated on its area and some problems of the Middle Irtysh archeology of the pre-Andronovo Bronze period]. In: Vokhmensev, M.P. (ed.) *Problemy arkhеologii: Ural i Zapadnaya Sibir'* [Problems of Archeology: Ural and Western Siberia]. Kurgan: Kurgan State University. pp. 84–94.
30. Molodin, V.I., Durakov, I.A., Sofeynikov, O.V. & Nenakhov, D.A. (2012) Bronzovyy kel't turbinskogo tipa iz Tsentral'noy Baraby [Turbino-type bronze celt from Central Baraba]. In: Derevyanko, A.P. (ed.) *Problemy arkhеologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of Archeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories]. Vol. 18. Novosibirsk: SB RAS. pp. 226–230.
31. Matyushchenko, V.I. (1970) Nozh iz mogil'nika u derevni Rostovki [A knife from the burial ground near the village of Rostovka]. *Kratkiye soobshcheniya Instituta arkhеologii – KSIA (Brief Communications of the Institute of Archaeology)*. 123. pp. 103–105.
32. Molodin, V.I. & Neskorov, A.V. (2010) Kolleksiya seyminsko-turbinskikh bronz iz Priirtysh'ya (tragediya unikal'nogo pamyatnika – posledstviya bugrovshchichestva XXI veka) [Private Collection of Seima-Turbino Bronzes from the Irtysh: The Tragedy of a Unique Site Destroyed by Unauthorized Excavations]. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*. 38(3). pp. 58–71.
33. Molodin, V.I. (2014) Bronzovoe navershie seyminskogo tipa s konem [A bronze pommel of the Seima type with a horse]. In: Molodin, V.I. & Epimakhov, A.V. (eds) *Arii stepey Evrazii: epokha bronzy i rannego zheleza v stepyakh Evrazii i na sopredel'nykh territoriyakh* [Arias of the Eurasian steppes: The era of the Bronze and Early Iron in the steppes of Eurasia and adjacent territories]. Barnaul: Altai State University. pp. 86–90.
34. Molodin, V.I. (2015) The phenomenon of bronze daggers from burial complexes of the Krotovo culture (Chronology, area of distribution, beginnings). *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 2–6 (62). pp. 97–107. (In Russian).
35. Vinnik, D.F. & Kuzmina, E.E. (1981) Vtoroy Karakol'skiy klad Kirgizii [The second Karakol treasure of Kyrgyzstan]. *Kratkie soobshcheniya Instituta arkhеologii – KSIA (Brief Communications of the Institute of Archaeology)*. 167. pp. 49–52.
36. Samashev, Z.S. & Zhumabekova, G. (1993) K voprosu o kul'turnoy atributsii nekotorykh sluchaynykh nakhodok iz Kazakhstana [On cultural attribution of some accidental finds from Kazakhstan]. *Izvestiya Natsional'noy akademii nauk Respubliki Kazakhstan. Ser. obshchestvennykh nauk*. 5(191). pp. 23–33.
37. Kuzminykh, S.V. (2011) Seyminsko-turbinskaya problema: novye materialy [Seima-Turbino problem: new materials]. *Kratkie soobshcheniya Instituta arkhеologii – KSIA (Brief Communications of the Institute of Archaeology)*. 225. pp. 240–263.
38. Kuzminykh, S.V. (2019) Seyminsko-turbinskiy transkul'turnyy fenomen: formirovaniye, razvitiye i istoricheskie sud'by [The Seima-Turbino transcultural phenomenon: formation, development and historical destinies]. In: Polosmak, N.V. et al. *Mobil'nost' i migratsiya: kontseptsii, metody i rezulytaty* [Mobility and Migration: Concepts, Methods and Results]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 89–103.
39. Grushin, S.P. (2019) Osobennosti seyminsko-turbinskikh nakonechnikov kopiy lesostepnogo Ob-Irtysh'ya [Features of the Seima-Turbino spearheads of the forest-steppe Ob-Irtysh]. In: Kircho, L.B. et al. (eds) *Drevnosti Vostochnoy Evropy, Tsentral'noy Azii i Yuzhnoy Sibiri v kontekste svyazey i vzaimodeystviy v Evraziyskom kul'turnom prostranstve (novye dannye i kontseptsii)* [Antiquities of Eastern Europe, Central Asia and Southern Siberia in the context of connections and interactions in the Eurasian cultural space (new data and concepts)]. Vol. 2. St. Petersburg: RAS. pp. 82–83.
40. Molodin, V.I. & Durakov, I.A. (2018) Late Krotovo (Cherno-Ozerye) Burials with Casting Molds from Tartas-1, Baraba Forest-Steppe. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 46(2). pp. 26–35. (In Russian). DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.025-034
41. Bobrov, V.V. (2000) Bronzovye izdeliya samus'sko-seyminskoy epokhi v Kuznetskoy kotlovine [Bronze items of the Samus-Seima era in the Kuznetsk Basin]. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 1. pp. 76–79.
42. Leontiev, N.V. & Leontiev, S.N. (2006) Materialy epokhi bronzy Kazyro-Kirgizskogo mezhdurech'ya [Materials of the Bronze Age of the Kazyro-Kyrgyz interfluve]. In: Savinov, D.G. (ed.) *Okunevskii sbornik: Kul'tura i ee okruzheniye* [The Okunevo Collection: Culture and its Environment]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 228–234.
43. Molodin, V.I. (2015) Scepters of the Developed Early Bronze Age in the South of Western Siberia. *Iskusstvo bronzovogo veka* [Bronze Age Art]. Proc. of the Conference. Novosibirsk: Novosibirsk State University. pp. 189–210.
44. Molodin, V.I., Mylnikova, L.N., Novikova, O.I., Durakov, I.A., Kobeleva, L.S., Efremova, N.S. & Soloviev, A.I. (2011) Periodization of Bronze Age Cultures in the Ob-Irtysh Forest-Steppe: The Stratigraphic Position of Early and Middle Bronze Age Burials at Tartas-1. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 39(3). pp. 40–56. (In Russian).

-
45. Molodin, V.I., Epimakhov, A.V. & Marchenko, Zh.V. (2014) Radiocarbon chronology of the South Urals and the south of the Western Siberia cultures (2000–2013-years investigations): principles and approaches, achievements and problems. *Vestnik NGU. Ser. Istoriya i filologiya – Novosibirsk State University Bulletin. Series: History and Philology*. 13(3). pp. 136–167. (In Russian).
46. Molodin, V.I. & Marchenko, Zh. V. (2015) Stratigrafiya pogrebal'nykh kompleksov epokhi bronzy mogil'nika Tartas-1 i ee radiouglerodnoe obosnovanie [Stratigraphy of burial complexes of the Bronze Age at the Tartas-1 burial ground and its radiocarbon substantiation]. *Mul'tidistsiplinarnye metody v arkheologii: noveyshie itogi i perspektivy* [Multidisciplinary Methods in Archeology: Recent Results and Prospects]. Proc. of the Symposium. Novosibirsk: SB RAS. pp. 63–64.
47. Molodin, V.I., Nesterova, M.S., Mylnikova, L.N. & Kobeleva, L.S. (2020) Evidence of the coexistence of the carriers of the Odin and Krotov cultures (based on the materials of the Baraba forest-steppe sites)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 68. pp. 56–63. (In Russian). pp. 57–64.

УДК 902.01(1-925.11/.16)
DOI: 10.17223/19988613/68/8

В.И. Молодин, М.С. Нестерова, Л.Н. Мыльникова, Л.С. Кобелева

СВИДЕТЕЛЬСТВА СОСУЩЕСТВОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ОДИНОВСКОЙ И КРотовСКОЙ КУЛЬТУР (ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКОВ БАРАБИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ)

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00406 «Население Среднего Приомья в раннем голоцене по материалам новейших археологических комплексов: периодизация, хронология, культурогенез»

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Анализируются несколько форм контактов одиновской и кротовской культур: совместное залегание в одном комплексе керамики на поселениях, обмен технологическими традициями в сфере теплотехники, бронзолитейного и гончарного производств (появление смешанных керамических комплексов, следов заимствования способов устройства очага и форм технической керамики). Радиоуглеродные датировки свидетельствуют о сосуществовании населения одиновской и кротовской культур на протяжении III тыс. до н.э., что обусловлено их проживанием в одном ареале – лесостепной зоне Обь-Иртышского междуречья.

Ключевые слова: Барабинская лесостепь; эпоха бронзы; одиновская культура; кротовская культура; контакты.

Эпоха ранней–развитой бронзы в Барабинской лесостепи связана с развитием двух археологических культур – одиновской и кротовской. Впервые одиновский тип керамики был выделен М.Ф. Косаревым в 1976 г. в левобережном Прииртышье и отнесен к раннебронзовому этапу [1]. В Приишимье Р.Д. Голдиной и Л.Я. Крижевской аналогичные керамические комплексы были обнаружены на памятниках Кокуй II и Одино [2, 3]. Впоследствии по результатам анализа исследованных крупных погребальных и поселенческих комплексов В.И. Молодин выделил одиновскую культуру [4]. Ее памятники расположены в Приишимье и Притоболье на западе и в Обь-Иртышском междуречье на востоке. Смешанные одино-крохалевские комплексы встречаются на территории Новосибирского Приобья [5].

М.Н. Комарова в Верхнем Приобье по материалам памятника Кротово-7/8 зафиксировала своеобразную керамику [6]. В 1970 г. В.Ф. Генинг объединил памятники с подобной керамикой в отдельный кротовский тип [7], а в 1975 г. В.И. Молодин обосновал выделение особой кротовской культуры [8]. Ее ареал связан с лесостепной зоной от Новосибирского Приобья на востоке до Среднеиртышского озерного края на западе. Таким образом, ареалы двух культур в Обь-Иртышском междуречье совпадают. Наиболее изученный микрорайон, где представлены памятники обеих культур, – западная часть Барабинской лесостепи (Венгеровский район Новосибирской области).

Несмотря на эпохально близкие черты, свойственные всему кругу западносибирских культур этого периода, одиновские и кротовские комплексы отличаются домостроительными характеристиками, погребальной практикой, гончарными традициями [9].

Геоморфологический контекст расположения поселений одиновской культуры характеризуется наличием в непосредственной близости озер и озерных систем. Жилища представляют собой слабоуглубленные, реже наземные, округлые или подпрямоугольные конструкции. Простота устройства некоторых из них позволяет говорить о сезонном характере поселений. Поселения кротовской культуры, как правило, приурочены к речным надпойменным террасам. Жилища более стандартизованы. Это углубленные подпрямоугольные и подтрапециевидные котлованы с каркасно-столбовыми конструкциями и усеченно-пирамидальными крышами.

Могильники обеих культур представлены грунтовыми погребениями, расположенными рядами на высоких надпойменных террасах [10, 11]. На территории Барабинской лесостепи исследован ряд погребальных комплексов, где выявлены захоронения обеих культур (Сопка-2/4Б, В, Тартас-1, Усть-Тартас-2). Для обеих популяций было характерно захоронение умерших в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток с небольшими отклонениями. Однако отличительной чертой одиновской культуры является характерный принцип устройства могильной ямы: приподнятая северо-восточная часть, нередко в виде земляной «подушки», в результате чего череп оказывался заваленным на основание в районе грудного отдела. Встречаются также одиновские сидячие захоронения с вытянутыми ногами. Погребальный инвентарь в целом очень схож. Он представлен костяными предметами, бронзовыми шильями, каменными и костяными наконечниками стрел, украшениями из бронзы и свинца, бронзовыми изделиями сейминско-турбинского облика. Отдельная категория находок связана с предметами мобильного искусства, а также артефактами символиче-

ского неутилитарного характера. Помещение керамической посуды в качестве погребального инвентаря и в одиновской, и в кротовской культуре встречается довольно редко. У носителей традиций кротовской культуры наблюдается использование сосудов для маркирования околмогильного пространства [10, 12].

Одиновской культуре присуща специфическая керамика, представляющая собой плоскодонные баночные или слегка профилированные сосуды, орнаментированные по всей поверхности, включая дно. Основу декора составляют разнонаклонные ряды оттисков гребенки или тонкого гладкого штампа, чередующиеся с поясами ямок округлой, реже луновидной формы. Под венчиком встречаются ряды «жемчужин». У значительной части изделий срез венчика орнаментирован. Иногда оттиски штампов имеются и на зоне под венчиком с внутренней стороны сосуда. Отмечено зональное расположение орнаментальных мотивов: как правило, в верхней части сосудов встречаются диагональные и вертикальные ряды оттисков штампа, тулово орнаментировано горизонтальными чередующимися рядами ямок и оттисков штампа, на дне преобладает концентрический способ расположения орнамента. Особенностью керамического комплекса можно считать изделия с отпечатками «текстиля» на внутренней или (и) реже – наружной поверхности, как результат формовки изделий на основе с прокладкой из текстиля.

Керамический комплекс кротовской культуры представлен сосудами открытой баночной формы с узким, чуть скругленным дном. Встречаются также миниатюрные профилированные сосуды, связанные в большей степени с погребальными комплексами [11]. Как правило, орнаментирована вся поверхность сосуда, за исключением дна, реже – верхние две трети стенок сосуда. Орнамент состоит из крупных поясов шагающей или проташенной гребенки. Верхняя часть сосуда нередко украшена рядами оттисков лопаточки, штампа или ногтевых вдавлений, треугольными мотивами в сочетании с «жемчужинами». Ямки практически отсутствуют. Срез венчика украшен гладкими овальными вдавлениями, формирующими волнообразный край. Часть сосудов орнаментирована наlepными прямыми или волнообразными валиками.

Палеогенетические данные свидетельствуют об общих тенденциях формирования генофонда популяций при своеобразии отдельных структурных вариантов мтДНК [13. С. 178]. Антропологические исследования также подтверждают неярко выраженную антропологическую специфику носителей этих двух культур [14. С. 108].

Традиционная концепция культурно-исторического развития региона предполагает последовательное автохтонное формирование одиновской, а затем кротовской археологических культур. На могильнике Тартас-1 одиновские захоронения (№ 382–384, 410) были перерезаны кротовскими (№ 381, 409). Для этих комплексов получены радиоуглеродные датировки, подтверждающие стратиграфические наблюдения [15]. При этом даты имеют достаточно близкий возраст в калиброванных значениях (XXIX–XXVII вв. до н.э. и XXVII–XXIV вв. до н.э. соответственно) [16].

Изучение истоков формирования данных культурных образований позволило выдвинуть гипотезу о двух линиях культурного развития в лесостепном Обь-Иртышье. К первой относятся памятники с керамикой гребенчато-ямочной традиции, которые оказали несомненное влияние на формирование одиновской культуры, ко второй – памятники усть-тартасской культуры, которые, возможно, послужили основой формирования кротовского комплекса. При этом очень важно, что обе традиции являются в регионе автохтонными [9, 17].

Полученные в последнее время обширные серии радиоуглеродных датировок по погребальным комплексам свидетельствуют о сосуществовании на определенном этапе одиновской и кротовской популяций в III тыс. до н.э. [18, 19]. На это также указывают находки бронзовых изделий сейминско-турбинского типа в закрытых погребальных комплексах обеих культур [20]. Учитывая частичное совпадение ареала этих популяций, встает вопрос о характере их взаимодействия.

Впервые на это обратил внимание один из авторов настоящей работы при анализе материалов поселения Марково-2 [21]. Одна из групп сосудов отличалась нетипичным для одиновской керамики элементом – наличием валика, который для кротовской посуды является одной из характерных черт [21, 22].

Сочетание одиновских и кротовских традиций орнаментации керамической посуды отмечено при исследовании поселения Карьер Тай-1, где был изучен хозяйственно-производственный комплекс эпохи ранней–развитой бронзы [23]. Обнаружены ямы хозяйственного назначения, обособленные двумя концентрическими рвами подковообразной формы. В ямах, рвах и в культурном слое над ними найдены фрагменты керамических сосудов, изделия из камня и кости, а также кости животных и рыбы.

Керамика представлена многочисленными толстостенными фрагментами от разных сосудов баночной формы (не менее 40 фрагментов венчиков, а также два археологически целых сосуда), имеющих самые близкие аналогии с кротовской посудой (рис. 1, 1–10). Сосуды орнаментированы горизонтальными и косо поставленными оттисками гребенчатого штампа, шагающей гребенкой, срез венчика декорирован овальными вдавлениями, формирующими волнообразный край. Большой процент венчиков украшен орнаментальным мотивом, сочетающим в себе треугольники (прочерченные или выполненные оттисками гребенчатого штампа) и жемчужины и / или ямки (рис. 1, 3–5, 8, 13). Следует отметить, что такой способ оформления венчика довольно часто встречается на керамике с кротовских поселений Черноозерье-IV, Инберень-Х, при этом совершенно отсутствует на поселении Венгерово-2 (Бараба). Возможно, в данном случае речь идет о внутренней хронологии развития кротовской культуры и ее керамического комплекса.

Однако наряду с перечисленными выше классическими кротовскими мотивами зафиксированы элементы, свойственные одиновской керамической традиции (рис. 1, 11–20). Так, вместо шагающей гребенки или

оттисков крупнозубого гребенчатого штампа наблюдаются пояса часто поставленных косых оттисков мелкозубой гребенки или гладкого штампа в сочетании с классическим для кротовской керамики оформлением среза венчика (рис. 1, 13–15). Ямки и жемчужины встречаются не только в верхней части сосудов, но и по тулову, а также дну (рис. 1, 11, 12). Наблюда-

ется использование не только горизонтальных, но и вертикальных и диагональных способов построения орнаментальных полей (рис. 1, 18, 19). На некоторых фрагментах фиксируется использование отпечатков «текстиля» как с внешней, так и с внутренней стороны (рис. 1, 20).

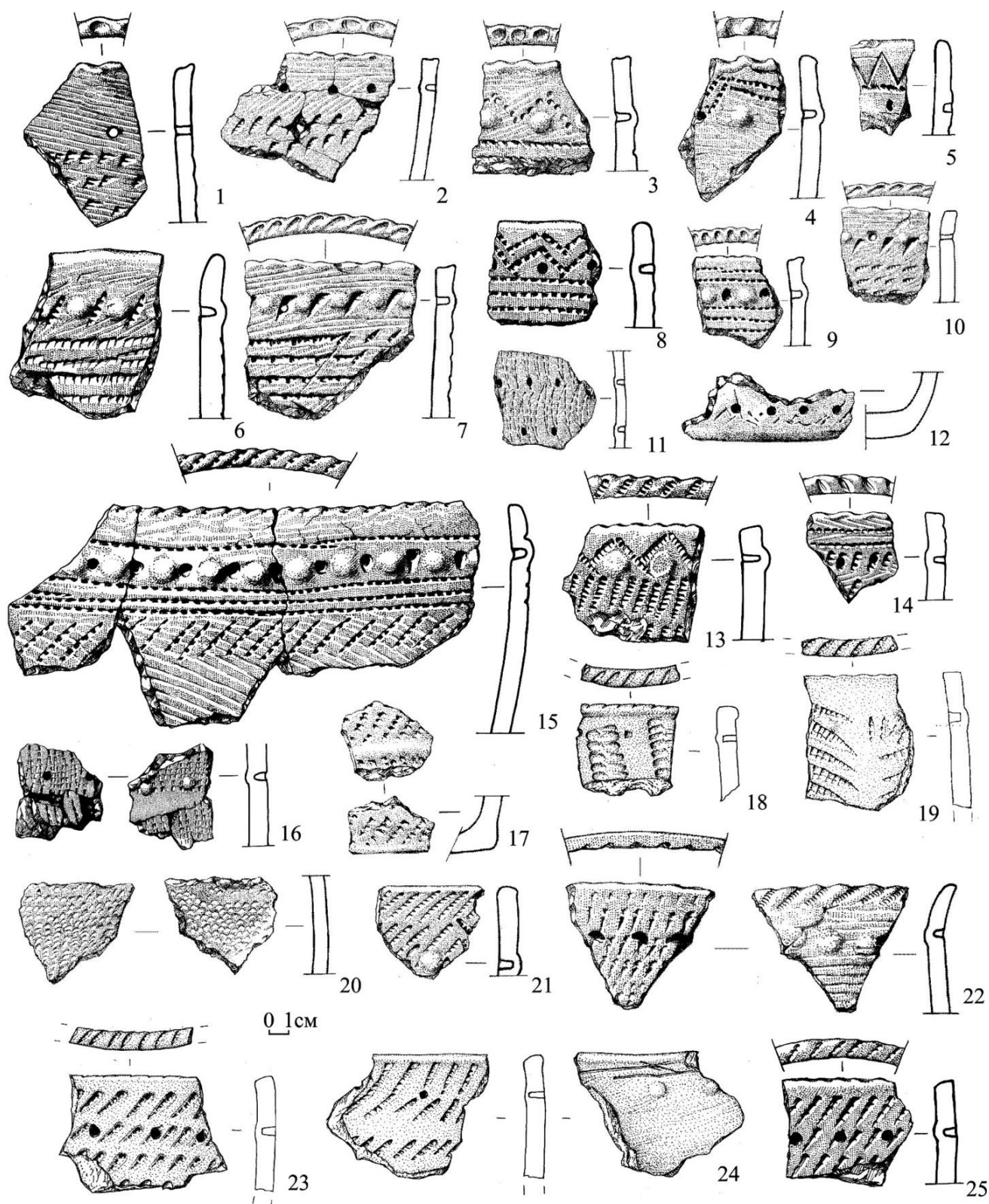


Рис. 1. Керамика с поселения Карьер Тай-1: 1–10 – кротовская; 11–20 – синкретичная; 21–25 – одиновская

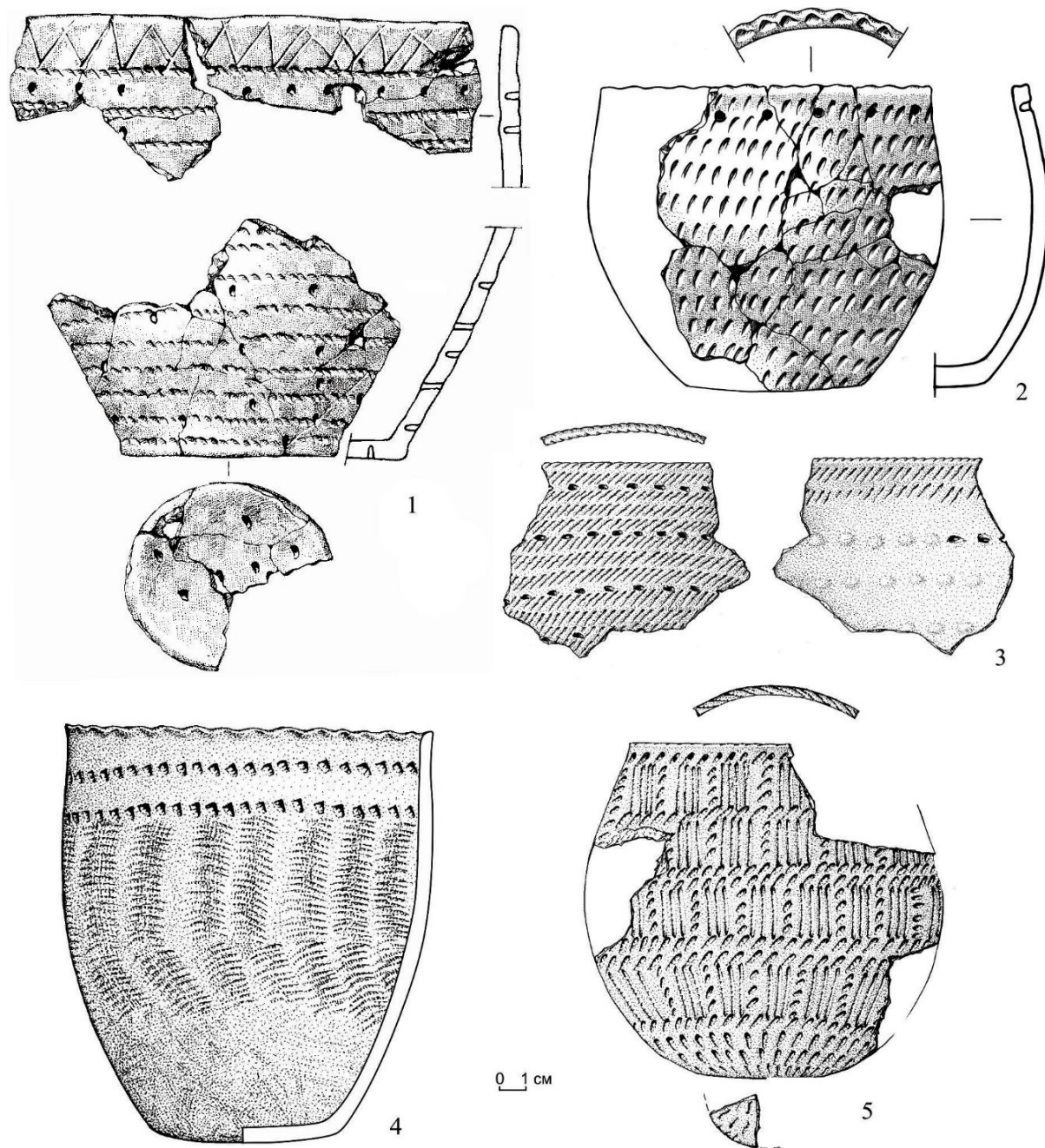


Рис. 2. Керамические сосуды: 1, 2 – поселение Карьер Тай-1; 3–5 – поселение Венгерово-2

Небольшой процент фрагментов керамики имеет орнамент на внутренней поверхности под венчиком. В одном случае орнамент наблюдается и с внутренней стороны тулова сосуда, при этом использованный орнаментальный мотив – шагающая гребенка – характерен, скорее, для кротовской посуды (рис. 1, 16). Подчеркнем наличие в этом же комплексе, порой в одних и тех же ямах, фрагментов сосудов, орнаментированных в классической одиновской традиции – рядами часто поставленных мелких оттисков гладкого или гребчатого штампа, разреженными поясами округлых или луновидных ямок (рис. 1, 21–25).

Особого внимания заслуживают два археологически целых сосуда. Один из них представлял собой емкость открытой баночной формы (рис. 2, 1). При этом у него четко выделен переход ко дну. Верхняя часть

сосуда украшена мотивом из прочерченных треугольников. Тулово орнаментировано рядами горизонтально поставленных оттисков гребчатого штампа, разреженными поясами луновидных ямок. Дно также было украшено ямками. Второй сосуд – плоскодонная банка закрытого типа со скругленным дном, декорированная по всей поверхности рядами косо поставленных семечковидных вдавлений и рядом округлых ямок под венчиком (рис. 2, 2). Срез венчика орнаментирован оттисками, формирующими волнистый край.

Таким образом, отмечается определенный синкретизм керамического комплекса, совмещающего как кротовские, так и одиновские черты. Данную хронологическую позицию подтверждает радиоуглеродная дата, полученная по кости животного из заполнения рва (NSKA 02396), калиброванная по 2σ – 3090–2701 гг. до н.э.

На поселении кротовской культуры Венгерово-2 в жилище № 10 был выявлен факт совместного залегания одиновской и кротовской посуды классического облика (рис. 2, 3, 4), а также развал сосуда со смешанными орнаментальными чертами. Это закрытая небольшая баночка с профилированным туловом (рис. 2, 5). Орнамент покрывает всю поверхность сосуда, включая дно. На плечиках расположен ряд оттисков овальной лопаточки, чередующийся с вертикально поставленными оттисками гладкого длинного штампа, соединенными по 3–4, разделяемыми вертикальными рядами оттисков той же овальной лопатки. Придонная часть и дно также украшены оттисками лопаточки. Обработка внутренней поверхности сосуда, характер оформления скругленного дна, его пропорции тяготеют к кротовской керамической традиции, однако ряд ямок под венчиком, сочетание горизонтальных и вертикальных

способов построения орнаментальной композиции, несомненно, свидетельствуют об одиновской традиции оформления сосудов. При этом датировки поселения Венгерово-2 на сегодняшний день суммарно укладываются в довольно узкий хронологический промежуток начала II тыс. до н.э., что соответствует финальному этапу существования одиновской культуры.

Варианты взаимодействия населения одиновской и кротовской культур фиксируются не только по материалам гончарства. В этом же жилище исследовано теплотехническое сооружение, представляющее собой очаг, одна из стенок которого укреплена фрагментами керамических сосудов [24]. Аналогичный способ устройства очажной конструкции был изучен на поселении одиновской культуры Старый Тартас-5 [25]. Таким образом, зафиксировано заимствование традиции сооружения теплотехнических конструкций (рис. 3, 1–2).



Рис. 3. Очажные устройства: 1 – поселение Старый Тартас-5; 2 – поселение Венгерово-2

Изучение технической керамики свидетельствует о том, что кротовское население восприняло и бронзолитейные традиции одиновской культуры, а именно использование сложносоставных тиглей овально-каплеобразной формы с толстым дном и хорошо выраженным сливом [26. С. 24].

Особо следует отметить специфику взаимного расположения погребений одиновской и кротовской культур на могильниках Сопка-2, Тартас-1 и Усть-Тартас-2. Как правило, планиграфические группы захоронений располагались компактными рядами, не нарушая друг друга, несмотря на их близкое расположение (за исключением упомянутого выше стратиграфического случая на могильнике Тартас-1). При этом погребальная практика оставалась четко дифференцированной и специфической в рамках культур.

Таким образом, выделены надежные археологические свидетельства контактов двух популяций эпохи

ранней–развитой бронзы на протяжении второй половины III тыс. до н.э. Они проявляются:

- в совместном залегании «чистых» керамических комплексов;
- в наличии посуды со смешанными орнаментальными характеристиками;
- в восприятии мастерами кротовской культуры традиций возведения теплотехнических сооружений у населения одиновской культуры;
- в адаптации в среде кротовского населения бронзолитейных традиций одиновской культуры.

Проникновение в среду кротовской культуры не только изделий, но и технологических приемов, требующих обязательного непосредственного обучения (см., напр.: [27–29]), свидетельствует о тесных взаимоотношениях двух популяций.

Вместе с тем последующие судьбы носителей этих культурных образований демонстрируют для кротов-

ской культуры дальнейшую эволюцию и взаимодействие с западными пришельцами – андроновцами (федоровцами) вплоть до их слияния и формирования нового этнокультурного образования, именуемого позднекротовской (черноозерской) культурой [30]. Судьба носителей одиновской культуры остается пока неизвестной. Во всяком случае, в начале II тыс. до н.э. мы не находим на рассматриваемой территории каких-

либо следов ее проявления. Можно предполагать, что с приходом в регион андроновцев (федоровцев), а также уже смешанных с кротовцами популяций, носители одиновской культуры были сдвинуты в южно-таежную зону, где смешались с носителями ранней сузгунской культуры, что находит проявление в достаточно своеобразном «барабинском» варианте сузгунской культуры [31].

ЛИТЕРАТУРА

1. Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1976. 69 с.
2. Крижевская Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье. Л. : Изд-во ЛГУ, 1977. 128 с.
3. Голдина Р.Д., Крижевская Л.Я. Одино – поселение эпохи ранней бронзы в западно-сибирском лесостепье // КСИА. М. : Наука, 1971. Вып. 127. С. 72–77.
4. Молодин В.И. Одиновская культура в Восточном Зауралье и Западной Сибири. Проблемы выделения // Россия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития. Екатеринбург, 2008. С. 9–13.
5. Гришин А.Е., Марченко Ж.В. Проблема содержания терминов «крохалёвский керамический тип» и «крохалёвская культура» в свете новых данных (могильник Крохалёвка-5, Верхнее Приобье) // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. Т. 1. С. 286–287.
6. Комарова М.Н. Неолит Верхнего Приобья // Краткие сообщения института истории материальной культуры. 1956. Вып. 64. С. 93–103.
7. Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., Стефанов В.И., Трофименко В.С. Периодизация поселений эпохи неолита и бронзового века среднего Прииртышья // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1970. С. 12–51.
8. Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск : Наука, 1977. 174 с.
9. Молодин В.И. Современное состояние проблемы относительной и абсолютной хронологии Обь-Иртышской лесостепи в эпоху неолита и бронзы // Мультидисциплинарные исследования в археологии. 2019. № 1. С. 3–12.
10. Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. Новосибирск, 2012. Т. 3. 220 с.
11. Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. Новосибирск, 2016. Т. 4. 452 с.
12. Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Райнхольд С. Новый могильник кротовской культуры в Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. Т. XXIV. С. 304–309.
13. Молодин В.И., Пилипенко А.С., Чикишева Т.А., Ромашенко А.Г., Журавлев А.А., Поздняков Д.В., Трапезов Р.О. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V–I тыс. до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2013. 220 с.
14. Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. Новосибирск, 2012. 468 с.
15. Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Соловьев А.И. К периодизации культур эпохи бронзы Обь-Иртышской лесостепи: стратиграфическая позиция погребальных комплексов ранней – развитой бронзы на памятнике Тартас-1 // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3. С. 40–56.
16. Марченко Ж.В., Молодин В.И. Погребальные комплексы эпохи бронзы могильника Тартас-1, их стратиграфическая позиция и радиоуглеродное датирование // Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 138–145.
17. Молодин В.И. Направления миграционных потоков в эпоху ранней-развитой бронзы. Барабинская лесостепь (по данным археологии, антропологии и палеогенетики) // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 4 (42). С. 22–26.
18. Молодин В.И., Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Орлова Л.А. Новые данные по радиоуглеродной хронологии погребальных комплексов могильника Сопка-2 эпохи ранней – развитой бронзы // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. Т. XVI. С. 240–246.
19. Молодин В.И., Марченко Ж.В., Орлова Л.А., Гришин А.Е. Хронология погребальных комплексов одиновской культуры памятника Сопка 2/4а (лесостепная полоса Обь-Иртышского междуречья) // Древние культуры степей Евразии и их связь с цивилизациями. СПб. : ИИМК РАН, Периферия, 2012. Кн. 1. С. 237–242.
20. Marchenko Z.V., Svyatko S.V., Molodin V.I., Grishin A.E., Rykun M.P. Radiocarbon chronology of complexes with Seima-Turbino type objects (Bronze Age) in Southwestern Siberia // Radiocarbon. 2017. Vol. 59, № 5. P. 1381–1397.
21. Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск : Наука, 1985. 200 с.
22. Стефанова Н.К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1988. С. 53–75.
23. Кобелева Л.С., Ненахов Д.А., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Молодин В.И., Райнхольд С. Бронзолитейный комплекс эпохи ранней-развитой бронзы на поселении Карьер Таи-1 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. XXV. С. 402–408.
24. Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Борзых К.А., Борило Б.С. Венгерово-2: новые данные по кротовской культуре // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск : Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2017. Т. XXIII. С. 368–373.
25. Молодин В.И., Нестерова М.С., Мыльникова Л.Н. Особенности поселения одиновской культуры Старый Тартас-5 в Барабинской лесостепи // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 3: Археология и этнография. С. 110–124.
26. Дураков И.А., Кобелева Л.С. Техническая керамика кротовской культуры центральной Барабы // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. Вып. 49. С. 23–25.
27. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М. : Наука, 1978. 272 с.
28. Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М. : ИА РАН, 2012. 384 с.
29. McClure S. Gender, Technology, and Evolution: Cultural Inheritance Theory and Prehistoric Potters in Valencia, Spain // American Antiquity. 2017. Vol. 72 (3). P. 485–508.
30. Молодин В.И. К вопросу о позднекротовской (черноозерской) культуре (Прииртышская лесостепь) // Археология, этнография, антропология Евразии. 2014. № 1. С. 49–54.

31. Молодин В.И., Чемякина М.А. Поселение Новочекино-3 – памятник эпохи поздней бронзы на севере Барабинской лесостепи // Археология и этнография Южной Сибири. Барнаул : Изд-во АГУ, 1984. С. 40–62.

Vyacheslav I. Molodin, Institute of Archeology and Ethnography SB RAS (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: molodin@archaeology.nsc.ru

Marina S. Nesterova, Institute of Archeology and Ethnography SB RAS (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: msnesterova@gmail.com

Lyudmila N. Mylnikova, Institute of Archeology and Ethnography SB RAS (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: mylnikova@yandex.ru

Lilia S. Kobeleva, Institute of Archeology and Ethnography SB RAS (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: kobeleva@archaeology.nsc.ru

EVIDENCE OF THE COEXISTENCE OF THE POPULATION OF THE ODINO AND KROTOVO CULTURES (BASED ON MATERIALS FROM THE BARABA FOREST-STEPPE)

Keywords: Baraba forest-steppe; Bronze Age; Odino culture; Krotovo culture; contacts.

The early-developed of Bronze Age in the Baraba forest-steppe is associated with the development of Odino and Krotovo archaeological cultures. The traditional concept of the cultural and historical development of this region supposes the consistent autochthonous formation of the Odino, and then the Krotovo archaeological cultures. However, the large series of radiocarbon dates obtained in recent years indicate their coexistence in the 3rd millennium BC. This hypothesis is also indicated by the finds of bronze items of the Seima-Turbino type in the burial complexes of both cultures. As a result of the study of the formation origins of these cultures, V.I. Molodin proposed a hypothesis about two lines of cultural development in the Ob-Irtysh forest-steppe. The first line is the sites with ceramics of the comb-and-pit ornamental tradition. This tradition influenced the formation of Odino culture. The second line is connected with the sites of the Ust-Tartas culture of the Early Metal Age. This population may have served as the basis for the formation of the Krotovo culture. At the same time, it is very important that both traditions are autochthonous in the region. The area of populations of Odino and Krotovo cultures coincides in the forest-steppe zone. What is the evidence of their coexistence in archaeological material?

One of the contact options is insinuated by the appearance of a ceramic complexes with mixed features. One group of ceramics at the Markovo-2 settlement of the Odino culture was decorated with a raised border, which is a characteristic feature in the ornamentation of Krotovo ceramics. We also noted the combination of Odino and Krotovo ornamentation traditions of ceramic vessels during the study of the Karyer Tai-1 settlement. The foundry complex of the early-developed Bronze Age was studied there. Another variant of interaction was noted at the Vengerovo-2 settlement of the Krotovo culture. The fact of joint deposit of Odino and Krotovo dishes in the same dwelling was studied. We also noted that the Krotovo population adopted the tradition of fire installation's constructing and the bronze casting traditions of the Odino culture (for ex. the use of specific melters).

We should also note the particularity of the mutual arrangement of the burials of the Odino and Krotovo cultures at the Tartas-1, Sopka-2 and Ust-Tartas-2 burial grounds. Planigraphic groups of burials were arranged in compact rows, without disturbing each other, despite their close location. At the same time, the burial practice remained clearly differentiated and specific for each culture.

Thus, we observe certain archaeological evidence of contacts between the two populations of the Early-Developed Bronze Age throughout the entire 3rd millennium BC. This interaction was expressed in: 1) the presence of ceramics with mixed features, 2) the conjoint deposit of "pure" ceramic complexes, 3) the perception and adaptation of the bronze casting and fire installation traditions of the Odino culture among the Krotovo population.

REFERENCES

- Kosarev, M.F. (1976) *Bronzovyy vek Zapadnoy Sibiri* [Bronze Age of Western Siberia]. Abstract of History Dr. Diss. Moscow.
- Krizhevskaya, L. Ya. (1977) *Rannebronzovoe vremya v Yuzhnom Zaural'e* [Early Bronze Time in the Southern Trans-Urals]. Leningrad: Leningrad State University.
- Goldina, R.D. & Krizhevskaya, L.Ya. (1971) Odino – poselenie epokhi ranney bronzy v zapadno-sibirskom lesostep'e [Odino – a settlement of the Early Bronze Age in the West Siberian forest-steppe]. *Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii – KSIA* (Brief Communications of the Institute of Archaeology). 127. pp. 72–77.
- Molodin, V.I. (2008) Odiновskaya kul'tura v Vostochnom Zaural'e i Zapadnoy Sibiri. Problemy vydeleniya [Odiновskaya culture in the Eastern Trans-Urals and Western Siberia. The allocation problems]. In: *Rossiya mezhdu proshlym i budushchim: istoricheskiy opyt natsional'nogo razvitiya* [Russia between the past and the future: the historical experience of national development]. Ekaterinburg: UrB RAS. pp. 9–13.
- Grishin, A.E. & Marchenko, Zh.V. (2017) Problema soderzhaniya terminov "krokhalevskiy keramicheskiy tip" i "krokhalevskaya kul'tura" v svete novykh dannykh (mogil'nik Krokhalevka-5, Verkhnee Priob'e) [The problem of the content of the terms "Krokhalevka ceramic type" and "Krokhalevka culture" in the light of new data (burial ground Krokhalevka-5, Upper Ob region)]. *Trudy V (XXI) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s"ezda*. 1. pp. 286–287.
- Komarova, M.N. (1956) Neolit Verkhnego Priob'ya [Neolithic of the Upper Ob Region]. *KSIMK* – Brief Reports of the Institute of the History of Material Culture. 64. pp. 93–103.
- Gening, V.F., Gusentsova, T.M., Kondratiev, O.M., Stefanov, V.I. & Trofimenko, V.S. (1970) Periodizatsiya poseleniy epokhi neolita i bronzovogo veka srednego Priirtysh'ya [Periodization of neolithic and bronze age settlements of the middle Irtysh region]. In: Matyushchenko, V.I. (ed.) *Problemy khronologii i kul'turnoy prinalozhnosti arkheologicheskikh pamyatnikov Zapadnoy Sibiri* [Problems of chronology and cultural belonging of archaeological monuments of Western Siberia]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 12–51.
- Molodin, V.I. (1977) *Epokha neolita i bronzy lesostepnogo Ob'-Irtysh* [Neolithic and Bronze Age of the Forest-Steppe Ob-Irtysh Region]. Novosibirsk: Nauka.
- Molodin, V.I. (2019) Relative and absolute chronology of Neolithic-Bronze Age archaeological cultures in Ob-Irtysh forest-steppe: contemporary situation. *Multidistsiplinarnye issledovaniya v arkheologii – Multidisciplinary Research in Archeology*. 1. pp. 3–12. (In Russian).
- Molodin V.I. (2012) *Pamyatnik Sopka-2 na reke Omi. Kul'turno-khronologicheskii analiz pogrebal'nykh kompleksov odinovskoi kul'tury* [Monument Sopka-2 on the Omi River. Cultural-chronological analysis of burial complexes of the Odino culture]. Novosibirsk. Vol. 3. 220 p.
- Molodin, V.I. & Grishin, A.E. (2016) *Pamyatnik Sopka-2 na reke Omi: kul'turno-khronologicheskii analiz pogrebal'nykh kompleksov krotovskoy kul'tury* [Monument Sopka-2 on the Omi River. Cultural-chronological analysis of burial complexes of the Krotovo culture]. Vol. 4. Novosibirsk: SB RAS.
- Molodin, V.I., Mylnikova, L.N., Nesterova, M.S., Kobeleva, L.S. & Raynkhold, S. (2018) Novyy mogil'nik krotovskoy kul'tury v Barabe [New Burial Ground of the Krotovo Culture in Baraba Forest-Steppe]. In: Derevyanko, A.P. & Molodin, V.I. (eds) *Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories]. Vol. 24. Novosibirsk: SB RAS. pp. 304–309.
- Molodin, V.I., Pilipenko, A.S., Chikisheva, T.A., Romashchenko, A.G., Zhuravlev, A.A., Pozdnyakov, D.V. & Trapezev, R.O. (2013) *Multidistsiplinarnye issledovaniya naseleniya Barabinskoy lesostepi V–I tys. do n.e.: arkheologicheskii, paleogeneticheskii i antropologicheskii aspekty* [Multidisciplinary studies of the population of the Baraba forest-steppe in the 5th – 1st millennia BC: archaeological, paleogenetic and anthropological aspects]. Novosibirsk: SB RAS.
- Chikisheva, T.A. (2012) *Dinamika antropologicheskoy differentsiatsii naseleniya yuga Zapadnoy Sibiri v epokhi neolita – rannego zheleza* [Dynamics of anthropological differentiation of the population of the south of Western Siberia in the Neolithic – Early Iron Age]. Novosibirsk: SB RAS.
- Molodin, V.I., Mylnikova, L.N., Novikova, O.I., Durakov, I.A., Kobeleva, L.S., Efremova, N.S. & Soloviev, A.I. (2011) Periodization of Bronze Age Cultures in the Ob-Irtysh Forest-Steppe: The Stratigraphic Position of Early and Middle Bronze Age Burials at Tartas-1. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 3. pp. 40–56. (In Russian).

16. Marchenko, Zh.V. & Molodin, V.I. (2017) Pogrebal'nye komplekсы epokhi bronzы mogil'nika Tartas-1, ikh stratigraficheskaya pozitsiya i radiouglerodnoe datirovanie [Burial complexes of the Bronze Age at the Tartas-1 burial ground, their stratigraphic position and radiocarbon dating]. In: Molodin, V.I. (ed.) *Mul'tidistsiplinarnye metody v arkhologii: noveyshie itogi i perspektivy* [Multidisciplinary Methods in Archeology: The Latest Results and Prospects]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 138–145.
17. Molodin, V.I. (2016) The directions of migration flows during an era early and the developed bronze. Baraba forest-steppe (according to archeology, anthropology and paleogenetics). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 4(42). pp. 22–26. (In Russian). DOI: 10.17223/19988613/42/4
18. Molodin, V.I., Marchenko, Zh.V., Grishin, A.E. & Orlova, L.A. (2010) Novye dannye po radiouglerodnoy khronologii pogrebal'nykh kompleksov mogil'nika Sopka-2 epokhi ranney – razvitoy bronzы [New data on the radiocarbon chronology of the burial complexes of the Sopka-2 burial ground of the Early – Developed Bronze Age]. In: Derevyanko, A.P. & Molodin, V.I. (eds) *Problemy arkhologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories]. Vol. 16. Novosibirsk: SB RAS. pp. 240–246.
19. Molodin, V.I., Marchenko, Zh.V., Orlova, L.A. & Grishin, A.E. (2012) Khronologiya pogrebal'nykh kompleksov odinovskoy kul'tury pamyatnika Sopka 2/4a (lesostepnaya polosа Ob'-Irtyskogo mezhdurech'ya) [Chronology of burial complexes of the Odino culture at the Sopka 2 / 4a monument (forest-steppe belt of the Ob-Irtys interfluvium)]. In: *Drevnie kul'tury stepey Evrazii i ikh svyaz' s tsivilizatsiyami* [Ancient cultures of the Eurasian steppes and their relationship with civilizations]. Vol. 1. St. Petersburg: RAS, Periferiya. pp. 237–242.
20. Marchenko, Z.V., Svyatko, S.V., Molodin, V.I., Grishin, A.E. & Rykun, M.P. (2017) Radiocarbon chronology of complexes with Seima-Turbino type objects (Bronze Age) in Southwestern Siberia. *Radiocarbon*. 59(5). pp. 1381–1397. DOI: 10.1017/RDC.2017.24
21. Molodin, V.I. (1985) *Baraba v epokhu bronzы* [Baraba in the Bronze Age]. Novosibirsk: Nauka.
22. Stefanova, N.K. (1988) Krotovskaya kul'tura v Srednem Priirtysh'e [The Krotovo culture in the Middle Irtysh region]. In: Kovaleva, V.T. (ed.) *Material'naya kul'tura drevnego naseleniya Urala i Zapadnoy Sibiri* [Material culture of the ancient population of the Urals and Western Siberia]. Sverdlovsk: [s.n.]. pp. 53–75.
23. Kobleva, L.S., Nenakhov, D.A., Durakov, I.A., Mylnikova, L.N., Nesterova, M.S., Molodin, V.I. & Raynkhold, S. (2019) Bronzolitenny kompleks epokhi ranney-razvitoy bronzы na poselenii Kar'er Tai-1 (Barabinskaya lesostep') [Bronze-casting complex of the Early-Developed Bronze Age at the settlement of Karyer Tai-1 (Baraba forest-steppe)]. In: Derevyanko, A.P. & Molodin, V.I. (eds) *Problemy arkhologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories]. Vol. 25. Novosibirsk: SB RAS. pp. 402–408.
24. Molodin, V.I., Mylnikova, L.N., Nesterova, M.S., Borzykh, K.A. & Borilo, B.S. (2017) Vengrovo-2: novye dannye po krotovskoy kul'ture [Vengrovo-2: New Data on the Krotovo Culture]. In: Derevyanko, A.P. & Molodin, V.I. (eds) *Problemy arkhologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories]. Vol. 23. Novosibirsk: SB RAS. pp. 368–373.
25. Molodin, V.I., Nesterova, M.S. & Mylnikova, L.N. (2014) Complex projects “Culture, society and human in the Paleometal era (Urals and western Siberia). *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoriya, filologiya – Novosibirsk State University Bulletin. Series: History and Philology*. 13(3). pp. 110–124. (In Russian).
26. Durakov, I.A. & Kobleva, L.S. (2017) The technical ceramics of Krotovo culture (Central Baraba). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 49. pp. 23–25. (In Russian). DOI: 10.17223/19988613/49/4
27. Bobrinsky, A.A. (1978) *Goncharstvo Vostochnoy Evropy. Istochniki i metody izucheniya* [Pottery of Eastern Europe. Sources and methods of study]. Moscow: Nauka.
28. Tsetlin, Yu. B. (2012) *Drevnyaya keramika. Teoriya i metody istoriko-kul'turnogo podkhoda* [Ancient ceramics. Theory and methods of the historical and cultural approach]. Moscow: RAS.
29. McClure, S. (2017) Gender, Technology, and Evolution: Cultural Inheritance Theory and Prehistoric Potters in Valencia, Spain. *American Antiquity*. 72(3). pp. 485–508. DOI: 10.2307/40035857
30. Molodin, V.I. (2014) The Late Krotovo (Cherno-Ozerye) Culture in the Irtysh Forest-Steppe, Western Siberia. *Arkheologiya, etnografiya, antropologiya Evrazii – Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 42(1). pp. 49–54. (In Russian).
31. Molodin, V.I. & Chemyakina, M.A. (1984) Poselenie Novochechino-3 – pamyatnik epokhi pozdney bronzы na severe Barabinskoy lesostepi [Settlement Novochechino-3 is a monument of the Late Bronze Age in the north of the Barabinsk forest-steppe]. In: Kiryushin, Yu.F. (ed.) *Arkheologiya i etnografiya Yuzhnoy Sibiri* [Archeology and Ethnography of Southern Siberia]. Barnaul: Altai State University. pp. 40–62.

УДК 903.53(571.150)
DOI: 10.17223/19988613/68/9

А.А. Тишкин, Н.А. Пластеева

ЛОШАДИ ИЗ КУРГАНОВ, РАСКОПАННЫХ ОКОЛО г. БИЙСКА В 1925 г. (ВЕРХНЕЕ ПРИОБЬЕ): ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция».

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Рассматривается история изучения двух памятников раннего железного века – Бийск-I и Бийск-II, а также впервые в научный оборот вводятся археозоологические определения остеологической коллекции, хранящейся в фондах Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург). Изложенные сведения способствуют характеристике системы жизнеобеспечения населения быстрянской культуры скифо-сакского времени.

Ключевые слова: Верхнее Приобье; ранний железный век; курганы; лошади; археозоологический анализ.

В 1925 г. экспедицией Этнографического отдела Государственного Русского музея под руководством С.И. Руденко осуществлялись обширные исследования на территории Алтая и Верхнего Приобья [1. С. 67–71]. В частности, были раскопаны земляные курганы на памятниках Бийск-I и Бийск-II [2; 3; 4. С. 11–12 и др.]. В этих работах участвовал молодой археолог М.П. Грязнов, кратко представивший некоторые результаты полевой деятельности в местной газете «Звезда Алтая». Эта заметка [5], имевшая ряд ошибок и опечаток, также содержала первую информацию интерпретационного плана. Поскольку указанную газетную статью найти довольно сложно¹, есть смысл процитировать некоторые отрывки, касающиеся рассматриваемой темы: «...Наибольший интерес представляют могильники, расположенные по краю горы, тянущейся вдоль города. Большой могильник... насчитывает около 100 курганов. Произведенные... раскопки курганов дают возможность довольно полно осветить эпоху их сооружения... В сруб клали покойника на спине с вытянутыми вдоль тела руками, головой на ЮЗ. В головах обычно ставился глиняный сосуд, а около него – крестец и прилегающие к нему поясничные и хвостовые позвонки барана. Подле скелета располагались немногочисленные предметы повседневного обихода: нож, стрелы, гребешок, украшения и пр. Сруб покрывался бревнами или досками и сверху того иногда еще и слоем бересты. Сверху или рядом с южной стороны клалась лошадь в полном убранстве. От узды сохранились удила... и украшения, от остальной сбруи – пряжки и всевозможные украшения из меди и кости. Все засыпалось землей, и сверху сооружалась насыпь. Обычно в могилу погребался один труп, иногда же два. В одной большой могиле, разделенной на две части, было четыре мужских скелета, по два в каждой

части... В некоторых могилах... две лошади, а в одной даже три... Предметы, найденные в курганах, частью повторяют известные уже типы и дают возможность указать определенное место могильников в ряде сибирских культур, частью являются новостью и расширяют наши познания в области изучения далекого прошлого Сибири... Человек того времени снабжал своих покойников всем необходимым для жизни в потустороннем мире». По мнению М.П. Грязнова [Там же], полученный материал «...убедительно говорит о скотоводстве как основном занятии курганного населения, однако же обилие бытующей посуды – керамики, заставляет предполагать оседлый образ его жизни. Охота также, по-видимому, играла немаловажную роль. На это указывает хотя бы обилие изделий из рога дикой козы, марала и других животных. Что же касается земледелия, то раскопки не дают на это никаких указаний». Важно следующее сделанное заключение: «Время сооружения курганов с точностью пока не может быть определено, однако же погребальный инвентарь настолько характерен, что сразу же указывает место могильника в культурах Сибири. Этот могильник может быть отнесен к древне-железной культуре, которая в южной Сибири бытовала в первые века Р.Х. Эта культура полна пережитками бронзовой эпохи: бронзовый лопатковидный наконечник посоха², костяные трехгранные втульчатые наконечники стрел, типичные для расцвета бронзовой культуры в Сибири, бронзовые украшения с животным орнаментом и, наконец, железные ножи, в точности копирующие собой ножи бронзовой эпохи. В то время как культура этих курганов имеет корни в бронзовой культуре, само население как будто связей со своими предшественниками не имеет. Трудно говорить об этом до окончательной обработки костного материала... Между тем уже сейчас

очевидно, что население Бийских курганов не принадлежит той длинноголовой народности, которая населяла южную Сибирь в течение неолитической и бронзовой эпохи. Вместе с тем оно не имеет ничего общего с турко-монгольскими племенами... По всей вероятности, это население генетически связано с населением центрального Туркестана и, может быть, Иранского плоскогорья, куда ведут нас и культурные нити, выявляющиеся в некоторых орнаментальных мотивах (головка тигра, имитации клыков кабана и др.). Другой могильник находится в одной версте от городского кладбища вверх по реке Бие. Раскопанные здесь два кургана дали совершенно аналогичный материал...» [5].

Следует отметить, что именно М.П. Грязнов вел необходимую документацию при раскопках курганов около Бийска. Описания исследованных погребений отражены в его полевом дневнике и небольшом отчете³, которые хранятся в Музее археологии и этнографии Омского государственного университета. Там же, в личном архиве М.П. Грязнова, имеется подборка материалов, свидетельствующая о проработке ученым результатов раскопок. Они и легли в основу двух позднее опубликованных статей [2. С. 89; 3]. Археологические находки ныне хранятся в Государственном Эрмитаже (ГЭ): Бийск-I – кол. № 4410; Бийск-II – кол. № 4385. Несмотря на важность, полученные сведения долгое время не были введены в научный оборот, хотя неоднократно упоминались в разных изданиях. В одной из публикаций М.П. Завитухиной [2. С. 89] отметила указание на материалы из бийских могильников С.В. Киселевым [6. С. 331], С.И. Руденко [7. Рис. 77, б. Табл. LXXVIII, 3, 4; XXVII, 5] и М.П. Грязновым [8. С. 97]. Она же обратила внимание на то, что сохранившийся костный материал человеческих скелетов изучался антропологами и рентгенологами [2. С. 90, 95], но первоначальные определения пола и возраста погребенных производились самим М.П. Грязновым, получившим соответствующие компетенции, что нашло отражение в подготовленной инструкции [9]. Важно отметить, что М.П. Грязнов [10] частично использовал находки, обнаруженные в курганах около Бийска, в своей работе «Древние культуры Алтая» [11. С. 53] и отнес их к первой стадии железной культуры. Эта публикация не упоминалась М.П. Завитухиной [2, 3]. Вероятно, поэтому из ее поля зрения выпадали археологические предметы, которые М.П. Грязнов условно (без масштаба и детальности) отразил в сводной таблице [10. Рис. V, 71, 73, 76, 78, 82, 84, 88, 91–93].

Дальнейший учет результатов, полученных экспедицией в 1925 г., происходил в 1950-е гг., но уже в несколько ином русле. Так, например, М.П. Грязнов [12. С. 10] предложил выделить бийскую культуру. Но эта идея не получила дальнейшего развития, а нашла отражение в одноименном этапе большебереченской культуры, датированном V–III вв. до н.э. [13]. В хорошо известной обобщающей монографии 1956 г. некоторые положения, ранее выдвинутые М.П. Грязновым [10, 12 и др.], были переосмыслены, но бийский этап остался [8. С. 85–92]. При этом материалы могильников, раскопанных около Бийска, косвенно отнесены к березовскому этапу большебереченской культуры

(II–I вв. до н.э.) [8. С. 97, 98]. К содержанию и датировке бийского этапа обращались Я.В. Фролов [14] и М.Т. Абдулганеев [15]. Здесь нужно еще раз обратить внимание на то, что бийский этап выделялся М.П. Грязновым на материалах поселения Бийск (скотобойня). С накоплением новых археологических материалов культурно-хронологическая схема истории племен Верхней Оби М.П. Грязнова [8] стала трансформироваться. В последующем опубликованная информация и находки из памятников Бийск-I и Бийск-II рассматривались в работах целого ряда исследователей [16–19 и др.]. В настоящее время могильники отнесены к быстринской археологической культуре скифо-сакского времени [20. С. 144, 21].

В Зоологическом институте РАН сохранились остеологические остатки от лошадей, обнаруженные при раскопках рассматриваемых археологических комплексов. Авторам статьи удалось их в определенной мере идентифицировать⁴. Этому способствовало наличие обозначенного номера коллекции (4410), а также имевшийся шифр с указанием памятника и номера кургана [22. С. 204. Рис. 1]. Полученные сведения соотносились с опубликованными описаниями захоронений. Прежде чем представить осуществленные археозоологические определения, необходимо отметить, что еще два кургана на памятнике Бийск-I раскапывались М.П. Грязновым в 1929 г. По замечанию М.П. Завитухиной [2. С. 108], полученные тогда материалы были переданы в Бийский краеведческий музей (БКМ) и ею не изучались. В свое время А.А. Миллер [23. Рис. 52] привел план могилы одного из исследованных курганов [2. С. 89]. Стоит обратить внимание на то, что С.В. Киселев [6. С. 331–332] в своей монографии опирался как раз на материалы раскопок М.П. Грязнова в 1929 г., которые хранятся в БКМ, указывая коллекцию № 268. Краткое их упоминание (но с обозначением других номеров коллекций – 22, 32, 36 и 2211) имеется в книге, посвященной памятникам истории и культуры Бийска и Бийского района [4. С. 11], где отмечено, что находки ничем особенно не отличаются от предыдущих, хранящихся в ГЭ. Позднее их публикация вместе с описанием раскопанных курганов была предпринята М.Т. Абдулганеевым и А.Л. Кунгуровым [20. С. 144. Рис. 2, 2, 4–6; 3, 1; 4], опираясь на текст статьи М.П. Завитухиной [2. С. 93–94]. В этих работах есть указание на обнаружение костей лошади в одном из захоронений, но место их нахождения нам неизвестно. Совсем недавнее знакомство с материалами из раскопок 1929 г. в БКМ опубликовал С.С. Радовский [24. С. 218]. Результаты исследований на могильнике Бийск-II двух курганов представлены в отдельной статье [3]. Однако не все находки в ней были проанализированы.

Сведения о раскопках памятников Бийск-I и Бийск-II, имеющиеся к настоящему времени, теперь могут быть существенно дополнены сделанными археозоологическими определениями сохранившейся коллекции костных останков захороненных лошадей. Для этого последовательно отразим полученную информацию.

В 1925 г. археологический комплекс Бийск-I располагался к юго-западу от тогдашней окраины г. Бийска,

на верхней высокой террасе старицы р. Бии. Памятник был открыт бийским краеведом М.Д. Копытовым [4. С. 11]. На могильном поле протяженностью около 1 км находилось много курганов, которые располагались тремя группами, что было обусловлено рельефом местности. В одной группе зафиксировано 37 объектов, во второй – 23, а в третьей (центральной) – 16, состоявших из двух цепочек [Там же]. Схема расположения курганов опубликована [20. Рис. 3, 1]. Из 13 объектов, раскопанных в 1925 г., семь (№ 3–9) находились в восточной части могильника, а остальные (№ 1–2, 10–13) – в западной [2. С. 90]. Курганы имели расплывшиеся земляные насыпи диаметром от 7 до 13 м, высотой от 0,2 до 0,6 м. В их центре фиксировались западины от грабительских работ. Обнаружен своеобразный предметный комплекс [2], в том числе связанный с конским снаряжением, детали которого являются хронологическими маркерами [19, 21, и др.].

В разрушенном кургане № 1 останки лошади не зафиксированы.

В кургане № 2 находился неполовозрелый жеребец 4–5 лет. От него остались фрагменты черепа, нижней челюсти, правая плечевая кость, левая лопатка, левые бедренная и большеберцовая кости (кол. № 4410–110 / Б.І.2).

В кургане № 3 были захоронены две особи: взрослые жеребцы 7–8 и 6–9 лет. От первого животного сохранились фрагмент черепа, нижняя челюсть, правые лопатка и лучевая кость, левая большеберцовая кость, парные таранные и пяточные кости (кол. № 4410–111 / Б.І.3). Второй конь представлен фрагментом нижней челюсти (без номера).

В кургане № 4 располагался скелет неполовозрелого жеребца 4–5 лет. В коллекции имеется нижняя челюсть, а также левые лопатка и лучевая кость, правые таранные и большеберцовая кости (кол. № 4410–112 / Б.І.4).

В кургане № 5 под насыпью выявлены две могилы. В одной из них (В) находился половозрелый жеребец в возрасте примерно 12–15 лет (есть целый череп без резцов и фрагмент нижней челюсти с такими шифрами: № 4410–113 / Б.І.5).

В кургане № 6 кости неполовозрелого жеребца (2–3 года) лежали в беспорядке. Зафиксированы фрагменты черепа и нижней челюсти, правые плечевая и таранная кости, левые – лучевая, бедренная и большеберцовая (кол. № 4410–114 / Б.І.6).

В кургане № 7 коня не было.

В кургане № 8 кости неполовозрелой лошади были найдены в беспорядке. Пол неизвестен, возраст – 1–2 года. Выявлены нижняя челюсть, правые лопатка, бедренная и большеберцовая кости, левые – плечевая и лучевая (кол. № 4410–115 / Б.І.8).

В кургане № 9 находился половозрелый жеребец 5–6 лет. От него сохранились череп, левая ветвь нижней челюсти, правые плечевая, лучевая, большеберцовая и таранные кости (кол. № 4410–116 / Б.І.9) [22. Рис. 1, 1].

В кургане № 10 располагалось захоронение неполовозрелой лошади 4–5 лет, пол которой пока не уста-

новлен. Имеются фрагменты черепа и нижней челюсти, правые лопатка и пяточная кость, левые плечевая, лучевая, локтевая, бедренная, большеберцовая и таранная кости (кол. № 4410–117 / Б.І.10а).

В кургане № 11 лежал половозрелый жеребец 12–15 лет. От него сохранился пробитый чеканом череп без нижней челюсти (кол. № 4410–118 / Б.І.11) [22. Рис. 1, 2].

В кургане № 12 скелет неполовозрелого жеребца (2–3 года) располагался в полном порядке. Имеются фрагменты черепа, нижняя челюсть, правые плечевая, лучевая, бедренная, большеберцовая кости, а также парные таранные и пяточные кости (кол. № 4410–119).

В кургане № 13 был зафиксирован неполный скелет взрослой лошади (более 6 лет), пол которой пока не установлен. Представлены кости задней конечности: правые бедренная, большеберцовая и таранная кости, а также левая пяточная кость (кол. № 4410–120 / Б.І.13).

На памятнике Бийск-II, который располагается на северо-восточной окраине города, исследованы два кургана [3]. В них находились остатки скелетов от четырех лошадей. К настоящему времени по шифру Б.І.2 выявлены фрагменты черепа и нижней челюсти одного жеребца в возрасте 2–3 лет из кургана № 2.

Представляемая остеологическая коллекция демонстрирует остатки скелетов от 13 коней, что позволяет провести сравнительный анализ зафиксированных морфометрических показателей с имеющимися такими же данными по лошадям из других памятников Алтая и Тувы.

Кости древних лошадей происходят из 11 объектов (№ 2–6, 8–13) Бийска-I. В кургане № 3 рядом с захоронением мужчины 50 лет располагались два половозрелых жеребца. В остальных представлены единичные особи. Судя по всему, в каждом захоронении были полные костяки животных. Однако в сохранившейся коллекции оказались отдельные черепа и нижние челюсти, непарные кости проксимальных отделов конечностей. Кости дистальных отделов конечностей (пястные, плюсневые, фаланги и мелкие кости запястья и заплюсны) отсутствуют. Остеологический материал представлен остатками от 12 скелетов лошадей из раскопанных курганов. Для 11 из них установлен индивидуальный возраст (табл. 1).

Среди захороненных животных преобладали неполовозрелые особи: 1–2, 2–3 и 4–5 лет (см. табл. 1). Возраст половозрелых особей соответствует 5–6 годам (курган № 9), 7–8 и 6–9 годам (курган № 3), 12–15 годам (курганы № 5 и 11). Костяк одной лошади представлен только элементами посткраниального скелета, и ее индивидуальный возраст был определен широко – более 6 лет.

По возрастному составу кони из курганов могильника Бийск-I значительно отличаются от таких же животных из археологических комплексов аржаномай-эмирского времени Тувы [25, 26] и пазырыкской культуры Алтая [27–33 и др.], в которых представлены преимущественно взрослые и старые особи (табл. 2).

Для костей скелетов четырех половозрелых особей была оценена высота лошадей в холке (см. табл. 1).

Из-за отсутствия пястных и плюсовых костей в изученной коллекции этот параметр высчитывался с использованием абсолютной длины плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой костей. Все изученные особи из курганов Бийск-I принадлежали к группе животных ниже среднего роста (табл. 3), их высота не превышала 136 см в холке. По этому показателю они

значительно уступали коням из захоронений аржаномайэмирского времени и пазырыкской культуры, чей средний рост соответствовал 136–144 см (см. табл. 3). Они также отличались и от лошадей сянбийско-жужанского времени булан-кобинской культуры (некрополи Степушка-I и 2), среди которых представлены особи ниже 128 см [34, 35].

Таблица 1

Половозрастной состав и высота в холке лошадей из курганов памятника Бийск-I

Могильник	Номер коллекции	Шифр особи	Пол	Возраст, лет	Высота в холке, см
Бийск-I	4410-110	Б.I.2	самец	4-5	–
Бийск-I	4410-111	Б.I.3	самец	7-8	128-136
Бийск-I	4410-111	Б.I.3	самец	6-9	–
Бийск-I	4410-112	Б.I.4	самец	4-5	–
Бийск-I	4410-113	Б.I.5	самец	12-15	–
Бийск-I	4410-114	Б.I.6	самец	2-3	–
Бийск-I	4410-115	Б.I.8	?	1-2	–
Бийск-I	4410-116	Б.I.9	самец	5-6	128-136
Бийск-I	4410-117	Б.I.10a	?	4-5	128-136
Бийск-I	4410-118	Б.I.11	самец	12-15	–
Бийск-I	4410-119	Б.I.12	самец	2-3	–
Бийск-I	4410-120	Б.I.13	?	> 6	128-136

Таблица 2

Возрастной состав лошадей из разных памятников Алтая и Тувы, %

Памятник	Возраст, лет			Экз.
	До 5	5-15	> 15	
Бийск-I (данные авторов)	55	45	–	11
Берел [31]	8	36	56	63
Пазырык и Шибе [27]	19	81		69
Большой Катандинский курган [33]	–	31	69	13
Аржан-1 [25] (данные авторов)	–	59	41	29
Аржан-2 [26]	–	71	29	14

Таблица 3

Доля лошадей с разной высотой в холке (по данным разных памятников Алтая и Тувы), %

Памятник	Высота в холке, см				Экз.
	120-128	128-136	136-144	144-152	
Бийск-I (данные авторов)	–	100	–	–	4
Большой Катандинский курган [33]	–	20	60	20	20
Берел [32]	–	26	73	1	66
Аржан-1 [25] (данные авторов)	–	20	80	–	10
Аржан-2, погр. 16 [26]	–	–	93	7	14
Степушка-I [34]	20	80	–	–	5
Степушка-2 [35]	100	–	–	–	5

Морфологическое изучение костных останков из бийских курганов показало, что лошади для захоронений отбирались по полу и представлены жеребцами. Отбор коней по индивидуальному возрасту, вероятно, определялся возрастом, полом и социальным статусом погребенного человека.

Приведенные данные способствуют дальнейшему изучению быстринской археологической культуры Верх-

него Приобья. Особо они важны для реконструкции системы жизнеобеспечения населения скифо-сакского времени. Предполагается проведение молекулярно-генетических исследований. Необходимо отметить, что накопленные сведения, а также современный уровень науки обозначают необходимость полной обобщающей публикации всех материалов, полученных при раскопках курганов на памятниках Бийск-I и Бийск-II.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Авторы благодарны О.В. Стяжкиной, аспиранту кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ, за представленную возможность познакомиться с оригиналом.

² Это вток – металлический наконечник рукоятки чекана [2. Рис. 3, 6].

³ Информация получена от О.В. Стяжкиной.

⁴ Авторы статьи выражают признательность кандидату биологических наук М.В. Саблину, старшему научному сотруднику Зоологического института РАН, за помощь в работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шмидт О.Г. Археологические исследования Сергея Ивановича Руденко // Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004. С. 61–84.
2. Завитухина М.П. Могильник времени ранних кочевников близ г. Бийска // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 1961. Вып. 3. С. 89–108.
3. Завитухина М.П. Второй Бийский могильник // Сообщения Государственного Эрмитажа. 1962. Вып. XXII. С. 28–30.
4. Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Казаков А.А. Город Бийск. Памятники археологии // Бийск, Бийский район. Памятники истории и культуры. Бийск, 1992. С. 7–47.
5. Грязнов М.П. Бийская старина // Звезда Алтая. 1925. 25 июня, № 143.
6. Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М. : Изд-во АН СССР, 1951. 642 с.
7. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. 402 с.
8. Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. 162 с. (МИА; № 48).
9. Инструкция для измерения черепа и костей человека / сост. М.П. Грязнов, С.И. Руденко. Л., 1925. 50 с. (Материалы по методологии археологической технологии; вып. 5).
10. Грязнов М.П. Древние культуры Алтая // Материалы по изучению Сибири. Новосибирск : Сов. Сибирь, 1930. Вып. 2. 12 с.
11. Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2007. 356 с.
12. Грязнов М.П. Из далекого прошлого Алтайского края. Барнаул, 1950. 20 с.
13. Грязнов М.П. Археологические исследования территории одного древнего поселка (раскопки Северо-алтайской экспедиции в 1949 г.) // КСИИМК. 1951. Вып. XL. С. 105–113.
14. Фролов Я.В. Бийский этап (к постановке вопроса) // Археологические исследования в Сибири. Барнаул, 1989. С. 69–70.
15. Абдулганеев М.Т. Бийский этап (хронологические рамки и содержание понятия) // Материалы к изучению прошлого Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1992. С. 91–105.
16. Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа. Проблемы хронологии и культурного разграничения. Горно-Алтайск : Алт. кн. изд-во, 1989. 216 с.
17. Тишкин А.А. К вопросу о возможности выделения контактных археологических культур // Горный Алтай и Россия: 240 лет. Горно-Алтайск, 1996. С. 26–28.
18. Лихачева О.С. Комплекс вооружения быстринской культуры северных предгорий Алтая // Теория и практика археологических исследований. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. Вып. 6. С. 192–199.
19. Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади в Горном Алтае и Верхнем Приобье. Новосибирск, 2015. Ч. II: VI–III вв. до н.э. 322 с.
20. Абдулганеев М.Т., Кунгуров А.Л. Курганы быстринской культуры в междуречье Бии и Чумыша // Погребальный обряд древних племен Алтая. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1996. С. 143–155.
21. Фролов Я.В. Быстринская культура // История Алтая. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та ; Белгород : Константа, 2019. Т. 1: Древнейшая эпоха, Древность и Средневековье. С. 234–242.
22. Тишкин А.А., Пластеева Н.А., Саблин М.В. Остеологические коллекции лошадей из археологических памятников Алтая в Зоологическом институте РАН // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2020. Вып. XXVI. С. 203–209.
23. Миллер А.А. Археологические разведки. Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1934. 213 с. (Известия Государственной академии истории материальной культуры; вып. 83).
24. Радовский С.С. Коллекции из погребальных комплексов быстринской культуры в собрании Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки // Древние и традиционные культуры Сибири и Дальнего Востока: проблемы, гипотезы факты. Омск : Издатель-Полиграфист, 2018. С. 217–220.
25. Грязнов М.П. Аржан: царский курган раннескифского времени. Л. : Наука, 1980. 62 с.
26. Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. 500 с.
27. Витт В.О. Лошади Пазырыкских курганов // Советская археология. 1952. Вып. XVI. С. 163–205.
28. Васильев С.К., Гребнев И.Е. Остеологическая характеристика лошадей из курганов Бертекской долины // Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок) / А.П. Деревянко, В.И. Молодин, Д.Г. Савинов и др.; отв. ред. В.И. Молодин. Новосибирск : Наука, 1994. С. 183–186.
29. Гребнев И.Е., Васильев С.К. Лошади из памятников пазырыкской культуры Южного Алтая // Полосмак Н.В. «Стерегиущие золото грифы» (ак-алахинские курганы). Новосибирск : Наука, 1994. С. 106–111.
30. Васильев С.К. Лошади из погребений скифского времени Горного Алтая // Феномен алтайских мумий / В.И. Молодин, Н.В. Полосмак, Т.А. Чикишева и др. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. С. 237–242.
31. Косинцев П.А., Самашев З.С. Лошади Алтая в скифо-сакское время // Номады казахских степей: этносоциокультурные процессы и контакты в Евразии скифо-сакской эпохи. Астана, 2008. С. 342–346.
32. Косинцев П.А., Самашев З. Берелские лошади. Морфологическое исследование. Астана : Изд. группа филиала Ин-та археологии, 2014. 368 с.
33. Пластеева Н.А., Тишкин А.А., Саблин М.В. Лошади из Большого Катандинского кургана (Алтай) // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та. 2018. С. 107–109.
34. Пластеева Н.А., Тишкин А.А. Лошади из курганной группы Степушка I // Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В. Алтай в саянобийско-жужжанское время (по материалам памятника Степушка). Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. С. 357–364.
35. Лукерина Я.Е. Лошади из памятника Степушка-2 в Горном Алтае // Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. Горно-Алтайск, 2018. С. 150–153.

Alexey A. Tishkin, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: tishkin210@mail.ru

Natalia A. Plasteeva, Altai State University (Barnaul, Russian Federation); Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: natalya-plasteeva@yandex.ru

HORSES FROM THE MOUNDS EXCAVATED NEAR BIYSK IN 1925 (UPPER OB REGION): HISTORIOGRAPHIC ASPECT AND ARCHAEOZOOLOGICAL DEFINITIONS

Keywords: Upper Ob region; Early Iron Age; barrows; horses; archaeozoological analysis.

In 1925, an expedition of the Ethnographic Department of the State Russian Museum led by S.I. Rudenko excavated earthen mounds located near the city of Biysk in the south of Western Siberia, at the confluence of the Biya and Katun rivers (Upper Ob). The young researcher M.P. Gryaznov took an active part in the research. He kept the necessary field documentation and shortly reported some of

the results in the local newspaper "Zvezda Altaya". Archaeological materials from the sites designated as Biysk-I and Biysk-II were not published for a long time. They only had been partially mentioned in some reports, articles and monographs. M.P. Zavitukhina presented the available information in a relatively expanded form after more than 35 years the excavations. At present, finds from these burial grounds of the Scythian-Saka time are kept in the State Hermitage (collections No. 4410 and 4385), and osteological collections are kept in the funds of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg). The main purpose of this article is to give a brief historiographic overview of the process of studying the Biysk-I-II sites, and to introduce into scientific circulation archaeozoological definitions of horse bones found in the mounds. Sexes, age, height at the withers were determined and specific observations were recorded during the morphological study of the remains from 13 buried horses. Subsequently a comparative analysis was carried out according to similar indicators obtained in the study of ancient horses from sites close in time to Altai and Tuva. Available data indicate that stallions were usually laid next to the people buried in the mounds near Biysk. Perhaps their selection by age depended on the status of a deceased person. In terms of height at the withers, horses from the Biysk-I site are inferior to the horses from the complexes of the Arzhan-Mayemir time of Tuva and from the mounds of the Pazyryk culture of Altai. It should be noted the high percentage of burials near Biysk, in which the buried people were accompanied by horses has been investigated. This fact testifies to the important role of such an animal in the corresponding ancient society. The published data contribute to further understanding of the Bystryansk archaeological culture. They are especially important for the reconstruction of the subsistence pattern for the population of the Upper Ob region of the Scythian-Saka period. The collected data and the current level of science require a publication summarizing all materials obtained during the excavation of burial mounds at the Biysk-I and II sites, as well as during the performing of a multidisciplinary approach.

REFERENCES

- Schmidt, O.G. (2004) Arkheologicheskie issledovaniya Sergeya Ivanovicha Rudenka [S.I. Rudenko's Archaeological Research]. In: Tishkin, A.A. et al. *Zhiznenny put', tvorchestvo, nauchnoe nasledie Sergeya Ivanovicha Rudenka i deyatel'nost' ego kolleg* [Life path, creativity, scientific heritage of S.I. Rudenko and the activities of his colleagues]. Barnaul: Altai State University. pp. 61–84.
- Zavitukhina, M.P. (1961) Mogil'nik vremeni rannikh kochevnikov bliz g. Biyska [Burial ground of the early nomads near Biysk]. *Arkheologicheskii sbornik Gosudarstvennogo Ermitazha*. 3. pp. 89–108.
- Zavitukhina, M.P. (1962) Vtoroy Biyskiy mogil'nik [The second Biysk burial ground]. *Soobshcheniya Gosudarstvennogo Ermitazha*. 22. pp. 28–30.
- Kiryushin, Yu.F., Kungurov, A.L. & Kazakov, A.A. (1992) Gorod Biysk. Pamyatniki arkheologii [Biysk. Monuments of Archeology]. In: Kiryushin, Yu.F. (ed.) *Biysk, Biyskiy rayon. Pamyatniki istorii i kul'tury* [Biysk, Biysk Region. Monuments of History and Culture]. Biysk: [s.n.]. pp. 7–47.
- Gryaznov, M.P. (1925) Biyskaya starina [The Biysk antiquity]. *Zvezda Altaya*. 25th June.
- Kiselev, S.V. (1951) *Drevnyaya istoriya Yuzhnoy Sibiri* [Ancient History of Southern Siberia]. Moscow: USSR AS.
- Rudenko, S.I. (1953) *Kul'tura naseleniya Gornogo Altaya v skifskoe vremya* [The culture of the Altai population in the Scythian time]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
- Gryaznov, M.P. (1956) *Istoriya drevnikh plemen Verkhney Obi po raskopkam bliz s. Bol'shaya Rechka* [The history of the ancient tribes of the Upper Ob by excavations near the village of Big River]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
- Gryaznov, M.P. & Rudenko, S.I. (1925) *Instruktsiya dlya izmereniya cherepa i kostey cheloveka* [Instructions for measuring the human skull and bones].
- Gryaznov, M.P. (1930) Drevnie kul'tury Altaya [Ancient Cultures of Altai]. In: Reverdatto, V.V., Kuzmin, A.M. & Myagkov, I.M. (eds) *Materialy po izucheniyu Sibiri* [Materials for the study of Siberia]. Vol. 2. Novosibirsk: Sovetskaya Sibir'.
- Tishkin, A.A. (2007) *Sozdanie periodizatsionnykh i kul'turno-khronologicheskikh skhem: istoricheskii opyt i sovremennaya kontseptsiya izucheniya drevnikh i srednevekovykh narodov Altaya* [Creation of periodization and cultural-chronological schemes: historical experience and modern concept of studying the ancient and medieval peoples of Altai]. Barnaul: Altai State University.
- Gryaznov, M.P. (1950) *Iz dalekogo proshlogo Altayskogo kraya* [From the distant past of the Altai Territory]. Barnaul: [s.n.].
- Gryaznov, M.P. (1951) Arkheologicheskie issledovaniya territorii odnogo drevnego poselka (raskopki Severo-altayskoy ekspeditsii v 1949 g.) [Archaeological studies of the territory of one ancient village (excavations of the North-Altai expedition in 1949)]. *KSIIMK – Brief Reports of the Institute of the History of Material Culture*. Vol. XL. pp. 105–113.
- Frolov, Ya.V. (1989) Biyskiy etap (k postanovke voprosa) [Biysk stage (to the formulation of the question)]. In: Kiryushin, Yu.F. et al. *Arkheologicheskie issledovaniya v Sibiri* [Archaeological research in Siberia]. Barnaul: [s.n.]. pp. 69–70.
- Abdulganeev, M.T. (1992) Biyskiy etap (khronologicheskie ramki i sodержание ponyatiya) [The Biysk stage (a chronological framework and content of the concept)]. In: *Materialy k izucheniyu proshlogo Gornogo Altaya* [Materials for the study of the Gorny Altai past]. Gorno-Altaysk: [s.n.]. pp. 91–105.
- Surazakov, A.S. (1989) *Gornyy Altay i ego severnye predgor'ya v epokhu rannego zheleza. Problemy khronologii i kul'turnogo razgranicheniya* [Mountain Altai and its northern foothills in the Early Iron Age. Problems of chronology and cultural delimitation]. Gorno-Altaysk: Altaiskoe knizhnoe izd-vo.
- Tishkin, A.A. (1996) K voprosu o vozmozhnosti vydeleniya kontaktnykh arkheologicheskikh kul'tur [On the question of the possibility of identifying contact archaeological cultures]. In: Belousov, N.V. & Pustogachev, Ya.A. (eds) *Gornyy Altay i Rossiya: 240 let* [Gorny Altai and Russia: 240 years]. Gorno-Altaysk: Gorno-Altai Institute of Humanitarian Research. pp. 26–28.
- Likhacheva, O.S. (2011) Kompleks vooruzheniya bystryanskoy kul'tury severnykh predgoriy Altaya [The armament complex of the Bystryanskaya culture of the Altai northern foothills]. In: *Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy – Theory and Practice of Archaeological Research*. 6. pp. 192–199.
- Shulga, P.I. (2015) *Snaryazhenie verkhovoy loshadi v Gornom Altaye i Verkhnem Priob'e* [Riding horse equipment in Gorny Altai and Upper Ob region]. Vol. 2. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
- Abdulganeev, M.T. & Kungurov, A.L. (1996) Kurgany bystryanskoy kul'tury v mezhdurech'e Bii i Chumyshe [Burial mounds of Bystryanskaya culture in the interfluvium of Biya and Chumysh]. In: Abdulganeev, M.T. et al. *Pogrebal'nyy obryad drevnikh plemen Altaya* [Burial rite of the ancient tribes in Altai]. Barnaul: Altai State University. pp. 143–155.
- Frolov, Ya.V. (2019) Bystryanskaya kul'tura [The Bystryanka culture]. In: Skubnevsky, V.A. (ed.) *Istoriya Altaya* [History of Altai]. Vol. 1. Barnaul: Altai State University; Belgorod: Konstanta. pp. 234–242.
- Tishkin, A.A., Plasteeva, N.A. & Sablin, M.V. (2020) Osteologicheskie kollektsii loshadey iz arkheologicheskikh pamyatnikov Altaya v Zoologicheskom institute RAN [Osteological collections of horses from archaeological sites of Altai at the Zoological Institute of the RAS]. In: Tishkin, A.A. (ed.) *Sokhranenie i izuchenie kul'turnogo naslediya Altayskogo kraya* [Preservation and Study of the Cultural Heritage of the Altai Territory]. Vol. 26. Barnaul: Altai State University. pp. 203–209.
- Miller, A.A. (1934) *Arkheologicheskie razvedki* [Archaeological exploration]. Leningrad: Gos. sots.-ekon. izd-vo.
- Radovsky, S.S. (2018) Kollektzii iz pogrebal'nykh kompleksov bystryanskoy kul'tury v sobranii Biyskogo krayevedcheskogo muzeya imeni V.V. Bianki [Collections from the burial complexes of the Bystryansk culture in the collection of the Biysk Museum of Local Lore named after V.V. Bianki].

- In: Berezhnova, M.L. & Tolpeko, I.V. (eds) *Drevnie i traditsionnye kul'tury Sibiri i Dal'nego Vostoka: problemy, gipotezy fakty* [Ancient and traditional cultures of Siberia and the Far East: problems, hypotheses, facts]. Omsk: Izdatel'-Poligrafist. pp. 217–220.
25. Gryaznov, M.P. (1980) *Arzhan: tsarskiy kurgan ranneskifskogo vremeni* [Arzhan: royal mound of the early Scythian time]. Leningrad: Nauka.
 26. Chugunov, K.V., Partsinger, G. & Nagler, A. (2017) *Tsarskiy kurgan skifskogo vremeni Arzhan-2 v Tuve* [The royal mound of the Scythian time Arzhan-2 in Tuva]. Novosibirsk: SB RAS.
 27. Vitt, V.O. (1952) Loshadi Pazyrykskikh kurganov [Horses of the Pazyryk barrows]. *Sovetskaya arkhologiya*. 15. pp. 163–205.
 28. Vasilyev, S.K. & Grebnev, I.E. (1994) Osteologicheskaya kharakteristika loshadey iz kurganov Bertekskoy doliny [Osteological characteristics of horses from the burial mounds of the Bertek valley]. In: Derevyanko, A.P., Molodin, V.I. & Savinov, D.G. (eds) *Drevnie kul'tury Bertekskoy doliny (Gornyy Altay, ploskogor'ye Ukok)* [Ancient cultures of the Bertek valley (Gorny Altai, Ukok plateau)]. Novosibirsk: Nauka. pp. 183–186.
 29. Grebnev, I.E. & Vasilyev, S.K. (1994) Loshadi iz pamyatnikov pazyrykskoy kul'tury Yuzhnogo Altaya [Horses from the monuments of the Pazyryk culture of the Southern Altai]. In: Polosmak, N.V. *Steregushchie zoloto grify (ak-alakhinskie kurgany)* [Vultures guarding gold (Ak-Alakhin burial mounds)]. Novosibirsk: Nauka. pp. 106–111.
 30. Vasiliev, S.K. (2000) Loshadi iz pogrebeniy skifskogo vremeni Gornogo Altaya [Horses from burials of the Scythian time in Gorny Altai]. In: Molodin, V.I., Polosmak, N.V., Chikisheva, T.A. et al. *Fenomen altayskikh mumiy* [Phenomenon of Altai mummies]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 237–242.
 31. Kosintsev, P.A. & Samashev, Z.S. (2008) Loshadi Altaya v skifo-sakskoe vremya [Horses of Altai in the Scythian-Saka time]. In: Samashev, Z. (ed.) *Nomady kazakhskikh stepey: etnosotsiokul'turnye protsessy i kontakty v Evrazii skifo-sakskoy epokhi* [Nomads of the Kazakh steppes: ethnosocial and cultural processes and contacts in Eurasia of the Scythian-Saka era]. Astana: [s.n.]. pp. 342–346.
 32. Kosintsev, P.A. & Samashev, Z. (2014) *Berelskie loshadi. Morfologicheskoe issledovanie* [Berel horses. Morphological research]. Astana: Institute of Archeology.
 33. Plasteeva, N.A., Tishkin, A.A. & Sablin, M.V. (2018) Loshadi iz Bol'shogo Katandinskogo kurgana (Altay) [Horses from the Great Katandinsky Kurgan (Altai)]. In: Tishkin, A.A. (ed.) *Sovremennye resheniya aktual'nykh problem evraziyskoy arkhologii* [Modern Solutions of Topical Problems of Eurasian Archeology]. Barnaul: Altai State University. pp. 107–109.
 34. Plasteeva, N.A. & Tishkin, A.A. (2018) Loshadi iz kurgannoy gruppy Stepushka I [Horses from the Stepushka I mound group]. In: Tishkin, A.A., Matrenin, S.S. & Shmidt, A.V. *Altay v syan'biysko-zhuzhzhanskoe vremya (po materialam pamyatnika Stepushka)* [Altai in the Syanbei-Zhuzhzhan time (based on materials from the Stepushka monument)]. Barnaul: Altai State University. pp. 357–364.
 35. Lukerina, Ya.E. (2018) Loshadi iz pamyatnika Stepushka-2 v Gornom Altae [Horses from the Stepushka-2 monument in Gorny Altai]. In: Soynov, V.I., Konstantinov, N.A. & Trifanova, S.V. *Mogil'nik Stepushka-2 v Tsentral'nom Altaye* [Burial ground Stepushka-2 in Central Altai]. Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University. pp. 150–153.

УДК 930.2: 94 (395. 1)
DOI: 10.17223/19988613/68/10

Я. Хохоровски

СИБИРСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ГИПЕРБОРЕИ В РАССКАЗЕ ГЕРОДОТА – ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИФ ИЛИ ЭХО ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

На основе приведенных Геродотом фактов автор предполагает, что делосцы под названием «гипербореи» понимали сообщества, населявшие территории с северной стороны Карпат, в бассейне Вислы и Варты, имевшие традиции, характерные еще для модели культур урновых полей эпохи поздней бронзы. Состояние географического и культурного сознания и масштабы взаимопроникновения средиземноморского и варварского миров были, вероятно, гораздо большими, чем об этом можно судить, исходя из количества, привлекательности и познавательного потенциала предметов «импорта» – археологических следов взаимной заинтересованности этих миров.

Ключевые слова: гипербореи; Сибирь; Центральная Европа; контактные и торговые пути; этническая география.

Сопоставление различных механизмов распространения изделий, раскрывающих средиземноморское цивилизационное влияние в центральной и восточной Европе, свидетельствует, что это был не совсем случайный процесс, напоминающий пресловутое «разбрасывание засохших листьев ветром Истории»¹. Однако, наблюдая только географическое распространение импортов (вещей / товаров), невозможно ответить на вопрос о самосознании производителей этих продуктов, древнегреческих и итальянских мастеров: знали ли они, в какие места и кому попадают их товары? Это, кстати, вопрос, касающийся одновременно географических знаний древних греков и других народов средиземноморского мира о самых отдаленных «варварских» территориях тогдашнего мира.

Существует и другая сторона обсуждаемого вопроса. Речь идет о культурном и даже пространственном самосознании потребителей средиземноморских продуктов, живших в глубине европейского «варварского» интерьера. Рассматривали ли они материальные импорты только как более или менее полезные в различных сферах хозяйственной и культурной жизни предметы-вещи, случайно «путешествовавшие» в рамках межгруппового обмена, или они понимали их первоначальный культурный контекст и смысл? Знали ли они географию их происхождения? Далее, проявлялись ли преднамеренные попытки сокращения культурного и географического разрыва, например, за счет дальних путешествий², хотя бы среди более прогрессивной части населения, предшественников тогдашних инноваций, присутствующих во всех сообществах, в том числе и традиционных [3. S. 473–475]? Наконец, были ли общественные (не только индивидуальные) основания для таких действий? И в целом существовала ли какая-либо культурная связь между потребителями и производителями «импортов»?

К сожалению, познавательный потенциал археологических источников и состояние их изучения не позволяют прямо ответить на указанные выше вопросы. Синхронная раннему железному веку античная литературная традиция, собранная в основном в труде Геродота (несомненно, достоверная – учитывая географический и хронологический контексты накопления содержащихся в нем и обсуждаемых здесь сведений), также немного нам помогает. Однако, ссылаясь на факты, отмеченные Геродотом, не стоит оставлять эти вопросы без попытки ответа. Речь идет об описанных в «Истории» [2. IV: 36]³ легендарных, «крайне северных» гипербореях [4. Рис. 7], этнически анонимных сообществах, занимавших самые северные окраины известного древним грекам мира [5. S. 143–144]⁴. Автор «Истории» упоминает о них в контексте своего рассказа о скифах, собственно, об этнической географии Скифии, трактуя их как своеобразное «обрамление» созданной картины. «О гипербореях ничего не известно ни скифам, ни другим народам этой части света, кроме исседонов. Впрочем, как я думаю, исседоны также ничего о них не знают; ведь иначе, пожалуй, и скифы рассказывали бы о них, как они рассказывают об одноглазых людях (аримаспах. – Я.Х.). Но все же у Гесиода есть известие о гипербореях; упоминает о них Гомер в Эпиграмах» [2. IV: 32]. Из информации о местоположении упомянутых здесь исседонов следует, что они занимали какие-то территории за «высокими, недоступными горами» (Уралом?) на границе известного и неизвестного миров [Там же. IV: 25–27]. «Итак, о исседонах у нас есть еще сведения. Выше исседонов, по их собственным рассказам, живут одноглазые люди и стерегущие золото грифы» [Там же. IV: 27]. Если «стерегущих золото грифов» принять за мифологический эквивалент «скифо-сибирской» культурной модели сообществ территорий Алтая и

Западного Саяна в верховьях Оби и Енисея [6. С. 6–10; 7. С. 33–35; 8. С. 586–619; 9. С. 310–316] с ярко выраженным в зооморфной символике мотивом грифона [10. С. 40], то находящихся по соседству *исседонов*, как и *гипербореев*, тоже стоит включить в этническую мозаику пограничья западной Сибири и Центральной Азии.

Однако еще больше о географическом и этническом контексте «сибирских» *гипербореев* мы узнаем из цитируемого в «Истории» сообщения Аристея [11. С. 69]. «По его рассказам, за исседонами обитают аримаспы – одноглазые люди; за аримаспами – стерегущие золото грифы, а еще выше (севернее. – Я.Х.) за ними – гипербореи на границе с морем. Все эти народы, **кроме гипербореев** (выделено мной. – Я.Х.), постоянно воюют с соседями (причем первыми начали войну аримаспы). Аримаспы изгнали исседонов из их страны, затем исседоны вытеснили скифов, а киммерийцы, обитавшие у Южного моря, под напором скифов покинули свою родину» [2. IV: 13]. Отсюда следует, что «сибирские» *гипербореи* не были участниками процесса этнических миграций в степной зоне (и лесостепи?), носивших характер цепной реакции [12. С. 22–24; 13. С. 126–133; 14. С. 319–336], что привело к переселению «азиатских» скифов в Кавказско-Причерноморские территории и вытеснению оттуда киммерийцев [2. IV: 11]. Следовательно, если принять литературное изображение этого процесса за исторический факт, то «сибирских» *гипербореев*, вероятно, можно рассматривать как оседлый этнос, занимавший районы за пределами «коридора» Великой Степи (в лесной или лесостепной зоне?). Это все-таки должно быть соседство степи или лесостепи и какие-то контакты с более подвижными обществами. Так можно впоследствии понимать взаимный исторический и географический контекст «судьбы» этих этносов, отмеченный в сообщении Аристея Проконнеского и Геродота. Так или иначе, «сибирские» *гипербореи* никоим образом не могли быть соседями северо-причерноморских скифов во времена Геродота. Это вытекает из уже упомянутых свидетельств, но прежде всего из описанной Геродотом этнической географии Скифии [Там же. IV: 17–22]. Вне зависимости от спора относительно интерпретации этого сообщения (см., напр.: [15; 16. С. 51–66; 17. С. 43–57], нет никаких сомнений в том, что ни в определенной Геродотом этнической структуре причерноморской Скифии, ни среди ее ближних и дальних восточноевропейских соседей нет места для каких-либо «*гипербореев*».

В этом контексте весьма интригующей оказывается другая информация Геродота о *гипербореях*, полученная, согласно его однозначному заявлению, не от северопричерноморских греков или из других косвенных источников, а из самого сердца Греции, прямо от делосцев, жителей острова Делос в Эгейском море, который во времена Геродота играл чрезвычайно важную политическую и культурную роль⁵. Как сообщает автор «Истории», «гораздо больше о гипербореях рассказывают делосцы. По их словам, гипербореи посылают **скифам** (выделено мной. – Я.Х.) жертвенные дары, завернутые в пшеничную солому. От скифов

дары принимают ближайшие соседи, и каждый народ всегда передает их все дальше и дальше вплоть до **Адриатического моря на крайнем западе** (выделено мной. – Я.Х.). Оттуда дары отправляют на юг: сначала они попадают к додонским эллинам, а дальше их везут к Малийскому заливу и переправляют на Евбею. Здесь их перевозят из одного города в другой вплоть до Кариста. Однако минуют Андрос, так как каристийцы перевозят святыню прямо на Тенос, а теносцы – на Делос. Так-то, по рассказам делосцев, эти священные дары, наконец, прибывают на Делос» [2. IV: 33].

Приведенный фрагмент вызывает основной вопрос: о каких *гипербореях* и каких *скифах* рассказывают делосцы? Ведь в другом месте Геродот, имея в виду причерноморских (!) скифов, подчеркивает: «О гипербореях ничего не известно ни скифам, ни другим народам этой части света» [Там же. IV: 32]. Если посредниками в передаче жертвенных подношений *гипербореев* в храм на Делосе должны быть причерноморские скифы, то почему они не воспользовались традиционным греческим морским путем, ведущим от Босфора Фракийского в гавани Истрии и устья Истра (Дуная), очевидно, через устье Днестра (Тирас) и далее в направлении других северочерноморских колоний (и обратно), или каким-либо другим судоходным путем, ведущим из Черного Моря в Эгейское [18. С. 11–19]. С географической точки зрения кажется иррациональным направление сухопутного (!?) маршрута, ведущего от причерноморских скифов в Адриатику и дальше по традиционному морскому пути [19. Abb. 6; 20. Abb. 1] от устья По до Доданы в Эпире, а затем на восток через материковую Грецию на остров Евбею и только оттуда на Делос.

Решение этой дилеммы может быть только одно: «скифы» из сказания делосцев – это не причерноморские (настоящие) скифы, а сообщества со скифообразной культурой (археологическая культура Векерзуг; рис. 1) [4. Рис. 5]⁶, носящие мидийскую / скифскую одежду, т.е. *сигинны* из рассказа Геродота [2. V: 9; 6. С. 228–244; 23. С. 161–218]⁷, обитавшие на квазистепной территории Венгерской низменности. *Гипербореи* – это впоследствии, вероятно, местное средневропейское оседлое население, занимавшееся земледелием («жертвенные дары, завернутые в **пшеничную солому**»; выделено мной. – Я.Х.), проживавшее по соседству со «скифами» в Венгерской низменности и связанное с ними «торговым» обменом, а также сакральной передачей вотивных даров. Торговый путь к Эгейскому морю, ведущий через центральные Балканы по линии Тиса–Морава–Вардар, предоставлял возможность обмена товарами, а также способствовал передаче информации, которые попадали грекам, в том числе – делосцам. Не удивляет тогда, что в Греции (включая Делос) население Венгерской низменности, выделявшееся из окружающей среды «мидийской одеждой», считали «скифами». Это культурное отличие центрально-европейского анклава кочевников засвидетельствовали и художники из так называемого круга «искусства ситул», оставив такие иконографические свидетельства, как образ лучника в «мидийской» одежде на бронзовой оковке пояса [4. Рис. 8, В] из

Мольника (Molnik) [26. Add. 10] или островерхие головные уборы *сигинских* возничих колесниц (*heniotos*) в сценах соревнований рысаков (биг) [4. Рис. 8, С, D], изображенных на ситулах с Куферна (Kufern) и Болоньи-Арноальди (Bologna-Arnoaldi) [31. Tab. 13, 15, 75]. Очевидно, хорошо задокументированный археологи-

ческими и историческими источниками контактный путь, ведущий через территории галыштатского населения с юго-восточной окраины Альп и адриатических *энетов*, в некотором смысле также контролируемый *сигиннами*, использовался для передачи votивных даров от средневропейских *гипербореев* на Делос (рис. 2).



Рис. 1. Избранные элементы снаряжения подкурганых захоронений знати из культуры Векерзуг: 1, 2 – Мезекерестеш-Зельдальомпуста (Mezőkeresztes-Zöldhalompusztá [32]); 3 – Тапиосентмартон (Tápiószentmárton [33])

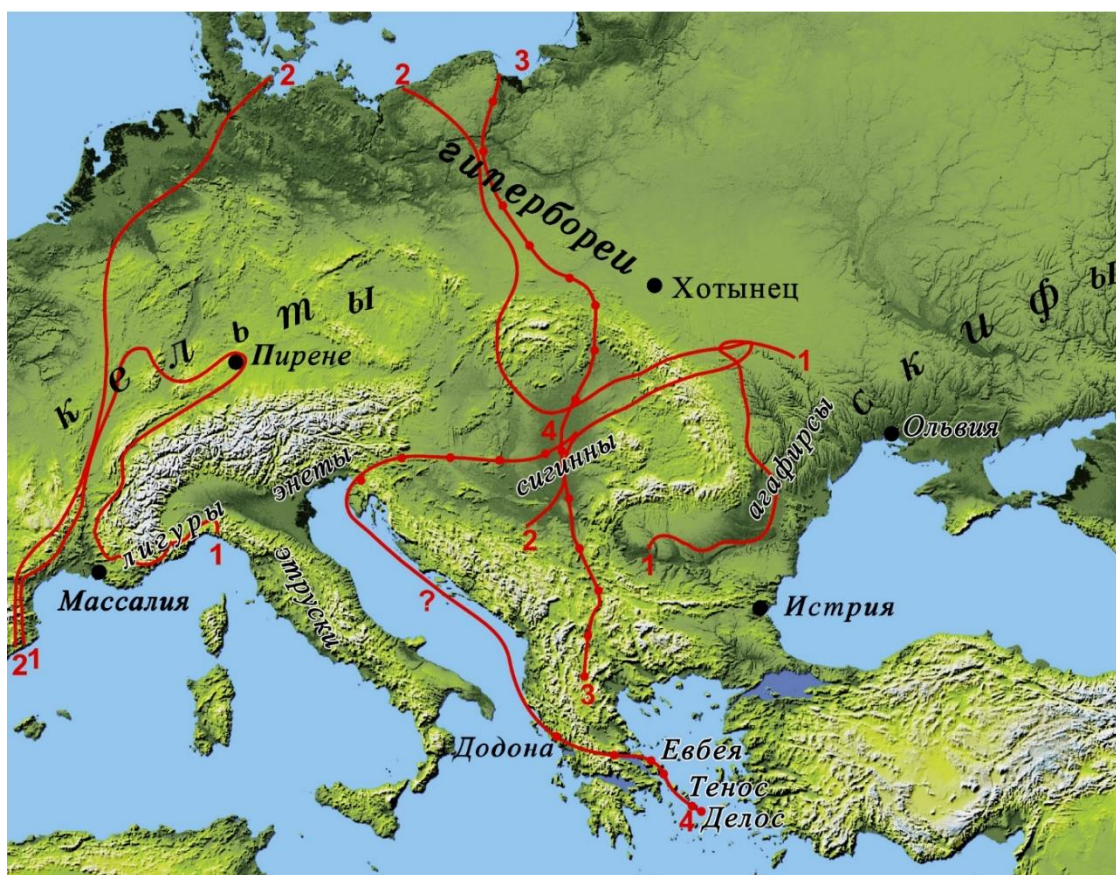


Рис. 2. Центральноевропейский торговый путь Балтийское Море–Балканы в VI–V вв. до н.э.: 1 – северная граница распространения греческих амфор; 2 – северо-восточная граница распространения италийского (в том; этрусского) импорта; 3 – торговый путь Висла–Тиса–Морава–Вардар; 4 – дорога переданных *гиперборейцами* священных даров от «скифов»-сигиннов в храм на Делосе

Встает тогда следующий вопрос: какое население скрывалось под общим термином «гипербореи», используемым жителями Делоса во времена Геродота? Уже сам характер этого своеобразного «этнонима» локализирует их где-то на самом дальнем, неизвестном «Севере». Об их местоположении свидетельствует, очевидно, и тот факт, что посредниками в передаче священных даров были «скифы», т.е. пастушеские сообщества, занимавшие регион «Лаврийской равнины», т.е. Венгерской низменности (в том числе *сигинны*), со скифской моделью культурного поведения, наиболее яркой визуальной особенностью которой было «ношение мидийской одежды». Считается маловероятным, чтобы под названием «гипербореи» скрывались сообщества из внешней, восточной стороны Карпатской дуги, от Валахской низменности до северной Молдовы и даже Подолии, из-за тесных связей этих территорий со средой причерноморских греческих колоний [23. Rys. 5]. Здесь, кстати, надо поместить тоже [34. S. 139–173] хорошо известных по Геродоту *агафирсов* [2. IV: 104]. В свою очередь, население гальштатского (альпийского) культурного круга, заселявшее районы к западу от Карпатского бассейна, существовало в рамках автономной сети торговых путей, ведущих в сторону *Caput Adriæ*, Северной Италии и Массалии у устья Роны [35. Add. 5; 36. Add. 11–12]. Любое посредничество «скифов» в поэтапном обмене товаров здесь вообще было ненужным. Таким образом, наиболее вероятно, что под названием «гипербореи» делосцы понимали сообщества, населявшие территории

с северной стороны Карпатской дуги, в VI–V вв. до н.э. связанные с населением культуры Векерзуг из Венгерской низменности торговыми путями, ведущими в сторону янтарных балтийских регионов [37. S. 367–369. Rys. 4]. Основанная в значительной степени на земледельческом хозяйстве экономическая стратегия населения раннего железного века в бассейне Вислы и Одры (археологическая лужицкая культура), имевшая традиции, характерные еще для общественно-культурной модели культур урновых полей эпохи поздней бронзы, как кажется, может отвечать символике вотивных даров, завернутых «в пшеничную солому», приносившихся *гипербореями* в храм на далеком Делосе.

Это обстоятельство обозначает не только присущее населению бассейна Вислы и Одры осознание факта существования культовых мест надрегионального статуса в средиземноморском мире, но также и признание общих ценностей в сфере религиозного менталитета. Средиземноморская и «варварская» части Европы составляли тогда культурное (идейное) единство, связанное как сообщающиеся сосуды структурами взаимной зависимости, прочность которых уменьшалась по мере удаления от первичных и вторичных «центров». Состояние географического и культурного сознания и масштабы взаимопроникновения обоих миров были, вероятно, гораздо большими, чем об этом можно судить, исходя только из количества, привлекательности и познавательного потенциала сохранившихся предметов «импорта» — материальных археологических следов взаимной заинтересованности этих миров.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Поводом для этих размышлений стала неожиданная находка греческих амфор на городище эпохи раннего железа возле д. Хотынец (Chotyńiec) у реки Вишня, правого притока среднего Сана в юго-восточной Польше [1. С. 233–250]. Сенсационность данного открытия объясняется прежде всего значительным расстоянием (около 700–1 000 км по прямой линии) от места их обнаружения до предполагаемого места происхождения. Оно может быть локализовано среди греческих колоний на побережье Черного моря, а возможно, — и в северо-восточной части Средиземноморского бассейна. Немаловажна для осмысления этих находок также их функция: амфоры как емкости для вина или оливкового масла, употребляемые как на морском, так и на сухопутном транспорте. Встает основной вопрос: жители городища использовали амфоры только как «емкости» (вторично) или жившие в 1 000 км от Средиземноморья местные «варвары» употребляли вино и масло? Были ли это действительно «местные» и действительно «варвары»? В конце концов, употребление вина и масла — одна из самых ярких черт средиземноморской модели жизни и культурного самосознания!

² О далеких путешествиях скифов, связанных с торговлей, вспоминает, например, Геродот [2. IV: 24]. Из сказаний «Истории» Геродота известно, что торговцы *сигинны*, обитавшие в среднем течении Дуная на Альфельде, достигали территории *лигиев* — севернее греческой колонии Массалии у устья Роны [Там же. V: 9].

³ Ссылки на «Историю» Геродота даются не постранично, а на книгу и номер фрагмента. В электронной версии классического издания 1972 г. каждая книга является отдельной web-страницей, наверху которой перечислены все номера фрагментов, и они кликабельны.

⁴ В древнегреческой религиозной традиции наблюдается мифическая и эмоциональная связь с этой таинственной территорией. Ведь Аполлон, солнечное и одновременно хтоническое божество красоты и искусства, ежегодно зимой путешествовал в родную *Гиперборею*!

⁵ Остров Делос был одним из главных центров культа Аполлона, где существовал знаменитый, известный во всем тогдашнем мире оракул. В 478–454 гг. до н.э. он был столицей Морского союза во главе с Афинами, так называемой Делосской Симмахии.

⁶ Формирование археологической культуры Векерзуг (Vekerzug) — окончательный этап «скифизации» восточной части Карпатского бассейна на протяжении второй половины (по-видимому, ближе к концу) VII в. и на рубеже VII–VI вв. до н.э. Эти процессы были (включая волну разрушительных набегов на территории Средней Европы [21. С. 57–73], результатом военной активизации западноподольской и трансильванской «скифоидных» групп населения, спровоцированной, несомненно, внешним импульсом. В этом контексте можно указать на явление «повторного» заселения лесостепного Поднепровья «кавказской» волной скифов, выходцев из Передней Азии, вытесненных оттуда в конце VII — начале VI в. до н.э. [22. С. 88–89]. В рамках этих событий произошло заселение кочевниками «скифоидного» типа культуры территорий Венгерской Низменности (Альфельда).

⁷ Этнографическая характеристика *сигиннов*, описанных Геродотом, удивительно детализирована, особенно как народность, которая проживала на окраинах мира, известного автору «Истории» (тогдашним грекам). «Впрочем, об одной только народности за Истром я могу получить сведения: эта народность — сигинны. Одеваются они в мидийскую одежду. Кони у сигиннов, как говорят, покрыты по всему телу косматой шерстью в 5 пальцев длины. [Кони эти] маленькие, низкорослые и слишком слабосильные, чтобы возить на себе человека. Запряженные же в повозку, они бегут очень резво. Поэтому люди в этой стране ездят на колесницах. Пределы земли сигиннов простираются почти до [области] энетов на Адриатическом море. Они считают себя [потомками] мидийских переселенцев. А как они попали туда из Мидии, я не могу объяснить. Впрочем, пожалуй, все может случиться за столь огромный промежуток времени. Сигиннами, впрочем, лигии, живущие к северу от Массалии, зовут мелких торговцев, а жители Кипра — копыя» [2. V: 9]. Совокупность культурных особенностей, приписываемых *сигиннам*, должна была четко отличать их от окружающих сообществ и увековечить в сознании современников. Весьма удивительно в этой характеристике то, что она близко соответствует археологическому образу культуры Векерзуг, и особенно ее группе в южной части Альфельда, чьим эталонным

памятником является могильник Сентеш-Векерзуг (Szentes-Vekerzug) [24. S. 214. Tab. 5 – die Karte]. Археология подтверждает использование здесь, особенно мужчинами, «мидийской одежды» (брюки, перетянутый поясом кафтан, островерхий головной убор), повозок как транспортного средства, запряженных низкорослыми конями, ведущими свое происхождение от тарпана [4. Рис. 10], и высокого уровня железнотделательного производства, продуктами которого были характерные наконечники копий, называемые на Кипре «сигиннами» [23. S. 185–197]. Преобладание животноводства в структуре экономической деятельности населения культуры Векерзуг [24. S. 133–134] находит подтверждение в конкретном упоминании Аполлона Родосского в *Аргонавтике* [2. IV: 316–327] о «местных пастырях», обитавших на «Лаврийской равнине» (Венгерская низменность), которые при виде судна Аргонавтов «покинули безмерные стада». Хорошо документированы и тесные контакты групп населения Венгерской низменности с районами, лежащими на окраинах юго-восточных Альп вплоть до территории, занятой в древние времена *энетами* к северу от Адриатики [25. S. 247–254. Tab. 5 – die Karte; 26. С. 521–536]. В результате этих контактов в северных районах Италии появились породы низко- и среднерослых лошадей, происходящих от тарпана [27. S. 93; 28. S. 737–752; 29. S. 214–218, 255–257], которые через территорию *энетов* попадали тоже в Грецию, где с VII в. до н.э. пользовались репутацией быстрых и победоносных рысаков [30. S. 153–157].

ЛИТЕРАТУРА

1. Чопек С., Трыбала-Зависляк К., Токарчик Т. Хотынецкая агломерация скифского культурного круга и ее значение для интерпретации культурных связей раннего железного века на пограничье Центральной и Восточной Европы // *Stratum plus*. 2020. № 3. С. 233–250.
2. Геродот. История в девяти книгах / пер. и примеч. Г.А. Стратановского. Л., 1972. 600 с. URL: <http://ancientrome.ru/antlittr/herodot/index.htm>
3. Moszyński K. Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii. Wrocław ; Kraków ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. XII, 856 s.
4. Хохоровски Я. Кавказ и Карпатский Бассейн в Раннем железном веке (проблема происхождения сигиннов) // *Археологія і Давня Історія України*. 2017. № 2 (23). С. 228–244.
5. Chochorowski J. Scytyjskie znaleziska w jaskini Býčí skála // *Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedizce w osiemdziesiąt rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów*. Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013. С. 125–148.
6. Полосьмак Н.В. „Стерегищие золото грифы” (ак-алахинские курганы). Новосибирск : Наука, 1994. 125 с.
7. Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс, 2001. 336 с.
8. Parzinger H. Die frühen Völker Eurasiens. Vom Neolithikum bis zum Mittelalter. München : Verlag C.H. Beck, 2006. 1044 S.
9. Парцингер Г. Элитный скифский курган Аржан-2 в Туве: итоги изучения // Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 302–326.
10. Parzinger H., Die Reiternomaden der Eurasischen Steppe während der Skythenzeit // *Im Zeichen des Goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen / W. Menghin (Ed.)*. München–Berlin–London–New York : Prestel Verlag, 2008. S. 30–48.
11. Кушлина И.В. Этногеография Скифии по античным источникам. Л. : Наука, 1985. 208 с.
12. Молодин В.И. Экологический «стресс» на рубеже II–I тыс. до н.э. и его влияние на этнокультурные и социально-экономические процессы у народов Западной Сибири // *Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний*. Томск : Аграф-Пресс, 2010. С. 22–24.
13. Молодин В.И. Миграционные потоки на юге Западно-Сибирской равнины в переходное от бронзы к железу время // *Археологія і Давня Історія України*. 2017. № 2 (31). С. 126–133.
14. Хохоровски Я. Экологический «стресс» в Западной Сибири и культурный «шок» в Карпатской Котловине в конце бронзового века // *Terra Scythica : материалы междунар. симпозиума (17–23 августа 2011 г., Денисова пещера, Горный Алтай)*, Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2011. С. 319–336.
15. Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М. : Наука, 1979. 248 с.
16. Мозолевский Б.М. Проблеми етнічної географії скіфії // *Археологія*. 1996. № 4. С. 51–66.
17. Мозолевский Б.М. Етнічна географія скіфії. Київ : Корвин Пресс, 2005. 101 с.
18. Гайдукевич В.Ф. О путях прохождения древнегреческих кораблей в Понте Эвксинском // *КСИА*. 1969. № 116. С. 11–19.
19. Jerem E. Zum Forschungsstand der Osthallstattkultur // *Die Osthallstattkultur. Acten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.–14. Mai 1994 / E. Jerem, A. Lippert (Ed.)*. Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 1996. S. 11–28.
20. Mihovilić K. Reichtum durch Handel in der Hallstattzeit Istriens // *Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und Früheisenzeitlichen Südosteuropa / B. Hänsel (Ed.)*. München–Berlin : Hansa-Druck Kiel, 1995. С. 283–329.
21. Хохоровски Я. Скифы и Средняя Европа – историческая интерпретация археологической действительности // *Вестник Томского государственного университета. История*. 2013. № 3 (23). С. 57–73.
22. Скорый С.А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи (проблема выделения иранского этнокультурного элемента). Киев : НАН Украины, 2003. 161 с.
23. Chochorowski J. Rola Sigynnow Herodota w środowisku kulturowym wczesnej epoki żelaza na Nizinie Węgierskiej // *Przegląd Archeologiczny*. 1987. Bd. 34. S. 161–218.
24. Chochorowski J. Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde. Warszawa–Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 163 s.
25. Chochorowski J. Die Rolle der Vekerzug-Kultur im Rahmen der skythischen Einflüsse in Mitteleuropa // *Prähistorische Zeitschrift*. 1985. № 60/2. S. 204–271.
26. Teržan B. Auswirkungen des skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannoniens und des Ostalpenraumes // *Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe / B. Hänsel, J. Machnik (Ed.)*. München–Rahden / Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 1998. S. 511–560.
27. Teržan B. Handel und soziale Oberschichten im früheisenzeitlichen Südosteuropa // *Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und Früheisenzeitlichen Südosteuropa / B. Hänsel (Ed.)*. München–Berlin : Hansa-Druck Kiel, 1995. S. 80–159.
28. Dular J. Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe. Gambari // *Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. Situla*. 2007. № 44. S. 737–752.
29. Kmetová P. Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014.
30. Harmatta J. Früheisenzeitliche Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken, Oberitalien und Griechenland // *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1968. № 20. S. 153–157.
31. Lucke W., Frey O.H. Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur situlenkunst des Osthallstattkreises. Berlin : Verlag Walter de Gruyter & Co, 1962.
32. Kemenczei T. Goldschmiedekunst der Skythenzeit // *Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum / T. Kovács, P. Raczky (Ed.)*. Budapest : Ungarisches Nationalmuseum, 1999. S. 92–99.
33. Kemenczei T. Die Eisenzeit, die präskythische Zeit, Hallstatt-Kultur (800 v. Chr. – 450 v. Chr.) // *Führer durch die archäologische Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums. 400 000 v. Chr. – 804 n. Chr. / T. Kovács (Ed.)*. Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2003. S. 67–76.
34. Chochorowski J. Zur Bestimmung des Siedlungsraumes und der Ursprungs von Agathyrser // *Acta Archaeologica Carpathica*. 1987. № 26. S. 139–173.

35. Preda F. Procesul pătrunderii mărfurilor grecești și consecințele acestuia în Dacia extracarpatică // *Apulum*. 1973. № 11. S. 37–66.
36. Parzinger H. Ergebnisse // Parzinger H., Nekvasil J., Barth F.E. Die Býčí skála Höhle. Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 1995. S. 179–232.
37. Chochorowski J. Ze studiów nad okresem halsztackim na ziemiach polskich // *Archeologia Polski*. 1978. № 23. S. 355–375.

Jan Chochorowski, Jagiellonian University (Krakow, Poland). E-mail: j.chochorowski@uj.edu.pl

SIBERIAN AND EUROPEAN HYPERBOREANS AS RELATED BY HERODOTUS – LITERARY MYTH OR ECHO OF HISTORICAL REALITY?

Keywords: Hyperboreans; Siberia; Central Europe; contact and trade routes; ethnic geography.

The information provided by Herodotus and Aristaeas of Proconnesus suggests that the “Siberian” *Hyperboreans* did not participate in the waves of the steppe (and possibly forest-steppe) migrations led to the relocation-resettlement of the “Asiatic” Scythians to the Caucasian-Pontic areas. If to take the literary vision as a historical fact, the “Siberian” *Hyperboreans* must be regarded as a settled ethnos in the forest or forest-steppe zone or they probably dwelt on its fringes.

Herodotus also mentioned legendary *Hyperboreans* (people from “beyond the North Wind”): the anonymous ethnos dwelled in the northernmost reaches of the known world, who offered, by the intermediary of the “Scythians”, their sacred gifts wrapped “in a straw of wheat” to the Apollo’s oracle of Delos. The only logical conclusion is suggestion that these “Scythians” were not Pontic (true) Scythians, but communities with a Scythoid model (including “Median costume”) of from the Hungarian Plain (known as *Sigynnae*), archaeologically represented as the Vekerzug culture. The European *Hyperboreans* were probably a settled people, agriculturalists neighbored with the “Scythians”. The route leading through the central Balkans to the Aegean Sea allowed transferring commodities and information. So, *Sigynnae* were regarded in Greece as “Scythians”. The cultural distinctness of the Central European nomadic enclave was evidenced by the images of an archer in a Median costume on a belt fitting from Molnik, and of pointed headdresses of *Sigynnae* chariots drivers in the racing scenes from the Kufern and Bologna-Arnaldi situlas. The well-evidenced by archaeological and written sources communication route, crossed the Hallstatt communities lands in the south-eastern Alpine foothills and the *Eneti/Veneti* on the Adriatic coast, and which to some extent was also controlled by the *Sigynnae*, was used to send gifts from the Hyperboreans to Delos. The most probable identification of the *Hyperboreans* contacted with the Delos oracle is the communities dwelt to the north of the Carpathian Arc the Vistula and Oder area. Archaeologically it is the Lusatian culture. The communities subsistence based primarily on cereal farming (whose traditions were still deeply rooted in the Late Bronze Age Urnfield model) seems to fit the symbolism of the sacrifice to the remote Delos sanctuary. In the 6th-5th cc. BC they were connected with the Vekerzug culture bearers by the routes leading to the Baltic Sea.

This implies not only the awareness of the existence of cult places of supra-regional status in the Mediterranean world inherent in the population of the Vistula and Oder Basins, but also the recognition of common religious values. The Mediterranean and “barbarian” parts of Europe then constituted a cultural unity with mutual dependence, which strength decreased with distance from the “centers”. The state of geographical and cultural consciousness and the scale of the interpenetration of both worlds were probably much greater than can be judged by the quantity and cognitive potential of the preserved “imported” items - material archaeological traces of the mutual interest of these worlds.

REFERENCES

1. Chopek, S., Trybala-Zavislyak, K. & Tokarchik, T. (2020) The Chotyniec Agglomeration of the Scythian Cultural Circle and its Importance for the Interpretation of Cultural Relations of the Early Iron Age on the Borderland of Central and Eastern Europe. *Stratum plus*. 3. pp. 233–250.
2. Herodotus. (1972) *Istoriya v devyati knigakh* [History in Nine Books]. Translated from Ancient Greek by G.A. Stratanovsky. Leningrad: Nauka. [Online] Available from: <http://ancientrome.ru/antlit/herodot/index.htm>
3. Moszyński, K. (1958) *Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii* [Man. Introduction to universal ethnography and ethnology]. Wrocław; Kraków; Warsaw: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
4. Chochorowski, J. (2017) Kavkaz i Karpatskiy Bassey n v Rannem zheleznom veke (problema proiskhozhdeniya siginnov) [The Caucasus and the Carpathian Basin in the Early Iron Age (the problem of the origin of the Siginnos)]. *Arkheologiya i Davnya Istoriya Ukraini*. 2(23). pp. 228–244.
5. Chochorowski, J. (2013) Scytyjskie znaleziska w jaskini Býčí skála. In: Gediga, B. et al. (eds) *Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiąt rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów*. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza. pp. 125–148.
6. Polosmak, N.V. (1994) *Steregushchiye zoloto gryfy (ak-alakhinskiye kurgany)* [Vultures guarding the gold (Ak-Alakhin kurgans)]. Novosibirsk: Nauka.
7. Polosmak, N.V. (2001) *Vsadniki Ukoka* [The Riders of Ukok]. Novosibirsk: INFOLIO-press.
8. Parzinger, H. (2006) *Die frühen Völker Eurasiens. Vom Neolithikum bis zum Mittelalter* [The early peoples of Eurasia. From the Neolithic to the Middle Ages]. Munich: C.H. Beck.
9. Parzinger, H. (2017) Elitnyy skifskiy kurgan Arzhan-2 v Tuve: itogi izucheniya [Elite Scythian mound Arzhan-2 in Tuva: the results of the study]. In: Chugunov, K.V., Parzinger, H. & Nagler, A. *Tsarskiy kurgan skifskogo vremeni Arzhan-2 v Tuve* [Royal mound of the Scythian time Arzhan-2 in Tuva]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 302–326.
10. Parzinger, H. (2008) Die Reiternomaden der Eurasischen Steppe während der Skythenzeit. In: Menghin, W. (ed.) *Im Zeichen des Goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen*. Munich; Berlin; London; New York: Prestel Verlag. pp. 30–48.
11. Kuklina, I.V. (1985) *Etnogeografiya Skifii po antichnym istochnikam* [Ethnogeography of Scythia according to ancient sources]. Leningrad: Nauka.
12. Molodin, V.I. (2010) Ekologicheskiy “stress” na rubezhe II-I tys. do n. e. i ego vliyanie na etnokul’turnye i sotsial’no-ekonomicheskie protsessy u narodov Zapadnoy Sibiri [Environmental “stress” at the turn of the II-I millennium BC and its influence on ethnocultural and socio-economic processes among the peoples of Western Siberia]. In: Chernaya, M.P. (ed.) *Kul’tura kak sistema v istoricheskoy kontekste: Opyt zapadno-sibirskikh arkheologo-etnograficheskikh soveshchaniy* [Culture as a system in a historical context: Experience of West Siberian archaeological and ethnographic meetings]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 22–24.
13. Molodin, V.I. (2017) Migratsionnyye potoki na yuge Zapadno-Sibirskoy Ravniny v perekhodnoye ot bronzy k zhelezu vremya [Migration flows in the south of the West Siberian Plain during the transition from bronze to iron time]. *Arkheologiya i Davnya Istoriya Ukraini*. 2(31). pp. 126–133.
14. Chochorowski, J. (2011) Ekologicheskiy “stress” v Zapadnoy Sibiri i kul’turnyy “shok” v Karpatskoy Kotlovine v kontse bronzovogo veka [Environmental “stress” in Western Siberia and cultural “shock” in the Carpathian Basin at the end of the Bronze Age]. *Terra Scythica*. Proc. of the International Symposium. Denisova peshchera, Gornyy Altay, August 17–23, 2011 g. Novosibirsk: SB RAS. pp. 319–336.
15. Rybakov, B.A. (1979) *Gerodotova Skifiya. Istoriko-geograficheskiy analiz* [Herodotus’ Scythia. A Historical and Geographical Analysis]. Moscow: Nauka.
16. Mozolevsky, B.M. (1996) Problemi yetnichnoy geografii skifii [Problems of Ethnical Geographers]. *Arkheologiya*. 4. pp. 51–66.
17. Mozolevsky, B.M. (2005) *Etnichna geografiya skifii*. Kyiv: Korvin Press.

18. Gaydukevich, V.F. (1969) O putyakh prokhozheniya drevnegrecheskikh korably v Ponte Evksinskom [About the ways of passage of ancient Greek ships in the Pontus of Euxine]. *Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii – KSIA (Brief Communications of the Institute of Archaeology)*. 116. pp. 11–19.
19. Jerem, E. (1996) Zum Forschungsstand der Osthallstattkultur. In: Jerem, E. & Lippert, A. (eds) *Die Osthallstattkultur. Acten des Internationalen Symposiums*. Sopron, May 10–14, 1994. Budapest. pp. 11–28.
20. Mihovilić, K. (1995) Reichtum durch Handel in der Hallstattzeit Istriens. In: Hänsel, B. (ed.) *Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und Früheisenzeitlichen Südosteuropa*. Munich; Berlin: Hansa-Druck Kiel. pp. 283–329.
21. Chochorowski, J. (2013) The Scythians and central Europe – a historical interpretation of the archaeological reality. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 3(23). pp. 57–73. (In Russian).
22. Skoryy, S.A. (2003) *Skify v Dneprovskoy Pravoberezhnoy Lesostepi (problema vydeleniya iranskogo etnokul'turnogo elementa)* [Scythians in the Dnieper Right-Bank Forest-Steppe (the problem of isolating the Iranian ethnocultural element)]. Kyiv: NAS of Ukraine.
23. Chochorowski, J. (1987) Rola Sigynów Herodota w środowisku kulturowym wczesnej epoki żelaza na Nizinie Węgierskiej. *Przegląd Archeologiczny*. 34. pp. 161–218.
24. Chochorowski, J. (1985) *Die Veckerzug-Kultur. Charakteristik der Funde*. Warsaw; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
25. Chochorowski, J. (1985) Die Rolle der Veckerzug-Kultur im Rahmen der skythischen Einflüsse in Mitteleuropa. *Praehistorische Zeitschrift*. 60/2. pp. 204–271.
26. Teržan, B. (1998) Auswirkungen des skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pannoniens und des Ostalpenraumes. In: Hänsel, B. & Machnik, J. (eds) *Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe*. Munich; Rahden: Verlag Marie Leidorf GmbH. pp. 511–560.
27. Teržan, B. (1995) Handel und soziale Oberschichten im früheisenzeitlichen Südosteuropa. In: Hänsel, B. (ed.) *Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und Früheisenzeitlichen Südosteuropa*. Munich; Berlin: Hansa-Druck Kiel. pp. 80–159.
28. Dular, J. (2007) Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe. *Gambari Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. Situla*. 44. pp. 737–752.
29. Kmetová, P. (2014) *Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
30. Harmatta, J. (1968) Früheisenzeitliche Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken, Oberitalien und Griechenland]. *Acta Archaeologica Academia Scientiarum Hungaricae*. 20. pp. 153–157.
31. Lucke, W. & Frey, O.-H. (1962) *Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur situlenkunst des Osthallstattkreises*. Berlin: Verlag Walter de Gruyter & Co.
32. Kemenczei, T. (1999) Goldschmiedekunst der Skythenzeit. In: Kovács, T. & Raczky, P. (eds) *Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum*. Budapest: Ungarisches Nationalmuseum. pp. 92–99.
33. Kemenczei, T. (2003) Die Eisenzeit, die präskythische Zeit, Hallstatt-Kultur (800 v.Chr. – 450 v. Chr.). In: Kovács, T. (ed.) *Führer durch die archäologische Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums. 400 000 v.Chr. – 804 n.Chr.* Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum. pp. 67–76.
34. Chochorowski, J. (1987) Zur Bestimmung des Siedlungsraumes und der Ursprungs von Agathyrsen. *Acta Archaeologica Carpathica*. 26. pp. 139–173.
35. Preda, F. (1973) Procesul pătrunderii mărfurilor grecești și consecințele acestuia în Dacia extracarpatică. *Apulum*. 11. pp. 37–66.
36. Parzinger, H. (1995) Ergebnisse. In: Parzinger, H., Nekvasil, J. & Barth, F.E. *Die Býčí skála Höhle*. Mainz on the Rhein: Verlag Philipp von Zabern. pp. 179–232.
37. Chochorowski, J. (1978) Ze studiów nad okresem halsztackim na ziemiach polskich. *Archeologia Polski*. 23. pp. 355–375.

УДК 327:902

DOI: 10.17223/19988613/68/11

В.А. Шнирельман

АРХЕОЛОГИЯ, КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, ВАНДАЛИЗМ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ

Статья публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН.

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Рассматривается актуальная проблема социальной роли археологии в условиях современности, когда неожиданно для себя археология оказывается в центре этнополитических или этноконфессиональных конфликтов. На материале мирового археологического наследия автор анализирует причины намеренного уничтожения памятников в ходе войн, варварских действий политических радикалов, религиозных конфликтов, манипуляций с образом прошлого. Сделан вывод, что археолог не может оставаться вне политики, при этом он должен противостоять шовинизму и расизму.

Ключевые слова: археология; культурное наследие; конфликты; войны; вандализм; этика.

Проблема исторического наследия – это дитя XIX в. с его жадным интересом к национальной истории. Историческое наследие долго воспринимали как нечто хорошо оформленное и ценное, с железной последовательностью передававшееся от предков к потомкам. Но в 1970–1980-х гг. стало приходить понимание того, что как историческое наследие, так и археологические факты являются конструктами, которые по-разному и в разные периоды выстраиваются как обществом в целом, так и его отдельными группами и тесно связаны с идентичностью и социальной практикой [1–6; 7. С. 107; 8. С. 23; 9–10].

Курс на приверженность «традиционным ценностям», выступающий интегральной частью государственной консервативной повестки дня, требует однозначного определения того, что именно понимается под историческим наследием, как, кем и для каких целей из безграничного наследия прошлого отбираются материалы, предъявляемые обществу в качестве «исторического наследия», и как именно они интерпретируются. В поликультурном и полиэтничном государстве это грозит недопониманием и конфликтами, так как региональные, конфессиональные и этнические группы нередко имеют собственный взгляд на прошлое, расходящийся с тем, которого придерживаются в федеральном центре. Причем речь идет не только о прошлом, ведь образ прошлого сплошь и рядом используется для легитимации современных политических прав или требований. Вот почему идеология этнополитических конфликтов, как правило, всемерно эксплуатирует образы прошлого и апеллирует к историческому наследию, – все это снабжает конфликт символическим языком.

Противоборствующие стороны это хорошо понимают и всеми силами стремятся развенчать представления друг друга о прошлом, что и ведет к «войнам

памяти» и бесконечным обвинениям противника в «фальсификациях» и «манипуляциях» (см., напр.: [11–12]). Такая обстановка иной раз создает смертельную опасность для культурного наследия, и ему грозит полное уничтожение. В случае военных столкновений ведется борьба с чужим историческим наследием с целью стереть с лица земли любые напоминания о враге. В контексте тяжелого конфликта переосмысление прошлого ведет к уничтожению древних памятников или археологических материалов, связанных с неприемлемым образом предков или, что чаще, с чужими предками. Фактически уничтожение исторического наследия как способ дегуманизации противника сопутствует этническим чисткам и геноциду [13–14].

Все это показали недавние войны на Балканах, в Абхазии, армяно-азербайджанская конфронтация, гибель памятников в Чечне, массовое разрушение археологических древностей во время недавних войн в Ираке, Сирии и в других регионах мира (см., напр.: [11; 12; 14; 15; 16. Р. 116–117; 17. Р. 59; 18–25]).

До сих пор специалисты уделяли мало внимания тому, что означают выводы и заключения археологов в обстановке острого этнического конфликта. Сознвая опасность таких споров и конфликтов, некоторые авторы ставят вопрос об инструментализации археологии, что рождает проблему моральной ответственности археологов, подтверждающих своими исследованиями ту или иную точку зрения и, тем самым, неумышленно раздувающих межгрупповые распри или сепаратизм. В такой ситуации стремление археологов поддержать одну из сторон ведет к идеологической борьбе между самими археологами, выступающими по разные стороны баррикад.

Все это требует от археологов тонкого понимания того, в какой мере и каким образом добываемое ими знание служит политике, лежащей далеко за рамками археоло-

гии, а также кто именно является субъектом, а кто – жертвой этой политики и во имя чего она проводится.

Во время войн и мятежей культурные ценности страдают и от банального мародерства. Так, в ходе американской войны в Ираке в апреле 2003 г. был разграблен Национальный музей в Багдаде [26]. А в январе 2011 г. во время беспорядков в Египте мародеры расхищали сокровища местных памятников и музеев, включая знаменитый Египетский музей в Каире [27–29]. Иной раз и местное население занимается нелегальной торговлей древностями, чтобы свести концы с концами, и именно обнищание стало главной причиной того, что после 2003 г. поиск и продажа древностей превратились в Ираке в «национальный промысел». Причем в ряде случаев люди верят в то, что предки это одобряют, спасая их от нищеты [30. Р. 58; 31. Р. 74–79, 88–89; 32. Р. 187; 33].

Например, сицилийцы грабят могилы своих предков, считая, что оставленные там ценности принадлежат им по праву наследия. А вот индейцы-маи свободно грабят древние гробницы, считая их «чужими», тогда как свое наследие они склонны сохранять [4. Р. 22]. Мало того, с точки зрения американских индейцев, именно антропологи и археологи занимаются расхищением их культурного наследия [34. Р. 99].

Памятники прошлого уничтожаются и по религиозным причинам. В Мексике и Перу еще в XVI–XVII вв. миссионеры сознательно разрушали археологические памятники, чтобы коренные жители забыли свое дохристианское прошлое. В Саудовской Аравии в 1930-х гг. разрушали христианские и иудейские памятники. В Египте при президенте Насере наблюдался упадок интереса к доисламскому прошлому [35], а в школах Иордании история доисламского периода и ныне не преподается [36]. В Иране после исламской революции археология как «служанка деспотии» утратила свой былой престиж, и одно время там уничтожались памятники домусульманского периода, а археологи подвергались гонениям [37; 38. Р. 57, 59–62].

В марте 2001 г. по воле властей Талибана в Афганистане были разрушены многие статуи домусульманского времени, включая уникальные гигантские статуи Будды в Бамьяне [14. Р. 122–126; 39–40; 41. Р. 161–162]. Тогда же уничтожили все изображения Будды в Национальном музее в Кабуле. Осенью 1999 г. по инициативе мусульманского духовенства были проведены ремонтные работы под мечетью аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, в результате чего уничтожен важнейший археологический слой домусульманской эпохи [14. Р. 111; 42. Р. 501]¹.

В начале февраля 2012 г. на Мальдивах после государственного переворота исламисты уничтожили статуи Будды в Национальном музее [43]. Во второй половине того же года боевики-исламисты разрушили суфийские мавзолеи в Тимбукту на севере Мали, сочтя их языческими [44–45; 46. Р. 117]. В марте 2012 г. великий муфтий Саудовской Аравии призвал к разрушению христианских церквей [47], но, к счастью, этого не произошло.

Колоссальные потери историческое наследие понесло в результате варварской деятельности ИГИЛ

(террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии в 2015–2017 гг., когда исламские боевики сравняли с землей руины древнеассирийского Нимруда [48], разрушили остатки древнего города Хатры [49], уничтожили ряд уникальных памятников Пальмиры и разграбили 12 музеев, включая музей в Мосуле. Разрушению и осквернению подверглись также христианские, шиитские, суфийские и йезидские часовни и гробницы [50–54]. В ООН и ЮНЕСКО все это определили как военные преступления. Иногда такое целенаправленное уничтожение культурного наследия называют «культурным геноцидом» [55].

Некоторые эксперты объясняли варварские действия исламских радикалов не только покушением на коллективную память местного населения, но и сознательным вызовом мировому общественному мнению и современным ценностям, для чего боевики активно использовали электронные медиаканалы [40. Р. 93–94; 55. Р. 2; 56. Р. 101–102]. Причем иной раз речь шла о постановочных сценах, призванных воспроизвести борьбу средневековых мусульман с идолами для того, чтобы шокировать западных зрителей. С такой точки зрения следовало бы говорить не об архаическом религиозном «иконоборчестве», а о «символическом насилии» путем борьбы за образы и воображение во имя восстановления справедливости и защиты общества от «гегемонизма» так называемых «крестоносцев» [57–58] (ср.: [39. Р. 651–655; 59. Р. 224]. В то же время некоторые авторы видят в этих разрушительных действиях особые ритуалы инициации, направленные на сплочение сторонников радикального ислама («общество джихада»), тем самым демонстрирующих готовность к любому насильственному поведению под властью авторитарного лидера [60].

В намеренном разрушении древностей обнаруживался и символический протест против археологии, в которой мусульманские радикалы видят верное оружие колониализма и неоколониализма [61]². Например, у палестинцев это принимает форму сопротивления претензиям израильтян на их земли [64; 65. Р. 91–94]. В ряде случаев местное население выражает этим свой гнев в отношении деспотических режимов, легитимирующих себя апелляцией к местным древностям [66. Р. 223–224].

В любом случае речь идет о символической форме борьбы за политические права или политическую гегемонию, которая ведется путем устрашения противника. И хотя, анализируя эту коллизию, Р. Бивэн сконцентрировал свое внимание на наиболее значимых архитектурных сооружениях [14. Р. 62–65], это в равной мере касается и археологических памятников. Правда, в ряде других случаев, например в Южном Ираке и Палестине, где сохраняются архаические представления, местные крестьяне борются с археологическими памятниками по другой причине, ибо верят в их связь со злыми духами [59. Р. 223].

К сожалению, призывы ЮНЕСКО мобилизовать мировую общественность на защиту культурного наследия Ирака и Сирии имели весьма слабый эффект [67–68]. Против войны, грозящей уничтожением уникального культурно-исторического наследия, выска-

зался и 6-й Всемирный археологический конгресс, состоявшийся в Дублине в июне–июле 2008 г. [69] Но археологов никто не слушал. Не помогла и Гаагская конвенция 1954 г. по защите культурных ценностей в случае военных конфликтов. А известное выступление оркестра Мариинского театра в Пальмире только спровоцировало новые разрушения, осуществленные боевиками ИГИЛ [70–71].

Уничтожением «чужого наследия» занимаются не только мусульманские фундаменталисты и радикалы. После 1974 г. в северной (турецкой) части Кипра происходила чистка греческих древностей вплоть до расхищения археологических материалов, уничтожения средневековых церквей и запрещения археологических работ [72. Р. 16]. В 1992 г. в Индии индуистские радикалы сравнивали с землей средневековую мечеть Бабри Маджид в Айодхье [73]. Во время войны в 1992–1996 гг. в Боснии и Герцеговине хорваты и боснийские сербы целенаправленно разрушали мусульманские, причем сербы – также и католические, святыни и религиозные учреждения [74–76]. В 1998–2005 гг. в Косово было разрушено 150 православных храмов и более 207 мечетей [20. Р. 262–263].

Война в Ираке в 2003 г. и последующая гибель исторических ценностей мирового значения заставила поставить вопрос об «этическом кризисе в археологии». Ведь за редким исключением археологи ограничились защитой исторических ценностей и хранили молчание по поводу легитимности вторжения американцев в Ирак и гибели массы иракцев. Известный археолог Я. Хамилакис определил это как «безответственность», выражающуюся в заботе о древностях в ущерб заботе о людях [7. Р. 107; 77]. Мало того, он отмечал сконструированный характер этих «древностей», ведь речь шла о смысловом значении археологических находок, но этот смысл придается им самими археологами на основе своих собственных представлений и принятых в науке методик, причем не последнюю роль играет и идентичность этих археологов.

Некоторые археологи поддерживали американское вторжение в Ирак, ограничившись ролью профессиональных экспертов, и это вызвало широкую дискуссию о допустимости участия археологов в войне, в частности об их сотрудничестве с военными [69; 78. Р. 205–206]. Ведь немало археологов согласилось на ту или иную форму такого сотрудничества, полагая, что тем самым они смогут уберечь памятники истории от разрушения и восстановить мир [79, 80]. Примечательно, что 6-й Всемирный археологический конгресс не осудил археологов, сотрудничавших с американской армией.

Изучение археологами останков жертв недавних войн и кровавых конфликтов иной раз грешит искажениями истины в пользу победителей [81]. Кроме того, по словам Хамилакиса, те, кто в этих условиях отказались выступать «критическими мыслителями», попали в ловушку, обнаружив живучесть «колониального мышления». Поэтому вставал вопрос о том, перед кем именно археологи должны нести ответственность. Ведь, как резонно отметил Хамилакис, если археологи держатся идеи консервации, то некоторые местные

группы предпочитают перестройки и даже разрушение того, в чем археологи видят «историческое наследие». Поэтому, по его мнению, археологам следует откликаться на реальные нужды местного населения и учитывать широкий политический контекст своих исследований, включая национализм, неоколониализм и империализм [7. Р. 107–108].

Недавняя деятельность ИГИЛ в Сирии и Ираке показала справедливость этих рассуждений. К сожалению, несмотря на всю свою своевременность, сплоченные выступления американских археологов и Всемирного археологического конгресса в 2003 и в 2008 гг. против войны, гибели местного гражданского населения и уничтожения исторического наследия не смогли предотвратить дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Зато тесная связь археологических исследований и исторического наследия с политикой, о чем я когда-то писал [12. С. 546–553; 82; 83] (также см.: [84]), находит все больше подтверждений в окружающей действительности, и это имеет прямое отношение к теме этики в археологии [78, 85].

Огромную угрозу для исторического наследия также представляют «черные копатели» [86]. Так, весной 2012 г. в Анапе грабителями был серьезно поврежден раскопанный накануне древнегреческий храм [87, 88]. Проблема грабительских раскопок является едва ли не эндемичной на Ближнем Востоке [89–90] и в других регионах мира [91–97].

В Англии под посягательством на историческое наследие понимаются: а) нанесение ущерба историческому ландшафту; б) незаконные раскопки и изъятие артефактов из исторического контекста; в) архитектурный грабеж; г) незаконная реконструкция и разрушение исторических зданий [98. Р. 243]. К таким преступлениям одно время относились использование металлодетектора для добычи древностей³, кража изделий из драгоценных металлов, кража архитектурных деталей, а также антиобщественное поведение (граффити, мусор и пр.). А кража предметов искусства и незаконная торговля древностями считаются международными преступлениями [98. Р. 244–246].

Таким образом, разрушение исторического наследия преследует следующие цели: грабеж и торговля древностями; лишение противника исторических ресурсов, которые он мог бы использовать для легитимации своих прав; отказ от неприемлемых (языческих) предков; борьба с «неверными» путем уничтожения важных для них религиозных символов; уничтожение символов неоколониализма и деспотии, с которыми иной раз связывается археология; лишение меньшинств исторического наследия во имя единства и консолидации нации. Причем в последние 20–25 лет едва ли не основным фактором уничтожения исторического наследия стали служить религиозные соображения. Главными агентами агрессии в таких случаях являются религиозные общины и движения, а не государства. И если важную роль в этом играет защита идентичности [24. Р. 53], то речь идет о религиозной идентичности, а экономические соображения оказываются второстепенными или вообще не играют никакой роли. Это вовсе не тот этнический национа-

лизм, о котором еще недавно писали многие авторы [100–101].

В таком контексте возникают важные вопросы: кому именно должны служить археологи – памятникам древности, музеям и музейным ценностям или же живым людям? С чем имеет дело археология – только с древностью или также с современностью? Как использование прошлого в виде товара (коммодификация) соотносится с уничтожением археологических памятников и объектов? [59. Р. 216–217]. Мало того, как показал шведский культурный антрополог К. Холторф, понимание наследия отличается парадоксальностью, и в ряде случаев объект превращается в наследие именно в результате его разрушения [14. Р. 191–192; 56]. Если примерами Холторфу служили разрушенные терактом здания-близнецы в Нью-Йорке и остатки Берлинской стены, то в Москве это можно видеть на примере остатков стены Китай-города или отмеченных памятными знаками мест разрушенных храмов. В память о Великой Отечественной войне в Новороссийске был сохранен металлический осто́в железнодорожного вагона, а в Волгограде – Дом Павлова. В Хиросиме память об атомном взрыве хранит «Купол Гэмбаку» – каркас разрушенного здания Промышленной палаты. В свою очередь, А. Щенле показал, что древние развалины еще в XVII–XVIII вв. служили предметом почитания и порождали романтические переживания; этим они до сих пор привлекают туристов. Причем если некоторые получают от развалин эстетическое удовольствие, то другие видят в них нечто прямо противоположное [102].

Разумеется, следует всегда помнить, что, хотя археологи имеют дело с остатками умерших культур и цивилизаций, результаты археологических исследований предназначены живым людям, у которых имеются свои особые интересы, заставляющие их по-своему относиться к археологии: высоко ее ценить или, напротив, отвергать; полностью доверять археологическим выводам или принимать лишь то, что служит интересам данного общества или группы, и отвергать то, что идет вразрез с ними. В последние десятилетия западные сторонники постпроцессуальной археологии рассматривают такие коллизии в контексте борьбы за идентичность и склоняются к поддержке коренного населения, для которого легитимация права на историческое наследие звучит справедливым протестом против дискриминации. Поэтому предлагается поддерживать дискриминируемое меньшинство против гегемонии большинства [8; 103; 104; 105. Р. 23]. С этим вряд ли можно спорить, но это не снимает все вопросы, и некоторые археологи критикуют такой подход за презентизм и «политизацию» археологии, чреватую серьезными конфликтами [106].

Вместе с тем, заботясь об «идентичности» и понимая ее в примордиалистском духе (или в соответствии с «теорией этноса» в отечественной традиции), архео-

логи десятилетиями выстраивали этногенетические схемы, неумышленно обслуживая современную этнонационалистическую политику, апеллирующую к историческому праву. Однако углубление современных представлений об этничности в далекое прошлое не имеет твердых оснований [107–108]. Ведь до европейской колонизации у населения Азии, Африки и Америки не было никаких представлений о «расе» или «этнотипе», понятия о которых были принесены сюда европейцами. Именно эти привнесенные извне конструкции стали идеологической основой «расовых» и «этнических» конфликтов, что хорошо видно, например, в случае с геноцидом в Руанде.

Следовательно, занимаясь реконструкцией древних процессов, археолог обязан учитывать окружающую политическую обстановку и хорошо понимать, кто и каким образом может использовать плоды его трудов [109]. За последние 30 лет некоторые археологи уже начали осознавать свой сомнительный вклад в создание примордиальных идентичностей [12, 78, 104, 110–111], и сегодня Холторф предупреждает об опасностях культурализма, делающего упор на неразрывную и непреодолимую связь индивидов с какой-либо конкретной закрытой культурой [112]. По его словам, такой культурализм противопоставляет культурную принадлежность правам человека и приводит не к консолидации поликультурного общества, а к его расколу [Ibid. Р. 5–6]. Мало того, сегодня уже очевидно, что такой культурализм не только ограничивает свободу индивида, но и создает почву для современного расизма [113].

Чтобы противостоять этой нездоровой тенденции, нужен такой подход к историко-культурному наследию, который требовал бы как уважения к местному наследию, так и активного участия общественности в его сохранении независимо от того, какой именно группе это наследие принадлежало в прошлом. Причем это не должно препятствовать учету былых процессов гибридизации и креолизации. Следует отчетливо понимать, что культура – это открытая система, что во все эпохи происходили процессы взаимодействия и смешения культур, наследниками чего и являются современные культуры с их гетерогенным историческим багажом [112. Р. 10]. Именно такого подхода всегда придерживались лучшие представители отечественной науки. Однако сложный и неоднозначный современный политический контекст требует от ученого особой чуткости, чтобы искусно лавировать между Сциллой этнонационализма и Харибдой империализма, шовинизма и расизма. Ведь, как с сожалением отмечают некоторые западные ученые, расизм не чужд современной археологии [114].

Следовательно, как показывает современная практика, археолог не может оставаться вне политики. Она непременно затягивает его, начиная от выбора тематики и кончая сделанными им выводами [77. Р. 201].

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В то же время и израильтяне неоднократно разрушали объекты исламского наследия. См.: [14].

² Об аналогичном протесте американских индейцев см.: [62. Р. 24; 63. Р. 60].

³ По новому закону, принятому в 1996 г., использование металлодетектора в Англии и Уэльсе было разрешено. См.: [99. Р. 61].

ЛИТЕРАТУРА

1. Wright P. On Living in an Old Country. The National Past in Contemporary Britain. London : Verso, 1985. 256 p.
2. Hewison R. The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. London : Methuen Publishing Ltd., 1987. 160 p.
3. Fowler P. The Past in Contemporary Society: Then, Now. London : Routledge, 1992. 210 p.
4. Lowenthal D. The heritage crusade and the spoils of history. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 356 p.
5. Brown M.F. Who owns native culture? Cambridge : Harvard University Press, 2003. 336 p.
6. Smith L. Uses of heritage. London : Routledge, 2006. 368 p.
7. Hamilakis Y. Iraq, stewardship and 'the record': an ethical crisis for archaeology // Public archaeology. 2003. Vol. 3, № 2. P. 104–111.
8. Hamilakis Y. From ethics to politics // Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics. Walnut Creek, CA : Left Coast Press, 2007. P. 15–40.
9. Green L. Archaeologies of Intellectual Heritage? // Ethics and archaeological praxis. New York : Springer, 2015. P. 229–243.
10. Haber A. Archaeology after archaeology // After Ethics: Ancestral Voices and Post-Disciplinary Worlds in Archaeology. New York : Springer New York, 2015. P. 127–137.
11. Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М. : Академкнига, 2003. 245 с.
12. Шнирельман В.А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М. : НЛЮ, 2006. 696 с.
13. Gamboni D. The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution. London : Reaktion Books, 1997. 416 p.
14. Bevan R. The Destruction of Memory. Architecture at War. London : Reaktion Books, 2006. 240 p.
15. Chapman J. Destruction of a common heritage: the archaeology of war in Croatia, Bosnia and Hercegovina // Antiquity. 1994. Vol. 68, № 258. P. 120–126.
16. Kaiser T. Archaeology and ideology in southeast Europe // Nationalism, politics and the practice of archaeology. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. P. 99–119.
17. Silberman N.A. Between past and present. Archaeology, ideology, and nationalism in the modern Middle East. New York : Anchor Books, 1989. 285 p.
18. Garen M. The War within the War // Archaeology. 2004. July / August. P. 28–31.
19. Šulc B. The protection of Croatia's cultural heritage during war 1991–95 // Destruction and conservation of cultural property. London, New York : Routledge, 2005. P. 157–167.
20. Defreese M. Kosovo: Cultural Heritage in Conflict // Journal of conflict archaeology. 2009. Vol. 5, № 1. P. 257–269.
21. Stone P.G., Farchakh Bajaly J. Introduction // The Destruction of Cultural Heritage in Iraq. Woodbridge : The Boydell Press, 2008. P. 1–17.
22. Antiquities under Siege. Cultural Heritage Protection after the War in Iraq / L. Rothfield (ed.). Lanham, MD : Altamira Press, 2008. 340 p.
23. Cobb E. Cultural Heritage in Conflict: World Heritage Cities of the Middle East : (Masters Thesis). Philadelphia : University of Pennsylvania, 2010.
24. Auwera S. van der. Contemporary Conflict, Nationalism, and the Destruction of Cultural Property during Armed Conflict: a Theoretical Framework // Journal of conflict archaeology. 2012. Vol. 7, № 1. P. 49–65.
25. Фаустова М. Россия поможет восстановить утраченные святыни Косово // Голос России. 2012. 16 марта. URL: http://rus.ru/rv/r/2012_03_16/68672459
26. Catastrophe! The Looting and Destruction of Iraq's Past. Oriental Institute Museum Publications / G. Emberling, K. Hanson (eds.). Chicago : The Oriental Institute Museum of the University of Chicago, 2008. 87 p.
27. Журенков К., Епифанова М. Похищение веков // Огонек. 2011. 21 фев., № 7. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/1580743>
28. Египет: мародерство продолжается // Регнум. 2011. 2 марта. URL: <http://www.regnum.ru/news/1379839.html>
29. Опубликован итоговый список потерь в Каирском музее // Регнум. 2011. 16 марта. URL: <http://www.regnum.ru/news/1384090.html>
30. Layton R., Wallace G. Is culture a commodity? // The ethics of archaeology: philosophical perspectives on archaeological practice. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2006. P. 46–68.
31. Hollowell J. Moral arguments on subsistence digging // The ethics of archaeology: philosophical perspectives on archaeological practice. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. P. 69–93.
32. Rush L.W. Partnership Versus Guns: Military Advocacy of Peaceful Approaches for Cultural Property Protection // Ethics and the Archaeology of Violence. New York : Springer, 2015. P. 181–198.
33. Hardy S. Virtues Impracticable and Extremely Difficult: the Human Rights of Subsistence Diggers // Ethics and the Archaeology of Violence. New York : Springer, 2015. P. 229–239.
34. Bendremer J.C., Richman K.A. Human subjects review and archaeology: a view from Indian country // The ethics of archaeology: philosophical perspectives on archaeological practice. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. P. 97–114.
35. Hassan F. Memorabilia: archaeological materiality and national identity in Egypt // Archaeology under fire: nationalism, politics and heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East. London : Routledge, 1998. P. 200–216.
36. Badran A. The Excluded Past in Jordanian Formal Primary Education: The Introduction of Archaeology // New Perspectives in Global Public Archaeology. New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2011. P. 197–215.
37. Abdi K. Nationalism, politics, and development of archaeology in Iran // American journal of archaeology. 2001. Vol. 105, № 1. P. 51–76.
38. Dezhankhooy M., Yazdi L.P., Garazhian O. All Our Findings Are Under Their Boots! The Monologue of Violence in Iranian Archaeology // Ethics and the Archaeology of Violence. New York : Springer, 2015. P. 51–70.
39. Flood F.B. Between cult and culture: Bamiyan, Islamic iconoclasm, and the museum // The Art Bulletin. 2002. Vol. 84, № 4. P. 641–659.
40. Colwell-Chanthaphonh C. Dismembering / disremembering the Buddhas? Renderings on the Internet during the Afghan purge of the past // Journal of Social Archaeology. 2003. Vol. 3, № 1. P. 75–98.
41. Huyssen A. Present pasts: urban palimpsests and the politics of memory. Stanford : Stanford University Press, 2003. P. 161–162.
42. Silberman N.A. If I forget thee, O Jerusalem: archaeology, religious commemoration and nationalism in a disputed city, 1801–2001 // Nations and Nationalism. 2001. Vol. 7, № 4. P. 487–504.
43. Исламисты на Мальдивах уничтожили в местном музее коллекцию из 30 статуй Будды // newsru. 2012. 17 фев. URL: <http://www.newsru.com/religy/17feb2012/maldives.html>
44. Исламисты разрушили до основания памятник ЮНЕСКО // РБК. 2012. 30 июня. URL: <http://top.rbc.ru/society/30/06/2012/657690.shtml>
45. Соловьева Н. В Мали исламисты разрушили несколько святынь – захоронений // ИнтерНовости. 2012. 23 дек. URL: <http://www.internovosti.ru/text/?id=65502>
46. Colwell Ch., Joy Ch. Communities and Ethics in the Heritage Debates // Global Heritage: a Reader. John Wiley & Sons, Inc. Published, 2015. P. 112–130.
47. Фаустова М., Петрова А. Аравийская толерантность // Голос России. 2012. 20 марта. URL: http://rus.ru/rv/r/2012_03_20/68985207
48. Миклашевская А. ИГИЛ сровнял с землей историю Ассирии // Коммерсант-Online. 2015. 6 марта. URL: <https://news.mail.ru/incident/21296437/?frommail=1>
49. «Исламское государство» опубликовало видео уничтожения древнего города Хатра // Новая газета. 2015. 4 апр.
50. Забродина Е. Кто спасет Пальмиру? // Российская газета. 2015. 21 мая.
51. Рождественская Я. Боевики «Исламского государства» начали разрушать Пальмиру // Коммерсант. 2015. 25 июня.
52. Боевики ИГ разбили кувалдами шесть статуй в Пальмире // Лента.ру. 2015. 3 июля. URL: <https://news.mail.ru/incident/22547069>
53. Филипенко А. Боевики ИГ разрушили часть римского амфитеатра в Пальмире // РБК. 2017. 20 янв. URL: <http://www.rbc.ru/society/20/01/2017/5881ca5e9a79472a1664c588?from=newsfeed>

54. Luke Ch., Meskell L. Archaeology, assistance, and aggression along the Euphrates: reflections from Raqqa // *International Journal of Cultural Policy*. 2019. 2 April. URL: <https://doi.org/10.1080/10286632.2019.1598398>
55. Doppelhofer Ch. Will Palmyra rise again? – War Crimes against Cultural Heritage and Post-war reconstruction, 2016. P. 1–12. URL: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/IntentionalDestruction.aspx>.
56. Holtorf C. Can less be more? Heritage in the age of terrorism // *Public archaeology*. 2006. Vol. 5. P. 101–109.
57. Harmansah Ö. ISIS, heritage, and the spectacles of destruction in the global media // *Near Eastern Archaeology*. 2015. Vol. 78, № 3. P. 170–177.
58. Smith C., Burke H., de Leuen C., Jackson G. The Islamic State's symbolic war: Da'esh's socially mediated terrorism as a threat to cultural heritage // *Journal of Social Archaeology*. 2015. Vol. 16, № 2. P. 164–188.
59. Pollock S. Archaeology and contemporary warfare // *Annual Review of Anthropology*. 2016. Vol. 45. P. 215–231.
60. Shahab S., Isakhan B. The ritualization of heritage destruction under the Islamic State // *Journal of Social Archaeology*. 2018. № 2. P. 212–233.
61. De Cesari C. Post-colonial ruins: Archaeologies of political violence and IS // *Anthropology Today*. 2015. Vol. 31, № 6. P. 22–26.
62. Smith L. Archaeological theory and the politics of culture heritage. New York : Routledge, 2004. 272 p.
63. Nicholas G., Hollowel J. Ethical Challenges to a Postcolonial Archaeology: the Legacy of Scientific Colonialism // *Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics*. Walnut Creek : Left Coast Press, 2007. P. 59–82.
64. Yahya A. The Archaeological Sites of the West Bank and Gaza. Al Bireh : Abu Ghosh Press, 1998.
65. Kersel M.M. Transcending borders: objects on the move // *Archaeologies : Journal of the World Archaeological Congress*. 2007. Vol. 3, № 2. P. 91–94.
66. Al-Hamdani A.M. Protecting and recording our archaeological heritage in southern Iraq // *Near Eastern Archaeology*. 2008. Vol. 71, № 4. P. 223–224.
67. Lababidi R., Qassar H. Did They Really Forget How to Do It? Iraq, Syria, and the International Response to Protect a Shared Heritage // *Journal of Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Studies*. 2016. Vol. 4, № 4. P. 341–362.
68. Leckie L., Cunliffe E., Varoutsikos B. Towards a protection of the Syrian cultural heritage: a summary of the national and international responses. Girona : Heritage for Peace, 2017. Vol. IV. 111 p.
69. Albarella U. Archaeologists in Conflict: Empathizing with Which Victims? // *Heritage Management*. 2009. Vol. 2, is. 1. P. 105–114.
70. Schoenbaum D. The violins of Palmyra: Soft power projection, then and now // *Foreign affairs*. 2016. 26 May.
71. Plets G. Violins and trowels for Palmyra: Post-conflict heritage politics // *Anthropology Today*. 2017. Vol. 33, № 4. P. 18–22.
72. Кнап А.В., Антиопаду С. Archaeology, politics and the cultural heritage of Cyprus // *Archaeology under fire*. London : Routledge, 1998. P. 13–43.
73. Шнирельман В.А. Религия, национализм и межконфессиональный конфликт в Индии // *Этничность и религия в современных конфликтах*. М. : Наука, 2012. С. 57–109.
74. Tanner M. Croatia: a Nation Forged in War. New Haven : Yale University Press, 1997. P. 285–294.
75. Barakat S., Wilson C., Simic V.S., Kojakovic M. Challenges and Dilemmas Facing the Reconstruction of War-Damaged Cultural Heritage: the Case Study of Pocitelj, Bosnia-Herzegovina // *The Destruction and Conservation of Cultural Property*. London : Routledge, 2001. P. 168–181.
76. Riedlmayer A.J. Destruction of Cultural Heritage in Bosnia-Herzegovina, 1992–1996: a Post-War Survey of Selected Municipalities. Cambridge, MA, 2002. URL: <http://hague.bard.edu/reports/BosHeritageReport-AR.pdf>
77. Hamilakis Y. The 'war on terror' and the military-archaeology complex: Iraq, ethics, and neocolonialism // *Archaeology : Journal of the World Archaeological Congress*. 2009. Vol. 5, № 1. P. 39–65.
78. Perring D., van der Linde S. The Politics and Practice of Archaeology in Conflict // *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 2009. Vol. 11, № 3–4. P. 197–213.
79. Stone P. Archaeology and Conflict: An Impossible Relationship? // *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 2009. Vol. 11, № 3–4. P. 315–332.
80. Rush L.W. Partnership Versus Guns: Military Advocacy of Peaceful Approaches for Cultural Property Protection // *Ethics and the Archaeology of Violence*. New York : Springer, 2015. P. 181–197.
81. Congram D. Cognitive Dissonance and the Military-Archaeology Complex // *Ethics and the Archaeology of Violence*. New York : Springer, 2015. P. 198–213.
82. Shnirelman V. Politics of ethnogenesis in the USSR and after // *Bulletin of the National Museum of Ethnology*. 2005. Vol. 30, № 1. P. 93–119.
83. Шнирельман В.А. Президенты и археология, или что ищут политики в древности // *Ab Imperio*. 2009. № 1. С. 279–323.
84. Shanks M., Tilley C. Re-constructing archaeology. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 312 p.
85. Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics / Y. Hamilakis, P. Duke (eds.). Walnut Creek, CA : Left Coast Press, 2007. 298 p.
86. Макаров Н.А. Грабительские раскопки как фактор уничтожения археологического наследия России. М. : Ин-т археологии РАН, 2004. 43 с.
87. В Анапе вандалы разрушили алтарь древнейшего храма // *Kuban.aif.ru*. 2012. 9 апр. URL: <http://www.kuban.aif.ru/culture/news/52064>
88. Соловьев С. Охотники за черепками. Россия остается Меккой для «черных археологов» // *Новые Известия*. 2006. 4 авг.
89. Kersel M.M., Luke Ch. Editorial Introduction // *Journal of Field Archaeology*. 2010. Vol. 35, № 1. P. 99–100.
90. Jacobson D. Vandalism and worse at Herodian sites // *Palestine Exploration Quarterly*. 2014. Vol. 146, № 3. P. 173–176.
91. Plundering Africa's Past / P.R. Schmidt, R.J. McIntosh (eds.). Bloomington : Indiana University Press, 1996. 302 p.
92. Renfrew C. Loot, Legitimacy and Ownership: the Ethical Crisis in Archaeology. London : Duckworth, 2000. 160 p.
93. Trade in Illicit Antiquities: the Destruction of the World's Archaeological Heritage / N. Brodie, D. Jennifer, C. Renfrew (eds.). Cambridge : McDonald Institute for Archaeological Research, 2001. 172 p.
94. Atwood R. Stealing History: Tomb Raiders, Smugglers, and the Looting of the Ancient World. New York : St. Martin's Press, 2004. 368 p.
95. Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade / N. Brodie, M.M. Kersel, Ch. Luke, K. Walkter Tubb (eds.). Gainesville : University Press of Florida, 2006. 364 p.
96. All the King's horses. Essays on the impact of looting and the illicit antiquities trade on our knowledge of the past / P. Lazrus, A. Barker (eds.). Washington : SAA, 2012. 170 p.
97. Folorunso C.A. Research Notes on the Plundering of Tangible Heritage Resources in Nigeria // *Anthropology and Ethnology Open Access Journal*. 2020. Vol. 3, is. 1. P. 1–4.
98. Grove L. Heritocide? Defining and exploring heritage crimes // *Public archaeology*. 2013. Vol. 12, № 4. P. 242–254.
99. Layton R., Wallace G. Is culture a commodity? // *The ethics of archaeology: philosophical perspectives on archaeological practice*. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. P. 46–68.
100. Gurr T.R., Harff B. Ethnic conflict in world politics. Boulder : Westview, 1994. 250 p.
101. Horowitz D.L. The deadly ethnic riot. Berkeley : University of California Press, 2001. 605 p.
102. Schönlé A. Ruins and History: Observations on Russian Approaches to Destruction and Decay // *Slavic Review*. 2006. Vol. 65, № 4. P. 649–669.
103. Handler R. Is "identity" a useful cross-cultural concept? // *Commemorations. The politics of national identity*. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1994. P. 27–40.
104. Rowlands M. The politics of identity in archaeology // *Social construction of the past: representation as power*. London : Routledge, 1994. P. 129–143.
105. Hodder I. Is a Shared Past Possible? The Ethics and Practice of Archaeology in the Twenty-First Century // *New Perspectives in Global Public Archaeology*. New York : Springer Science + Business Media, LLC, 2011. P. 19–28.
106. Fagan G.G., Feder K.L. Crusading against straw men: an alternative view of alternative archaeologies: response to Holtorf (2005) // *World Archaeology*. 2006. Vol. 38, № 4. P. 718–729.

107. Шнирельман В.А. Этничность в археологии – реальность или фантом? // Этничность в археологии или археология этничности? : материалы круглого стола. Челябинск : ЦИКР Рифей, 2013. С. 48–79.
108. Тишков В.А. От этноса к этничности // Этнографическое обозрение. 2016. № 5. С. 5–22.
109. Giblin J.D. A reconsideration of Rwandan archaeological ceramics and their political significance in a post-genocide era // African archaeological review. 2013. Vol. 30. P. 504–529.
110. Nationalism, politics and practice of archaeology / P. Kohl, C. Fawcett (eds.). Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 344 p.
111. Shnirelman V.A. Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia. Washington ; Baltimore ; London : Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 1996. 112 p.
112. Holtorf C. What's wrong with cultural diversity in world archaeology? // Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural. 2017. Vol. 16. P. 1–14.
113. Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: Идеология и практика нового расизма. М. : НЛГ, 2011. Т. 1. 552 с.; Т. 2. 856 с.
114. Hutchings R. "Hard Times Bring Hard Questions". Is Archaeology Pro-Development? Is it Classist? Colonialist? Imperialist? Racist? Vancouver, 2013. P. 12–14. URL: <http://ubc.academia.edu/RichardHutchings/>

Victor A. Shnirelman, Institute of Ethnology and Anthropology RAS (Moscow, Russian Federation). E-mail: shnirv@mail.ru

ARCHAEOLOGY, CULTURE HERITAGE, VANDALISM AND ARMED CONFLICTS

Keywords: archaeology; culture heritage; conflicts; wars; vandalism; ethics.

The article focuses on the fate of the culture heritage under modern armed conflicts and on the challenges it brings about to archaeologists. The author surveys a vast literature on the destruction of archaeological sites and looting of the museum's collections in the course of contemporary wars as well as attacks on the archaeologists and a respond from them.

A study of the modern international, inter-ethnic and religious conflicts demonstrates that an important aspect of their ideology is a reference to history, which provides a conflict with a symbolic language. In search of a legitimacy of their actions and demands the both hostile groups refer to culture heritage, which, as a result, is actively involved in the armed struggle. Thus, culture heritage is insecure and faces a mortal danger, because people believe that its destruction undermines enemy's morale and challenges the world public opinion as well as modern values.

A destruction of culture heritage pursues the following objectives: firstly, looting and trade with antiquities; secondly, an enemies' deprivation of historical resources, which could be mobilized to legitimate their demands; thirdly, a denial of the inappropriate (pagan) ancestors; fourthly, a struggle against infidels by annihilation of their important religious symbols; fifthly, a destruction of the neo-colonial and despotic symbols that are sometimes associated with archaeology; and sixthly, a deprivation of the minorities' historical heritage for the sake of national unity and consolidation. Over the last twenty to twenty five years an encroachment on the other's culture heritage is often brought about by religious factors, and a religious renaissance is accompanied with a destructive activity of religious radicals and fundamentalists. They are mostly Moslems, but one can find vandals among Christians, Hindus and some others as well.

Under this environment archaeology sometimes suffers from the attacks as it is accused of a service for hated regime or imperialism and neo-colonialism. Thus, quite unexpectedly, archaeologists find themselves at the center of a political struggle, and have to make a choice between various political lines. All this requires archaeologists to have a fine understanding of how and to what extent their scholarly materials and activity serve politics, which is far from their professional field, as well as who is a subject and who is a victim of this politics, and what are its goals.

In addition, archaeologists have to overcome the former essentialism, which makes up a basis of their ethnogenetic constructions, which are extensively used and abused by the modern ethno-nationalist politics with its passion for references to historical rights. One has to consider that in the modern world archaeology plays an important social role, and the data on the deep past can be used to serve certain ethnic politics. That is why, an interpretation of this sort of materials and their offer to general public demands for a sense of delicacy and a good knowledge of the modern ethno-political environment.

REFERENCES

1. Wright, P. (1985) *On Living in an Old Country. The National Past in Contemporary Britain*. London: Verso.
2. Hewison, R. (1987) *The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline*. London: Methuen Publishing Ltd.
3. Fowler, P. (1992) *The Past in Contemporary Society: Then, Now*. London: Routledge.
4. Lowenthal, D. (1998) *The Heritage Crusade and the Spoils of History*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Brown, M.F. (2003) *Who owns native culture?* Cambridge: Harvard University Press.
6. Smith, L. (2006) *Uses of heritage*. London: Routledge.
7. Hamilakis, Y. (2003) Iraq, stewardship and 'the record': an ethical crisis for archaeology. *Public Archaeology*. 3(2). pp. 104–111. DOI: 10.1179/pua.2003.3.2.104
8. Hamilakis, Y. (2007) From ethics to politics. In: Hamilakis, Y. & Duke, Ph. (eds) *Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. pp. 15–40.
9. Green, L. (2015) Archaeologies of Intellectual Heritage? In: Gnecco, C. & Lippert, D. (eds) *Ethics and archaeological praxis*. New York: Springer. pp. 229–243.
10. Haber, A. (2015) Archaeology after archaeology. In: Haber, A. & Shepherd, N. (eds) *After Ethics: Ancestral Voices and Post-Disciplinary Worlds in Archaeology*. New York: Springer New York. pp. 127–137.
11. Shnirelman, V.A. (2003) *Voiny pamyati: mify, identichnost' i politika v Zakavkaz'e* [Wars of Memory: Myths, Identity, and Politics in Transcaucasia]. Moscow: Akademkniga.
12. Shnirelman, V.A. (2006) *Byt' alanami. Intellektualy i politika na Severnom Kavkaze v XX veke* [To Be the Alans. Intellectuals and Politics in the North Caucasus in the 20th century]. Moscow: NLO.
13. Gamboni, D. (1997) *The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution*. London: Reaktion Books.
14. Bevan, R. (2006) *The Destruction of Memory. Architecture at War*. London: Reaktion Books.
15. Chapman, J. (1994) Destruction of a common heritage: the archaeology of war in Croatia, Bosnia and Hercegovina. *Antiquity*. 68(258). pp. 120–126. DOI: 10.1017/S0003598X00046251
16. Kaiser, T. (1995) Archaeology and ideology in southeast Europe. In: Kohl, P.L. & Fawcett, C. (eds) *Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 99–119.
17. Silberman, N.A. (1989) *Between Past and Present. Archaeology, Ideology, and Nationalism in the Modern Middle East*. New York: Anchor Books.

18. Garen, M. (2004) The War within the War. *Archaeology*. July/August. pp. 28–31.
19. Šulc, B. (2005) The protection of Croatia's cultural heritage during war 1991–95. In: Layton, R., Stone, P.G. & Thomas, J. (eds) *Destruction and Conservation of Cultural Property*. London, New York: Routledge. pp. 157–167.
20. Defreese, M. (2009) Kosovo: Cultural Heritage in Conflict. *Journal of Conflict Archaeology*. 5(1). pp. 257–269. DOI: 10.1163/157407709X12634580640614
21. Stone, P.G. & Farchakh Bajjalay, J. (eds) (2008) *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq*. Woodbridge: The Boydell Press. pp. 1–17.
22. Rothfield, L. (ed.) (2008) *Antiquities under Siege. Cultural Heritage Protection after the War in Iraq*. Lanham, MD : Altamira Press.
23. Cobb, E. (2010) *Cultural Heritage in Conflict: World Heritage Cities of the Middle East*. (Masters Thesis). Philadelphia: University of Pennsylvania.
24. Auwera, S. van der (2012) Contemporary Conflict, Nationalism, and the Destruction of Cultural Property during Armed Conflict: A Theoretical Framework. *Journal of Conflict Archaeology*. 7(1). pp. 49–65. DOI: 10.1179/157407812X13245464933821
25. Faustova, M. (2012) Rossiya pomozhet vosstanovit' utrachennyye svyatyini Kosovo [Russia will help restore the lost shrines of Kosovo]. *Golos Rossii*. 16th March. [Online] Available from: http://rus.ru/rv/2012_03_16/68672459
26. Emberling, G. & Hanson, K. (eds) (2008) *Catastrophe! The Looting and Destruction of Iraq's Past*. Chicago: The Oriental Institute Museum of the University of Chicago.
27. Zhurenkov, K. & Epifanova, M. (2011) Pokhishchenie vekov [The abduction of centuries]. *Ogonek*. 21st February. [Online] Available from: <http://www.kommersant.ru/doc/1580743>
28. *Regnum*. (2011a) Egipet: maroderstvo prodolzhaetsya [Egypt: looting continues] 2nd March. [Online] Available from: <http://www.regnum.ru/news/1379839.html>
29. *Regnum*. (2011b) Opublikovan itogovyy spisok poter' v Kairskom muzee [The final list of losses in the Cairo Museum has been published]. 16th March. [Online] Available from: <http://www.regnum.ru/news/1384090.html>
30. Layton, R. & Wallace, G. (2006) Is culture a commodity? In: Scarre, Ch. & Scarre, G. (eds) *The Ethics of Archaeology: Philosophical Perspectives on Archaeological Practice*. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 46–68.
31. Hollowell, J. (2006) Moral arguments on subsistence digging. In: Scarre, Ch. & Scarre, G. (eds) *The Ethics of Archaeology: Philosophical Perspectives on Archaeological Practice*. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 69–93.
32. Rush, L.W. (2015) Partnership versus Guns: Military Advocacy of Peaceful Approaches for Cultural Property Protection. In: González-Ruibal, A. & Moshenska, G. (eds) *Ethics and the Archaeology of Violence*. New York: Springer. pp. 181–198.
33. Hardy, S. (2015) Virtues Impracticable and Extremely Difficult: The Human Rights of Subsistence Diggers. In: González-Ruibal, A. & Moshenska, G. (eds) *Ethics and the Archaeology of Violence*. New York: Springer. pp. 229–239.
34. Bendremer, J.C. & Richman, K.A. (2006) Human subjects review and archaeology: a view from Indian country. In: Scarre, Ch. & Scarre, G. (eds) *The Ethics of Archaeology: Philosophical Perspectives on Archaeological Practice*. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 97–114.
35. Hassan, F. (1998) Memorabilia: archaeological materiality and national identity in Egypt. In: Meskell, L. (ed.) *Archaeology under fire: nationalism, politics and heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East*. London: Routledge. pp. 200–216.
36. Badran, A. (2011) The Excluded Past in Jordanian Formal Primary Education: The Introduction of Archaeology. In: Okamura, K. & Matsuda, A. (eds) *New Perspectives in Global Public Archaeology*. New York: Springer Science+Business Media, LLC. pp. 197–215.
37. Abdi, K. (2001) Nationalism, politics, and development of archaeology in Iran. *American Journal of Archaeology*. 105(1). pp. 51–76. DOI: 10.4000/abstractairanica.4044
38. Dezhankhooy, M., Yazdi, L.P. & Garazhian, O. (2015) All Our Findings Are Under Their Boots! The Monologue of Violence in Iranian Archaeology. In: González-Ruibal, A. & Moshenska, G. (eds) *Ethics and the Archaeology of Violence*. New York: Springer. pp. 51–70.
39. Flood, F.B. (2002) Between cult and culture: Bamiyan, Islamic iconoclasm, and the museum. *The Art Bulletin*. 84(4). pp. 641–659. DOI: 10.2307/3177288
40. Colwell-Chanthaphonh, C. (2003) Dismembering/disremembering the Buddhas? Renderings on the Internet during the Afghan purge of the past. *Journal of Social Archaeology*. 3(1). pp. 75–98. DOI: 10.1177/1469605303003001100
41. Huyssen, A. (2003) *Present pasts: urban palimpsests and the politics of memory*. Stanford: Stanford University Press. pp. 161–162.
42. Silberman, N.A. (2001) If I forget thee, O Jerusalem: archaeology, religious commemoration and nationalism in a disputed city, 1801–2001. *Nations and Nationalism*. 7(4). pp. 487–504. DOI: 10.1111/1469-8219.00029
43. Newsru. (2012) *Islamisty na Mal'divakh unichtozhili v mestnom muzee kolleksiuyu iz 30 statuy Buddy* [Islamists in the Maldives destroyed a collection of 30 Buddha statues in a local Museum]. 17th February. [Online] Available from: <http://www.newsru.com/religy/17feb2012/maldives.html>
44. RBK. (2012) *Islamisty razrushili do osnovaniya pamyatnik YuNESKO* [Islamists destroyed the UNESCO monument to the ground]. 30th July. [Online] Available from: <http://top.rbc.ru/society/30/06/2012/657690.shtml>
45. Solovieva, N.V. (2012) *V Mali islamisty razrushili neskol'ko svyatyin' – zakhroneniy* [In Mali, Islamists have destroyed a number of shrines – graves]. [Online] Available from: <http://www.internovosti.ru/text/?id=65502>
46. Colwell, Ch. & Joy, Ch. (2015) Communities and Ethics in the Heritage Debates. *Global Heritage: A Reader*. 1. pp. 112–130.
47. Faustova, M. & Petrova, A. (2012) *Araviyskaya tolerantnost'* [Arabian tolerance]. *Golos Rossii*. 20th March. [Online] Available from: http://rus.ru/rv/2012_03_20/68985207/
48. Miklashevskaya, A. (2015) *IGIL srovnal s zemley istoriyu Assirii* [ISIS has leveled the history of Assyria]. *Kommersant-Online*. 6th March. [Online] Available from: <https://news.mail.ru/incident/21296437/?frommail=1>
49. *Novaya gazeta*. (2015) "Islamskoe gosudarstvo" opublikovalo video unichtozheniya drevnego goroda Hatra [ISIS published a video of ancient Hatra destruction]. 4th April.
50. Zaborodina, E. (2015) *Kto spaset Pal'miru?* [Who will save Palmyra?]. *Rossiyskaya gazeta*. 21st May.
51. *Rozhdestvenskaya, Ya.* (2015) *Boeviki "Islamskogo gosudarstva" nachali razrushat' Pal'miru* [The militants of the "Islamic state" began to destroy Palmyra]. *Kommersant*. 25th June.
52. *Lenta.ru*. (2015) *Boeviki IG razbili kuvaldami shest' statuy v Pal'mire* [ISIS militants smashed six statues with sledgehammers in Palmyra]. 3rd July. [Online] Available from: <https://news.mail.ru/incident/22547069>
53. *Filipenok, A.* (2017) *Boeviki IG razrushili chast' rimskogo amfiteatra v Pal'mire* [ISIS militants destroyed part of the Roman amphitheater in Palmyra]. *RBK*. 20th January. [Online] Available from: <http://www.rbc.ru/society/20/01/2017/5881ca5e9a79472a1664c588?from=newsfeed>
54. Luke, Ch. & Meskell, L. (2019) Archaeology, assistance, and aggression along the Euphrates: reflections from Raqqa. *International Journal of Cultural Policy*. 2nd April. [Online] Available from: <https://doi.org/10.1080/10286632.2019.1598398>
55. Doppelhofer, Ch. (2016) *Will Palmyra rise again? – War Crimes against Cultural Heritage and Post-war reconstruction*. [Online] Available from: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/IntentionalDestruction.aspx>
56. Holtorf, C. (2006) Can less be more? Heritage in the age of terrorism. *Public Archaeology*. 5. pp. 101–109. DOI: 10.1179/pua.2006.5.2.101
57. Harmansah, Ö. (2015) ISIS, heritage, and the spectacles of destruction in the global media. *Near Eastern Archaeology*. 78(3). pp. 170–177. DOI: 10.5615/neaearch.78.3.0170
58. Smith, C., Burke, H., de Leuien, C. & Jackson, G. (2015) The Islamic State's symbolic war: Da'esh's socially mediated terrorism as a threat to cultural heritage. *Journal of Social Archaeology*. 16(2). pp. 164–188. DOI: 10.1177/1469605315617048
59. Pollock, S. (2016) Archaeology and contemporary warfare. *Annual Review of Anthropology*. 45. pp. 215–231. DOI: 10.1146/annurev-anthro-102215-095913

60. Shahab, S. & Isakhan, B. (2018) The ritualization of heritage destruction under the Islamic State. *Journal of Social Archaeology*. 2. pp. 212–233. DOI: 10.1080/09546553.2017.1398741
61. De Cesari, C. (2015) Post-colonial ruins: Archaeologies of political violence and IS. *Anthropology Today*. 31(6). pp. 22–26. DOI: 10.1111/1467-8322.12214
62. Smith, L. (2004) *Archaeological Theory and the Politics of Culture Heritage*. New York: Routledge.
63. Nicholas, G. & Hollowel, J. (2007) Ethical Challenges to a Postcolonial Archaeology: the Legacy of Scientific Colonialism. In: Hamilakis, Y. & Duke, P. (eds) *Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics*. Walnut Creek: Left Coast Press. pp. 59–82.
64. Yahya, A. (1998) *The Archaeological Sites of the West Bank and Gaza*. Al Bireh: Abu Ghosh Press.
65. Kersel, M.M. (2007) Transcending borders: objects on the move. *Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress*. 3(2). pp. 91–94. DOI: 10.1007/s11759-007-9013-0
66. Al-Hamdani, A.M. (2008) Protecting and recording our archaeological heritage in southern Iraq. *Near Eastern Archaeology*. 71(4). pp. 223–224. DOI: 10.1086/NEA20697192
67. Lababidi, R. & Qassar, H. (2016) Did They Really Forget How to Do It? Iraq, Syria, and the International Response to Protect a Shared Heritage. *Journal of Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Studies*. 4(4). pp. 341–362. DOI: 10.5325/jeasmedarcherstu.4.4.0341
68. Leckie, L., Cunliffe, E. & Varoutsikos, B. (2017) *Towards a protection of the Syrian cultural heritage: a summary of the national and international responses*. Vol. IV. Girona: Heritage for Peace.
69. Albarella, U. (2009) Archaeologists in Conflict: Empathizing with Which Victims? *Heritage Management*. 2(1). pp. 105–114. DOI: 10.1179/hso.2009.2.1.105
70. Schoenbaum, D. (2016) The violins of Palmyra: Soft power projection, then and now. *Foreign Affairs*. 26th May.
71. Plets, G. (2017) Violins and trowels for Palmyra: Post-conflict heritage politics. *Anthropology Today*. 33(4). pp. 18–22. DOI: 10.1111/1467-8322.12362
72. Knap, A.B. & Antoniadou, S. (1998) Archaeology, politics and the cultural heritage of Cyprus. In: Meskell, L. (ed.) *Archaeology Under Fire: Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East*. London: Routledge. pp. 13–43.
73. Shnirelman, V.A. (2012) Religiya, natsionalizm i mezkhkonnatsional'nyy konflikt v Indii [Religion, Nationalism and Interfaith Conflict in India]. In: Tishkov, V.A. & Shnirelman, V.A. (eds) *Etnichnost' i religiya v sovremennykh konfliktakh* [Ethnicity and Religion in Contemporary Conflicts]. Moscow: Nauka. pp. 57–109.
74. Tanner, M. (1997) *Croatia: A Nation Forged in War*. New Haven: Yale University Press. pp. 285–294.
75. Barakat, S., Wilson, C., Simic, V. S. & Kojakovic, M. (2001) Challenges and Dilemmas Facing the Reconstruction of War-Damaged Cultural Heritage: The Case Study of Pocitelj, Bosnia-Herzegovina. In: Layton, R., Stone, P. & Thomas, J. (eds) *The Destruction and Conservation of Cultural Property*. London: Routledge. pp. 168–181.
76. Riedlmayer, A.J. (2002) *Destruction of Cultural Heritage in Bosnia-Herzegovina, 1992–1996: A Post-War Survey of Selected Municipalities*. Cambridge, Massachusetts. [Online] Available from: <http://hague.bard.edu/reports/BosHeritageReport-AR.pdf>
77. Hamilakis, Y. (2009) The 'war on terror' and the military-archaeology complex: Iraq, ethics, and neocolonialism. *Archaeology: Journal of the World Archaeological Congress*. 5(1). pp. 39–65. DOI: 10.1007/s11759-008-9076-6
78. Perring, D. & van der Linde, S. (2009) The Politics and Practice of Archaeology in Conflict. *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 11(3–4). pp. 197–213. DOI: 10.1179/175355210X12747818485321
79. Stone, P. (2009) Archaeology and Conflict: An Impossible Relationship? *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 11(3–4). pp. 315–332. DOI: 10.1179/175355210X12747818485565
80. Rush, L.W. (2015) Partnership Versus Guns: Military Advocacy of Peaceful Approaches for Cultural Property Protection. In: González-Ruibal, A. & Moshenska, G. (eds) *Ethics and the Archaeology of Violence*. New York: Springer. pp. 181–197.
81. Congram, D. (2015) Cognitive Dissonance and the Military-Archaeology Complex. In: González-Ruibal, A. & Moshenska, G. (eds) *Ethics and the Archaeology of Violence*. New York: Springer. pp. 198–213.
82. Shnirelman, V. (2005) Politics of ethnogenesis in the USSR and after. *Bulletin of the National Museum of Ethnology*. 30(1). pp. 93–119. DOI: 10.15021/00003990
83. Shnirelman, V.A. (2009) Prezidenty i arheologiya, ili chto ishchut politiki v drevnosti [Presidents and archeology, or what politicians are looking for in antiquity]. *Ab Imperio*. 1. pp. 279–323.
84. Shanks, M. & Tilley, C. (1987) *Re-constructing archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
85. Hamilakis, Y. & Duke, P. (eds) *Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
86. Makarov, N.A. (2004) *Grabitel'skie raskopki kak faktor unichtozheniya arheologicheskogo naslediya Rossii* [Predatory excavations as a factor in the destruction of Russia's archaeological heritage]. Moscow: RAS.
87. *Kuban.aif.ru*. (2012) V Anape vandaly razrushili altar' drevneyshogo khrama [In Anapa, vandals destroyed the altar of the oldest temple]. 9th April. [Online] Available from: <http://www.kuban.aif.ru/culture/news/52064>
88. Soloviev, S. (2006) Okhotniki za cherepkami. Rossiya ostaetsya Mekkoj dlya "chernykh arheologov" [Shards hunters. Russia remains a Mecca for "black archaeologists"]. *Novye Izvestiya*. 4th August.
89. Kersel, M.M. & Luke, Ch. (2010) Editorial Introduction. *Journal of Field Archaeology*. 35(1). pp. 99–100.
90. Jacobson, D. (2014) Vandalism and worse at Herodian sites. *Palestine Exploration Quarterly*. 146(3). pp. 173–176. DOI: 10.1179/0031032814Z.000000000103
91. Schmidt, P.R. & McIntosh, R.J. (eds) *Plundering Africa's Past*. Bloomington: Indiana University Press.
92. Renfrew, C. (2000) *Loot, Legitimacy and Ownership: The Ethical Crisis in Archaeology*. London: Duckworth.
93. Brodie, N., Jennifer, D. & Renfrew, C. (eds) *Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World's Archaeological Heritage*. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research.
94. Atwood, R. (2004) *Stealing History: Tomb Raiders, Smugglers, and the Looting of the Ancient World*. New York: St. Martin's Press.
95. Brodie, N., Kersel, M.M., Luke, Ch. & Walker Tubb, K. (eds) *Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*. Gainesville: University Press of Florida.
96. Lazrus, P. & Barker, A. (eds) *All the King's horses. Essays on the impact of looting and the illicit antiquities trade on our knowledge of the past*. Washington: SAA.
97. Folorunso, C.A. (2020) Research Notes on the Plundering of Tangible Heritage Resources in Nigeria. *Anthropology and Ethnology Open Access Journal*. 3(1). pp. 1–4. DOI: 10.23880/aeoaj-16000131
98. Grove, L. (2013) Heritocide? Defining and exploring heritage crimes. *Public Archaeology*. 12(4). pp. 242–254. DOI: 10.1179/1465518714Z.00000000046
99. Layton, R. & Wallace, G. (2006) Is culture a commodity? In: Scarre, Ch. & Scarre, G. (eds) *The ethics of archaeology: philosophical perspectives on archaeological practice*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 46–68.
100. Gurr, T.R. & Harff, B. (1994) *Ethnic Conflict in World Politics*. Boulder: Westview.
101. Horowitz, D.L. (2001) *The Deadly Ethnic Riot*. Berkeley: University of California Press.
102. Schönle, A. (2006) Ruins and History: Observations on Russian Approaches to Destruction and Decay. *Slavic Review*. 65(4). pp. 649–669. DOI: 10.2307/4148448

103. Handler, R. (1994) Is "identity" a useful cross-cultural concept? In: Gillis, J.R. (ed.) *Commemorations. The politics of national identity*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. pp. 27–40.
104. Rowlands, M. (1994) The politics of identity in archaeology. In: Bond, G.C. & Gilliam, A. (eds) *Social construction of the past: representation as power*. London: Routledge. pp. 129–143.
105. Hodder, I. (2011) Is a Shared Past Possible? The Ethics and Practice of Archaeology in the Twenty-First Century. In: Okamura, K. & Matsuda, A. (eds) *New Perspectives in Global Public Archaeology*. New York: Springer Science + Business Media, LLC. pp. 19–28.
106. Fagan, G.G. & Feder, K.L. (2006) Crusading against straw men: an alternative view of alternative archaeologies: response to Holtorf (2005). *World Archaeology*. 3(4). pp. 718–729.
107. Shnirelman, V.A. (2013) Etnichnost' v arkheologii – real'nost' ili fantom? [Ethnicity in archeology – reality or phantom?]. In: Mosin, V.S. & Yablonsky, L.T. (eds) *Etnichnost' v arkheologii ili arkheologiya etnichnosti?* [Ethnicity in archeology or archeology of ethnicity?]. Round table materials Chelyabinsk: TsIKR Rifei. pp. 48–79.
108. Tishkov, V.A. (2016) From ethnos to ethnicity. *Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic Review*. 5. pp. 5–22. (In Russian).
109. Giblin, J.D. (2013) A reconsideration of Rwandan archaeological ceramics and their political significance in a post-genocide era. *African Archaeological Review*. 30. pp. 504–529. DOI: 10.1007/s10437-013-9144-1
110. Kohl, P. & Fawcett, C. (eds) *Nationalism, politics and practice of archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
111. Shnirelman, V.A. (1996) *Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia*. Washington; Baltimore; London: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press.
112. Holtorf, C. (2017) What's wrong with cultural diversity in world archaeology? *Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural*. 16. pp. 1–14. DOI: 10.1080/13527258.2017.1347890
113. Shnirelman, V.A. (2011) "Porog tolerantnosti": *Ideologiya i praktika novogo rasizma* ["Threshold of Tolerance": Ideology and Practice of New Racism]. Moscow: NLO.
114. Hutchings, R. (2013) "Hard Times Bring Hard Questions". *Is Archaeology Pro-Development? Is it Classist? Colonialist? Imperialist? Racist?* [Online] Available from: <http://ubc.academia.edu/RichardHutchings>

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГРАФИИ

УДК 398.5 + 930.85
DOI: 10.17223/19988613/68/12

Ю.Е. Березкин

СИБИРСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ЕГО СОСЕДИ

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 18-18-00361.

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

С использованием факторного анализа выявлены комплексы мотивов в фольклоре и мифологии Сибири. Древнейший содержит американские параллели и относится к концу плейстоцена. Из более поздних один мотив связывает Сибирь с Восточной и Юго-Восточной Азией и отличен от традиций Кавказа и Европы. Второй объединяет Сибирь с Восточной Европой и отличен от южных традиций (от Атлантики до Юго-Восточной Азии). Два самых поздних набора мотивов Евразии соответствуют один христианским, а противоположный – исламским и степным традициям.

Ключевые слова: фольклор и мифология; точные методы в гуманитарных науках; доистория Сибири.

Совокупность фольклорных мотивов в пределах региона напоминает совокупность галлогрупп в генофонде его населения. В обоих случаях современные данные позволяют проследить историю формирования выявленной картины. Разница в том, что гены наследуются, а мифы и сказки заимствуются не только от предков, но и от соседей.

Мы будем говорить о статистических тенденциях распределения материала. За каждой из них – десятки тысяч текстов. Не имея возможности рассмотреть отдельные мотивы, число которых приближается к трем тысячам, мы направляем читателя к электронному каталогу, в котором приведены резюме текстов (<http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin>). Актуальные карты распространения мотивов и их определения доступны по адресу: <http://mapsofmyths.com>. Сайт имеет логин (customer) и пароль (aether), но для специалистов они не тайна.

Определимся с терминами. «Мотив» есть эпизод или образ, выделенный в двух или более традициях. «Традиция» есть совокупность текстов, зафиксированных в пределах определенной этно-языковой общности или территории.

Мотивы бывают простыми или сложными, единственный критерий правильности их выделения – характер ареала. Историческую информацию несут лишь мотивы, которые встречаются на одних территориях, но отсутствуют на других. Распределение мотивов по традициям есть способ привязать материал к географическим координатам. Это легче сделать, постулируя соответствие между традициями и языками. Но если язык занимает большую территорию, то традицию необходимо дробить, поскольку наборы мотивов в

удаленных друг от друга районах не бывают вполне одинаковыми.

Фольклор и мифология, точнее, форма и содержание повествований и представлений, – автономная сфера культуры, мало зависящая от сферы жизнеобеспечения. Это доказывается отсутствием заметной корреляции между ареалами распространения фольклорно-мифологических мотивов и природными, хозяйственными или социальными факторами. Зато корреляция прослеживается с направлениями миграций и культурных взаимодействий, известных по данным других исторических дисциплин. Поскольку передача устной традиции не требует значимых затрат, время жизни мотивов не ограничено. Соответственно, в конфигурации ареалов распространения мотивов мифологии и фольклора может сохраняться информация о разных периодах.

Мотивы распределены по двум категориям. Категория А в основном представлена мотивами, выделенными из мифологической прозы или полученными путем опроса информантов. Мотивам категории Б соответствуют (с оговорками и частично) повествовательные эпизоды из фольклорных указателей по системе АТУ [1]. Первые можно именовать мифологическими в узком смысле, а вторые – сказочными. Это деление существенно для Старого Света, но не для Америки, где отличного от мифологической прозы сказочного фольклора не было.

Сказанное не значит, что все эпизоды евразийской сказки появились недавно. Некоторые могли возникнуть и распространиться задолго до того, как оказались использованы в сказочных сюжетах. Об этом свидетельствует наличие ряда подобных мотивов как в Азии, так и в Америке.

Данные проанализированы с помощью факторного анализа. Он подходит для материала, в котором новые общности формируются не только филогенетически, но и путем обмена элементами между неродственными группами (подробнее см.: [2]). Использована стандартная программа IBM SPSS Statistics Version 19. Параллели между традициями образуют сеть разнонаправленных связей. Факторный анализ позволяет выделить основные тенденции – главные компоненты (ГК). Значимы несколько первых, остальное – информационный шум. Если традиции сильно различаются числом мотивов, программа воспринимает плохо изученные как объективно отличные от богатых, противопоставляя одни другим. Подобная оппозиция для нас не важна, и если ее отражает 1ГК, то наиболее значимой оказывается 2ГК.

Каждой ГК соответствуют две совокупности традиций, по составу мотивов наименее похожих. Программа наделяет их индексами со знаком «+» либо «-». Чем ярче отражена тенденция, тем абсолютная величина индекса выше. О тенденциях распределения мотивов надо судить по богатым традициям с высокими индексами. «Плюсом» оценивается та группа традиций, в которой свойственный ей набор мотивов представлен лучше, чем в противоположной группе. Каждая группа с индексами одного знака соответствует общности, обмен информацией внутри которой шел интенсивней, чем с другими общностями. О каких именно общностях и эпохах идет речь, по материалам самих фольклора и мифологии судить невозможно. Для этого полученные результаты надо сравнивать

с данными письменной истории, археологии, генетики и лингвистики.

Внутри категорий мотивов можно выделить более узкие группы. Среди составляющих категорию А (космология и этиология) группа 2 включает мотивы, отражающие представления об объектах ночного неба, а группа 5 – представления об антропогенезе, человеческой анатомии, отношениях полов и т.п. Мотивы с сексуальной тематикой в бытовых сказках и анекдотах сюда не относятся.

Хотя обе темы (звездное небо и человек) универсальны, мотивы двух названных групп дают разное ареальное распределение. Мотивы группы 5 типичны для индо-тихоокеанского мира (рис. 1), а мотивы группы 2 – для Северной Евразии (рис. 2). Большинство соответствующих североамериканских мотивов находит параллели в Сибири, где они, вероятно, и сформировались [3]. Самая богатая звездная мифология зафиксирована в Европе, но поскольку большинство европейских космонимов отражает реалии железного века и Средневековья [4. С. 180–210], область формирования звездной мифологии вряд ли находилась далеко на западе – скорее, она охватывала всю Северную Евразию. В Южной Азии мотивы, отражающие представления об объектах ночного неба, в основном представлены у индо-арийских народов, а наиболее обильно – в древнеиндийской традиции, так что связь с миграцией индоариев крайне вероятна. И напротив: мотивы, отражающие представления об анатомии и об отношениях полов, популярны у мунда, тибето-бирманцев и небольших дравидских народов Средней Индии.

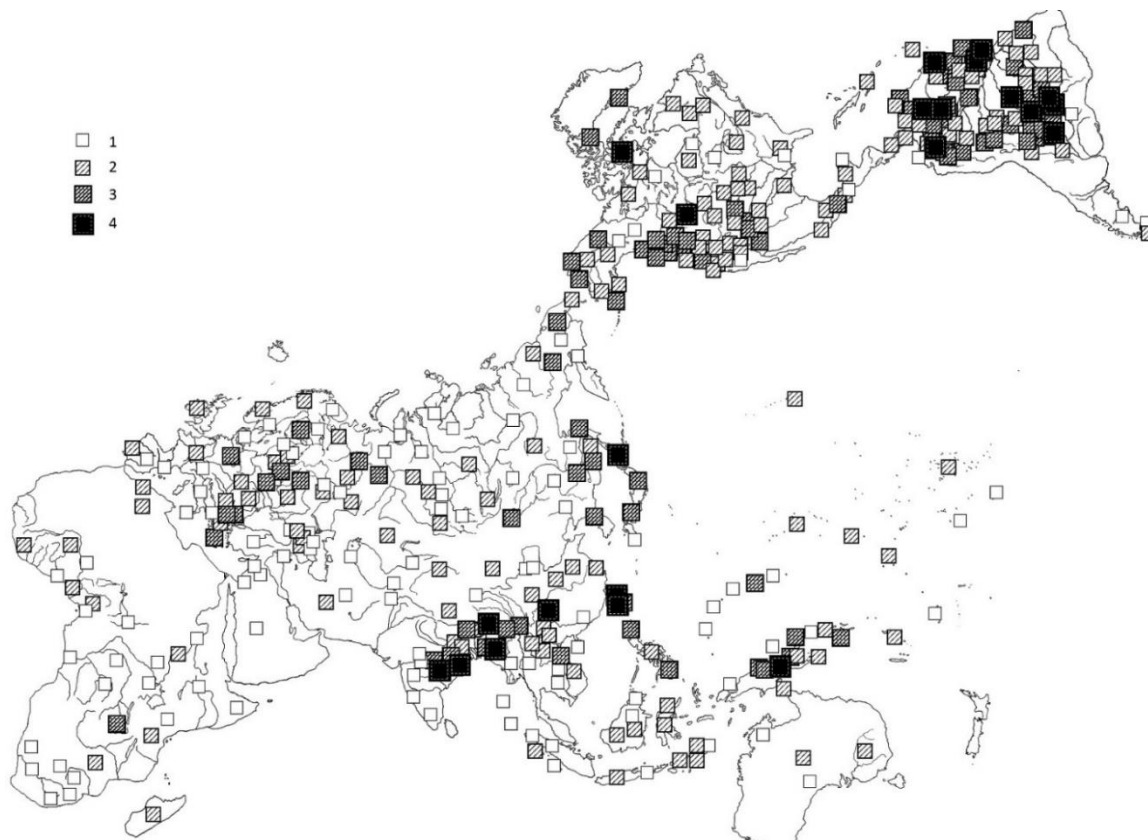


Рис. 1. Число мотивов, отражающих представления об антропо- и социогенезе, отношениях полов, человеческой анатомии: 1 – 3–6; 2 – 7–11; 3 – 12–17; 4 – 18–30. Традиции с числом мотивов < 3 не показаны

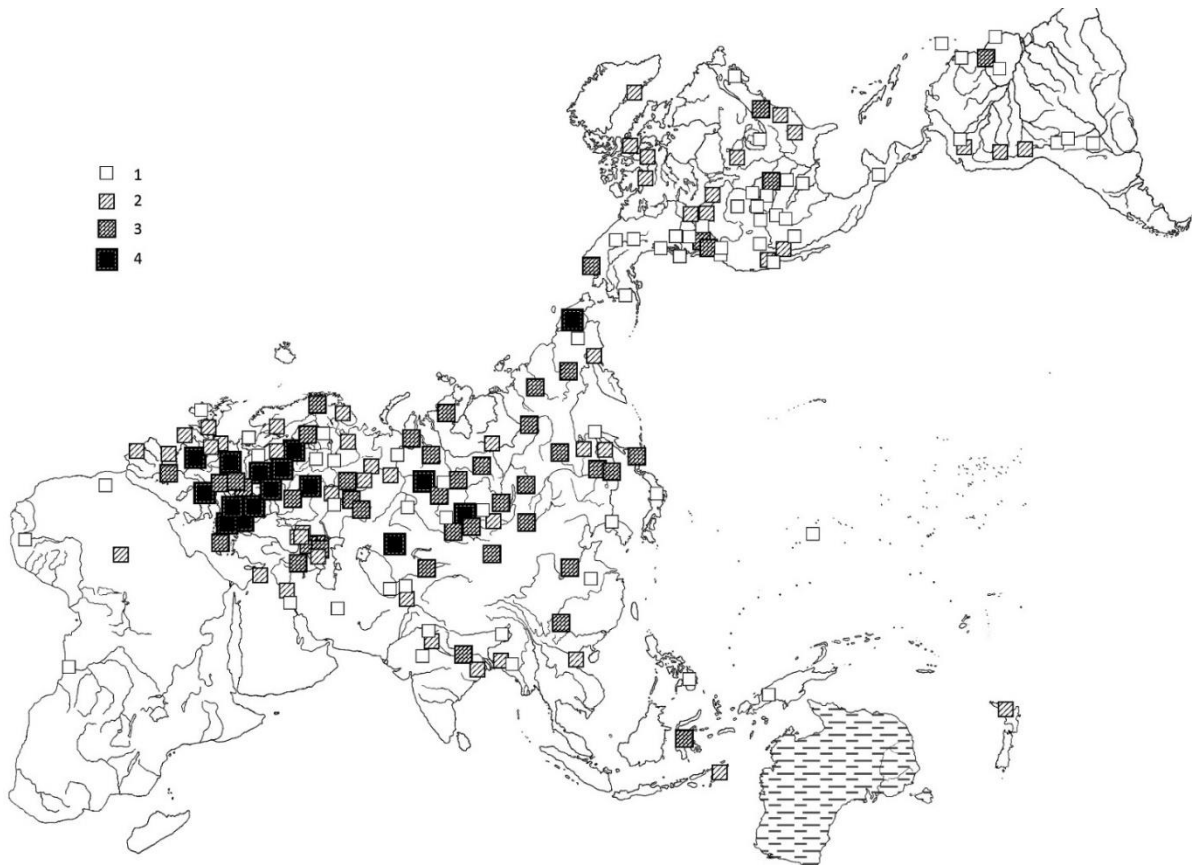


Рис. 2. Число мотивов, отражающих представления об объектах ночного неба: 1 – 10–12; 2 – 13–16; 3 – 17–24; 4 – 25–47. Традиции с числом мотивов < 10 не показаны. В Австралии большинство астральных мотивов не имеет аналогий за пределами континента и не классифицировано

В Африке южнее Сахары мотивы обеих групп (2 и 5) встречаются редко, но много тех, которые связаны с темой появления смерти. Можно полагать, что «смертные» мотивы были знакомы уже ранним сапиенсам эпохи выхода из Африки и затем были принесены на другие континенты [5]. Представления о звездном небе и антропогонические мифы распространились позже – одни в континентальной Евразии, а другие в индо-тихоокеанском мире. Поскольку эти регионы долго оставались весьма изолированными друг от друга и заселялись разными группами сапиенсов, развитие мифологии в них шло разными путями.

Существуют параллели между наборами мотивов в Южной и Центральной Америке, с одной стороны, и Меланезии – с другой. В основном речь идет именно о мотивах группы 5 (антропогенез и отношения полов). Чтобы оказаться в Америке, они должны были быть известны по всей циркумтихоокеанской дуге. След данного комплекса на Дальнем Востоке заметен вплоть до Амура и Сахалина, а затем он вновь появляется на северо-востоке Азии и на Аляске (см. рис. 1). Самый ранний фольклорно-мифологический слой, который можно выделить в континентальной Евразии, включает параллели между Сибирью и Северной Америкой. Актуальная оценка начала заселения Америки – 16,600–15,100 кал. л.н., сразу после завершения ледникового максимума [6, 7]. Параллелей с Южной Америкой в континентальной Евразии мало. Сибирские мотивы характерны либо для северо-запада и се-

вера североамериканского континента, либо для его более южных областей, располагавшихся за границей Лаврентийского ледника. Логично предположить, что первые относятся к голоцену, когда американская Арктика стала пригодной для обитания, а вторые – ко времени, когда ледник еще не растаял, и, соответственно, к финальному плейстоцену.

Статистика это заключение подтверждает. При обработке мотивов, известных как в Евразии, так и в Америке, 1ГК показывает наличие в Новом Свете двух комплексов: индо-тихоокеанского и континентально-евразийского (рис. 3). Первый прослеживается вплоть до Арктики, но второй не пересекает мексиканской границы. Вторая ГК в пределах той же совокупности мотивов показывает наличие североамериканских параллелей в Сибири вплоть до Урала (рис. 4). В Новом Свете речь идет о традициях, зафиксированных не только к югу от области распространения Лаврентийского ледника, но также в Арктике и Субарктике. Данный набор мотивов должен быть более поздним, чем тот, который фиксирует 1ГК.

Обратимся к сравнению традиций в пределах только Старого Света. На рис. 5 отражены результаты обработки мотивов категории А (собственно мифологических). Мы видим два комплекса, восточный и западный. В пределах восточной Сибири оказывается важнейшим центром разнообразия. Западный комплекс – европейско-кавказский, но в ослабленном виде он тянется на восток до Синьцзяна.

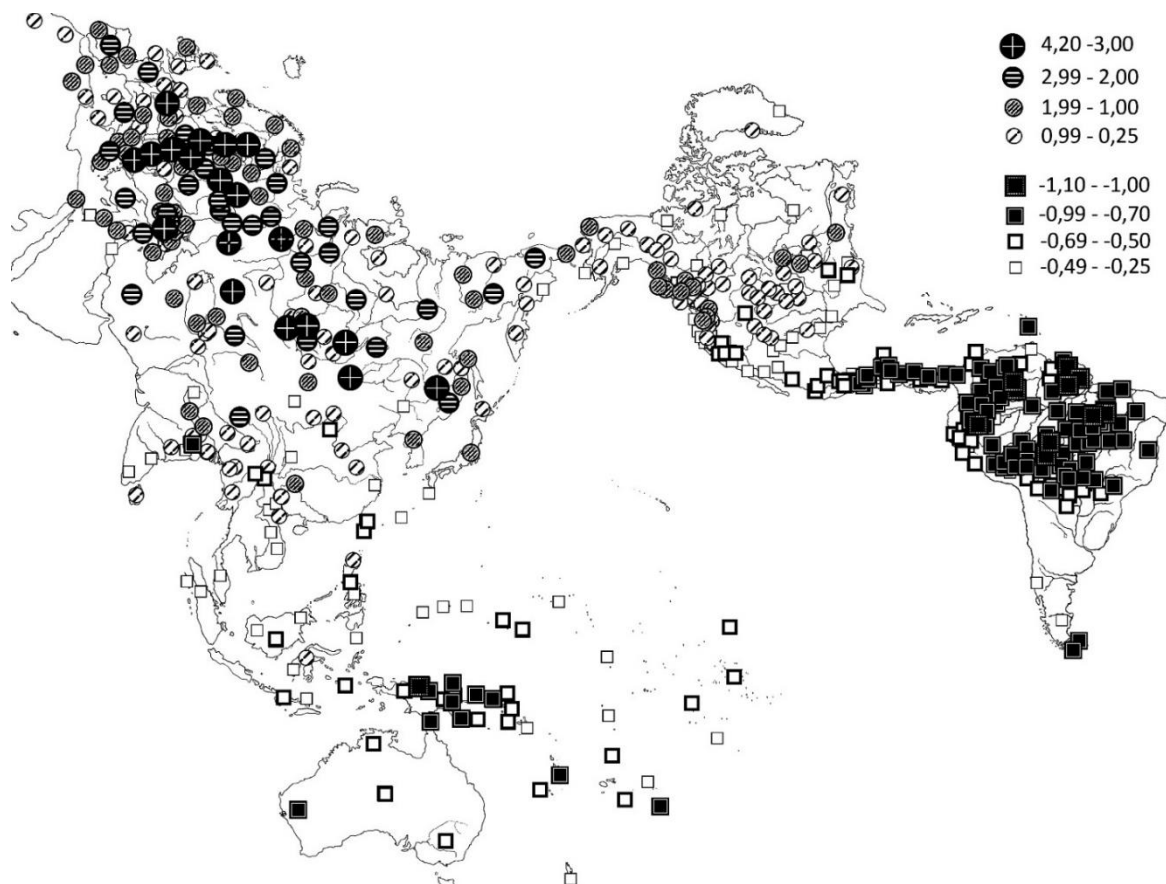


Рис. 3. Результаты обработки распределения 878 мотивов всех категорий, известных как в Новом, так и в Старом Свете (без Африки южнее Сахары), 1ГК. Дисперсия 3,9%. Традиции с числом мотивов < 21 и с индексами от 0,24 до -0,24 не показаны

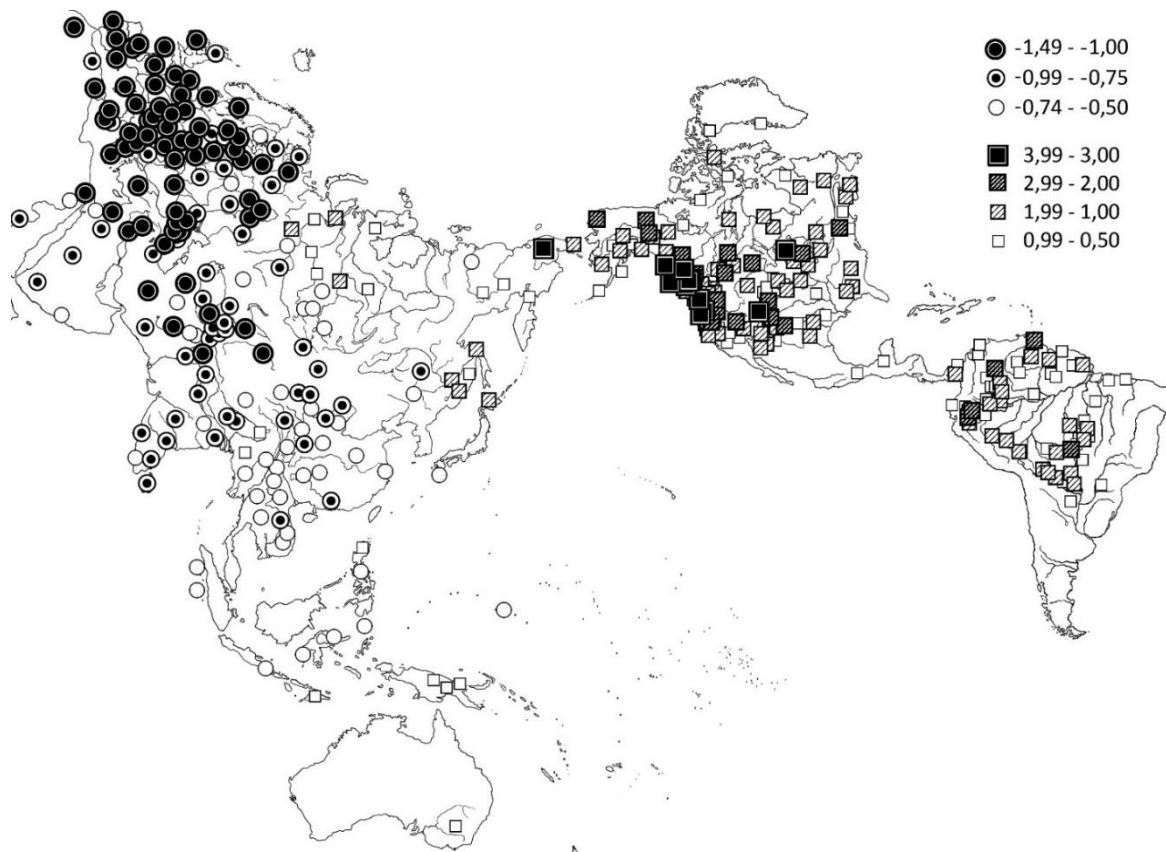


Рис. 4. Результаты обработки тех же данных, что и на рис. 3, 2ГК. Дисперсия 3,4%. Традиции с числом мотивов < 21 и с индексами от 0,49 до -0,49 не показаны

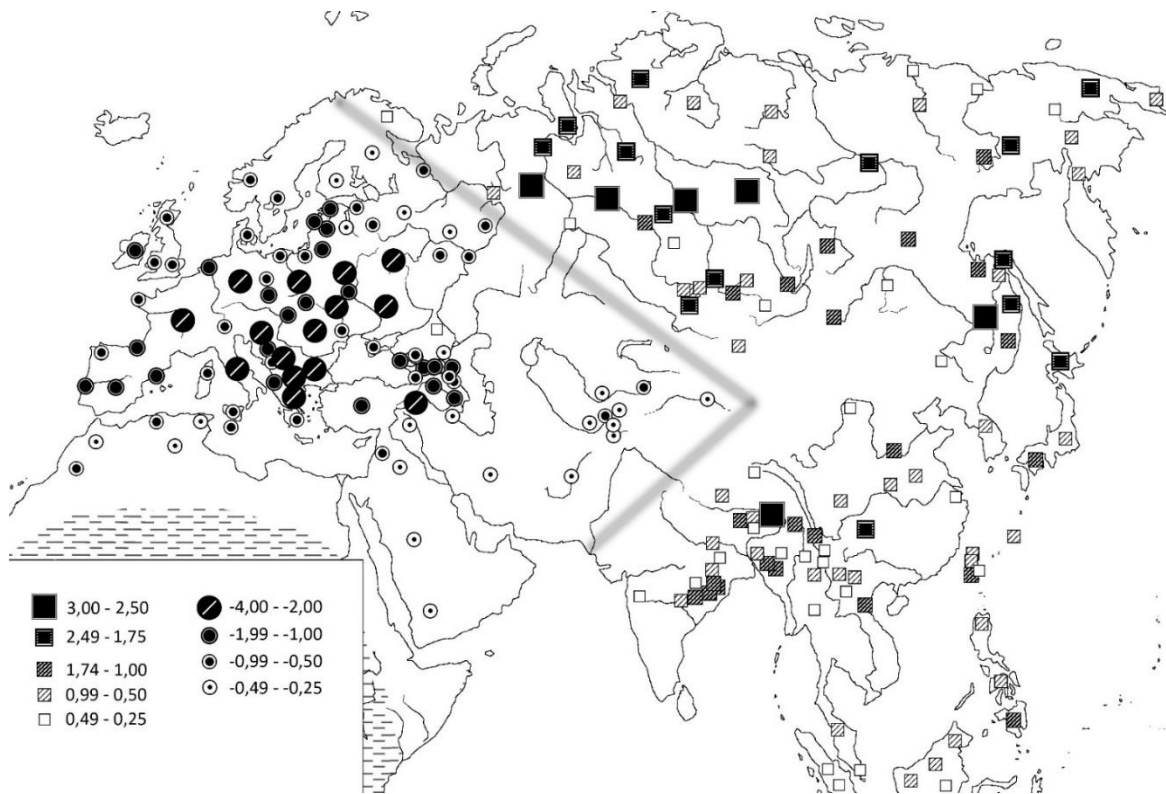


Рис. 5. Результаты обработки данных о распределении 626 мотивов в Евразии и Северной Африке, связанных с космологией и этимологией, 2ГК. Дисперсия 3,8% (3,65). Традиции с числом мотивов < 10 и с индексами от 0,24 до -0,24 не показаны. Здесь и далее намечена примерная граница двух комплексов мотивов

Восточный комплекс окружает его с севера, востока и юга. На юге Азии полюсом относительной недоступности от внешних влияний являются Восточные Гималаи. Именно здесь набор зафиксированных мотивов ближе всего сибирскому.

В порядке гипотезы подобную картину допустимо связать с историческими процессами III–II тыс. до н.э. В это время европейцы проникли по степи далеко на восток (обратное движение с востока на запад преобладает лишь с гунно-сарматского времени). Что касается принадлежности к одному комплексу традиций как Сибири, так и Юго-Восточной Азии, то здесь надо вспомнить микролитические индустрии Монголии и северного Китая, которые на протяжении всего верхнего палеолита расширяли свою территорию за счет галечных индустрий юга Китая [8. Fig. 1; 2, 9, 10]. Позже из Китая на юг и юго-запад распространились производящая экономика и бронза [11].

Теперь рассмотрим распределение эпизодов волшебной сказки. Третья ГК демонстрирует тенденцию, не похожую на данные обработки мотивов мифологии (рис. 6). Вся Сибирь вместе с Восточной Европой и Северным Кавказом противопоставлена территориям от Ирландии и Марокко до Средней Азии и Индокитая. Северо-восточный комплекс идеально вписывается в границы Российской империи, однако вряд ли русские существенно повлияли на фольклор чукчей, нанайцев или халха-монголов. Скорее, речь идет о фоне, субстрате, на основе которого (в период от середины I до середины II тыс. н.э.?) складывался набор сюжетов евразийской волшебной сказки. У него было два главных источника: переднеазиатский (с отдельными характерными

эпизодами, известными еще в Древнем Египте и Шумере) и сибирский – в основном южносибирский.

Сопоставим рис. 6 и 7, где показаны результаты обработки эпизодов текстов другого жанра – сказки о животных. Картина похожа. Южный комплекс определенно включает в себя мотивы, распространявшиеся на основе письменной традиции («Панчатантра», «Калила и Димна», басни Эзопа и пр.). В этом контексте и в связи с распространением мировых религий соответствующие мотивы проникли вплоть до Южной Сибири и Казахстана. Древнерусская письменная традиция тоже связана с этим комплексом (круглый значок среди квадратных на рис. 7), а восточнославянские фольклорные традиции – с северным. Последний хорошо представлен как в Восточной Европе, так и на северо-востоке Азии. Он не вполне сопоставим с совокупными данными касательно представлений об объектах ночного неба (см. рис. 2), но совпадения с ареалами фиксации отдельных космонимов [12] несомненны.

Деление Евразии на север и юг – вторая по значимости тенденция, которую показывает обработка эпизодов волшебной сказки. Главную же отражает 2ГК, противопоставляя Европу Кавказу и Центральной Азии (рис. 8). На Средней Волге тюркоязычные традиции противоположны финно-угорским. В Средиземноморье албанцы и арабы Туниса и Алжира связаны с восточным комплексом, сицилийцы и мальтийцы – с западным. Такая картина отражает как экспансию тюрков и монголов, так и обособление исламской и христианской сфер взаимодействия. Тюрко- и монголоязычные традиции Южной Сибири характерны для восточного комплекса, а традиции остальной Сибири нейтральны.

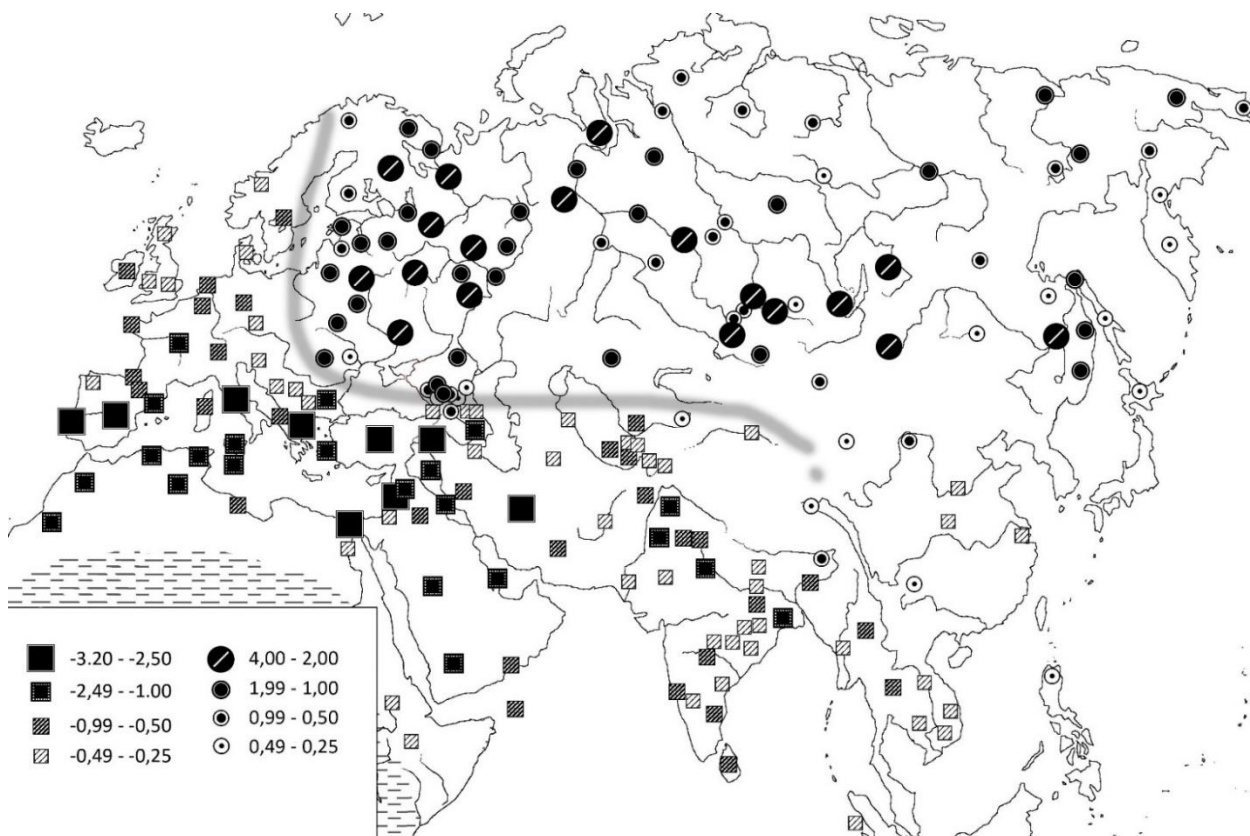


Рис. 6. Результаты обработки данных о распределении в Евразии и Северной Африке 720 эпизодов и 35 словесных клише (устойчивых сравнений), характерных для волшебной сказки, ЗГК. Дисперсия 3,1%. Традиции с числом мотивов < 10 и с индексами от 0,24 до -0,24 не показаны

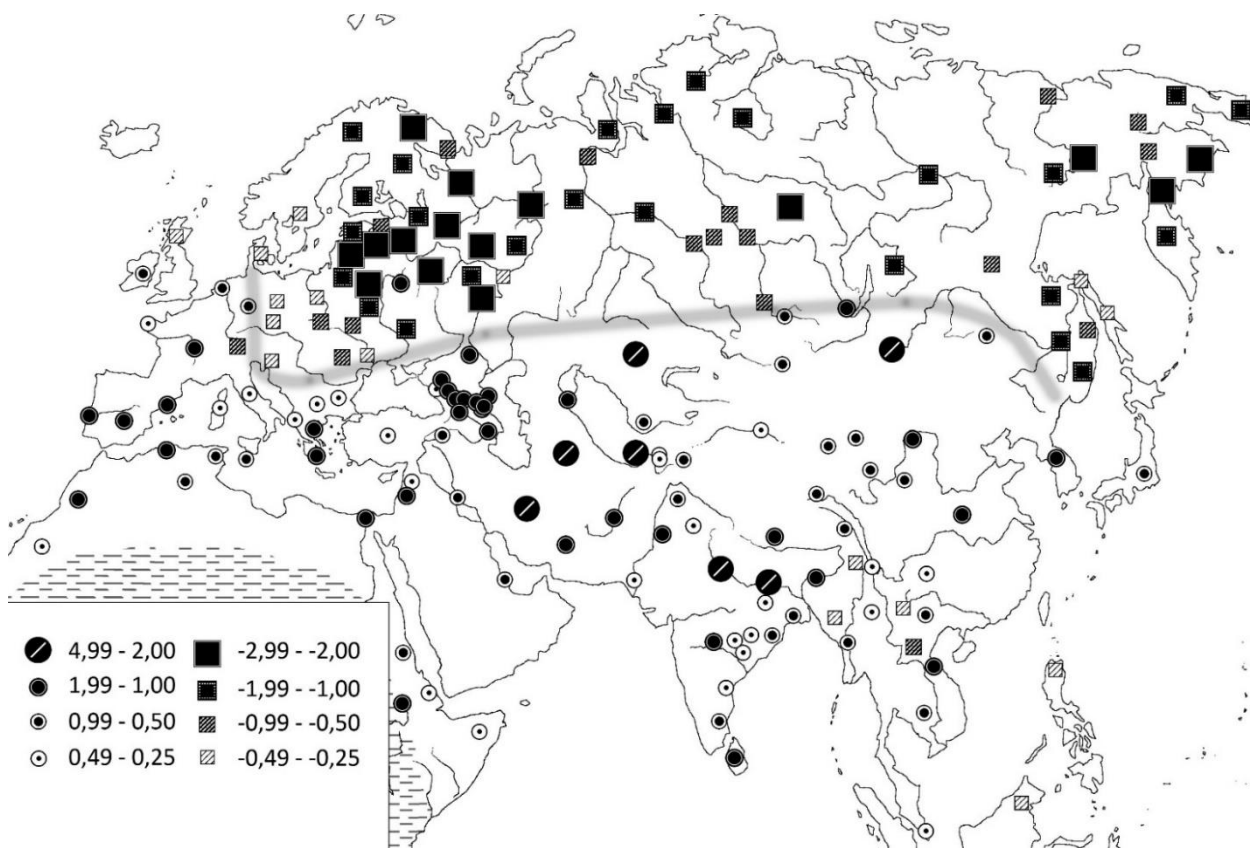


Рис. 7. Результаты обработки данных о распределении в Евразии и Северной Африке 223 эпизодов сказки о животных, 2ГК. Дисперсия 4,0%. Традиции с числом мотивов < 5 и с индексами от 0,24 до -0,24 не показаны

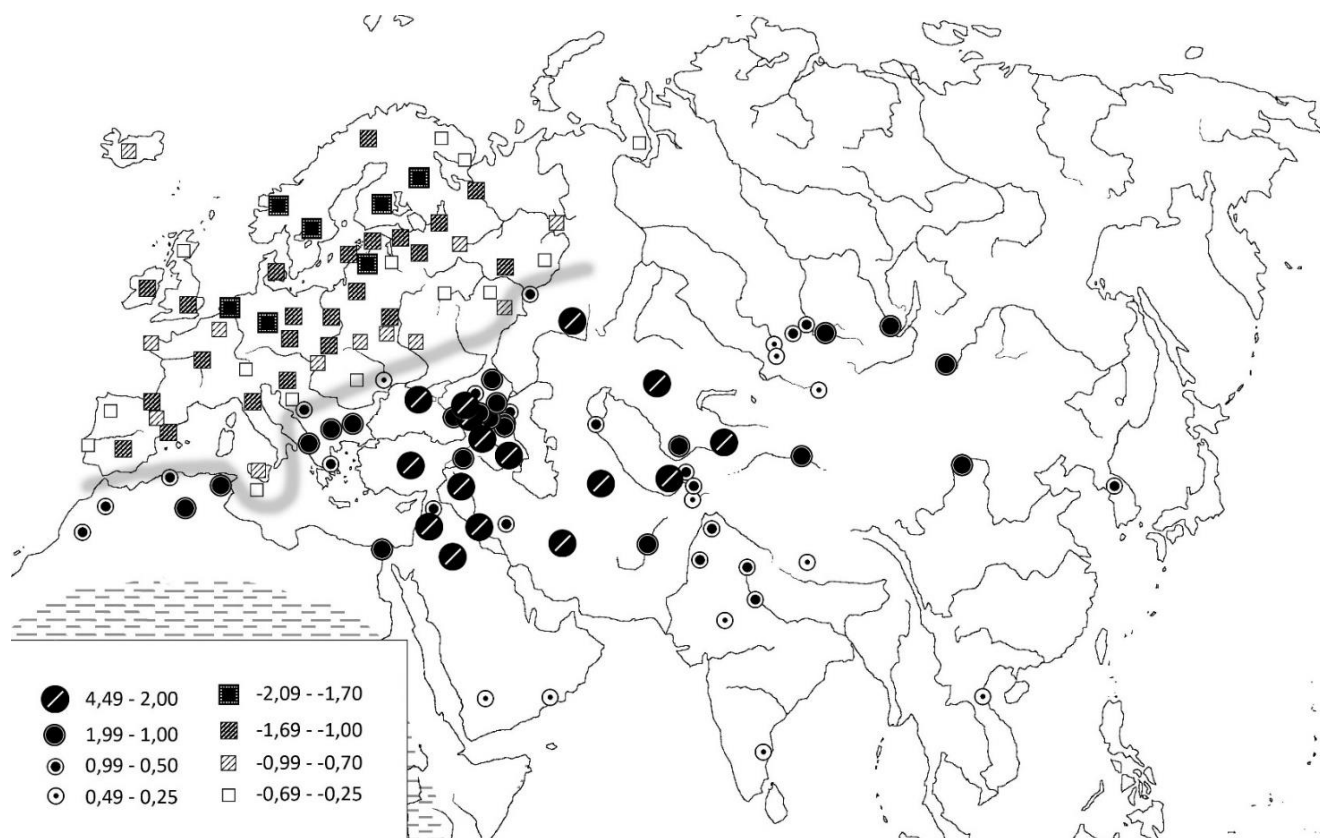


Рис. 8. Результаты обработки данных о распределении в Евразии и Северной Африке 719 эпизодов и 35 словесных клише, характерных для волшебной сказки, 2ГК. Дисперсия 4,2%. Традиции с числом мотивов < 50 и с индексами от 0,49 до -0,24 не показаны

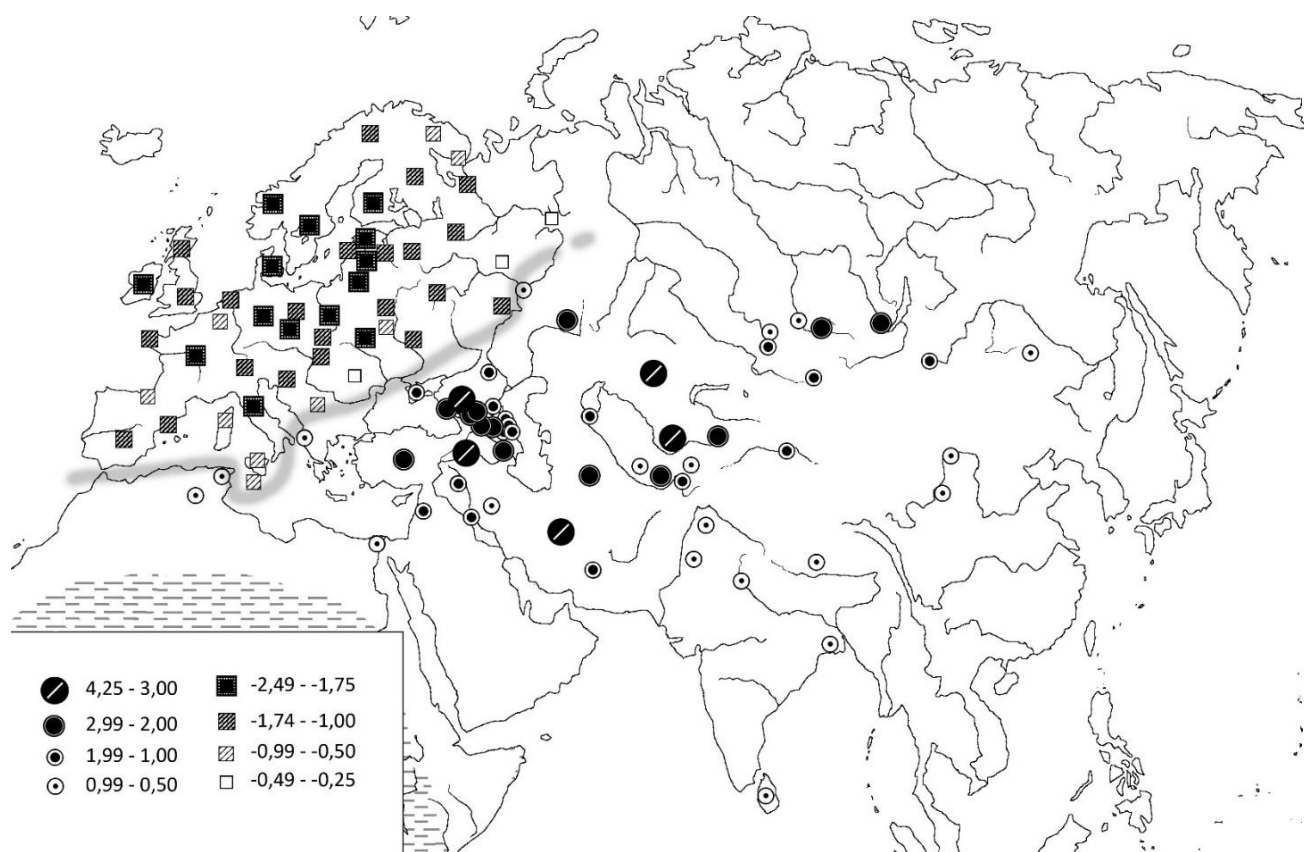


Рис. 9. Результаты обработки данных о распределении в Евразии и Северной Африке 176 эпизодов, характерных для бытовой сказки и анекдотов с участием людей, 2ГК. Дисперсия 5,8%. Традиции с числом мотивов < 10 и с индексами от 0,24 до -0,24 не показаны

То, что подобное ареальное распределение отражает самый поздний срез традиционного фольклора, подтверждается аналогичным распределением трикстерских эпизодов (бытовая сказка и анекдот), в которых действуют только люди (рис. 9). Эта группа мотивов отражает реалии Средневековья и начала Нового Времени. Совпадение соответствующих тенденций распределения для бытовой и волшебной сказки показывает, что наборы мотивов в последней окончательно оформились не раньше середины II тыс. н.э. В то же время в волшебной сказке (рис. 6) и в сказке о животных (рис. 7) есть и ранний компонент, отражающий деление Евразии на север и юг, т.е. на пояс цивилизаций и зону к северу от них. Контакты внутри каждого из этих регионов были значимее межрегиональных.

Заключение

После того как сапиенсы вышли из Африки, они заселили индо-тихоокеанскую окраину Азии, где нашли примерно те же условия, что и на африканской прародине. Это произошло не позже 50–45 тыс. л.н. Более ранние датировки не общепризнаны. Тогда же сапиенсы пришли в континентальную Евразию, где природные условия были иными. Не позже 16 тыс. л.н. обитатели примыкающих к Тихому океану областей Азии проникли в Америку и принесли туда мифологию,

которая у них к тому времени возникла. Эта мифология лучше всего сохранилась в наиболее изолированных от Северной Азии регионах: Южной Америке и Меланезии. Сравнивая данные по этим регионам, можно очертить набор мотивов, которые обитатели Восточной Азии использовали в своих повествованиях 20–15 тыс. л.н. Для континентальной Евразии реконструкция возможна лишь с того времени, когда в Северную (но не в Южную) Америку стали проникать люди из удаленных от океана районов Сибири и Центральной Азии. Речь идет о конце плейстоцена, но датировка с точностью до тысячелетия невозможна. Объем статьи не позволяет рассмотреть вопрос о соотношении данных археологии, генетики и сравнительной мифологии касательно проникновения в Новый Свет домонголоидных популяций.

В плейстоцене Евразия делилась на континентально-евразийскую и индо-тихоокеанскую зоны, но для более поздних периодов прослеживаются другие деления: восток / запад и север / юг. Еще позже (последние полтора тысячелетия) два главных комплекса фольклорных мотивов отражают различия между христианской Европой и Азией (без Дальнего Востока). В последней соединились переднеазиатско-исламский и степной тюрко-монгольский компоненты.

Благодарю А.Г. Козинцева за помощь с литературой и замечания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Uther H.-J. The Types of International Folktales. Helsinki : Suomalainen Tiedekatemia, 2004. Pts. 1–3.
2. Berezkin Yu.E. Peopling of the New World in light of the data on distribution of folklore motifs // Maths Meets Myths: Quantitative Approaches to Ancient Narratives / Edited by Ralph Kenna, Máirín Mac Carron, and Pádraig Mac Carron. Cham, Switzerland : Springer Verlag, 2016. Pp. 71–89.
3. Березкин Ю.Е. Самодийская космология в сибирско-североамериканском контексте // Урало-алтайские исследования. 2018. № 2 (29). С. 18–29.
4. Березкин Ю.Е. Рождение звездного неба: представления о ночных светилах в исторической динамике. СПб. : МАЭ РАН, 2017. 316 с.
5. Berezkin Yu.E. Why are People Mortal? World Mythology and the "Out-of-Africa" Scenario // Ancient Human Migrations. A Multidisciplinary Approach / ed. by P.N. Peregrine, I. Peiros, M. Feldman. Salt Lake City : The University of Utah Press, 2009. P. 242–264.
6. Prates L., Politis G.G., Perez S.I. Rapid radiation of humans in South America after the last glacial maximum: a radiocarbon-based study // PLoS One. 2020. July 22. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236023>
7. Williams T.J., Collins M.B., Rodrigues K., Rink W.J., Velchoff N., Keen-Zebert A., Gilmer A., Frederick C.D., Ayala S.J., Prewitt E.R. Evidence of an early projectile point technology in North America at the Gault Site, Texas, USA // Science Advances. 2018. Vol. 4. P. 1–7. DOI: 10.1126/sciadv.aar5954
8. Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A. Following Pleistocene road signs of human dispersals across Eurasia // Quaternary International. 2013. Vol. 285. P. 30–43.
9. Bar-Yosef O., Wang Y. Paleolithic archaeology in China // Annual Review of Anthropology. 2012. Vol. 41. P. 319–335.
10. Qu T., Bar-Josef O., Wang Y., Wu X. The Chinese Upper Paleolithic: geography, chronology, and techno-typology // Journal of Archaeological Research. 2013. Vol. 21. P. 1–73.
11. Higham C., Higham T., Kijngam A. Cutting a Gordian Knot: the Bronze Age of Southeast Asia: origins, timing and impact // Antiquity. 2011. Vol. 85, № 328. P. 583–598.
12. Березкин Ю.Е. Плеяды-отверстия, Млечный Путь как Дорога Птиц, девочка на луне: североевразийские этнокультурные связи в зеркале космизма // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. Т. 44, № 4. С. 100–113.

Yuri E. Berezkin, Peter the Great Museum of Anthropology & Ethnography (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: berezkin1@gmail.com

THE SIBERIAN FOLKLORE AND ITS NEIGHBOURS

Keywords: folklore and mythology; exact methods in the humanities; Siberian prehistory.

The research is based on Analytical Electronic Catalogue that contains information on the spread of ca. 3000 motifs in ca. 1000 traditions of the world. "The motif" is an episode or an image recorded in two or more traditions. "The tradition" is a set of texts recorded from the people who speak a particular language or live across a particular territory. Patterns of motifs' spread show no significant correlation with the territorial spread of other factors and processes besides large-scale migrations and cultural interactions. If the time of such processes is established thanks to the data of other historical disciplines, we are able to segregate particular regional and epochal complexes inside the amorphous mass of the motifs. The data are processed by factor analysis. This method can be applied to the material in which new units emerge not only phylogenically but also thanks to the exchange of the elements between genetically unrelated groups. It makes possible to select a few meaningful tendencies, the so called principal components (PC), inside a vast and heterogenic material. Main categories and thematic groups of the folklore and mythological motifs are processed separately.

The analysis demonstrates the uneven frequency of the occurrence of different groups of motifs in particular regions. Motifs related to the interpretation of the objects of the night sky are widespread in Northern Eurasia from which they had been brought to North America.

Motifs related to the origin of the man, gender and sex and human anatomy are typical for the circum-Pacific region and for the non-Aryan India. Both groups are rare in the sub-Saharan Africa. These differences could be a consequence of the independent development of mythologies in the continental Eurasia and in the Indo-Pacific region after their peopling by the modern man. The earliest set of motifs in Siberia consists of the motifs that find parallels in North (but not in South) America and can be dated to the Terminal Pleistocene. The Indo-Pacific set of motifs that is different from the continental Eurasian one must exist in East Asia at least at the time when the peopling of the New World began (ca. 16,000 cal. B.P.). In the Holocene time new spheres of interaction emerged in Eurasia. The analysis of the spread of the episodes of myths *sensu stricto* demonstrates links between Siberia and the East and Southeast Asia. The opposite set of motifs is widespread across Europe and the Caucasus with an Eastern fringe as far as Xinjiang. The processing of the episodes of the tales of magic and of the animal tales selects the zone of civilizations from the Atlantic to Southeast Asia and contrasts it with Siberia and Eastern Europe. The most recent tendency in the areal spread of the motifs is revealed thanks to processing of tales of magic and realistic tales. Here the Christian Europe is separated from traditions that are affiliated to the Islamic world and the Steppe.

REFERENCES

1. Uther, H.-J. (2004) *The Types of International Folktales*. Helsinki: Suomalainen Tiedekatemia.
2. Berezkin, Yu.E. (2016) Peopling of the New World in light of the data on distribution of folklore motifs. In: Kenna, R., Mac Carron, M. & Mac Carron, P. (eds) *Maths Meets Myths: Quantitative Approaches to Ancient Narratives*. Cham, Switzerland: Springer Verlag. pp. 71–89.
3. Berezkin, Yu.E. (2018) Samoyed cosmology in the Siberian-North American context. *Uralo-altaiskie issledovaniya – Ural-Altaic Studies*. 2(29). pp. 18–29. (In Russian).
4. Berezkin, Yu.E. (2017) *Rozhdenie zvezdnogo neba: predstavleniya o nochnykh svetilakh v istoricheskoy dinamike* [The birth of the starry sky: ideas about the night luminaries in historical dynamics]. St. Petersburg: RAS.
5. Berezkin, Yu.E. (2009) Why are People Mortal? World Mythology and the “Out-of-Africa” Scenario. In: Peregrine, P.N., Peiros, I. & Feldman, M. (eds) *Ancient Human Migrations. A Multidisciplinary Approach*. Salt Lake City: The University of Utah Press. pp. 242–264.
6. Prates, L., Politis, G.G. & Perez, S.I. (2020) Rapid radiation of humans in South America after the last glacial maximum: A radiocarbon-based study. *PlosOne*, July 22. DOI: 10.1371/journal.pone.0236023
7. Williams, T.J., Collins, M.B., Rodrigues, K., Rink, W.J., Velchoff, N., Keen-Zebert, A., Gilmer, A., Frederick, C.D., Ayala, S.J. & Prewitt, E.R. (2018) Evidence of an early projectile point technology in North America at the Gault Site, Texas, USA. *Science Advances*. 4. pp. 1–7. DOI: 10.1126/sciadv. eaar5954
8. Bar-Yosef, O. & Belfer-Cohen, A. (2013) Following Pleistocene road signs of human dispersals across Eurasia. *Quaternary International*. 285. pp. 30–43. DOI: 10.1016/j.quaint.2011.07.043
9. Bar-Yosef, O. & Wang, Y. (2012) Paleolithic archaeology in China. *Annual Review of Anthropology*. 41. pp. 319–335. DOI: 10.1146/annurev-anthro-092611-145832
10. Qu, T., Bar-Josef, O., Wang, Y. & Wu, X. (2013) The Chinese Upper Paleolithic: geography, chronology, and techno-typology. *Journal of Archaeological Research*. 21. pp. 1–73. DOI: 10.1007/s10814-012-9059-4
11. Higham, C., Higham, T. & Kijngam, A. (2011) Cutting a Gordian Knot: the Bronze Age of Southeast Asia: origins, timing and impact. *Antiquity*. 85(328). pp. 583–598. DOI: 10.1017/S0003598X00067971
12. Berezkin, Yu.E. (2009) The Pleiades as Openings, the Milky Way as the Path of Birds, and the Girl in the Moon: Northern Eurasian Ethno-Cultural Links in the Mirror of Cosmonymy. *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 37(4). pp. 100–113. (In Russian). DOI: 10.1016/j.aear.2010.02.012

УДК 394 + 392(571.1)
DOI: 10.17223/19988613/68/13

3. Надь

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ЖИЗНИ. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ И ХАНТЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Рассматриваются последствия массовых переселений в Западную Сибирь в результате сталинских репрессий 1930–1950-е гг., обусловивших динамику взаимоотношений спецпереселенцев и коренного населения – хантов. Предметом анализа стали воспоминания участников событий и их потомков, собранные автором между 1992 и 2012 гг. Анализ полевых материалов показывает, что воспоминания спецпереселенцев и хантов на уровне индивидуальной памяти не противоречат, а дополняют друг друга. Эпоха переселений стала историей мученичества, «васюганской Голгофой» как для переселенцев, так и для хантов, «культурной травмой», которая и сегодня играет заметную роль в формировании местной идентичности.

Ключевые слова: ханты; переселение; память; культурная травма.

С 1930 по 1949 г. на территории бывшего Советского Союза прошло несколько волн массовых депортаций считавшихся политически нежелательными лиц, представителей этносов, коллективно объявленных преступными. Одной из основных принимающих территорий был тогдашний Нарымский край. Общее количество переселенных сюда лиц известно только приблизительно, но, несмотря на высокий уровень смертности, а также на массовое возвращение переселенцев после смерти Сталина в Каргасокском районе, включающем р. Васюган, количество спецпереселенцев и их потомков и сегодня превышает 70%. [1–3].

Аналогично демографическим данным современный образ области и района формируется сегодня через призму репрессий. Не подвергающийся сомнению ужас переселений, о которых десятилетиями нельзя было говорить, сегодня играет заметную роль в формировании местной идентичности. Это действительно драматическое событие, ставшее травмой, превратилось в так называемую «культурную травму» [4], определяющую территориальную память и политические дискурсы.

В этой истории мученичества, кажется, нет места людям, коренным жителям, проживавшим здесь еще до депортаций. Может показаться, что если коренное население включить в нарративы памяти, тогда переселенцы уже не могли бы быть первыми, и история их страданий утратила бы свою значимость. Словно неоспоримые мучения стали бы бессмысленными, если бы край с невыносимыми для жизни условиями был чужой родиной.

Между тем время депортаций было и для хантов серьезным потрясением. Количество жителей территории с ранее очень малой плотностью населения за одно десятилетие выросло в несколько раз. Хантыйские деревни разрослись за счет «спецов», на их кладбищах, охотничьих и рыболовных территориях построили деревни, на охотничьих угодьях вырубали

леса. Ханты за немногим более чем одно десятилетие превратились из подавляющего большинства в ничтожное меньшинство. И сами ханты проживают историю прошедших десятилетий в нарративе утрат, этим также определяются их воспоминания.

В личных воспоминаниях хантов и переселенцев есть существенное расхождение, ведь известно, что именно различный общественный опыт, точнее, его различный политический вес является тем, что ведет к общественной амнезии. По мнению же Е. Ренана [5], национальную – в данном случае региональную – идентичность определяет диалектика памяти и забвения: история хантов передается забвению, чтобы лучше помнилась история переселений. Может быть, лучше представляет эту ситуацию Алеида Ассманн, по словам которой, память переселенцев является частью *функциональной памяти*, коллективной памятью, подкрепленной памятью индивидуальной, памятью, обуславливающей гомогенную идентичность данного региона, объединяющей, способной мобилизовать людей, служащей отправной точкой в современных политических вопросах и определяющей характер политических и культурных дискурсов [6]. Память же коренных жителей является частью *накопительной памяти*, так как она существует только в личных воспоминаниях, не обладающих политическим потенциалом, переходит в пассивное состояние, не может быть частью национальной – в данном случае *областной* – идентичности и даже, возможно, противоположна ей. Воспоминания коренных жителей, хантов, таким образом, – немые свидетельства, они замалчиваются на всех местных форумах, и следа их нет в дискурсах об «отечестве» и «родине»¹.

Таким образом, воспоминания переселенцев и хантов представляют собой конкурирующие дискурсы, по сути дела, исключают друг друга. Это положение кажется совершенно справедливым в отношении публичных дискурсов, но не в отношении личных воспо-

минаний. Воспоминания хантов и переселенцев имеют бесчисленное количество совпадений. Эпоха переселений как для переселенцев, так и для хантов – история мученичества, оба народа являются частью «васюганской Голгофы». Оба народа во главу угла ставят в первую очередь собственные мучения, признавая или, скорее, даже не признавая хождение по мукам другой стороны, как будто бы два вида мучений соревнуются друг с другом. На самом деле две истории не противоречат друг другу, в действительности они не конкуренты, а товарищи по несчастью: и мучения, и их антагонизм породила одна политика.

В настоящей работе предметом пристального внимания стали только темы, которые касаются взаимоотношений этих двух групп. По моему убеждению, в данных историях прекрасно прослеживается динамика, определившая взаимоотношения коренного населения и переселенного в Западную Сибирь, ставшего большинством общества. Предмет анализа – только устные воспоминания, которые собраны мной в результате полевой работы в Сибири, проводившейся между 1992 и 2012 гг., и представлены огромным количеством дневниковых записей, а также обработки почти 50 часов записей интервью. Я имел возможность разговаривать в первую очередь с теми, кто ребенком пережил период переселений, так как к тому времени более 70 лет отделяло период переселений от воспоминаний о них, а также с теми, кто происходил из семей спецпереселенцев. Мои собеседники и сегодня живут на территории интересующего меня более всего Каргасогского района либо родом оттуда, т.е. их переселили на территории вдоль Васюгана.

Взаимоотношения переселенцев и хантов почти во всех случаях описываются как мирные. Сами переселенцы так же оценивают эти отношения, иногда даже подчеркивая, что их взаимоотношения с хантами были более гармоничными, чем у хантов с русскими, которые еще до переселений добровольно поселились на Васюгане. Несмотря на мирные взаимоотношения, мы часто встречаемся с такими текстами, согласно которым каждая сторона имеет серьезные предубеждения, стереотипы относительно другой стороны. Ханты в глазах переселенцев – несмотря на то, что последние нуждались в них в начальный период – были воплощением всех тех свойств, в которых в соответствии с русским общественным мнением выражался экзотизм малых народов Сибири. Это негативное мнение получило резонанс у хантов, так как, несмотря на то что в своих воспоминаниях взаимоотношения с детьми переселенцев в интернатах и приютах ханты обычно называют беспроблемными, подчеркивая мультиэтнический характер этих учреждений, все же всплывают истории, в которых клеймят и ущемляют хантов.

Переселенцы связывали с хантами резко отличающийся от их собственного образ жизни, рыболовство и охоту, которые, несмотря на то что часто обеспечивали им выживание, считались примитивными в их глазах. Кочевой, лесной образ жизни переселенцы всегда связывают с хантами, резко противопоставляя его оседлому деревенскому образу жизни русских. Переселенцы считали хантов отличными рыболовами и

охотниками, как обычно идеализированных детей природы, и связывали с ними необыкновенное богатство и девственность природы. Один переселенец так вспоминал об Озерном: «Допустим, надо тебе уху сварить, пойдешь, ведром зачерпни, и хватит на уху».

Ханты, напротив, считали переселенцев «врагами народа», приняли их как преступников, благодаря предварительной работе государственной пропаганды, постоянно стремившейся ограничить связь переселенцев со всеми прочими местными жителями. Естественно, это затруднило первые встречи, и необходимо было время, пока ханты смогли перешагнуть через это.

Первой точкой пересечения историй о депортации является вопрос о помощи. Ханты в связи с переселением прежде всего подчеркивают, что переселенцы благодаря им пережили начальный период. Переселенцы, по рассказам, неспособны были содержать сами себя, с одной стороны, потому что прибыли сюда практически без оснащения, с другой – потому что их переселили сюда из других природных условий, с территорий, требовавших другого образа жизни, поэтому они с трудом могли приспособиться к местным условиям, в глазах хантов они были «неумелыми, беспомощными».

Помощь принимала разные формы. Чаще всего ханты говорят, что они снабжали переселенцев едой, спасли их от голодной смерти и дали им необходимую одежду. Порой ханты приглашали в гости в свои дома, в первую очередь затем, чтобы накормить. Может быть, еще большей помощью было то, что они научили переселенцев хитростям выживания, помогали в создании условий, пригодных для жизни.

Тот факт, что ханты способствовали выживанию переселенцев, является частью памяти русских. Эта помощь часто представляется как дружба, как такие отношения, когда дети регулярно ходят в гости в хантыйские семьи, и не в последнюю очередь потому, что там они по крайней мере могут регулярно питаться. Поскольку у переселенцев практически никаких инструментов не было, наибольший шанс остаться в живых был у тех, кто смог наладить отношения с семьей хантов, которая помогала переселенцам в самых важных работах и в приобретении основных инструментов, необходимых для выживания. В других воспоминаниях переселенцы видят свои отношения с хантами как более уравновешенные, менее бескорыстные меновые отношения. В зависимом положении они вынуждены были обменивать множество вещей, которые не хотели бы никоим образом отдавать, и чувствовали, что ханты извлекали выгоду из их бедственного положения. Из меновых отношений каждый, естественно, пытался извлечь выгоду, русские часто подпаивали хантов, чтобы добиться более выгодных условий обмена.

Взаимоотношения с переселенцами ханты рассматривали как отношения, основанные на абсолютно бескорыстной помощи. Однако вынужденная помощь означала для них и тяжелое бремя, значительно усложнила их жизнь. Серьезной проблемой было и то, что ничуть не изменившееся количество природных ресурсов нужно было распределять на гораздо большее количество людей.

Зависимое положение переселенцев, их нищета приводили к тому, что они начали воровать у хантов, что было еще одной причиной конфликтов. Воровство в хантыйском обществе считалось тяжелым преступлением, именно поэтому переселения часто считают началом моральной гибели хантыского общества. Это особенно интересно, потому что сегодня русские считают хантов маргинализированным, люмпенизированным, морально и экзистенциально опустившимся народом, в то время как ханты видят источником своего морального разложения русских. Очевидно, что с этим можно связать и бесчисленное количество раз упоминающийся в воспоминаниях хантов топос, что «до русских» они никогда не закрывали свои дома: замков вообще не использовали, а двери пустого дома снаружи просто подпирали колом так, чтобы было хорошо видно.

То, что ханты в первые годы жили в большей безопасности, чем переселенцы, был серьезным стимулом для женщин-переселенцев выйти замуж за мужчину-ханта. Еще чаще случалось, что семьи переселенцев выдавали своих дочерей за хантов, чтобы обеспечить пропитание хотя бы им, вернее, чтобы через детей родители были связаны с такой семьей и могли рассчитывать на помощь. Воспоминания часто указывают на то, что это были откровенные браки по расчету.

Переселенцы рассматривали такие смешанные браки как жертвы, приносимые ради выживания. Этот полутон, естественно, не является частью воспоминаний хантов. Более того, у них даже не возникло мысли, что такая брачная практика имела, очевидно, негативное влияние на хантыскую культуру. После трудностей первых лет в подавляющем большинстве случаев образ жизни смешанной семьи видоизменялся по русскому образцу, а под влиянием централизации такие семьи быстро переселялись в центральные населенные пункты. Общие дети в первую очередь выучивали русский язык. В молниеносной русификации васюганских хантов, вне всякого сомнения, исключительно важную роль сыграли смешанные браки.

Побег, когда многие из переселенцев, используя географические особенности местности, попытались бежать к местам своего прежнего жительства или вообще на «большую землю», является повторяющимся элементом воспоминаний как переселенцев, так и хантов. Важнейшее направление вело через Васюганское болото на запад, юго-запад. Торговые пути русских купцов ханты хорошо знали и очень часто нанимались проводниками к беглецам.

Побеги часто фигурируют в воспоминаниях хантов. Эти истории рассказывают либо только о том, как местные ханты, прекрасно знающие местность, проводили беглецов зимой через труднопроходимое болото, либо же о том, как ханты, помогавшие переселенцам, плохо кончали, так как становились жертвами репрессий. Другой частый мотив: семьи беженцев редко решались вести с собой через болото в зимний мороз маленьких детей, поэтому оставляли их местным переселенцам или хантам в надежде, что смогут вернуться за ними позже. Однако большая часть этих детей выросла в приютах.

Как бы это ни казалось удивительным, восстановленное в памяти время переселений пробудило и положительные воспоминания у моих собеседников-хантов. Это объяснимо тем, что на Васюгане никогда не было так много поселений, как в то время, а в поселениях никогда не было столько работы, заводов, как тогда. Сейчас, когда бывшие спецпоселения исчезли, и кроме как на добыче нефти практически нет никакой возможности прокормиться, оглядываясь назад, сороковые-пятидесятые годы, несмотря на всю нищету, кажутся перспективными годами развития.

Важнейшим пунктом воспоминаний хантов является то, что они сами значительно обеднели в период переселений. В 1930-е гг. в каждом вновь образованном поселении создавали колхоз, куда реквизируют их имущество, прежде всего скот. Переход скота в коллективную собственность полностью изменил образ жизни и жизненную стратегию хантов. Об этом рассказали удивительно точно один хант и выходец из свободной русской смешанной семьи. История говорит о том, что после конфискации имущества деды обоих вынуждены были отказаться от прежнего образа жизни, и, что интересно, оба они выбрали стратегию, противоположную той, которую от них ожидали: дед ханта уехал в новое селение, чтобы вести русский образ жизни, а дед русского уехал подальше от центра, вглубь тайги, чтобы продолжать жить по-хантыски.

Помимо реквизиции скота, ханты также столкнулись с трудностями в рыболовстве и охоте. Переселенцы полностью освоили территории, которые ранее были местом жительства и охоты хантов. Местность стала перенаселенной, ее природный потенциал перестал удовлетворять в несколько раз выросшее население. Не только образование поселений, но и хозяйственная деятельность «спецов» почти во всех случаях составляла конкуренцию образу жизни хантов. Для строительства деревень и разбивки пахотных земель вырубали леса, находившиеся на охотничьих территориях хантов. Лесоразработки огромного масштаба еще сильнее сократили пригодные для охоты территории. Переселенцы сетями методично вылавливали рыбу из озер, сократив до минимума ее поголовье. Резко возросло количество желающих выжить за счет охоты или получить дополнительную прибыль от нее, что сократило число диких животных.

В своей работе я проследил, как сформировалась система взаимоотношений между обществом большинства и общинами коренных жителей в Западной Сибири, рассмотрев такой исторический катаклизм, как переселения, результатом чего стали параллельные потрясения, параллельные истории мученичества. Из сказанного выше очевидно, что между хантами и переселенцами существовала тесная связь. Каждый народ в значительной мере оказывал влияние на другую сторону. Система взаимоотношений, несмотря на то что о них вспоминают как в основном о беспроblemных, довольно многогранна, и воспоминания часто противоречат друг другу. Какофония в некоторых воспоминаниях, несомненно, является следствием разницы личного опыта, различных позиций и нарратив-

ных стратегий. Это не сбой в системе, а система сбоев, это сама будничная Жизнь.

Однако есть, несомненно, общий элемент во всех этих историях: истории переселенцев и хантов в период депортации тесно переплелись на уровне личных воспоминаний. В этом слое воспоминаний можно проследить огромное количество – хороших или плохих – связей, тематических наложений, взаимных рефлексий. Можно сказать, что ханты, если и не во всех случаях, но обычно являются частью личной памяти переселенцев. Это важно подчеркнуть потому, что, как я указал в начале настоящей работы, ханты абсолютно не являются частью официальной, публичной памяти региона. По мнению официальной региональной мемориальной политики, их прошлое не имеет веса, более того, это помехи на заднем плане в героической истории основного объединенного памятью общества, в создании его нарративной идентичности. Таким образом, не только образ жизни, жизненный мир хантов были принесены в жертву переселенцам, но и память о них. Так же, как они были вытеснены со своих прежних земель растущими деревнями, так их вытеснили и из официального канона памяти. Не только их образ жизни должен был исчезнуть, но и его следы и памятники.

Стоит задуматься и о том, чем еще можно объяснить, что судьба хантов сложилась таким образом. Потому что не совсем понятно, почему ханты оставались пассивными свидетелями всего происходящего, почему они никак не выступили против, как сделали это в некоторых случаях в других местах [8]. В чем причина пассивности, мирной капитуляции живущих на Васюгане?

Как мы видели, за время переселений на Васюган привезли несколько десятков тысяч человек, которые нуждались практически во всем: у них не было достаточно продуктов питания, одежды, было минимальное оснащение, и они плохо разбирались в местной практике самосохранения. Эти борющиеся за выживание нищие люди вызывали в основном жалость у местных хантов, которые пытались оказать помощь переселенцам. Другими словами, этот огромный людской поток, бесповоротно изменивший демографические условия на Васюгане, был не пышущим силой, побуждающим к сопротивлению большинством, а слабой, зависимой, брошенной на произвол судьбы массой нуждающихся людей. Этому большинству невозможно было идти наперекор, сопротивляться, бунтовать против него, скорее, к переселенцам испытывали жалость, сочувствие, желание помочь. Расстояние между хантами и переселенцами сократилось и вследствие того, что так или иначе и те и другие превратились в игрушку советской власти, эта власть переплела их судьбы в одну общую судьбу нищеты и бессилия. Кроме того, любое сопротивление стало практически невозможным из-за начавшейся вскоре Великой Отечественной войны, моральное давление которой исключило всякое возможное сопротивление.

Иными словами, ханты практиковали исключительно слабую стратегию сопротивления [9]. И когда благодаря перестройке у них появилась политическая возможность заявить о своих интересах, в хантах уже не было настоящего политического капитала, и они не смогли выступить как проводящая свои интересы группа.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ О публичных дискурсах Томской области и Каргасокского района, о важнейших форумах и особенностях подробнее см.: [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. Красильников С.А. Серп и Молот. Крестьянская Ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 2003. 288 с.
2. Макшеев В.Н. Слепы: исследование. Томск: СК-Сервис, 2007. 180 с.
3. Монголина Н.Г. Историческая справка о репрессиях 30–40-х гг. XX. века. Очерк по истории сталинских репрессий // Гуманитарная экспедиция. Прощение и память 2006–2007 г. Томск: Красное знамя, 2008. С. 8–14.
4. Alexander J.C. Toward a theory of Cultural Trauma // Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 1–30.
5. Renan E. Mi a nemzet? // Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs: Tanulmány Kiadó, 1995. P. 171–187.
6. Assmann A. Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis. Zwei Modi der Erinnerung // Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Verlag C.H. Beck, 1999. S. 130–145.
7. Nagy Z. Hantik vagy hantik? Diskurzusok között vergődve // Ethnographia. 2016. 127. évf. 3.szám. Ol. 79–100.
8. Лезте Арт. Казымская война: восстание хантов и лесных ненцев против советской власти. Тарту: Вали Пресс, 2004. 286 с.
9. Scott J.C. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven; London: Yale University Press, 1985. 411 p.

Zoltan Nagy, University of Pécs (Pec, Hungary). E-mail: nagy.zoltan@pte.hu

PARALLEL LIFE-STORIES: DEPORTED PEOPLE AND KHANTIES IN WESTERN SIBERIA

Keywords: Khamty; deportations; remembrance; cultural trauma.

The currently prevalent “master narrative” of the political relocations of the 1930s–‘50s only highlights the suffering of the deported; in this “suffering” there is no room for the native people who had been living in the area prior to the deportations, whereas the period of relocations was a grave shock for the Khanties as well. From the decisive majority, they turned into an insignificant minority within just over a decade: they practically dissolved in the majority society settled among them.

The period of resettlement caused suffering for the aborigines and the deported alike, both are parts of the “Vasyugan Golgotha”. The two stories are not antithetical but complementary.

In my paper I analyse only oral recollections. It is the outcome of my fieldwork along the Vasyugan river between 1992 and 2012; which is a large amount of written diary notes and the transcription of about 50 hours of interviews.

I focus on themes that expressly touch on the interrelation between the two groups. I arrange the relations between the Khanty and the deportees around a few thematic nodes. Some narratives are overtly about the contacts between the two groups. The stereotypes they had entertained about each other are discussed here. A salient theme appears to be the fact that without the Khanty help the deportees would not have been able to survive. This help was sometimes quite unselfish, at other times it was like a speculated barter transaction,

at again other times it was permanent harassment embittering everyday routine. The theme of mixed marriages is to be covered in this section. The next topic is the attempts of the deportees to escape. In successful and unsuccessful attempts to flee, Khanty feature as guides risking their lives. Finally, I analyse what possibilities there are in the Khanty stories for the evaluation of the period of translocations.

It can be concluded from my analysis that there were strong interactions between the Khanty and the deportees, both parties exerting a great influence on each other's lives. The network of relations is many-sided in the memory of both the deported and the Khanties. This cacophonous set of memories is an outcome of different personal experience, diverse positions of recollection and different narrative strategies. It does not mess up the system: it is the system of mess itself.

I am convinced that in these stories it is easy to discern the dynamism that was decisive in the relationship between the aborigines and the deported social majority groups in Western Siberia in the middle of the 20th century, and this is the foundation of their present-day system of relations, too.

REFERENCES

1. Krasilnikov, S. (2003) *Serp i Molokh. Krest'yanskaya Ssylka v Zapadnoy Sibiri v 1930-e gody* [Sickle and Moloch. Peasant Exile in Western Siberia in the 1930s]. Moscow: ROSSPEN.
2. Maksheev, V.N. (2007) *Spetsy : issledovanie* [Deported people: The Research]. Tomsk: SK-Servis.
3. Mongolina, N.G. (2008) Istoricheskaya spravka o repressiyakh 30–40-kh gg. XX veka. Ocherk po istorii stalinskikh repressiy [Historical information about the repressions of the 1930 – 1940s. Essay on the history of Stalinist repressions]. In: Khmeleva, A.P. (ed.) *Gumanitarnaya ekspeditsiya. Proshchenie i pamyat' 2006–2007 g.* [Humanitarian expedition. Forgiveness and Memory, 2006–2007]. Tomsk: Krasnoe znamya. pp. 8–14.
4. Alexander, J.C. (2004) *Toward a Theory of Cultural Trauma*. In: Alexander, J.C., Eyerman, R., Giesen, B., Smelser, N.J. & Sztompka, P. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press. pp. 1–30.
5. Renan, E. (1995) *Mi a nemzet?* In: Breter, Z. (ed.) *Eszmék a politikában: a nacionalizmus*. Pécs : Tanulmány Kiadó. pp. 171–187.
6. Assmann, A. (1999) *Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*. Munich: C.H. Beck. pp. 130–145.
7. Nagy, Z. (2016) Hantik vagy hantik? Diskurzusok között vergődve. *Ethnographia*. 127(3). pp. 79–100.
8. Leete, Art. (2004) *Kazym'skaya vojna: vosstanie khantov i lesnykh nentsev protiv sovetskoy vlasti* [Kazym war: the uprising of the Khanty and the forest of the Nenets against the Soviet regime]. Tartu: Vali Press.
9. Scott, J.C. (1985) *Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven; London: Yale University Press.

УДК 39

DOI: 10.17223/19988613/68/14

И.В. Октябрьская

АРЕАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭТНОГРАФИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири»

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Цель авторского исследования состоит в том, чтобы проследить становление и развитие ареального метода как способа описания и изучения этнокультурного многообразия России. Ареальное картирование, возникнув еще в XVII в., использовалось вплоть до современности. Актуализация метода была связана с введением концепции хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей, а также с утверждением теории этноса в советской науке. Признание возможности совмещения лингвистических, культурных и этнических ареалов соответствовало формировавшимся концепциям этногенеза и этнической истории. На рубеже XIX–XX вв. они были скорректированы теорией конструктивизма. В методологию современной российской этнологии вошла интерпретация развития культур и народов Евразии сквозь призму антропологии движения. Вместе с тем среди исследовательских технологий важное место сохранил ареальный подход. Вывод о его устойчивости в традиционном и современном прочтении стал основным для данной работы.

Ключевые слова: этнокультурное многообразие России, ареальные исследования, этнографическое картирование.

Понятие ареала (от лат. *area* – площадь, пространство), которое широко используется в современной науке, возникло в рамках системных исследований в естествознании XVIII в. В логике развития академической науки XIX в. подходы естественных наук были перенесены на общественную и гуманитарную сферы – освоение принципов систематики и теория эволюции повлияли на становление науки о народах мира, которая была институализирована как этнография / этнология в начале XIX в. Ее формирование совпало с эпохой национального строительства, когда устойчивыми стали представления о единстве народов и территорий, ими населенных, в политических границах вновь создаваемых государств.

В России, которая изначально формировалась как многонародная держава, изучение и картирование культурного и языкового многообразия являлись важным фактором ее обустройства. Известно, что тематические карты, фиксирующие народонаселение страны, появились еще в XVII в. Интерес к национальной (этнической) проблематике, спроецированный на карты, был связан с формированием имперского пространства и демаркацией внешних рубежей государства, с его административно-территориальным структурированием и социально-политическими трансформациями XVIII в.

Развитию отечественной картографии способствовало создание Императорского Русского географического общества (ИРГО). На протяжении XIX в. при его поддержке была издана серия карт различных областей Российского государства. Первыми этнографиче-

скими картами стали «Этнографический атлас Европейской России» (1848) и «Этнографическая карта Европейской России» (1851), подготовленные одним из соучредителей ИРГО, ученым, статистиком П.И. Кёппеном [1. С. 310–314].

В 1860-е гг. в России появились карты, фиксирующие конфессиональную ситуацию в отдельных областях. Этапной в развитии картографии стала «Этнографическая карта Азиатской России» (1868), составленная одним из основоположников отечественной геополитики, действительным членом ИРГО, генерал-майором М.И. Венюковым в рамках подготовки Атласа Российской империи. На карте были обозначены ареалы 20 народов с указанием их численности. Приоритетной в их формализованном описании (определяющем содержание карт) являлась языковая принадлежность [2].

В 1875 г. была издана «Этнографическая карта Европейской России», составленная по поручению ИРГО его действительным членом, генерал-лейтенантом А.Ф. Риттихом. На карту были нанесены ареалы 46 народов Европейской России, Финляндии, Прибалтики, Закавказья, Украины, Беларуси, Молдовы. Сразу после выхода это издание получило высокую международную оценку [1. С. 322].

Развитие метода картирования как способа описания языкового и культурного многообразия в мировой и российской гуманитарной науке было связано со становлением ареальной лингвистики. Основные ее принципы были сформулированы в начале XX в.; но еще задолго до этого сложились методы описания территориального распространения отдельных языков.

В России вопросам языкознания традиционно уделялось большое внимание. Обсуждение языковых реалий и перспектив было связано с проблемами самоопределения народов империи, сопровождало становление националистических движений и определяло содержание академических проектов. В середине XIX в. в отечественной науке была осознана необходимость изучения пространства языков и диалектов.

Издание диалектологических атласов Европы придало новый импульс диалектологии России. К 1914–1915 гг. в стране было подготовлено издание «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии». На карте были показаны ареалы распространения диалектов русского, украинского и белорусского языков. Началось обсуждение программы составления диалектологического атласа русского языка. Связанная с лингвистической географией картография получила значительный импульс к развитию.

Сквозь призму географии в конце XIX в. рассматривались многие аспекты существования многонародного российского общества. Широкой известностью в стране пользовались концепции антропогеографии. Особенно популярными в России были сочинения Ф. Ратцеля: «Политическая география», изданная в 1897 г., «Земля и жизнь: сравнительное земледоведение» и «Народоведение» – в 1903–1906 гг. и др.

С 1894 по 1921 г. в России издавался журнал «Земледоведение». Он выходил под редакцией географа, археолога, этнографа Д.Н. Анучина. На страницах журнала Д.Н. Анучин публиковал переводы Ф. Ратцеля и много писал о «географии человека». Антропогеографические исследования предполагали соединение географического, историко-культурного, социально-экономического и политического аспектов в описании земного пространства, народов и государств.

Этот подход определил подготовку фундаментального «Атласа Азиатской России» (1914). В его структуре была выделена этнографическая карта, на которой были обозначенные ареалы расселения 21 народа, объединенных по языковому признаку. Согласно картам XIX – начала XX в. язык оставался важнейшей характеристикой народов при их локализации [3].

В конце XIX в. освоение языкового и этнокультурного многообразия России на уровне картографии было связано с утверждением концепта «культурного ареала». Полагают, что впервые этот термин был использован американским этнологом О. Мейсоном в 1894 г. Его научные взгляды определила концепция поэтапной эволюции культуры, предполагавшая признание единых принципов развития и сходство стадийно синхронных явлений культуры. На этой основе формировались типологический и классификационный методы, которые позволяли оценить множество однотипных реалий. Устойчивость признаков и определенность типов являлись потенциальной основой выделения культурного ареала.

Утверждение этого концепта в мировой науке связывали с трудами Ф. Ратцеля. Для изучения культур в их взаимодействии с окружающей средой ученый ввел понятия «культурных зон» и «кругов народов».

Творчество Ф. Ратцеля повлияло на формирование диффузионистского направления – теории «культурных кругов» / «культурных ареалов» в мировой этнологии / антропологии. В рамках этого подхода фокус был перенесен на оценку механизма распространения и развития культур. Объектом исследования стали целостные во времени и пространстве структуры – культурные круги, или ареалы. Принадлежавшая к диффузионистскому направлению историко-географическая школа в фольклористике поставила проблему миграции сюжетов, были разработаны принципы их географической генерализации и заложены основы выделения ареалов.

В работах лидера американской школы исторической антропологии Ф. Боаса и его последователей теория «культурных кругов» приобрела новое прочтение. Один из учеников Ф. Боаса, А. Крёбер, в работе «Типы индейской культуры в Калифорнии» (1904) использовал понятие «культурный ареал» как инструмент анализа. Под культурными ареалами он понимал ограниченные в пространстве и времени «конфигурации» признаков, подчеркивал их тесную связь с ареалами природными. Другой представитель этой школы, К. Уисслер использовал понятие «культурного ареала» / «культурной области» в работе «Американский индеец» (1917) для оценки «пищевых областей» автохтонных обитателей Нового Света [4].

Теоретические изыскания в антропологии XIX–XX вв. повлияли на формирование концепта «археологическая культура», который утвердился в науке с 1920-х гг. благодаря творчеству выдающегося археолога, одного из основоположников антропологического неозолуционизма Г. Чайлда. Занимаясь изучением европейских древностей, он выделил устойчивые типы памятников, комплекс связанных между собой черт обозначил в качестве «культурной группы», или «культуры», которую соотносил с категорией «народ». Позднее это определение было пересмотрено в пользу оценки технологий, периодов, локально-исторических систем и т.д. Но для мировой и российской археологии первой половины XX в. были актуальны методологические поиски, основанные на отождествлении археологических культур и этнокультурных областей [5].

Сходный подход с использованием концепта культурных ареалов осваивался в российской этнографии с начала XX в. Этапными в этом контексте стали работы выдающегося российского североведа В.Г. Богораз-Тана. В биографии этого ученого было участие в Северо-Тихоокеанской экспедиции Американского музея естественной истории 1897–1902 гг. под руководством Ф. Боаса. Его контакты с американскими и европейскими центрами антропологии и этнологии продолжались и в последующие десятилетия. Вместе с Л.Я. Штернбергом – лидером ленинградской школы этнографии, последовательным эволюционистом – он создавал Географический институт, который в 1925 г. был включен в Ленинградский университет в качестве факультета с общегеографическим и этнографическим отделениями.

В 1921 г. В.Г. Богораз-Тан приступил к чтению лекций в этом институте, затем – в Ленинградском

университете. Кратким изложением одного из его курсов стала работа «Распространение культуры на Земле (культ-круги Евразии в этногеографическом освещении)» (1925). Лекции 1926–1927 гг. были сведены в книгу «Распространение культуры на земле. Основы этногеографии» (1928). В ней ученый рассмотрел все человечество и отдельные народы в их пространственном, географическом измерении. «Этногеография, – писал он, – как видно из самого ее названия, есть наука, совмещающая в себе элементы этнографии и географии... В свою очередь, этнография почти таким же путем составляет смычку наук естественных и наук общественных и представляет широкое подножие для всех гуманитарных дисциплин, в частности для социологии.

Термин “этногеография” представляет видоизменение другого термина, предложенного Ф. Ратцелем, – “антропогеография”... Термин “этногеография” идет далее. Он подчеркивает дальнейшее развитие рода “человек”, разделение его на расы, народы, племена и включает всю совокупность культуры, созданной человеком на земле, во всем ее историческом и географическом разнообразии. Термин “антропогеография” относится к роду “человек”, термин “этногеография” относится к человечеству» [6. С. 41–42].

Этногеография, в определении В.Г. Богораз-Тана, в широком смысле являлась наукой о возникновении и развитии человеческой культуры, которую он считал возможным рассматривать на основе глобальной типизации и обобщений - «...путем извлечения из отдельных культурных кругов и национальных единиц общих основ организации и творчества, свойственных всему человечеству» [Там же. С. 62].

Ключевой в концепции В.Г. Богораз-Тана являлась категория «этногеографической зоны». Опираясь на тезис о связи культуры и места, В.Г. Богораз-Тан дал обзорную характеристику культур с привязкой к одним и тем же географическим зонам различных континентов. Он обозначил типы культур и закономерности их возникновения в эволюционной перспективе с привязкой к сходным локусам, подчеркнул их изначальную близость и проследил варианты развития от «первобытности» к современности.

Концепция этногеографических зон В.Г. Богораз-Тана предвляла выводы А. Крёбера, изложенные в его монографии «Configurations of Culture Growth» / «Конфигурации культурного роста» (1944), а также некоторые тренды мировой и российской этнологии и антропологии середины XX в., в том числе разработку теории хозяйственно-культурных типов и концептов культурной географии. Но в 1920-е гг. теоретические изыскания В.Г. Богораз-Тана не встретили понимания.

На Совещании этнографов Москвы и Ленинграда 1929 г. дискуссия по вопросам методологии, в том числе по теории этноса, была прекращена. Теоретической основой этнографии / этнологии было объявлено марксистское учение о социально-экономических формациях, а главной ее задачей – анализ социально-экономических отношений на примере конкретных сообществ. Рубеж 1920–1930-х гг. был ознаменован ревизией этнографии, ограничениями деятельности ее образовательных и академических центров.

Однако этнографическое картирование продолжало развиваться. Созданная в 1917 г. при Академии наук Комиссия по изучению племенного состава России и сопредельных стран вела подготовку карт многих областей страны. Они имели большое значение в ходе национального строительства в СССР и национально-территориального размежевания. Эти работы были синхронны развитию мировых практик картирования – с 1920-х г. в разных странах велась подготовка этнографических атласов, посвященных обзору и географической проекции явлений культуры и форм общественного бытия их народонаселения [7. С. 92].

Новый этап в развитии этнографического (этнонационального) картирования начался после Великой Отечественной войны в связи с реструктуризацией европейских и российских границ. Осмыслением и обоснованием этих практик стали работы П.И. Кушнера, посвященные методам исследований (типизации и картирования) этнических границ и территорий. Эта проблема и – шире – проблема соотношения этнографии и географии активно обсуждалась в советской науке того периода [8. С. 183–187].

В 1944–1952 гг. П.И. Кушнер возглавлял сектор этнографической статистики и картографии Института этнографии. Он и его коллеги разрабатывали принципы картирования различных компонентов культуры в их развитии. В 1951 г. была опубликована первая учебная карта народов СССР. Сложились основные типы этнографических карт. Учеными составлялись этнические и историко-этнические карты, характеризующие расселение народов в прошлом и настоящем, а также историко-этнографические карты, фиксирующие различные сферы их традиционной культуры [9].

Разработка методов картирования осуществлялась с учетом мирового опыта. В 1953 г. была создана Постоянная международная комиссия по историко-этнографическим атласам, в которую вошел один из лидеров советской этнографии того времени, специалист по этнологическому картированию С.И. Брук. Принципы и практики картирования широко обсуждались в науке различных стран на протяжении 1950–1960-х гг. [7. С. 96–101].

Актуализация методов ареального картирования и компонентного анализа в этнографии / этнологии была связана с концепцией хозяйственно-культурных типов (ХКТ) и историко-этнографических / историко-культурных областей (ИКО) М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова, которая была изложена ими в 1955 г. и в определенной степени стала адаптацией теории «культурных ареалов» к советской гуманитарной науке. Под ХКТ исследователи понимали комплекс хозяйства и культуры, который складывался у народов, достигших одинаковых уровней социально-экономического развития в сходных природно-географических условиях. Под ИКО понимали территории, у населения которых в силу общности истории, социально-экономического развития и контактов складывались сходные культурные особенности. В отечественной этнографии была разработана иерархическая система ИКО, которые делились на районы и, в свою очередь, входили в историко-этнографические / историко-культурные про-

винции. В границах Евразии было выделено 10 провинций, каждая из которых делилась на ряд областей [10. С. 3–17].

С 1950-х гг. представления о связи народов и культур с территориями их возникновения и природной средой определили содержание академического дискурса, который сопровождал становление теории этноса. Прикладным выражением этого направления стала серия карт и атласов. В 1961 г. под редакцией М.Г. Левина и Л.П. Потапова был издан «Историко-этнографический атлас Сибири», основные разделы которого, дополненные картами, были посвящены типам транспорта, жилищ, одежды, головных уборов, орнамента и шаманских бубнов коренных народов Сибири.

В 1967 г. появилось издание «Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. Середина XIX – начало XX века. Карты», основу которого составлял свод – 71 тематическая карта. Его предворяли «Этнографическая карта Европейской России (конец XIX – начало XX в.)», «Административная карта Европейской России» и карты «Растительность Европейской России» и «Почвы Европейской России».

Подготовка и выход этнографических атласов совпадали с развитием лингвистической географии в СССР и в мире с 1950-х гг. На основе ареального подхода, утвердившегося в рамках этого направления, были проведены исследования, ставшие основой серии диалектологических атласов европейских языков [11. С. 12]. Использованные в них концепты «языкового» («диалектного») и «культурно-исторического» ареалов соотносились с реалиями этнических языков и культур на синхронном и диахронном уровнях с учетом межкультурных взаимодействий.

Ареальный принцип использовался при издании в 1970 г. фундаментальной работы «Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма (украшение крестьянских домов и одежды). Середина XIX – начало XX в.». Его основой были методы типологизации, компонентного анализа и ареального моделирования.

Основной изысканий советских этнографов второй половины XX в. являлся концепт «этнической территории» (пространства становления того или иного этноса), сложившийся в рамках советской теории этноса. Анализ этногенеза и этнической истории предполагал возможность совмещения лингвистических, культурных и этнических ареалов в прошлом и настоящем. Территории и характерные для них природные ландшафты исследователи рассматривали как основу жизнедеятельности и культуры формирующихся в их пределах этносов. Целостность и непрерывность этнической территории рассматривали как условие их консолидации. В исторической перспективе территории могли меняться – возникали этнически смешанные ареалы и анклавы. История этносов сопровождалась движениями за создание территориальных автономий различного уровня. Этот процесс был особенно характерен для периода образования национальных государств [12].

С опорой на такую трактовку понятия «этнической территории» на материалах различных сообществ отрабатывались принципы ареального картирования. Его цель состояла в отображении элементов этнических культур с привязкой к ландшафтам в соответствии с исторической хронологией. Карты рассматривались как инструмент исследований, ориентированных преимущественно на типологический подход; они позволяли выявлять динамику культуры (архаику и новации), обозначать субэтнические ареалы и зоны межэтнических взаимодействий. Ареальное картирование давало возможность формализовать описания, оно оценивалось специалистами как эвристический метод, так как позволяло выявлять новые закономерности и проблемы, требующие осмысления [13].

Опыт ареальных исследований в российской науке широко обсуждался на протяжении 1970–1980-х гг., была выпущена серия сборников, в том числе материалы конференции «Проблемы атласной картографии» Башкирского научного центра. В 1983 г. теория и практика картирования была обобщена в издании «Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос)», где на примере культур, языка и фольклора народов Европы, Азии, Америки были рассмотрены принципы выделения диалектов и языков в лингвогеографическом аспекте, этнических групп и народов – в историко-этнографическом.

Одним из итогов коллективного исследования стал вывод о сложности корреляции различных признаков в рамках системных ареальных исследований. Тем не менее они продолжали использоваться в качестве инструмента анализа этноязыковых, этнокультурных и этногенетических процессов древности и современности. Так, в работе В.С. Титова «Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов: XIX – начало XX в.» (1983) традиционная культура белорусов рассматривалась во всем многообразии локальных вариантов. Использованный автором принцип ареального картирования в сочетании с культурно-историческим подходом позволил выделить в границах Белоруссии нескольких историко-этнографических областей.

В работе «Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт ареального сравнительного исследования)» (1984) ученый-сибиревед Н.А. Алексеев предпринял ареальную характеристику сакральных практик якутов, алтайцев, хакасов, шорцев, тувинцев и тофаларов с позиций преемственности в развитии аутентичных религиозных воззрений. Автор картировал различные типы шаманских атрибутов, сделав выводы о присутствии в шаманизме тюрков Сибири различных, в том числе иноэтнических, комплексов. Это исследование обозначило перспективы сравнительных ареальных изысканий.

Интеграция этнографии, лингвистики, археологии в формате ареального подхода сохранила актуальность в рамках культур- и этногенетических исследований в российской науке вплоть до конца XX в. Совмещение разновременных ареалов топонимики и языка с археологическими и этническими ареалами стало основанием для реконструкции этнокультурных сообществ Евразии

в их динамике. Пафос таких исследований определяли представления о непрерывности и многокомпонентном характере глобального этногенеза, итогом которого являлись современные народы континента.

Широкомасштабный характер имели этногенетические и этноисторические обобщения, сделанные на основе ареальных исследований в фольклористике. Так, например, усилиями археолога, этнографа, мифолога Ю.Е. Березкина был создан аналитический каталог фольклорно-мифологических мотивов (более 2 200 ед.), обработка которых и ареальное картирование позволяли моделировать процессы становления народов и культур Старого и Нового Света, а также изменения векторов обмена информацией с древности до современности [14].

Ареальный метод в изучении этногенеза продолжал использоваться в археологии и этнографии Сибири на рубеже XX–XXI вв. Однако он был скорректирован теорией и практиками конструктивизма, который акцентировал социально-политические факторы, определяющие консолидацию этнических сообществ. Под влиянием конструктивизма была предпринята попытка поиска и осмысления структуры и динамики идентич-

ностей; типологические исследования как основа ареального картирования в этнографии / этнологии отошли на второй план.

Новым стимулом к развитию ареального подхода в этнографических / этнологических исследованиях в России начала XXI в. стала концепция локальных и магистральных культур, сформулированная одним из лидеров современной российской этнологии А.В. Головневым в работе «Антропология движения» (2009). Согласно этой теории, локальные культуры формировались на основе эко-адаптации, магистральные являлись собой механизм освоения социальных ресурсов и глобальных пространств. Они синтезировали локальные культуры в сложные сообщества, которые в разные эпохи имели вид археологических культур, языковых семей, государств.

Интерпретация развития культур и народов Евразии сквозь призму антропологии движения вошла в методологию современной российской науки – этнографии / этнологии и археологии. Их перспективы определил широкий диапазон исследовательских технологий, среди которых важное место сохранил ареальный подход.

ЛИТЕРАТУРА

1. Петронис В. *Pinge, divide et impera: взаимовлияние этнической картографии и национальной политики в поздней имперской России (вторая половина XIX века)* // *Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи*. М.: НЛЮ, 2010. С. 308–329.
2. Россия, Азиатская часть: этнографическая карта Азиатской России / сост. М. Венюков. СПб.: Ильин, 1896.
3. Атлас Азиатской России / изд. Переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия. СПб.: Т-во «А.Ф. Маркс», 1914. 71 карта.
4. Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в Американской этнографии. М.: Наука, 1979. 288 с.
5. Лынша В.А. Гордон Чайлд и американский неозволюционизм // *Этнографическое обозрение*. 2001. № 5. С. 3–17.
6. Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры на земле. Основы этногеографии. М.–Л.: Гос. изд-во, 1928. 314 с.
7. Брук С.И., Токарев С.А. Проблемы составления европейского историко-этнографического атласа (по материалам Международной конференции по этнографическому картографированию в Загребе 7–10 февраля 1966 года) // *Советская этнография*. 1966. № 5. С. 91–101.
8. Никишенков А.А. П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920–1950-е годы // *Этнографическое обозрение*. 2007. № 3. С. 183–187.
9. Брук С.И., Козлов В.И. Основные проблемы этнической картографии // *Советская этнография*. 1961. № 5. С. 9–26.
10. Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области // *Советская этнография*. 1955. № 4. С. 3–17.
11. Вопросы славянского языкознания на IV Международном съезде славистов // *Вопросы языкознания*. 1959. № 1. С. 3–15.
12. Козлов В.И. Этнос и территория // *Советская этнография*. 1971. № 6. С. 89–100.
13. Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, 1974. 324 с.
14. Березкин Ю.Е. Мифология аборигенов Америки: результаты статистической обработки ареального распределения мотивов // *История и семиотика индейских культур Америки*. М.: Наука, 2002. С. 259–346.

Irina V. Oktyabrskaya, Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS (Novosibirsk, Russia). E-mail: siem405@yandex.ru

AREAL RESEARCH IN RUSSIAN ETHNOGRAPHY: TRADITIONS AND CURRENT STATE

Keywords: ethno-cultural diversity of Russia, areal research, ethnographic mapping.

The content of the article is determined by the history of Russian Ethnography in the history of the Russian state. The purpose of the author's research is to trace the formation and the development of the areal method as a way to describe and study the ethnic and cultural diversity of the country. The main sources of the article are the ethnographic maps and atlases published in Russia in the XIX–XX centuries, as well as the works of Russian scientists devoted to the substantiation of the principles of an areal research. Their history goes back to mapping the cultural and linguistic diversity of the Russian state. One of the conclusions of the article is the thesis that the interest in ethnic issues projected on the maps was associated with the formation of the Imperial space and its administrative-territorial structuring. The areal mapping as a form and a tool for describing the population of Russia appeared in the XVII century and is used up to the present day. The article also substantiates the position that the formation and the development of the areal method in Russian Ethnography was determined by the broad context – the development of the geography, the dialectology, the linguistic geography, the folklore. The approval of the concept of the "cultural area" was associated with the formation of the anthropogeography and the theory of "cultural circles". A milestone in its development was the work of the outstanding Russian / Soviet ethnographer V. G. Bogoraz-Tan. Based on an analysis of his works of the early twentieth century, it is concluded that the concept of ethnogeographic zones proposed in them has anticipated some trends in world and Russian Ethnology of the mid-twentieth century, including the development of the theory of economic and cultural types and the concepts of the cultural geography. The actualization of the method of areal mapping in Soviet science was associated with the introduction of the concept of economic and cultural types and historical and ethnographic areas, as well as with the approval of the theory of the ethnos. In the theory of ethnos, the thesis about the connection between peoples and cultures with the territories of their origin has become an axiom. This thesis is embodied in a series of maps and atlases published in Russia using the methods of the typology, the component analysis, and the areal modeling. The recognition of the possibility to combine the linguistic,

cultural and ethnic areas in the past and present was corresponded to the concepts of ethnogenesis and ethnic history forming in the Russian Ethnography. At the turn of the XIX-XX centuries, these concepts were corrected by the theory and the practice of the constructivism. From a new perspective, the concept of the ethnogenesis has lost its former relevance. In the methodology of modern Russian Ethnology the development of cultures and peoples of Eurasia are interpreted through the prism of the anthropology of movement. The areal approach has retained an important place among the relevant research technologies in this area. The areal method in its traditional and modern interpretation are steadily used In the Russian Ethnography. This conclusion has become the main one for this article.

REFERENCES

1. Petronis, V. (2010) Pinge, divide et impera: vzaimovliyanie etnicheskoy kartografii i natsional'noy politiki v pozdneimperskoy Rossii (vtoraya polovina XIX veka) [Pinge, divide et impera: the mutual influence of ethnic cartography and national politics in late imperial Russia (second half of the 19th century)]. In: Aust, M., Vulpius, R. & Miller, A. (eds) *Imperium inter pares: rol' transferov v istorii Rossiyskoy imperii* [Imperium inter pares: the role of transfers in the history of the Russian Empire]. Moscow: NLO. pp. 308–329.
2. Venyukov, M. (1896) *Rossiya, Aziatskaya chast' : etnograficheskaya karta Aziatskoy Rossii* [Russia, Asian part: an ethnographic map of Asian Russia]. St. Petersburg: Il'in.
3. Tkhorzhevsky, I.I. & Tsvetkov, M.A. (eds) (1914) *Atlas Aziatskoy Rossii* [Atlas of Asian Russia]. St. Petersburg: A.F. Marks.
4. Averkieva, Yu.P. (1979) *Istoriya teoreticheskoy mysli v Amerikanskoj etnografii* [History of Theoretical Thought in American Ethnography]. Moscow: Nauka.
5. Lynsha, V.A. (2001) Gordon Chayld i amerikanskiy neoevolutsionizm [Gordon Child and American Neo-evolutionism]. *Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic Review*. 5. pp. 3–17.
6. Bogoraz-Tan, V.G. (1928) *Rasprostranenie kul'tury na zemle. Osnovy etnogeografii* [The dissemination of culture on earth. Foundations of ethnogeography]. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo.
7. Bruk, S.I. & Tokarev, S.A. (1966) Problemy sostavleniya evropeyskogo istoriko-etnograficheskogo atlasa (po materialam Mezhdunarodnoy konferentsii po etnologicheskomu kartografirovaniyu v Zagrebe 7–10 fevralya 1966 goda) [Problems of compiling a European historical and ethnographic atlas (based on the materials of the International Conference on Ethnological Mapping in Zagreb on February 7–10, 1966)]. *Sovetskaya etnografiya*. 5. pp. 91–101.
8. Nikishenkov, A.A. (2007) P.I. Kushner i razvitie sovetskoy etnografii v 1920–1950-e gody [P.I. Kushner and the development of Soviet ethnography in the 1920s – 1950s]. *Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic Review*. 3. pp. 183–187.
9. Bruk, S.I. & Kozlov, V.I. (1961) Osnovnye problemy etnicheskoy kartografii [The main problems of ethnic cartography]. *Sovetskaya etnografiya*. 5. pp. 9–26.
10. Levin, M.G. & Cheboksarov, N.N. (1955) Khozyaystvenno-kul'turnye tipy i istoriko-etnograficheskie oblasti [Economic and cultural types and historical and ethnographic areas]. *Sovetskaya etnografiya*. 4. pp. 3–17.
11. Anon. (1959) Voprosy slavyanskogo yazykoznaniya na IV Mezhdunarodnom s"ezde slavistov [Problems of Slavic linguistics at the Fourth International Congress of Slavists]. *Voprosy yazykoznaniya*. 1. pp. 3–15.
12. Kozlov, V.I. (1971) Etnos i territoriya [Ethnicity and territory]. *Sovetskaya etnografiya*. 6. pp. 89–100.
13. Bruk, S.I. (ed.) (1974) *Problemy kartografirovaniya v yazykoznanii i etnografii* [Problems of mapping in linguistics and ethnography]. Leningrad: Nauka.
14. Berezkin, Yu.E. (2002) Mifologiya aborigenov Ameriki: rezul'taty statisticheskoy obrabotki areal'nogo raspredeleniya motivov [Mythology of American Aborigines: Results of Statistical Processing of Areal Distribution of Motives]. In: Tishkov, V.A. (ed.) *Istoriya i semiotika indeyskikh kul'tur Ameriki* [History and Semiotics of American Indian Cultures]. Moscow: Nauka. pp. 259–346.

УДК 39:316.7

DOI: 10.17223/19988613/68/15

Е.А. Пивнева

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: К ПРОБЛЕМЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Публикуется в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020–2022 гг.

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Статья посвящена идентификационным стратегиям коренных малочисленных народов Севера. В фокусе внимания находится вопрос о том, как влияют на этническую идентичность людей факторы, порожденные особым правовым статусом. Установлено на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что анализируемый случай отражает ситуацию, когда организация этнических идентичностей коренных малочисленных народов Севера основывается, скорее, не на объективных культурных характеристиках, а на приписывании ограниченному набору признаков определенных социальных значений.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера; идентификационные стратегии и границы; множественная социальная идентичность; этничность; индигенность; транскulturация.

Исследование направлено на выявление факторов, поддерживающих социальную дифференциацию локальных сообществ (этнические границы) в современных условиях культурной унификации. В фокусе внимания находится вопрос о том, как влияют на идентичность людей факторы, порожденные их особым правовым статусом, терминологически закрепленным в понятии «коренные малочисленные народы». Актуальность и практическая значимость этой тематики имеет отношение к политике признания коренных народов и вопросам управления культурным разнообразием нашей страны. Осмысление данных процессов важно и с сугубо академической точки зрения. Как верно заметила М.С. Куропятник, в современных дискурсивных практиках коренные народы, так же как и другие социальные общности, сопряженные с категорией «этничность», представляются «то как статусные группы, то как “воображаемые сообщества”, то как объективно существующие этносоциальные образования, для которых оказываются релевантными как объективные характеристики, набор которых может значительно варьировать, так и субъективные признаки (групповое самосознание или идентичность). При этом парадигма используемых теоретических подходов – от позитивизма до конструктивизма – характеризуется большим разнообразием и крайней противоречивостью» [1. С. 162].

В настоящей статье этничность рассматривается как одна из форм социальной идентичности. На эту тему существует обширнейший корпус исследований, частично обобщенных в вышедшем недавно под общим руководством И.С. Семененко фундаментальном энциклопедическом издании «Идентичность: личность, общество, политика» [2]. Его авторы отмечают, что

сегодня маятник явно на стороне приверженцев понимания этничности как социально конструируемого и инструментально используемого в политических целях феномена, как формы «социальной организации культурных различий» [3]. В то же время в ней стали выделять динамические и ситуативные характеристики, позволяющие совмещать идентификационные ориентиры разной природы [4. С. 448]. Как пишет Л.М. Дробижева, «уже в начале 1990-х годов стало очевидным, что в социальных науках утверждается представление об этничности как о гибком разноуровневом и зависимом от социального, политического контекста явлении» [5. С. 81–82]. Для данной статьи сохраняет свою актуальность концепция этнической границы, разработанная норвежским ученым Ф. Бартом. Он, в частности, отмечал, что приписывание этнической идентичности есть главный признак этнической группы, а сама группа существует до тех пор, пока сохраняется культурная граница между ней и другими группами. Именно ментальная граница формирует этническую единицу, и возникает она на основе некоего набора дифференцирующих признаков и ценностных ориентаций, которые могут меняться [3, 6].

В качестве объекта исследования выступают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (далее – КМНСиДВ РФ, КМНС, коренные малочисленные народы Севера, народы Севера). Это прежде всего правовая категория, принадлежность к которой служит основанием для обеспечения государственной поддержки. В середине 1920-х гг. основанием для выделения в особую группу так называемых малых народностей послужили особенности их традиционных занятий (оленьеводство, охота, рыболовство, морской зверобойный промысел), быта (коче-

вание или полуседельный образ жизни), а также относительно низкий уровень социально-экономического развития [7. С. 10]. С тех пор многие из перечисленных критериев утратили свою значимость. По принятому в 1999 г. Федеральному закону «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» таковыми считаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тыс. человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями [8]. Им предоставляются государственные гарантии защиты коллективных прав, традиционного образа жизни, культуры, среды обитания и языка. Одновременно представители этих этнических групп настаивают на признании и законодательном закреплении их особого статуса как коренных народов, наделяемого международным сообществом наибольшим объемом прав. Вокруг статуса КМНССиДВ РФ, их правовых требований и культурных предпочтений постоянно возникают споры и даже конфликты [9. С. 3–4].

В публикациях североведов отмечается, что государственная этнокультурная политика, создающая для КМНС особые права и социальные преференции (так называемые льготы), способствует формированию в обществе аборигенов правовой (статусной, списочной) идентичности. При этом правовой статус в ряде случаев становится определяющим фактором этнической идентичности, а этнонимы, за которыми скрывается особая культура, теряют свое значение [10–15 и др.]. Активно протекающие в сибирских регионах социокультурные изменения (миграция, урбанизация, социальное расслоение и пр.) способствуют возникновению новых идентификационных границ, которые будут рассмотрены далее на примере Ханты-Мансийского округа – Югры. Работа основана на собранных в разные годы в этом округе полевых материалах, использованы также нормативные документы, научная литература и публикации в СМИ.

Современный облик Западной Сибири – как социально-экономический, так и этнокультурный – во многом продукт миграционных процессов, связанных с развитием нефтегазовой промышленности. Примерно с середины 1960-х гг., когда шло активное нефтегазовое освоение, началось массовое и «взрывное» заселение региона [16. С. 60]. К моменту проведения всесоюзной переписи 1979 г. население Ханты-Мансийского округа увеличилось в 2 раза, достигнув 570,8 тыс. чел., а в 2010 г. составило уже 1 532 тыс. чел. В настоящее время в округе проживают представители более 120 народов, при этом 82% приходится на три основные этнические группы – русских, татар и украинцев. В составе населения ХМАО–Югры принято выделять «коренные» (сформировавшиеся на этой территории) и «пришлые» (появившиеся там позже, уже как сложившиеся народы). Из них первые (ханты – 19 354 чел., манси – 10 392 чел., другие коренные малочисленные народы – 602 чел.) занимают в этнической палитре округа всего около 2%, однако в региональной политике за ними признается особая «структурообразую-

щая» роль [17]. Стоит также отметить, что развитие нефтяной и газовой промышленности стало определяющим фактором урбанизации региона [18]. В соответствии с общей тенденцией увеличивается доля городских жителей и среди коренных малочисленных народов Севера: у хантов в 1979 г. – 22,6%; в 1989 г. – 29,8; в 2002 г. – 34,6; в 2010 г. – 38,4%; у манси в те же годы – 35,3, 45,6, 51,8, 57,3% соответственно [Там же].

Сложившаяся ситуация влияет на разрыв территориальной и этнической идентификации, способствует этническому смешению и распространению множественной идентичности у представителей КМНС. Но, несмотря на формирование «измененной» идентичности, они стараются овладеть би(поли)культурными компетенциями без потери ценностей собственной культуры [19]. Более того, опыт межэтнического общения обуславливает больший интерес к своей этничности. «Постоянный процесс противопоставления – символического или реального, прямого или непрямого, при помощи которого коренные отличают себя от большинства, – является решающим фактором поддержания “непрерывных систем идентификации” (persistent identity systems) и усиления существующих границ» [1. С. 171].

Тенденция поддержания этнокультурных границ наметилась в сообществах северян с конца 1980-х гг., когда этничность стала осмысливаться ими как продуктивная стратегия адаптации к изменившимся социально-политическим условиям. Е.Ю. Кошелева, изучавшая современные общественные движения в среде КМНС, пишет о том, что этничность – «своего рода убежище и комфортная ниша для человека в ситуации внешних вызовов и нестабильности социального пространства» [20. С. 309]. Начало процессов этнической мобилизации в Ханты-Мансийском автономном округе связывают с созданием в 1989 г. общественной организации «Спасение Югры», нацеленной на консолидацию проживающих в округе представителей народов Севера («коренная Югра»), сохранение их этнической самобытности, языка и культуры. Активизация этнокультурного потенциала коренных народов в Югре, как и в ряде других сибирских регионов, во многом базировалась на сопротивлении нефтяному доминированию, ставшему мощным фактором роста этнического самосознания. В борьбе за свои права югорские аборигены добились определенных результатов. В частности, достигнут известный компромисс в развитии промышленного производства и традиционных отраслей хозяйства, а набор новых идентичностей народов Севера подкрепился правовой основой (в 1990-х – начале 2000-х гг. в России вышла серия специальных федеральных законов, касающихся жизни коренных малочисленных народов) [13]. Кроме законодотворческой деятельности, региональная и всероссийская ассоциации малочисленных народов Севера провели множество мероприятий, способствующих развитию этнических языков, промыслов, сувенирного производства, изданию художественной литературы, учебников, закреплению международных связей с представителями аборигенных народов других стран. В целом этнические лидеры провели большую работу по сплочению

этих народов, осознанию ими своей общности, общих бед и путей их устранения [21–23].

С конца 1980-х гг. в округе широкое распространение получил термин «коренные малочисленные народы Севера». Как его синоним стало использоваться также слово *аборигены*. В качестве любопытной подробности здесь будет уместным вспомнить, что еще в начале 2000-х гг. в рецензии на независимый экспертный доклад «Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», который готовился в то время в Институте этнологии и антропологии РАН, наша питерская коллега Л.Р. Павлинская сочла использование слов «абориген», «аборигенность» несколько странным аргументируя это тем, что северные народы, в том числе и малочисленные, к XX в. прошли огромный путь в своем развитии, достигнув «цивилизационного уровня». Сегодняшнее измерение данного концепта определяется «трансформацией его внутреннего содержания и символической перекодификацией: от понятия, ассоциируемого с периферийностью, дискриминацией и стигматизацией, к термину, актуализирующему культурный примордиализм, поддерживающему и легитимизирующему специфические права коренных народов, что во многом отвечает современным политическим стратегиям элит этих народов» [1. С. 162].

Более того, идентичность вышла за пределы региона и страны и опирается на концепцию «коренного народа» в международной трактовке. В одном из своих интервью идеолог обско-угорского «этнического возрождения» Е.Д. Айпин на вопрос, почему для него было так важно начать с международного сотрудничества, ответил: «Потому что в мире уже был накоплен опыт по защите прав коренных народов, в котором мы нуждались» [24. С. 26]. Слово «индигенность» (от английского *indigenous peoples*) как фактор принадлежности к коренному народу все чаще стало появляться и в исследовательском дискурсе [1, 25 и др.]. По словам В.А. Тишкова, «“индигенность” сегодня – это не менее крутой концепт, чем бывший “этнос”. Тот хотя бы имел ограниченное территориальное и историческое хождение. А индигенности ныне придается универсальный статус на уровне ООН и сопредельных международных организаций» [26. С. 504].

Успехи глобального индигенного движения обусловлены, с одной стороны, широким распространением представлений, исходящих из признания ценности и необходимости сохранения разных культур, с другой – активной борьбой самих аборигенов против глобального давления доминирующего общества в защиту ценностей традиционной культуры, за официальное признание соответствующих коллективных прав. В современном значении концепт «индигенность» выражает стремление коренных народов самостоятельно определять перспективы своего развития. Коренные народы конституируют и репрезентируют свою идентичность и культуру с учетом общественного мнения, национального законодательства и международно-правового регулирования, что приводит к фундаментальным трансформациям самих акторов. Их характеристики больше не могут быть представлены только в терми-

нах примордиальности [27. С. 387]. Сегодня российские представители народов Севера активно участвуют в деятельности международных организаций, осваивают опыт аборигенного самоуправления и апеллируют к мировому сообществу. Такая идентичность близка к инструментальному пониманию, ее можно рассматривать как стратегию, направленную на достижение определенных целей: самопрезентации, уважения к себе (группе), ощущения психосоциального благополучия, признания со стороны значимых других [28. С. 46].

Наряду с этим все острее становятся политические дискуссии по проблемам соотношения индивидуальных и коллективных прав применительно к коренным народам. С одной стороны, предоставление особых прав и привилегий этим народам рассматривается в качестве необходимого обеспечения их выживания и сохранения, а также как восстановление по отношению к ним исторической справедливости. С другой – в этом усматривается как минимум два основных объективных противоречия: между интересами населения, ведущего традиционный образ жизни, и общегосударственными потребностями развития современной промышленности, обеспечивающего блага цивилизации для основной части населения страны, но ведущего к изменению традиционной среды обитания коренных народов; между коренными народами и иными, проживающими на данной территории [9. С. 12].

Вероятно, разрешение этих противоречий можно найти только во взаимовыгодном диалоге. Плодотворные модели позиционирования северных меньшинств, как заметил А.В. Головнев, сочетают ценности «коренных» и «укорененных». «Именно на основе внутрирегиональных практик диалог культур на Севере сдвинулся в последние годы от фронтального противостояния к конструктивному взаимодействию» [29]. Полевые материалы показывают, в ХМАО–Югре ведется подобная работа по интеграции населения округа в единую общественную среду основе синтеза культур аборигенного и пришлого населения [30]. В интерпретации некоторых исследователей такая политика получила название *интегративного культа Югры*: «в узкоэтническом смысле – как культивирование этничности обских угров и в широком смысле понимания Югры как определенной территории» [31. С. 199]. Вот одно из высказываний по этому поводу губернатора округа Н.В. Комаровой: «Мое личное убеждение состоит в том, что мы, “пришлые население”, не должны себя отделять от коренного, и наоборот. И для этого есть все возможности у каждого из нас – на национальном, психологическом, экономическом уровнях. И в этом наша сила. И второе, все-таки коренные народы Югры – это люди, которые исторически первые пришли на эту землю... Сохранение и развитие коренных народов – это фундаментальные вещи и наша первоочередная задача» [32]. Стоит подчеркнуть, что это еще и важнейшая политическая задача властей округа, статус которого определяется именно проживанием на данной территории коренных малочисленных народов, что подчеркнуто в его основном законе – Уставе.

Практическая реализация принятых законов, касающихся КМНС, многие годы осложнялась отсутстви-

ем на федеральном уровне официально утвержденного порядка отнесения отдельных граждан к коренным малочисленным народам. В свое время один из сотрудников Администрации ХМАО–Югры заверил меня, что нет и никогда не было проблемы в подтверждении этнической принадлежности: «Даже сегодня при записи актов гражданского состояния можно спокойно сказать, где ребенок родился и записать его ханты, манси и пр., никто тебе не имеет права отказать... эта проблема некорректно обозначается. Есть проблема подтверждения правосубъектности коренных по признаку образа жизни, которую в затянувшихся дискуссиях условно называли документальным подтверждением этнической принадлежности, но на самом деле имеется в виду, конечно же, совсем другое. Имеется в виду, каким образом, по каким критериям фиксировать все те признаки, совокупность которых нам позволяет распространять на человека так называемые гарантии прав коренных» [33]. Но, как показывают полевые материалы, на практике люди сталкивались с этой проблемой и зачастую вынуждены проходить различные бюрократические процедуры объективации принадлежности к КМН [14, 15 и др.]. 6 февраля 2020 г. президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Теперь люди смогут единожды представить сведения и документы о себе, избавившись от необходимости многократно повторно представлять информацию в различные заинтересованные органы.

В целом анализируемый случай отражает ситуацию, когда организация этнических идентичностей КМНС основывается, скорее, не на объективных культурных характеристиках, а на приписывании ограниченному набору признаков определенных социальных значений (см.: [34]). Здесь мы, вероятно, сталкиваемся с феноменом реификации, когда определенные классификационные термины наделяются собственной идентичностью [35. С. 16]. В настоящее время на государственном уровне четко прослеживается тенденция, направленная на разведение правовой и этнической идентичности. Особые права и преференции для КМН обусловлены не столько этнической принадлежностью, сколько особым (традиционным) образом жизни. Однако сопряженность этнической и правовой идентичности по-прежнему актуальна среди хантов и манси, в том числе проживающих в городе. Мне дово-

дилось слышать, например, такие высказывания: «Как это мы не КМНС, а кто же мы тогда?» [33]. Веденная и утвердившаяся в советское время номенклатура народов Севера оказала существенное влияние на их самосознание. «Теперь, после нескольких десятилетий, когда эта номенклатура широко использовалась в официальных документах (таких как свидетельство о рождении, паспорт, похозяйственные книги, различные справки, списки и отчеты), а также в литературе и средствах массовой информации, многие народы Севера отчасти приняли ее», – справедливо считает Н.Б. Вахтин [36. С. 20].

Симбиоз этничности с правом «загружает» идентичность представителей этих народов дополнительными смыслами, создавая условия возникновения ее особых форм, в которые также «вмонированы» в иерархическом или бессистемном порядке другие – как более частные, так и более общие идентичности [37]. Очевидно, что коллективная идентичность дает дополнительные возможности адаптации в меняющемся мире. В то же время в современных условиях увеличивается значение удельного веса личностных начал. Хорошо известно, что подобные сообщества (даже на уровне отдельных народов) внутренне неоднородны. Групповая лояльность и включенность в этнические сети в некоторых случаях может означать воспроизводство традиционного образа жизни и ценностей, а в других – новаторский процесс производства современных отношений и соответствующих современности (или постсовременности) культурных форм [38. С. 155].

Сегодня североведы все чаще задаются вопросом о том, каким образом коллективные стратегии идентичности соотносятся с практиками этнической идентификации отдельного человека. Рациональное осмысление проблем этнической идентичности должно элиминировать стереотипное представление об этнических меньшинствах как об однообразной социокультурной и политической массе, переживающей и решающей исключительно проблемы своей идентификационной уязвимости в условиях динамично развивающихся процессов современного полиэтнического общества [39]. В связи с этим в качестве одной из перспективных исследовательских задач этнологии / социально-культурной антропологии представляется изучение транскультурных идентичностей как особых форм культурного многообразия – когда люди живут и мыслят себя одновременно в разных культурных измерениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Куропятник М.С. От сигмы к самоутверждению: понятие «коренной народ» в современном дискурсе // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. V, № 1. С. 161–173.
2. Идентичность: личность, общество, политика / отв. ред. И.С. Семененко. М. : Весь мир, 2017. 992 с.
3. Этнические группы и социальные границы / под ред. Ф. Барта. М. : Новое издательство, 2006. 200 с.
4. Семененко И.С. Этнополитический конфликт // Идентичность: личность, общество, политика. М. : Весь мир, 2017. С. 445–453.
5. Дробижева Л.М. Изучение этничности и межнациональных отношений в социологии // Научные исследования в области этничности, межнациональных отношений и истории национальной политики. М. : ИЭА РАН, 2018. С. 74–100.
6. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности : учебник для вузов. М. : Изд-во МГУ, 2011. 376 с.
7. Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера / отв. ред. И.С. Гурвич. М. : Наука, 1971. 214 с.
8. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации : федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.06.2020).
9. Юдин В.И. Индигенная перспектива в контексте политики современного государства : дис. ... д-ра полит. наук. СПб., 2013. 339 с.

10. Батянова Е.П. Метаморфозы этнической самоидентификации (на примере телеутов) // Этническая культура: проблема самосохранения в современном контексте. М. : Нальчик, 1997. С. 148–161.
11. Шаховцов К.Г., Функ Д.А. О современных процессах формирования этнической самоидентификации у селькупов Томской области // Этнография народов Западной Сибири : к юбилею д-ра ист. наук З.П. Соколовой. М. : ИЭА РАН, 2000. С. 310–324.
12. Сирина А.А. Кто такие камчадалы и почему ты – один из них? Государственная политика и проблемы формирования этнической идентичности камчадалов Магаданской области // В поисках себя: Народы Севера и Сибири в постсоветских трансформациях. М. : Наука, 2005. С. 85–107.
13. Новикова Н.И. Охотники и нефтяники : исследование по юридической антропологии. М. : Наука, 2014. 407 с.
14. Маслов Д. Этничность и бюрократия: заметки о солидарности коренных малочисленных народов республики Алтай // Сибирские исторические исследования. 2014. № 2. С. 60–82.
15. Пивнева Е.А. Коренные малочисленные народы Севера между этнической идентичностью и правовым статусом // Этнокультурное пространство Югры: опыт реализации проектов и перспективы развития. Ханты-Мансийск, 2019. С. 14–29.
16. Мисевич К.Н., Чуднова В.И. Население районов современного промышленного освоения Севера Западной Сибири. Новосибирск, 1973. 209 с.
17. О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры до 2020 года и на период до 2030 года : распоряжение Правительства ХМАО–Югры от 22.03.2013 № 101-рп. URL: <http://e.120-bal.ru/ekonomika/12939/index.html> (дата обращения: 04.07.2020).
18. Стась И.Н. Урбанизация Ханты-Мансийского автономного округа в период нефтегазового освоения (1960-е – начало 1990-х гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2014. 363 с.
19. Сподина В.И. Влияние полиэтничной среды на содержание этнического «Я-образа» // Евразийский Союз Ученых. Исторические науки. 2016. № 4 (25). С. 147–148.
20. Кошелева Е.Ю. Причины появления общественных движений коренных малочисленных народов Севера на рубеже 1980–90-х гг. // Культуры и народы Западной Сибири в контексте междисциплинарного изучения : сб. музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского. Томск, 2005. Вып. 1. С. 308–315.
21. Соколова З.П. Народы Севера России в условиях экономической реформы и демократических преобразований // Народы Севера России в условиях экономических реформ и демократических преобразований. М., 1994. С. 16–49.
22. Мартынова Е.П. Обско-угорская этническая мобилизация // Вестник угроведения. 2019. Т. 9, № 2. С. 363–372.
23. Перевалова Е.В. Обские угры и ненцы Западной Сибири: этничность и власть. СПб. : МАЭ РАН, 2019. 350 с.
24. Айпин Е. Не погаснет очаг // Мир коренных народов. Живая Арктика. 2015. № 31. С. 22–28.
25. Соколовский С.В. Политика признания коренных народов в международном праве и в законодательстве Российской Федерации // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М. : ИЭА РАН, 2016. Вып. 250. 69 с.
26. Тишков В.А. Да изменится молитва моя: 30 лет спустя // XIII Конгресс антропологов и этнологов России. М. ; Казань, 2019. С. 498–506.
27. Куропятник М.С. Индигенность в контексте глобализации: эпистемологический и социокультурный аспекты // Вестник РУДН. Сер. Социология. 2019. № 3. С. 387–396.
28. Филиппова Е.И. Территории идентичности в современной Франции. М., 2010. 300 с.
29. Головнев А.В. Этничность: устойчивость и изменчивость (опыт Севера) // Этнографическое обозрение. 2012. № 2. С. 3–12.
30. Пивнева Е.А. ЮГРА как бренд // Вестник угроведения. 2020. Т. 10, № 1. С. 140–148.
31. Тюгашев Е.А., Выдрин Г.А., Попков Ю.В. Этноконфессиональные процессы в современной Югре. Новосибирск, 2004. 224 с.
32. «Югра многонациональная»: сила в единстве // ИА «Повестка дня». URL: <http://agenda-u.org/news/yugra-mnogonacionalnaya-sila-v-edinstve> (дата обращения: 20.06.2020).
33. Полевые материалы автора; г. Ханты-Мансийск, 2018 г.
34. Блум Я.-П. Этническая и культурная дифференциация // Этнические группы и социальные границы. М. : Новое изд-во, 2006. С. 91–103.
35. Филиппова Е.И. Проблема идентичности в антропологии // Этнопанорама. 2008. № 1–2. С. 12–17.
36. Вахтин Н.Б. Языки народов Севера в XX веке. СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. 338 с.
37. Губогло М.Н. Идентификация идентичности : этносоциологические очерки. М. : Наука, 2003. 764 с.
38. Низамова Л.Р. Сложносоставная концепция современной этничности: пределы и возможности теоретического синтеза // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Т. XII, № 1. С. 141–159.
39. Батомункуев С.Д. Постсоветская этничность в перспективе гражданской интеграции : автореф. дис. ... канд. философ. наук. Улан-Удэ, 2001. URL: <https://www.dissercat.com/content/postsovetskaya-etnichnost-v-perspektive-grazhdanskoi-integratsii> (дата обращения: 12.07.2020).

Elena A. Pivneva, Institute of Ethnology and Anthropology RAS (Moscow, Russian Federation). E-mail: pivnel@mail.ru

INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH IN THE POLYCULTURAL SPACE OF WESTERN SIBERIA: ON THE PROBLEM OF ETHNIC IDENTIFICATION

Keywords: indigenous peoples of the North; identification strategies and boundaries; multiple social identity; ethnicity; indigeneity; transculturation.

The purpose of the article is to study the collective identification strategies of the indigenous small-numbered peoples of the North in the projection on their ethnic identity. The work is based on field materials obtained during some years in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug–Ugra; regulatory documents, scientific literature and publications in the media are also used. The specificity of the ethnic situation in the KHAMAO–Yugra is revealed; the features of the Ob-Ugric ethnic mobilization are highlighted; identification strategies of the Ob Ugric peoples associated with their integration into the world indigenous movement are traced; the practice of constructing regional identity is studied.

The author proceeds from the fact that the mechanisms of ethnic identification are of subjective in nature, but at the same time ethnicity can find expression in collective forms, is conditioned and supported, including by external factors. Indigenous small-numbered peoples of the North are primarily a legal category, belonging to which serves as the basis for providing state support to certain groups of the population. The symbiosis of ethnicity with rights creates conditions for the emergence of special identity configurations among representatives of these peoples.

The study showed that in the late 1890s and early 1990s, resistance to oil dominance became a powerful factor in the consolidation and growth of ethnic self-consciousness of the indigenous small-numbered peoples of the North in the KHAMAO – Yugra. The Northern aborigines achieved certain results in the struggle for their rights, and a set of new identities was supported by the legal basis. Being implemented as a political project, new identities are reproduced considering the support on the international movement of indigenous peoples. The tendency towards indigenization, which expresses the desire of Northern aborigines independently determine their own development prospects, leads to fundamental transformations of the actors themselves.

It is concluded that the considering case reflects a situation when the organization of ethnic identities of the North indigenous small-numbered peoples is based rather not on objective cultural characteristics, but on the attribution of certain social values to a limited fea-

tures set. The considered forms of collective identity are in various ways correlated with the practices of personal ethnic identification. In this regard, one of the most promising research tasks is studying of transcultural identities, i.e. when people simultaneously live and think of themselves in different cultural dimensions.

REFERENCES

1. Kuropyatnik, M.S. (2002) Ot sigmy k samoutverzhdeniyu: ponyatie "korennoi narod" v sovremennom diskurse [From Sigma to Self-Assertion: Indigenous People in Contemporary Discourse]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 5(1). pp. 161–173.
2. Semenenko, I.S. (ed.) (2017) *Identichnost': lichnost', obshchestvo, politika* [Identity: personality, society, politics]. Moscow: Ves' mir.
3. Barth, F. (ed.) (2006) *Etnicheskie gruppy i sotsial'nye granitsy* [Ethnic Groups and Boundaries]. Translated from English. Moscow: Novoe izdatel'stvo.
4. Semenenko, I.S. (2017) Etnopoliticheskiy konflikt [An ethnopolitical conflict]. In: Semenenko, I.S. (ed.) *Identichnost': lichnost', obshchestvo, politika* [Identity: Personality, Society, Politics]. Moscow: Ves' mir. pp. 445–453.
5. Drobizheva, L.M. (2018) Izucheniye etnichnosti i mezhnatsional'nykh otnosheniy v sotsiologii [Study of ethnicity and interethnic relations in sociology]. In: Tishkov, V.A. (ed.) *Nauchnye issledovaniya v oblasti etnichnosti, mezhnatsional'nykh otnosheniy i istorii natsional'noy politiki* [Research in the field of ethnicity, interethnic relations and the history of national politics]. Moscow: RAS. pp. 74–100.
6. Tishkov, V.A. & Shabaev, Yu.P. (2011) *Emopolitologiya: politicheskie funktsii etnichnosti* [Ethnopolitology: Political Functions of Ethnicity]. Moscow: Moscow State University.
7. Gurvich, I.S. (1971) *Osushchestvleniye leninskoy natsional'noy politiki u narodov Kraynego Severa* [Implementation of the Leninist nationality policy among the peoples of the Far North]. Moscow: Nauka.
8. Russian Federation. (1999) *On guarantees of the rights of the indigenous small-numbered peoples of the Russian Federation: Federal Law No. 82-FZ of April 30, 1999*. [Online] Available from: <http://www.consultant.ru> (Accessed: 20th June 2020). (In Russian).
9. Yudin, V.I. (2013) *Indigennaya perspektiva v kontekste politiki sovremennoy gosudarstva* [Indigenous perspective in the context of the politics of the modern state]. Political Science Dr. Diss. St. Petersburg.
10. Batyanova, E.P. (1997) Metamorfozy etnicheskoy samoidentifikatsii (na primere teleutov) [Metamorphoses of ethnic self-identification (a case study of the Teleuts)]. In: *Etnicheskaya kul'tura: problema samosokhraneniya v sovremennom kontekste* [Ethnic Culture: the Problem of Self-Preservation in the Modern Context]. Moscow; Nalchik: [s.n.]. pp. 148–161.
11. Shakhovtsov, K.G. & Funk, D.A. (2000) O sovremennykh protsessakh formirovaniya etnicheskoy samoidentifikatsii u sel'kupov Tomskoy oblasti [About modern processes of ethnic self-identification formation among the Selkups of the Tomsk Region]. In: Funk, D.A. & Zenko, A.P. (eds) *Etnografiya narodov Zapadnoy Sibiri* [Ethnography of the Peoples of Western Siberia]. Moscow: RAS. pp. 310–324.
12. Sirina, A.A. (2005) Kto takie kamchadal i pochemu ty – odin iz nikh? Gosudarstvennaya politika i problemy formirovaniya etnicheskoy identichnosti kamchadalov Magadanskoy oblasti [Who are Kamchadals and why are you one of them? State Policy and Problems of Formation of Ethnic Identity of Kamchadals of Magadan Region]. In: Pivneva, E.A. & Funk, D.A. (eds) *V poiskakh sebya: Narody Severa i Sibiri v postsovetskikh transformatsiyakh* [In Search of Self: Peoples of the North and Siberia in Post-Soviet Transformations]. Moscow: Nauka. pp. 85–107.
13. Novikova, N.I. (2014) *Okhomiki i nefyanyki : issledovanie po yuridicheskoy antropologii* [The Hunters and Oilmen: A Study in Legal Anthropology]. Moscow: Nauka.
14. Maslov, D. (2014) Ethnicity and Bureaucracy: Notes on Solidarity Among Indigenous People of Altai Republic. *Sibirskie istoricheskie issledovaniya – Siberian Historical Research*. 2. pp. 60–82. (In Russian).
15. Pivneva, E.A. (2019) Korennye malochislennyye narody Severa mezhdru etnicheskoy identichnost'yu i pravovym statusom [Indigenous small-numbered peoples of the North between ethnic identity and legal status]. In: Kiselev, A.G. & Ershov, M.F. (eds) *Etnokul'turnoe prostranstvo Yugry: opyt realizatsii proektov i perspektivy razvitiya* [The Ethnocultural Space of Ugra: Project Implementation and Development Prospects.]. Khanty-Mansiysk: Pechatnyy mir g. Khanty-Mansiysk. pp. 14–29.
16. Misevich, K.N. & Chudnova, V.I. (1973) *Naseleniye rayonov sovremennoy promyshlennogo osvoeniya Severa Zapadnoy Sibiri* [Population of areas of modern industrial development of the North of Western Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
17. The Government of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of Yugra. (2013) *O strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga Yugry do 2020 goda i na period do 2030 goda: rasporyazheniye Pravitel'stva KhMAO–Yugry ot 22.03.2013 № 101-rp* [On the strategy of socio-economic development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of Yugra until 2020 and for the period until 2030: Order No. 101-rp of the Government of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of Yugra dated March 22, 2013]. [Online] Available from: <http://e.120-bal.ru/ekonomika/12939/index.html> (Accessed: 4th July 2020).
18. Stas, I.N. (2014) *Urbanizatsiya Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga v period neftegazovogo osvoeniya (1960-e – nachalo 1990-kh gg.)* [Urbanization of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug during the period of oil and gas development (1960s – early 1990s)]. History Cand. Diss. Tomsk.
19. Spodina, V.I. (2016) Vliyaniye polietnicheskoy sredy na sodержание etnicheskogo "Ya-obrazaz" [The influence of the multiethnic environment on the content of the ethnic "I-image"]. *Evrasiyskiy Soyuz Uchenykh. Istoricheskie nauki*. 4(25). pp. 147–148.
20. Kosheleva, E.Yu. (2005) Prichiny poyavleniya obshchestvennykh dvizheniy korennykh malochislennykh narodov Severa na rubezhe 1980–90-kh gg. [The reasons for the emergence of social movements of the indigenous small peoples of the North at the turn of the 1980s-90s]. In: Ozheredov, Yu.I. (ed.) *Kul'tury i narody Zapadnoy Sibiri v kontekste mezhdistsiplinarnogo izucheniya* [Cultures and Peoples of Western Siberia in the Context of Interdisciplinary Study]. Vol. 1. Tomsk: Tomsk State University. pp. 308–315.
21. Sokolova, Z.P. (1994) Narody Severa Rossii v usloviyakh ekonomicheskoy reformy i demokraticheskikh preobrazovaniy [Peoples of the North of Russia in the context of economic reform and democratic transformations]. In: Sokolova, Z.P. (ed.) *Narody Severa Rossii v usloviyakh ekonomicheskikh reform i demokraticheskikh preobrazovaniy* [Peoples of the North of Russia in the context of economic reforms and democratic transformations]. Moscow: RAS. pp. 16–49.
22. Martynova, E.P. (2019) Ob-Ugric ethnic mobilization. *Vestnik ugrovedeniya – Bulletin of Ugrian Studies*. 9(2). pp. 363–372. (In Russian).
23. Perevalova, E.V. (2019) *Obskie ugry i nentsy Zapadnoy Sibiri: etnichnost' i vlast'* [Ob Ugrians and Nenets of Western Siberia: Ethnicity and Power]. St. Petersburg: RAS.
24. Aipin, E. (2015) Ne pogasnet ochag [The hearth will not go out]. *Mir korennykh narodov. Zhivaya Arktika*. 31. pp. 22–28.
25. Sokolovsky, S.V. (2016) *Politika priznaniya korennykh narodov v mezhdunarodnom prave i v zakonodatel'stve Rossiyskoy Federatsii* [The policy of recognition of indigenous peoples in international law and in the legislation of the Russian Federation]. Moscow: RAS.
26. Tishkov, V.A. (2019) Da izmenitsya molitva moyu: 30 let spustya [May my prayer change: 30 years later]. *XIII Kongress antropologov i etnologov Rossii* [The 13th Congress of Anthropologists and Ethnologists of Russia]. Moscow; Kazan: [s.n.]. pp. 498–506.
27. Kuropyatnik, M.S. (2019) Indigeneity in the context of globalization: epistemological and sociocultural aspects. *Vestnik RUDN. Ser. Sotsiologiya – RUDN Journal of Sociology*. 3. pp. 387–396. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-3-387-396
28. Filippova, E.I. (2010) *Territorii identichnosti v sovremennoy Frantsii* [Identity territories in modern France]. Moscow: Rosinformagrotekh.
29. Golovnev, A.V. (2012) Etichnost': ustoychivost' i izmenchivost' (opyt Severa) [Ethnicity: stability and variability (experience of the North)]. *Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic Review*. 2. pp. 3–12.
30. Pivneva, E.A. (2020) YuGRA kak brend [UGRA as a brand]. *Vestnik ugrovedeniya – Bulletin of Ugrian Studies*. 10(1). pp. 140–148.

31. Tyugashev, E.A., Vydrina, G.A. & Popkov, Yu. V. (2004) *Etnokonfessional'nye protsessy v sovremennoy Yugre* [Ethno-confessional processes in modern Ugra]. Novosibirsk: Nonparel'.
32. Komarova, N.V. & Verkhovsky, I.A. (2017) *Yugra mnogonatsional'naya: Sila v edinstve* [Multinational Ugra: Strength in Unity]. [Online] Available from: <http://agenda-u.org/news/yugra-mnogonatsionalnaya-sila-v-edinstve> (Accessed: 20th June 2020).
33. Pivneva, E.A. (2018) Field materials of the Author. Khanty-Mansiysk.
34. Blum, J.-P. (2006) Etnicheskaya i kul'turnaya differentsiatsiya [Ethnic and cultural differentiation]. In: Barth, F. (ed.) (2006) *Etnicheskie gruppy i sotsial'nye granitsy* [Ethnic Groups and Boundaries]. Translated from English. Moscow: Novoe izdatel'stvo. pp. 91–103.
35. Filippova, E.I. (2008) Problema identichnosti v antropologii [The problem of identity in anthropology]. *Etnopanorama – Ethnopanorama*. 1–2. pp. 12–17.
36. Vakhtin, N.B. (2001) *Yazyki narodov Severa v XX veke* [Languages of the peoples of the North in the 20th century]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin.
37. Guboglo, M.N. (2003) *Identifikatsiya identichnosti: etnosotsiologicheskie ocherki* [Identity identification. Ethnosociological essays]. Moscow: Nauka.
38. Nizamova, L.R. (2009) Slozhnosostavnaya kontseptsiya modernoy etnichnosti: predely i vozmozhnosti teoreticheskogo sinteza [Complex concept of modern ethnicity: limits and possibilities of theoretical synthesis]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 12(1). pp. 141–159.
39. Batomunkuev, S.D. (2001) *Postsovetskaya etnichnost' v perspektive grazhdanskoy integratsii* [Post-Soviet Ethnicity in the Perspective of Civil Integration]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. Ulan-Ude. [Online] Available from: <https://www.dissercat.com/content/postsovetskaya-etnichnost-v-perspektive-grazhdanskoi-integratsii> (Accessed: 12th July 2020).

УДК 572(1-925.11/.16)
DOI: 10.17223/19988613/68/16

О.М. Рындина

ПЛАТОК В КАРТИНЕ МИРА МАНСИ

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Статья посвящена выявлению символических функций платка в традиционной культуре манси. С этой целью рассматриваются профанная и сакральная сферы его бытования. Источниковая база включает в себя не введенные ранее в научный оборот полевые материалы из архива В.Н. Чернецова, а также опубликованные данные по фольклору и обрядовой сфере этноса. Раскрывается гендерная и половозрастная знаковость платка в социальной сфере, подчеркивается его семантическая преемственность в традиционном мировоззрении – служить символической границей между мирами, Средним и Нижним, и пространством, обыденным и священным.

Ключевые слова: традиционное мировоззрение; манси; архив В.Н. Чернецова.

Специфика мифологического мышления, на котором базируется традиционная культура, предполагает выражение абстрактных понятий и идей через вещи-символы, что актуализирует символический подход при изучении этнической картины мира. Она оказывается наполненной обыденными предметами, несущими глубокий мировоззренческий смысл, раскрываемый прежде всего в мифологии и обрядовой сфере. К числу таких символов в мансийской культуре можно причислить и платок-шаль.

Ношение платка признано исследователями устойчивой этнической традицией обских угров. Наблюдается и единство мнений о генезисе данного элемента культуры. Его возводят к ткани и обычаю избегания женщинами старших родственников мужа и связывают с южным компонентом в культуре обских угров, который локализовался в широких пространственных границах, включающих в себя Северный Казахстан, Южное Поволжье и Урал, граничащих с Кавказом и Средней Азией, в свою очередь, тесно связанными с средне- и южноазиатскими мирами [1. С. 216, 219; 2. С. 190; 3. С. 61–62]. Характеризуя платки-шали манси, Е.Г. Фёдорова выделила два подтипа. Первый – квадратные куски холста размером 85 × 85 см, сплошь покрытые вышивкой, а по периметру отделанные пришивной полосой ткани, причем уголки окаймляющего квадрата обычно выделялись квадратиками контрастного цвета и бахромой. Такие платки хорошо представлены в материалах, собранных финскими исследователями на рубеже XIX–XX вв. [4. Табл. 1–22]. Платки второго подтипа аналогичны по крою, но шились из хлопчатобумажной ткани и не украшались вышивкой. Со временем платки домашнего изготовления заменили покупные шали с кистями. Способы ношения платка предполагали его складывание по диагонали или по горизонтали, причем так, чтобы нижняя часть была длиннее верхней. Сложенный платок накидывали на голову, распуская концы по спине или на груди, а во время работы их оборачивали вокруг шеи и завязывали

сзади. Исследовательница подчёркивает, что в XX в. в сфере повседневности возобладала традиция ношения платка, сложенного по диагонали, а культовая сфера, и прежде всего Медвежий праздник, сохранила традицию ношения горизонтально сложенного платка [2. С. 187].

Интересную информацию о платке в культуре манси содержат материалы архива В.Н. Чернецова, хранящегося в Томском государственном университете, в Музее археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского (Ф. 689). Материалы представлены фотографиями и рисунками, сделанными в 1920–1930-е гг. во время полевых этнографических экспедиций к разным группам манси, на реки Тагил, Лозьва, Конда, Обь и Северная Сосьва. Особую ценность представляют зарисовки, сделанные исследователем во время Медвежьего праздника в пос. Ильпи-пауль и Сури-пауль на Оби в 1936–1937 гг. Материалы В.Н. Чернецова позволяют не только проиллюстрировать, но и дополнить приведенные характеристики. Прежде всего следует отметить, что и в 1920–1930-е гг. платок сохранил позицию единственного головного убора у женщин разного возраста. Крайне редко на фото можно увидеть мансийских девушек и женщин с непокрытой головой.

Особенно наглядно демонстрирует это прекрасная серия портретных снимков, своего рода образная галерея манси. При этом фиксируются оба способа ношения платка, сложенного по диагонали, а также, что особенно интересно, платка, сложенного по горизонтали, как с распущенными по плечам передними углами (рис. 1) [5. № 34, 36, 40], так и с завязанными сбоку [Там же. № 15] или обернутым вокруг шеи и завязанным концом (рис. 2) [Там же. № 17, 37].

Таким образом, разграничение утилитарной и сакральной сфер посредством способа ношения платка, фиксируемое во второй половине XX в., могло возникнуть не ранее середины указанного столетия. Следует отметить и своеобразный способ ношения платка в форме чалмы [Там же. № 12], зафиксированный

в этнографических материалах второй половины XX в. лишь применительно к сакральной сфере манси [6. С. 30–31, 78]. В 1920–1930-е гг. указанный способ наблюдался и в повседневности, и в обрядовой сфере как головной убор духов, присутствующих на Медвежьем празднике, о чём свидетельствует рисунок



Рис. 1. Способ ношения платка, сложенного по горизонтали, в роспуск. Фото В.Н. Чернецова [5. № 40]

Платок-шаль в мансийской культуре не только выполнял функцию женского головного убора, но и нес социальный смысл, маркируя гендерное своеобразие вещного мира, поскольку мужским головным убором зимой служил капюшон малицы и гуся, а летом – платок, но не платок-шаль. Данный атрибут материальной культуры маркировал социальные различия и внутри женской сферы: символом девичества служили косы и накосные украшения, а статуса женщины – платок-шаль с бахромой. Характеристики невест, за которыми отправляются в иные миры героини мансийской мифологии, содержат описания кос и их украшений, прежде всего орнитоморфных: «Внутри маленького дома, оказывается, сидит женщина с открытой головой, ее косы распущены, еще только их заплетает. Ее колени покрыты шелком, кромка шелка колышется». Шелковый платок герой воспринимает как атрибут женщины, а его шевеление – как признак беременности, что приводит его в ярость: «Далекую землю я прошел, я думал, какую-нибудь порядочную женщину найду, про которую слышно было, что семь чернядей заплетены, семь морянок заплетены; и вот нахожу – никакой черняди нет, никаких морянок нет, на коленях нагульный ребенок шевелится» [8. С. 271]. Женщина в мансийской куль-

туре смотрела на мир «сквозь бахрому платка», и это касалось как обычных женщин, так и богинь, даже самых строптивых [Там же. С. 393]. С помощью платка они следовали обычаю избегания, пряча под опущенным платком свое лицо перед старшими родственниками мужа. Аналогичную картину применительно к символике женского мира рисует и хантыйский фольклор [9. С. 28–29].



Рис. 2. Способ ношения платка, сложенного по горизонтали и обернутого вокруг шеи. Фото В.Н. Чернецова [Там же. № 17]

Неудивительно, что платок стал желанным подарком для женщины, в том числе и женщин-богинь, включая наиглавнейшую из них – прародительницу рода человеческого Сянь. В функции последней входила ответственность за процветание и приплод всего живого в природе, дарение конкретному человеку жизни и определение его судьбы [10. С. 85, 87–88]. Сразу после переселения матери и ребенка из родильного в жилой дом Сянь дарили платок. Его изготавливала будущая мать еще до родов, и в один из углов завязывала монетку, которая была лицом изготавливаемой в период беременности куклы-сос. Платок окуривали, вывешивали в священном углу, где хранились все семейные святыни, и ставили перед ним горячую пищу – угощение для богини, прося ее о покровительстве младенца [11. С. 94]. Платки

дали Сянь и во время посвященного ей Вороньего праздника – при проведении семейных обрядов и общего праздничного жертвоприношения [11. С. 150, 152]. В мансийском фольклорном сюжете – своеобразной версии «Аленького цветочка» – отец, возвратившись, домой, сетует младшей дочери: «По земле ездил, водой плавал, но не нашел для тебя ни платья, ни платка!» [8. С. 466].

Сакральный контекст бытования у манси ткани и платков-шалей на рубеже XIX–XX вв. включал в себя их присутствие в качестве подношения духам, причем не только женского пола, на священных местах разного рода – на деревьях, в амбарчиках, в сундуках с подарками духам, которые помещались на священном месте напротив входа в жилище [12. С. 315–317, 319]. Фольклорный вариант подношения духам также предполагает использование ткани: «домой зашел, принес лоскут ткани, завязывает монеты и этот лоскут завязывает на шею мальчику», – предназначенному в качестве жертвы [13. С. 41]. Традиция поднесения даров в виде платков духам сохранялась и в 1920–1930-е гг., о чем свидетельствует зарисовка В.Н. Чернецовым жертвенного навеса с фигурой духа под ним [14. № 17]. Платок в качестве дара духам сохранялся у манси и во второй половине XX в., правда, заметно упростилась его форма: вместо платков-шалей использовались маленькие и даже носовые платки, хотя в их концы по-прежнему завязывали монетки [15. С. 8, 16, 24 и др.]. Подчеркну одну показательную деталь: в углы платка завязывали монеты, изображения из бересты и металла, кольца. Данная традиция объясняет декоративное акцентирование уголков на кайме у некоторых платков-шалей [4. Табл. 4, 14]. За декоративностью в данном случае скрывается магия дарообмена.

Подношение платка в качестве бескровного жертвоприношения вписано исследователями в следующую эволюционную цепочку: жертвенное животное → шкура жертвенного животного → ткань → платок [4. С. 68; 16. С. 109–110]. Соглашаясь в целом с перечисленными компонентами эволюционной схемы жертвенных даров, следует оговорить один нюанс. Начиная с рубежа XIX–XX вв., шкуры пушных зверей, ткань и платки, монеты фигурируют как параллельные формы даров, так что о полном вытеснении одного элемента другим речи вести не приходится. Во-вторых, и это более существенно, представленная схема, на мой взгляд, не объясняет дублирования шкур тканью. Они не сводимы друг к другу.

Чтобы понять мощное подключение ткани к весьма статичному набору жертвенных даров, следует обратить внимание на бересту. Этот широко распространенный в быту материал обладал мощнейшим семантическим зарядом, пронизывавшим картину мира обских угров. Будучи производной от белоствольной березы – эманации мирового дерева – береста несла идею Верхнего мира, света, добра, благополучия. Ее стержневая мировоззренческая функция заключалась в отмежевании Среднего мира, мира людей, от иных миров и форм существования. Как следствие возникала защитная, очистительная функция бересты [17. С. 68–69]. Возможно, семантической, более поздней и слабой, ре-

пликой бересты выступает именно ткань. По крайней мере в мансийской мифологии проступает семантический параллелизм двух материалов. Герой, преодолевающий череду опасностей, получает наставления от своего верного коня: «Залезь в мою ноздрю, там возьми тридцать аршин белого батиста, тридцать аршин ситца. Он влез в ноздрю коня; оказывается, внутри ноздри лавка. Он взял тридцать аршин белого батиста, тридцать аршин ситца, вышел из лавки, обмотал руки-ноги коня, самого себя тоже обмотал». Преодолевая огонь, герои уцелели благодаря ткани, которая защитила их, сгорев [8. С. 264]. Фабула мифа чуть ниже включает точно такой же сюжет, но в роли оберега там выступает береста [Там же. С. 265]. Три аршина полотна и береста, спасающие героя в аналогичной ситуации, фигурируют и в мансийской волшебной сказке [Там же. С. 279–280]. Платок фигурирует в числе предметов-оберегов, которыми бабушка снабжает в опасную дорогу пришедшего к ней героя [Там же. С. 478]. Шелвление ткани служит сигналом к опасности: «Видит: в заднем углу дома лежит кусок шелка. Шелк зашевелился. Стало невыносимо жарко». Та же самая ситуация с красным сукном оборачивается нестерпимым холодом [Там же. С. 283–284].

Ткань выступает в обрядовой сфере как разграничитель миров, чаще Среднего и Нижнего, и по этой причине ее символика актуализируется в ритуалах перехода. В фольклорном варианте покойного покрывают тканью, точнее пологом: «Гроб открыт. Мертвая женщина поверх пологом прикрыта» [Там же. С. 441]. Во время перемещения покойного из дома на кладбище поверх гроба клали большой платок или полог. Роль погребальной маски в наше время выполняет платок или кусок ткани с пришитыми к нему на уровне глаз и рта пуговицами, бусинами. Маркирует платок и переход из одного жизненного состояния в другое: при переводе ребенка из родильного в жилой дом его накрывали платком [11. С. 99, 58].

Охраняя от пагубного влияния всего потустороннего, ткань очерчивает рамки священного, и по этой причине в нее заворачивают сакральные вещи, дабы не осквернить их. При исчезновении рода к месту хранения родовых святынь приезжали старейшины, собирали их в ткань или платок, клали туда еду, совершали определенные ритуальные действия и затем опускали узел в воду или прятали в расщелине в горах [Там же. С. 72]. Желая заполучить священную тарелку, обладающую сильнейшей магической силой, фольклорный герой «домой сходил, кусок материи принес. Аршинным куском материи с угла на угол тарелку завязал, домой отнес, в переднем углу к шести привязал» [8. С. 434]. Аналогичный фольклорному случай зафиксирован и в дневниках В.Н. Чернецова: «Один из Костинных взял из йек кол (дом для танцев, где справляют Медвежий праздник. – О.Р.) сангыльтап домой поиграть... Дали ему платок. Тот накинуд платок на голову инструмента, взял под мышку и понес» [18. С. 221].

Поскольку в фольклоре фигурируют разные виды тканей, то, очевидно, с сакральной сферой была связана ткань как таковая. Позднее, однако, особое внимание стали обращать именно на шелковую ткань, и шелк

приобрел еще одну символику – состояния зажиточности, богатства:

«Люди там богато
И радостно живут,
Из шелка кроят женщины одежду,
Сердце мое, славная сторона!» [8. С. 429].

Вышитые холщовые платки в обрядах постепенно стали уступать место шелковым платкам. Доводя до логического конца данную семантическую линию, фольклор включил в себя, с одной стороны, гиперболу «золотая шаль» как характеристику богатства сильно-го менква [Там же. С. 457], а с другой – аналог скатерти-самобранки: «Вот, возьми рукав от шелкового халата. В лес больше не ходи. На твой век, если будешь дома [сидеть], хватит, еды хватит, одежды хватит» [13. С. 45, 75].

Медвежий праздник является важнейшей частью сакральной сферы бытования платка-шали у манси. Здесь его символика маркирует мужское и женское пространства, которые пересекаются с другой бинарной пространственно-временной оппозицией: сакральное, сконцентрированное в священных песнях и больших танцах – йаных йек, и мирское, сосредоточенное в сценках социальной направленности, во многом сатирического и эротического характера – тулыхлап.

Гендерные разграничения проявляются в том, что медведице на голову накидывают платок-шаль, а кольца служат инвариантным компонентом убранства

медведя вне зависимости от его половой принадлежности [18. С. 216, 224]. Приход на праздник богов и духов женского рода в сакральной части, например Касум най эква, Мис нэ, Калтась, предполагает наличие платка-шали, причем священные песни они поют с открытым лицом, а затем с помощью платка закрывают его [Там же. С. 217, 219, 226, 227, 230, 232, 234, 249, 250]. Последнее предполагает ношение шали, сложенной диагонально или вертикально. Лишь в одном случае применительно к Мис нэ упомянуто иное употребление платка – им повязаны плечи. Этот случай демонстрирует непочтительное отношение к медведю, очевидно, поэтому нижняя часть лица закрыта платком [Там же. С. 218], что также обнаруживает параллелизм с берестой в обрядовой символике – берестяные маски у мужчин во фривольных сценках тулыхлап. Согласно рисункам В.Н. Чернецова, хранящимся в архиве МАЭС, присутствие женщин на празднике не предполагает их участия в священных сценах, женские роли здесь исполняют мужчины. Участие женщин ограничено временем тулыхлапа и отмечено ношением ими на голове горизонтально или диагонально сложенного платка-шали [7. № 72, 85].

В отличие от женских персонажей, исполняющие священные танцы духи-мужчины носят диагонально сложенные платки-шали исключительно на плечах, свободно распуская концы на груди или перекрещивая их и подтыкая за пояс (рис. 3) [Там же. № 61, 64, 71, 79 и др.].



Рис. 3. Платок как атрибут Медвежьего праздника. Рисунок В.Н. Чернецова [19. № 20]

Кроме того, способы использования ими платка и платка-шали в йаных йек гораздо разнообразнее: наряду с колпаками и шапками – на голове, в том числе в виде опояски, чалмы; также на шее, на локтях, на руках, на спине вместо шкуры лисицы; платком завязаны глаза и лицо, подбородок; зафиксировано ношение в виде плаща, при этом платок-шаль сколот у ворота, а его висащие концы заткнуты за пояс [7. № 65; 18. С. 216, 218, 229, 231, 233, 235, 248–250]. Платки для мужских танцев так же необходимы, как и ритуальные халаты, оба этих обрядовых символа, как подметил В.Н. Чернецов, висели на посохе в той части жилища, где жили холостые мужчины: «Сахи и платки для хум йек висят на сир в мули пал» [18. С. 246].

В целом использование платка-шали в обрядовых действиях характерно главным образом для священной части Медвежьего праздника, а во время тулыхлап используются другие предметы. Данное обстоятельство подчеркивает высокий семиотический статус платка-шали в обряде. Он акцентирует священное пространство и как следствие сам способен освящать и очищать его. Руки танцоров-мужчин и женщин обернуты маленькими платками, топор как атрибут убранства духа тоже обернут платком, им обмахивают помещение в конце очередной части праздника, в конце всего праздника «медведей привели в порядок и накрыли платками» [18. С. 217, 219, 235, 250, 229, 237]. Сакральность важнейшего ритуального символа – стрелы – тоже подчеркивает ткань: «Вечером, перед началом танцев, по всем домам поселка (Сури-пауль. – О.Р.) ходят два человека (обычно в сопровождении ребят). У каждого – стрела, украшенная полосками сукна, колокольчиками. Это знак, что Ялп ус ойка созывает в йек кол (дом для танцев. – О.Р.) народ на танцы» [Там же. С. 239].

Максимум своего семиотического статуса ткань и платок достигают, становясь сами сакральными предметами, обладающими магической силой, обеспечивающей удачу в промысле. Манси брали на охоту кусок ткани. Его укладывали в довольно маленький кожаный мешок, который прикрепляли на спине мужчины. На Верхней Лозьве было принято носить на охоте жертвенный платок привязанным к пороховнице. Иногда на охоте хранили только жертвенную монету – среди пуль. Как платок, так и деньги для этой цели брали из числа жертвенных предметов [12. С. 320].

Итак, платок-шаль многими нитями-связями вплетен в символическую ткань традиционной культуры манси. В социальной сфере он маркирует женский мир, отделяя его от мужского, а внутри женского вместе с накосными украшениями служит гранью между девичьим и женским. Указанная символика во многом обусловлена утилитарными функциями платка, хотя и сохраняющимися вплоть до современности, но со временем все более перемещающимися в обрядовую сферу. В картине мира платок унаследовал символику ткани, во многом сходную символике бересты. Оба материала служат знаками границы между мирами, чаще между Средним и Нижним. Указанная семантика определила актуализацию ткани и платка в родильной и погребальной обрядности. Вместе с тем ткань и платок-шаль очерчивают пространственно-временные границы и сакрального, отмежевывая его от профанного, что наглядно проявляется в Медвежьем празднике. Как следствие ткань и платок сами приобретают сакральный статус и наделяются промысловой магией, реализуемой в рыболовстве и охоте. Наиболее поздний слой в символике платка-шали связан с шелком: он мыслится как знак зажиточности и богатства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. 365 с.
2. Фёдорова Е.Г. Историко-этнографические очерки материальной культуры манси. СПб. : Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), 1994. 286 с.
3. Соколова З.П. Платок в культуре хантов и манси // Этнография народов Западной Сибири : к юбилею доктора исторических наук Зои Петровны Соколовой. М., 2000. С. 49–69.
4. Вахтер Т. Орнамента обских угров / пер. с нем. О.М. Рындиной. Томск : Изд. Дом ТГУ, 2019. 504 с.
5. Архив Музея археологии и этнографии Сибири (МАЭС) ТГУ им. В.М. Флоринского. Ф. 869. Д. 73. 50 фото.
6. Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Новосибирск : Наука, 1986. 192 с.
7. Архив МАЭС ТГУ. Ф. 869. Д. 71. 88 фото.
8. Мифы, предания, сказки хантов и манси / сост., предисл. и примеч. Н.В. Лукиной. М. : Наука, 1990. 586 с.
9. Рындина О.М. Символика металла в традиционной культуре хантов // Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое. Ханты-Мансийск ; Томск, 2018. Вып. 2. С. 25–34.
10. Попова С.А. Мансийские календарные праздники и обряды. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. 138 с.
11. Попова С.А. Обряды перехода в традиционной культуре манси. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. 180 с.
12. Канинсто А. Сооружения и вещи при жертвоприношениях вогулов / манси (пер. с нем. Н.В. Лукиной) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 36. С. 312–322.
13. Сказки оленевода / пер., сост., предисл. и примеч. С.А. Поповой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. 108 с.
14. Архив МАЭС ТГУ. Ф. 869. Д. 59. 25 рис.
15. Гемуев И.Н., Бауло А.В. Святые места манси верховьев Северной Сосьвы. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1999. 240 с.
16. Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1995. Т. 2. 284 с.
17. Рындина О.М. Берестяные табакерки хантов как мифологический текст // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 1 (21). С. 65–72.
18. Источники по этнографии Западной Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1987. 284 с.
19. Архив МАЭС ТГУ. Ф. 869. Д. 58. 23 рис.

Olga M. Ryndina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: rynom_97@mail.tomsknet.ru

WRAP IN THE MANSI VIEW OF THE WORLD

Keywords: traditional worldview; Mansi; shawl; V.N. Chernetsov.

The article is devoted to identifying the field of meanings of a shawl in the Mansi traditional worldview. The research methodology is defined by symbolic approach which is based on the specificity of mythology thinking - expressing abstract concepts and meanings through the images of particular objects. Due to this, special attention is focused on rituals and folklore as spheres of culture in which objects-symbols are most fully revealed.

The initial source base of the study is the visual materials of famous domestic Ugric-researcher V.N. Chernetsov's archive, which are deposited in the Museum of Archeology and Ethnography of Siberia, Tomsk State University. These materials have not been introduced for scientific use. The archive materials are presented by photographs and drawings made in 1920-s - 1930-s during the field ethnographic expeditions to the Mansi different groups on the rivers Tagil, Lozva, Konda, Ob and North Sosva. Of particular value are the sketches made by the researcher during the Bear Festival in the village. Ilpi-Paul and Suri-Paul on the Ob in 1936-1937. Other sources are issued field materials of the researcher and publications of folklore.

The study showed that a shawl is woven into the symbolic fabric of the traditional Mansi culture with many threads-ties. In the social sphere, it marks the feminine world, separated from the masculine one. Inside the feminine, along with the braids adornments, it divides the girls and the women's domain. This symbolism is largely due to the utilitarian functions of a shawl, although preserved until modern times, although they until modern times, but over time are increasingly moving into the ritual sphere. Referring to the photographs of the researcher allowed concluding that in the second half of the 20 century certain ways of wearing a headscarf have moved exclusively into the ritual sphere, which in the first half of the century were recorded in everyday life.

In the picture of the world, a headscarf inherited the fabric symbolism, in many respects similar to the symbolism of birch bark. Both materials serve as signs of the border between the worlds, more often between the Middle and Lower. This semantics determined the actualization of the cloth and shawl in the maternity and funeral rites. At the same time, the fabric and the scarf outline the spatio-temporal boundaries of the sacred, separating it from the secular, which is clearly manifested in the Bear Festival. As a result, the fabric and the shawl themselves acquire a sacred status and are endowed with trade magic, which is realized in fishing and hunting. The latest layer in the shawl symbolism is associated with silk: it is thought of as a sign of prosperity and wealth.

REFERENCES

1. Lukina, N.V. (1985) *Formirovanie material'noy kul'tury khantov* [Formation of the Khanty material culture]. Tomsk: Tomsk State University.
2. Fedorova, E.G. (1994) *Istoriko-etnograficheskie ocherki material'noy kul'tury mansi* [Historical and ethnographic essays on the material culture of Mansi]. St. Petersburg: Museum of Anthropology and Ethnography.
3. Sokolova, Z.P. (2000) *Platok v kul'ture khantov i mansi* [The shawl in the culture of the Khanty and Mansi]. In: *Etnografiya narodov Zapadnoy Sibiri* [Ethnography of the Peoples of Western Siberia]. Moscow: [s.n.], pp. 49–69.
4. Vakhter, T. (2019) *Ornamentika obskikh ugrov* [Ornamentation of the Ob Ugrians]. Translated from German by O.M. Ryndina. Tomsk: Tomsk State University.
5. The Archive of the V.M. Florinsky Museum of Archeology and Ethnography of Siberia (MAES), TSU. Fund 869. File 73.
6. Gemuev, I.N. & Sagalaev, A.M. (1986) *Religiya naroda mansi* [The religion of the Mansi people]. Novosibirsk: Nauka.
7. The Archive of the V.M. Florinsky Museum of Archeology and Ethnography of Siberia (MAES), TSU. Fund 869. File 71.
8. Novik, E.S. (ed.) (1990) *Mify, predaniya, skazki khantov i mansi* [Myths, legends, fairy tales of the Khanty and Mansi]. Moscow: Nauka.
9. Ryndina, O.M. (2018) *Simvolika metalla v traditsionnoy kul'ture khantov* [Symbolism of metal in the traditional culture of the Khanty]. In: Yakovlev, Ya.A. (ed.) *Sibirskie ugry v ozherel'e subarkicheskikh kul'tur: obshchee i nepovtorimoe* [Siberian Ugrians in the necklace of subarctic cultures: common and unique]. Vol. 2. Khanty-Mansiysk; Toms: Tomsk State University. pp. 25–34.
10. Popova, S.A. (2008) *Mansiyskie kalendarnye prazdniki i obryady* [Mansi calendar holidays and ceremonies]. Tomsk: Tomsk State University.
11. Popova, S.A. (2003) *Obryady perekhoda v traditsionnoy kul'ture mansi* [Rites of passage in traditional Mansi culture]. Tomsk: Tomsk State University.
12. Kannisto, A. & Lukina, N.V. (2019) *Facilities and things in the sacrifices of the Voguls / Mansi* (Translated from the German by N.V. Lukina). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 36. pp. 312–322. (In Russian). DOI: 10.17223/22220836/36/38
13. Popova, S.A. (ed.) (2001) *Skazki olenevoda* [Tales of a Reindeer Breeder]. Translated by S.A. Popova. Tomsk: Tomsk State University.
14. The Archive of the V.M. Florinsky Museum of Archeology and Ethnography of Siberia (MAES), TSU. Fund 869. File 59.
15. Gemuev, I.N. & Baulo, A.V. (1999) *Svyatilishcha mansi verkhov'ev Severnoy Sos'vy* [Mansi sanctuaries of the upper reaches of the Northern Sosva]. Novosibirsk: SB RAS.
16. Karjalainen, K.F. (1995) *Religiya yugorskikh narodov* [Religion of the Ugra peoples]. Vol. 2. Tomsk: Tomsk State University.
17. Ryndina, O.M. (2013) *Birch snuffs of the Khanty as a mythological text*. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 1(21). pp. 65–72. (In Russian).
18. Lukina, N.V., Ryndina, O.M. & Markov, G.E. (1987) *Istochniki po etnografii Zapadnoi Sibiri* [Sources on the ethnography of Western Siberia]. Tomsk: Tomsk State University.
19. The Archive of the V.M. Florinsky Museum of Archeology and Ethnography of Siberia (MAES), TSU. Fund 869. File 58.

УДК 39:930

DOI: 10.17223/19988613/68/17

Н.А. Томилов

ЭТНОГРАФИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ТРУДАХ СИБИРЕВЕДОВ (К ИТОГАМ 50-ЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Статья нацелена на разработку периодизации истории исследований этнографии тюркских народов сибирскими учеными, главным образом томского и омского научных центров, с конца 1960-х гг. по настоящее время, а также на раскрытие основной тематики данного направления. Исследование основано на трудах ученых по этнографии тюркских народов Сибири, информационных статьях о научных форумах, экспедициях и о самих ученых-тюрковедах. Проведен обобщенный историографический анализ трудов сибирских этнографов по изучению тюркских народов региона, результаты которых востребованы в различных сферах деятельности общества.

Ключевые слова: этнография; тюркские народы; периодизация; история науки.

Значимость тематики статьи определяется тем, что тюркские народы в Сибири образуют после славянских народов также значительный массив населения со своеобразной этнической историей, существенным культурным наследием и, соответственно, значимым вкладом в формирование и развитие исторической общности россиян. Основное внимание в данной статье уделено исследованиям по этнографии тюркских народов Сибири ученых томского и омского научных центров, которые целенаправленно и систематически стали проводить Томский государственный университет (ТГУ) с конца 1960-х гг. и затем с середины 1970-х гг. Омский государственный университет (ОмГУ). Ставятся задачи разработать периодизацию истории этих исследований на протяжении последних 50 лет и осветить организацию и основную тематику научных работ томских, омских и частично ученых других регионов Западной Сибири, кроме ученых учреждений автономных республик Южной Сибири. Основными источниками данного исследования являются научные труды ученых-сибиреведов по этнографии тюркских народов Сибири, информационные статьи о научных форумах, экспедициях и о самих ученых-тюрковедах. Методические подходы к выполнению заявленной темы связаны с историографической наукой, в которой у нас имеется определенный опыт исследований, получивший положительную оценку со стороны историографов В.П. Корзун и М.А. Мамонтовой [1, 2].

В изучении этнографии тюркских народов Сибири томскими и омскими учеными в последние полвека видятся три периода: первый – это конец 1960-х – первая половина 1970-х гг. – развертывание исследований силами ученых ТГУ в основном среди татар Западной Сибири и чувлымских тюрков; второй – середина 1970-х – 1980-е гг. – наряду с работами томских ученых развитие масштабных этнографических исследований группой ученых ОмГУ, а также антропологических работ

этими двумя университетами – изучение этнографии алтайцев, бачатских телеутов, казахов, татар, хакасов, чувашей, чувлымских тюрков, шорцев, а, кроме того, поздних археологических памятников тюркских групп учеными Новосибирска; третий – с 1990-х гг. по настоящее время – расширение и углубление до фундаментального уровня этнографических работ томских и омских ученых, в том числе за счет присоединения к этим работам ученых Омского филиала Объединенного института истории, филологии и философии (ОИИФФ) СО РАН (с 2006 г. – Омский филиал Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, а с 2018 г. – Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН), а также проведение этнографических исследований учеными Барнаула, Кемерова, Новосибирска, Тобольска, Тюмени.

Рассмотрение первого периода в изучении этнографии, отчасти археологии, антропологии и языкознания тюркских народов Сибири следует, видимо, начать с указания на то, что в Томске такие исследования проводились и ранее, во всяком случае со времени изысканий Г.Н. Потанина. В середине и начале третьей четверти XX в. были опубликованы работы историков Н.Ф. Емельянова, В.С. Синяева, историка и археолога З.Я. Бояршиновой, археологов В.И. Матющенко, Е.М. Пеняева, Л.М. Плетнёвой и др., антропологов В.А. Дрёмова, Н.С. Розова, лингвистов А.П. Дульзона, М.А. Абдрахманова, А.А. Бонюкова, О.И. Гордеевой, этнографов Н.В. Лукиной, Г.И. Пелих (работа о «карагасах» Томской области). Их вклад в изучение истории и культуры сибирских татар, чувлымских тюрков, шорцев и некоторых других тюркских народов Сибири изучен и нашел отражение в ряде работ [3. С. 6–20; 4; 5. С. 10–23; 6. С. 15–24 и др.]. Наличие такого задела работ названных направлений стимулировало дальнейшее изучение этнографии ряда тюркских народов.

В 1968 г. в ТГУ была открыта Проблемная научно-исследовательская лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири (ПНИЛИАЭС). Двое из группы этнографов, а именно Н.А. Томилов и М.С. Усманова, стали заниматься этнографией тюркских народов, так же как и работавшая на историческом факультете Э.Л. Львова. Были определены и темы для выполнения кандидатских диссертаций: Э.Л. Львовой – «Чулымские тюрки (историко-этнографические очерки)», Н.А. Томилову – «Современные этнические, культурные и бытовые процессы среди сибирских татар», и позднее М.Л. Усмановой – «Дохристианские верования хакасов в конце XIX – начале XX века».

С 1969 г. начался этап создания источниковой базы для выполнения намеченных исследований. В 1969 г. состоялись две экспедиции ТГУ – среди чулымских тюрков (руководитель Э.Л. Львова, среди участников был и Н.А. Томилов) и среди томских татар (руководитель Н.А. Томилов). Экспедиции к чулымским тюркам происходили затем ежегодно вплоть до 1975 г., и к томским, барабинским и тоболо-иртышским татарам в этот период – также ежегодно вплоть до 1974 г. В числе основных задач в развитии этнографических исследований ТГУ была подготовка кадров ученых данного профиля, которая осуществлялась, прежде всего, посредством работы над кандидатскими диссертациями. В 1971 г. Н.А. Томилов прошел годичную стажировку в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР в Москве. Э.Л. Львова и Н.А. Томилов также осуществляли руководство ежегодными этнографическими практиками студентов и руководство курсовыми и дипломными работами по этнографии на историческом факультете ОмГУ.

Укреплению научных навыков в работе с этнографическими материалами способствовало участие в научной паспортизации и каталогизации этнографических предметов Музея археологии и этнографии Сибири (МАЭС) ТГУ. Научно паспортизованы были и предметы культуры ряда тюркских народов – алтайцев, долган, казахов, киргизов, татар, тувинцев, узбеков, уйгуров, хакасов, чулымских тюрков, шорцев и якутов. Это был уникальный для советской науки опыт работы с этнографическими музейными предметами, начавшийся в 1969 г. и закончившийся изданием в 1979–1980 гг. каталога этнографических коллекций МАЭС ТГУ в двух частях [7]. Его авторами были П.Е. Бардина, В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина, Э.Л. Львова, А.М. Сагалаев, Н.А. Томилов, М.С. Усманова, геолог Д.П. Славнин, а большая часть иллюстраций была выполнена В.Б. Богомоловым. Последний увлекся изучением орнамента и в 1973 г. опубликовал свою первую статью об орнаменте барабинских и томских татар. Появились и первые кандидаты наук среди этнографов, занятых тюркской тематикой. В 1973 г. в Москве защитил диссертацию Н.А. Томилов.

Подготовке специалистов-этнографов способствовало участие томичей в научных форумах. Первый доклад о работах по этнографии тюркских народов был сделан Э.Л. Львовой в соавторстве с Н.А. Томиловым в Новосибирске 1 декабря 1971 г. на зональном археолого-этнографическом совещании. На следующий год

в ТГУ прошло Второе Западно-Сибирское совещание археологов и этнографов, которое стало регулярным – проводится раз в три года в статусе конференции. В Томске же раз в несколько лет проходили всесоюзные научные конференции «Происхождение аборигенов Сибири и их языков». Томские этнографы в этот период занялись подготовкой и изданием сборников научных трудов. Три сборника из серии «Из истории Сибири» были изданы как археолого-этнографические с участием антропологов – в 1969, 1975 и 1976 гг., а один сборник – 1972 г. – состоял целиком из этнографических статей и назывался «Материалы по этнографии Сибири» [8]. Среди авторов статей помимо томичей были бывшие омичи, переехавшие в Казань, – этнограф и историк Ф.Т.-А. Валеев и языковед С.М. Исхакова, которые влились в работу групп сибирских ученых, исследующих этнографию татар Западной Сибири. Заметным событием тех лет была защита в 1970 г. барнаульским археологом и историком А.П. Уманским кандидатской диссертации, освещающей историю и частично этнографию телеутов. В 1970-е гг. в Новосибирске успешно работала Е.М. Тошкова по изучению культуры алтайцев.

Второй период, расширяющий поле этнографического изучения тюркских народов сибирскими учеными, связан с тем, что наряду с томским этнографическим центром возникла и стала проводить целенаправленные исследования группа омских этнографов, сосредоточившихся в открытом в 1974 г. ОмГУ. Уже в первый год существования ОмГУ переехавшие из Томска В.Б. Богомоллов и Н.А. Томилов провели первую этнографическую экспедицию к тарским татарам, вместе с участниками вновь созданного этнографического студенческого кружка создали первую экспозицию образованного в ноябре 1974 г. Музея археологии и этнографии ОмГУ, приступили к работе по научной паспортизации и каталогизации этнографических коллекций Омского областного краеведческого музея, позднее ведущих музеев Новосибирска и Тюмени. В результате этих работ стала издаваться научная серия «Культура народов мира в этнографических собраниях российских музеев», первые два тома которой увидели свет в 1986 и 1990 гг. [10. С. 137–139], а всего на сегодняшний день в этой серии издано более 20 томов.

Экспедиции проводились ежегодно к разным народам и национальным группам в основном Западной и частично Восточной Сибири, а также Северного Казахстана и Поволжья. Среди тюркских народов исследования были охвачены алтайцы, астраханские, казанские татары и мишари, бачатские телеуты, казахи, сибирские татары, тофалары, тувинцы, хакасы, чуваш, чулымские тюрки и шорцы [9. С. 135–148].

И в Томске, и в Омске во второй половине 1970–1980-х гг. формировались и успешно работали группы занимающихся этнографией тюркских народов ученых. Отметим, что все эти прошедшие десятилетия между томскими и омскими этнографами сохранялось плодотворное сотрудничество, как это имеет место и сегодня. Рос и профессиональный уровень членов этих групп. Кандидатские диссертации защитили в те годы Э.Л. Львова (1978) и М.С. Усманова (1989) по назван-

ным выше темам, а также А.М. Сагалаев на тему «Ламаистские элементы в мифологии и традиционных культах алтайцев» (1981), Л.И. Шерстова на тему «Алтай-кижи в конце XIX – начале XX века» (1986).

В 1985 г. в ОмГУ была открыта кафедра этнографии – третья в РСФСР после кафедр Ленинградского и Московского государственных университетов. Соответственно, возникла система спецкурсов и спецсеминаров по этнографии. Коллектив этнографов с высшим образованием состоял в ОмГУ из преподавателей кафедры и работавших по хозяйственным темам научных сотрудников и старших лаборантов – всего более 10 человек.

Повышался и профессиональный уровень омских этнографов. В 1983 г. Н.А. Томилов защитил докторскую диссертацию «Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв.», а его казанский единомышленник Ф.Т.-А. Валеев в 1987 г. – также докторскую диссертацию «Сибирские татары (проблемы этнокультурного развития во второй половине XIX – начале XX вв.)»; в 1986 г. О.М. Проваторова защитила кандидатскую диссертацию «Современные этнические процессы у казахов Западной Сибири». В коллектив омских этнографов вошла и одна из основателей современной казахстанской этнографии кандидат наук И.В. Захарова, работавшая до этого в Омском государственном педагогическом институте. С этим коллективом работал и хакасский этнограф В.П. Кривоногов, который в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию «Современные этнические процессы среди хакасов». В этот же период защитили кандидатские диссертации тесно сотрудничавшие с омскими этнографами кемеровский этнограф В.М. Кимеев на тему «Шорский этнос. Основные этапы формирования и этническая история (XVIII–XX вв.)» (1986) и новосибирский археолог В.И. Соболев на тему «Барабинские татары XIV – начала XVII вв. н.э. (по археологическим материалам)» (1983). Регулярное и плодотворное сотрудничество у этнографов установилось с омскими археологами доктором наук В.И. Матюшенко и Б.А. Кониковым, защитившем в 1982 г. кандидатскую диссертацию «Культуры таежного Прииртышья VI–XIII вв. н.э.».

С целью обсуждения научных проблем, изучением которых занимаются омские и томские этнографы, а с ними и специалисты других смежных наук, в этот период увеличилось количество проводимых научных форумов. Возрастали авторитет и значимость Западно-сибирских археолого-этнографических совещаний. В Омске начиная с 1976 г. научные конференции по археологической, этнографической и этносоциологической тематике стали проводиться ежегодно – сначала как региональные (сибирские), позднее как всесоюзные. Наиболее значимыми были следующие всесоюзные научные конференции: «Этногенез и этническая история тюркского населения Сибири и сопредельных территорий» (1979), «Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий» (1984), «Социально-культурные процессы в советской Сибири» (1985), «Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний» (1987).

В издательской деятельности сибирских этнографов прогресс также был очевиден: наряду с большим количеством сборников научных трудов стали издаваться монографии. Новосибирскими и томскими коллегами было подготовлено и увидело свет в 1988–1990 гг. трехтомное фундаментальное монографическое издание «Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири». Авторами монографий стали Э.Л. Львова, И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев, М.С. Усманова. В этот же период было издано несколько книг Н.А. Томилова – «Современные этнические процессы среди сибирских татар» (1978), «Этнография тюркоязычного населения Томского Приобья (хозяйство и материальная культура)» (1980) «Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой половине XIX вв.» (1981), «Очерки этнографии тюркского населения Томского Приобья (этническая история, быт, духовная культура)» (1983) и др.

Начавшийся в 1990-е гг. и продолжающийся последние 30 лет третий период характеризуется настолько обширными и существенными показателями в дисциплинарной организованности научного сообщества, кадровом составе сибирских ученых-тюрковедов, консолидирующей роли томского и омского научных центров в российской научной сфере деятельности тюрковедов, достижении значимых результатов исследований в нескольких субдисциплинах и научных направлениях этнографии и смежных с ней наук, что в кратком обзоре их трудно охватить. Тем более что пока за пределами данного обзора остаются работы наших коллег, работавших в учреждениях автономных областей Сибири (Н.А. Алексеев, С.М. Биче-Оол, В.Я. Бутанаев, М.В. Монгуш, Н.А. Тадина, Н.И. Шатинова и др.). Поэтому здесь о третьем периоде – в самом тезисном виде.

Выше уже шла речь о том, что в Омске в 1991 г. было создано учреждение СО РАН по археологии, этнографии и музееведению. В 1993 г. в этом же городе возникло еще одно научное учреждение – Сибирский филиал Российского института культурологии; с 2014 г. это Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. В нем также работает группа этнографов, в том числе есть и тюрковеды. В ОмГУ по-прежнему функционирует кафедра с этнографическим направлением. В Омском государственном педагогическом университете около 70 лет работает Сибирский региональный вузовский центр по фольклору (руководитель – доктор филологических наук Т.Г. Леонова, которая занимается в том числе и этнографическими сюжетами), организующий проведение в Омске ежегодного Сибирского научно-практического семинара «Народная культура Сибири». Много этнографов трудятся и в омских музеях. Сегодня в Омске по профилю работает около 50 этнографов, а многие выходцы из омского этнографического центра работают в других городах России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Анадыря, а также в Германии, Казахстане и Канаде [11].

В Томске в ТГУ и Томском государственном педагогическом университете имеются кафедры с этногра-

фическим компонентом в названии. По-прежнему функционирует вышеупомянутая проблемная лаборатория ТГУ – ПНИЛИАЭС.

Существенные сдвиги происходили и в кадровом составе сибирских ученых, занятых тюркской тематикой. Докторские диссертации были защищены по отечественной истории – Л.И. Шерстова «Этнополитическая история тюрков Южной Сибири. XVII – начало XX вв.» (1999), по этнографии – А.М. Сагалаев «Архаичное мировоззрение урало-алтайских народов Западной Сибири» (1992), В.П. Кривоногов «Современные этнические процессы у малочисленных коренных народов Средней Сибири» (2000), И.В. Октябрьская «Казахи Алтая: этнополитические и социокультурные процессы в пограничных районах Южной Сибири XIV–XX вв.» (2004), В.М. Кимеев «Этномузеи Притомья и сохранение этнокультурного наследия: генезис, архитектура, функции» (2009), Д.Г. Коровушкин «Диаспоры Западной Сибири: особенности этнокультурного развития сельских сообществ в конце XIX – начале XXI в.» (2009), по археологии: В.И. Соболев «История сибирских ханств (по археологическим материалам)» (1994), по антропологии – А.Н. Багашёв «Формирование древнего и современного населения Западной Сибири по данным краниологии» (2000), по филологии – Х.Ч. Алишина «Историко-лингвистическое исследование ономастики сибирских татар (на материале Тюменской области)» (1999) и Ф.Х. Гильфанова «Этнолингвистическое исследование антропонимии тарских и барабинских татар (на материале русских архивных документов XIX–XX вв.)» (2007).

В Томске успешно работает диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук при ТГУ. В нем защитили кандидатские диссертации томские этнографы-тюрковеды: по этнографии шорцев – Л.С. Борина (2003), по этническому составу населения Нижнего Притомья – Т.А. Гончарова (2004), по этнографии хакасов – Г.В. Грошева (2008), по этнографии татар Томской области – И.Г. Поправко (2010).

Омские этнографы защищали кандидатские диссертации в разных городах – Алма-Ате, Кемерово, Москве, Санкт-Петербурге, Томске, но больше всего в Новосибирске и Омске. Защитили диссертации по этнографии разных групп татар Западной Сибири А.Г. Селезнев (1991), Н.В. Кулешова (1995), С.Н. Корусенко (1996), Н.А. Левочкина и Е.Ю. Смирнова (1998), Ф.Х. Гильфанова и М.А. Корусенко (1999), И.А. Селезнева (2000), Ф.М. Фаткулина (2001), Л.М. Кадырова, О.П. Коломиец и А.А. Ярзуткина (2004), М.Н. Тихомирова (2005), Е.В. Титов (2008), Д.М. Лукманова и Д.А. Мягков (2009), А.А. Ильина (2010), А.М. Диянова (2012), по этнографии казахов, татар и русских – А.В. Матвеев (2003), по истории и этнографии казахов – З.Е. Кабульдинов (1997), Ш.К. Ахметова (2001), Б.К. Смагулов (2002), А.С. Сарсамбекова и А.В. Смелякова (2009), А.А. Дайрабаева (2010), по этнографии алтайцев – Е.А. Бельгибаев (2001), И.И. Назаров (2004), по этнографии шорцев – Г.М. Патрушева (1992), по этнографии чувашей – Д.Г. Коровушкин (1991).

Среди ученых из других городов, работающих по тюркской тематике и защитивших кандидатские диссертации, – З.А. Тычинских из Тобольска с диссертацией по этнографии сибирских татар (2007); в 2008 г. защитила диссертацию Е.В. Самушкина из Новосибирска на тему о этнополитическом движении в республиках Алтай, Тыва и Хакасия (2008).

В 1991 г. кандидатскую диссертацию по этнографии бачатских телеутов защитил в Ленинграде работавший тогда в Омске Д.А. Функ, который уже как московский этнограф в 2003 г. защитил докторскую диссертацию «Шаманская и эпическая традиция тюрков юга Западной Сибири». Отметим, что Д.А. Функ и Н.А. Томилов были составителями и редакторами фундаментального тома «Тюркские народы Сибири», вышедшего в 2006 г. в серии «Народы и культуры» [12]. Нужно также отметить ученых, которые не защищали диссертации, но внесли значительный вклад в тюрковедение, и прежде всего это омские этнографы Э.Р. Ахунова, В.Б. Богомолов, В.В. Мерзликин, Р.Ф. Уразалеев, Л.Т. Шаргородский, тобольский историк и этнограф И.В. Белич.

И в Томске, и в Омске в этот период почти ежегодно проходили научные форумы с этнографической составляющей. Регулярный статус принял международный научный симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований», который омичи с 1993 г. провели 22 раза в городах России, а также в Казахстане и на Украине. В 2011 г. в Омске прошел Международный научный конгресс «Этническая история и культура тюркских народов Евразии».

Издательская деятельность сибирских тюрковедов характеризуется высокой активностью. Это десятки монографий, сотни сборников статей и материалов научных форумов. Фундаментально значимыми стали научные серии, и среди них изданные томичами в 1994–1998 гг. в пяти книгах «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири» и омская научная серия «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума», в которой в 1996–2016 гг. было опубликовано 14 томов.

Тематическая направленность исследований сибирских ученых-тюрковедов достаточно разнообразна. Они получили значимые научные результаты в таких субдисциплинах и направлениях этнографии, как теория и история этнографических исследований с историографической составляющей, этническая история, современные этнические процессы, культурно-генетические и культурно-динамические исследования, этноархеология, этногенеалогия, этнополитология, этносоциология, этнографическое религиоведение, этнографическое музееведение, этнохореография. Результаты исследований сибирских этнографов в российском обществе были использованы в практике управления культурными, социальными и политическими процессами, формирования мировоззрения россиян, проведения образовательной и просветительной работы. Но характеристика этих научных исследований и их использования для стабильного развития российского общества – это темы для специальных историографических и историко-научных очерков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корзун В.П. Опыты историко-научных исследований в творчестве Н.А. Томилова // Этнограф, культуролог, историк... : к 70-летию профессора Николая Аркадьевича Томилова. Омск : Наука, 2011. С. 221–226.
2. Корзун В.П., Мамонтова М.А. «Стихийные этнографы» в региональном интеллектуальном ландшафте: В.И. Матющенко, Н.А. Томилов // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. С. 151–158.
3. Емельянов Н.Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху (состав, занятия и повинности) / отв. ред. В.И. Матющенко, Н.А. Томилов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. 252 с.
4. Жеравина А.Н. Жизненный и творческий путь З.Я. Бояршиновой // Человек в истории : памяти профессора З.Я. Бояршиновой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 3–12.
5. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв. / отв. ред. В.И. Васильев, Р.С. Васильевский. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. 271 с.
6. Львова Э.Л., Дремов В.А., Аксянова Г.А. и др. Тюрки таежного Причумылья. Популяция и этнос / под ред. В.П. Алексеева. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991. 246 с.
7. Каталог этнографических коллекций Музея археологии и этнографии Сибири Томского университета / отв. ред. Н.А. Томилов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1979. Ч. I: Народы Сибири. 343 с.; 1980. Ч. II: Народы СССР (кроме Сибири) и зарубежных стран. 252 с.
8. Материалы по этнографии Сибири / отв. ред. Н.В. Лукина, Н.А. Томилов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1972. 168 с.
9. Захарова И.В., Томилов Н.А. Этнографические научные центры Западной Сибири середины XIX – начала XXI века. Омский этнографический центр / отв. ред. В.П. Корзун, В.И. Матющенко. Омск : Наука, 2007. 400 с.
10. Томилов Н.А. Томский и омский опыт научной каталогизации этнографических фондов сибирских музеев // Приобье глазами археологов и этнографов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 134–139.
11. Смирнова Т.Б. Омская школа этнографии // Этнография. 2019. № 4. С. 181–194.
12. Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М. : Наука, 2006. 678 с.

Nikolay A. Tomilov, Institute of Archeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Omsk Laboratory of Archeology, Ethnography and Museology (Omsk, Russian Federation). E-mail: n.a.tomilov@gmail.com

THE TURKIC PEOPLES ETHNOGRAPHY IN THE WORKS OF SIBERIA RESEARCHERS (TO THE RESULTS OF 50 YEARS OF STUDIES)

Keywords: ethnography, the Turkic peoples, periodization, scientific history.

The aim of the scientific paper is to research the history of ethnographic studies of Turkic peoples that has been produced for recent 50 years by the scholars of Tomsk and Omsk scientific centres and also by scholars from other Siberian cities. The result of using of historiographical approach to the subject is a creation of the periodization of the studies history with special attention at the activity of the institutions, which carry out such researches, accordingly, the composition of the staff of scientists, on the disciplinary organization of the community of Siberian turkologists, and the results of their investigations in Siberian Turkic peoples ethnography.

In the presented paper such written sources as Siberian ethnographers published papers, articles on the activity of the scientific establishments and articles by scholars, who study the Turkic peoples ethnography, and also scientific forums on Turkic topics, were used:

Three periods were defined in the Tomsk and Omsk scholars ethnographic studies. The first period is the end of the 1960s to the first half of the 1970s. It is characterized by founding of the Tomsk ethnographic centre, where archaeologists and ethnographers were laboring, especially ones who studied Siberian Tatars and Chulyms. The second period is mid 1970s – 1980s. It is connected with a formation of the Omsk ethnographic centre and collaborative work of Omsk and Tomsk centres on the study of ethnography and anthropology of Altaians, Bachat Teleuts, Kazakhs, Tatars, Khakas, Chuvashes, Chulyms and Shorians. The third period has started in the 1990s and goes on nowadays. It may be characterized by expansion of researches in the field of ethnography and ethnoarchaeology of the Turkic peoples produced by scientists from Omsk and Tomsk with the involvement of specialists from other cities centres. In this period a great number of fundamental scientific series was published, like “Essays on cultural genesis of the Western Siberian peoples” (Ocherki kulturogenesa narodov Zapadnoy Sibiri)? “Ethnographic and archaeological complexes: the problems of culture and society” (Etnograficheskie kompleksi: problem kul'tury i sotsiuma), “Integration of archaeological and ethnographic researches” (Integratsiya arkhologicheskikh i etnograficheskikh issledovaniy).

REFERENCES

1. Korzun, V.P. (2011) Opyty istoriko-nauchnykh issledovaniy v tvorchestve N.A. Tomilova [Experiments in historical and scientific research in the work by N.A. Tomilov]. In: Remnev, A.V. & Strunin, V.I. (eds) *Etnograf, kul'turolog, istorik... K 70-letiyu professora Nikolaya Arkad'evicha Tomilova* [Ethnographer, culturologist, historian ... To the 70th anniversary of Professor Nikolai Arkadievich Tomilov]. Omsk: Nauka. pp. 221–226.
2. Korzun, V.P. & Mamontova, M.A. (2018) “Spontaneous ethnographers” in the regional intellectual landscape: V.I. Matyushchenko, N.A. Tomilov. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 436. pp. 151–158. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/436/18
3. Emelyanov, N.F. (1980) *Naselenie Srednego Priob'ya v feodal'nyuy epokhu (sostav, zanyatiya i povinnosti)* [Population of the Middle Ob region in the feudal era (composition, occupation and duties)]. Tomsk: Tomsk State University.
4. Zheravina, A.N. (1999) *Zhiznennyy i tvorcheskyy put' Z.Ya. Boyarshinovoy* [Z.Ya. Boyarshinova: life and creativity]. In: Zheravina, A.N. (ed.) *Chelovek v istorii: pamyati professora Z.Ya. Boyarshinovoy* [Person in History. In Memory of Professor Z. Ya. Boyarshinova]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 3–12.
5. Tomilov, N.A. (1992) *Etnicheskaya istoriya tyurkoyazychnogo naseleniya Zapadno-Sibirskoy ravniny v kontse XVI – nachale XX vv.* [Ethnic history of the Turkic-speaking population of the West Siberian Plain in the late 16th – early 20th centuries]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
6. Lvova, E.L., Dremov, V.A., Aksyanova, G.A. et al. (1991) *Tyurki taezhnogo Prichulyum'ya. Populyatsiya i etnos* [Türks of the taiga Chulyms region. Population and ethnos]. Tomsk: Tomsk State University.
7. Tomilov, N.A. (ed.) (1979) *Katalog etnograficheskikh kollektsey Muzeya arkheologii i etnografii Sibiri Tomskogo universiteta* [Catalog of Ethnographic Collections of the Museum of Archeology and Ethnography of Siberia, Tomsk University]. Vol. 1. Tomsk: Tomsk State University.
8. Lukina, N.V. & Tomilov, N.A. (1972) *Materialy po etnografii Sibiri* [Materials on the Ethnography of Siberia. Tomsk: Tomsk State University].

-
9. Zakharova, I.V. & Tomilov N.A. (2007) *Etnograficheskie nauchnye tsentry Zapadnoy Sibiri serediny XIX – nachala XXI veka. Omskiy etnograficheskiy tsentr* [Ethnographic scientific centers of Western Siberia in the mid 19th – early 21st century. The Omsk Ethnographic Center]. Omsk: Nauka.
 10. Tomilov, N.A. (2000) Tomskiy i omskiy opyt nauchnoy katalogizatsii etnograficheskikh fondov sibirskikh muzeev [Tomsk and Omsk experience of scientific cataloging of ethnographic funds of Siberian museums]. In: Chernyak, E.I. (ed.) *Priob'e glazami arkheologov i etnografov* [The Ob region through the eyes of archaeologists and ethnographers]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 134–139.
 11. Smirnova, T.B. (2019) The Omsk School of Ethnography. *Etnografiya*. 4. pp. 181–194. (In Russian). DOI 10.31250/2618-8600-2019-4(6)-181-194
 12. Funk, D.A. & Tomilov, N.A. (ed.) (2006) *Tyurkskie narody Sibiri* [The Turkic Peoples of Siberia]. Moscow: Nauka.

УДК 316.42:327.8
DOI: 10.17223/19988613/68/18

Е.Ф. Фурсова

ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ И КОНТЕКСТЫ ИНТЕРВЬЮ КАК ИСТОЧНИК ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-09-00028 а «Этнокультурная идентичность русского и других восточнославянских народов в Сибири (XVII – первой трети XX в.)».

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Поставлена цель выявить этнокультурную идентичность старожилов Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан с учетом фактов истории заселения и всего контекста реалий прошлого и недавнего настоящего (XVIII – конец XX в.). В качестве источника привлекается текст расшифровки глубинного полевого интервью (нарратив), записанного автором в 1995 г. со старейшими жителями. Анализ эмпирических материалов показал, что по прошествии более 200 лет обоснования на Алтае потомки первопоселенцев не придавали значения фактам из далекого «польского» прошлого, утратили память о насильственной высылке предков с территории Речи Посполитой, воспринимая это как легенду, но выдавали в качестве факта версию о своей «русской чалдонской» идентичности, привязанной к реке Дон.

Ключевые слова: конец XX в.; локальные тексты и контексты; старообрядцы-«поляки»; Северо-Восточный Казахстан.

В процессе глубинного полевого интервьюирования этнографы / культурные антропологи получают новые материалы, расшифровывая и представляя их в виде *текстов* (нарративов), пополняют источниковую базу. При этом информанты не только отвечают на заданные вопросы, но и иллюстрируют ответы примерами из личной жизни или жизни своих родственников (автобиографический нарратив). *Контекст*, под которым понимается единый в плане заданного семантического поля понятий отрывок локального текста, значим в решении проблем этнокультурной идентичности народов, так как любой этнографический факт важно рассматривать с учетом соответствующей культурной среды и всех взаимосвязей сообщества.

Для нашего исследования оказалась востребованной точка зрения, согласно которой коллективная память оперирует мифами – упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия простым схемам и воспринимаются членами группы как «очевидное» [1. С. 116]. Под исторической памятью в историографии обычно понимают одно из измерений индивидуальной или коллективной (или социальной) памяти как памяти об историческом прошлом, по сути – символическую репрезентацию прошлого [2. С. 33; 3. С. 52].

Одной из привлекательных восточнославянских этнографических групп в плане наблюдений над трансформациями исторической памяти и этнокультурной идентичности являются старообрядцы-«поляки» Алтая, предки которых почти сто лет укрывались от религиозных преследований в бывшей Речи Посполитой

(сейчас это территории Брянской области в России и Гомельской области в Беларуси) [4. С. 63–67]. В 60-х гг. XVIII в. беглецы были насильственно переселены в районы Западной и Восточной Сибири – в Забайкалье и на Алтай (ведомство Усть-Каменогорской крепости Бийского уезда Алтайского горного округа). Однако группа старообрядцев из западных губерний прибыла на Алтай не на пустое место. Еще с 1720-х гг. царское правительство, создававшее оборонительные линии на юге Западной Сибири (например, линия Семипалатинск–Усть-Каменогорск), переселяло сюда служилых людей из Тюмени, Тобольска, Тары, Томска («линейные казаки»). На ставшие безопасными от вторжения кочевников земли в 1740-е гг. в ведомстве Усть-Каменогорской крепости были поселены крестьяне-добровольцы из Тобольской провинции и прибывшие из европейской части страны ссыльнопоселенцы [5. С. 187, 191; 6. С. 29].

Архивные материалы из ЦГАДА (Ф. 288. Д. 555. Л. 1–5. 1736 г.) свидетельствуют об изначально сложном составе западных старообрядцев, включавшем выходцев конца XVII – начала XVIII в. с северных, центральных и южных губерний Российской империи (Московская, Новгородская, Белгородская, Воронежская, Смоленская, Нижегородская и пр.) [7. С. 114; 8. С. 71 и др.]. О неоднородности «польских выведенцев», часть из которых происходила из северных и центральных областей Европейской России, а часть из южной «Подоллии», писала на основе расспросов «поляков» Алтая в конце XIX в. М.В. Швецова [9. С. 29].

В XVIII в. П.С. Паллас наблюдал, как на местах бывших форпостов были построены деревни Шемо-

наиха, Екатерининская, Староалейская, которые заселялись «польскими поселенцами» [10. С. 217–227]. Спустя более двухсот лет в селах гор Южного Алтая в верховьях р. Иртыш (ныне Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан) во время академической экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН 1995 г. (руководитель экспедиции Е.Ф. Фурсова) нам встречались коллективные названия местных старожилов «поляки» / «поляшки», «чалдоны», «кержаки» наряду с региональной «здешние» / «сибиряки» и этнической «русские» идентичностями [11. Л. 45 об.].

Приведем примеры из полевой практики, отражающие картину сложных переплетений уровней и форм этнокультурных, конфессиональных идентичностей и их народных коллективных прозвищ. Так, одни жители д. Большая Речка в 1990-х гг. называли себя и чалдонами и «закаленными сибиряками» (Е.И. Серохвостова, 1914 г.р., Большая Речка ВКО РК), другие большеценцы этот факт не подтверждали, считали местное население «кержацким». В среде местных жителей проживало много потомков старообрядцев, в том числе утративших память о религиозной принадлежности, но сохранивших атрибутику, например двуперстное знамение, иконы. Старообрядцы «стариковского согласия» д. Зевакино, хотя и не считали себя чалдонами («деды все здешние»), но помнили рассказы стариков о происхождении людей с таким коллективным названием: «Приезжали с Чала и Дона казаки. Их потом стали звать чалдонами» (П.И. Боровикова, 1928 г.р., Зевакино ВКО).

Даже в тех населенных пунктах (с. Верх-Уба и Оленка), на которые информанты указывали как на «чалдонские», местные селяне крестились по-старообрядчески «двумя перстами» и чалдонами себя не считали (Е.П. Челимкина, 1919 г.р., Верх-Уба ВКО; А.Л. Синельникова, 1916 г.р., Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО). По нашим наблюдениям, в Верх-Убе реально проживали старообрядцы поморского согласия, которые еще в 1990-е гг. соблюдали религиозные обычаи, вспоминая, что жители соседних сел называли их «поляшками». Разделение здесь шло по границе православных и православных старообрядцев (последних называли «самодурами»), которые «морговали» (здесь: брезговали. – Е.Ф.) соседями «другой веры» и мыли после их посещений «скобку двери» [Там же. Л. 68 об.].

Рассмотрим интересующие нас вопросы на примере населения д. Шемонаихи. Об этой деревне П.С. Паллас сообщал, что жители «суть перешедшие из Польши поселяне», «кои Российского происшествия, говорят языком русским и исповедуют древний Греческий закон» [10. С. 217]. Однако на момент работ Восточно-славянской этнографической экспедиции 1995 г. местные жители называли Шемонаиху уже «чалдонским» селом, так как «поляков никого не осталось», а чалдонов рассматривали как людей приехавших неизвестно когда с р. Дон. Здесь это коллективное название интерпретировалось наряду с прочими «прозвищами», «ерши» (звали семейства Агафоновых), «коречки», «куяны» и пр., присвоенными по разным причинам, но в основном в соответствии с диалектными особенно-

стями речи, бытовой культурой, а также событиями в прошлом (А.Н. Агафопова, 1915 г.р., Шемонаиха ВКО). Видимо, в этой связи заслуживает внимания вопрос сопоставления местного шемонаихинского языка с известными донскими (казацкими) говорами с присущей им «разноголосицей» населения станиц, многообразием фонетических и грамматических особенностей [12. С. 425]. При этом, со слов жителей, все эти носители коллективных прозвищ были «такие же люди, чалдоны», что означало «выходцы с Дона». Старейшие шемонаихинцы вспоминали, что даже их деды и прадеды не помнили, когда предки пришли сюда, однако принадлежность к «донской прародине» не вызвала сомнений. Связывая свое происхождение с Доном, тем не менее местные жители казаками себя не называли, что отмечено нами и для других районов Сибири с аналогичной ситуацией: «не казаки, просто русские были» [13. С. 439].

В плане выявления этнокультурной идентификации шемонаихинцев обратимся к тексту расшифровки глубинного интервью местной уроженки с. Шемонаиха Анны Никоновны Агафоновой. Записанное с ней аудиointerview при расшифровке составило 47 страниц рукописного текста в тетради формата А4. Во время экспедиции с информантом состоялось две встречи (записи велись в течение двух дней). Информация включала сведения о населении д. Шемонаиха и соседних деревень, свадебных и календарных обычаях, одежде, песенно-танцевальном фольклоре и пр. Речь у Анны Никоновны производила впечатление чистой, почти литературной, без особенностей произношения и заметных диалектизмов.

Индивидуальные и коллективные аспекты идентичности в созданном тексте переплетаются и периодически соотносятся между собой по принципу «свои / чужие». Об истории ссылки и «поляках» Шемонаихи А.Н. Агафопова вспоминала очень скупое, противопоставляя эти факты современной ситуации: «Давным-давно деды и прадеды говорили, что сюда поляков ссылали, в Шемонаиху. Из поляков никого не осталось» [11. Л. 45 об.]. Показательны ее упоминания о бывавших еще в первой трети XX в. кругах брачных связей, исследование которых как бы подтверждает сообщенную выше информацию. По воспоминаниям А.Н. Агафоновой, «...невест брали со Спасского, Белого Камня. Из Выдрихи, Верх-Убы не брали невест» (по мнению информанта, в этих селах проживали «кержаки», т.е. старообрядцы «с реки Кержи», и «поляшки», а чалдоны считали себя сторонниками Русской православной церкви, венчались в церкви) [Там же. Л. 46]. Кроме отсутствия принадлежности к категории «своих», негативное отношение к выдрихинцам базировалось на убеждении, что местные жители «портили свадьбы», а жители Шемонаихи «этим не занимались». Склонностью к колдовству славилось и население Верх-Убы, Большой Речки. Негативные характеристики были даны некоторым свадебным обычаям в этих селах, например «надевание на тещу хомута» в случае «нечестности» невесты, которые «культурные» шемонаихинцы называли «дикостью» [Там же. Л. 49]. По мнению Анны Никоновны, разли-

чия между жителями соседних деревень проявлялись и в песенном фольклоре. На вопрос, чем же жители соседней деревни Выдриха отличались от них, она уверенно ответила, что там «песни совсем другие были».

Ограничиваясь лишь фактологией текста, мы существенно обеднили бы этнографические исследования идентичности. Опираясь на подходы культурной психологии, можно уверенно констатировать, что в тексте аккумулируются те ценности и культурно-психологические установки, которые представляются существенными носителю традиций. Например, не упустила А.Н. Агафонова высказать распространенное у сибиряков мнение о необычной бытовой чистоплотности чалдонов: «Чалдоны очень чистоплотны. Каждую субботу было принято идти на речку Березовку. Самовары несли чистить, ухваты чугунные, подовые лопаты, сковородники. Нужно полы скрести, все перемыть, цветы вспрыскивать... Посыпят мелким песочком и шоркают голяком. Водой промывали. Стояли полы как желточек» [11. Л. 52–52 об.].

Идентификационные коды, составляющие основу этнокультурной идентичности, ярко проявляются в традиционной одежде, календарной и семейной обрядности. В отрывке об «одежде» закодирована информация, которая заставляет думать, что старообрядцы-«поляки» Шемонаихи, возможно, были ассимилированы, но оставили заметный след в чалдонской культуре. «В сарафанах ходили мама и бабушка. Прямые полотна вокруг собирались и по спине... Модно было сутажем цветным отделять по верху, по лямкам. Сзади лямки соединялись птичкой...» Содержательна информация и о головных уборах: «И кокошник отделявали позументом. Вышитый весь кокошник, и подзатыльник – бисером. Мама носила кичку...» Описанные традиции костюма были характерны для «полячек», но никак не чалдонок [11. С. 51 об.–52; 14. С. 152–153].

Свадьбу шемонаихинцев можно отнести к северно-среднерусскому варианту с вербальной активностью невесты, прощанием на девичнике, сосредоточенностью обрядов на территории мужа (вирилокальные обряды) и пр. Однако высокая сохранность свадебных песен (причитания, величания, корильные и шуточные песни, в их числе старинные про «Короля-Корольевича»), которые смогла напеть Анна Никонова, выделяет местный свадебный обряд на фоне скудного фольклора чалдонских свадеб других районов юга Западной Сибири. Отличает свадьбу шемонаихинцев от чалдонской также отсутствие постельного обряда «подклета», коллективных санкций в отношении родни невесты, ее родителей и крестных и пр. [11. Л. 50, 62–66, 70 об.].

Приведем примеры из календарной обрядности. В отличие от чалдонов, шемонаихинцы не называли новогодних ряженных «шуликанами», но в остальном обычаи можно охарактеризовать как сибирские. Примечательно отмечалась Масленица, которая включала ряженье и шествия на лошадях или пешком. «Это в последний день Масленицы. Лошадь запряжена в сани со спинками. Два стоят в санях, один изображает Нищего... сумка белая, на голове шляпа. Вторая лошадь

со Снежной Бабой едет. Платочек подвязан и метла обязательно... Вернее, первая шла с Бабой, потом Нищий ехал, потом лодкой запряжена лошадь. Ездок в лодке веслами работал. Он хлопает этими веслами, летят брызги – все хохочут, отбегают! По Большой улице ехали, заворачивают к Убе (река. – Е.Ф.). Еще запряжена была лошадь в сани. Один крепил в санях столб, на столб надевал колесо от телеги. Это Ванька-Рашмайка. Сидел на колесе, изображал “парит собачку веником!”» [Там же. Л. 55 об.–57]. Бытовала сибирская традиция купаться и обливаться на Ивана Купалу, которая не фиксируется на прежней родине – в Ветке и Стародубье, но известна в некоторых районах южно-русских областей, например в Орловщине [15. Л. 6–14 об., 18–19 об.]. Приведем этот отрывок текста: «Идешь по улице, какой-нибудь парень подбегает и р-раз, окатывает. Ходили группами парни, девушки к реке купаться. Девушки купаются, парни подбегут, обольют! Семьями ходили купаться. Раз Иван Купала – значит надо облить» [11. Л. 54].

Анализ упоминаемых в тексте интервью наименований хлебобулочных изделий и так называемой «выпечки» свидетельствует о преобладании терминов и рецептов «чалдонской кухни». «По воскресеньям мать пекла *шаньги*, лепешки-*плескнущи* намазанные. *Хворост* или *стружни* делали, это на Масленицу пекли. Всю Масленицу пекли пироги с рыбой. *Пустышки* пекли. Блины все в масле... А пельмени под Рождество делали, когда разговлялись» [Там же. Л. 53, 71 об.].

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что данные расшифровки глубинного полевого интервью А.Н. Агафоновой и некоторых других информантов обеспечили исследование необходимой фактологической базой по вопросу этнокультурной идентичности шемонаихинцев не только в конце XX в., но и в более раннее время, в 1920-х гг., так как воспоминания касались детства и юности информантов. В тексте интервью А.Н. Агафоновой аккумулированы духовные ценности и психологические установки носителей локальной культуры, являющиеся незаменимыми инструментами выявления этнокультурной идентичности. Анализ источников позволил выяснить идентичности местных старожилов, которые не придавали значения фактам из далекого «польского» прошлого, воспринимая их как легенду. Не сохранили шемонаихинцы и память о насильственной высылке в ведомство Усть-Каменогорской крепости Алтайского горного округа русских предков с территории Речи Посполитой. В то же время коренные жители выдавали в качестве факта версию о своей «русской чалдонской» идентичности, привязанной к реке Дон. Старообрядцы с. Шемонаиха, принявшие региональную идентичность «здешние» и название «чалдоны», впоследствии проявляли индифферентное отношение к старой вере дедов, сохранив лишь атрибуты (кресты, медные иконы). При этом шемонаихинцы не идентифицировали себя с «казаками».

Идентификационные коды из области материальной и духовной культуры подтвердили сложность состава шемонаихинцев, в котором соединились потомки служилых первопоселенцев форпоста первой четверти XVIII в., ссыльнопоселенцев-«поляков» 1760-х гг.,

представленных, в свою очередь, разными этнографическими группами русских Европейской России.

Важным моментом исследования этнографических текстов является разработка вопроса, в какой мере тексты глубинных интервью отражают существовавшую картину прошлого, а в какой имеет место конструирование такой картины (и, соответственно, как соотносятся реконструируемая этнокультурная идентичность с сознательно конструируемой идентичностью) [16. С. 10]. Данные текстов и этнокультурного контекста свидетельствуют не только об иерархично-

сти идентичности – проявлении «дробленной идентичности» русских старожилов, но и об активных процессах аккультурации, культурной интерференции, приведших «поляцкое» наследие к распространенному в Сибири «чалдонскому» облику. Возможно, что в описываемом случае наблюдается конструирование «чалдонской» идентичности как притягательной для значительной части сибирского населения. Это оказалось возможным только для тех старообрядцев, которые вышли из древлеправославия и стали сторонниками Русской православной церкви.

СОКРАЩЕНИЯ

ВКО – Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан.

ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск).

ПМА/РИ 1995. № X/л. – Полевые материалы автора / Расшифровка интервью, год записи, № тетради и лист.

РК – Республика Казахстан.

FMA 1995. No. X / 1 – Field materials of the author, year of recording, ledger number and sheet.

ЛИТЕРАТУРА

1. Малинова О.Ю., Ефремова В.Н. Коммеморации исторических событий и государственные праздники как инструменты символической политики // Историческая память и российская идентичность. М. : РАН, 2018. С. 115–132.
2. Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая история. 2004. № 3. С. 33–45.
3. Буганов А.В. Русские начала XXI в. Историческая память и этнокультурная идентичность // Историческая память и российская идентичность. М. : РАН, 2018. С. 52–69.
4. Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII–XX вв. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. 340 с.
5. История Сибири. Л. : Наука, 1968. Т. II: Сибирь в составе феодальной России. 538 с.
6. Мамсик Т.С. Бухтарминские каменщики – первопоселенцы Верхнего Прииртышья: этнокультурный, сословный, конфессиональный состав // Верхнее Прииртышье в XVII–XXI вв. Национально-государственное и этнокультурное взаимодействие. Новосибирск : Параллель, 2009. С. 28–41.
7. Лебедева А.А. К истории формирования русского населения Забайкалья, его хозяйственного и семейного быта (XIX – начало XX в.) // Этнография русского населения Сибири и Средней Азии. М. : Наука, 1969. С. 104–188.
8. Тарусская М.Г. Коллекция расписной утвари и одежды семейского населения // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. Новосибирск : Наука, 1975. Ч. II: Забайкалье. С. 71–80.
9. Швецова М.В. «Поляки» Змеиногорского округа // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. 1899. Кн. 26. С. 1–88.
10. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. СПб., 1786. Ч. 2, кн. 2. 575 с.
11. ПМА. 1995. № Р 21. 47 л.
12. Донские казаки в прошлом и настоящем. Ростов н/Д : ГинГо, 1998. 504 с.
13. Фурсова Е.Ф. Этнографические группы восточных славян в Западной Сибири: типология, идентичность, межкультурные взаимодействия // Этнокультурное взаимодействие в Евразии. М. : Наука, 2006. Кн. 1. С. 427–441.
14. Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русского и других восточнославянских народов юга Западной Сибири. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2015. 296 с.
15. ПМА. 2016. № 80. Поездка в г. Новозыбков, Стародуб Брянской области России, г. Гомель, Ветка Гомельской области Республики Беларусь. 2016 г.
16. Локальные тексты культуры. СПб. : Эйдос, 2017. 188 с.

Elena F. Fursova, Institute of Archeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: mfl1@mail.ru

LOCAL TEXTS AND CONTEXTS OF THE INTERVIEW AS A SOURCE ON THE ETHNOCULTURAL IDENTITY OF RUSSIAN OLD-TIMERS IN EAST KAZAKHSTAN

Keywords: late 20th century; local texts and contexts; Old Believers “Poles”; North-East Kazakhstan.

The author aims to detect ethnocultural and religious identities of an old-timers group in the Shemonaikha village of the East Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan, taking into account the settlement history of this locus and the entire context of ethnocultural realities of the past and recent present (the 18 - late 20 century). There was expressed a hypothesis, that a complexity of ongoing identification processes among the first settlers, who were service men in the early 18th century, the exiled settlers of a later time, including Old Believers forcibly deported from former Poland in the 1760s. The main research source is a transcript of in-depth field interviews (narrative) with the oldest resident of the Shemonaikha village - A.N. Agafonova, born 1915 and with other informants from neighboring villages. The local text created during the expedition of the Institute of Archeology and Ethnography of the SB RAS in 1995 is largely autobiographical, as the informant, answering questions, gave examples from her own life and lives of her kin. In the 18 c. Peter S. Pallas observed a settlement of the former outposts of Shemonaikha, Ekaterininskaya, Staroaleiskaya by "Polish settlers". Over two hundred years later in the villages of the Southern Altai mountains and the upper Irtysh area (now the East Kazakhstan Oblast of Kazakhstan), during the expedition the author met the collective names of local old-timers “Poles”, “Chaldons”, “Kerzhaks”, along with the regional “Locals” / “Siberians” and ethnic “Russian” identities.

The source analysis made it possible to find out the ethnocultural identity of the informants of the Shemonaikha village, who did not attach importance to facts from the distant "Polish" past, did not preserve the memory of the forcible deportation of their Russian ancestors from the Polish-Lithuanian Commonwealth to the Ust-Kamenogorsk fortress of the Altai Mountain District, essentially perceiving

this as a legend. At the same time, local residents gave out as a fact a version of their "Chaldon" identity, tied to the Don River, which was popular in the south of Western Siberia in the 19th and early 20th centuries for all groups of Russian old-timers.

An important point in the study of ethnographic texts is a development of the issue to what extent tests of in-depth interviews reflect a real picture of the past and to what extent a construction of such picture takes place (and, accordingly, how the reconstructed ethnocultural identity is correlated with the consciously constructed identity). The data of texts and contexts indicate not only the hierarchy of ethnocultural identity and a manifestation of the "splited identity" of Russian old-timers of the late 18 - first third of the 20 century, but also to active processes of acculturation, interference, which led the "Pole" heritage to the "Chaldon" look, widespread in Siberia at this time. Probably in the described case, a "Chaldon" identity is constructing as an attractive one for a significant part of Siberian population. This turned out to be possible only for those Old Believers who left Old Orthodoxy and became supporters of the Russian Orthodox Church.

REFERENCES

1. Malinova, O.Yu. & Efremova, V.N. (2018) Kommemoratsii istoricheskikh sobyitiy i gosudarstvennye prazdniki kak instrumenty simvolicheskoy politiki [Commemorations of historical events and public holidays as tools of symbolic politics]. In: Tishkov, V.A. & Pivneva, E.A. (eds) *Istoricheskaya pamyat' i rossiyskaya identichnost'* [Historical memory and Russian identity]. Mosco: RAS. pp. 115–132.
2. Repina, L.P. (2004) *Istoricheskaya pamyat' i sovremennaya istoriografiya* [Historical memory and modern historiography]. *Novaya i noveyshaya – Modern and Contemporary History*. 3. pp. 33–45.
3. Buganov, A.V. (2018) Russkie nachala XXI v. Istoricheskaya pamyat' i etnokul'turnaya identichnost' [Russians at the beginning of the 21st century. Historical memory and ethnocultural identity]. In: Tishkov, V.A. & Pivneva, E.A. (eds) *Istoricheskaya pamyat' i rossiyskaya identichnost'* [Historical memory and Russian identity]. Moscow: RAS. pp. 52–69.
4. Bolonev, F.F. (2009) *Starobryadtsy Zabaykal'ya v XVIII–XX vv.* [Old Believers of Trans-Baikal region in the 18th – 20th century]. Ulan-Ude: SB RAS.
5. Okladnikov, A.P. (ed.) (1968) *Istoriya Sibiri* [History of Siberia]. Vol. II. Leningrad: Nauka.
6. Mamsik, T.S. (2009) Bukhtarminskie kamenshchiki – pervoposelentsy Verkhnego Priirtysh'ya: etnokul'turnyy, soslovnyy, konfessional'nyy sostav [Bukhtarma masons – the first settlers of the Upper Irtysh Region: ethnocultural, estate, and confessional composition]. In: Shilovsky, M.V. (ed.) *Verkhnee Priirtysh'e v XVII–XXI vv. Natsional'no-gosudarstvennoe i etnokul'turnoe vzaimodeystvie* [Upper Irtysh region in the 17th – 21st centuries. National-state and ethnocultural interaction]. Novosibirsk : Parallel'. pp. 28–41.
7. Lebedeva, A.A. (1969) K istorii formirovaniya russkogo naseleniya Zabaykal'ya, ego khozyaystvennogo i semeynogo byta (XIX – nachalo XX v.) [On the history of the formation of the Russian population in the Trans-Baikal region, its economic and family life (the 19th – early 20th century)]. In: Maslova, G.S. (ed.) *Etnografiya russkogo naseleniya Sibiri i Sredney Azii* [Ethnography of the Russian population of Siberia and Central Asia]. Moscow: Nauka. pp. 104–188.
8. Tarusskaya, M.G. (1975) Kolleksiya raspisnoy utvari i odezhdy semeyskogo naseleniya [Collection of painted utensils and clothes of the semeiskoe population]. In: Makovetsky, I.V. & Maslova, G.S. (eds) *Byt i iskusstvo russkogo naseleniya Vostochnoy Sibiri* [Life and Art of the Russians in Eastern Siberia]. Vol. 2. Novosibirsk: Nauka. pp. 71–80.
9. Shvetsova, M.V. (1899) "Polyaki" Zmeinogorskogo okruga ["Poles" of Zmeinogorsk district]. *Zapiski Zapadno-Sibirskogo otdela Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva*. 26. pp. 1–88.
10. Pallas, P.S. (1786) *Puteshestvie po raznym mestam Rossiyskogo gosudarstva* [Journey through Various Provinces of the Russian Empire]. Vol. 2(2). St. Petersburg: [s.n.].
11. Fursova, E.F. (1995) Author's field materials. N R 21.
12. Volkov, Yu.V. & Lubsky, A.G. (eds) (1998) *Donskie kazaki v proshlom i nastoyashchem* [Don Cossacks in the Past and Present]. Rostov-on-Don: GinGo.
13. Fursova, E.F. (2006) Etnograficheskie gruppy vostochnykh slavyan v Zapadnoy Sibiri: tipologiya, identichnost', mezhkul'turnye vzaimodeystviya [Ethnographic groups of Eastern Slavs in Western Siberia: typology, identity, and cross-cultural interactions]. In: Derevyanko, A.P., Molodin, V.I. & Tishkov, V.A. (eds) *Etnokul'turnoe vzaimodeystvie v Evrazii* [Ethno-cultural interaction in Eurasia]. Vol. 1. Moscow: Nauka. pp. 427–441.
14. Fursova, E.F. (2015) *Traditsionnaya odezhda russkogo i drugikh vostochnoslavianskikh narodov yuga Zapadnoy Sibiri* [Traditional clothing of the Russian and other East Slavic peoples of the South of Western Siberia]. Novosibirs: SB RAS.
15. Fursova, E.F. (2016) *Poezdka v g. Novozybkov, Starodub Bryanskoy oblasti Rossii, g. Gomel', Vetka Gomel'skoy oblasti Respubliki Belarus'* [Trip to Novozybkov, Starodub of the Bryansk region of Russia, Gomel, Branch of the Gomel region of the Republic of Belarus]. Author's field materials. N 80.
16. Spival, D.L. et al. (2017) *Lokal'nye teksty kul'tury* [Local Texts of Culture]. St. Petersburg: Eydos.

УДК 35 + 571. 1/5
DOI: 10.17223/19988613/68/19

Л.И. Шерстова

ЕВРАЗИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ: СИБИРСКИЙ АСПЕКТ

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Анализируются общие элементы социальной организации, политических отношений, а также ментальности русских и сибирских народов. Делается вывод об общем источнике их происхождения, связанном с евразийским этнокультурным комплексом, сформировавшимся у населения Северной Евразии в результате миграций населения как с Востока на Запад, так и с Запада на Восток. Рассматриваются такие черты евразийской ментальности, как веротерпимость, отсутствие высокомерия по отношению к народам иной этнической и культурной принадлежности.

Ключевые слова: евразийство; русская колонизация; Сибирь; Золотая Орда; аборигенные народы Сибири; социальные институты; ментальность русских и сибирских этносов.

В отечественной историографии евразийская концепция восходит к работам Н.Я. Данилевского, П. Савицкого, Н. Трубецкого, позже она получила развитие в трудах Г.В. Вернадского и Л.Н. Гумилева. Между тем достаточно рано она оказалась политизированной и в более поздний период рассматривалась как геополитическая конструкция (А. Дугин, Н. Назарбаев). Следует отметить, что принятие или непринятие евразийства во многом зависит от мировоззренческих установок исследователей, большинство из которых воспринимают европоцентристскую картину развития человечества как единственно верную и поэтому не рассматривают ее вариативность.

Эти обстоятельства препятствовали признать тот методологический потенциал, которым обладает евразийство как объективное явление, т.е. как этнокультурный феномен, характеризующий общее этнокультурное и ментальное наследие народов Северной Евразии. Важным представляется акцент на понимании евразийства не только как процесса взаимодействия народов региона, но и как результата этого взаимодействия. Тогда *евразийство можно определить как синтез культурных явлений разновременных и разнотнических общностей как европейского, так и азиатского происхождения на территории Евразии, как результат широтных миграций населения как с Востока на Запад, так и с Запада на Восток*. Вместе с населением непосредственно или опосредованно переносились культурные элементы и социальные институты, которые закреплялись у населения региона, принимая со временем собственные ментальные формы, проявляющиеся в виде ощущений, пристрастий, ценностей, т.е. неосознаваемых принципов устройства общества, отношения к власти, земле, к восприятию «других», непохожих по образу жизни и религии.

Историки Сибири отмечают, что какой-либо продуманной политики России в Сибири на ранних этапах присоединения не было, т.е. русская власть выстраивала свои отношения с местным населением, исходя из предыдущего опыта своего развития, учитывая также и особенности сибирских социумов. Успешность такого подхода проявилась очень рано, хотя бы в том, что уже в 1640-е гг. русские вышли к побережью Тихого океана, основав на сибирской территории города и остроги, приведя «под государеву руку» и объяснив значительную часть местных народов.

Взаимодействуя с народами Сибири, Москва предложила им ту форму экономической зависимости, которую она знала, исходя из собственного исторического опыта. Этот порядок взаимодействия с зависимым населением закрепился в ее политике с ордынских времен. Для развития специализированному скотоводческому обществу монголов требовались товары, которые можно было взять только у земледельческих народов. Кроме того, значительное место в дани, приносимой русскими, занимала пушнина, так как монголы с удовольствием продолжали носить традиционные одежды, сшитые из меха. В таких условиях первой заботой монголов являлся вопрос выплаты им дани, которая на Руси получила название «ордынского выхода» и позже стала называться «ясаком». Современники не раз отмечали, что главным в монголо-русских отношениях являлась забота монголов о своевременной и полной выплате дани русскими [1. С. 281, 290].

Оказавшись в Сибири, русские перенесли этот принцип и на русско-аборигенные отношения. Главной задачей московской власти было не столько «разведывание новых земель», сколько стремление «полнить волости», т.е. увеличивать число подданных — плательщиков ясака в Сибири, поставщиков, как пра-

вило, пушнины. Но взять ее можно было, только учитывая принципы организации сибирских народов, их понимание необходимости подчинения власти.

Документы ранней русской колонизации Сибири свидетельствуют о том, что к приходу служилых людей там уже существовали устойчивые податные образования. Так, в «Наказе» царя Бориса Годунова, в частности, говорится: *«А которые люди живут на томской вершине (в верховьях Томи. – Л.Ш.) восьми волостей, и те люди учнут в государеву казну давати ясак»* [2. С. 139]. Рядом с киргизами отмечаются Басагарские и Васюганская волости [3. С. 31]. Чуть позже в «податной» переписке Томска с Москвой фиксировалось: *«Приведены (под царскую руку. – Л.Ш.) Матцкая, Кимская и Алтерская волости»* [4. С. 421], *«князек Базаяк с своими людьми в Обинской (Абинской. – Л.Ш.) волости»* [Там же. С. 435].

Следовательно, до прихода русских в Сибири существовали собственные формы административно-фискальных институтов, целью которых была выплата дани более сильным соседям. Вся Сибирь была покрыта сеткой даннических отношений. Данниками-кыштымами сибирских ханов были вогульские, остяцкие княжества: Пелымское, Кондинское, Кодское, а также аморфное тюркоязычное население лесостепной и степной зон от Урала до Оби, часть которого одновременно была данниками джунгар. В Пегой Орде нарымских селькупов существовало два вида платежей, поступавших маргкоку (великому князю): «калан» – налог, подать, и «ерменты» – дань. Первый платили подданные маргкоков, а для плательщиков дани, как правило, завоеванных великими князьями, существовал особый термин «инбат» – данник. Инбатами правителей Пегой Орды являлись отдельные группы северных кетов (возможно, как раз с этим связан этноним одной из северо-кетских общностей), некоторые группы туруханских эвенков, отдельные общности келыты-ненцев, а также часть васюганских хантов [5. С. 159].

Мелкие тюркоязычные группы Обь-Енисейского междуречья и Северного Алтая являлись кыштымами енисейских киргизов. В Прибайкалье буряты собирали дань с южных тунгусов, и русские застали здесь волости Гейскую, Ийскую, Верхнеокинскую и др., исправно платящие алман бурятам [6. С. 130–131]. Сами тунгусы взимали дань с кетских групп правобережья Енисея и периодически проникали к тюркоязычным кичинцам, иногда заходили в Нарымское Приобье. Данниками якутских тойонов были отдельные тунгусские и ламутские группы. Ненцы, проникая в земли обдорских хантов, также стремились собрать с них дань; те, в свою очередь, пытались обложить данью манси и селькупов. Даже на северо-востоке Сибири, в юкагирской среде [Там же. С. 170], а также у коряков и чукчей создавались условия для образования военных объединений [7. С. 31].

Служилым людям не нужно было заниматься организацией податных институтов – они уже существовали как местные административно-фискальные единицы – улусы, юрты, наслеги, роды, в основе организации которых был не размер территории, а определенное количество людей, само их наличие. Существовавшие коче-

вые империи Центральной Азии от гуннов до монголов в условиях политической нестабильности и подвижного образа жизни населения выработали своеобразный тип административного устройства, в основе которого лежал принцип *самого наличия* зависимого населения, которое стремились постоянно увеличивать, подчеркивая, таким образом, значимость и силу правителя.

В советской историографии проблема генезиса государственности у кочевых народов решалась либо в рамках универсальной концепции феодализма, и, следовательно, собственность на землю была главным условием этого процесса, либо выдвигалось мнение относительно собственности на скот. Одним из первых ученых, кто обратил внимание на значимость человеческих коллективов как фактора государствообразования, был Е.М. Залкинд. В 1970-х гг. он писал: *«Поскольку границы кочевий не были четко определены, то пожалование уделов (при Чингисхане. – Л.Ш.) не могло копировать аналогичный акт в оседлых странах. Там короли жаловали земли вместе с обитающими на них людьми, у номадов же происходило наоборот: люди жаловались вместе с осваиваемыми ими пастбищными территориями»* [8. С. 174]. Удел облекался в форму улуса. Существовало представление о том, что не величина территории или богатства составляет силу правителя. Сила кочевых империй Центральной Азии напрямую зависела от величины улуса, под которым понималась не столько территория как таковая, сколько *«владение, народ, данный в феодальное держание»* [9. С. 118].

В рамках улуса существовал своеобразный институт *унаган-богол*. Б.Я. Владимирцов отмечал, что в результате завоевательных походов монголов в зависимость от них попадали целые роды и группы родов. Роды, зависимые от правящего рода, и составляли *унаган-богол*. С эскалацией войн появлялось все большее количество родов, племен, вообще человеческих коллективов, попавших в социально-экономическую и политическую зависимость. Они сосредоточивались во владении некоторого числа удачливых родов (семей), увеличивая, таким образом, их собственные улусы [10. С. 8].

Таким образом, центральноазиатский улус – это административное образование, в котором присутствует правящая элита, как правило, возвысившаяся семья, род, этническая группа, и зависимое от нее население, также в форме семьи, рода, этнической группы, т.е. *унаган багол*. Поэтому для такого типа социально-политической организации естественно, что улус не мог представлять из себя однородное в культурном плане образование, важно было и то, что этническая принадлежность элиты чаще всего была иной, чем большинство населения улуса.

Сибирские материалы показывают, что русские служилые люди верно понимали суть социально-фискальной организации аборигенных обществ, поэтому русские ясачные волости XVII в. образовывались по традиционному для Сибири принципу – они определялись не территорией, которую к тому же было сложно контролировать, а припиской к городу или острогу оправленного количества плательщиков ясака. Следует заметить, что в русско-аборигенных отноше-

ниях достаточно рано проявлялась одна общая тенденция – если вначале аборигены соглашались платить ясак в обмен на защиту их от прежних хозяев и потому, что эта форма зависимости была для них привычной, то самоуправство и жестокость служилых людей впоследствии доводили их до массовых побегов и желания скрыться от сборщиков ясака.

Отсюда постоянно фиксируемая во множестве русских деловых бумагах XVII в. подвижность волостей, или «землиц», как обычно обозначались крупные местные этнополитические образования, которые по своей сути мало чем отличались от привычных улусов: *«Ачинские волости ясачные люди неведомо куда побежали»; «а та Мелецкая земля пришла к киргизам»* [11. С. 264]; *«Басагарские и Васюганская волости подошли к киргизам ближе»; «волости живут позади киргиз»* [3. С. 31]. В 1634 г. *«аринские татары со всеми улусными людьми... отъехали в киргизы и там кочуют от киргиз себе улусом»* [11. С. 435]. Заинтересованные в данниках власти внимательно следили за численной сохранностью волостей. Поэтому стоило только какой-либо из них быть записанной в окладных книгах, как куда бы она ни «уходила» и сколько бы в ней ни оставалось ясачных (а иногда в целой волости значилось лишь 2–3 человека), ее название сохранялось. Отсюда устойчивость сибирских волостей на протяжении всего XVII в. Однако стоило исчезнуть населению волости, как она прекращала свое существование. Сибирские материалы показывают механизм «прикрепления» людей: сначала к определенному виду тягла какой-либо группы населения и только со временем – к территории.

Между тем для того, чтобы русская власть восприняла такую форму организации общества, было необходимо ее понимание или наличие каких-то аналогичных элементов в устройстве собственного общества. Последнее не вызывает сомнений, поскольку сама московская государственность многое восприняла от Золотой Орды. Монгольская административная система, как отмечал Г.В. Вернадский, была тесно связана с военным делом. Ее распространение на Русь привело к некоторому ее обновлению. Каждый район (или поселение), способный выставить десять воинов, в сочетании с другими такими же составлял сотню (отсюда русское название сельского должностного лица «сотский»), десять сотен – тысячу, десять тысяч образовывали «тьму» (от монгольского «тумен»). Соответственно, допетровская Русь подразделялась на множество десятков, сотен, тысяч и «тем», т.е. сформировалось такое административное устройство, в основе которого лежали не размеры территории, а численность подданных – прежде всего трудоспособных (и боеспособных) мужчин – «ревизских душ» в Российской империи [12. С. 74]. Важным фактором закрепления такой системы стала перепись населения, которую ввели ордынцы. Это позволяло не только фиксировать даннические поступления в Орду, создавало условия для требования определенного числа воинов для участия русских в военных походах ордынцев, но и контролировало численность и миграции населения русских княжеств.

Такая система административного устройства была распространена не только в степных пространствах Сибири у тюркских и монгольских народов – потомков кочевых империй Центральной Азии. Они расширили ее бытование в таежную зону. Под влиянием сибирских ханов у манси и хантов население в административно-фискальном отношении делилось на сотни и десятки, при этом сотня являлась условной величиной без всякого соответствия с реальным количеством входящих в нее людей. Главным было само наличие тех, кто платил ясак в Кашлык [13. С. 100–101].

Следовательно, оказавшись в Сибири, русские обнаружили здесь функционирующую административную систему, базирующуюся на тех же принципах, что и существовавшая в московских землях. В обоих случаях она была создана под воздействием политических традиций кочевых империй Центральной Азии, но так как она уже закрепилась и на Руси, ее можно назвать *евразийской*.

Именно сходством административного устройства и одинаковым пониманием функций волостей-улусов определялись и социокультурные результаты взаимодействия русских и коренных народов Сибири. Русские, оказавшись в Сибири, встретили здесь знакомые им административно-податные образования, появившиеся в этих местах задолго до того, как территории за Уралом попали в сферу влияния Москвы. Сибирские власти не изменили характера и порядка взаимоотношений со своими новыми подданными, они не требовали от них того, чего последние понять не могли. Фактически русские XVII в. и сибирские народы (за редким исключением – чукчи, коряки) говорили на одном политическом языке, обладали схожими чертами ментальности, а Сибирь представлялась как огромное множество улусов со своими *унаган-баголами*, т.е. этническими группами аборигенов, которые были подчинены русским городам. Поэтому аборигены воспринимали русских воевод как тайшей, а войны городов за ясачных – как междоусобицы между ними. При этом культурная неоднородность населения улусов была также привычна – доминирующее положение прежних сюзеренов заменили русские власти. Главная задача состояла в переориентации выплаты ясака от прежних сюзеренов на Москву, а для этого нужно было быть (или казаться) сильнее и богаче этих последних.

Следует заметить, что несвязность населения и территории в Сибири сохранялась вплоть до реформы П.А. Столыпина, когда, наконец, были ликвидированы инородные управы (бывшие ясачные волости), некоторые из которых, не имея своей территории, тем не менее функционировали как административно-податные единицы (например, Шуйская, Кумышская инородные управы Кузнецкого уезда, Кумышская волость Томского уезда), когда административную и территориальную русско-аборигенную чересполосицу заменили унифицированные территориальные крестьянские волости. Несвязность территории и населения проявлялась и в положении аборигенного населения, проживавшего на землях, бывших собственностью Алтайского горного округа, но подчинявшихся губернской власти. Это стало одной из причин затянувшегося ме-

жевания земель в Южной Сибири, так как принятие отводных записей аборигенами происходило в присутствии чиновников как Кабинета, так и губернского правления, между которыми могли быть противоречия.

Второй принцип, который был использован Москвой в отношениях с местным населением, заключался в минимальном вмешательстве русской власти во внутренние дела аборигенного общества, его социальную структуру, образ жизни. Истоки такой политики кроются в использовании ордынцами опыта взаимодействия Китая с многочисленными варварами полиэтнических «кочевых империях» Центральной Азии раннего Средневековья. Русское государство, как Китайская империя или Древнетюркские каганаты и империя Чингисхана, формировалось как централизованное, но полиэтническое образование. Наряду с основным этносом, который выступал в качестве государствообразующего, проживали и другие народы на землях, которые также были их этнической территорией. В таких аморфных, полиэтнических государствах какие-либо формы насильственной аккультурации со стороны «этноса-элиты» могли оказаться губительными для ее власти, и поэтому от покоренных народов требовались политическая преданность и безусловное выполнение всех указаний при сохранении их внутренней социальной структуры и привычного образа жизни.

Для понимания евразийского контекста минимального вмешательства русской власти во внутриаборигенные дела следует обратить внимание на еще одну особенность *унаган-богола*. В его рамках, будучи не свободным даже в выборе кочевок, его население, как правило, не подвергалось постоянному вмешательству со стороны сюзерена, т.е. он практически не вмешивался во внутреннюю структуру их общества и их образ жизни. Поэтому сохранялись привычные социальные отношения и своя «аристократия», не говоря уже о внутренней социально-имущественной дифференциации [10. С. 81]. Если с этой точки зрения посмотреть на русско-монгольские отношения, то становится очевидным, что Русь воспринималась монголами как их *унаган богол*. Отсюда их в целом политика невмешательства во внутреннюю структуру русских княжеств, сохранение правящей династии Рюриковичей, постепенная замена баскаков как сборщиков дани местными князьями, что и позволило в конце концов сыграть Москве роль объединителя русских земель и начать строительство собственной государственности в рамках еще существовавшей Золотой Орды.

Принцип «невмешательства» нашел свое яркое воплощение в «Уставе об управлении инородцев» (1822), согласно которому аборигены имели свои административно-фискальные образования – управы, думы, свое самоуправление, права на земли, «ими обитаемые», запрет на поселения на землях аборигенов без их согласия, у них сохранялись обычное право и свобода вероисповедания.

Из этого следует, что еще одной евразийской чертой, проявившейся в русско-аборигенных отношениях в Сибири, была веротерпимость, свойственная народам Восточной и Центральной Азии. В ее основе лежали глубоко проработанная идея социальной гармо-

нии и, согласно китайским учениям, принцип непротивопоставления одной религии другой. Создав сложные религиозно-философские системы, китайцы на бытовом уровне сохранили очень архаичные представления с развитым политеизмом и слабыми зачатками монотеизма. Из этого следовало, что появление новой религии просто дополняло существующие представления (так, буддизм удачно представил разработанную концепцию посмертного существования), а собственный пантеон пополнялся новыми богами. Универсальный принцип китайской философии *инь-ян*, в основе которого нет идеи борьбы добра и зла, не противопоставлял и религии, что и сохраняло социальную стабильность, не приводило (до определенного момента) к религиозным войнам, столь известным в истории Западной Европы.

Древние тюрки и монголы заимствовали «китайское» отношение к чужим религиям, и такая веротерпимость, в частности, была характерна для Золотой Орды по отношению к православию. [1. С. 199]. Уже во времена Чингисхана среди его подданных кроме привычного шаманизма получили распространение христианство (несторианство), ислам, буддизм. Даже принятие ислама как государственной религии Золотой Ордой при хане Узбеке не привело к гонениям на православных – их община продолжала существовать в Сарае, а русское духовенство сохраняло свои привилегии. Поэтому и русские XVII в., восприняв такой подход, на начальном этапе колонизации допускали только добровольное крещение сибирского населения. Что же касается местного населения, то исповедуемые ими анимистические и политеистические представления не противоречили включению в свой пантеон божеств иных религий, более того, в более позднее время шаманы воспринимали христианские предметы как дополнительные аксессуары, повышающие их силу.

Религиозная терпимость по отношению к представителям других религий Сибири – шаманству и исламу – дополнялась отсутствием пренебрежения или высокомерия по отношению к сибирскому населению, несмотря на культурные различия. Одним из многочисленных примеров тесных контактов на бытовом уровне является ситуация, сложившаяся после пожара в 1643 г. в Тобольске, когда город выгорел, а русские разных сословий *«живут с татарами вместе, а живучи в татарских юртах... пьют и едят из одних сосудов и в пост с ними упиваются, с татарками живут блудно и детей приживают беззаконством, а татары с их христианскими женами живут тоже блудно и детей приживают»* [14. С. 309]. Следует отметить, что такая ситуация длилась 11 лет.

Причиной такого отношения к «чужим» была этническая индифферентность, устройство российского государства не по национальному, а по сословному принципу, а также убеждение в том, что культурная, а не кровнородственная связь является определением этнической близости.

Традиция «невмешательства» во внутренние дела зависимых народов начала складываться еще в древнем Китае в период Чжоу и особенно Хань, когда хуася, а затем и хань, окруженные варварами, вынуждены

были налаживать с ними мирные отношения. В средневековой китайской общественной мысли было сформулировано положение о том, что «этническая общность (*миньцзу*) как единство людей связана не только узами происхождения, но и общей культурой» [15. С. 272]. В китайской культуре, приняв конфуцианство, «варвар» становится «ханьцем». Таким образом, даже не этническая принадлежность делала «чужого» «своим», а следование «универсальному» конфуцианству. В русской традиции это нашло отражение в том, что тот, кто был «православным», являлся автоматически и «русским». Однако, учитывая, что православие части русских в Сибири было размытым и неустойчивым, главным культурным признаком, объединявшим пришедшее и местное население, становятся русская бытовая культура и русский язык.

Проводимая под влиянием таких взглядов политика по отношению к окружающим народам отличалась тем, что расширение территории шло не путем ее прямого захвата, а вследствие втягивания населения в собственные экономические, политические отношения, т.е. территория такого государства увеличивалась благодаря аккультурации и только потом – присоединению новых земель. Такой процесс мог затягиваться на десятилетия, но его результат был предreshен. Эту часть восточной дипломатии русские успешно использовали в Сибири, когда сначала включали в сферу своих политических интересов население, а потом закрепляли его территорию. Так, население Причулымья было объявлено еще в начале XVII в., но контролировать их территорию и построить Абаканский острог русские смогли лишь спустя сто лет, после того как территорию покинули енисейские киргизы.

Не менее интересным является и тот факт, что полиэтничная, поликонфессиональная, поликультурная

картина российского государства не была отрефлексирована его населением. В русском языке нет термина, который бы определял специфику межнациональных отношений. В конце XX – начале XXI в. в научной и политической сферах распространение получило заимствованное понятие «толерантность». Однако тот факт, что народы России не выработали собственный особый термин, который бы характеризовал отношение к «не нашим», свидетельствует о том, что культурная мозаика была привычной и обыденной для них, и они не придавали этому значения. Отношения между людьми разных этносов были настолько естественными, как и смена российских ландшафтов, что не вызвали потребности рефлексии.

Таким образом, следует подчеркнуть, что евразийской чертой российского государства и менталитета русских были отсутствие этнической, культурной или религиозной ксенофобии, способность воспринимать чужой опыт жизни и при необходимости им пользоваться, чему имеются примеры в русско-сибирской этнографии. Рассмотрение русско-аборигенных отношений в Сибири в рамках евразийской концепции позволяет выявить некоторые общие черты как российской государственности, так и особенностей социально-политического устройства сибирских народов, что, безусловно, нашло отражение в проводимой русскими политике, которая базировалась на общих чертах евразийской ментальности. Евразийская степь, соприкасаясь на Востоке с древнейшей Китайской цивилизацией, на Западе растворялась в южнорусских степях и была тем мощным мостом, по которому «кочевые империи» тюрок и монголов переносили культурные элементы, – это территория, на которой шел синтез западных и восточных ценностей, наследниками которых являются современные народы Северной Евразии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шпулер Б. Золотая Орда. Монголы на Руси. 1223–1502 / пер. с нем. С.Ю. Чупрова. М.: Центрполиграф, 2019. 415 с.
2. Пугачев А. Древнейший документ о нашем городе // Томск: литературно-художественный, общественно-политический и научный альманах. Томск, 1946. Март–июнь. С. 140–141.
3. Материалы по истории Хакасии XVII–XVIII вв. / под ред. В.Я. Бутанаева, А. Абдыкалыкова. Абакан, 1995. 250 с.
4. Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: АН СССР, 1937. Т. 1. 607 с.
5. Пелих Г.И. Селькупы XVII в. Очерки социально-экономической истории. Новосибирск: Наука, 1981. 176 с.
6. Этническая история народов Севера / под ред. И.С. Гурвича. М.: Наука, 1982. 267 с.
7. Зуев А.С. Присоединение Чукотки к России (вторая половина XVII – XVIII век). Новосибирск, 2009. 444 с.
8. Залкинд Е.М. Очерки генезиса феодализма в кочевом обществе. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. 242 с.
9. Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М.: Изд-во МГУ, 1973. 178 с.
10. Владимирцов Б.Я. Монгольский кочевой феодализм. Общественный строй монголов. М.; Л.: АН СССР, 1934. 233 с.
11. Миллер Г.Ф. История Сибири. М.; Л.: АН СССР, 1941. Т. 2. 637 с.
12. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М.: АГРАФ, 2001. 480 с.
13. Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв. // Научные труды. М.: АН СССР, 1955. Т. III, ч. II. С. 86–154.
14. Бущинский П. Заселение Сибири и быт ее первых насельников. М.: Вече, 2012. 320 с.
15. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М.: Наука. 1979. 326 с.

Lyudmila I. Sherstova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: sherstova58@mail.ru

EURASIAN MENTALITY: SIBERIAN ASPECT

Keywords: Eurasianism; Russian colonization; Siberia; the Golden Horde; Siberian aboriginal peoples; social institutions; Russians and Siberians.

The article emphasizes that Eurasianism was not only a process of cooperation of peoples in the region, but also the cooperation result. So, the *Eurasianism* may be defined as the *synthesis of diachronous cultural phenomena of polyethnic communities, with both European and Asian origin, as a result of latitudinal migrations from East to West and vice versa as well*.

Together with the population, cultural elements and social institutions were transferred directly or indirectly, which were fixed in the population of the region, taking over time mental forms that manifest themselves in the form of feelings, preferences, values, i.e., unconscious principles of the structure of society, attitudes to power, land, and the perception of "others" who are different in lifestyle and religion.

The Russians found in Siberia the forms of administrative-tax formations familiar to them from the Horde experience, a functioning system of tributary relations that existed among the local population long before the territories beyond the Urals fell into the sphere of Moscow's influence. The Siberian authorities did not change the nature and order of relations with their new subjects. Russians of the 17th century and the Siberian peoples (with rare exceptions - the Chukchi, Koryaks) spoke the same political language, possessed similar traits of mentality, while Siberia was presented as a huge multitude of *uluses* with their *unagan-bagols*, i.e. ethnic groups of aborigines, which were subordinated to Russian cities.

Moscow used another principle of relations with the peoples of Siberia, which was also the result of a rethinking of the Horde heritage, which consisted in the minimum interference of the Russian authorities in the internal affairs of the aboriginal society, in its social structure and way of life.

Another Eurasian feature of the Russian state and the mentality of Russians was the absence of ethnic, cultural or religious xenophobia, the ability to perceive someone else's life experience and, if necessary, use it, for which there are examples in Russian-Siberian ethnography.

No less interesting is the fact that the multi-ethnic, multi-confessional, multi-cultural picture of the Russian state was not reflected by its population. There is no term in the Russian language that would define the specifics of interethnic relations. Relations between people of different ethnic groups were as natural as the change in Russian landscapes, which did not cause the need for reflection.

REFERENCES

1. Shpuler, B. (2019) *Zolotaya Orda. Mongoly na Rusi. 1223–1502* [Mongols in Russia. 1223–1502]. Translated from German by S.Yu. Chuprov. Moscow: Tsentrpoligraf.
2. Pugachev, A. (1946) Drevneyshiy dokument o nashem gorode [The oldest document about our city]. *Tomsk*. March–June. pp. 140–141.
3. Butanaev, V.Ya. & Abdykalykov, A. (eds) (1995) *Materialy po istorii Khakasii XVII–XVIII vv.* [Materials on the history of Khakassia in the 17th – 18th centuries]. Abakan: [s.n.].
4. Müller, G.F. (1937) *Istoriya Sibiri* [History of Siberia]. Vol. 1. Moscow: USSR AS.
5. Pelikh, G.I. (1981) *Sel'kupy XVII v. Ocherki sotsial'no-ekonomicheskoy istorii* [Selkups of the 17th century Essays on socio-economic history]. Novosibirsk: Nauka.
6. Gurvich, I.S. (ed.) (1982) *Eticheskaya istoriya narodov Severa* [Ethnic history of the Northern peoples]. Moscow: Nauka.
7. Zuev, A.S. (2009) *Prisoedinenie Chukotki k Rossii (vtoraya polovina XVII – XVIII vek)* [Annexation of Chukotka to Russia (second half of the 17th – 18th centuries)]. Novosibirsk: SB RAS.
8. Zalkind, E.M. (2012) *Ocherki genezisa feodalizma v kochevom obshchestve* [Essays on the genesis of feudalism in a nomadic society]. Barnaul: Altai State University.
9. Fedorov-Davydov, G.A. (1973) *Obshchestvennyy stroy Zolotoy Ordy* [Social System of the Golden Horde]. Moscow: Moscow State University.
10. Vladimirtsov, B.Ya. (1934) *Mongol'skiy kochevoy feodalizm. Obshchestvennyy stroy mongolov* [Mongolian nomadic feudalism. Social structure of the Mongols]. Moscow; Leningra: USSR AS.
11. Müller, G.F. (1941) *Istoriya Sibiri* [History of Siberia]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: USSR AS.
12. Vernadsky, G.V. (2001) *Mongoly i Rus'* [Mongols and Russia]. Moscow: AGRAF.
13. Bahrushin, S.V. (1955) Ostyatskie i vogul'skie knyazhestva v XVI–XVII vv. [Ostyak and Vogul principalities in the 16th – 17th centuries]. *Nauchnye trudy*. 3(2). pp. 86–154.
14. Butinsky, P. (2012) *Zaselenie Sibiri i byt ee pervykh nasel'nikov* [The settlement of Siberia and the life of its first inhabitants]. Moscow: Veche.
15. Kryukov, M.V., Malyavin V.V. & Sofronov, M.V. (1979) *Kitayskiy emos na poroge srednikh vekov* [Chinese ethnos on the threshold of the Middle Ages]. Moscow: Nauka.

ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИИ

УДК 572.9; 572.77; 03.61.21
DOI: 10.17223/19988613/68/20

Г.А. Аксянова

ПЕРВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ XVII–XIX вв. ПО ДАННЫМ ОДОНТОЛОГИИ

Исследование выполнено за счет гранта РНФ «Русское население Сибири XVII–XIX вв.: этнокультурная адаптация в археологическом и антропологическом измерении» (проект № 18-18-00487).

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Впервые по одонтологической программе изучена морфология зубной системы в четырех краниологических сериях русских первопоселенцев Среднего Прииртышья: Ананьино I, Изюк I, Тара-2013 и Бутырское кладбище в г. Омске. Коллекции черепов датируются XVII–XIX вв., представляют православные сельские и городские популяции. Статистические сравнения групп из азиатской и европейской частей России, сопоставление с сибирскими татарами показали сохранение русскими сибиряками европейских черт в одонтологическом комплексе. Наряду с этим выявлены признаки ограниченного биологического контакта с азиатским коренным населением.

Ключевые слова: русские; Сибирь; Новое время; физическая антропология; одонтология.

Начало массового продвижения великорусского населения в Сибирь с целью экономического освоения территории, расширения границ Российского государства и закрепления на азиатских территориях относится к началу Нового времени (конец XVI – XVII в.). Массовая миграция привела к серьезным демографическим и социальным последствиям в регионе: быстрому приросту численности нового населения, взаимодействию с коренными сообществами, появлению городов и острогов, установлению новой властной структуры, распространению русской культуры, языка и православия, миссионерской деятельностью Русской православной церкви в среде аборигенного языческого населения. В антропологическом отношении эти процессы приводили к расширению биологического разнообразия постоянно проживающего населения.

Цель настоящего исследования – получить объективную антропологическую характеристику ранних популяций русского населения средней части Западносибирской равнины для решения вопросов его формирования и биологической адаптации в новых условиях проживания. Источником необходимой информации стали фонетические особенности морфологии зубной системы человека, ее постоянной смены в краниологических коллекциях. Материалы представлены суммарными по полу выборками. По расширенной одонтологической программе изучены четыре локальные серии русских первопоселенцев в Среднем Прииртышье: Изюк I, Ананьино I, Тара-2013 и «русская часть» Бутырского кладбища в г. Омске. Коллекции

мужских, женских, частично детских черепов были получены за последние десятилетия в ходе археологических работ под руководством Л.В. Татауровой, М.П. Чёрной и М.А. Корусенко на кладбищах поселенческих комплексов трех районов Омской области (Россия). Материалы поступили на хранение в фонды Кабинета антропологии Томского государственного университета и Тюменского научного центра СО РАН. Серии относятся к XVII–XIX вв. и характеризуют сельские и городские популяции православного населения. К сравнению привлечен широкий круг авторских материалов по русскому и коренному населению последних столетий с территории Сибири, включая современные популяции тюркских и уральских народов, кетов, русских Приобья и Красноярска, метисов, а также северных / вологодских русских г. Устюжна. Опубликованные данные представлены краниологическими сериями из православных некрополей нескольких европейских городов Поволжья (Казанский Кремль, Чебоксары и Тверь) [1–2].

Антропологическое изучение православного, в основном великорусского, населения Сибири, включая потомков национально-смешанных браков, одними из первых провели Н.Л. Геккер и И.И. Майнов во время своих работ в Якутии на рубеже XIX–XX вв. [3–5]. С.М. Чугунов в тот же период изучил население Томска XVII–XVIII вв. по собранному на православных кладбищах города краниологическому материалу, который был почти полностью повторно захоронен после антропологического изучения. Это исследование

в 1970-е гг. продолжил В.А. Дрёмов, а недавно Д.В. Пежемский, И.Г. Ширококов [6–9]. Новые серии русских жителей Томска, Красноярска и Омской области XVII–XIX вв., которые стали объектом одонтологического исследования, ранее получили краниологическую, палеопатологическую и демографическую характеристику [10–15].

С середины 1920-х гг. и до конца двадцатого столетия в азиатской части России обследованы только современные популяции русских старожилов по нескольким методическим программам и в широком территориальном диапазоне – от Горного Алтая, Оби и Енисея до Забайкалья и Камчатки. Обзору этих работ посвящено несколько публикаций [16–18]. Систематический сбор краниологических коллекций из православных некрополей Нового времени расширился в постсоветское время в связи с процессом восстановления исторического прошлого городских и сельских поселений в Сибири, отразивших расширение границ Российского государства и массовое продвижение русского населения за Урал. Антропологами изучено несколько краниологических коллекций из Восточной Сибири, Приамурья по традиционным программам краниометрии, одонтологии. Постепенное накопление материалов параллельно идет и на синхронных объектах в европейской части страны [1, 2, 17, 19]. В 1970-е гг. В.Ф. Вацаева обследовала десятки современных русских популяций по всему ареалу исторического формирования этноса на Восточноевропейской равнине [20–21]. Тем самым была создана надежная цифровая основа для сравнения азиатских и европейских групп одного народа.

Программа одонтологического исследования краниологических серий включает несколько десятков маркеров-фенов, в проявлении которых есть собственно генетическое влияние. Она составлена по методическим пособиям, написанным основателем российской одонтологической школы А.А. Зубовым [22–25].

Наряду с описательными характеристиками в нее входит измерительный комплекс размеров коронок больших коренных зубов (моляров).

Изученные в процессе настоящего исследования русские серии Омской области и Красноярска относятся по мировому масштабу к категории микродонтов, что характерно для евразийских популяций. Исключение мезодонтизм – в Томской коллекции, в которой абсолютно преобладают мужские черепа. Проведено графическое сравнение всех групп по двум интегрированным показателям величины коронки моляров: среднему размеру (модулю, m ср.) и форме (индексу, ср. инд.). Для зубов нижней челюсти показано, что все православные выборки ясно различаются с этнически пестрой совокупностью дославянских групп Западной Сибири, в том числе удалены от локальных групп тарских татар – Токсай, Чеплярово и Черталы (рис. 1, табл. 1). Сельские выборки Изюк и Ананьино оказались более однотипными, чем городские. При этом Тара – городская серия более раннего исторического периода – находится в поле графика ближе к массиву уральских и тюркских групп, чем более поздняя серия Бутырского кладбища.

Частота встречаемости разных признаков в комплексе определяет одонтологический тип группы и ее положение на европеоидно-монголоидной шкале евразийского диапазона различий (табл. 2). Во всех изученных сериях Омского Прииртышья преобладает западный (европеоидный) компонент, который максимально выражен в двух сельских выборках (Изюк, Ананьино), а минимально в **Таре**. Эта, пока еще очень малочисленная, выборка по целому ряду таксономически важных фенов отклоняется к метисным группам. Здесь повышены частоты лопатообразных обоих резцов, коленчатой складки, извилистой формы борозды 1 ра, затеков эмали, шестых бугорков на M_2 . В первую очередь в составе данной выборки могут быть крещенные аборигены, видимо, татары.

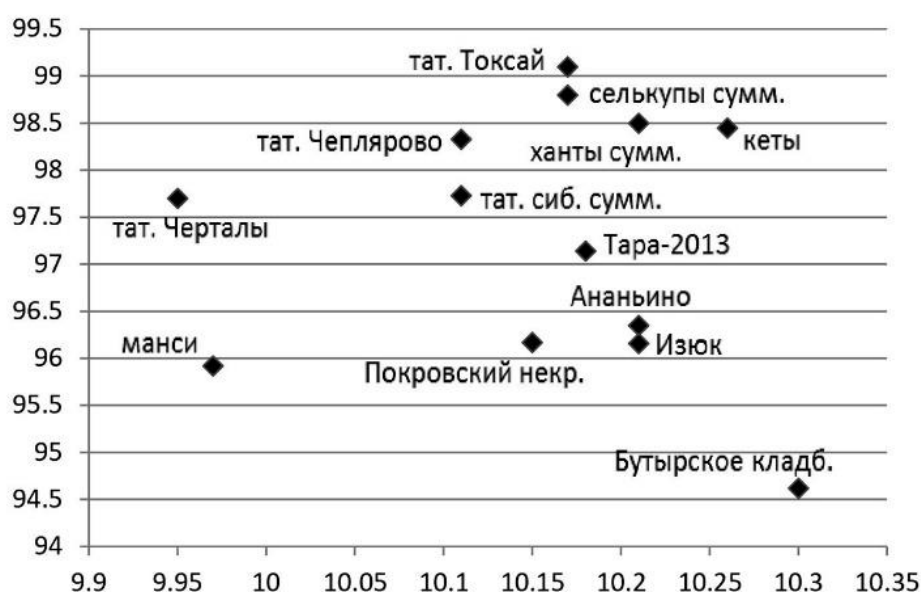


Рис. 1. Положение русских и татарских групп в системе западносибирских этносов по средним относительным показателям размеров трех нижних моляров. Ось x – средний модуль ряда M_1 – M_3 (мм); ось y – средний индекс ряда M_1 – M_3 (%)

Таблица 1

Средний модуль (мм) и средний индекс (%) коронки моляров в исследованных краниологических сериях Западной Сибири (оба пола суммарно)

Краниологические серии	m ср. M ¹⁻³	m ср. M ₁₋₃	ср. инд. M ¹⁻³	ср. инд. M ₁₋₃	Местонахождение
Православные группы (русские), XVII–XVIII–XIX вв.					
Покровский некрополь	10,00	10,15	113,45	96,17	г. Красноярск, XVII–XVIII вв.
Ананьино I	10,00	10,21	114,45	96,35	Тарский р-н, Омская обл., XVII–XVIII вв.
Тара 2013	9,97	10,18	117,06	97,14	г. Тара, Тарский р-н, Омская обл., XVII–XVIII вв.
Изюк I	9,96	10,21	112,05	96,16	Большереченский р-н, Омская обл., XVII–XIX вв.
Бутырское кладбище «русская часть»	10,04	10,30	112,59	94,62	г. Омск, XIX в.; преобладают мужчины
Томск суммарно (БАМ + Чугунов)	10,25	10,42	111,59	93,58	г. Томск, Богородице-Алексиевский монастырь, XVIII–XIX вв.; преобладают мужчины
Коллекция С.М. Чугунова	10,18	10,39	112,79	94,61	г. Томск, полицейский участок и разные находки, XVII–XIX вв.; преобладают мужчины
Дославянские автохтоны, XV–XX вв.					
Татары тарские, Чеплярово 27	9,95	10,11	111,85	98,33	Большереченский р-н, Омская обл.
Татары тарские, Черталы 3	9,96	9,95	109,17	97,70	Муромцевский р-н, Омская обл.
Татары тарские, Токсай	9,59	10,17	114,30	99,10	То же
Татары сибирские (9 гр. без Чеплярово и Черталы)	9,88	10,11	113,07	97,73	Четыре области Западной Сибири
Ханты суммарно	9,94	10,21	114,44	98,50	Тюменская обл.
Манси суммарно	9,76	9,97	112,81	95,92	То же
Селькупы нарымские суммарно	9,87	10,17	114,63	98,80	Томская обл.
Кеты суммарно	10,12	10,26	113,33	98,45	Красноярский край

Таблица 2

Частота одонтологических признаков у русских Омского Прииртышья XVII–XIX вв. (оба пола суммарно)

Признак	Омская область			г. Омск, Бутырское кладбище «русская часть», XIX в.
	Ананьино I XVII–XVIII вв.	Тара 2013 XVII–XVIII вв.	Изюк I XVII–XIX вв.	
Памятник и датировка				
Частота и объем выборки	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
Диастема I ¹ –I ¹	0 (21)	0 (8)	6,3 (74)	3,3 (30)
Краудинг I ² (лингвальный сдвиг)	0 (21)	0 (9)	0 (78)	0 (31)
Редукция I ² (баллы 2 + 3)	0 (19)	0 (7)	1,3 (75)	0 (30)
Гиподонтия I ²	5,3 (19)	0 (9)	3,8 (79)	0 (30)
Редукция hy M ² (баллы 3 и 3+)	38,7 (13)	60 (5)	28,4 (60)	41,4 (29)
* Лопатообразность резцов I ¹ (баллы 2 + 3)	0 (6)	25 (4)	6,5 (31)	4,3 (23)
Лопатообразность резцов I ² (баллы 2 + 3)	12,5 (8)	33,3 (6)	18,8 (32)	4,2 (24)
* Дистальный гребень тригонида M ₁ (dтс)	11,1 (9)	0 (2)	3,7 (27)	22,2 (18)
* Коленчатая складка метаконида M ₁ (dw)	11,1 (9)	50 (2)	8,8 (17)	0 (7)
* M ₁ 6 бугорков	0 (14)	0 (6)	10 (50)	0 (26)
** M ₁ 4 бугорка	21,4 (14)	33,3 (6)	16 (50)	7,7 (26)
M ₂ 6 бугорков	0 (15)	16,7 (6)	0 (63)	3,7 (27)
** M ₂ 4 бугорка	80 (15)	33,3 (6)	96,8 (63)	77,8 (27)
** Бугорок Карабелли на M ¹ (баллы 2–5)	6,7 (15)	0 (6)	27,8 (36)	24,1 (29)
Дополнительный дистальный бугорок, с5 на M ¹ (выраженная форма)	10 (10)	0 (4)	28,1 (32)	8,7 (23)
** M ₁ 2 med (II)	22,2 (9)	0 (1)	4,5 (22)	0 (15)
M ¹ 1 ра (тип 3)	0 (5)	50 (2)	13,3 (15)	0 (5)
M ₁ tam ₁	0 (15)	0 (5)	0 (44)	14,3 (21)
M ² Затек эмали (баллы 5–6)	8,3 (12)	60 (5)	17,2 (58)	10,7 (28)
M ₂ Затек эмали (баллы 5–6)	6,7 (15)	33,3 (6)	19,4 (62)	7,7 (26)
M ₁ 3 корня	0 (17)	0 (7)	0 (73)	0 (28)
P ¹ 2 корня	50 (16)	12,5 (8)	34,2 (73)	37,9 (29)
Гиподонтия M ³ (в среднем прав. + лев.)	27,6 (29)	16,7 (12)	19,9 (136)	22,2 (54)
Гиподонтия M ₃ (в среднем прав. + лев.)	11,1 (27)	25 (12)	21,5 (135)	33,3 (51)
Восточный комплекс (признаки с * / 4, в радианах)	0,34 R	0,66 R	0,54 R	0,35 R
Западный комплекс (признаки с ** / 4, в радианах)	1,17 R	0,80 R	1,29 R	0,94 R

Следы биологических контактов с местным, более монголоидным, чем европейцы, населением присутствуют и в остальных группах. В **Изюке**, например, есть небольшой подъем частоты лопатообразных вторых резцов, шестибугорковых M₁, затеков эмали, величины восточного комплекса. В то же время у трех северных групп отмечен высокий уровень грациально-

сти M₁. В таксономическом отношении это показательная западная и южная особенность, часто присутствующая в сложных, мозаичных по антропологическому составу комплексах на севере Восточной Европы, в Поволжье, в Западной Сибири у татар и хантов, в Средней Азии. Обратим внимание еще на высокий суммарный уровень гиподонтии третьего моляра, мак-

симальный (55%) в группе XIX в. из Омска. Это яркий показатель незатухающего в эволюции редуccionного процесса в зубной системе человека.

Бутырская серия имеет хорошо выраженную характеристику средневропейского одонтологического типа, весьма характерного для центральных европейских русских. И только высокий процент дистального гребня и бугорка *tam1* допускает в ней либо смешение с азиатским населением, либо наличие в серии кровных родственников. При всех сопоставлениях эта группа занимает удаленное положение в европеоидном поле, что хорошо отражает график межгруппового анализа

по методу главных компонент (рис. 2). Антагонистом ей и здесь является **Тара**, с промежуточной характеристикой по совокупности признаков, с наиболее высоким из всех восточных комплексов. Безусловно, это группа смешанного формирования. От нее все сравнительные группы (русские, метисные, тюркские) удалены на статистически достоверную величину среднего таксономического расстояния, СТР от 1,36 (чулымские тюрки и чулымско-русские метисы) до 2,04 радиан (Бутырское кладбище). В категории больших достоверно значимых величин Ананьино оказывается ближе к Таре русской группой своего региона.

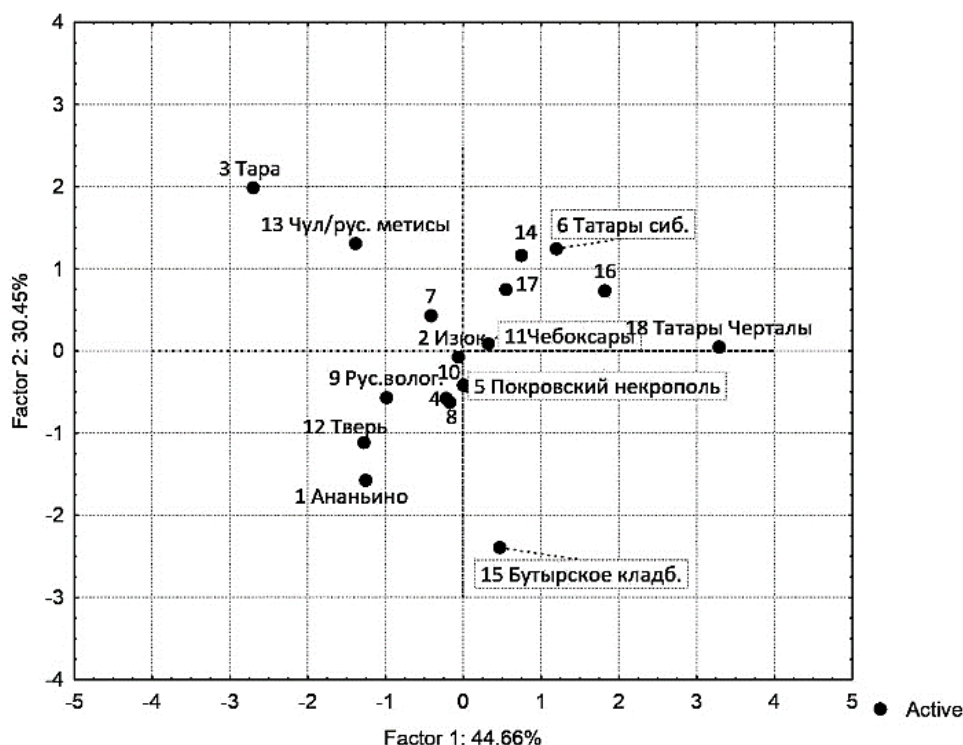


Рис. 2. Распределение русских и тюркских групп Западной Сибири и Восточной Европы в поле значений первых двух главных компонент (8 зубных маркеров, в радианах): 4 – Томск, 7 – русские Кеть, 8 – русские Чулым, 10 – Казань Кремль, 14 – чулымцы, 16–17 – татары тарские Токсай и Чеплярово

Четыре христианские (русские) группы Омского Прииртышья, в общем небольшого, соединенного судходным речным бассейном участка Западной Сибири, удалены друг от друга на статистически достоверные биологические расстояния. Это может указывать на большую роль стохастических биосоциальных процессов в их формировании, относительную брачную изолированность друг от друга, пополнение численности за счет переселенцев из разных регионов, вероятно, с учетом родственных связей.

Ананьино сильно тяготеет к волжским группам, особенно верхнего Поволжья с финно-угорским дославянским субстратом (у нас это литературные данные по Твери). Очень низкий процент бугорка Карабелли, повышенный процент дистального гребня и варианта *1rg* (II) могут говорить о слабом местном влиянии либо особенностях самой группы. **Изюк** – европеоидная группа с выраженным грацильным статусом зубной морфологии, как и в Ананьино. Это, возможно, вновь говорит о северо-западном векторе этно-

генетических связей. Однако именно Изюк теснее связан с синхронными и современными русскими популяциями юго-восточного регионального направления (Томско-Нарымское Приобье, Енисей). А по величине восточного и западного одонтологических комплексов Изюк не различается с чулымско-русскими метисами. Из европейских групп к нему больше других приближаются выборки Среднего Поволжья – христианские захоронения в Чебоксарах и Казанском Кремле.

Изученные материалы Омского Прииртышья показали изменчивость локальных комплексов зубной морфологии в ранних популяциях русских сибиряков, сохранение в них европеоидной основы как доминанты одонотипа. Можно предполагать высокий адаптивный биосоциальный потенциал ранних европейских переселенцев в Сибирь, которые формировали круги брачных связей открытого типа, в том числе для инородцев. Очевидно, что приоритетом оставалась этническая эндогамия, в основе которой тогда была конфессиональная общность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Харламова Н.В. Одонтологический материал XVI–XVIII вв. из христианских погребений Казанского Кремля // Вестник антропологии. М., 2007. Вып. 15, ч. II. С. 419–425.
2. Харламова Н.В. Одонтология тверского населения XVI–XVIII веков // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2010. № 1. С. 91–94.
3. Геккер Н.Л. К характеристике физического типа якутов : (антропологический очерк). Иркутск : Типо-лит. П.Н. Макушина, 1896. 90 с. (Зап. Вост.-Сиб. отд. Рус. геогр. об-ва по этнографии. Т. III, вып. 1).
4. Майнов И.И. Помесь русских с якутами // Русский антропологический журнал. 1900. № 4. С. 37–57.
5. Майнов И.И. Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской обл. // Записки Русского географического общества. Отдел статистики. СПб., 1912. Т. XII. 29 с.
6. Чугунов С.М. Антропологический состав населения города Томска по данным пяти старинных православных кладбищ : материалы для антропологии Сибири. Томск, 1905. Вып. 15. 197 с.
7. Дрёмов В.А. Население Томска в XVII–XVIII вв. // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 4: Расогенез коренного населения. С. 140–147.
8. Пежемский Д.В. Население Томска XVII–XIX вв. в системе антропологического разнообразия Европейской России // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 49. С. 109–114.
9. Ширококов И.Г. Об антропологическом своеобразии населения Томска XVII–XVIII вв. // Сибирские исторические исследования. 2018. № 4. С. 85–101.
10. Багашёв А.Н., Антонов А.Л. К проблеме генезиса компонентов антропологической структуры русского старожильского населения Омского Прииртышья // Культура русских в археологических исследованиях. Омск : Изд-во ОмГУ, 2005. С. 29–37.
11. Багашёв А.Н., Антонов А.Л. Краниологическая характеристика русских старожилов Омского Прииртышья // Татаурова Л.В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII–XIX вв. по материалам комплекса Изюк-I. Омск : Апельсин, 2010. С. 247–280.
12. Слепченко С.М., Татаурова Л.В. Палеопатологии у русских первооселенцев Тарского Прииртышья (по материалам могильника Ананыино I) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 3 (18). С. 92–101.
13. Рыкун М.П., Васильева Т.В. Результаты исследования антропологического материала с раскопок Богородицко-Алексиевского мужского монастыря г. Томска (конец XVIII–XIX вв.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 3 (23). С. 199–201.
14. Савенкова Т.М., Смушко С.Ю. К вопросу о составе населения Красноярского острога по краниометрическим данным // Междисциплинарные исследования в археологии, этнографии и истории Сибири. Красноярск : Сиб. фед. ун-т, 2017. С. 199–203.
15. Рейс Е.С., Савенкова Т.М. Демографическая характеристика населения города Красноярска XVII – начала XX вв. (по материалам православных некрополей) // Преодоление времени и пространства : статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на памятниках археологии Средней Сибири. Иркутск : Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2019. С. 104–115.
16. Давыдова Г.М. Антропологические типы русских Сибири // Вопросы антропологии, диалектологии и этнографии русского народа. М., 1998. С. 28–36.
17. Лейбова Н.А., Пежемский Д.В. Население Албазинского острога по данным антропологических исследований // Албазинский острог: история, археология, антропология народов Приамурья. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 193–224.
18. Аксянова Г.А. Антропология старожильских групп Сибирской Арктики // Культура русских в археологических исследованиях. Омск : Наука, 2017. С. 146–151.
19. Харламова Н.В., Лейбова (Суворова) Н.А., Бердников И.М., Бердникова Н.Е. Одонтологическая и остеологическая характеристики населения Иркутска XVIII – начала XIX вв. (по материалам некрополей) // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. 2015. Т. 12. С. 110–131.
20. Ващаева В.Ф. Одонтологическая характеристика русских западных и северо-западных областей РСФСР // Вопросы антропологии. 1977. Вып. 56. С. 102–111.
21. Ващаева В.Ф. Одонтологическая характеристика русских центральных, южных и северных областей европейской части РСФСР // Вопросы антропологии, 1977. Вып. 57. С. 133–142.
22. Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований. М. : Наука, 1968. 200 с.
23. Зубов А.А. Этническая одонтология. М. : Наука, 1973. 204 с.
24. Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. М. : ИЭА РАН, 2006. 70 с.
25. Этническая одонтология СССР / отв. ред. А.А. Зубов, Н.И. Халдеева. М. : Наука, 1979. 256 с.

Galina A. Aksyanova, Institute of Ethnology and Anthropology RAS (Moscow, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: gaksyanova@gmail.com

THE FIRST GENERATIONS OF THE 17–19th CENTURIES RUSSIAN POPULATION IN THE OMSK IRTYSH REGION ACCORDING TO DENTAL ANTHROPOLOGY

Keywords: Russians; Siberia; New time; physical anthropology; odontology.

The study aim is to describe the early permanent Russian populations of the central West Siberia from the permanent teeth morphology point of view, and to assess biological adaptation of these populations to their new living conditions. Dental morphology of 4 cranial samples of the early Russian settlers of the Middle Irtysh region was studied for the first time Ananyino I, Izyuk I, Tara 2013 and the Butyrskoe cemetery (Omsk). These samples were obtained during the archeological excavations by L.V. Tataurova, M.P. Chernaya and M.A. Korusenka in different areas of Omsk Oblast (Russia). All the samples are dated to the 17–19th cc. and represent rural and urban Orthodox populations.

These were compared with synchronous Russian samples from the Asian and European parts of the Russia, and with samples of Siberian Tatars. The comparison has shown the early Russian settlers of Siberia retained the European dental complex and were anthropologically different from neighboring groups of Islamic population. Most of the samples from the Omsk region display the following set of features: absence of lingual displacement of the I² (while cases of complete absence of this tooth are present); low frequencies of shovelings, deflecting wrinkle of the metaconid, lyre-like shape of the Ipa fissure, enamel extensions at the second molars, and the accessory cusp c5 of the M¹; high prevalence of the gracile type of the lower molars crown; absence of accessory third roots of the M¹ accompanied by high frequencies of two-rooted P¹. The Tara small sample more often deviates from the common dental complex of clearly pronounced Caucasoid traits. A substantial admixture from baptized non-Russian local population – likely the Tatars – can be hypothesized in this sample. Other samples also display limited biological contacts with native Asian populations, though less pronounced than at Tara. This is evident for example, in an increased frequency of the distal crest and deflecting wrinkle at Ananyino, 6th cusp of the M¹ – at Izyuk, and a highly increased prevalence of the distal crest and *tami* cusp in the sample from the Butyrskoe cemetery.

The Russian populations of the Omsk Irtysh region demonstrate a high level of local variation whereas the maximum differences are observed between the urban Omsk and Tara samples. A principal components analysis show that Ananyino is similar to populations from the northern part of Central Russia, Izyuk – to Russians from the Tomsk Ob region, Tomsk and Krasnoyarsk towns and Volga region, Tara – to the Turkic groups of lowland Siberia and metis Turkic-Russians, Butyrskoe cemetery – to the Russians from Tomsk and Kazan. The Tara sample demonstrates the closest similarity with Ananyino group.

The main conclusion of the present study is the populations carrying the Russian cultural traditions of the Modern Age were settling their new Trans-Ural habitats at the same time via biological adaptation to the environmental conditions of Western Siberia. But at the population level they retained the anthropological traits pointing to their European origin.

REFERENCES

1. Kharlamova, N.V. (2007) Odontologicheskii material XVI–XVIII vv. iz khristianskikh pogrebenii Kazanskogo Kremlya [Odontological material of the 16th – 18th centuries from the Christian burials of the Kazan Kremlin]. *Vestnik antropologii – Herald of Anthropology*. 15(2). pp. 419–425.
2. Kharlamova, N.V. (2010) Odontological materials from Tver XVI–XVIII centuries. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. XXIII. Antropologiya – Moscow University Anthropology Bulletin*. 1. pp. 91–94. (In Russian).
3. Gekker, N.L. (1896) K kharakteristike fizicheskogo tipa yakutov: (antropologicheskii ocherk) [On the physical type of the Yakuts. (Anthropological study)]. *Zapiski Vostochno-Sibirskogo otdeleniya Russkogo geograficheskogo obshchestva po etnografii*. 3(1).
4. Maynov, I.I. (1900) Pomes' russkikh s yakutami [A cross between Russians and Yakuts]. *Russkii antropologicheskii zhurnal*. 4. pp. 37–55.
5. Maynov, I.I. (1912) Russkie krest'yane i osedlye inorodtsy Yakutskoy oblasti [Russian peasants and sedentary non-Russians of the Yakutsk region]. *Zapiski Russkogo geograficheskogo obshchestva*. 12.
6. Chugunov, S.M. (1905) *Antropologicheskii sostav naseleniya goroda Tomsk po dannym pyati starinnykh pravoslavnykh kladbishch: materialy dlya antropologii Sibiri* [Anthropological Composition of the Tomsk Population According to the Data of Five Ancient Orthodox Cemeteries. Materials for Siberian Anthropology]. Vols. 15. Tomsk: [s.n.].
7. Dremov, V.A. (1998) Naselenie Tomsk v XVII–XVIII vv. [The population of Tomsk in the 17th – 18th centuries]. In: Lukina, N.V., Kulemzin, V.M. & Matyushchenko, V.I. *Ocherki kul'turogeneza narodov Zapadnoy Sibiri* [Essays on the Culturogenesis of the Peoples of Western Siberia]. Vol. 4. Tomsk: Tomsk State University. pp. 140–147.
8. Pezhemsky, D.V. (2017) Population of Tomsk of the 17-th-19th Centuries and Anthropological Diversity of European Russia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 49. pp. 109–114. (In Russian). DOI: 10.17223/19988613/49/20
9. Shirobokov, I.G. (2018) On some distinctive anthropological characteristics of the population of Tomsk in the 17th to the 18th centuries. *Sibirskie istoricheskie issledovaniya – Siberian Historical Research*. 4. pp. 85–101. (In Russian).
10. Bagashev, A.N. & Antonov, A.L. (2005) K probleme genezisa komponentov antropologicheskoy struktury russkogo starozhil'cheskogo naseleniya Omskogo Priirtysh'ya [On the genesis of components of the Russian old-timer population anthropological structure in Omsk Irtysh Region]. In: Tataurova, L.V. & Borzunov, V.A. (eds) *Kul'tura russkikh v arkheologicheskikh issledovaniyakh* [Culture of Russians in Archaeological Research]. Omsk: Omsk State University. pp. 29–37.
11. Bagashev, A.N. & Antonov, A.L. (2010) Kraniologicheskaya kharakteristika russkikh starozhilov Omskogo Priirtysh'ya [Craniological characteristics of Russian old-timers in Omsk Irtysh Region]. In: Tataurova, L.V. *Pogrebal'nyy obryad russkikh Srednego Priirtysh'ya XVII–XIX vv. po materialam kompleksa Izyuk-I* [The Funeral Rite of Russian Middle Irtysh Region in the 17-9th centuries on the Materials of the Izyuk-I Complex]. Omsk: Apel'sin. pp. 247–280.
12. Slepchenko, S.M. & Tataurova, L.V. (2012) Paleopathology, bioarchaeological reconstructions, archaeology of the Russians, first settlers of West Siberia. *Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii*. 3(18). pp. 92–101. (In Russian).
13. Rykun, M.P. & Vasilyeva, T.V. (2013) The results of the study of anthropological material from the excavation of Bogoroditsko-Alekseevsky friary of Tomsk (end of XVIII and XIX centuries). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 3(23). pp. 199–201. (In Russian).
14. Savenkova, T.M. & Smushko, S.U. (2017) K voprosu o sostave naseleniya Krasnoyarskogo ostroga po kraniometricheskim dannym [On the composition of the Krasnoyarsk prison population according to craniometric data]. In: Vdovin, A.S. & Makarov, N.P. (eds) *Mezhdistsiplinarnye issledovaniya v arkheologii, etnografii i istorii Sibiri* [Interdisciplinary Research in Archeology, Ethnography and History of Siberia]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University. pp. 199–203.
15. Reys, E.S. & Savenkova, T.M. (2019) Demograficheskaya kharakteristika naseleniya goroda Krasnoyarska XVII – nachala XX vv. (po materialam pravoslavnykh nekropol'ey) [Demographic characteristics of the population of the city of Krasnoyarsk in the 17th – early 20th centuries (based on materials from Orthodox necropolises)]. In: *Preodolenie vremeni i prostranstva: stat'i po aktual'nykh problemam okhranno-spatel'nykh rabot na pamyatnikakh arkheologii Sredney Sibiri* [Overcoming time and space. Articles on topical issues of security and rescue operations at archaeological sites in Central Siberia]. Irkutsk: SB RAS. pp. 104–115.
16. Davydova, G.M. (1998) Antropologicheskie tipy russkikh Sibiri [Anthropological types of Russians in Siberia]. In: Vlasova, I.V. (ed.) *Voprosy antropologii, dialektologii i etnografii russkogo naroda* [Issues of anthropology, dialectology and ethnography of the Russian people]. Moscow: Institut. pp. 28–36.
17. Leybova, N.A. & Pezhemsky, D.V. (2019) Naselenie Albazinskogo ostroga po dannym antropologicheskikh issledovaniy [The population of Fort Albazin according to anthropological research data]. In: Zabiyaiko, A.P. & Cherkasov, A.N. (eds) *Albazinskiy ostrog: istoriya, arkheologiya, antropologiya narodov Priamur'ya* [Fort Albazin: History, Archeology, Anthropology of the Peoples of the Amur Region]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 193–224.
18. Aksyanova, G.A. (2017) Antropologiya starozhil'cheskikh grupp Sibirskoy Arktiki [Anthropology of old-timers' groups in the Siberian Arctic]. In: Tataurova, L.V. & Borzunov, V.A. (eds) *Kul'tura russkikh v arkheologicheskikh issledovaniyakh* [Culture of Russians in Archaeological Research]. Omsk: Omsk State University. pp. 146–151.
19. Kharlamova, N.V., Leibova (Suvorova), N.A., Berdnikov, I.M. & Berdnikova, N.E. (2015) Odontologic and Osteological Characteristics of the Irkutsk Population in the 18th – Early 19th Century (Based on the Necropolises Materials). *Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geoarkheologiya. Etnologiya. Antropologiya – Bulletin of the Irkutsk State University. Geoarchaeology, Ethnology, and Anthropology Series*. 12. pp. 110–131. (In Russian).
20. Vashchaeva, V.F. (1977a) Odontologicheskaya kharakteristika russkikh zapadnykh i severo-zapadnykh oblastey RSFSR [Odontological characteristics of the Russian western and northwestern regions of the Russian Socialist Federative Soviet Republic]. *Voprosy antropologii*. 56. pp. 102–111.
21. Vashchaeva, V.F. (1977b) Odontologicheskaya kharakteristika russkikh tsentral'nykh, yuzhnykh i severnykh oblastey evropeyskoy chasti RSFSR [Odontological characteristics of the Russian central, southern and northern regions of the European part RSFSR]. *Voprosy antropologii*. 57. pp. 133–142.
22. Zubov, A.A. (1968) *Odontologiya. Metodika antropologicheskikh issledovaniy* [Odontology. Methodology of Anthropological Research]. Moscow: Nauka.
23. Zubov, A.A. (1973) *Etnicheskaya odontologiya* [Ethnic odontology]. Moscow: Nauka.
24. Zubov, A.A. (2006) *Metodicheskoe posobie po antropologicheskomu analizu odontologicheskikh materialov* [Toolkit for anthropological analysis of odontological materials]. Moscow: RAS.
25. Zubov, A.A. & Khaldeeva, N.I. (eds) (1979) *Etnicheskaya odontologiya SSSR* [Ethnic Odontology]. Moscow: Nauka.

УДК 572.71:903(4/5)
DOI: 10.17223/19988613/68/21

И.Р. Газимзянов

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К ВОПРОСУ О РАННИХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Статья посвящена результатам выявления морфологических истоков предков венгерского народа. На основе сравнительного анализа краниологических данных по населению евразийских степей раннего железного века выявляется широкий, территориально разбросанный и разнообразный в этнокультурном плане круг популяций (в основном европеоидный широколицый), морфологически близких к венграм «эпохи обретения Родины», с которыми можно предположить их генетические связи.

Ключевые слова: ранний железный век; степи Евразии; древние венгры; европеоидный тип.

Этногенез венгерского народа – сложный и неоднозначный процесс, растянутый в пространстве и времени, что вызывает до сих пор острые научные дискуссии по ряду проблем их этнической истории [1–3]. Особенно это касается определения места исторической прародины (Magna Hungaria), пути миграций угорских (древневенгерских) племен с востока на запад и роли отдельных (иноязычных) групп населения в сложении их культурных и физических особенностей в ходе длительного «переселения» и «обретения Родины» [4–6]. В решении этих вопросов, наряду с данными лингвистики, археологии, истории и этнографии, особую роль приобретают антропологические материалы, которые выступают в качестве исторического источника при разных этногенетических реконструкциях, в том числе и происхождения венгров.

Так, по данным исследований Тибора Тота, основным морфологическим компонентом в антропологическом составе древних венгров, переселившихся на Средний Дунай в конце I тыс. н.э., являлся брахикранный и относительно широколицый европеоидный тип [7. С. 30]. Этот тип (по Т. Тоту – гиперморфный, протоевропейский) был широко распространен у населения степной полосы Евразии еще с савромато-сарматского времени [8. С. 150]. По мнению венгерского ученого, а также известного антрополога В.П. Алексеева, разного рода активные контакты между древнеугорскими (протовенгерскими) группами – носителями смешанного европеоидно-монголоидного уральского типа – со степным европеоидным широколицым населением эпохи раннего железа нашли свое отражение в физическом облике древних венгров накануне «обретения Родины» [7. С. 26; 9. С. 8]. К настоящему моменту источниковедческая база по палеоантропологии населения Восточной Европы и Западной Сибири значительно увеличилась, что позволяет нам вновь обратиться к вопросу о роли древнего поволжско-уральского и сибирского населения в этнической истории венгер-

ского народа и формировании его физических особенностей.

Анализируя краниологические материалы по ранне-средневековому населению кушнаренково-караякуповской культуры (лесостепная зона урало-поволжского региона), которую справедливо связывают с древневенгерскими племенами и венграми «эпохи обретения Родины» с территории Среднего Подунавья, можно отметить, что они морфологически очень близки (табл. 1). В основе обеих групп лежит общий, в целом европеоидный, морфологический компонент, характеризующийся крупной мезо-брахикранной черепной коробкой, относительно широким и умеренно профилированным лицом низких пропорций, а также высоким и выступающим переносом [10; 11. С. 101. Табл. 24]. Возможно, накануне эпохи переселения народов и выхода на европейскую историческую арену восточные (сибирские) предки протовенгерских (древнемадьярских) племен уже являлись в основном носителями европеоидного широколицего типа. Исходя из языковых данных, венгры относятся к угорской подветви финно-угорской группы уральской языковой семьи. Ближайшими к венгерскому современным языками являются языки манси и хантов, которые в антропологическом плане относятся к представителям уральской расы и сочетают в своем физическом облике монголоидные и европеоидные черты [12]. В связи с этим возникают вопросы: когда и где происходит сложение (трансформация) физических (в нашем случае – европеоидных) особенностей предков венгерского народа? Принято считать, что в силу разных причин распад обско-угорской группы, обособление и миграция будущих предков венгерского народа в лесостепную зону юга Западной Сибири падает на финал эпохи бронзы – начало раннего железного века [1. С. 24; 13. С. 13]. Поэтому для выявления этногенетических корней венгерского народа и реконструкции ранних этапов формирования его антропологического состава и был про-

веден сравнительный межгрупповой анализ с привлечением серий (групп), характеризующих физический облик населения степей Евразии и прилегающих территорий рубежа эр (в основном V в. до н.э. – V в. н.э.).

Выяснение характера межгрупповой изменчивости и этногенетических связей населения рубежа эр определялось методом канонического анализа. В анализе использовались краниометрические параметры, име-

ющие повышенную таксономическую значимость: 1, 8, 17, 9, 45, 48, 55, 54, 51, 52, 77, Zm', SS:SC, 75(1). В качестве сравнительного материала в работе использовались данные только по мужским краниологическим сериям (табл. 2).

Каноническим методом извлечено три первых вектора, отражающих в сумме около 100% всей межгрупповой изменчивости (табл. 3).

Таблица 1

Средние размеры и показатели черепов из погребений кушнаренково-караякуповской культуры и подкурганых захоронений (X в.) с территории Среднего Подунавья

Признаки	Население кушнаренково-караякуповской культуры, VII–XI вв. [10]		Венгры «эпохи обретения Родины», X в. [11]	
	Мужчины X (N)	Женщины X (N)	Мужчины X (N)	Женщины X (N)
1.	182,2 (28)	176,8 (6)	183,2 (51)	173,5 (52)
8.	146,0 (29)	137,8 (6)	147,5 (61)	143,0 (52)
8:1.	79,8 (26)	77,9 (6)	80,5 (51)*	82,4 (52)*
17.	136,9 (18)	129,5 (4)	136,0 (52)	130,2 (47)
5.	103,6 (18)	100,7 (3)	103,9 (54)	98,2 (46)
9.	98,9 (29)	96,1 (9)	97,9 (70)	96,2 (52)
9:8.	68,2 (27)	70,3 (6)	66,4 (61)*	67,3 (52)*
40.	100,0 (15)	98,0 (2)	99,4 (51)	93,4 (42)
45.	141,5 (25)	131,3 (3)	138,4 (57)	130,2 (46)
48.	71,2 (22)	64,4 (7)	72,5 (64)	67,3 (46)
48:45.	50,4 (23)	47,9 (3)	52,4 (57)*	51,7 (46)*
55.	52,5 (23)	47,3 (7)	–	–
54.	25,7 (22)	24,8 (7)	–	–
54:55.	49,2 (21)	52,4 (7)	–	–
51.	43,3 (22)	41,3 (7)	44,4 (65)**	42,6 (47)**
52.	32,6 (25)	31,7 (7)	33,0 (66)	33,0 (47)
52:51.	75,4 (22)	76,4 (7)	74,3 (65)*	77,5 (47)*
SS.	4, 6 (19)	4,1 (4)	4,9 (60)	4,1 (39)
DS.	12,7 (13)	10,4 (3)	12,7 (58)	11,3 (39)
SS:DS	54,2 (18)	49,7 (4)	55,8 (60)*	44,3 (39)*
DS:DC	59,5 (13)	49,9 (3)	61,1 (58)*	56,2 (39)*
77.	142,5 (26)	141,3 (7)	139,1 (59)	140,9 (42)
Zm.	132,4 (22)	133,8 (5)	128,2 (60)	131,2 (43)
FC.	5,1 (17)	4,2 (8)	4,8 (59)	4,8 (43)
32.	82,7 (17)	86,0 (5)	82,7 (51)	86,2 (44)
72.	87,2 (19)	86,3 (4)	86,8 (54)	–
FC.	5,1 (17)	4,2 (8)	4,8 (59)	4,8 (43)
Надбровье (1-6)	3,5 (27)	1,9 (11)	3,3 (64)	2,1 (46)
75 (1).	29,1 (15)	28,0 (3)	29,1 (51)	25,9 (29)

* – вычислено по средним данным

** – к размеру (51.) от d. + 2 мм.

Таблица 2

Список краниологических серий (групп), привлеченных для межгруппового анализа

№	Краниологические серии	Дата	Автор исследования
1	Венгры «эпохи обретения Родины»	X в. н.э.	Акимова [11]
2	Население кушнаренково-караякуповской культуры		Газимзянов [10]
3	Население саргатской культуры. Барабинская лесостепь	V в. до н.э. – I в. н.э.	Багашев [14]
4	Население саргатской культуры. Притоболье	V в. до н.э. – нач. V в. н.э.	Багашев [14]
5	Население саргатской культуры. Приисетье	V в. до н.э. – нач. V в. н.э.	Багашев [14]
6	Население саргатской культуры. Прииртыше	V в. до н.э. – нач. V в. н.э.	Багашев [14]
7	Население саргатской культуры. Пришимье	V в. до н.э. – IV в. н.э.	Багашев [14]
8	Население рёлкинской культуры	VI–VIII вв. н.э.	Дремов [15]
9	Население кулайской культуры (м-к «Каменный Мыс»)	IV–III вв. до н.э. – IV–V вв. н.э.	Багашев [14]
10	Население Нижнего Притоболья переходного времени	III–VI вв.	Пошехонова, Слепцова [16]
11	Савроматы Нижнего Поволжья и Приуралья	VII–IV вв. до н.э.	Балабанова [17]
12	Савроматы Западного Казахстана	VII–IV вв. до н.э.	Гинзбург, Трофимова [18]
13	Сарматы раннего этапа	IV–II вв. до н.э.	Балабанова [17]
14	Сарматы среднего этапа	I в. до н.э. – II в. н.э.	Балабанова [17]
15	Сарматы позднего этапа	II – вт. пол. IV вв. н.э.	Балабанова, Цыганова [19]
16	Население Памира сакского времени	сер. I тыс. до н.э.	Гинзбург, Трофимова [18]

Окончание табл. 2

№	Краниологические серии	Дата	Автор исследования
17	Население Киргизии сакского времени	сер. I тыс. до н.э.	Гинзбург, Трофимова [18]
18	Население Казахстана сакского времени	сер. I тыс. до н.э.	Гинзбург, Трофимова [18]
19	Население Западной Туркмении усуньского времени	первые века н.э.	Гинзбург, Трофимова [18]
20	Население Таджикистана усуньского времени	II в. до н.э. – I н.э.	Кияткина [20]
21	Население Киргизии усуньского времени	II в. до н.э. – III в. н.э.	Гинзбург, Трофимова [18]
22	Население Семиречья усуньского времени	IV в. до н.э. – IV в. н.э.	Исмагулов [21]
23	Население Восточного Казахстана усуньского времени	III в. до н.э. – I н.э.	Исмагулов [21]
24	Киргизия, Кенкольский могильник и погребения кенкольского типа, гунно-сарматское время	III–V вв. н.э.	Алексеев, Гохман [22]
25	Тува, м-к «Аймырлыг XXXI вв.», гунно-сарматское время	III–I вв. до н.э.	Богданова, Радзюн [23]
26	Тува, м-к «Кокэль», гунно-сарматское время	II в. до н.э. – II н.э.	Алексеев, Гохман [22]
27	Население каменной культуры. Северный Алтай (м-ки: «Масляха I, II»)	III–I вв. до н.э.	Рыкун [24]
28	Население Предгорного Алтая, гунно-сарматское время	II в. до н.э. – III в. н.э.	Алексеев, Мамонова [25]
29	Население Горного Алтая (булан-кобинская культура)	II в. до н.э. – пер. пол. IV в. н.э.	Газимзянов [26]
30	Горный Алтай, м-к «Бош-туу I» (булан-кобинская культура)	II – пер. пол. IV вв. н.э.	Газимзянов [26]
31	«Хунны» Забайкалья	пер. пол. I тыс. н.э.	Алексеев, Гохман [22]
32	«Хунны» Монголии	пер. пол. I тыс. н.э.	Алексеев, Гохман, Тумэн [27]
33	Минусинская котловина, население тагарской культуры	VII–III вв. до н.э.	Козинцев [28]
34	Минусинская котловина, население переходного этапа от тагарской культуры к таштыкской	III–I вв. до н.э.	Алексеев, Гохман [22]
35	Минусинская котловина, население таштыкской культуры	I в. до н.э. – V в. н.э.	Алексеев, Гохман [22]

Таблица 3

Элементы первых трех канонически векторов (I–III) для 35 мужских серий (групп) с территории степей Евразии и прилегающих областей рубежа эр.

Признаки	I	II	III
1. Продольный диаметр	–0,521*	–0,345	0,394
8. Поперечный диаметр	0,540	0,514	–0,411
17. Высотный диаметр	0,006	0,016	–0,247
9. Наименьшая ширина лба	–0,664	0,225	–0,121
45. Скуловой диаметр	0,275	0,073	0,308
48. Верхняя высота лица	0,162	–0,436	–0,042
51. Ширина орбиты	0,015	0,538	0,395
52. Высота орбиты	0,115	–0,370	–0,112
54. Ширина носа	0,108	–0,107	–0,133
55. Высота носа	0,066	–0,150	0,024
77. Назомальярный угол	–0,060	0,022	0,853
Zm'. Зигомак-силлярный угол	0,370	–0,143	–0,089
SS:SC. Симотический указ-ль	–0,008	0,378	0,291
75(1). Угол носа	–0,638	–0,090	–0,294
Собственные числа	47,0	27,4	14,3
Доля в общей дисперсии (в %)	52,9	30,9	16,1

* – выделены значения, указывающие на сильную коррелятивную связь

В первом каноническом векторе, отражающем более 52% всей изменчивости, наибольшая нагрузка падает на наименьшую ширину лба, угол выступания носа, поперечный и продольный диаметры, образуя следующую коррелятивную связь между этими признаками: с понижением угла выступания носа уменьшается ширина лба, но при этом увеличивается поперечный диаметр и, соответственно, уменьшается продольный. Таким образом, данный вектор выделяет в анализируемой совокупности группы, для которых в среднем характерны более широкая черепная коробка, менее выступающий нос и более узкий лоб (в целом монголоидный краниокомплекс), и серии с противоположными (европеоидными в целом) характеристиками – более длинной черепной коробке соответствуют более широкий лоб и более выступающие носовые кости.

Второй канонический вектор, описывающий более 30% всей межгрупповой дисперсии, демонстрирует

положительную взаимосвязь между шириной орбит и поперечным диаметром черепной коробки. Вероятно, данный вектор выделяет среди анализируемых групп серии с широкими орбитами и короткой черепной коробкой и, наоборот, серии, которым присущ более длинный череп и более узкие орбиты.

Третий вектор (более 16% в общей доле всей изменчивости) разделяет нашу выборку на европеоидные и монголоидные группы в зависимости от степени уплощенности лица на уровне орбит.

Таким образом, канонический анализ выявил неоднородный антропологический состав древнего населения Южной Сибири и Средней Азии рубежа эр. Основу этой неоднородности составили группы населения, морфологически различающиеся в основном по форме черепной коробки, строению лицевого скелета и степени его профилированности. В расово-типологическом отношении они отражают весь морфологический спектр – от «классических» европеоидов до «класси-

ческих» монголоидов. Наглядно это представлено на графике, построенном в пространстве первых двух

канонических векторов, отражающих в сумме более 83% от всей межгрупповой изменчивости (рис. 1).

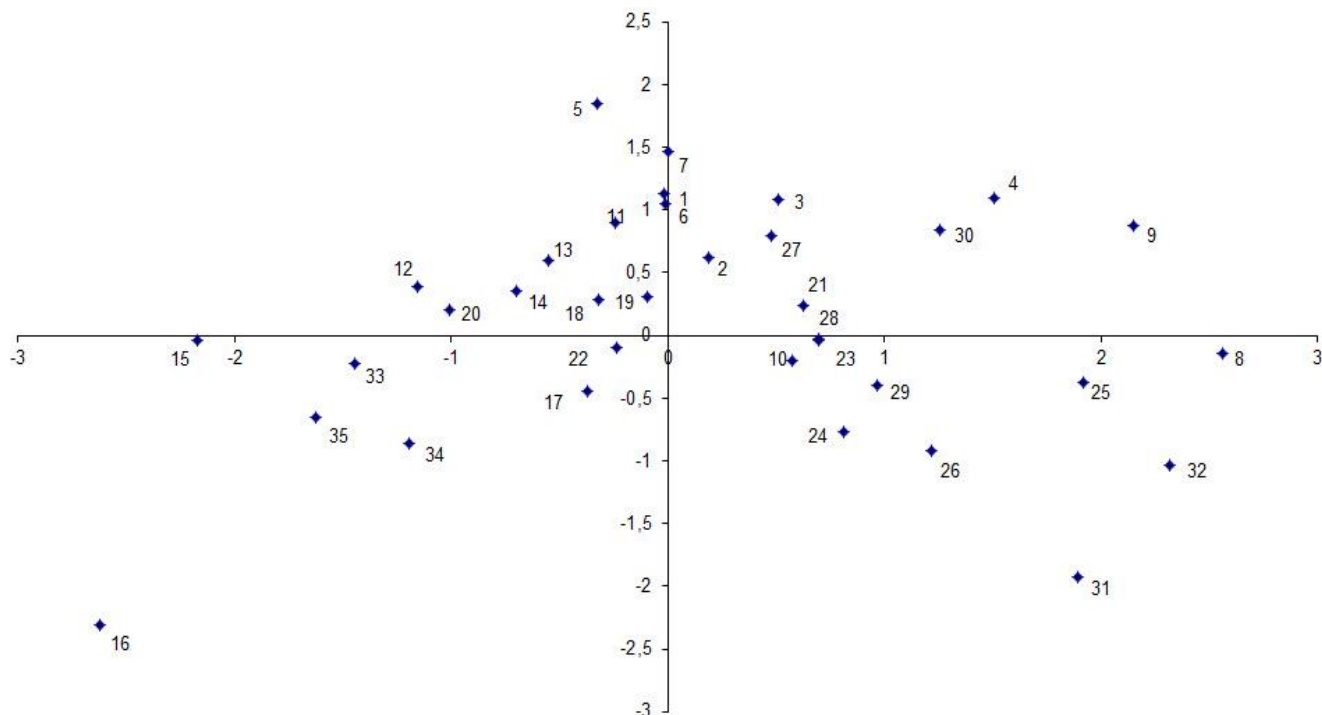


Рис. 1. Мужские краниологические серии эпохи раннего железа в пространстве первых двух канонических векторов (номера серий (групп) соответствуют списку, приведенному в табл. 3)

Так, по горизонтали первого канонического вектора крайние позиции заняли серии, характеризующие физический облик населения Памира сакского времени (европеоиды средиземноморского типа) и хуннов Забайкалья и Монголии (монголоиды в целом центрально-азиатского типа). К жителям Памира сер. I тыс. до н.э. на графике примыкают европеоидные группы, правда, несколько иного морфологического типа: сарматы позднего этапа, насельники Минусинской котловины эпохи раннего железа и жители Таджикистана усуньского времени. В морфологическом плане их объединяют долихо-мезокранная черепная коробка, относительно узкое и невысокое, резко профилированное лицо с большим углом выступания носа. К хуннам по антропологическому типу близки (но не тождественны) серии, представляющие население релкинской, кулайской и булан-кобинской культур, а также саргатская группа из Притоболья и ранние кочевники Тувы и Киргизии гунно-сарматского времени (могильники «Кокэль», «Аймырлыг XXXI» и «Кенколь»). Для этой группы объединяющим моментом является крупный череп мезо-брахикранных пропорций, а также наличие довольно значительной монголоидной примеси, которая фиксируется в основном в ослабленной профилировке лица и несильном выступании носа.

Большую группу составили серии, которые занимают на графике промежуточное положение. В морфологическом плане они характеризуются в основном мезо-брахикранной черепной коробкой, относительно широким лицом низких пропорций, а также высоким переносом и большим углом выступания носа. Опре-

деляя в целом европеоидную основу в физическом облике данной группы, нельзя не отметить и наличия в ней небольшой монголоидной примеси, которая проявляется в отдельных сериях, по отдельным краниологическим признакам (некоторая уплощенность лица, альвеолярный прогнатизм и т.д.). В эту группу широколицых европеоидов, наряду с серией венгров X в. и сборной серией по населению кушнаренково-караякуповской культуре, вошли практически все (за исключением притобольской) территориальные группы саргатского населения: барабинская, приисетская, прииртышская и пришимская. Исходя из морфологической близости между ними, вполне возможно предположить, что отдельные группы населения саргатской культуры могли принять участие в формировании физического облика древних венгров. Не противоречат этому предположению и археологические данные [1. С. 25; 29. С. 169; 30. С. 311]. В сложении антропологического облика как саргатского, так и древневенгерского населения также нельзя исключить и другие группы широколицых европеоидов, которые на протяжении практически всего раннего железного века населяли евразийские степные пространства и прилегающие к ним регионы и активно контактировали с племенами саргатской культуры, таких как савроматы, сарматы, саки, усунь и др. Определяя основным в антропологическом составе населения саргатской и кушнаренково-караякуповской культур европеоидный компонент, нельзя не отметить наличия в нем также смешанного компонента. Этот компонент характеризуется как европеоидный, но с включением монголоидных элементов. Вероятно, в расогенезе предков венгерского народа принимали

участие группы населения монголоидного (монголидно-европеоидного), преимущественно низкого морфотипа, что, по мнению А.Н. Багашёва, может указывать на их генетические связи с лесным (таежным) населением Западной Сибири [14. С. 130].

Таким образом, исходя из результатов канонического межгруппового анализа, можно констатировать, что выявляется широкий, территориально разбросанный и разнообразный в этнокультурном плане круг популяций, морфологически близких к древним венграм, с которыми можно предположить их генетические связи. Все это осложняет поиск более конкретных

восточных (сибирских) этногенетических корней венгерского народа. Этому поиску также не способствует и небольшое количество данных по антропологии древнего населения таежной части Зауралья и Западной Сибири [14. С. 7]. Вероятно, сложение физических особенностей древневенгерских племен шло на широком географическом фоне при участии многих групп населения, имеющих разные этнокультурные и этногенетические истоки. В данном контексте проблема формирования физического облика древних венгров неразрывно связана с проблемой генезиса мезо-брахичранным широколицего европеоидного типа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фодор И. Венгры: древняя история и обретение Родины. Пермь : Зебра, 2015. 132 с.
2. Иванов В.А. Древние угры-мадяры в Восточной Европе. Уфа : Гилем, 1999. 123 с.
3. Матвеева Н.П. Западная Сибирь в эпоху Великого переселения народов (проблемы культурогенеза по данным погребальных памятников). Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2016. 264 с.
4. II Международный Мадьярский симпозиум. Челябинск : Рифей, 2013. 256 с.
5. III Международный Мадьярский симпозиум. Budapest : Nyomda : Pauker Nyomdaipari Kft., 2018. 521 с.
6. Материалы IV Международного Мадьярского симпозиума // Археология евразийских степей. Казань, 2018. № 6. 274 с.
7. Тот Т. Древнейшие периоды происхождения протовенгров // Вопросы антропологии. 1970. Вып. 36. С. 149–160.
8. Тот Т. Соматология и палеоантропология населения Венгрии (в связи с проблемой происхождения венгерского народа) : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. М., 1977. 36 с.
9. Алексеев В.П. Антропологические аспекты исследования этногенеза финно-угорских народов // Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., 1974. С. 5–11.
10. Газимзянов И.Р. Древние венгры в антропологическом аспекте // Археология евразийских степей : материалы IV Международного Мадьярского симпозиума. Казань, 2018. № 6. С. 66–72.
11. Акимов М.С. Антропология древнего населения Приуралья. М. : Наука, 1968. 119 с.
12. Давыдова Г.М. Антропология манси. М. : Изд-во ИИ СССР АН, 1989. 170 с.
13. Напольских В.В. Очерки по этнической истории. Казань : Казанская недвижимость, 2018. 648 с.
14. Багашёв А.Н. Палеоантропология Западной Сибири: Лесостепь в эпоху раннего железа. Новосибирск : Наука, 2000. 374 с.
15. Дрёмов В.А. Древнее население лесостепного Приобья в эпоху бронзы и железа по данным палеоантропологии // Советская этнография. 1967. № 6. С. 53–66.
16. Пошехонова О.Е., Слепцова А.В. Население Нижнего Притобья в переходное время от раннего железного века к средневековью по данным краниологии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. Вып. 4 (39). С. 79–83.
17. Балабанова М.А. Антропология древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Ранний железный век. М. : Наука, 2000. 133 с.
18. Гинзбург В.В., Трофимова Т.А. Палеоантропология Средней Азии. М. : Наука, 1972. 372 с.
19. Балабанова М.А., Цыганова О.М. Краниология сарматского населения, оставившего курганные группы Абганеровского могильника // Историко-археологические исследования в Нижнем Поволжье. Волгоград : Изд-во Волж. ун-та, 1997. Вып. 2. С. 267–287.
20. Кияткина Т.П. Материалы к палеоантропологии Таджикистана. Душанбе : Дониш, 1976. 187 с.
21. Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности (палеоантропологическое исследование). Алма-Ата : Наука, 1970. 240 с.
22. Алексеев В.П., Гохман И.И. Антропология азиатской части СССР. М. : Наука, 1984. 208 с.
23. Богданова В.И., Радзюн А.Б. Палеоантропологические материалы гунно-сарматского времени из Центральной Азии // Новые коллекции и исследования по антропологии и археологии : сб. Музея антропологии и этнографии. СПб. : Наука, 1991. Т. 44. С. 55–100.
24. Рыкун М.П. Палеоантропология Верхнего Приобья эпохи раннего железа : (по материалам каменной культуры). Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. 284 с.
25. Алексеев В.П., Мамонова Н.Н. Палеоантропологические материалы последних веков до нашей эры и тюркского времени с территории Северо-Западного Алтая // Палеоантропология и археология западной и Южной Сибири. Новосибирск : Наука, 1988. С. 3–21.
26. Газимзянов И.Р. Новые данные по краниологии населения Горного Алтая гунно-сарматского времени // Поволжская археология. Казань, 2018. № 4. С. 137–162.
27. Алексеев В.П., Гохман И.И., Тумэн Д. Краткий очерк палеоантропологии Центральной Азии (каменный век – эпоха раннего железа) // Археология, этнография и антропологии Монголии. Новосибирск : Наука, 1987. С. 208–241.
28. Козинцев А.Г. Антропологический состав и происхождение населения тагарской культуры. Л. : Наука, 1977. 145 с.
29. Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. 241 с.
30. Могильников В.А. Лесостепь Зауралья и Западной Сибири // Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М. : Наука, 1992. С. 274–311.

Ilgizar R. Gazimzyanov, Kazan (Volga Region) Federal University (Kazan, Russian Federation). E-mail: g-ilgizar@yandex.ru

PALEOANTHROPOLOGICAL DATA RELATED TO THE EARLY STAGES OF THE FORMATION OF THE HUNGARIAN PEOPLE

Keywords: early Iron Age; Western Siberia; pre-magyars; craniology.

The ethnogenesis of the Hungarians is a complicated and multivalued process, extending in time and area. Some problems of their ethnical history are still under discussion: such as defining a place of historical origin (Magna Hungaria), paths of migration of Ugrian (proto-magyar) tribes to «new homeland», etc. Paleoanthropological materials as a source of historical data (as well as linguistic, archaeological, historical and ethnographical data) appear to have a special role in solving these problems.

This article analyzes morphological interaction between the Hungarians of «the motherland finding period» in the Xth century and the populations Western Siberia and Central Asia of early Iron Age (generally the Vth century BC – the Vth century AD) in order to identify the genetic origins of the Hungarians ancestors.

According to craniological data, the Caucasoid component dominates in the anthropological compound of the early medieval Hungarian (magyar) tribes on the territory of the Middle Volga region and the Cis-Urals (Kushnarenko-Karayakup culture, VIth – XIth centuries AD), as well as the Middle Danube of the Arpad, described by T. Tot as hypermorphic, proto-Caucasoid (according to V.P. Alekseev described as Pamir-Fergana race), which characterized by a meso-brachycephalic skull, broad face and low proportions with moderate horizontal profiling and well exerted nose.

Based on the results of the canonical intergroup analysis for 35 male craniological series (groups), it can be predicated identifying of a wide, territorially spread and ethnically and culturally diverse circle of populations, which are morphologically close to the ancient Hungarians and with which their genetic connections can be proposed. All this complicates the search for more specific eastern (Siberian) ethnogenetic roots of the Hungarians. Probably, summation of physical features (broad faced Caucasoid morph type) of the ancient Hungarian tribes took place on a wide geographical background with many population groups of different ethnocultural and ethnogenetic origins. Perhaps eastern (Siberian) ancestry of proto-Magyar (Hungarian) tribes in a period before the era of the Migration of peoples already were broad faced Caucasian in general. In this context, the problem of a formation of the physical appearance of ancient Hungarians is inextricably intertwined with the problem of the origin of the meso-brachycephal broad faced Caucasian type itself.

REFERENCES

1. Fodor, I. (2015) *Vengry: drevnyaya istoriya i obretenie Rodiny* [The Hungarians: ancient history and the acquisition of the homeland]. Perm: Zebra.
2. Ivanov, V.A. (1999) *Drevnie ugry-mad'yary v Vostochnoy Evrope* [Ancient Ugri Magyar in Eastern Europe]. Ufa: Gilem.
3. Matveeva, N.P. (2016) *Zapadnaya Sibir' v epokhu Velikogo pereseleniya narodov (problemy kul'turogeneza po dannym pogrebal'nykh pamyatnikov)* [Western Siberia in the era of the Great Migration (Problems of cultural genesis according to data from burial sites)]. Tyumen: Tyumen State University.
4. Botalov, S.G. & Ivanova, N.O. (eds) (2013) *II Mezhdunarodnyy Mad'yarskiy simpozium* [The Second International Magyar Symposium]. Chelyabinsk: Rifei.
5. Botalov, S.G. (ed.) (2018) *III Mezhdunarodnyy Mad'yarskiy simpozium* [The Third International Magyar Symposium]. Budapest: Nyomda: Pauker Nyomdaipari Kft.
6. Sitdikov, A.G. (ed) (2018) *Materialy IV Mezhdunarodnogo Mad'yarskogo simpoziuma* [Materials of the Fourth International Magyar Symposium]. *Arkheologiya evraziyskikh stepey – The Archaeology of the Eurasian Steppe*. 6.
7. Tot, T. (1970) Drevneyshie periody proiskhozhdeniya protovengrov [The most ancient periods of the origin of proto-Hungarians]. *Voprosy antropologii*. 36. pp. 149–160.
8. Tot, T. (1977) *Somatologiya i paleoantropologiya naseleniya Vengrii (v svyazi s problemoy proiskhozhdeniya vengerskogo naroda)* [Somatology and paleoanthropology of the population of Hungary (in connection with the problem of the origin of the Hungarian people)]. Abstract of Biology Dr. Diss. Moscow.
9. Alekseev, V.P. (1974) Antropologicheskie aspekty issledovaniya etnogeneza finno-ugorskikh narodov [Anthropological aspects of the study of the Finno-Ugri peoples ethnogenesis]. In: Zolotareva, I.M. (ed.) *Etnogenez finno-ugorskikh narodov po dannym antropologii* [Ethnogenesis of the Finno-Ugri Peoples According to Anthropology]. Moscow: Nauka. pp. 5–11.
10. Gazimzyanov, I.R. (2018) Drevnie vengry v antropologicheskoy aspekto [Ancient Hungarians in the Anthropological Aspect]. In: Sitdikov, A.G. (ed) (2018) *Materialy IV Mezhdunarodnogo Mad'yarskogo simpoziuma* [Materials of the Fourth International Magyar Symposium]. *Arkheologiya evraziyskikh stepey – The Archaeology of the Eurasian Steppe*. 6. pp. 66–72.
11. Akimova, M.S. (1968) *Antropologiya drevnego naseleniya Priural'ya* [Anthropology of the Ancient Population of the Urals]. Moscow: Nauka.
12. Davydova, G.M. (1989) *Antropologiya mansi* [Mansi Anthropology]. Moscow: USSR AS.
13. Napolskikh, V.V. (2018) *Ocherki po etnicheskoy istorii* [Essays on Ethnic History]. Kazan: Kazanskaya nedvizhimost'.
14. Bagashev, A.N. (2000) *Paleoantropologiya Zapadnoy Sibiri: Lesostep' v epokhu rannego zheleza* [Paleoanthropology of Western Siberia: Forest-steppe in the Early Iron Age]. Novosibirsk: Nauka.
15. Dremov, V.A. (1967) Drevnee naselenie lesostepnogo Priob'ya v epokhu bronzy i zheleza po dannym paleoantropologii [The ancient population of the forest-steppe Ob region in the Bronze and Iron Age according to paleoanthropology]. *Sovetskaya etnografiya*. 6. pp. 53–66.
16. Poshekhonova, O.E. & Sleptsova, A.V. (2017) The population of the Lower Tobol region in the transition period from the early Iron Age to the Middle Ages according to craniology data. *Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii – Bulletin of Archeology, Anthropology and Ethnography*. 4(39). pp. 79–83. (In Russian). DOI: 10.20874/2071-0437-2017-39-4-090-103
17. Balabanova, M.A. (2000) *Antropologiya drevnego naseleniya Yuzhnogo Priural'ya i Nizhnego Povolzh'ya. Ranniy zheleznyy vek* [Anthropology of the Ancient Population of the Southern Urals and the Lower Volga region. Early Iron Age]. Moscow: Nauka.
18. Ginzburg, V.V. & Trofimova, T.A. (1972) *Paleoantropologiya Sredney Azii* [Paleoanthropology of Central Asia]. Moscow: Nauka.
19. Balabanova, M.A. & Tsyganova, O.M. (1997) *Kraniologiya sarmatskogo naseleniya, ostavivshego kurgannye gruppy Abganerovskogo mogil'nika* [Craniology of the Sarmatian population who left the burial mounds of the Abganer burial ground]. In: Zhelezchikov, B.F. (ed.) *Istoriko-arkheologicheskie issledovaniya v Nizhnem Povolzh'e* [Historical and Archaeological Research in the Lower Volga Region]. Vol. 2. Volgograd: Volgograd State University. pp. 267–287.
20. Kiyatkina, T.P. (1976) *Materialy k paleoantropologii Tadzhikistana* [Materials for Paleoanthropology of Tajikistan]. Dushanbe: Donish.
21. Ismagulov, O. (1970) *Naselenie Kazakhstana ot epokhi bronzy do sovremennoy (paleoantropologicheskoe issledovanie)* [The population of Kazakhstan from the Bronze Age to the present (paleoanthropological research)]. Alma-Ata: Nauka.
22. Alekseev, V.P. & Gokhman, I.I. (1984) *Antropologiya aziatskoy chasti SSSR* [Anthropology of the Asian part of the USSR]. Moscow: Nauka.
23. Bogdanova, V.I. & Radzyun, A.B. (1991) *Paleoantropologicheskie materialy gunno-sarmatskogo vremeni iz Tsentral'noy Azii* [Paleoanthropological materials of the Hunno-Sarmatian time from Central Asia]. In: Its, R.F. (ed.) *Novye kollektsii i issledovaniya po antropologii i arkheologii* [New collections and research in anthropology and archeology]. Vol. 44. St. Petersburg: Nauka. pp. 55–100.
24. Rykun, M.P. (2013) *Paleoantropologiya Verkhnego Priob'ya epokhi rannego zheleza: (po materialam kamenskoy kul'tury)* [Paleoanthropology of the Upper Ob region of the Early Iron Age (based on the materials of the Kamenskaya culture)]. Barnaul: Altai State University.
25. Alekseev, V.P. & Mamonova, N.N. (1988) *Paleoantropologicheskie materialy poslednikh vekov do nashey ery i tyurkskogo vremeni s territorii Severo-Zapadnogo Altaya* [Paleoanthropological materials of the last centuries BC and Turkic times from the territory of North-Western Altai]. In: Alekseev, V.P. (ed.) *Paleoantropologiya i arkheologiya zapadnoy i yuzhnoy Sibiri* [Paleoanthropology and archeology of Western and Southern Siberia]. Novosibirsk: Nauka. pp. 3–21.
26. Gazimzyanov, I.R. (2018) New Information on the Craniology of the Altai Mountains Population of the Hun-Sarmatian Period. *Povolzhskaya arkheologiya – The Volga River Region Archaeology*. 4. pp. 137–162. (In Russian).

27. Alekseev, V.P., Gohman, I.I. & Tumen, D. (1987) *Kratkiy ocherk paleoantropologii Tsentral'noy Azii (kamennyy vek – epokha rannego zheleza)* [A brief outline of the paleoanthropology of Central Asia (Stone Age – Early Iron Age)]. In: Derevyanko, A.P. (ed.) *Arkheologiya, etnografiya i antropologii Mongolii* [Archeology, Ethnography and Anthropology of Mongolia]. Novosibirsk: Nauka. pp. 208–241.
28. Kozintsev, A.G. (1977) *Antropologicheskii sostav i proiskhozhdenie naseleniya tagarskoy kul'tury* [Anthropological composition and origin of the population of the Tagar culture]. Leningrad: Nauka.
29. Koryakova, L.N. (1988) *Ranniy zheleznyy vek Zaural'ya i Zapadnoy Sibiri* [Early Iron Age of Trans-Urals and Western Siberia]. Sverdlovsk: Ural State University.
30. Mogilnikov, V.A. (1992) *Lesostep' Zaural'ya i Zapadnoy Sibiri* [Forest-steppe of the Trans-Urals and Western Siberia]. In: Moshkova, M.G. (ed.) *Stepnaya polosa aziatskoy chasti SSSR v skifo-sarmatskoe vremya* [The steppe zone of the Asian part of the USSR in the Scythian-Sarmatian time]. Moscow: Nauka. pp. 274–311.

УДК 616.314-07(571.17)
DOI: 10.17223/19988613/68/22

Ю.Г. Смердина, Л.Н. Смердина, М.П. Рыкун

ПАТОЛОГИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ПО ДАННЫМ КРАНИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Представлены результаты изучения патологии зубочелюстной системы раннего и развитого Средневековья у жителей Юга Западной Сибири на материалах краниологических коллекций кабинета антропологии Томского государственного университета, собранных в Беловском и Ленинск-Кузнецком районах Кемеровской области. Поражение кариесом в раннем Средневековье было небольшим (11,54%) с увеличением до 21,74% в развитом Средневековье. Зубочелюстные аномалии в раннем Средневековье были почти у трети жителей, и почти у половины – в развитом. Преобладал дентальный краудинг.

Ключевые слова: краниология; Средневековье; патология зубочелюстной системы.

Краниологический материал позволяет изучать патологию зубочелюстной системы у наших предков на протяжении многих веков. В кабинете антропологии Национального исследовательского Томского государственного университета собран краниологический материал с территории Западной Сибири, благодаря чему возможно изучение стоматологами патологии зубочелюстной системы у жителей Юга Западной Сибири в различные эпохи.

Краниологический материал стоматологи стали использовать с начала XX в., для того чтобы изучить этиологию, патогенез, распространенность стоматологических заболеваний: кариеса, пародонтоза, аномалий развития зубочелюстной системы [1]. Со второй половины XX в. подобные исследования начались в Сибири. Изучались морфологические особенности зубов, челюстей и распространенность стоматологических заболеваний у людей тагарской культуры, живших на территории Южной Сибири 2,5–3 тыс. л.н. [2].

В 1962 и 1971 гг. на Юге Западной Сибири, на территории Беловского района Кемеровской области, сотрудниками Кемеровского государственного университета проводились раскопки под руководством М.Г. Елькина. Краниологический материал датируется VIII–X вв. н.э. В начале XXI в. на границе Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов Кемеровской области Кемеровским государственным техническим университетом проводились раскопки под руководством А.М. Илюшина. В результате раскопок получен краниологический материал, который датируется X–XIII вв. н.э.

Краниологические серии палеоантропологического материала, собранные на одной географической территории с идентичными климатическими, пищевыми, бытовыми условиями жизни, помогают узнать временную динамику частоты и характера зубочелюстной

патологии для выяснения этиологии и патогенеза основных стоматологических заболеваний [3].

Цель данного исследования – изучить патологию зубочелюстной системы у жителей Юга Западной Сибири (Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов Кемеровской области) в эпоху раннего (VIII–X вв. н.э.) и развитого (XI–XIII вв. н.э.) Средневековья.

Материал и методы исследования

Для выяснения патологии зубочелюстной системы у жителей Юга Западной Сибири в эпоху раннего средневековья использованы материалы М.Г. Елькина 1962 и 1971 гг. из раскопок курганных могильников раннего Средневековья (VIII–X вв. н.э.) у села Ур-Бедари (правый берег реки Ур) и поселка Октябрьский (р. Степной Бачат) Беловского района Кемеровской области. Краниологический материал включает 36 черепов. По степени сохранности отобраны к изучению 26 черепов и челюстей (11 мужских, 10 женских и 5 детских) в возрасте от 7 до 55–60 лет [4].

Для выяснения патологии зубочелюстной системы у жителей Юга Западной Сибири в эпоху развитого Средневековья (XI–XIII вв. н.э.) использованы материалы Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции (2003–2007) под руководством А.М. Илюшина из раскопок курганных групп у села Конево (правый берег р. Ур), поселка Солнечный и села Руссоурское (курганный могильник Ишаново) Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области [5. С. 170–175; 6. С. 199–206].

Краниологический материал XI–XIII вв. н.э. включает 50 черепов и фрагментов. Отобраны к изучению 46 черепов и челюстей (22 мужских, 16 женских и 8 детских) в возрасте от 2 до 60 лет, средний возраст – 30 лет.

Всего для оценки патологии зубочелюстной системы средневекового (VIII–XIII вв. н.э.) населения Юга Западной Сибири (территория Кемеровской области) было обследовано 72 черепа погребенных: 33 мужчин, 26 женщин и 13 детей.

В каждой серии проведено изучение распространенности и интенсивности кариеса и его осложнений, аномалий зубов и зубных рядов, у взрослых дополнительно изучена распространенность заболеваний пародонта, патологии твердых тканей, прижизненной потери зубов, вторичных деформаций зубочелюстной системы. Вычислены средние значения (М) и ошибка средней (m). Проведено сравнение распространенности основных стоматологических заболеваний в раннем и развитом средневековье. Статистическая значимость различий (при уровне значимости $p < 0,05$) признаков между сериями оценивалось при помощи критерия Пирсона (χ^2). Полученные данные обработаны в Microsoft Excel.

Результаты исследования

Распространенность кариеса. В раннем Средневековье кариес обнаружен у 11,54%. Были поражены только нижние моляры. Не было обнаружено ни одного кариозного зуба у детей.

В развитом Средневековье кариес обнаружен у 21,74% черепов. Были поражены моляры и премоляры. У двоих детей были поражены кариесом постоянные моляры.

Интенсивность кариеса. В раннем Средневековье интенсивность кариеса у имеющих кариозные поражения составила 1,33. Интенсивность кариеса в целом по серии составила 0,15. В развитом Средневековье интенсивность кариеса у имеющих кариозные пора-

жения составила 2,30. Интенсивность кариеса в целом по серии составила 0,5.

Повышенная стираемость зубов. В раннем Средневековье повышенная стираемость зубов у взрослых черепов составила 38,1%. Характерная особенность повышенной стираемости зубов в раннем Средневековье – неравномерная стираемость жевательной поверхности первых моляров, возможно, в результате бытовой деятельности.

В развитом Средневековье повышенная стираемость отмечена у 42,11% черепов. Судя по характеру стираемости жевательных зубов (особенно первых моляров), в развитом Средневековье, как и в раннем, зубы использовались в качестве дополнительного «инструмента» при осуществлении профессионально-бытовых манипуляций.

На рис. 1 представлена мужская верхняя челюсть с повышенной генерализованной стираемостью зубов 2–3 степени (XI–XIII вв., 40–45 лет, раскопки А.М. Илюшина 2003–2004 гг.). Повышенная стираемость произошла в течение короткого времени. Вторичный дентин не успел образоваться, что привело к вскрытию пульповых камер на зубах.

Вскрыты пульповые камеры премоляров справа, первого моляра слева. Локализованная стираемость четырех нижних резцов встречена только у одного мужского черепа 25 лет и вызвана, по-видимому, механическим воздействием на зубы в результате бытовой деятельности (рис. 2 – мужская нижняя челюсть, XI–XIII вв., 25 лет, раскопки А.М. Илюшина 2004–2007 гг.).

У одного мужского черепа (50–55) лет на фоне повышенной стираемости 2–3 степени обнаружена деформация височно-нижнечелюстного сустава.

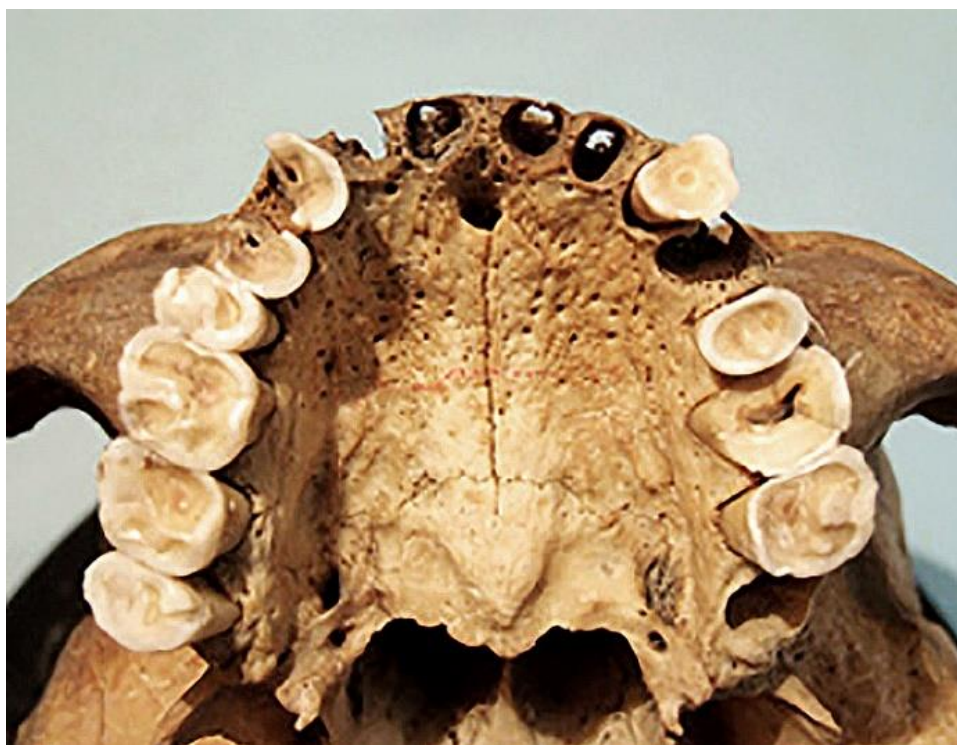


Рис. 1. Мужская верхняя челюсть. Генерализованная повышенная стираемость зубов



Рис. 2. Мужская нижняя челюсть. Локализованная стираемость нижних центральных резцов

Заболевания пародонта. В раннем Средневековье заболевания пародонта обнаружены у 42,86%. Чаще эта патология отмечена в зрелом возрасте (55–60 лет). В развитом Средневековье заболевания пародонта отмечены у 57,89% обследованных черепов.

Признаки выраженных воспалительных процессов в костной ткани. В раннем Средневековье признаки выраженных воспалительных процессов в челюстях обнаружены только у одного мужского черепа, до 40 лет (4,76%).

В развитом Средневековье признаки выраженных воспалительных процессов в челюстях обнаружены у 15,79%. Они были вызваны повышенной стираемостью зубов со вскрытием пульповой камеры, заболеваниями пародонта, а также стали результатом травмы зуба.

Прижизненная утрата зубов. В раннем Средневековье прижизненная утрата зубов отмечена в 19,05%. В основном зубы были утрачены в результате заболеваний пародонта, все у мужчин в зрелом возрасте, у одного из них была полная адентия на нижней челюсти с неравномерной атрофией альвеолярного отростка. В одном случае зуб (верхний центральный резец) был потерян у женщины 18–22 лет в результате травмы, со сколом эмали соседнего центрального резца.

В развитом Средневековье прижизненная утрата зубов отмечена у 18,42% черепов. В шести из семи случаев зубы были утрачены в результате заболеваний пародонта. У одного мужского черепа (45–50 лет) два нижних центральных резца были утрачены в результате травмы.

Вторичные деформации зубочелюстной системы. В раннем Средневековье ни в одном случае не были обнаружены вторичные деформации зубов и прикуса.

В развитом Средневековье вторичные деформации зубов отмечены у 5,26% черепов, они связаны с утратой зубов в результате заболеваний пародонта.

Зубочелюстные аномалии. В раннем Средневековье зубочелюстные аномалии составили 26,92%. В раз-

витом Средневековье зубочелюстные аномалии составили 47,83%. Все аномалии относились к аномалиям зубов и зубных рядов.

Самая распространенная аномалия – скученность зубов. В раннем Средневековье скученность зубов наблюдалась у 19,23%. Не встречались резко выраженные аномалии.

В развитом Средневековье скученность зубов встречалась у 36,96%, и аномалии были более выражены. Наблюдалось сочетание нескольких аномалий: скученность зубов, задержка в челюсти временных клыков и ретенция постоянного клыка слева (рис. 3 – мужская верхняя челюсть, XI–XIII вв., 25 лет, раскопки А.М. Илюшина 2004–2006 гг.).

В раннем Средневековье из других аномалий имелись тремы у 7,69%, аномалии зубов с учетом третьих моляров у 11,54%, аномалии зубов без учета третьих моляров у 3,85%. Врожденное отсутствие зубов с учетом третьих моляров – у 15,38%. Врожденное отсутствие зубов без учета третьих моляров – у 3,85%.

В развитом Средневековье у 10,87% встречались диастемы и тремы, у 8,7% – аномалии зубов с учетом третьих моляров, у 6,52% – аномалии зубов без учета третьих моляров. Врожденное отсутствие зубов с учетом третьих моляров – у 4,35%. Врожденное отсутствие зубов без учета третьих моляров – у 2,17%.

У 8,7% обнаружена редкая аномалия зубов – короткие корни верхних центральных резцов. Обнаруженная патология из курганной группы Ишаново. Все черепа были в одном кургане (мужской, женский и детский (рис. 4 – зубы детского черепа, XI–XIII вв., 14–16 лет, раскопки А.М. Илюшина 2006 г.). В настоящее время доказано, что эта патология зубочелюстной системы наследуется.

В результате проведенного изучения краниологических коллекций обнаружен одинаковый характер патологии зубочелюстной системы у жителей Кузнецкой котловины в эпоху раннего и развитого Средневековья.

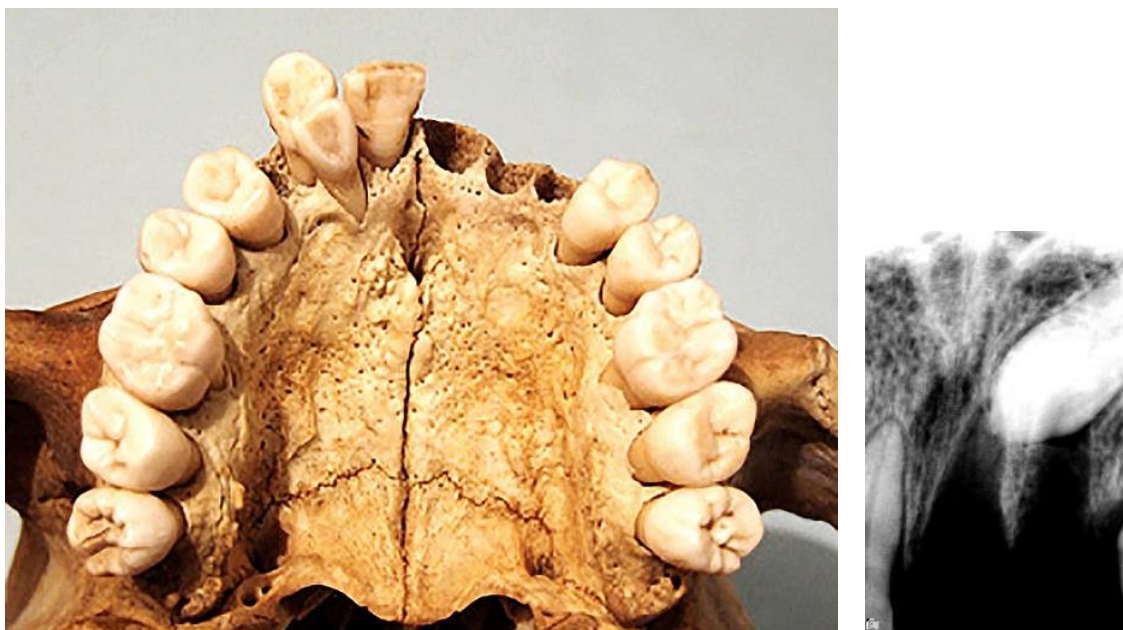


Рис. 3. Мужская верхняя челюсть. Транспозиция клыка и небное положение бокового резца справа. Альвеолярная лунка от временного клыка слева. Ретенция клыка слева. R-грамма области клыка слева



Рис. 4. Короткий корень верхнего центрального резца

Сравнение распространенности основных стоматологических заболеваний в раннем и развитом средневековье показывает увеличение распространенности кариеса и заболеваний пародонта, а также увеличение зубочелюстных аномалий. Хотя в развитом Средневековье по сравнению с ранним Средневековьем основные стоматологические заболевания встречались чаще, но статистически значимых различий не обнаружено ($p > 0,05$) (табл. 1).

Кариесом была поражена только жевательная группа зубов. При этом не было обнаружено ни одного кариеса на временных зубах. Зубочелюстные аномалии и в раннем, и в развитом Средневековье носили одинаковый характер. При более высокой распространенности аномалий в развитом Средневековье, чем в раннем, эти различия статистически не значимы (табл. 2; данные об аномалиях зубов приводятся с учетом третьих моляров).

Таблица 1

Распространенность основных стоматологических заболеваний у жителей Юга Западной Сибири в эпоху Средневековья (%)

Патология зубочелюстной системы	VIII–X вв. н.э. M ± m	XI–XIII вв. н.э. M ± m)
Кариес	11,54 ± 6,27	21,74 ± 6,08
Травматические пульпиты	4,76 ± 4,65	13,16 ± 5,48
Воспалительные процессы	4,76 ± 4,65	15,79 ± 5,92
Повышенная стираемость	38,10 ± 10,6	42,11 ± 8,01
Заболевания пародонта	42,86 ± 10,8	57,89 ± 8,01
Отсутствие зубов	19,05 ± 8,57	18,42 ± 6,29
Вторичные деформации	–	5,26 ± 3,62
Травмы зубов	4,76 ± 4,65	5,26 ± 3,62

Таблица 2

Распространенность зубочелюстных аномалий у жителей Юга Западной Сибири в эпоху Средневековья (%)

Зубочелюстные аномалии	VIII–X вв. н.э. M ± m	XI–XIII вв. н.э. M ± m
Аномалии зубов	11,54 ± 6,27	8,70 ± 4,15
Аномалии формы зубов	11,54 ± 6,27	4,35 ± 3,01
Ретенция зубов	–	2,17 ± 2,15
Гиподентия	15,38 ± 7,08	4,35 ± 3,01
Короткие корни	–	8,70 ± 4,15
Аномалии зубных рядов	26,92 ± 8,70	47,83 ± 7,37
Аномалии положения зубов	23,08 ± 8,26	43,48 ± 7,31
Аномалии положения зубов при избытке места в зубном ряду	3,85 ± 3,77	6,52 ± 3,64
Аномалии положения зубов при недостатке места в зубном ряду (скученность зубов)	19,23 ± 7,73	36,96 ± 7,12
Диастемы и тремы	7,69 ± 5,23	10,87 ± 4,59
Все аномалии	26,92 ± 8,70	47,83 ± 7,37

Обнаружив высокий процент (36,96%) аномалий положения зубов при недостатке для них места в зубном ряду (скученность зубов) в развитом Средневеко-

вье, проведено измерение мезиодистальных размеров зубов по методике А.А. Зубова [7. С. 115–121]. Данные представлены в табл. 3.

Таблица 3

Средние значения мезиодистальных размеров зубов у жителей Юга Западной Сибири в эпоху развитого Средневековья (XI–XIII вв.)

Зубы	Верхняя челюсть			Нижняя челюсть		
	x	σ	m	x	σ	m
Центральные резцы	8,60	0,35	0,09	5,31	0,30	0,07
Боковые резцы	6,99	0,39	0,08	6,06	0,40	0,08
Клыки	7,89	0,46	0,08	6,85	0,37	0,06
Первые премоляры	7,03	0,48	0,09	6,94	0,43	0,07
Вторые премоляры	6,63	0,35	0,07	6,91	0,41	0,07
Первые моляры	10,67	0,64	0,09	11,06	0,64	0,09
Вторые моляры	9,82	0,69	0,11	10,65	0,62	0,09
Третьи моляры	8,88	0,46	0,12	10,61	0,74	0,14

Обсуждая результаты состояния зубочелюстной системы у жителей Юга Западной Сибири в эпоху Средневековья, интересно провести сравнение с жителями этой территории конца XIX – начала XX в. по краниологическому материалу.

Такой материал был собран антропологом А.Р. Кимом в 1975 г. в Беловском районе Кемеровской области, где проводились антропологические раскопки сотрудниками Томского государственного университета. Собранная коллекция включает 85 черепов. Для изучения состояния зубочелюстной системы были отобраны к изучению 55 полных черепов со сформированной зубочелюстной системой (29 мужских и 26 женских) в возрасте от 25 до 55 лет.

Ю.Г. Смердиной и Л.Н. Смердиной (2008) установлено, что кариес и его осложнения встречались у 32,73% обследованных, при этом интенсивность кариеса у имеющих кариозные поражения составляла 2,94. Интенсивность кариеса в целом по обследованным составляла 0,96. Прижизненная потеря зубов присутствовала в 47,27% случаев. У половины мужчин имелись отсутствующие зубы (51,72%), у женщин – 42,31%. Соответственно, у мужчин чаще встречались вторичные деформации зубных рядов (31,03%) по сравнению с женщинами (14,51%). Из вторичных деформаций встречались вертикальные (10,34% у мужчин, 3,85% у женщин) и горизонтальные (27,59% у мужчин, 11,54% у женщин).

Отмечался высокий процент заболеваний пародонта (78,18%) как у мужчин (93,10%), так и у женщин (61,54%). Патологическая стираемость отмечалась у

24,14% мужчин (13,79% – локализованная, 10,35% – генерализованная) и у 3,85% женщин. Зубочелюстные аномалии были обнаружены у 80,00% обследованных индивидов [8. С. 136–138].

Заключение

Патология зубочелюстной системы встречалась в раннем и развитом Средневековье. Жители Юга Западной Сибири чаще всего имели заболевания пародонта, патологическую стираемость зубов и дентальный краудинг (скученность зубов). Поражение зубов кариесом было незначительным. Распространение патологии увеличивалось в развитом Средневековье по сравнению с ранним Средневековьем.

Сравнение распространенности основных стоматологических заболеваний в раннем и развитом Средневековье и на рубеже XIX–XX вв. показывает уменьшение повышенной стираемости зубов, увеличение распространенности кариеса, заболеваний пародонта и резкое увеличение зубочелюстных аномалий (до 80%).

Увеличение заболеваний пародонта приводило к увеличению прижизненной утраты зубов и, как следствие, к увеличению вторичных деформаций зубов.

Полученные данные позволяют ретроспективно оценить состояния зубочелюстной системы, что важно для раскрытия эволюционных процессов в зубочелюстной системе при сравнении с характером патологии у жителей XXI в. Это, в свою очередь, способствует пониманию этиопатогенеза и выбору правильной тактики лечения и профилактики заболеваний зубочелюстной системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вильга Г. Зубы в Антропологическом отношении // Русский Антропологический журнал. 1903. Кн. XIV, № 2. С. 24–53.
2. Миргазизов М.З., Кошкин Г.А. Состояние зубов и челюстей древних жителей Сибири // Материалы VII науч. конф. Кемеровского мед. ин-та и III конф. стоматологов Кузбасса. Кемерово, 1965. Вып. IV. С. 26–28.
3. Миргазизов М.З., Смердина Л.Н., Кошкин Г.А., Смердина Ю.Г. Краниологическое исследование – важный метод изучения стоматологической патологии // Стоматология. 1998. № 5. С. 61–62.
4. Алексеев В.П. К средневековой палеоантропологии Кузнецкой котловины // Известия лаборатории археологических исследований. Кемерово, 1974. Вып. 5. С. 112–118.
5. Илюшин А.М. Курганы поздних кочевников близ устья Ура. Кемерово : Изд-во КузГТУ, 2012. 188 с.
6. Илюшин А.М. Курганы кыштымов в долине Ура. Кемерово : Изд-во КузГТУ, 2014. 216 с.
7. Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований. М. : Наука, 1968. 299 с.
8. Смердина Ю.Г., Смердина Л.Н. Состояние зубочелюстной системы у телеутов (конец XIX – начало XX вв.) // Успехи современного естествознания. 2008. № 5. С. 136–138.

Julia G. Smerdina, Kemerovo State Medical University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 582998@kemtel.ru

Lidia N. Smerdina, Kemerovo State Medical University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 582998@kemtel.ru

Marina P. Rykun, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: m_rykun@mail.ru

DENTITION PATHOLOGY IN RESIDENTS OF SOUTHERN AREAS OF WEST SIBERIA IN THE MIDDLE AGES AS SUGGESTED FROM THE CRANIOLOGICAL DATA

Keywords: Creaneology; the Middle Ages; dentoalveolar pathology.

The research aimed at studying the dentoalveolar pathology in the residents of southern areas of Western Siberia (Belovsk and Leninsk-Kuznetsk districts of Kemerovo Region) in the early (8–10 cc. AD) and high (11–13 cc.) Middle Ages.

The craniological data of the Anthropology Room at National Research Tomsk State University collected in the above areas were employed.

The craniological material of the 8–10 cc. was collected in Belovsk District of Kemerovo Region in 1962 and 1971 (excavations of Kemerovo State University headed by M.G. Elkin). The material includes 36 skulls. 26 skulls and jaws (from 11 males, 10 females, 5 infants aged from 7 to 55–60) were intact enough to be studied.

The craniological material of the XI–XIII cc. was collected in the border zone between Belovsk and Leninsk-Kuznetsk districts of Kemerovo Region (excavation of Kemerovo State University headed by I.M. Ilushin). The material includes 50 skulls and fragments thereof. Sampled for study were 46 skulls and jaws of 22 male, 16 female and 8 infant residents, ages ranging from 2 to 60 years.

There were found minor caries lesion in the early Medieval period (11,54 %) that increased to 21,74 % in the advanced Middle Ages; considerable occurrence of parodontium pathology (42,86 % in early and 57,89 % in the advanced medieval period) and that of the dental hyperabrasion (38,1 % in the early Middle Ages, 42,11 % in the developed Middle Ages). Life-time dental loss occurred rarely in that era which accounts for the absence of secondary deformations in the early medieval period and their only presence of 5,26 % during the developed Middle Ages.

Almost one third (26,92 %) of the population had dentoalveolar anomalies in the early medieval period and almost half (47,83 %) over the developed period. It was dental crowding (tooth torsion) that prevailed. Dental crowding revealed itself in 19,23 % of the population in the early Middle Ages. Acute anomalies were not found. Dental crowding occurred in 36,96 % and with more acute anomalies during the developed medieval period. Combined anomalies were also detected.

Dentoalveolar pathology occurred in the early and developed periods of the Middle Ages. Population of the southern areas of West Siberia most often had parodontium pathology, dental hyperabrasion and dental crowding (tooth torsion). The tooth decay was insignificant. The spread of pathology of the dentoalveolar system increased in the high Middle Ages compared to the early Middle Ages, but no statistically significant differences were found ($p>0,05$).

The data obtained make it possible to retrospectively assess the state of the dentoalveolar system, which is important for the disclosure of evolutionary processes in the dentoalveolar system when compared with the nature of the pathology in residents of the XXI c. This, in turn, contributes to the understanding of the etiopathogenesis and the choice of the correct tactics for the treatment and prevention of diseases of the dentoalveolar system.

REFERENCES

1. Vilga, G. (1903) Zuby v antropologicheskoy otnoshenii [Teeth in anthropological terms]. *Russkiy Antropologicheskii zhurnal*. 14(2). pp. 24–53.
2. Mirgazizov, M.Z. & Koshkin, G.A. (1965) Sostoyaniye zubov i chelyustey drevnikh zhitel'ey Sibiri [The condition of the teeth and jaws of the ancient inhabitants of Siberia]. *Materialy VII nauch. konf. Kemerovskogo med. in-ta i III konf. stomatologov Kuzbassa* [Proc. of the Seventh Conference of Kemerovo Medical Institute and the Third Conference of Dentists in Kuzbass]. Vol. IV. Kemerovo: [s.n.]. pp. 26–28.
3. Mirgazizov, M.Z., Smerdina, L.N., Koshkin, G.A. & Smerdina, Yu. G. (1998) Kraniologicheskoye issledovaniye – vazhnyy metod izucheniya stomatologicheskoy patologii [Craniological research is an important method for studying dental pathology]. *Stomatologiya – Stomatology*. 5. pp. 61–62.
4. Alekseev, V.P. (1974) K srednevekovoy paleoantropologii Kuznetskoy kotloviny [To the medieval paleoanthropology of the Kuznetsk depression]. *Izvestiya laboratorii arkheologicheskikh issledovaniy*. 5. pp. 112–118.
5. Ilyushin, A.M. (2012) *Kurgany pozdnikh kochevnikov bliz ust'ya Ura* [Mounds of late nomads near the mouth of the Ur]. Kemerovo: KuzSTU.
6. Ilyushin, A.M. (2014) *Kurgany kyshtymov v doline Ura* [Kyshtym burial mounds in the Ur valley]. Kemerovo: KuzSTU.
7. Zubov, A.A. (1968) *Odontologiya. Metodika antropologicheskikh issledovaniy* [Odontology. Anthropological Research Methodology]. Moscow: Nauka.
8. Smerdina, Yu.G. & Smerdina L.N. (2008) Sostoyaniye zubochelyustnoy sistemy u teleutov (konets XIX – nachalo XX vv.) [The state of the dentition in the Teleuts (late 19th – early 20th centuries)]. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya – Advances in current natural sciences*. 5. pp. 136–138.

УДК 572(1-925.11/.16)
DOI: 10.17223/19988613/68/23

К.Н. Солодовников, А.Н. Багашёв, Т.М. Савенкова

АРЕАЛЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ НЕОЛИТА ЮГА ЗАПАДНОЙ И СРЕДНЕЙ СИБИРИ

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-59-94020,
и по госзаданию, проект № АААА-А17-117050400143-4.*

Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного на юбилейной XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК», состоявшейся 16–18 декабря 2020 г. на базе Томского государственного университета.

Обсуждаются концепции антропологической дифференциации морфологически промежуточного между европеоидным и монголоидным расовыми стволами населения неолита юга Западной и Средней Сибири. Древние группы западносибирской лесостепи предлагается относить к особой протоазиатской формации и рассматривать отдельно от европеоидных популяций эпохи камня лесной полосы Восточной Европы. Исследуются краниологические материалы неолита юга Средней Сибири, определяются ареалы основных антропологических общностей неолитического населения центральных областей Евразии.

Ключевые слова: неолит; Сибирь; палеоантропология; краниометрия; европеоиды; монголоиды.

Данные физической антропологии имеют большое значение в исследовании вопросов происхождения и родства древних и современных народов, автохтонного развития, масштабов и направления миграций. На юге Западной и Средней Сибири древнейшие серийные палеоантропологические материалы известны с периода неолита. Антропологический тип неолитического населения на основании краниологических серий и отдельных находок характеризуется как промежуточный европеоидно-монголоидный, или монголоидно-европеоидный. Так, на некоторых черепах из погребений могильников Верхнего Приобья был определен протоевропейский антропологический тип [1], на краниологических материалах из северных предгорий Алтая – более монголоидный тип, связанный происхождением с восточными территориями Прибайкалья [2], а также констатировались смешанные монголоидно-европеоидные особенности в группах неолитического населения Алтае-Саян [3, 4]. Исследователями отмечалось мозаичное сочетание европеоидных и монголоидных особенностей на неолитических черепах с территории юга Западной и Средней Сибири, где антропологический облик древних популяций определялся взаимодействием разнотипного населения двух основных расовых стволов [5–7].

Физические особенности неолитического населения юга Западной и Средней Сибири связываются с несколькими слабо дифференцированными с позиции традиционной расовой систематики антропологическими общностями. Т.А. Чикишевой [8] предложена концепция формирования недифференцированных северной евразийской и южной евразийской антропологических формаций древнего населения севера Евразии, популяции которых характеризуются фенотипической европеоидно-монголоидной промежуточ-

ностью в морфологии лицевого отдела и различаются главным образом строением мозговой коробки – высокой долихо-мезокранной у групп северной евразийской формации и средневысокой брахикранной у южной евразийской формации. При этом на территории Западной Сибири расположены юго-восточные окраины северной евразийской формации (Северная Бараба), чей ареал огромен и охватывал лесную зону Восточной Европы вплоть до Поонежья, Белого моря, Карелии и Прибалтики. Ареал южной евразийской антропологической формации связан со степными и горно-степными областями центральных регионов Евразии [8]. Исследование краниологических материалов из неолитических погребений Среднего Прииртышья позволило уточнить ареалы этих двух крупных расогенетических общностей на территории Западной Сибири и Северо-Восточного Казахстана и их связь с лесостепной / лесной и степной зонами [9].

Картину антропологической дифференциации древнего населения срединных областей Евразии дополняет влияние третьего, также неконсолидированного, краниологического комплекса, но с преобладанием монголоидной специфики – «палеосибирского», характеризующего неолитическое население Прибайкалья [8. С. 53–60]. Морфологические особенности этого антропологического типа восточносибирского происхождения фиксируются на антропологических материалах неолита–энеолита северных предгорий Алтае-Саян [2–8]. Судя по краниологическим находкам периода неолита с территории Северной Монголии из могильников Харуулын гозгор и Марзын хутул (неопубликованные измерения К.Н. Солодовникова, автор раскопок Т.О. Идэрхангай), ареал популяций прибайкальского антропологического облика охватывал и южные предгорья Южной Сибири. Вероятно, это

повлияло на физический тип населения чечурчекской культуры Монгольского Алтая и елунинской равнинного Алтая последующего периода ранней бронзы [10].

Проведенный статистический анализ большинства краниологических материалов мезолита, неолита и энеолита центральных регионов Северной Евразии позволил выявить существенную морфологическую дистанцию сибирских групп от преимущественно европеоидного населения мезолита, неолита и энеолита лесной и лесостепной полосы Восточной Европы [11]. По результатам исследования на широком географическом фоне неолитические группы Северной Барабы не столь морфологически специфичны, как представлялось ранее [12]. Краниологические серии из сопредельных лесостепных районов Новосибирско-Каменского Приобья, Барабы и Кузнецкой котловины и в меньшей мере Тоболо-Ишимья и лесостепной / лесной полосы Среднего Прииртышья проявляют комплекс признаков, противоречивый с точки зрения исторической корреляции – среднепрофилированное по горизонтали мезогнатное лицо и средневыступающее переносье в сочетании с малым (иногда очень малым) углом выступания носовых костей, что дополняется длинной долихокранной мозговой коробкой, средней или большой высотой черепа, среднешироким наклонным лбом, широкими и относительно низкими лицом и орбитами [11].

Учитывая морфологическое сходство западносибирских краниологических серий и отличие от большинства синхронных и предшествующих восточно-европейских, следует отказаться от термина «северная евразийская антропологическая формация» в отношении совокупности краниологических материалов с территории лесной полосы Восточной Европы и лесостепных районов Западной Сибири [8]. Для палеоантропологических материалов неолита–энеолита лесостепных районов Западной Сибири, исходя из географической локализации, предлагается вернуться к термину «протоазиатская формация» [13, 14], морфологической и расогенетической основой которой является специфический комплекс признаков, являвшийся предковым для народов западносибирской расы. Ареал протоазиатской формации в неолитическую эпоху ограничивался с юга степной зоной и предгорными районами Алтае-Саян, где происходило взаимодействие с популяциями южной евразийской антропологической формации при участии групп восточносибирского происхождения с антропологическими особенностями населения прибайкальского типа. Границы ареала южной евразийской формации в неолите маркируются на западе краниологическими находками из могильника Тумек-Кичиджик кельтиминой культуры Приаралья, население которой имело общий антропологический субстрат с североалтайским [8. С. 46], на севере – из Нижнетыткескенской I и Каминной пещер на севере Горного Алтая, на востоке – материалами из неолитических могильников Красноярско-Канской лесостепи.

Не определены северо-восточные границы ареала южной евразийской антропологической формации, что заставляет обратиться к палеоантропологическим материалам неолита юга Средней Сибири. В дополнение к исследованным ранее черепам из могильников Базаи-

ха, Перевозное [3, 4] и Долгое Озеро [15] в Красноярско-Канской лесостепи после необходимой реставрации исследованы краниологические находки периода неолита, хранящиеся в отделе палеоантропологии Красноярского государственного университета (табл. 1) [16]. В дальнейшем возможно уточнение на основе радиоуглеродного датирования хронологической позиции погребений, из которых происходят исследованные материалы. Измерения двух краниумов – из погребения на территории г. Красноярска женщины «негроидного» типа [17] (гипотеза о примеси экваториальных форм в антропологическом составе неолитического населения Верхнего Енисея [18] имеет историографическое значение [5. С. 52, 71; 19]), и из неолитического погребения Каменка-1 в Северном Приангарье [20] – ранее были опубликованы [18, 21]. Поскольку в случае первого из них [4. С. 108–111; 17] выявились небольшие расхождения, обусловленные, вероятно, инструментарием, а измерения второго черепа опубликованы в малодоступном издании [21], в табл. 1 приводятся актуальные краниометрические данные.

Новые данные по черепам из погребений у баз Технологического института [22] и Афонтовой горы [23, 24] в Красноярске суммированы с ранее опубликованными в краниологическую серию неолита Красноярско-Канской лесостепи (табл. 2). Несмотря на увеличение количества наблюдений в мужской группе, характеристики серии соответствуют таковым в ранних работах [3, 4, 15]: очень широкая массивная средневысокая брахикранная мозговая коробка со среднешироким и относительно узким средненаклонным и выпуклым лбом, очень широкое средневысокое и относительно низкое умеренно ортогнатное лицо с мелкой клыковой ямкой, средняя горизонтальная профилировка на зигма-максиллярном уровне и уплощенность лица на уровне назиона, широкие средневысокие хамеконхные орбиты, средние размеры и пропорции носового отдела, средневыступающий нос, малые размеры и средние пропорции переносья и носовых костей в месте наибольшего сужения. Женские черепа в среднем отличаются сильнее выраженной брахикранией, низкой мозговой коробкой, слабо выпуклым лбом и относительно более уплощенным по горизонтали лицевым отделом. Краниологическая серия неолита Красноярско-Канской лесостепи проявляет смешанные характеристики в отношении рас первого порядка при преобладании монголоидных особенностей, которые сильнее выражены в женской группе. Значения обобщенного показателя уплощенности лицевого скелета (УЛС) и преаурикулярного фацио-церебрального указателя (ПФЦ) [25] характеризуют мужскую серию как морфологически промежуточную монголоидно-европеоидную с условной долей монголоидного элемента (УДМЭ) 78%. В женской серии с 97% показателя УДМЭ монголоидные особенности преобладают (см. табл. 2). Краниологическая серия неолита Красноярско-Канской лесостепи проявляет типологические особенности южной евразийской формации (по Т.А. Чикишевой), отличаясь большей выраженностью монголоидных особенностей по сравнению с черепами неолита–энеолита из пещер Горного Алтая.

Таблица 1

Индивидуальные измерения черепов неолита юга Средней Сибири

Место раскопок	Красноярская лесостепь			Нижнее Приангарье	
	Афонтова гора	Красноярск, базы Технологического института	Красноярск, у летних детских дач ГорОНО	Каменка-1	Толстый Мыс-I
Автор раскопок (сборов)	А.Ф. Катков	К.Л. Горчаковский	З.К. Глусская	А.Л. Заика	Ю.А. Гревцов
Год раскопок (сборов)	1932	1950-е	1955	1997	2010
Пол	♂?	♂	♀	♂	♂
Возраст	30–35	50–60	30–35	25–30	20–25
1. Продольный диаметр	178	192	172	183	176
1b. Черепной указатель	175	190	170		173
8. Поперечный диаметр	142	146	150	147	145?
17. Высотный диаметр от ба	141	134	132	130	127
20. Высотный диаметр от ро	116	119	117	117	114
5. Длина основания черепа	102	106	97	98	95
9. Наименьшая ширина лба	93,6	92,4	92,7	94,0	95,0
ВПИЛ. Высота поперечного изгиба лба	21,7	14,4	13,5	16,8	20,0?
∠ПИЛ. Угол поперечного изгиба лба	130,2	145,4	147,5	140,7	134,3?
10. Наибольшая ширина лба	118	121	125	124	119?
11. Ширина основания черепа	128	131	134	131	136?
12. Ширина затылка	113	115	116	113	110?
29. Лобная хорда	111	120	111	115	114
Sub.Nβ. Высота изгиба лба	23,9	27,7	23,2	28,9	28,0
30. Теменная хорда	116	106	109		101
31. Затылочная хорда	96	99	95		101
OS. Высота изгиба затылка	23,4	34,2	26,0		29,4
23а. Горизонтальная окружность	501	531	509		502?
24. Поперечная дуга	327	329	332		362
25. Сагиттальная дуга	370	369	355		362
26. Лобная дуга	126	134	122		131
27. Теменная дуга	132	114	120		110
28. Затылочная дуга	112	121	113		121
7. Длина затылочного отверстия	36,2	39,0	37,6		36,9
16. Ширина затылочного отверстия	29,3	31,4	30,3		29,0
32. Угол профиля лба от n.	–	82	81	82	84
GM/FH. Угол профиля лба от g	–	78	78	75	76
33 (1). Угол верхней части затылка	–	84	90		87
33 (4). Угол перегиба затылка	126	113	118		119
34. Угол затылочного отверстия	–	–4	–11		–14
Надпереносье (1–6)	3	3	2	3	3
Надбровные дуги (1–3)	3	2	2	3	2
Наружный затылочный бугор (0–5)	2	0	1	1	1
Сосцевидный отросток (1–3)	2	2	3	2	2
Форма черепа сверху	ovoid.	ovoid.	sphenoid.	ovoid.	sphenoid.
40. Длина основания лица	–	105	104	102	99
45. Скуловой диаметр	139–142??	142	140	142	138?
48. Верхняя высота лица	–	74	65	74	66
47. Полная высота лица	–	–	99	121	113
43. Верхняя ширина лица	105	108	111	112	107
46. Средняя ширина лица	–	104	107	100	108?
60. Длина альвеолярной дуги	–	–	54?		52
61. Ширина альвеолярной дуги	–	–	–		65
62. Длина нёба	–	–	48,0	53,0	43,8
63. Ширина нёба	–	–	–	38,0	40,0
51. Ширина орбиты от mf	–	44,4	44,0	43,0	39,5
51a. Ширина орбиты от d	–	41,5	41,0	39,0	37,3
52. Высота орбиты	–	35,7	33,4	36,0	32,0
55. Высота носа	–	57,6	46,0	54,0	48,8
54. Ширина носа	–	25,3	29,0	22,0	24,9
Нижний край грушевидного отверстия	–	fos.pr.	anth.	anth.	infan.
Передне-носовая ость (1–5)	–	3	3	5	2
SC. Симотическая ширина	–	6,7	9,3	9,0	6,0
SS. Симотическая высота	–	2,0	2,0	3,8	1,7
MC. Максиллофронтальная ширина	–	17,8	20,7	22,0	22,2
MS. Максиллофронтальная высота	–	3,9	4,3		6,2
DC. Дакриальная ширина	–	22,0	23,7	25,5	24,8
DS. Дакриальная высота	–	8,0	9,1	13,0	9,6
FC. Глубина клыковой ямки	–	1,8	6,0	5,5	3,3
Nz. Высота изгиба скуловой кости	–	11,0	–	–	12,0

Окончание табл. 1

Место раскопок	Красноярская лесостепь			Нижнее Приангарье	
	Афонтова гора	Красноярск, базы Технологического института	Красноярск, у летних детских дач ГорОНО	Каменка-1	Толстый Мыс-I
Bz. Ширина скуловой кости	–	58,0	–	–	52,5
43 (1). Биорбитальная ширина	96,0	98,8	103,3	104,0	98,1
BH. Высота назиона	13,6?	15,0?	13,3	14,5	16,9?
77. Назо-малярный угол	148,4?	146,2?	151,1	148,8	142,0?
ЗМПШ. Зиго-максиллярная ширина	–	106,5	103,2	102,0	106,5?
BC. Высота субспинале	–	23,3	19,1	17,2	18,0
∠Zm'. Зиго-максиллярный угол	–	132,7	139,4	142,7	142,6?
72. Общий лицевой угол	–	87	78	83	85
73. Средний лицевой угол	–	92	85	86	88
74. Угол альвеолярной части лица	–	78	65	74	75
75. Угол наклона носовых костей	–	66	58?	58	67?
75 (1). Угол выступания носа	–	21	20?	25	18?
68 (1). Длина нижней челюсти от мыщел	–	–	–	112	105
79. Угол ветви нижней челюсти	–	–	–	128	122
68. Длина нижней челюсти от углов	–	–	–	80	78
70. Высота ветви нижней челюсти	–	–	–	58	62
71a. Наименьшая ширина ветви	–	–	33,6	38,0	33,5
65. Мыщелковая ширина	–	–	–	119	120?
66. Угловая ширина	–	–	–	115	112
67. Передняя ширина	–	–	46,0	53,0	47,5
69. Высота симфиза	–	–	28,2	32,0	34,0
69 (1). Высота тела нижней челюсти	–	–	28,8	–	30,7
69 (3). Толщина тела нижней челюсти	–	–	10,1	13,0	14,5
∠C'. Угол выступания подбородка	–	–	66	61	68

Таблица 2

Суммарные серии черепов неолита Красноярско-Канской лесостепи и Нижнего Приангарья

Признак по Мартину и др.	Красноярская лесостепь				Нижнее Приангарье
	Мужчины		Женщины		Мужчины
	x(n)	s	x(n)	s	x(n)
1. Продольный диаметр	186,0(7)	5,6	173,0(5)	2,7	179,5(2)
8. Поперечный диаметр	150,0(7)	5,9	146,0(5)	10,3	146,0(2)
8:1. Черепной указатель	80,7(7)	2,5	84,4(5)	5,1	81,4(2)
17. Высотный диаметр от ba	133,7(6)	5,0	123,4(5)	5,4	128,5(2)
17:1. Высотно-продольный указатель	72,1(6)	4,3	71,4(5)	3,8	71,6(2)
17:8. Высотно-поперечный указатель	89,3(6)	6,1	84,9(5)	7,6	88,0(2)
20. Высотный диаметр от po	116,5(6)	3,4	111,8(4)	5,0	115,5(2)
5. Длина основания черепа	101,8(6)	3,7	94,2(5)	4,1	96,5(2)
9. Наименьшая ширина лба	98,4(7)	7,2	92,3(5)	5,9	94,5(2)
9:8. Лобно-поперечный указатель	65,6(7)	2,9	63,4(5)	4,0	64,7(2)
11. Ширина основания черепа	132,8(6)	4,4	130,3(4)	5,7	133,5(2)
29. Лобная хорда	114,6(5)	5,7	108,0(3)	5,6	114,5(2)
Sub.N8. Высота изгиба лба	26,5(5)	2,2	24,7(3)	1,7	28,5(2)
Sub.N8:29. Указатель выпуклости лба	23,1(5)	1,1	22,9(3)	1,8	24,8(2)
32. Угол профиля лба от n	81,8(5)	2,3	84,0(5)	4,3	83,0(2)
GM/FH. Угол профиля лба от g	72,0(5)	6,1	78,3(4)	3,3	75,5(2)
40. Длина основания лица	101,4(5)	4,1	97,8(5)	8,2	100,5(2)
40:5. Указатель выступания лица	99,6(5)	1,9	103,7(5)	4,7	104,1(2)
43. Верхняя ширина лица	111,4(7)	6,7	104,8(5)	5,1	109,5(2)
45. Скуловой диаметр	143,8(6)	4,7	134,0(5)	5,2	140,0(2)
48. Верхняя высота лица	72,0(6)	6,0	66,0(5)	0,7	70,0(2)
48:17. Вертикальный фациоцеребральный указатель	55,5(5)	2,8	53,6(5)	2,6	54,4(2)
48:45. Верхний лицевой указатель	50,0(6)	3,2	49,3(5)	2,5	50,0(2)
72. Общий лицевой угол	84,8(5)	3,1	84,6(5)	5,7	84,0(2)
74. Угол альвеолярной части лица	82,0(5)	6,8	70,3(3)	4,7	74,5(2)
77. Назо-малярный угол	146,7(6)	2,9	150,3(5)	6,1	145,4(2)
∠Zm'. Зиго-максиллярный угол	134,1(6)	3,4	135,9(5)	13,5	142,7(2)
51. Ширина орбиты	45,2(5)	4,8	41,4(5)	2,3	41,3(2)
52. Высота орбиты	35,0(6)	2,6	32,9(5)	2,4	34,0(2)
52:51. Орбитный указатель	77,2(5)	4,8	79,4(5)	4,3	82,4(2)
55. Высота носа	52,6(6)	4,8	47,0(5)	1,4	51,4(2)
54. Ширина носа	26,2(6)	2,2	24,2(5)	2,8	23,5(2)
54:55. Носовой указатель	50,2(6)	5,8	51,6(5)	6,5	45,9(2)
75(1). Угол выступания носа	25,0(5)	4,9	20,0(3)	10,0	21,5(2)
SC. Симметрическая ширина	7,38(5)	0,9	8,15(2)	1,6	7,5(2)

Окончание табл. 2

Признак по Мартину и др.	Красноярская лесостепь				Нижнее Приангарье
	Мужчины		Женщины		Мужчины
	x(n)	s	x(n)	s	x(n)
SS. Симотическая высота	3,08(5)	1,0	2,50(2)	0,7	2,8(2)
SS:SC. Симотический указатель	41,3(5)	10,7	32,2(2)	15,1	35,3(2)
DC. Дакриальная ширина	20,18(4)	1,4	22,10(2)	2,3	25,2(2)
DS. Дакриальная высота	9,08(4)	2,4	10,55(2)	2,1	11,3(2)
DS:DC. Дакриальный указатель	45,6(4)	15,0	48,5(2)	14,2	44,8(2)
FC. Глубина клыковой ямки	3,9(54)	1,3	5,0(5)	1,0	4,4(2)
66. Ширина нижней челюсти	115,5(2)	20,5	100,0(2)	7,1	113,5(2)
УЛС	68,5		72,1		79,9
ПФЦ	95,0		97,8		97,2
УДМЭ	77,6		97,1		101,8

Для объективного определения положения группы из Красноярско-Канской лесостепи в расо-генетической структуре древнего населения проведен межгрупповой статистический анализ на морфологическом фоне относительно синхронных популяций северной Азии. В него включены группы, средние данные которых приведены в работе [11], добавлены серии черепов территорий восточнее Байкала – китойской культуры Забайкалья, серии неолита Якутии и Приморья из могильника Бойсмана-2 [8. Табл. I, II], а также неолита Восточной Монголии (Норовлин уул и Тамцаг-Булак); серия неолита–энеолита Среднего Прииртышья дополнена краниометрическими данными мужского и женского черепов из могильника Майское V на юге Павлодарской области (раскопки 2019 г., материал предоставлен В.К. Мерцем). По результатам межгруппового сопоставления мужская серия Красноярско-Канской лесостепи наименьшие расстояния D^2 Махаланобиса–Рао обнаруживает, с одной стороны, с неолитическими группами Прибайкалья, где монголоидные особенности выражены наиболее резко по сравнению с популяциями двух других антропологических общностей древнего населения центральных регионов Северной Евразии, а с другой – с западносибирскими и алтайскими группами (табл. 3). Примечательно, что черепа неолита–энеолита из пещер Горного Алтая среди сравнитель-

ных серий наименьшие таксономические расстояния разделяют с мужской Красноярско-Канской. Объединяются эти группы и при кластеризации по методу Варда (рис. 1). При этом образуются кластеры, которые на высоком таксономическом уровне отделяют «чистых» монголоидов Дальнего Востока и Восточной Монголии, объединяют западносибирские группы с кельтеминарской из могильника Тумек-Кичиджик, а также серии восточносибирского неолита вместе с южносибирскими группами, включая анализируемую серию. По результатам канонического анализа южносибирские группы также морфологически присоединяются к восточносибирским, занимая промежуточное положение между ними и сериями из западносибирской лесостепи (рис. 2). Анализ женских групп (см. табл. 3, рис. 3, 4) показывает сходные результаты – серии с территории Западной Сибири дистанцируются от восточно- и южносибирских групп (см. рис. 4) при близком к промежуточному положению последних на графике канонического анализа. При этом обособляется морфологически специфичная группа неолита Кузнецкой котловины, а также образуют отдельный вектор изменчивости наиболее европеоидные среди анализируемых женских серий: кельтеминарской культуры, энеолита лесостепного Тоболо-Ишимья и предгорного Алтая из могильников Усть-Иша и Солонцы V (см. рис. 3).

Таблица 3

Расстояния D^2 Махаланобиса–Рао между сериями черепов и краниологическими находками неолита юга Средней Сибири и сравнительными материалами мезолита, неолита и энеолита северной Азии

Сравнительные группы	Красноярско-Канская лесостепь		Нижнее Приангарье
	♂	♀	♂
1. Неолит Красноярско-Канской лесостепи	–	–	10,89
2. Неолит Нижней Ангары	10,89	–	–
3. Китойская культура Ангары	11,59	8,32	9,85
4. Китойская культура Верхней Лены	15,64	12,25	27,57
5. Китойская культура Забайкалья	10,95	–	9,03
6. Исаковская культура Ангары	12,68	–	14,45
7. Серовская культура Ангары	7,30	6,41	7,65
8. Серовская культура Верхней Лены	6,48	11,24	2,40
9. Неолит Якутии	14,59	43,86	13,87
10. Неолит Восточной Монголии	52,44	–	38,39
11. Бойсмана-2, неолит Дальнего Востока	33,88	28,88	37,27
12. Неолит Кузнецкой котловины	9,81	47,47	15,67
13. Неолит Новосибирско-Каменского Приобья	7,67	11,65	18,87
14. Неолит Барабинской лесостепи	13,55	11,17	21,63
15. Энеолит Тоболо-Ишимья	16,51	23,97	19,04
16. Мезолит и неолит Зауралья	17,98	17,36	20,59
17. Тумек-Кичиджик, кельтеминарская культура Приаралья	22,90	29,32	19,47
18. Неолит–энеолит Среднего Прииртышья	11,99	18,77	19,01
19. Неолит Барнаульско-Бийского Приобья	9,03	14,34	9,36
20. Неолит северных предгорий Алтая	8,76	22,63	16,94
21. Неолит–энеолит Горного Алтая	10,87	21,89	17,99

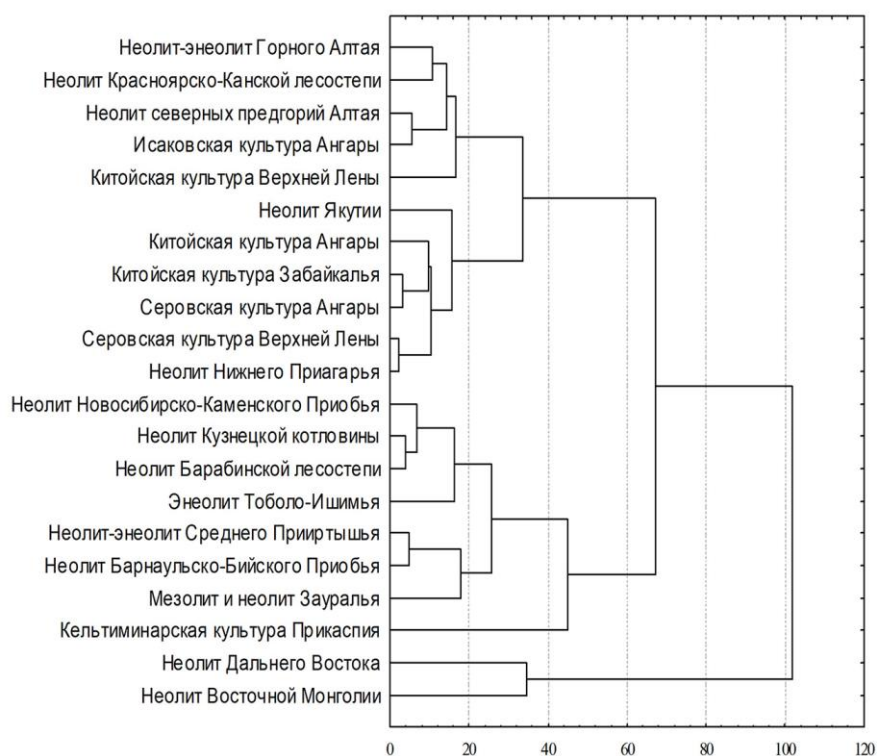


Рис. 1. Результаты кластеризации расстояний D^2 Махаланобиса–Рао мужских серий. Нумерация серий в рисунках соответствует табл. 3

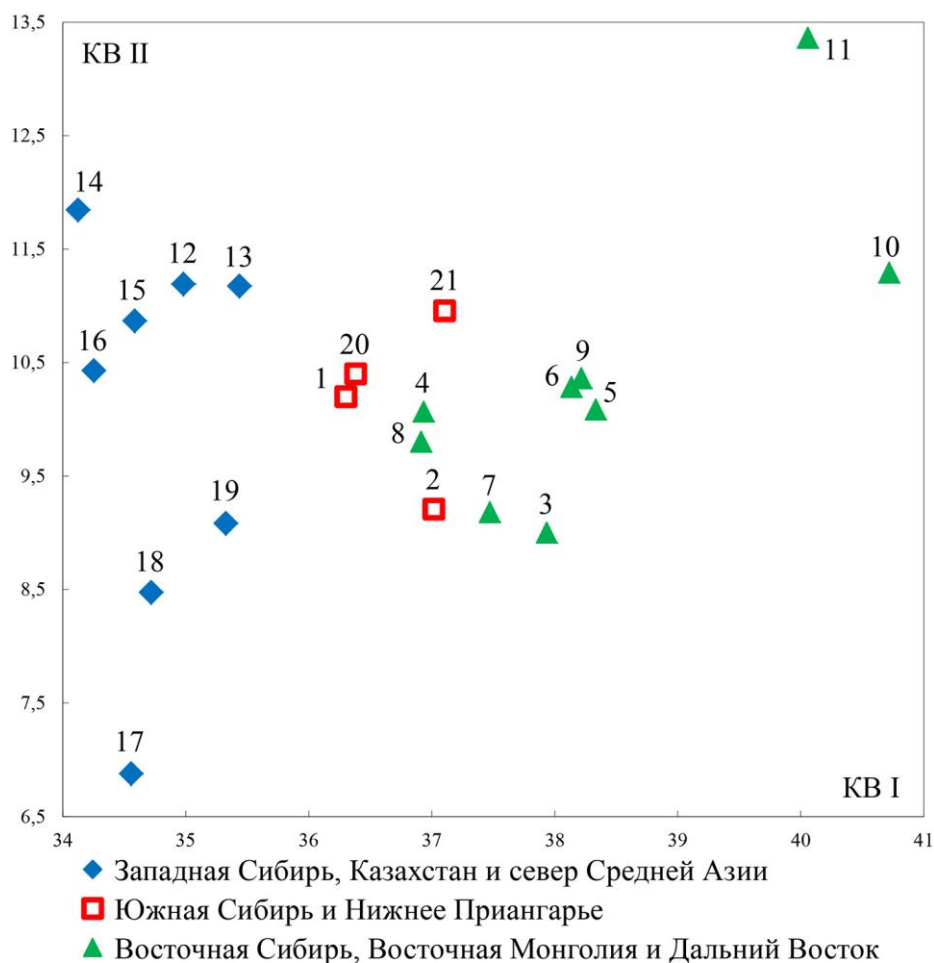


Рис. 2. Результаты канонического анализа мужских серий

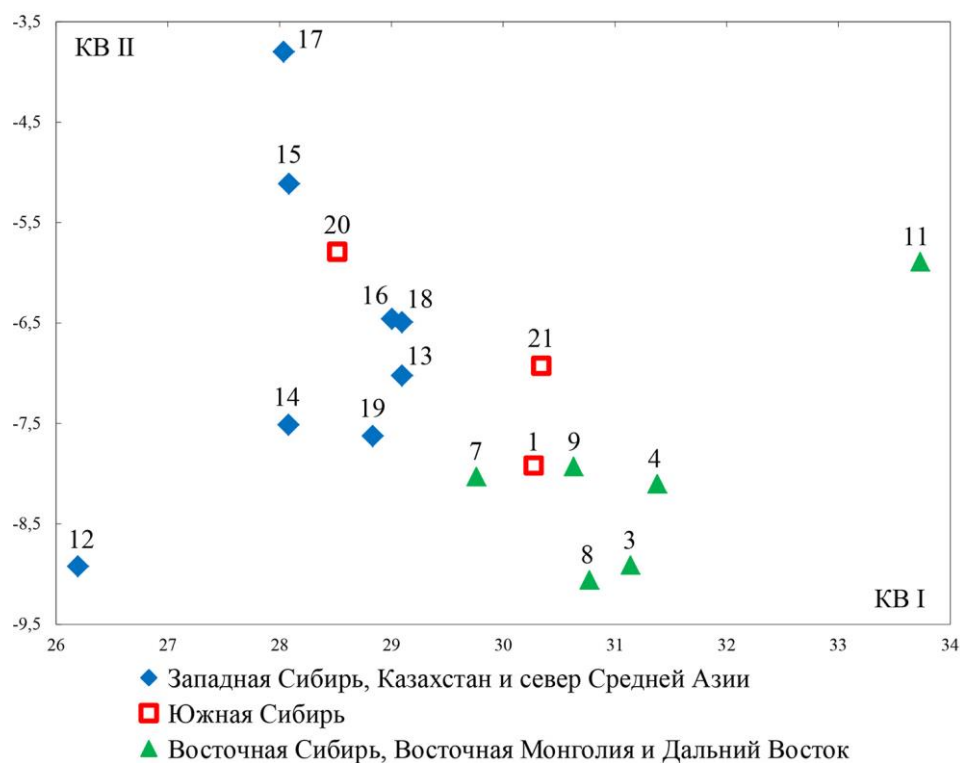
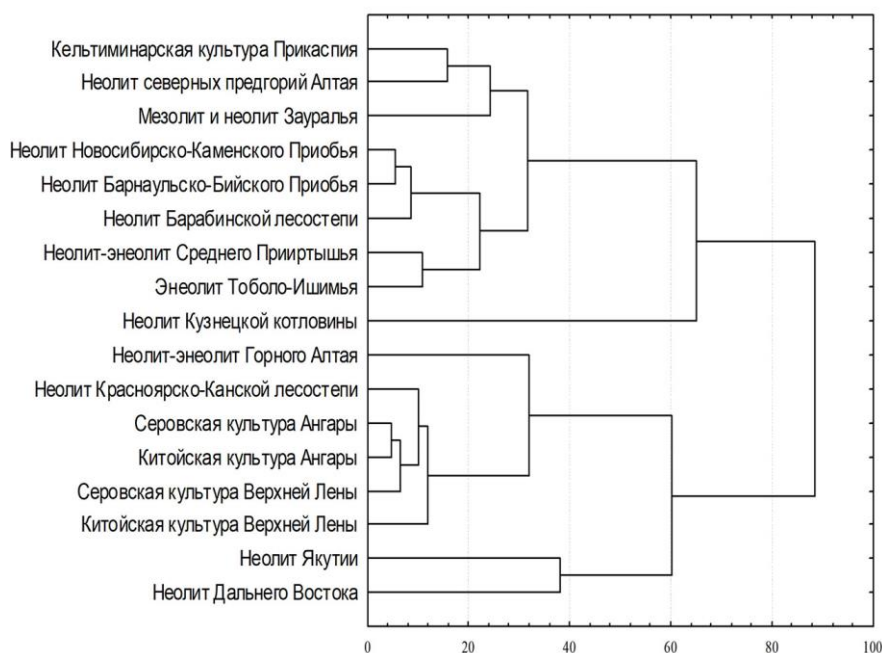


Рис. 3. Результаты канонического анализа женских серий

Рис. 4. Результаты кластеризации расстояний D^2 Махаланобиса – Рао женских серий

Мужские черепа из неолитических погребений Нижнего Приангарья Каменка-1 [20, 21] и Толстый Мыс-I [26. С. 512] в среднем отличаются от Красноярско-Канских меньшими размерами мозговой коробки и лицевого отдела при сходных пропорциях, prognatностью по указателю выступания и большей горизонтальной уплощенностью лица на уровне подносовых точек, мезоконхными орбитами, узким лепториным слабовыступающим носом с относительно низкими переносом и носовыми костями (см. табл. 2). Значения УЛС 79,9 и ПФЦ 97,2 определяют абсолютное преобладание

монголоидных особенностей (УДМЭ = 101,8). По результатам межгруппового сопоставления черепа из погребений Нижнего Приангарья наиболее близки к неолитическим группам Восточной Сибири (см. табл. 3, рис. 1, 2), особенно единокультурным серово-исаковской культуры Верхней Лены, Верхнего и Среднего Приангарья, одновременно морфологически уклоняясь от неолитической Красноярско-Канской группы.

Таким образом, анализ новых и опубликованных ранее краниологических материалов позволяет уточнить границы ареалов основных антропологических

общностей неолитического населения срединных областей Евразии. Можно предполагать, что ареал южной евразийской антропологической формации ограничивался территорией Красноярско-Канской лесостепи, к северу и, вероятно, к востоку от которой проживали группы с антропологическими особенностями так называемого «палеосибирского» типа, характеризующего неолитическое население Прибайкалья.

Однако в дальнейшем следует прояснить возможную связь древних популяций «южной евразийской антропологической формации» с морфологически сходными брахикранными и низколициными монголоидными формами мезолита–неолита Восточной Сибири, в частности определяемыми [27] как древний вариант катангского антропологического типа североазиатской монголоидной расы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дрёмов В.А. Об антропологическом составе неолитического населения Новосибирско-Барнаульского Приобья // *Западная Сибирь в древности и средневековье*. Тюмень : Изд-во Тюмен. ун-та, 1985. С. 3–16.
2. Дрёмов В.А. Антропологические материалы из могильников Усть-Иша и Иткуль (к вопросу о происхождении неолитического населения Верхнего Приобья) // *Палеоантропология Сибири*. М. : Наука, 1980. С. 19–46.
3. Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР // *Труды института этнографии*. М. : Л., 1948. Вып. 4. 391 с.
4. Алексеев В.П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // *Антропологический сборник III*. М. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 107–206. (Труды института этнографии; т. 71).
5. Дрёмов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы (антропологический очерк). Томск : Изд-во Том. ун-та, 1997. 264 с.
6. Зах В.А., Багашёв А.Н. О сопряженности культурогенеза и расообразования в формировании неолитического населения Западной Сибири // *Сибирь в панораме тысячелетий*. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1998. Ч. 1. С. 194–202.
7. Багашёв А.Н. Антропология Западной Сибири. Новосибирск : Наука, 2017. 407 с.
8. Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпоху неолита-раннего железа. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. 468 с.
9. Солодовников К.Н., Багашёв А.Н., Тур С.С., Громов А.В., Нечвалода А.И., Кравченко Г.Г. Источники по палеоантропологии неолита–энеолита Среднего Прииртышья // *Вестник археологии, антропологии и этнографии*. 2019. № 3 (46). С. 116–136.
10. Ковалев А.А., Солодовников К.Н., Мунхбаяр Ч., Эрдэнэ М., Нечвалода А.И., Зубова А.В. Палеоантропологическое изучение черепа погребенного в захоронении на чумерекском святилище Хулагаш (Баян-Ульгийский аймак Монголии) // *Вестник археологии, антропологии и этнографии*. 2020. № 1 (48). С. 77–94.
11. Багашёв А.Н., Солодовников К.Н. Краниологические материалы неолита–энеолита Среднего Прииртышья в связи с вопросами формирования антропологических общностей древнего населения центральных областей Северной Евразии // «В этой связи...» : сб. ст. к юбилею Маргариты Михайловны Герасимовой. М. : Буки Веди, 2019. С. 100–140.
12. Половьяк Н.В., Чикишева Т.А., Балуева Т.С. Неолитические могильники Северной Барабы. Новосибирск : Наука, 1989. 104 с.
13. Бунак В.В. Человеческие расы и пути их образования // *Советская этнография*. 1956. № 1. С. 129–142.
14. Багашёв А.Н. Антропологические общности, их систематика и особенности расообразовательных процессов // *Очерки культурогенеза народов Западной Сибири*. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 4: Расогенез коренного населения. С. 303–327.
15. Герасимова М.М. Неолитические погребения у Долгого озера (Канск) // *Вопросы антропологии*. 1964. Вып. 18. С. 134–143.
16. Савенкова Т.М., Рейс Е.С. Антропологические коллекции города Красноярска: современное состояние и перспективы исследований // *Физическая антропология : методики, базы данных, научные результаты*. СПб. : Лема, 2014. С. 49–59.
17. Глусская З.К. Женщина негроидного типа в неолите под Красноярском // *Материалы и исследования по археологии, этнографии и истории Красноярского края*. Красноярск, 1963. С. 29–37.
18. Алексеев В.П. Энеолитический череп из Красноярска (к вопросу о южной примеси в населении Алтае-Саянского нагорья) // *Краткие сообщения Института этнографии АН СССР*. 1960. Т. XXXIV. С. 79–85.
19. Козинцев А.Г. Проникали ли в древности негроиды в Сибирь? // *Вопросы антропологии*. 1974. Вып. 47. С. 191–196.
20. Заика А.Л. Неолитическое погребение в устье р. Каменки на Нижней Ангаре // *Известия Лаборатории древних технологий*. 2009. Вып. 7. С. 60–72.
21. Рейс Т.М. Неолитическое погребение с реки Каменка (Нижнее Приангарье) // *Енисейская провинция : Альманах*. Красноярск, 2009. Вып. 4. С. 206–212.
22. Mandryka P.V., Poshekhonova O.E., Biryuleva K.V., Maksimovich L.A., Sleptsova A.V., Gurulev D.A. Neolithic burial of a child from the Krasnoyarsk // *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 2021. № 14 (1). URL: <http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/135213>
23. Вдовин А.С., Макаров Н.П., Афонтова гора. Материалы эпохи неолита и ранней бронзы // *Esse quam videri : к 80-летию Германа Ивановича Медведева*. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2016. С. 339–348.
24. Савенкова Т.М., Макаров Н.П. Антропология и археология погребений неолита и ранней бронзы Красноярской лесостепи // *Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая*. Улан-Удэ, 2018. С. 158–162.
25. Дебец Г.Ф. Опыт краниометрического определения доли монголоидного компонента в смешанных группах населения СССР // *Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии*. М. : Наука, 1968. С. 13–22.
26. Гревцов Ю.А., Лысенко Д.Н., Галухин Л.Л. Спасательные работы Берябинского отряда Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН в 2010 году // *Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий*. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. Т. XVI, ч. 1. С. 509–514.
27. Пежемский Д.В., Рыкушина Г.В. Человек из Нижней Джилдинды I (предварительное сообщение) // *Вестник антропологии*. Научный альманах. Институт этнологии и антропологии РАН. 1998. № 4. С. 179–180.

Konstantin N. Solodovnikov, Institute of the Problems of Northern development (Tyumen, Russian Federation). E-mail: solodk@list.ru

Anatoliy N. Bagashev, Tyumen Scientific Centre of Siberian Branch of RAS (Tyumen, Russian Federation). E-mail: bagashev@ipdn.ru

Tatyana M. Savenkova, Krasnoyarsk State Medical University (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: reis_05@bk.ru

AREAS OF ANTHROPOLOGICAL COMMUNITIES OF THE NEOLITHIC POPULATION IN THE SOUTH OF WESTERN AND CENTRAL SIBERIA

Keywords: Neolithic; Siberia; paleoanthropology; craniometry; Caucasoids; Mongoloids.

The Neolithic paleoanthropological materials from south of Western and Middle Siberia have been analysed. Description of the anthropological appearance of the Neolithic population can be based on several cranial series from cemeteries located in the forest-steppe areas between the Tobol-Ishim interfluvium and the Kuznetsk Basin, as well as in the Krasnoyarsk and Kansk. According to the long-lasting study, this population was characterized by features of appearance intermediate between typical representatives of the Caucasian and Mongoloid racial types. Here, we discuss the concepts of anthropological differentiation of the Neolithic population in the south of Western and Central Siberia. Previous statistical analysis of the Mesolithic, Neolithic and Eneolithic craniological materials suggests the racial and genetic independence of the Neolithic population of the forest-steppe regions of Western Siberia. Its genesis should be con-

sidered separately from the Caucasian populations of the Stone Age of the Eastern European forest belt. According to the V.V. Bunak's terminology, we attribute the ancient groups of the West Siberian forest-steppe to a special proto-Asian formation – the ancient variant of the West-Siberian race. Modern Ural-, Turkic- and Ket-speaking population of Western Siberia belongs to the West-Siberian race in its Ural, Ob-Irtysh and Yamal-Yenisei variants.

Additional materials craniofacial morphology from the Neolithic burials near Krasnoyarsk and in the lower Angara River have been analysed. Characteristics of the combined craniological series from the Krasnoyarsk-Kan forest-steppe are presented, the intergroup statistical comparison has been carried out using canonical analysis and clustering of the Mahalanobis-Rao's generalised distances (D^2) according to the Ward's method against the morphological background of male and female series of the Neolithic-Eneolithic skulls of Northern Asia. Analysis of new and previously published craniological materials clarified boundaries of the areas of the main Neolithic anthropological communities in the middle of Eurasia. The eastern part of the area of the southern Eurasian anthropological formation in the central Eurasia steppe and mountain-steppe regions identified by T.A. Chikisheva was limited to the territory of the Krasnoyarsk-Kan forest-steppe. The regions to the north and east were populated by the groups with anthropological features of the so-called "Palaeosiberian" type, inherent to the Neolithic population of Cis-Baikal and the Lower Angara River regions. As a perspective for further research, a study has been outlined to analyse possible racial-genetic links between the ancient populations belonging to the southern Eurasian anthropological formation with the morphologically similar brachycranial and low-faced forms of the Mesolithic-Neolithic of Eastern Siberia, in particular, defined as an ancient version of the Katanga anthropological type of the North Asian Mongoloid race.

REFERENCES

1. Dremov, V.A. (1985) Ob antropologicheskom sostave neoliticheskogo naseleniya Novosibirsko-Barnaul'skogo Priob'ya [On the anthropological composition of the Neolithic population of the Novosibirsk-Barnaul Ob region]. In: Vasilevsky, R.S. (ed.) *Zapadnaya Sibir' v drevnosti i srednevekov'e* [Western Siberia in antiquity and the Middle Ages]. Tyumen: Tyumen State University. pp. 3–16.
2. Dremov, V.A. (1980) Antropologicheskie materialy iz mogil'nikov Ust'-Isha i Itkul' (k voprosu o proiskhozhdenii neoliticheskogo naseleniya Verkhnego Priob'ya) [Anthropological materials from the burial grounds of Ust-Isha and Itkul' (on the origin of the Neolithic population of the Upper Ob / region)]. In: Okladnikov, A.P. & Alekseev, V.P. (ed.) *Paleoantropologiya Sibiri* [Paleoanthropology of Siberia]. Moscow: Nauka. pp. 19–46.
3. Debets, G.F. (1948) *Paleoantropologiya SSSR* [Paleoanthropology of the USSR]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
4. Alekseev, V.P. (1961) Paleoantropologiya Altae-Sayanskogo nagor'ya epokhi neolita i bronzy [Paleoanthropology of the Altai-Sayan Highlands of the Neolithic and Bronze Age]. In: *Antropologicheskii sbornik III* [Anthropological Collection III]. Vol. 71. Moscow: USSR AS. pp. 107–206.
5. Dremov, V.A. (1997) *Naselenie Verkhnego Priob'ya v epokhu bronzy (antropologicheskii ocherk)* [Population of the Upper Ob region in the Bronze Age (an anthropological essay)]. Tomsk: Tomsk State University.
6. Zakh, V.A. & Bagashov, A.N. (1998) O sopryazhennosti kul'turogeneza i rasobrazovaniya v formirovani neoliticheskogo naseleniya Zapadnoy Sibiri [On the conjugation of cultural genesis and race formation in the formation of the Neolithic population of Western Siberia]. In: Molodin, V.I. (ed.) *Sibir' v panorame tysyacheletiy* [Siberia in the panorama of millennia]. Vol. 1. Novosibirsk: SB RAS. pp. 194–202.
7. Bagashov, A.N. (2017) *Antropologiya Zapadnoy Sibiri* [Anthropology of Western Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
8. Chikisheva, T.A. (2012) *Dinamika antropologicheskoy differentsiatsii naseleniya yuga Zapadnoy Sibiri v epokhi neolita-rannego zheleza* [Dynamics of anthropological differentiation of the population of the south of Western Siberia during the Neolithic-Early Iron Age]. Novosibirsk: SB RAS.
9. Solodovnikov, K.N., Bagashev, A.N., Tur, S.S., Gromov, A.V., Nechvaloda, A.I. & Kravchenko, G.G. (2019) Neolithic-Eneolithic paleoanthropological sources from the Middle Irtysh area. *Vestnik arkeologii, antropologii i etnografii*. 3(46). pp. 116–136. (In Russian). DOI: 10.20874/2071-0437-2019-46-3-116-136
10. Kovalev, A.A., Solodovnikov, K.N., Munkhbayer, Ch., Erdene, M., Nechvaloda, A.I. & Zubova, A.V. (2020) Paleoanthropological study of a skull from a burial at the Chemurhek sanctuary Hulagash (Bayan-Ulgii aimag, Mongolia). *Vestnik arkeologii, antropologii i etnografii*. 1(48). pp. 77–94. (In Russian). DOI: 10.20874/2071-0437-2020-48-1-8
11. Bagashov, A.N. & Solodovnikov, K.N. (2019) Kraniologicheskie materialy neolita-eneolita Srednego Priirtysh'ya v svyazi s voprosami formirovaniya antropologicheskikh obshchestv drevnego naseleniya tsentral'nykh oblastey Severnoy Evrazii [Craniological materials of the Neolithic-Eneolithic of the Middle Irtysh region in connection with the formation of anthropological communities of the ancient population of the central regions of Northern Eurasia]. In: Bagashov, A.N. et al. "V etoy svyazi...": *Sbornik statey k yubileyu Margarity Mikhailovny Gerasimovoy* ["In this regard ...": Collection of articles for the anniversary of Margarita Mikhailovna Gerasimova]. Moscow: Buki Vedi. pp. 100–140.
12. Polosmak, N.V., Chikisheva, T.A. & Baluyeva, T.S. (1989) *Neoliticheskie mogil'niki Severnoy Baraby* [Neolithic burial grounds of Northern Baraba]. Novosibirsk: Nauka.
13. Bunak, V.V. (1956) Chelovecheskie rasy i puti ikh obrazovaniya [Human races and the ways of their formation]. *Sovetskaya etnografiya*. 1. pp. 129–142.
14. Bagashov, A.N. (1998) Antropologicheskie obshchnosti, ikh sistematika i osobennosti rasobrazovatel'nykh protsessov [Anthropological communities, their systematics and features of race-forming processes]. In: Lukina, N.V. (ed.) *Ocherki kul'turogeneza narodov Zapadnoy Sibiri* [Essays on the cultural genesis of the peoples of Western Siberia]. Vol. 4. Tomsk: Tomsk State University. pp. 303–327.
15. Gerasimova, M.M. (1964) Neoliticheskie pogrebeniya u Dolgogo ozera (Kansk) [Neolithic burials near Dolgoe Lake (Kansk)]. *Voprosy antropologii*. 18. pp. 134–143.
16. Savenkova, T.M. & Reys, E.S. (2014) Antropologicheskie kollektsii goroda Krasnoyarska: sovremennoe sostoyanie i perspektivy issledovaniya [Anthropological collections of Krasnoyarsk: current state and research prospects]. In: Groomov, A.V. (ed.) *Fizicheskaya antropologiya: metodiki, bazy dannykh, nauchnye rezul'taty* [Physical anthropology: methods, databases, scientific results]. St. Petersburg: Lema. pp. 49–59.
17. Gluskey, Z.K. (1963) Zhenshchina negroidnogo tipa v neolite pod Krasnoyarskom [Negroid woman in the Neolithic near Krasnoyarsk]. In: Lipsky, A.N. (ed.) *Materialy i issledovaniya po arkeologii, etnografii i istorii Krasnoyarskogo kraia* [Materials and research on archeology, ethnography and history of the Krasnoyarsk region]. Krasnoyarsk: Krasnoyarskoe knizhnoe izd-vo. pp. 29–37.
18. Alekseev, V.P. (1960) Eneoliticheskiy cherep iz Krasnoyarska (k voprosu o yuzhnoy primesi v naselenii Altae-Sayanskogo nagor'ya) [Eneolithic skull from Krasnoyarsk (on the issue of southern admixture in the population of the Altai-Sayan Upland)]. *Kratkie soobshcheniya Instituta etnografii AN SSSR – Brief reports of the Institute of Archeology*. 34. pp. 79–85.
19. Kozintsev, A.G. (1974) Pronikali li v drevnosti negroidy v Sibir' [Did Negroids penetrate Siberia in antiquity?]. *Voprosy antropologii*. 47. pp. 191–196.
20. Zaika, A.L. (2009) Neolithic grave on the mouth area of the Kamenka River in Lower Angara Valley. *Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologiy – Reports of the Laboratory of ancient technologies*. 7. pp. 60–72. (In Russian).
21. Reys, T.M. (2009) Neoliticheskoe pogrebenie s reki Kamenka (Nizhnee Priangar'e) [Neolithic burial from the Kamenka river (Lower Angara)]. In: Vdovin, A.S. (ed.) *Eniseyskaya provintsia: Al'manakh* [Yenisei province: Almanac]. Vol. 4. Krasnoyarsk: Litera-print. pp. 206–212.
22. Mandryka, P.V., Poshekhonova, O.E., Biryuleva, K.V., Maksimovich, L.A., Sleptsova, A.V. & Gurulev, D.A. (2021) Neolithic burial of a child from the Krasnoyarsk. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 14(1). (In Russian). DOI: 10.17516/1997-1370-0571

23. Vdovin, A.S. & Makarov, N.P. (2016) Afontova gora. Materialy epokhi neolita i ranney bronzy [Mount Afontova. Materials of the Neolithic and Early Bronze Age]. In: Mandryka, P.V. (ed.) *Esse quam videri: k 80-letiyu Germana Ivanovicha Medvedeva* [Esse quam videri: to the 80th anniversary of German Ivanovich Medvedev]. Irkutsk: Irkutsk State University. pp. 339–348.
24. Savenkova, T.M. & Makarov, N.P. (2018) Antropologiya i arkhеologiya pogrebeniy neolita i ranney bronzy Krasnoyarskoy lesostepi [Anthropology and archeology of Neolithic and Early Bronze burials in the Krasnoyarsk forest-steppe]. In: Bazarov, B.V. (ed.) *Drevnie kul'tury Mongolii, Baykal'skoy Sibiri i Severnogo Kitaya* [Ancient Cultures of Mongolia, Baikal Siberia and North China]. Ulan-Ude: SB RAS. pp. 158–162.
25. Debets, G.F. (1968) Opyt kraniometricheskogo opredeleniya doli mongoloidnogo komponenta v smeshannykh gruppakh naseleniya SSSR [Experience of craniometric determination of the share of the Mongoloid component in mixed groups of the population of the USSR]. In: Alekseev, V.P. & Gurvich, I.S. (eds) *Problemy antropologii i istoricheskoy etnografii Azii* [Problems of anthropology and historical ethnography of Asia]. Moscow: Nauka. pp. 13–22.
26. Grevtsov, Yu. A., Lysenko, D.N. & Galukhin, L.L. (2010) Spasatel'nye raboty Beryambinskogo otryada Boguchanskoy arkheologicheskoy ekspeditsii IAET SO RAN v 2010 godu [Rescue operations of the Beryamba detachment of the Boguchansk archaeological expedition of the IAET SB RAS in 2010]. In: Derevyanko, A.P. & Molidin, V.I. (eds) *Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy* [Problems of archeology, ethnography, anthropology of Siberia and adjacent territories]. Vol. 16(1). Novosibirsk: SB RAS. pp. 509–514.
27. Pezhemsky, D.V. & Rykushina, G.V. (1998) Chelovek iz Nizhney Dzhilindy I (predvaritel'noe soobshchenie) [Man from Lower Jilinda I (preliminary report)]. *Vestnik antropologii*. 4. pp. 179–180.

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

УДК 94(47)084.3(571)
DOI: 10.17223/19988613/68/24

Д.Н. Шевелев

ВОЗРОЖДАЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ: ИДЕОЛОГИЯ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ВОСТОКА РОССИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ, ДИСКУРСИВНОМ И КОММЕМОРАТИВНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0042.

На примере восточной контрреволюции рассматриваются основные этапы формирования и трансформации идеологии российского антибольшевистского движения от идейной основы политических программ и политических действий государственных образований эпохи войн и революций до одной из составляющих исторической памяти современного российского общества. Обосновывается необходимость разработки новой исследовательской модели, основанной на объединении двух тематических полей – «идеологии» и «памяти».

Ключевые слова: Гражданская война; антибольшевистское движение; Российское правительство адмирала А.В. Колчака; идеология; историческая память.

В предисловии к изданным в середине 1980-х гг. воспоминаниям одного из участников белого движения приводится отрывок переправленного на Запад открытого письма 22-летнего москвича, адресованного (как он сам пишет) «участникам белогвардейского движения». «Долгие десятилетия советской пропаганды, – пишет молодой человек, – не сумели вычеркнуть вас из народной памяти... молодежь в России видит в вас рыцарей без страха и упрека и считает, что вы боролись не зря... Правда, честь и Россия – были на вашей стороне. Мы жалеем, что вы не победили. Мы не упрекаем вас. Вероятно, вы сделали все, что могли. Мы благодарны вам за это...» [1. С. 6].

«В конце 60-х годов в закабаленной коммунизмом России, – полагал автор воспоминаний, – появилось много признаков, развивающегося подспудно процесса возрождения русского национального самосознания. Одним из таких признаков является стремление третьего и четвертого послереволюционных поколений русского народа к духовному возврату к моральным, общественным, даже политическим ценностям, которые коммунистические властители страны всеми силами стремились уничтожить» [Там же. С. 5].

С высоты нынешнего постзнания легко предположить, что в данном случае мы имеем дело с попыткой эмигрантских авторов преувеличить степень своего влияния в СССР и выдать желаемое за действительное. Тем не менее очевидно другое: выиграв в Гражданской войне на полях сражений, большевики, точнее их идейные продолжатели и наследники, гораздо позднее, на рубеже XX–XXI вв. проиграли в войне информационной, в противостоянии интерпретаций событий 1917–1922 гг., в борьбе за культурную память российского общества.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что идеология и пропаганда антибольшевистского движения как в общероссийском масштабе, так и во всех региональных аспектах в одних случаях оказывалась на удивление беспомощной и малоэффективной, в других – вполне действенной. Белые проиграли тогда, когда от них требовался привлекательный и жизнеспособный социальный проект, и выиграли, когда на первый план вышли символические и эстетические составляющие.

100 лет прошло с момента окончания широкомасштабной Гражданской войны в России, а ее важнейший компонент – политические и мировоззренческие представления одной из основных сторон конфликта – по-прежнему предстает своего рода бесплотной тенью на границе света и сумрака. Поэтому, с одной стороны, довольно сложно уловить и понять природу этой сущности, потому что она постоянно норовит юркнуть во тьму, ускользнуть, замаскироваться под другие объекты и сущности. С другой же стороны, она неизменно напоминает о себе, проявляясь в источниковом материале, исторических контекстах и не укладывающаяся в альтернативные объяснительные модели.

Цель данной работы – на примере восточной контрреволюции выявить основные этапы идеологической динамики российского антибольшевистского движения, обосновать необходимость поиска новых подходов, сочетающих в себе как реконструкцию содержания, форм и практик ее репрезентации, характерных непосредственно для периода Гражданской войны (1918–1920), так и выявление особенностей ее дальнейшего конструирования и трансформации в компонент исторической памяти и дискурсов идентичности российского общества первых десятилетий XXI в.

Для начала попробуем определиться с ключевым для нашего исследования понятием. В дальнейшем под *идеологией антибольшевистского движения* мы будем понимать совокупность политических, экономических, социальных и культурных ценностей и установок, ментальных образов и дискурсивных конструктов, образующих целостную модель, посредством которой его (антибольшевистского движения) последователи воспринимали, осмысливали и интерпретировали окружающую действительность. За прошедшие сто лет идеология антибольшевистского движения претерпела значительную трансформацию. Выделим три основных ее конфигурации:

- идейная основа политических программ и политических действий антибольшевистских государственных образований, лидеров и рядовых участников белого движения;

- компонент самоидентификации различных сообществ и субкультур российской эмиграции; историографический факт (конструкт) эмигрантской историографии;

- компонент (в форме ценностей, образов и суждений) исторической памяти современного российского общества.

Наша *рабочая гипотеза* заключается в следующем: для понимания произошедшей за сто лет трансформации представлений о белом движении и его идеологии недостаточно систематизировать и осуществить научное описание политических, экономических, социальных и культурных ценностей и установок, ментальных образов и дискурсивных конструктов, образующих ее содержательное единство, выявить степень их воздействия и эффективности непосредственно в период Гражданской войны, необходимо обратить самое пристальное внимание на процессы ее дальнейшей эволюции и конструирования, включения в национальный исторический нарратив и историческую память современного социума. Таким образом, для того чтобы разобраться в хитросплетениях идеологического дизайна российской контрреволюции необходимо, с одной стороны, рассматривать его как долговременный процесс перетекания одной конфигурации идеологии в другую (идеология-программа – идеология-мировоззрение – идеология-миф), с другой – учитывать свойства и динамику тех воображаемых сообществ, которые были сгенерированы этими конфигурациями.

В период Гражданской войны и большевикам, и их противникам необходимы были новые политические технологии, благодаря которым можно было не только контролировать действия отдельных противников режима или оппозиционных партий, но и осуществлять надзор за настроениями населения в целом. Кроме того, эти технологии должны были позволять не просто массово воспроизводить господствующие идеологические установки, а сильнее, чем прежде, воздействовать на людей, изменяя их политические настроения.

По мнению американского историка П. Холквиста, после Февральской революции все новые правительства «претендовали на то, чтобы представлять не территорию, а проживающих на ней людей». Поэтому для «наиболее продуктивного вовлечения населения в нуж-

ную им деятельность государства нуждались в новой дисциплине, регулирующей мнения масс: в надзоре за настроениями населения» [2. С. 49]. Результатом становится новая для периода Гражданской войны в России (1918–1922) политико-административная практика – «осведомительная работа», включавшая «правильное» информирование населения и правительственных учреждений, надзор за общественными настроениями, меры агитационно-пропагандистского воздействия и культурно-просветительную деятельность в войсках.

В *организационном и институциональном отношении* – в течение лета 1918 – осени 1919 г. антибольшевистским правительствам Востока России (Временное Сибирское, Временное Всероссийское, Российское адмирала А.В. Колчака) удалось сформировать свой аппарат политической пропаганды и осведомления, включавший несколько центральных учреждений и сеть местных отделений. Используя в качестве своего инструмента главным образом периодическую и непериодическую печать, осведомительные органы развернули кипучую деятельность, направленную на идеиную мобилизацию населения восточных регионов страны на борьбу с большевиками.

Примечательно, что «для антисоветских движений осведомление о настроениях населения было такой же упорядоченной и организованной процедурой, как и для большевиков». Изучив архивные документы, П. Холквист сделал интересный вывод: «Антибольшевистские сводки до удивления похожи на свои советские аналоги». И та и другая сторона рассматривала население как «иерархию четко выделяемых “элементов”, построенную по принципу их предполагаемой политической благонадежности», они опирались «на одну и ту же морфологию политических движений, основанную на социальной теории репрезентативности». В частности, и красные, и белые «дружно обрушивались на “спекулянтов” и уповали на “более сознательные элементы” среди населения». Единственное различие между «белыми и красными специалистами по осведомлению» состояло, по мнению Холквиста, лишь в «ракурсе их взгляда на ситуацию» [3. С. 95].

В деле «доведения необходимой информации до населения» и организации культурно-просветительной работы формы и методы, применяемые антибольшевистскими правительствами, также напоминали те, что использовались советской стороной. «Пропагандируя свои идеи, основанные, в соответствии с политикой нового образца, на верховенстве народа и методике просвещения, – констатировал Холквист, – белые прибегали к мерам, которые по традиции связывают только с большевиками. Они использовали избы-читальни, укомплектованные газетами и брошюрами (изданными, естественно, информационными отделами), агитпоезда, агитпароходы, официальные газеты и журналы и даже агитационные пьесы и фильмы. Сходство между белыми и красными заключалось не только в том, что они широко использовали афиши и плакаты, но и в том, что эти плакаты были похожи друг на друга как по стилю, так и по содержанию» [Там же. С. 96].

Период наибольшей активности осведомительных органов Омского правительства приходится на весну–

осень 1919 г. В это время на передний край информационной борьбы с большевиками выходит «Русское общество печатного дела» (РОПД) («министерство пропаганды» белого Востока, или «Сибирский ОСВАГ») – учрежденное в начале мая 1919 г. акционерное общество, большая часть акций которого (2/3) фактически находилась в руках правительства. АО РОПД, во главе которого стояли видные общественные и политические деятели (часть из которых входила в Восточный отдел ЦК кадетской партии) – А.К. Клафтон, Н.В. Устрялов, Д.В. Болдырев, В.Н. Иванов, С.Б. Сверженский, ставило перед собой довольно амбициозные цели [4. С. 132–137]. «Агитация... искусство, – говорилось в одной из инструкций, – и с [этой] точки зрения она необъятна. Чем больше изобретательности, чем больше оригинальности и меньше рутины, тем агитация сильнее и скорее достигает результатов... Нас должен слышать слепой. Нас должен видеть глухой. А к ленивому мы должны пойти сами» [5. Л. 7].

Насколько же антибольшевистским силам удалось претворить эту установку в жизнь? Каково было соотношение объема пропагандистской работы (с учетом численности сотрудников, размеров финансирования, наличных ресурсов и возможностей, охватываемой территории) и ее эффективности? Какая часть периодических изданий Востока России работала на государственную пропаганду, воспроизводила и транслировала официальные установки? Каков был общий тираж пропагандистской продукции, и какая его часть доходила до целевой аудитории? В настоящее время на большинство этих вопросов у нас нет исчерпывающих ответов. Имеются только неполные, отрывочные данные. Известно, например, что за пять месяцев 1919 г. (с июня по октябрь) через сеть своих местных организаций Русское бюро печати (так с начала июня назывались информационно-пропагандистские подразделения АО РОПД) распространило среди войск и населения свыше 17 млн экземпляров различных пропагандистских изданий, включая 10 млн листовок и 1,8 млн брошюр. С 16 августа 1919 г. пресс-бюро того же РБП начало издавать «Нашу газету», рассчитанную на читателя «среднего развития». Причем ее издание должно было осуществляться одновременно в нескольких городах – Омске, Томске, Новоиколаевске. Наибольшего тиража газета достигла в октябре – 80 тыс. экземпляров. Всего же за август–октябрь 1919 г. было выпущено 4 629 600 экземпляров газеты [6. Л. 51 об]. Однако слабая организация доставки и распространения пропагандистской продукции, несогласованность действий с другими ведомствами (почта, телеграф, военные и местные органы управления) сводили на нет и эти, далеко не выдающиеся, усилия проправительственной печати [4. С. 236–238].

В *содержательном отношении* лидерам антибольшевистского движения необходимы были новые формулы самоидентификации конструируемой ими макрополитической общности, новый объединяющий всех противников большевиков нарратив. Идея «национального» казалась идеологам антибольшевистского движения вполне конкурентной. Ресурсами для конструирования воображаемого сообщества, воодушев-

ленного «национальной идеей», выступали общий враг – большевики, единое пространство языка и культуры, общее героическое прошлое (историческая память), а в качестве основных инструментов использовались печатное слово и политическая пропаганда. Анализ пропагандистских материалов позволяет выделить «нарратив возрождения» – ключевой для восточной контрреволюции идеологический конструкт, сюжетно оформленное повествование, предлагавшее связную картину освобождения страны от большевиков, а также базовые для антибольшевистского движения ценности.

«Все наши попытки возродить Россию окажутся тщетными, – говорилось в передовой статье “Наше исповедание веры”, напечатанной в первом номере “Отечественных ведомостей” осенью 1918 г., – если мы не установим незыблемо исходных точек нашей мысли и единой верховной цели наших стремлений; если будем служить отечеству “постольку – поскольку”; если будем хромать на обе ноги, не зная, какому богу кланяться: России или революции? В качестве органа национальной и государственной мысли мы ставим своей целью внедрить в общественное сознание “забытые слова”: Родина, Нация, Государство» [7].

Такой подход разделялся и другими периодическими изданиями, прежде всего кадетскими, а также формально «беспартийными». «Старые партии уничтожены ходом событий, – писала в начале 1919 г. омская “Сибирская речь”. – Для новых – не пришло еще время. Сама действительность, грозная, как смерть, повелевает русским людям сплотиться на защите простейшего и самого главного. Этим простейшим и самым главным является единая, неделимая, внешне свободная, независимая Россия, восстановление порядка внутри государства и создание пока первичных условий общественного сожительства русских людей в своей стране. Поэтому мы будем призывать наше общественное мнение к напряженной государственной дисциплине и к объединению всех русских вокруг общего русского национального дела» [8].

Организуя свой пропагандистский, осведомительный аппарат и выстраивая основные линии идеологической работы, Российское правительство адмирала А.В. Колчака использовало эти сформулированные органами «национальной и государственной мысли» идеологемы. В итоге «разрушающему воздействию большевистской идеологии», основанной на лозунгах «интернационал, коммунизм, государство – рабочий союз и диктатура пролетариата», была противопоставлена своя система ценностей, базовыми для которой являлись: «религия, *нация*, собственность, правовое государство и Учредительное собрание» [6. Л. 54].

В передовой статье первого номера газеты «Русское дело» ведущий идеолог и один из руководителей Русского бюро печати Н.В. Устрялов так охарактеризовал идейное противостояние «красных» и «белых»: «Вместо интернационала – *нация*. Вместо класса – Родина. Вместо коммунистической общины – правовое государство на основе национальной демократии. Вместо мертвой и принудительной религии механизма – живая жизнь в духе, в свободе. Вместо всеобщего

принудительного уравнивания – иерархия ценностей. Вместо пролеткульта – культура. Вместо бесшабашного политического футуризма – чувство преемственности, традиции, сознания связи с прошлым, с настоящим» [9].

Основной смысл произошедшего в лагере противников большевизма «пересмотра идеологии» Устрялов видел в том, что «он возвращает русскому народу Россию», отвергая революцию, носившую «принципиально антинациональный» характер. «Мы ведем с большевизмом смертельную борьбу, – говорилось в воззвании “К населению России” летом 1919 г., – которая не может кончиться договором или соглашением, ибо в этой борьбе мы защищаем родину против интернационала, свободу против тирании и культуру против одичания» [Там же].

Такова была ближайшая перспектива – сплотить всех, «кто любит Родину, кто истинный, искренний друг народа». Антибольшевистское движение как сплоченную гражданскую Нацию еще предстояло сформировать, сконструировать. Этот проект объединил усилия политического руководства государственных образований Востока России, интеллектуальных элит в лице той части интеллигенции, которая поддержала антибольшевистское движение, и институтов политической пропаганды. Пресса являлась в тот период наиболее распространенным каналом передачи информации, а также одним из важнейших инструментов воздействия на общество. В условиях же отсутствия у Омского правительства прочного идеологического фундамента государственная печать Востока России представляла собой одновременно многомерное поле идеологического производства, пропагандистской репрезентации и борьбы за гегемонию в дискурсе. Во многом именно на страницах прессы официального направления в оперативном режиме шло формирование идеологических смыслов и ценностей антибольшевистского движения: через осмысление политического и исторического опыта к концептуализации ключевых идеологием и трансляции пропагандистских установок.

Широкое понимание антибольшевистского движения, объединявшего как те «государственно мыслящие элементы», кто уже сделал осознанный выбор в пользу борьбы с «гибельным для русских самодержавием народных комиссаров», так и тех, кто в силу различных обстоятельств пока еще не определился, но обязательно окажется на «правильной» стороне, давало основание политической пропаганде Омского правительства позиционировать его как «русское национальное дело, как сплотившуюся единую Нацию, выступившую против большевизма. Борьба с «врагами народа и государства Российского – большевиками» – представлялась своеобразным актом творения новой макрополитической общности, сообщества граждан, которые независимо от их этнической принадлежности совместными усилиями создают новое государство, тем общим делом, которое сплотит всех *русских* как гражданскую Нацию. Пафос и риторика *национального* были противопоставлены пафосу и риторике *социального* (классового) [10. С. 80–82].

Так же как в Европе XIX в. появление наций возвращало осмысленную и понятную картину мира, утраченную с упадком династического государства и кризисом религиозного сообщества [11. С. 51–68], в России идея Нации-государства призвана была вернуть целостное мировосприятие, разрушенное с падением империи.

По мнению В.В. Журавлева, «российская контрреволюция в период гражданской войны не может быть признана ни законченной доктриной, ни движением без всякой доктрины», а «осталась неосуществившейся возможностью доктрины. С этой точки зрения, – отметил он в аннотации к своему докладу на состоявшемся в конце лета 2020 г. симпозиуме “Идеология: ревитализация концепта в исторических исследованиях”, –одновременно и синхронными компонентами динамичной идеологической системы антибольшевизма, и диахронными стадиями ее развития выступают такие черты, как активизм, непредрежденчество и вожизм. При этом именно культ вождя выполнял функции несущего элемента идеологической системы, позволял выражать скрытые смыслы внутренне противоречивого мировоззрения» [12. С. 12].

Однако в краткосрочной перспективе (логике Гражданской войны) антибольшевистское движение, предложенная им государственная модель, его идеология и пропаганда потерпели сокрушительное поражение. При этом, став заложниками собственных схем и представлений, сконструировав воображенное «антибольшевистское движение» как восставшую против большевистской тирании русскую Нацию, они с ужасом обнаружили, оказались разочарованы отсутствием реальной поддержки и социальной опоры. Власть держалась линии железных дорог, а ее мобилизационная база ограничивалась мужским населением подконтрольных городов и беженцами.

Кроме того, мы отчетливо видим, что то ускользание «идеологии» (и от взгляда современника, и от исследователя), о котором мы говорили в самом начале статьи, проявляется уже *на этапе формирования, артикуляции ценностно-смысловой основы антибольшевистского движения* в контексте самой Гражданской войны. Прежде всего необходимо понимать, что идеология антибольшевистского движения в период Гражданской войны носила незавершенный характер. Дело в том, что, формируясь из социально-политических концепций и программных установок поддерживающих его партий, течений и социальных групп, ценностно-смысловая основа антибольшевистского движения не была зафиксирована в конвенциональных для всех ее сторонников канонических текстах, а оказалась рассеяна по множеству политических деклараций, воззваний, публицистических статей и пропагандистских брошюр, представляя собой несколько конкурирующих и взаимодополняющих дискурсивных потоков. Поэтому при реконструкции ее семантики оказывается довольно сложным зафиксировать значение даже ключевых концептов.

Кроме того, идеология антибольшевистского движения не предлагала своим сторонникам простую, понятную и привлекательную программу действий,

как это делали их противники, скорее, она задавала определенные границы воображаемого сообщества, объединенного верой в абстрактные ценности, избранностью и жертвенностью. Также довольно сложно определить, что в установках, мировоззрении, программе участников антибольшевистского движения относится к «идеологии», а что нет; что в текстах является фиксацией консолидированного мнения («общественным»), а что – выражением личной точки зрения.

Как верно заметил А.С. Пученков, «дать какое-то однозначное определение идеологии колчаковского режима чрезвычайно трудно: не следует забывать о том, что мы говорим о режиме военной диктатуры, существующем в условиях Гражданской войны, – это не могло не накладывать на власть А.В. Колчака особого отпечатка». «Оперировать такими категориями, как “буржуазный”, “либеральный”, “националистический”, в этой ситуации, – пояснил он, – крайне затруднительно. Колчаковский режим основывался на главной идеологической составляющей – антибольшевизме, что само по себе уже в тех условиях не нуждалось в дополнительной расшифровке политической программы» [13. С. 6]. И если с первым утверждением вполне можно согласиться, то второе вызывает серьезные возражения.

Следует учитывать и то обстоятельство, что кроме самых общих установок идеология антибольшевистского движения даже в пределах Востока России имела локальную и временную специфику, что, в свою очередь затрудняет субъектную привязку. Кто является ее носителями? Политические партии, надпартийные организации, отдельные участники движения или антибольшевистские государственные образования в целом?

С окончанием Гражданской войны идеологическое противостояние большевиков и их противников не закончилось, оно изменило формы и скорректировало содержание. Сама миссия русской эмиграции виделась ее духовным лидерам именно в проявлении непримиримости к большевистскому режиму и его идеологии. «Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, – провозгласил И.А. Бунин в своей знаменитой речи в 1924 г., – что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия» [14. С. 153].

Именно в это время идеология антибольшевистского движения сформировалась – или даже была сконструирована – в своем более или менее целостном виде. При этом русские философы-эмигранты придали ей и ее приверженцам идеалистически-романтические, героические и в значительной мере подвижнические черты. «При всем различии взглядов и теоретических концепций П.Б. Струве и И.А. Ильина, – отмечает А.Ю. Вовк, – они схожи в оценке причин революционных трагедий в России и экономических, социальных, политических катаклизмов в капиталистических странах как проявлении духовного кризиса, поразившего мировое сообщество в конце XIX в. В силу этого борьба с большевизмом, в том числе и в русле белого

движения, они рассматривали как духовный подвиг людей, сделавших выбор в борьбе добра со злом, проигравших на одном из этапов исторического развития, но не утративших перспективу преодоления зла в будущем... П.Б. Струве и И.А. Ильин внесли решающий вклад в формулирование идей и задач Белого движения за рубежом» [15. С. 18].

Свою роль в становлении и развитии героического мифа белого движения сыграли воспоминания его участников, исторические исследования и публицистика. Так, известный историк-эмигрант Н.П. Полторацкий, проанализировав политические программы А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, пришел к заключению, что «белое движение было реакцией духовно здоровых сил страны на национальное, государственное, политическое и культурное разложение и падение, связанные с революцией и насильственным захватом власти большевиками-ленинцами, развязавшими в России гражданскую войну» [16. С. 303]. Он считал, что по своей идеологии белое движение не являлось помещичье-буржуазным, поскольку не стремилось к реставрации монархии и старого режима вообще. Заявлять же обратное, по мнению Полторацкого, «значит или демагогически искажать действительное положение вещей, или заблуждаться, или, наконец, выдавать часть за целое» [Там же].

Особое значение историк придавал понятию чести как одной из основных духовных ценностей, вдохновлявших участников белого движения. Причем «честь» Полторацкий понимал в широком смысле. «Как неоднократно отмечалось, – подчеркивал он, – если бы Россия тогда не ответила белым движением на революцию и насильственный захват власти большевиками, честь России и русского народа была бы погублена, они были бы обесчещены навсегда. Честь эта была спасена тем, что среди массового развала и духовного онемения из самых различных слоев народа сразу же выдвинулось героическое и жертвенное меньшинство, готовое до смерти отстаивать не эгоистически-личные или классово-корыстные материальные интересы, а сверхличные религиозные, патриотические, государственные и культурные ценности» [Там же. С. 301].

Благодаря этой и множеству подобных работ российской эмиграция становится своеобразным сообществом памяти, для которого воспоминания о совместном участии в Гражданской войне служили основой самоидентификации. Именно в эмигрантский период «белая идея» приобретает завершенный характер. Собственно, та идеология антибольшевистского движения в своем первоначальном, характерном для Гражданской войны варианте на этапе осмысления Гражданской войны и ее мемориализации, встраивания в историческую память, вновь начинает ускользать.

Социально-экономический и политический кризис, в котором оказался СССР к началу 1990-х гг., пробудил общественный интерес к альтернативным моделям общественного развития, в том числе и к идеологическому наследию антибольшевистского движения, что способствовало его окончательному закреплению в исторической памяти российского социума. Ценность предлагаемой в свое время большевиками действенной

социальной и экономической программы девальвировалась, и на первый план вышли миф, символ, ритуал и эстетика белого движения, которые в новой ситуации не отталкивали, а притягивали массовую аудиторию.

Подведем итоги. Для реконструкции и понимания той модели, посредством которой сторонники и последователи антибольшевистского движения воспринимали, осмысливали и интерпретировали окружающую действительность, в настоящее время наиболее перспективным становится объединение двух тематических полей – «идеологии» и «памяти» в рамках одного исследования. Такой подход к решению заявленной проблемы, во-первых, дает возможность преодолеть традиционное структурно-функциональное

понимание идеологии антибольшевистского движения, рассматривая ее как динамически развивающуюся систему. Во-вторых, позволяет проследить устойчивые модели, риторические стратегии, повторяющиеся схемы аргументации, использовавшиеся для позиционирования антибольшевистского движения в разных исторических и социокультурных контекстах. В-третьих, – прояснить специфику дискурсивного конструирования воображаемых сообществ применительно к конкретной исторической ситуации, выявить и дать комплексную оценку инструментов и механизмов инкорпорирования идеологических конструктов в практики и траектории формирования памяти региональных сообществ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лодыженский А.А. Воспоминания. Париж, 1984. 144 с.
2. Холквист П. «Осведомление – это альфа и омега нашей работы»: надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст // Американская русистика: веки историографии последних лет. Советский период. Самара : Самарский ун-т, 2001. С. 45–93.
3. Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте // Россия и Первая мировая война : материалы междунар. науч. colloквиума. СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. С. 83–102.
4. Шевелев Д.Н. «Роль печатного слова в современной войне не меньше пули и штыка...»: осведомительная работа антибольшевистских правительств востока России. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2017. 268 с.
5. К вопросу об организации агитации // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-4626. Оп. 1. Д. 27. Л. 4–7.
6. Краткий отчет о деятельности Русского бюро печати за июнь–октябрь 1919 г. // ГАРФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 61. Л. 47–54 об.
7. Наше исповедание веры // Отечественные ведомости (Екатеринбург). 1918. 8 окт.
8. Наш манифест // Сибирская речь (Омск). 1919. 1 (14) янв.
9. Устрялов Н. Русское дело // Русское дело (Омск). 1919. 5 окт.
10. Шевелев Д.Н. Антибольшевистское движение востока России как воображаемое сообщество // Гражданская война: многовекторный поиск гражданского мира : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (8–9 ноября 2018 г.) Новосибирск : Новосиб. Православная духовная семинария, 2019. С. 78–83.
11. Андерсон Б. Воображаемые сообщества : размышления об истоках и распространении национализма. М. : Кучково поле, 2016. 416 с.
12. Идеология: ревитализация концепта в исторических исследованиях : асерос. симпозиум, 20–21 августа 2020 г. : (программа). [Б.м.], 2020. 19 с.
13. Пученков А.С. «Колчаковский режим основывался на главной идеологической составляющей – антибольшевизме, что само по себе уже в тех условиях не нуждалось в дополнительной расшифровке политической программы...» // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 4. С. 5–8.
14. Бунин И.А. Миссия русской эмиграции // Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М. : Наследие, 1998. С. 148–157.
15. Вовк А.Ю. Идеологи белого движения в Русском Зарубежье: И.А. Ильин и П.Б. Струве : автореферат дис. ... канд. ист. наук. Москва, 2011. 19 с.
16. Полторацкий Н.П. «За Россию и свободу...»: идейно-политическая платформа Белого движения // Русское прошлое. 1991. № 1. С. 280–305.

Dmitriy N. Shevelev, Tomsk State University. (Tomsk, Russian Federation). E-mail: shev-dn@yandex.ru

REVIVING THE NATIONAL IDEA: IDEOLOGY OF THE ANTI-BOLSHEVIK MOVEMENT IN EASTERN RUSSIA IN INSTITUTIONAL, DISCURSIVE AND COMMEMORATIVE DIMENSIONS

Keywords: Civil War; anti-Bolshevik movement; Russian government of Admiral A.V. Kolchak; ideology; historical memory.

The recent 100th anniversaries of the Russian Revolution and the beginning of the Civil War have shown an urgent need for the formation of a holistic scientific understanding of this historical era, the expansion of the research field, and the emergence of new aspects, including the research of the Russian anti-Bolshevik's political history. The ideology of the anti-Bolshevik movement is a special symbolic universe, an integral socio-cultural sign system, a historically established explanatory model that gives meaning to the collective actions of its supporters. It was this ideology that predetermined and set out the direction of the internal and foreign policies of the state formations of the Russian White East. At present, the anti-Bolshevik movement's ideology continues to influence modern Russian society through the tools of historical memory.

The purpose is to present and substantiate a new approach to the research of the anti-Bolshevik movement's in the east of Russia, combining the reconstruction of the content, forms and practices of its representation, characteristic directly of the period of the Civil War (1918–1920), as well as identifying the features of its further construction and transformation into a historical memory component and identity discourses in Russian society in the first decades of the 21st century.

The author pays attention to an important circumstance: the ideology and propaganda of the anti-Bolshevik movement in some cases turned out to be surprisingly helpless and ineffective, in others - quite effective. The White Army lost when an attractive and viable social project was required, and won when the value, symbolic and aesthetic components of their ideology came to the fore, when the ideology-program was replaced by the ideology-myth.

The author concludes that currently the most promising is the unification of two thematic fields – "ideology" and "memory" in one study.

Firstly, it makes a possible to overcome the traditional structural and functional understanding of the anti-Bolshevik movement's ideology, considering it as a dynamically developing system. Secondly, it allows us to trace stable models, rhetorical strategies, and repetitive argumentation schemes used to position the anti-Bolshevik movement in different historical and sociocultural contexts. Thirdly, it helps to clarify the specifics of the discursive construction of imaginary communities in relation to a specific historical situation, to identify and provide a comprehensive assessment of the tools and mechanisms for the incorporation of ideological constructs into the practice and trajectory of the regional memory formation.

REFERENCES

1. Lodyzhensky, A.A. (1984) *Vospominaniya* [Memories]. Paris: A.A. Lodigensky.
2. Holqvist, P. (2001) "Osvedomlenie – eto al'fa i omega nashey raboty": nadzor za nastroyeniyami naseleniya v gody bol'shevistskogo rezhima i ego obshcheevropeyskiy kontekst ["Intelligence is the alpha and omega of our work": monitoring the mood of the population during the Bolshevik regime and its pan-European context]. In: David-Fox, M. (ed.) *Amerikanskaya rusistika: vekhi istoriografii poslednikh let. Sovetskiy period* [American Russian Studies: Milestones in the Historiography of Recent Years. Soviet Period]. Translated from English. Samara: Samara State University. pp. 45–93.
3. Holqvist, P. (1999) Total'naya mobilizatsiya i politika naseleniya: rossiyskaya katastrofa (1914–1921) v evropeyskom kontekste [Total mobilization and population policy: the Russian catastrophe (1914–1921) in the European context]. In: Smirnov, N.N. (ed.) *Rossiya i Pervaya mirovaya vojna* [Russia and the First World War]. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. pp. 83–102.
4. Shevelev, D.N. (2017) "Rol' pechatnogo slova v sovremennoy voyne ne men'she puli i shtyka...": osvedomitel'naya rabota antibol'shevistskikh pravitel'stv vostoka Rossii ["The role of the printed word in modern warfare is not less than that of a bullet and a bayonet ...": the informative work of the anti-Bolshevik governments in eastern Russia]. Tomsk: Tomsk State University.
5. The State Archives of the Russian Federation (GARF). (n.d.) *K voprosu ob organizatsii agitatsii* [On organizing campaigns]. Fund R-4626. List 1. File 27. pp. 4–7.
6. The State Archives of the Russian Federation (GARF). (n.d.) *Kratkiy otchet o deyatelnosti Russkogo byuro pechati za iyun'–oktyabr' 1919 g.* [Brief report on the activities of the Russian Press Bureau for June – October 1919]. Fund R-341. List 1. File 61. pp. 47–54 ob.
7. *Otechestvennye vedomosti (Ekaterinburg)*. (1918) Nashe ispovedanie very [Our confession of faith]. 8th October.
8. *Sibirskaya rech' (Omsk)*. (1919) Nash manifest [Our manifesto]. 1st (14th) January.
9. Ustryalov, N. (1919) Russkoe delo [The Russian Cause]. *Russkoe delo (Omsk)*. 5th October.
10. Shevelev, D.N. (2019) Antibol'shevistskoe dvizhenie vostoka Rossii kak voobrazhaemoe soobshchestvo [Anti-Bolshevik Movement of the East of Russia as an Imaginary Community]. *Grazhdanskaya vojna: mnogovektornyy poisk grazhdanskogo mira* [Civil War: A Multi-Vector Search for Civil Peace]. Proc. of the Conference. November 8–9, 2018. Novosibirsk: Novosibirsk Orthodox Theological Seminary. pp. 78–83.
11. Anderson, B. (2016) *Voobrazhaemye soobshchestva: razmyshleniya ob istokakh i rasprostranении natsionalizma* [Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism]. Translated from English by V. Nikolaev. Moscow: Kuchkovo pole.
12. Anon. (2020) *Ideologiya: revitalizatsiya kontsepta v istoricheskikh issledovaniyakh* [Ideology: Revitalization of the Concept in Historical Studies]. Program of the Conference. August 20–21, 2020. [s.l., s.n.].
13. Puchenkov, A.S. (2018) "The Kolchak regime was based on the main ideological component — anti-Bolshevism, which in those conditions did not need additional clarification of the political program ...". *Omskiy nauchnyy vestnik. Ser. Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost' – Omsk Scientific Bulletin. Series «Society. History. Modernity*. 4. pp. 5–8. (In Russian). DOI: 10.25206/2542-0488-2018-4-5-9
14. Bunin, I.A. (1998) *Publitsistika 1918–1953 godov* [Journalism 1918–1953]. Moscow: Nasledie. pp. 148–157.
15. Vovk, A.Yu. (2011) *Ideologi belogo dvizheniya v Russkom Zarubezh'e: I.A. Il'in i P.B. Struve* [Ideologists of the White movement in the Russian Diaspora: I.A. Ilyin and P.B. Struve]. Abstract of History Cand. Diss. Moscow.
16. Poltoratsky, N.P. (1991) "Za Rossiyu i svobodu...": ideyno-politicheskaya platforma Belogo dvizheniya ["For Russia and Freedom ...": the ideological and political platform of the White movement]. *Russkoe proshloe*. 1. pp. 280–305.

ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

УДК 94(32).04

DOI: 10.17223/19988613/68/25

К.Ф. Карлова

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА БОГА СЕТА В РАННЕДИНАСТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Статья публикуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, № МК-2320.2020.6. «Эволюция культа Сета как пример религиозного синтеза на территории Египта и Передней Азии во второй половине II–I тыс. до н.э.»

Рассматривается эволюция культа Сета в додинастическом и раннединастическом Египте по таким памятникам, как царские печати, оттиски печатей, сосуды и рельефы. В период правления I династии имя Сета появляется в титулатуре цариц. В период правления фараона III династии Джосера культ Сета продолжает оставаться царским культом, утвердившись в Гелиополе. Таким образом, связь Сета с царской властью прослеживается на протяжении всего раннединастического периода.

Ключевые слова: Сет; Сет-Ра; солнечный; Омбос; Перибсен; титулатура; Хасехемуи.

Сет является одним из самых архаичных божеств Древнего Египта, чей культ был тесно связан со становлением египетского государства и развитием основных религиозных доктрин и мифологем. Противоречивость образа Сета обусловлена его вхождением в различные идеологические системы на всех этапах развития древнеегипетской истории. Однако до сих пор нет полной ясности относительно места образа Сета на ранних этапах египетской истории, а именно в поздний додинастический и в раннединастический периоды. Этой проблеме и посвящена данная статья.

Вопрос о генезисе культа Сета является дискуссионным ввиду небольшого количества источников додинастического периода. Принято считать, что Сет являлся одним из главных божеств Нагады, политий будущего V верхнеегипетского нома [1. Р. 82], а культ Сета концентрировался вокруг центра Нагады Омбоса (*Nbwyt*) [2. Р. 32, 169]. Одновременно в другом политическом и религиозном центре Верхнего Египта Нехене чтился Хор, более известный как главный бог-покровитель царской власти в Египте первой половины III тыс. до н.э. [3. S. 196]. Как полагают некоторые исследователи, роль, которую сыграли культы Хора и Сета в религиозном и идеологическом оформлении единого египетского государства, была связана с политическим и экономическим уровнем развития этих центров [4. Р. 31–46; 5. Р. 377–396].

Однако приведенное выше описание формирования культа Сета основывается в большей степени на более поздних источниках, поскольку прямые указания на то, что его культ в додинастический период зародился в Нагаде, отсутствуют. Возможным свидетельством является только граффити времени I династии в Джебель Тиаути неподалеку от Омбоса с зооморфным изображением Сета [6. Р. 19–22, pl. 12]. Помимо него

в этом месте изображены жираф, бык, слон и несколько соколов, одним из которых является изображение Хора на серехе. Поскольку объект датируется, предположительно, временем правления Нармера, наличие сереха позволяет говорить о том, что территория Омбоса / Нагады могла являться царским доменом Нармера [6. Р. 20]. Однако в нашем распоряжении нет данных, которые могли бы свидетельствовать в пользу того, что граффити «Сетова» животного и изображение сереха с Хором были сделаны в одно и то же время. Поэтому определять существование культа Сета в Нагаде на основании только этого изображения Сета было бы неосторожно.

Тем не менее есть все основания полагать, что культ Сета был связан с одним из важных политических центров уже в ранний период. О ранней датировке и семантике зооморфного изображения Сета в виде «Сетова» животного как одного из божеств додинастических политий свидетельствует его присутствие на навершии булавы царя Скорпиона, где оно чередуется с другими штандартами [7. Pls. 25, 26c]. Со штандартов спускаются повешенные *rhyt* – «чибисы», обозначающие подчинение побежденных областей изображенными на булаве политиями.

О возможной активной политической роли культа Сета на раннединастическом этапе свидетельствует памятник времени царя I династии Хора-Аха. На глиняной печати из Туры (гробница Хелуан 1484 А), обнаруженной вместе с другими памятниками Хора-Аха, в два регистра изображена группа предположительно из «Сетовых» животных, на которых сидят всадники [8. Fig. 1484a, taf. 33]. Это первое известное в Древнем Египте изображение всадников, однако памятник привлекает внимание возможным политическим подтекстом. Авторы публикации памятника полагают, что он

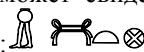
является свидетельством победы Хора-Аха над культом Сета и его последователями. По нашему мнению, нельзя сказать с уверенностью, что Сет здесь выступает как противник Хора. Однако влияние культа Сета на политическую борьбу между номами в этот ранний период не вызывает сомнений, что подтверждается другими свидетельствами. Так, возможные отголоски борьбы между культами Хора и Сета за влияние на царскую идеологию в ранний период могут проследиваться в титулатуре жен царей I династии. Речь идет о стеле 5 863 царицы Сешемет-ка (*Sšmt-k3*) и стеле 6 433 безымянной царской жены, хранящихся в музее Восточного института в Чикаго [9. Р. 82, pl. 28], а также о стеле 15 484 из Берлинского музея, которая предположительно принадлежит царице по имени Неферт (*Nfr(t)* [Ibid. Р. 100, pl. 35]¹. Первый памятник происходит из погребального комплекса царя Джера в Умм-эль Каабе в Абидосе, два других были обнаружены в районе гробницы фараона Дена там же [Ibid. Р. 82, 100]. Все три стелы I династии объединяют сходные титулы их владельцев, содержащие эпитеты *m3(3.t) Hrw* и *Stḥ*², которые предположительно переводятся как «та, которая видит Хора» и «рука (?) Сета»³. Позднее, в период Древнего царства, у царских жен появляется другой титул – *m33t Hrw Stḥ* «та, которая видит Хора и Сета», который впервые засвидетельствован у супруги Хеопса Хенутсен [10. Р. 65; 13. Р. 153]. Очевидно, что он представляет собой модернизацию прежнего эпитета цариц I династии *m33t Hrw* «та, которая видит Хора» [10. Р. 31; 14. Р. 10].

На наш взгляд, появление имени Сета в титулатуре царских жен свидетельствует о прочной связи культа Сета с царской властью, по крайней мере с периода I династии. К этому времени культ Сета мог укорениться в одном из политических центров Египта, что, возможно, согласуется с появлением изображения «Сетова» животного на рассмотренной выше булаве Скорпиона. Об определенном уравнивании позиций Хора и Сета в царской идеологии можно судить по наличию в титулатуре цариц Древнего царства общего эпитета *m33t Hrw Stḥ*. Новый образец титула цариц времени IV династии, возможно, был призван сгладить конфликт между культами Хора и Сета, которые соперничали за влияние на царскую власть в ранний период египетской истории. При этом усиление позиций Сета могло произойти при царе I династии Дене, в гробнице которого, как уже было сказано, были найдены две стелы цариц с титулатурой Хора и Сета. На недавно переопубликованном в связи новыми находками оттиске печати Дена из Абидоса [15. S. 35, fig. 1] содержится изображение шести ритуальных и охотничьих сцен с участием царя. На одной из сцен рядом с царем изображен Сет с подписью *nbwtj* – «Омбоский». Это изображение Сета на оттиске печати Дена можно считать первым изображением, которое постулирует прямую связь Сета с Омбосом. Кроме того, функции Сета в данном случае, по-видимому, связаны с уничтожением врага, поскольку «Сетово» животное держит лапой объект, напоминающий булаву или какое-то орудие. Сама сцена носит отчасти ритуальный характер, поскольку царь, рядом с которым изображен

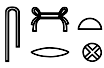
Сет, держит в руках лук, целясь в птицу. В соответствии с другими сценами рассматриваемого оттиска, это сцена свидетельствует о провозглашении и установлении царской власти, поскольку изображения птиц также могли быть связаны с этим обрядом [15. S. 37]. Сет в данном случае выступает как покровитель царя, поскольку, как справедливо отмечают авторы публикации памятника, его изображение здесь может иметь то же значение, что и изображение бога Хора на палетке Нармера, который представлен рядом с царем в качестве его покровителя и завоевателя земель Египта [15. S. 37–38]. Появление Сета на памятнике Дена неслучайно и может быть связано с усилением царской идеологической программы Дена, который, как известно, впервые называется царем двух земель Египта (*nswt-bity*) и фактически становится первым царем, носящим двойную корону Верхнего и Нижнего Египта [2. 167]⁴. Включение Сета в царский ритуал может свидетельствовать о важном политическом статусе его культа и его тесной связи с царской властью, что согласуется с его появлением в титулатуре цариц.

Усиление культа Сета и изменение вектора царской идеологии в связи с ним можно наблюдать в «Сетовом» имени царя Перибсена (*Pri-ib.sn*), что является ключевым событием для раннединастического этапа египетской истории. Выдвижение Перибсеном Сета в качестве почитаемого бога отразилось в изменении царской титулатуры. Инновация заключалась в смене привычного сокола над серехом на изображение зооморфного бога Сета, ранее над серехами не встречавшегося, поскольку именно сокол (Хор) являлся официальным богом царской власти.

Форма имени *Pri-ib.sn* – «(тот, в ком) выходят сердца их» до сих пор не совсем ясна для понимания. Согласно одной из гипотез, под местоимением 3-го лица мн.ч. *-sn* в имени Перибсена подразумеваются непосредственно Хор и Сет⁵. По другой гипотезе, в имени Перибсена следует предполагать выпадение лексемы «*nbty*» (владычицы), поэтому в полном виде оно должно было звучать как *nbty pri-ib.sn(wy)* – «две владычицы, чьи сердца выходят» (возможный перевод – «возмущены») [22. Р. 17]. Если это так, то такая форма имени может являться аллегорией политической борьбы внутри Египта. Об этой борьбе и степени распространенности власти Перибсена может свидетельствовать его эпитет на оттиске печати:



inw Stt [23. Abb. 287] – «обладатель / завоеватель (букв. «доставивший») *Stt*». Предположение о том, что этим эпитетом Перибсен обозначается как «завоеватель Азии» [24. Р. 72, 110], не согласуется с употреблением в слове *Stt* детерминатива города (O49). Он показывает, что обозначение *Stt* в данном случае может быть отнесено к городу в Египте, а не к сиро-палестинскому региону, как в большинстве случаев [2. Р. 133]. Возможным подтверждением этого предположения может являться титул служащего Пехернефера (*Phrnfr*), владельца мастабы в Саккаре времени начала IV династии: *hm-ntr Sts hnty-hwi Stt* [25. S. 79, n.45] – «Жрец Сета, начальник военных действий (в) *Stt*» (дослов.: «предстоящий побиванию *Stt*»). То-

поним  *Srt* идентифицирован как город Сет-рое на северо-востоке Дельты, известный как центр XIV нижегипетского нома в позднееримский период. По мнению Г. Юнкера, он мог стать культовым центром Сета в результате экспансии его последователей на территорию Дельты еще в период до правления Перибсена⁶. Однако нет никаких прямых данных, которые позволили бы говорить об утверждении культа Сета в Дельте в период до Перибсена, поэтому эта гипотеза является сомнительной⁷. Но в правление самого Перибсена такая связь с Нижним Египтом была возможна. В поддержку идентификации *Srt* с городом или селением Нижнего Египта свидетельствует упоминание Дельты, дважды встречающееся в памятниках Перибсена и до сих пор остававшееся без внимания исследователей. Речь идет о печати с надписью *sd3t inw* (*T3-*) *mhw* [23. Abb. 289, UC 611] – «печать доставленного Дельты», которая позволяет говорить о распространении власти Перибсена, а следовательно, и культа Сета в Дельте. Достаточно сложно говорить об объеме реальной власти Перибсена в Египте, так как его памятники локализуются только в южной части страны. Но мы полагаем, что упоминание о поставках дани

или трофеев из Нижнего Египта (*T3-mhw*) может служить достаточно надежным указанием на то, что этот царь стремился к завоеванию Нижнего Египта, поскольку страна к началу его царствования уже не представляла из себя единого государства [30]. О попытках Перибсена утвердиться в обеих частях страны свидетельствует и надпись на печати, найденной в его гробнице в Абидосе [23. Abb. 368]: «Печать вещей всех золотых. “Омбосский” (букв. “Златоградный”)), передал он (дослов.: “сказал”) две земли для сына своего, царя Верхнего и Нижнего Египта Перибсена» (*sd3t iht nbt nb(w)t nbw(ty) dd.n.f8 t3wy n z3f nsw-bity Pri-ib.sn*) (рис. 1). Под эпитетом *nbwty* здесь, несомненно, подразумевается бог, который являлся покровителем Перибсена. Предположение о соответствии эпитета *nbwty* богу Сету подтверждается другими памятниками Перибсена, а именно надписью на каменном сосуде (рис. 2) [Ibid. Abb. 80] и оттиске цилиндрической печати (рис. 3) [Ibid. Abb. 302], где серех с написанием царского имени увенчан изображением Сета с солнечным диском над ним. По-видимому, при Перибсене произошла не просто смена божества царского имени, считавшегося воплощенном в царе на срок его жизни.

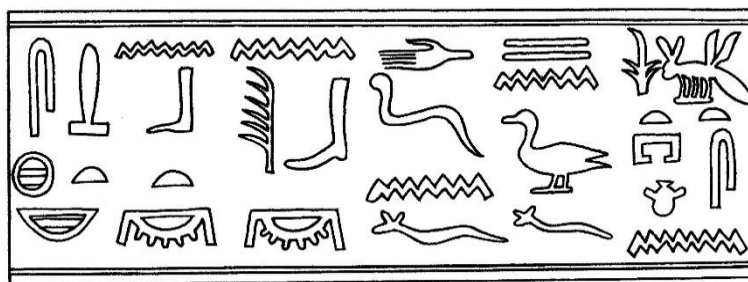


Рис. 1. Оттиск печати Перибсена

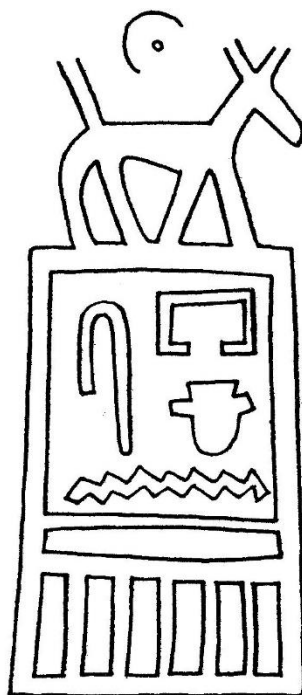


Рис. 2. Надпись на каменном сосуде Перибсена

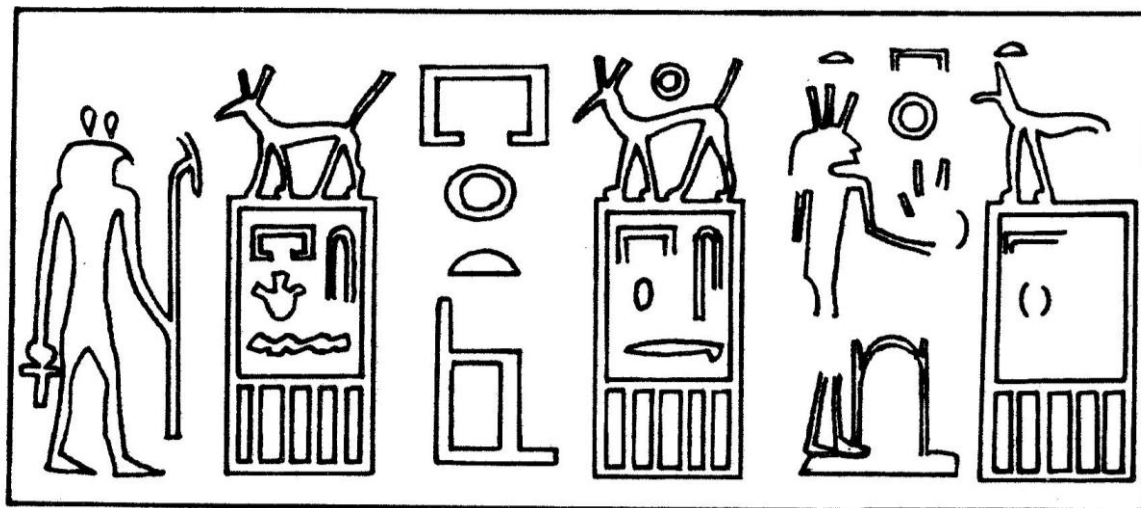


Рис. 3. Оттиск Печати Перисбена

Очевидно, оформилась и важнейшая религиозная инновация, выразившаяся в совмещении образа Сета с образом солнечного божества, которое ассоциировалось с личностью царя. Ранее таким божеством в рамках концепции «Хорова» имени считался Хор; для времени Перисбена возможно говорить о появлении нового образа такого божества, которое можно обозначить именем «Сет-Ра» [22. Р. 42–44]⁹. С одной стороны, появление на серехе солнечного диска, по-видимому, свидетельствует, что Сет мог быть тождествен солнцу по своей природе. С другой стороны, по аналогии с «Хоровым» именем, помещение этой композиции над серехом показывает присутствие олицетворяемого ею солнечного божества в царе, что является важным для понимания фигуры самого Перисбена. В этой связи наиболее показательным является то, что памятники Перисбена демонстрируют тесную связь между солнечным диском и Сетом над серехом. Появление солнечного компонента в титулатуре Перисбена является также знаком отождествления царя с солнцем, а Сет в этой связи является божеством, воплощенным в царе. Знак солнца над серехом – это изображение солнца в небе над божеством сереха, находящемся в земном мире и являющимся признаком солнечной природы изображенного божества и царя. Важно и то, что этой композицией Перисбен стремился придать Сету тот же статус, которым наделялся и Хор. Вопрос о том, почему Перисбен выдвинул Сета в качестве главного божества царской власти, должен решаться в контексте рассмотренных выше памятников этого царя, которые свидетельствуют о его борьбе за власть и попытках утвердиться в Нижнем Египте.

Есть еще одно свидетельство времени правления II династии о возможной принадлежности Сета к Омбосу. Речь идет об эпитете *nbwty* – «Омбосский» на каменном сосуде царя Сехемиба [32. № 278] (рис. 4). Над ним помещено изображение антропоморфного божества с головой «Сетова» животного, держащего скипетр, *-w3š* и знак *-ḥnḥ*. Это божество можно идентифицировать и как Сета, и как Аша, поскольку на памятниках Перисбена Сет в зооморфном облике изображается вместе богом Ашем (*3š/š3*), в более позд-

нее время являвшимся богом пустыни и оазисов [2. Р. 99]. Бог Аш изображен со скипетром *-w3š* и знаком *-ḥnḥ* в антропоморфном облике с головой «Сетова» животного, на которой также может быть помещена белая корона. Иконографическое сходство Сета и Аша и возможная связь Аша с Омбосом позволяют говорить о том, что Сет на раннединастическом этапе был связан с Ашем [33. Р. 220; 34. S. 135–145; 35. S. 35]¹⁰. Действительно, на памятниках Перисбена изображается бог Аш (*3š*) с головой «Сетова» животного. Оно же является основным символом верхнеегипетского города *š3u* в XI номе, причем его название аналогично обозначению «Сетова» животного [1. Р. 126]. Как известно, изображение последнего в частной гробнице Бени-Хасана обозначено как *š3* [37. Pl. IV, XIII]. Примечательно, что здесь оно показано вместе с миксаморфными существами – грифоном *tštš* с головой сокола, увенчанной солнечным диском, и самкой грифона (*srḫw*). Однако следует отметить, что существо *š3* из Бени-Хасана напрямую с богом Сетом не связано. Что касается Аша, то он является, прежде всего, богом пустыни и чужеземных территорий, о чем свидетельствует его изображение в погребальном храме царя V династии Сахура [38. S. 74], где Аш обозначен как *3š nb Ṯḥnw* – «Аш, владыка *Ṯḥnw*» (ливийской земли). На наш взгляд, это наводит на мысль, что более поздние представления о Сете как о боге пустыни и сопредельных территорий могли оформиться под влиянием этих представлений об Аше¹¹.

Главными последствиями правления Перисбена явились изменения в идеологическом обосновании власти царя. Во время правления преемника Перисбена Хасехема (*ḥḥi-šhm* – «(тот, кто) воссиял скипетром») происходит признание равенства Хора и Сета как двух богов – символов царской власти. Как известно, Хасехем берет себе имя Хасехемуи [11. Pl. XXIII] (*ḥḥi-šhmwy* – «(тот, кто) воссиял двумя скипетрами»). Хор и Сет в двойных коронах и в качестве парных богов изображаются над серехом [23. Abb. 297, 313]. Но, возможно, иерархически Сет стоит ниже Хора, поскольку на некоторых памятниках он изображен только в красной короне, в то время как Хор – в объеди-

ненной короне двух земель Египта [23. Abb. 303, 310, 314]. Тем не менее при Хасехемуи Хор и Сет впервые изображаются как парные соколы, символизирующие объединение страны. Имя Хасехемуи выписывается с двумя соколами, обозначающими Хора и Сета. Его полное имя *H^ci-shmwy htp-ntrw im.f* означает «(тот, кто)

воссиял двумя скипетрами, в ком упокоились боги». Таким образом, деятельность Перибсена по укоренению культа Сета в царской идеологии принесла свои плоды, что, возможно, было связано с его успешными попытками завоевания Дельты в целях объединения государства.



Рис. 4. Фрагмент каменного сосуда Сехемиба

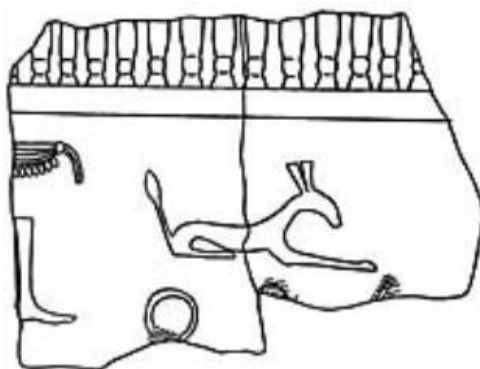


Рис. 5. Фрагмент гелиопольского рельефа Джосера

В период правления III династии Сет продолжает почитаться в качестве покровителя царской власти. Он появляется на рельефах гелиопольской часовни Джосера [40. Р. 136]: в одном случае его изображение помещено над головой самого царя; во втором случае он упоминается как Сет Омбосский (*Stš nbwy*) (рис. 5). На наш взгляд, появление Сета на царском рельефе гелиопольского происхождения неслучайно и может рассматриваться как свидетельство наличия культа Сета Омбосского в Гелиополе. Такое почитание Сета Джосером может объясняться тем статусом, который Сет приобрел при Перибсене в качестве «Сета-Ра». Представляется также вполне очевидным, что в гелиопольском храме Джосера почитание Сета Омбосского инициировано религиозными изменениями, произошедшими при Перибсене. Джосер лишь продолжает и укореняет традицию почитания Сета, возникшую в конце II династии. В пользу того, что культ Сета был распространен при III династии в Верхнем Египте, свидетельствует рельеф, происходящий из саккарской гробницы Ха-бау-Сокара [41. Pl. I], где сообщается о наличии у Сета культового объекта. На нем Сет связывается со

святилищем *Pr-wr*, которое является одним из основных культовых объектов Верхнего Египта [42. Р. 139].

Подводя итог рассмотрению развития образа Сета на ранних этапах египетской истории, можно констатировать, что его культ был связан с царской властью и становлением египетского государства еще в додинастическое время, что прослеживается по контексту отдельных памятников и наличию имени Сета в титулатуре цариц. Однако объединители Египта были почитателями Хора, и при них богом царского имени, воплощенным в царе, был именно божественный сокол. Но при Перибсене, возможно, на основе более ранних представлений происходит перенос качества солнечного бога, воплощенного в царе, на Сета. Для самого Перибсена этот акт явно имел политический подтекст, поскольку его памятники свидетельствуют о внутривластной борьбе, в ходе которой Перибсен стремился укрепиться в Нижнем Египте. При Хасехемуи два бога занимают практически равнозначное место в царской идеологии, после чего за Сетом, как и за Хором, окончательно закрепляются prerogatives бога царской власти.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ О чтении имени на стеле см.: [10. Р. 30–31]. В первом издании прорисовки стелы Ф. Питри имя владелицы стелы по ошибке отсутствует [11. Pl. 27, 128–129].
- ² Д. Джоунз в своем каталоге титулов Древнего Царства ошибочно приписал титул *Ḥ Sth* царице Нехетнейт (*Nht-Nt*), которая на деле им не обладала [10. Р. 22–23; 12. Р. 349, № 1300; 13. Р. 152].
- ³ О различных вариантах перевода данного титула см.: [10. Р. 23–24, 30; 12. Р. 349, № 1300].
- ⁴ Впервые объединенная корона Верхнего и Нижнего Египта увенчивает голову сокола, сидящего на серехе царя Джера [2. Р. 167]. Однако окончательное оформление государственной доктрины о единстве двух земель Египта происходит, по-видимому, при Дене о чем свидетельствует и титул «царя двух земель».
- ⁵ Ж.-С. Гарно допускает возможность отождествления Перибсена и другого царя II династии Сехемиба. По его мнению, Сехемиб добавил к уже наличествующему имени Хора имя Сета и поменял свое имя на *Pri-ib.sn* [16. Р. 317]. Вопрос тождества правителей II династии Сехемиба (*Shm-ib*) и Перибсена является дискуссионной проблемой. По этому вопросу см.: [2. Р. 76–77; 17. Р. 119–126; 18. Р. 40–46; 19. Р. 95; 20. С. 132]. Основным аргументом сторонников теории тождества Сехемиба и Перибсена является обнаружение печатей с именем *Shm-ib pri-n-m*^{5t} в погребальном комплексе Перибсена, а также наличие в титулатуре обоих правителей двух одинаковых компонентов: слов *ib* – сердце и *pr(i)* – «выходить». Также в гробнице Перибсена в Умм эль-Каабе был обнаружен отпечаток печати, на котором наличествуют как серех Сехемиба, так и серех Перибсена [21. С. 58–65]. Это единственный известный в раннединастическое время случай, когда на одном оттиске встречаются два разных царских сереха, что, в свою очередь, может свидетельствовать в пользу тождества Сехемиба и Перибсена. Издатели памятника, наоборот, полагают, что присутствие двух разных серехов на одном оттиске означает, что Перибсен и Сехемиб могли править одновременно или же, что Сехемиб стал назначенным преемником Перибсена [Ibid. С. 64].
- ⁶ Уязвимым местом данной теории является отсутствие знака *r* в слове *Sit*, что может как объясняться особенностями написания раннединастического периода, так и являться указанием на то, что подразумеваются два разных топонима [26. Р. 295–299].
- ⁷ Существуют и другие интерпретации деятельности Перибсена. Так, Г. Годрон полагает, что *Sit* может обозначать остров Сехель на первом нильском пороге [27. С. 155]. А Д. Огден и вовсе считает, что говорить следует не о завоевании Перибсеном определенной местности, а о принесении царю регулярных сельскохозяйственных или иных даров, поскольку *inw* буквально обозначает «принесенный», «то, что принесено» [28. Р. 81–84]. В этом случае представляется возможным говорить о вероятной поставке дани Перибсену, стремящемуся к установлению централизованной власти. Подробнее о принесении дани в раннем Египте см.: [29. С. 132–133].
- ⁸ Л. Моренц читает это слово как *dmḏn* – «объединять», полагая, что здесь произошло выпадение знака *m* [31. С. 155].
- ⁹ Есть и другая точка зрения относительно связи Сета с Ра. Так, Л. Моренц полагает, что изображение Сета с солнечным диском является своего рода «визуальной поэзией», поскольку данной композицией, по его мнению, подчеркивается принадлежность Сета не столько к солнцу, сколько к «золотому» городу Омбосу: [31. С. 155–156].
- ¹⁰ Так, например, Р. Уилкинсон полагает, что именно Аш был исконным богом Омбоса – центра Нагады, однако такая точка зрения нуждается в серьезном рассмотрении, что выходит за рамки нашей статьи [36. Р. 98].
- ¹¹ В историографии существует точка зрения, согласно которой культы Аша и Сета на ранней стадии своего развития были совмещены. Г. Шток и Ю. фон Бекерат полагают, что культ омбосского бога, которого, по их мнению, первоначально воплощал Аш, в эпоху Перибсена оказался совмещен с культом Сета, который происходил из Нижнего Египта [34. С. 135–137; 35. С. 35]. Теория о том, что культ Сета первоначально концентрировался в Нижнем Египте, во многом строится на прочтении уже упомянутого топонима *Sirt* как Сетрое – месте, где, по мнению исследователей, в раннединастическое время господствовал культ Сета. А. Шарфф считает, что в результате слияния нижеегипетского Сета с верхнеегипетским Ашем появился бог, почитаемый как *nbtwy* – «Омбосский» [39. С. 27–28.]. Рассматривая проблему зарождения культа Сета в Дельте Египта, фон Бекерат опирается на теорию Штока, согласно которой египетская религия на ранних этапах своей истории формировалась из двух разных систем: господства автохтонных богов-животных различных центров, а впоследствии номов, и зарождающихся представлений об антропоморфных богах, связанных с небом и природным циклом. Представления об этих богах, согласно теории Штока, оформились под влиянием переднеазиатских воззрений о богах природного цикла, поскольку Дельта Египта в поздний додинастический и раннединастический этапы могла находиться под большим культурным влиянием переднеазиатских соседей: [34. С. 135–137]. Утверждение о том, что формирование этих центров происходило под влиянием переднеазиатских представлений, представляется дискуссионным и требует отдельного рассмотрения, что выходит за рамки данной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Montet P. Géographie de l'Égypte Ancienne II. Tochemâ. La Haute Égypte. Paris : Libr. Klincksieck, 1961. 237 p.
2. Wilkinson T.A.H. Early Dynastic Egypt. London ; New-York : Routledge, 1999. 373 p.
3. Kees H. Der Götterglaube im alten Ägypten. Berlin : Akademie Verlag, 1956. 501 S. + X Taf.
4. Kemp B.J. Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization. London ; New York : Routledge, 1989. 374 p.
5. Wilkinson T.A.H. Political Unification: towards a Reconstruction // Mitteilungen des Deutschen archäologischen Institutes. 2000. Bd. 56. S. 377–396.
6. Darnell J.C. Theban Desert Road Survey in the Egyptian Western Desert. Chicago : The Oriental Institute, 2002. Vol. 1. 174 pp. + 126 pl.
7. Quibell J.E. Hierakonpolis. London : B. Quaritch, 1900. 12 p. + XLIX pl.
8. El-Sadeek W.T., Murphy J.M. A Mud Sealing with Seth Vanquished (?) // Mitteilungen des Deutschen archäologischen Institutes. 1983. Bd. 39. S. 159–175.
9. Martin J.Th. Um el-Kaab VII. Private Stelae of the Early Dynastic Period from the Royal Cemetery at Abydos. Wiesbaden : Harrasowitz. 312 p.
10. Callender W.G. In Hathor's image I. The Wives and Mothers of Egyptian Kings from Dynasties I–VI. Prague : Czech Institute of Egyptology, 2011. 405 p.
11. Petrie W.M.F. The Royal Tombs of the First Dynasty. London–Boston : The Egypt Exploration Fund, 1901. Pt. II. 60 p. + LXIII pl.
12. Jones D. An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom. Oxford : British Archaeological Reports Oxford Ltd., 2000. Vol. I. 540 p.
13. Troy L. Patterns of Queenship in Ancient Egyptian Myth and History. Upsalla : Almqvist & Wiksell International, distributors, 1986. 236 p.
14. Grajetzki W. Ancient Egyptian Queens: a Hieroglyphic Dictionary. London : Golden House, 2005. 120 p.
15. Büma D., Morenz L. Zu Krönungsritualen aus der frühdynastischen Zeit Ägyptens // Göttinger Miszellen. 2019. Hft. 258. S. 33–43.
16. Garnot J.S.F. Sur quelques noms royaux des seconde et troisième dynasties égyptiennes // Bulletin de l'Institut d'Égypt. 1956. Vol. 37. P. 317–328.
17. Weill R. Ile et IIIe Dynastie. Paris : Ernest Leroux, 1908. 515 p.
18. Newberry P.E. The Set Rebellion of the IIInd Dynasty // Ancient Egypt (and East). 1922. № 7. P. 40–46.
19. Emery W.B. Archaic Egypt. Harmondsworth : Penguin Books Ltd, 1961. 269 p.
20. Helck W. Die Datierung der Gefäßaufschriften der Djoserpyramide. // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 1979. Bd. 106. S. 120–132.
21. Dreyer von N., Engel E.-M., Hartmann R., Köpp-Junk H., Meyrat P., Müller E., Regulski I. Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof 22./23./24. Vorbericht // Mitteilungen des Deutschen archäologischen Institutes. 2013. Bd. 69. S. 19–71.

22. Kahl J. Ra is My Lord. Searching for the Rise of the Sun God at the Dawn of Egyptian History. Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 81 p.
23. Kaplony P. Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit III. Wiesbaden : Harrassowitz, 1963. 154 Taf.
24. Te Velde H. Seth, God of Confusion. Leiden : E.J. Brill, 1967. 168 p. + XII pl.
25. Junker H. PHrnf // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 1939. Bd. 75. S. 63–84.
26. Grdseloff B. Notes d'epigraphie archaïque // Annales du Service des Antiquités de l'Égypte. 1944. Vol. 44. P. 279–306.
27. Godron G. Études sur l'époque archaïque // Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale. 1958. Vol. 57. P. 143–155.
28. Ogden J.R. Studies in Archaic Epigraphy III // Göttinger Miszellen. 1982. Hft. 60. S. 81–84.
29. Прусаков Д.Б. Альтернативные подходы к проблеме древнейшего государства в Египте // Государство на Древнем Востоке / отв. ред. Э.А. Грантовский, Т.В. Степунина. М. : Вост. лит., 2004. С. 132–160.
30. Карлова К.Ф. О возможных завоеваниях Перибсена в Нижнем Египте // Древность: историческое знание и специфика источника / отв. ред. Г.Ю. Колганова, В.Ю. Шелестин. М. : Ин-т востоковедения РАН, 2020. С. 228–237 (в печати).
31. Morenz L.D. Synkretismus oder ideologietränktes Wort-und Schrifspiel? // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 2007. Bd. 134. S. 151–156.
32. Spencer A.J. Catalogue of Egyptian Antiquities in the British Museum V. Early Dynastic Objects. London : British Museum Publications, 1980. 110 p. + LXXX pl.
33. Newberry P.E. The Pig and the Cult-animal of Set // The Journal of Egyptian Archaeology. 1928. Vol. 14. P. 211–225.
34. Stock H. Das Ostdelta Ägyptens in seiner entscheidenden Rolle für die politische und religiöse Entwicklung des alten Reichs // Die Welt des Orients. Wissenschaftliche Beiträge zur Kunde des Morgenlandes. 1948. Bd. 1. S. 135–145.
35. Beckerath J. von. Tanis und Theben. Glückstadt, Hamburg, and New York : J.J. Augustin, 1951. 111 S.
36. Wilkinson R.H. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. London : Thames & Hudson, 2003. 256 p.
37. Newberry P.E. Beni-Hasan. London : Egypt Exploration Society, 1893. Bd. II. 85 p. + XXXVII pl.
38. Borchardt L. Das Grabdenkmal des Königs Sahure. Leipzig : J. C. Hinrichs, 1913. Bd. II. 196 S.
39. Scharff A. Das Grab als Wohnhaus in der ägyptischen Frühzeit. München : Akademie der Wissenschaften, 1947. 64 S.
40. Smith W.S. A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom. London ; Boston : Oxford University Press, 1949. 422 p.
41. Murray M. Saqqara Mastabas I. London : British School of Archaeology in Egypt, 1905. 8 p. + XIX pl.
42. Mathieu B. Seth polymorphe: le rival, le vaincu, l'auxiliaire // Égypte nilotique et méditerranéenne. 2011. № 4. P. 137–158.

Ksenia F. Karlova. Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: kseniadom87@mail.ru

ON SOME PROBLEMS ON INTERPRETATION OF THE IMAGE OF GOD SETH IN THE EARLY DYNASTIC PERIOD

Keywords: Seth; Seth-Ra; solar; Ombos; Peribsen; title; Khasekhemwy.

The article discusses the evolution of the cult of god Seth in Predynastic and Early Dynastic Period that is reflected by royal seals, stamps of seals, vessels, and reliefs. Primarily the name of Seth appears in the queens' titles during the reign of the First dynasty. During the reign of king Den, who ruled in the middle of the First dynasty, it was first mentioned that Seth was connected with Ombos. It was the Upper Egyptian city and cult center of Seth, where he was worshiped and with whom Seth was closely associated in almost all periods of ancient Egyptian history. During the Second dynasty, in the reign of Peribsen, the cult of Seth was continued to be honored in Ombos, and Seth got the status of the main god of this center in Upper Egypt. In author's opinion this process was accompanied by changing royal titles where Seth factually begun to be associated with the solar god. This hypothesis can be proved by the serekh of Peribsen with Seth accompanied by the sun disk. Religious and ideological doctrine introduced by Peribsen played a key role in further development of the Seth's cult in Egypt. Peribsen promoted Seth as a patron god, replacing them with god Horus, revered by the preceding kings. This could be due to a military conflict or the disintegration of Egypt into two parts, since Peribsen, ruling in southern Egypt, made military campaigns in Lower Egypt with the aim of uniting the country. An analysis of the monuments showed that Peribsen pursued an conquest policy in Lower Egypt, which is indicated by the toponyms %Tt and &A-mHw. Under the last king of the Second dynasty Khasekhemwy Seth became the god who patronized royal power along with Horus. This could be due to the fact that Khasekhemwy was able to reunite the two parts of Egypt, which in the reign of Peribsen were not a single state. The symbol of this unification of the country was the premises of Horus and Seth in the double crowns of Egypt over the serekh of Khasekhemwy. During the reign of Djoser, being the first pharaoh of the Third dynasty, the cult of Seth continued to be one of the main cults of the ruling dynasty maintaining in Heliopolis. Thus, the connection of Seth with royal power can be traced throughout the Early Dynastic Period. As the monuments show, the cult of Seth has acquired important political significance since the late Predynastic Period. In the future, his political role increased and during the reign of the first three Egyptian dynasties, the cult of Seth played an important role in substantiating of royal power.

REFERENCES

1. Montet, P. (1961) *Géographie de l'Égypte Ancienne II. To-chemâ. La Haute Égypte*. Paris: Libr. Klincksieck.
2. Wilkinson, T.A.H. (1999) *Early Dynastic Egypt*. London; New-York: Routledge.
3. Kees, H. (1956) *Der Götterglaube im alten Ägypten*. Berlin: Akademie Verlag.
4. Kemp, B.J. (1989) *Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization*. London; New York: Routledge.
5. Wilkinson, T.A.H. (2000) Political Unification: towards a Reconstruction. *Mitteilungen des Deutschen archäologischen Institutes*. 56. pp. 377–396.
6. Darnell, J.C. (2002) *Theban Desert Road Survey in the Egyptian Western Desert*. Vol. 1. Chicago: The Oriental Institute.
7. Quibell, J.E. (1900) *Hierakonpolis*. London: B. Quaritch.
8. El-Sadeek, W.T. & Murphy, J.M. (1983) A Mud Sealing with Seth Vanquished (?). *Mitteilungen des Deutschen archäologischen Institutes*. 39. pp. 159–175.
9. Martin, J.Th. (2011) *Um el-Kaab VII. Private Stelae of the Early Dynastic Period from the Royal Cemetery at Abydos*. Wiesbaden: Harrassowitz.
10. Callender, W.G. (2011) *In Hathor's image I. The Wives and Mothers of Egyptian Kings from Dynasties I–VI*. Prague: Czech Institute of Egyptology.
11. Petrie, W.M.F. (1901) *The Royal Tombs of the First Dynasty*. Vol. 2. London; Boston: The Egypt Exploration Fund.
12. Jones, D. (2000) *An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom*. Vol. I. Oxford: British Archaeological Reports Oxford Ltd.
13. Troy, L. (1986) *Patterns of Queenship in Ancient Egyptian Myth and History*. Upsalla: Almqvist & Wiksell International.
14. Grajetzki, W. (2005) *Ancient Egyptian Queens: A Hieroglyphic Dictionary*. London: Golden House.
15. Büma, D. & Morenz, L. (2019) Zu Krönungsritualen aus der frühdynastischen Zeit Ägyptens. *Göttinger Miszellen*. 258. pp. 33–43.
16. Garnot, J.S.F. (1956) Sur quelques noms royaux des seconde et troisième dynasties égyptiennes. *Bulletin de l'Institut d'Égypte*. 37. pp. 317–328.
17. Weill, R. (1908) *Ile et Ile Dynastie*. Paris: Ernest Leroux.
18. Newberry, P.E. (1922) The Set Rebellion of the IIInd Dynasty. *Ancient Egypt (and East)*. 7. p. 40–46.
19. Emery, W.B. (1961) *Archaic Egypt*. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.

20. Helck, W. (1979) Die Datierung der Gefäßaufschriften der Djoserpyramide. *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde*. 106. pp. 120–132.
21. Dreyer, N. von, Engel, E.-M., Hartmann, R., Köpp-Junk, H., Meyrat, P., Müller, E. & Regulski, I. (2013) Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof 22./23./24. Vorbericht. *Mitteilungen des Deutschen archäologischen Institutes*. 69. pp. 19–71.
22. Kahl, J. (2007) *Ra is My Lord. Searching for the Rise of the Sun God at the Dawn of Egyptian History*. Wiesbaden: Harrassowitz.
23. Kaplony, P. (1963) *Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit III*. Wiesbaden: Harrassowitz.
24. Te Velde, H. (1967) *Seth, God of Confusion*. Leiden: E.J. Brill.
25. Junker, H. (1939) PHrnf. *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde*. 75. pp. 63–84.
26. Grdseloff, B. (1944) Notes d'epigraphie archaïque. *Annales du Service des Antiquités de l'Égypte*. 44. pp. 279–306.
27. Godron, G. (1958) Études sur l'époque archaïque. *Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale*. 57. pp. 143–155.
28. Ogden, J.R. (1982) Studies in Archaic Epigraphy III. *Göttinger Miszellen*. 60. pp. 81–84.
29. Prusakov, D.B. (2004) Alternativnye podkhody k probleme drevneyshego gosudarstva v Egipte [Alternative approaches to the problem of the most ancient state in Egypt]. In: Grantovsky, E.A. & Stepugina, T.V. (eds) *Gosudarstvo na Drevnem Vostoke* [The State at the Ancient Orient]. Moscow: Vostochnaya literatura. pp. 132–160.
30. Karlova, K.F. (2019) O vozmozhnykh zavoevaniyakh Peribsen v Nizhnem Egipte [Possible evidence of Peribsen's fight with Lower Egypt]. In: Koganova, G.Yu. & Shelestin, V.Yu. (eds) *Drevnost': istoricheskoe znanie i spetsifika istochnika* [Antiquity: Historical knowledge and specific Nature of sources]. Moscow: RAS. pp. 228–237.
31. Morenz, L.D. (2007) Synkretismus oder ideologiegetränktes Wort-und Schrifspiel? *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde*. 134. pp. 151–156.
32. Spencer, A.J. (1980) *Catalogue of Egyptian Antiquities in the British Museum V. Early Dynastic Objects*. London: British Museum Publications.
33. Newberry, P.E. (1928) The Pig and the Cult-animal of Set. *The Journal of Egyptian Archaeology*. 14. pp. 211–225.
34. Stock, H. (1948) Das Ostdelta Ägyptens in seiner entscheidenden Rolle für die politische und religiöse Entwicklung des alten Reichs. *Die Welt des Orients. Wissenschaftliche Beiträge zur Kunde des Morgenlandes*. 1. pp.135–145.
35. Beckerath, J. von (1951) *Tanis und Theben*. Glückstadt, Hamburg, and New York: J.J. Augustin.
36. Wilkinson, R.H. (2003) *The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt*. London: Thames & Hudson.
37. Newberry, P.E. (1893) *Beni-Hasan*. Vol. 2. London: Egypt Exploration Society.
38. Borchardt, L. (1913) *Das Grabdenkmal des Königs Sahure*. Vol. 2. Leipzig: J.C. Hinrichs.
39. Scharff, A. (1947) *Das Grab als Wohnhaus in der ägyptischen Frühzeit*. Munich: Akademie der Wissenschaften.
40. Smith, W.S. (1949) *A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom*. London; Boston: Oxford University Press.
41. Murray, M. (1905) *Saqqara Mastabas I*. London: British School of Archaeology in Egypt.
42. Mathieu, B. (2011) Seth polymorphe: le rival, le vaincu, l'auxiliaire. *Égypte nilotique et méditerranéenne*. 4. pp. 137–158.

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

УДК 94:537.86:378.4(571.16)"20"

DOI: 10.17223/19988613/68/26

В.В. Расколец, А.Г. Костерев, М.Ю. Ким

РАДИОФИЗИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО г. ТОМСКА В 1910–1960-е гг.: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И РОЛЬ ЛИДЕРОВ В РАЗВИТИИ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 20-78-00082.

На основе архивных материалов, периодической печати и воспоминаний современников реконструируется развитие радиофизики г. Томска в первой половине XX в. Делается вывод, что движущими силами институционализации стали лидеры радиофизического сообщества, сумевшие развить актуальную научную тематику и основать научные традиции. Новизна работы заключается в постановке научной проблемы, решаемой на основе подхода социальной истории, а также сравнительно-исторического анализа научного сообщества Томского государственного университета и Томского политехнического института.

Ключевые слова: радиофизика; радиотехника; радиоэлектроника; Томский государственный университет; Томский политехнический университет; В.Н. Кессених; А.Б. Сапожников; Ф.И. Перегудов.

Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из приоритетных направлений государственной политики. Это связано с тем, что современное социально-экономическое развитие государства невозможно без опоры на научно-техническую и инновационную деятельность. В этой связи возрастают роль и значение появления новых научных направлений, которые на долгие годы определяют вектор развития общества. Для любого государства задачей номер один становится определение этих перспективных научных направлений, а затем институционализация их развития, опираясь на имеющиеся ресурсы. Именно на это направлена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [1].

Если современная научная повестка оперирует такими понятиями, как искусственный интеллект, алгоритмы машинного обучения, новые (умные) материалы и др., то для XX в. одним из прорывных научных направлений была радиофизика, которая прошла путь от простых радиальных устройств до современной микроэлектроники¹. Без преувеличения можно сказать, что радиофизика значительно изменила социально-экономическую сферу XX в. В этой связи вызывает интерес опыт советского государства по развитию радиофизики в условиях мировых вызовов того времени. Этот опыт особенно значим в разрезе томского научно-образовательного комплекса, который являлся одним из центров радиофизики советского государства. Пристальное внимание к региональным особенностям развития научно-технологического знания продиктовано в том числе и современной задачей государства по развитию сети научно-образовательных центров мирового уровня на территории Российской Федерации. На открытие одного из таких центров также претендует г. Томск.

Ретроспективе радиофизических исследований в г. Томске посвящено относительно много работ, раскрывающих, как правило, содержание основных этапов эволюции их направлений.

Развитие советской физики в 1950–1960-х гг. в контексте изучения различных аспектов научного сообщества (количественный состав, тематика исследований, взаимоотношения с властью, учеными других дисциплин, мировым сообществом и др.) описано в работе В.П. Визгина и А.В. Кессениха [2].

Первые попытки осмысления более чем полувекового пути, пройденного томской радиофизикой, начались в 1980-е гг. Достаточно информативен, несмотря на свою краткость, очерк одного из пионеров томской радиотехники А.С. Балакшина, посвященный началу эпохи радио в Сибири [3]. Более подробные обзоры даны в юбилейных изданиях Томского государственного университета [4, 5], а также в сборнике статей, посвященном истории развития университетской физики [6]. В этих работах прорисовываются общие черты как всего университетского физического сообщества, так и его радиофизического сегмента. Исторический контекст развития Томского политехнического института, и в частности электрофизического и радиотехнического факультетов, в рассматриваемый нами период реконструирован в юбилейных очерках под редакцией А.В. Гагарина [7] и В.Т. Петровой [8].

Радиофизиков г. Томска в качестве части университетской корпорации изучали в своих исследованиях представители школы истории науки и высшего образования в Сибири, сложившейся под руководством С.Ф. Фоминых, – А.В. Литвинов, К.В. Петров, А.С. Ульянов [9–11]. Взаимодействие научного сообщества томских физиков (в частности физиков СФТИ) и власти в первое послевоенное десятилетие рассмотрено в ста-

тье А.Н. Сорокина [12]. Научно-биографический аспект ряда ключевых персоналий освещен в словарях профессоров Томского государственного университета и Томского политехнического университета [13–16]. История радиофизического факультета ТГУ является также сферой научных интересов и одного из лидеров современной томской радиофизики В.В. Дёмина [17]. Биографические исследования о первых радиотехниках Томского технологического института были проведены С.И. Кузнецовой [18].

История региональной радиотехники в организационно-технологическом ракурсе рассматривается в диссертационных исследованиях В.А. Морева и В.В. Миркина [19, 20].

Несмотря на обилие исследований, стоит отметить, что детальной панорамной картины складывания радиофизического сообщества г. Томска, во всей полноте раскрывающей его функционирование как отдельной подсистемы местного научно-образовательного комплекса посредством реконструкции механизмов внутренних взаимосвязей, на сегодняшний день не представлено.

Целью данного исследования являются реконструкция истории институционализации томской радиофизики и характеристика радиофизического сообщества конца XIX – первой половины XX в.

Томская радиофизика: формирование научного направления

Открытие Томского университета в составе одного медицинского факультета привело к тому, что становление местных школ в области физики произошло несколько позднее, нежели в сфере медицины и общественных наук, тем не менее развитие здесь научно-технического знания началось еще до появления физико-математического факультета и Томского технологического института благодаря наличию соответствующих непрофильных по отношению к медицинскому факультету кафедр.

Несмотря на то, что систематические работы в области радиофизики начались в Томске в 1920-е гг., прологом этого прорывного для двадцатого столетия направления можно считать наблюдения и опыты профессора Томского императорского университета Ф.Я. Капустина (1856–1936) [13. С. 106–108]. Возглавляя кафедру физики, он долгие годы был единственным профессором-физиком в Императорском Томском университете. Широта научных интересов, а также родственные и дружеские связи с Д.И. Менделеевым и А.С. Поповым позволили ему стать основоположником целого ряда научных направлений в «Сибирских Афинах»: сейсмологии, метеорологии и рентгенологии.

Сибирская физика изначально не была далека от переднего края научного фронта и стартовала в том числе и с радиофизических исследований. Причиной тому являлись особенности локации первого университетского города Сибири в координатах имперского научно-образовательного пространства. Географическое положение г. Томска не только не препятствовало, но и наоборот – способствовало его идейной и

корпоративной близости к столичным центрам, позволяя аккумулировать в своей среде наиболее динамичных представителей склонной к академической мобильности части профессорско-преподавательского сообщества [21. С. 13–20].

Планомерные научно-практические изыскания в области радиофизики берут свое начало после окончания Гражданской войны. Субъективным же фактором, который вкупе с уже сложившимися объективными предпосылками (наличием физико-математического факультета в университете и Томского технологического института) привел к появлению в г. Томске радиосвязи, стала Первая мировая война – в ее годы в городе была организована третья по счету в стране база военных радиотелеграфных формирований.

Во время Гражданской войны г. Томск попеременно являлся местом дислокации главной радиобазы А.В. Колчака и радиобатальона 5-й Красной Армии. Так в г. Томске оказались мобилизованные в белую армию и перешедшие на сторону красных будущие профессора-радиотехники – научный консультант при радиобазе В.В. Ширков (выпускник Петроградского политехнического института), ставший потом одним из учредителей Российского общества радиоинженеров, и А.Б. Сапожников, бывший с 1919 г. курсантом школы радиотелеграфистов при ней. В первой половине 1920-х гг. радиофикации г. Томска по-прежнему способствовало расположение в нем 3-й базы радиотелеграфных образований РККА [9. С. 130].

Еще в 1919 г. студентом Томского технологического института Б.А. Голубковым, будущим главой местного узла связи, были смонтированы искровая приемно-передающая телеграфная радиостанция и радиопоезд с искровым радиотелеграфным передатчиком длинных волн. Талантливому электротехнику Б.А. Голубкову, склонному делиться своими знаниями и опытом с постоянно окружавшими его любопытными младшими товарищами, можно считать своего рода предтечей томской радиотехники. К сожалению, как и у многих других деятелей науки и культуры этого периода, его судьба оказалась трагичной – репрессированный в 1937 г., он 18 лет провел в советских лагерях [18. С. 118].

Помогал ему А.С. Балакшин – в будущем один из первых выпускников Томского университета по радиофизическому профилю. В 1920–1922 гг., еще не будучи студентом, А.С. Балакшин самостоятельно собрал несколько любительских радиоприемников (в том числе и первую в Сибири любительскую радиопередающую телеграфную станцию), устанавливая связь в городе и принимая сигналы московских и парижских станций. А.С. Балакшин стал первопроходцем сибирской радиотехники и лидером регионально-го радиолюбительского движения [22. С. 3–4].

В январе 1924 г. дирекция Томского политехникума по инициативе А.С. Балакшина обратилась в Томский губисполком с предложением начать радиофикацию губернии силами своих студентов, которое было поддержано. На отпущенные властями средства при политехникуме была организована радиолaborатория и начато строительство передающей радиотелефонной

станции. Там же под руководством А.С. Балакшина был организован первый в Сибири радиолюбительский кружок, а на его основе – ячейка всесоюзного общества «Друзья Радио» [22. С. 5, 7]. Эти события правомерно считать началом структурного оформления томской радиотехники.

Началом же институционализации томской радиофизики следует считать 1923 г., когда по инициативе крупнейшего организатора физической науки и будущего первого академика в Сибири В.Д. Кузнецова на физико-математическом факультете университета, обязанности декана которого он тогда исполнял, была открыта специальность «Электромагнитные колебания и волны».

Как уже и было сказано выше, в первый набор был зачислен и А.С. Балакшин. На первых порах преподавателями выступали сами сотрудники армейской базы – А.Б. Сапожников и инженер А.А. Холодовский. Помимо В.Д. Кузнецова, руководившего новой специальностью, непосредственное отношение к зарождению радиофизического образования имели его ученицы М.А. Большанина (в дальнейшем – основоположник томской научной школы физики пластичности и прочности металлов и сплавов) и В.М. Кудрявцева (в будущем – первая в стране женщина – доктор наук в области физики, ставшая им одновременно с основателем томской научной школы оптики и спектроскопии Н.А. Прилежаевой) [3. С. 70]. Фактическим заместителем В.Д. Кузнецова выступал А.Б. Сапожников, ставший впоследствии одним из крупнейших радиотехников Сибири, ученым, организатором и блестящим лектором, увлекавшим и порою даже переманивавшим на свою специальность студентов других факультетов и вузов [15. С. 368–369].

В 1926 г. под руководством В.Д. Кузнецова на факультете была организована базовая для специальности кафедра электромагнитных волн. Подыскивая на место «возжя томских радиофизиков» подходящую по квалификации и подготовке фигуру, он вскоре остановился на крупном специалисте в области радиофизики В.Н. Кессенихе.

Знаковым событием в плане соединения образовательного процесса с научными исследованиями и непосредственной практикой стало установление контактов с коллегами из уже сложившегося нижегородского радиофизического центра (нижегородская радиолaborатория). Свою организаторскую роль вновь сыграл В.Д. Кузнецов при деятельном участии А.Б. Сапожникова. В Нижний Новгород на встречу с техническим директором лаборатории профессором М.А. Бонч-Бруевичем был командирован А.С. Балакшин, получивший от того в подарок для лаборатории Томского политехникума генераторную радиолампу.

В результате достигнутых договоренностей в 1925 г. в г. Томске была смонтирована первая в Сибири коротковолновая радиотелеграфная станция с позывным «ТУК» («Томский университет – короткие»). Характер работы станции можно определить как учебно-исследовательский. Основной ее целью было определение возможностей коротковолнового вещания на дальние расстояния. Она проработала до 1929 г., пока

не были определены оптимальные условия прохождения коротких волн на различных диапазонах в различное время суток и года, ставшие основой для графиков работы коротковолновых радиостанций СССР [3. С. 70–71]. В 1926 г. А.С. Балакшин в качестве оператора станции «ТУК» принял передачу радиовещательной станции «СОК» им. Попова (Москва, Сокольники), установив тем самым рекорд по дальности радиовещания в Европе на коротких волнах [23].

В том же 1926 г. студент-радиолюбитель, только что зачисленный на первый курс отделения электромагнитных колебаний, В.Г. Денисов поставил новый рекорд дальности передачи радиосигналов, установив связь с Филиппинами и Австралией. В 1927 г. приемной коротковолновой установкой А.С. Балакшина (с нее начались работы в области изучения распространения коротких волн) был установлен мировой рекорд дальности приема американской коротковолновой радиовещательной станции из города Скенектади, что разрешило спор американских радиоспециалистов о том, на каких волнах – средних или коротких – вести передачи на большие расстояния [22. С. 9]. Томские радиосигналы успешно принимались в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Южной Африке, на островах Ява, Новой Зеландии и Гавайях, а разработанная А.С. Балакшиным мобильная коротковолновая приемно-передающая станция использовалась на маневрах Красной Армии [Там же. С. 11, 14, 51, 55]. Весной 1928 г. В.Г. Денисовым была установлена связь с экспедицией генерала Умберто Нобиле на Северный полюс.

Начатые в г. Томске исследования коротковолновой радиосвязи получили свое продолжение и практическое приложение в инфраструктурном обслуживании Северного морского пути. В навигацию 1929 г. была осуществлена опытная коротковолновая связь между движущимися по трассе Красноярск–Игарка судами и береговой станцией [9. С. 131]. Аналогичная работа по налаживанию радиосвязи между г. Томском и г. Барнаулом и движущимися по Томи и Оби судами была проведена в 1935 г. [24. С. 83]. Полученный опыт пригодился во время наводнения 1928 г. на Дальнем Востоке, когда была потеряна телеграфная связь с г. Владивостоком и г. Хабаровском: правительственные телеграммы принимались только до г. Иркутска, затем передавались в г. Новосибирск, после чего поступали в г. Томск, где эпизодически удавалось установить связь для передачи их по радио в дальневосточные города [25]. Свою помощь оказали специалисты по коротковолновой связи и при угрозе наводнения в г. Томске в 1930 г., выступив в роли корректировщиков артиллерийского огня по скоплениям льда вдоль р. Томи.

В 1925 г. в университете А.Б. Сапожниковым была создана собственная радиолaborатория, первым реализованным амбициозным проектом которой стала успешная организация радиотрансляций по однопроводной городской телефонной сети. Руководил работами А.Б. Сапожников при помощи начальника местной телефонной конторы связи Б.А. Голубкова.

Необходимо понимать, что сборка радиоаппаратуры в условиях отсутствия отечественной радиопро-

мышленности и, как следствия, крайней скудности элементной базы, представленной разношерстным ассортиментом английских, французских, трофейных немецких и, конечно же, самодельных деталей, являлась, по сути своей, изобретательством – настоящим актом научно-технического творчества, в чем-то превосходящим современные опытно-конструкторские работы.

Тем самым видно, что первые шаги томской радиофизики носили исключительно практикоориентированный характер с явным уклоном в сторону радиотехники, будучи, по большому счету, экспериментальными наработками в радиоконструировании. Впоследствии это во многом определило контуры местного радиофизического сообщества и профиль его научной специализации. Подобного рода тенденции в целом были весьма широко распространены в то время: новое научное направление рождалось на стыке исследовательского интереса ученых и энтузиазма любителей. Свою роль сыграла и полная надежд и ожиданий прорывов атмосфера 1920-х гг. позволявшая «дышать возможностями» целому ряду новых направлений в физике. В период, когда процессы формирования новой советской науки были еще далеки от своего завершения, эта атмосфера предоставляла инициативным кадрам относительный простор для самостоятельной организационно-научной деятельности.

Таким образом, точкой роста томской радиофизики как профессионального сообщества и научного направления стал самоподдерживающийся процесс творческого взаимодействия увлеченных технической новинкой дилетантов-радиолюбителей (студентов и не только) и активно вовлекавших их в исследовательскую работу вузовских преподавателей, занятых теоретической интерпретацией физических явлений, лежащих в основе нового способа передачи информации. В результате таких условий на томском субстрате обеспечивалась неразрывная связь между радиотехникой и радиофизикой (при том что грань между ними на том этапе была относительно условной).

По ходу 1920-х гг. г. Томск как центр радиофизики активно конкурировал с двумя другими крупнейшими городами Западной Сибири – Новосибирском и Омском. По всем параметрам ничуть не уступая Омску (к 1927 г. в г. Томске было уже шесть любительских радиостанций) [22], он тем не менее был потеснен в лидерстве организации зауральского радиовещательного пространства Новосибирском после его выделения в качестве административного центра Сибирского края и постройки там ширококвотельной радиостанции. При этом г. Томск оставался средоточием интеллектуального ресурса регионального радиостроительства.

Закрепилась же томская радиофизика в качестве одного из приоритетных направлений после того, как усилиями «отца сибирской физики» В.Д. Кузнецова был открыт Сибирский физико-технический институт (СФТИ) – первый за Уралом научно-исследовательский институт физического профиля, ставший со временем одним из крупнейших в стране центров фундаментальной науки и прикладных исследований [26–27].

В 1932 г. институт вошел в систему Томского университета. Ведущую роль в организации работ по радиофизике стали играть А.Б. Сапожников и приглашенный в 1930 г. из Ростова-на-Дону В.Н. Кессених – радиофизик общесоюзного значения.

Вскоре после приезда здоровая амбициозность и энергичность, подкрепленные высокой компетентностью, позволили В.Н. Кессениху занять должности заместителя директора СФТИ по научной работе, декана физико-математического факультета Томского университета, а с 1933 по 1936 г. – директора СФТИ. В стенах института под общим руководством В.Н. Кессениха было организовано проведение исследований, связанных с распространением радиоволн, а также по изучению атмосферы, телевидению, акустике и электромагнитной дефектоскопии. В 1935–1940-х гг. В.Н. Кессених, вычисляя поля в пространстве при различных способах возбуждения провода и учитывая его конечную проводимость, вывел формулу, успешно использовавшуюся при расчетах согласования вибраторных антенн с фидером, что, в свою очередь, подготовило дальнейшие исследования по однопроводным линиям передачи [28].

В 1931 г. институт заключил договор с радиоиспытательной станцией Наркомсвязи о проведении измерений напряженности поля его радиостанций. Эти работы продолжались до 1936 г. Результатом стали материалы, позволившие уточнить расчетные данные по проектированию мощных радиостанций [24. С. 83].

С начала 1930-х гг. ведут свой отсчет первые томские эксперименты с телевидением. «Отцом» сибирского телевидения стал В.Г. Денисов. Еще студентом он, наряду с А.С. Балакшиным, был одним из ведущих местных радиолюбителей, оборудовав домашнюю радиотелефонную станцию и проводя опытные передачи грамзаписей на средних и длинных волнах [22. С. 10, 76, 144]. Будучи аспирантом и научным сотрудником лаборатории распределения и телевидения СФТИ, он организовал на ее базе кружок энтузиастов из числа сотрудников и студентов, занимавшийся конструированием телевизоров. В 1931 г. собранный ими механический телевизор принял опытную передачу из Москвы [29]. В результате дальнейшей работы в этом направлении В.Г. Денисов предложил систему двойной развертки, позволявшей улучшить качество изображения [30. С.55]. Одновременно он занимался проблемой создания компактного персонального электронного телевизора.

В 1933 г. для исследования ионосферы в СФТИ был сконструирован коротковолновый передатчик, что стало началом радиозондирования ионосферы в г. Томске. На основе этого был разработан и реализован панорамный метод зондирования, позволивший ускорить регистрацию ионосферных явлений [24. С. 87].

Свидетельством наличия определенных практических результатов проводимых университетскими радиофизиками исследований стало их деятельное участие в прошедшей в апреле 1934 г. первой краевой конференции физиков Западной Сибири. Конференция имела отдельную радиотехническую секцию (под ру-

ководством А.Б. Сапожникова), в рамках которой центральное место заняло обсуждение работ радиолaborатории СФТИ [31. С.133].

Достигнутые успехи продемонстрировали работоспособность сложившегося в СФТИ коллектива и позволили ему выйти на новые исследовательские рубежи. Используя уже сложившиеся связи между нижегородскими и томскими радиофизиками, Академия наук СССР при посредничестве профессора М.А. Бонч-Бруевича предложила институту принять участие в исследовании поведения ионосферы в период солнечного затмения 19 июня 1936 г., когда через г. Томск проходила полоса полного солнечного затмения.

Сотрудниками института была сконструирована первая в стране (и пятая в мире) регулярно действующая ионосферная станция для исследования корпускулярного излучения в ионизации атмосферы, осуществившая все необходимые измерения. В результате был установлен факт, что основная роль в ионизации атмосферы принадлежит фотонному излучению Солнца. В дальнейшем ионосферная станция продолжала измерения с целью изучения влияния поведения ионосферы на качество радиосвязи [9. С. 130; 32. С. 1141].

В сооружении станции принимал участие приглашенный В.Н. Кессених в 1935 г. из Англии немецкий профессор-электротехник Г.Г. Бэрвальд, совместно с которым была создана отдельная научно-техническая школа по радиозондированию ионизированных слоев атмосферы. Переговоры о его переезде на работу в СФТИ вел командированный в Москву и Ленинград В.Г. Денисов. Инициатором приглашения выступил Ф.М. Нетер, специалист по математической физике, работавший в 1934–1937 гг. в г. Томске (в 1937 г. арестован и расстрелян в 1941 г.) [14. С. 311–313]. Самому Г.Г. Бэрвальду удалось вовремя покинуть СССР, разорвав в 1937 г. контракт и вернувшись в Англию [Там же. С. 79–80], что, однако, не убергло его от излюбленной в советской науке карательной санкции в виде деперсонализации – его фамилия была вымарана из списка авторов главной отчетной статьи о первых результатах работы ионосферной станции [33. С. 1238].

Непосредственно сооружением станции руководили В.Н. Кессених и Н.Д. Булатов. Процесс создания станции представлял собой ряд научно-технических работ: В.Н. Кессених предложил и использовал собственный метод определения коэффициентов отражения радиоволн при вертикальном падении на ионизированный слой [26. С. 43]; Н.Д. Булатов разработал оригинальный метод импульсного радиозондирования; активист-радиолобитель Б.Н. Хитров собрал высокочувствительный приемник для приёма коротких импульсов; В.Г. Денисов применил авторский способ записи высотно-частотных характеристик ионосферы [34. С. 55].

В.Н. Кессених совместно с А.Б. Сапожниковым создал на базе СФТИ школу по электромагнитной дефектоскопии рельсовой стали, получившую широкую известность в стране после совершенного в 1939 г. похода с разработанными в институте дефектоскопами по железнодорожному маршруту Томск–Москва.

Работы начались по предложению главного инженера Кузнецкого металлургического комбината академика И.П. Бардина, с которым СФТИ активно сотрудничал в рамках решения Урало-Кузнецкой проблемы, и велись с широким привлечением студентов университета (параллельно коллектив В.Д. Кузнецова вел исследования механических свойств рельсовой стали). Возглавлявший это направление А.Б. Сапожников в знак признания заслуг в 1938 г. был удостоен степени кандидата физико-математических наук без защиты диссертации. В том же году его ученик К.А. Водопьянов защитил кандидатскую диссертацию [9. С. 135]. К.А. Водопьянов заведовал кафедрой электрофизики университета и одновременно лабораторией физики диэлектриков СФТИ. Под его руководством проводились широко востребованные радиопромышленностью исследования температурных и частотных зависимостей диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь широкого класса диэлектриков.

Первые серьезные успехи томской радиофизики были обусловлены прежде всего широкой и местами взаимоперекрывающейся специализацией ее основателей, позволявшей им находить адекватное применение зачастую сугубо интуитивных решений в этой относительно молодой, но перспективной отрасли физического знания. Огромную роль в воспитании не узкоспециализированных техников, но широкопрофильных инженеров-творцов сыграла совместная научная и организационно-педагогическая деятельность теоретика радиотехники А.Б. Сапожникова и экспериментатора-изобретателя Б.П. Кашкина. Прикладной характер проводимых в СФТИ поисково-исследовательских работ определил ведущую роль его коллектива в период 1941–1945 гг., когда институт стал своеобразным «штабом» Томского комитета ученых содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в военное время [34. С. 11]. К тому времени он уже фактически являлся центром научно-технической мысли «советского Оксфорда».

В полной мере это относилось к активно формирующейся школе Кессениха–Сапожникова, ставшей кадровой основой для электро-радиотехнической комиссии Комитета. Имевшийся серьезный задел в изучении явлений электромагнетизма вкупе с традиционными для томского научного сообщества интегральными связями позволил творческой коллаборации местных физиков и техников осуществить, выражаясь современным языком, точечный, но тем не менее значимый «инновационный прорыв в импортозамещении». Под руководством профессора А.Б. Сапожникова доцент университета Б.П. Кашкин и старший лаборант индустриального института П.П. Одинцов в предельно сжатые сроки (в первые месяцы войны) изготовили по заказу лечебных учреждений г. Томска прибор под названием «Искатель осколков» («радиощуп»), который применялся врачебным персоналом в госпиталях и давал возможность быстро и точно обнаружить осколки снарядов в организме раненных бойцов и затем оперативным способом удалить их [4. С. 403].

В годы войны продолжала свои регулярные радионаблюдения под началом Б.П. Кашкина ионосферная

станция, выполнившая две специальные работы по заданию Наркомата связи: по составлению карты радиосвязи для европейской части СССР и по расчету и исследованию антенн военных радиостанций [35. Л. 5].

Великая Отечественная война позволила проявить свою гражданскую позицию и самым непосредственным образом. Лидер томских радиофизиков В.Н. Кессених (этнический немец), проректор университета по научной работе, добровольцем ушел на фронт в августе 1941 г., пробыв там до января 1943 г., он занимал должности помощника начальника связи 384-й стрелковой дивизии на Карельском и Северо-Западном фронтах и старшего помощника начальника радиоотделения 1-го отдела Управления связи Северо-Западного фронта, дослужившись в итоге до звания полковника [36]. В это же время он занимался совершенствованием ультракоротковолновой связи, разработав новые типы антенн, которые позволяли заметно увеличить дальность действия войсковых радиостанций [37].

С 1943 по 1952 гг. В.Н. Кессених занимал должности начальника лаборатории, отдела, затем был научным консультантом, помощником начальника ионосферно-волновой службы Центрального научно-исследовательского испытательного института связи Советской Армии (ЦНИИИС СА). Параллельно он состоял профессором физического факультета Московского государственного университета, заведывая основанной им кафедрой распространения волн. В 1948 г. временно исполнял обязанности декана. В 1945 г. В.Н. Кессених выполнял поручения начальника войск связи в советской оккупационной зоне Германии; после войны он неоднократно выезжал в Швейцарию и Данию в составе советских делегаций в качестве эксперта по радиофизике [14. С. 191]. В 1952 г. увидел свет главный труд его жизни – монография «Распространение радиоволн» [38]. После увольнения в запас в 1953 г. В.Н. Кессених вернулся в г. Томск.

В послевоенный период сложившаяся на тот момент томская научная школа радиофизики продолжила развитие усилиями своих признанных лидеров (В.Н. Кессених, А.Б. Сапожников и Б.П. Кашкин) и их учеников (В.И. Иванчиков, В.Г. Мышкин, М.С. Бобровников, И.Ф. Добровольский и др.).

Важнейшей вехой в организационной эволюции томской радиофизики стало открытие в 1953 г. первого и единственного за Уралом университетского радиофизического факультета, деканом которого стал В.Н. Кессених. Этому непосредственно предшествовало создание на физическом факультете в 1952 г. по инициативе Б.П. Кашкина и А.Б. Сапожникова кафедры радиофизики (первый заведующий – Б.П. Кашкин). Традиционное университетское стремление к тесному сочетанию работы по подготовке высококвалифицированных специалистов с проведением фундаментальных и прикладных научных исследований способствовало открытию в 1957 г. по специальному решению правительства на базе радиофизического факультета проблемной научно-исследовательской лаборатории радиофизики под руководством профессора В.Н. Кессениха.

При покровительстве В.Н. Кессениха в университете зародилась оригинальная школа кибернетики – еще одно знаковое научное направление эпохи. Спаянный характерным для радиофизиков энтузиазмом коллектив преподавателей, аспирантов и студентов под непосредственным руководством доцента П.П. Бирюлина (А.Д. Закревский, В.П. Тарасенко, Ф.П. Тарасенко, Г.А. Медведев и др.) выполнил ряд опытно-экспериментальных работ по прикладным вопросам теории информации и созданию электронно-вычислительных устройств. Организационная же поддержка со стороны директора СФТИ М.А. Кривова позволила уже в 1957 г. создать в университете проблемную лабораторию счетно-решающих устройств и одноименную лабораторию в институте [5. С. 285].

Томский политехнический институт: от радиофизики к радиотехнике

История томской радиофизики была бы неполной без анализа влияния ее институционализации на Томский политехнический институт. Предтечами этого направления в ТПИ стали его выпускники и сотрудники: инженер Б.А. Голубков, преподаватели В.В. Широков и А.А. Холодковский. Не останавливаясь подробно на их вкладе в развитие промышленности и радиотехники Томска (этому посвящена статья С.И. Кузнецовой [18]), отметим две характерные особенности, объединяющие деятельность этих исследователей:

1) ориентация на практические нужды народного хозяйства, в особенности военно-промышленного комплекса (ВПК);

2) тесная связь с представителями радиофизического сообщества, в частности с В.Н. Кессенихом и А.Б. Сапожниковым. Именно А.Б. Сапожников отметил Б.А. Голубкова, В.В. Широкова и А.А. Холодковского в своих воспоминаниях как деятелей, оказавших значительный вклад в развитие радиотехники Томска.

В 1946 г. в ТПИ был открыт электрофизический факультет в составе нескольких кафедр, в том числе кафедры радиотехники (с 1952 г. – теоретических основ радиотехники). Первыми ее сотрудниками стали доценты Р.М. Шевчук и А.И. Лихачев, ассистент Е.Н. Силов, аспирант И.А. Суслов, старший лаборант А.А. Бабакин и лаборант Г.И. Царегородцев. Газета Томского политехнического института «За кадры» отразила сложные условия, в которых коллективу кафедры пришлось начинать работу: «...не было специальных лабораторий, не хватало оборудования, не было опыта в организации учебного процесса, ощущался острый недостаток в преподавательских кадрах» [39].

Е.В. Падусова – студентка первого набора кафедры радиотехники, а позже преподаватель – оставила воспоминания о первых преподавателях кафедры: «Под их руководством мы создавали лабораторную базу: лабораторные работы по передающим и приемным устройствам, измерительной технике. Для нас это было большой школой» [40. С. 89]. Фундаментальные же знания молодым радиотехникам давали профессора и преподаватели Томского государственного универ-

ситета: «Лекции нам читали... профессора А.Б. Сапожников, В.Н. Кессених, А.И. Лихачев, доцент Б.П. Кашкин. Александр Борисович Сапожников... умел рассказывать про мультивибратор так, что студенты, заслушиваясь, забывали писать конспекты. Владимир Николаевич Кессених, ученый с мировым именем, излагал материал с такой точностью и логической последовательностью, что готовиться к экзаменам было легко, хоть курс «Распространение радиоволн» к легким отнести никак нельзя. То же можно сказать об Александре Ивановиче Лихачеве и Борисе Павловиче Кашкине. К тому же эти ученые были интеллигентами высшей пробы, что для лектора совершенно необходимо» [40. С. 90]. Производственная практика у первых студентов проходила на Новосибирском радиотехническом заводе, выполнение дипломных проектов – в научно-исследовательских институтах г. Новосибирска. Таким образом, обеспечивался тесный союз теории и практики в подготовке первых студентов-радиотехников г. Томска.

Г.В. Надоховский (выпускник факультета электронной техники ТИРиЭТа, поступивший в ТПИ по специальности «Промышленная электроника» в 1960 г.) отмечал в своих воспоминаниях, что радиотехники вместе с физико-техниками были «белой костью», элитой томских политехников, у которых была одна из самых высоких стипендий в г. Томске. «Под впечатлением от романтики научных открытий в ядерной физике и электронике, – отмечал он, – по соседству с секретным “пятым почтовым”, подогреваемый жаркими спорами о физиках и лириках, РТФ был одним из самых престижных факультетов, всегда имел высокий абитуриентский конкурс. Среди школьников конкурс составлял до девяти человек на место при проходном балле 15 (по трем профилирующим дисциплинам)» [Там же. С. 225]. С учетом того, что РТФ в 1960 г. исполнялось всего 10 лет с момента основания, это утверждение подчеркивает актуальность данного направления в условиях времени.

В октябре 1950 г. электрофизический факультет ТПИ был преобразован в два самостоятельных факультета – физико-технический и радиотехнический (РТФ). Первый набор студентов на РТФ состоялся в 1951 г., когда по двум специальностям («Радиотехника» и «Электровacuумная техника») было принято 175 человек. Позднее были открыты специальности «Конструирование и технология производства радиоаппаратуры», «Диэлектрики и полупроводники», «Промышленная электроника». В состав факультета на момент перевода в 1962 г. из ТПИ в ТИРиЭТ входили кафедры «Теоретические основы радиотехники», «Радиопередающие устройства», «Радиоприемные устройства», «Электронные приборы», «Диэлектрики и полупроводники» [8. С. 49].

Чтобы обучить такой обширный контингент студентов, в г. Томск были направлены молодые преподаватели, только что окончившие аспирантуру в вузах Москвы и Ленинграда либо имевшие небольшой стаж работы. Среди них оказался Евгений Иосифович Фиалко, прибывший в Томский политехнический институт из Московского авиационного института (МАИ).

Ему было суждено стать одной из ключевых фигур институционализации радиотехники в г. Томске.

В 1952 г. Е.И. Фиалко возглавил кафедру радиотехнической аппаратуры (РТА) [41]. Еще через год под его руководством начинаются работы по первой крупной научно-исследовательской работе на РТФ, заказчиком которой выступила Академия наук СССР. Перед коллективом Е.И. Фиалко была поставлена задача разработать и изготовить опытный образец радиолокационной станции наблюдения за метеорными следами («Тема 300»). Разработка коллектива, возглавляемого Е.И. Фиалко, была необходима и в рамках проведения Международного геофизического года (ММГ) с 01.06.1957 по 31.12.1958 – беспрецедентного по масштабам мероприятия, в котором участвовало около 80 тысяч ученых из 67 стран [42. С. 5]. Потребности освоения космического пространства, стоявшие за этим заказом, обусловили необходимость получения данных о верхних слоях атмосферы. Эти данные предполагалось собрать путем радиолокации метеорных следов. Важную роль в исследовании метеоров путем радиолокации играла необходимость их обнаружения во время космических полетов во избежание потенциальной возможности столкновения [43].

К выполнению поставленной задачи были привлечены преподаватели кафедры РТА, аспиранты и студенты старших курсов РТФ. Основными исполнителями (руководителями групп разработчиков) стали выпускники радиофизического факультета 1953 и 1954 гг. Ф.И. Перегудов, Л.П. Серафинович, Э.К. Немирова, И.Д. Золотарев, Р.П. Чеботарев, Д.И. Свирикин, В.В. Шульгин. Ответственным исполнителем был назначен будущий первый ректор ТИРиЭТа аспирант Г.С. Зубарев.

В.П. Денисов (выпускник РТФ 1956 г., главный инженер Томского конструкторского бюро «Проект», впоследствии заведующий кафедрой радиоэлектронных устройств (позднее переименована в кафедру радиотехнических систем) ТИРиЭТа, декан РТФ в 1991–2001 гг.) в своих воспоминаниях отметил лидерские качества молодого руководителя: «Закljučая договор, Е.И. Фиалко сильно рисковал. Кафедра РТА была только что создана. На ней не было ни одного инженера, имеющего опыт проектирования радиоаппаратуры, никакой производственной базы, литература – на уровне тогдашних вузовских учебников. Е.И. Фиалко мог рассчитывать только на выпускников факультета и студентов. Но он рискнул» [40. С. 80]. Так возникла благоприятная возможность для самореализации молодых исследователей на уровне сотрудничества с АН СССР.

Итогом работ коллектива стало создание двух радиолокационных станций. В 1956 г. коллектив закончил работу над ТПИ-1 и передал ее в Институт физики атмосферы АН СССР. С помощью этой установки в декабре 1956 г. Ф.И. Перегудов и В.А. Федоров провели пробные наблюдения метеорного потока Геминид на территории северного филиала Института физики атмосферы, расположенного на территории Мурманской области. Работа станции показала хорошие результаты, что укрепило веру коллектива в свои силы. По признанию Г.С. Зубарева, такой комплекс на

тот момент был единственным в СССР, прочие участники МГГ в те годы проводили исследования на переоборудованных армейских станциях П-2М. В результате благодаря реализации проекта под руководством Е.И. Фиалко возрос авторитет ТПИ среди научной и военной общественности не только в СССР, но и за рубежом [40. С. 10].

К началу Международного геофизического года коллективом была создана более совершенная станция ТПИ-2, установленная на полигоне на территории современного томского Академгородка. С начала 1957 по первую половину 1959 г. с помощью ТПИ-2 было проведено около 2 440 часов наблюдений, в ходе которых зарегистрировано 311 500 тыс. отражений от метеоров [44. С. 16–17]. Всего же за период Международного геофизического года и Международного геофизического сотрудничества (т.е. с 01.07.1957 по 31.12.1959) коллективом Е.И. Фиалко было проведено 4 062 часа наблюдений за метеорами. Результаты наблюдений впоследствии были отражены в диссертациях Е.И. Фиалко и Ф.И. Перегудова, а также опубликованы в ряде работ [45]. Были получены важные результаты в области геофизики, астрономии, радиофизики и др. [46]. Важно также отметить, что в процессе работы были заключены договоры с рядом академических институтов, в том числе с Институтом физики атмосферы АН СССР, министерствами образования, обороны, обсерваториями, некоторыми вузами страны. Так молодой коллектив радиофизиков встраивался в обширную сеть радиофизического сообщества СССР.

Признанием заслуг коллектива стало выдвижение в октябре 1959 г. от ТПИ Е.И. Фиалко и Ф.И. Перегудова на премию им. В.И. Ленина за «комплекс работ по разработке методики, аппаратуры и постановки исследований в СССР радиолокации метеоров в период Международного геофизического сотрудничества (МГГ–МГС)» [47]. Ф.И. Перегудов награжден не был, а Е.И. Фиалко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1961 г. получил орден «Знак почета» [48]. Несмотря на это, отношение к Ф.И. Перегудову на факультете было более чем восторженным. В одном из номеров газеты «За кадры» ему была посвящена отдельная небольшая заметка – большая редкость для молодых ученых того времени. «“Наш Феликс”, – любовно называют Перегудова у нас. И это действительно так. Его любят за принципиальность и огромное трудолюбие, за простоту и жизнерадостность. Политехнический институт выпустил немало инженеров, которые прославили его по всей стране. Феликс Иванович Перегудов – это один из тех, кем может гордиться ТПИ» [49].

В 1957 г. Е.И. Фиалко заключил новый договор с Главным артиллерийским управлением Министерства обороны СССР на разработку не менее амбициозного изобретения – измерителя координат работающей радиолокационной станции с помощью аппаратуры, расположенной в одном пункте местности, – «Пункт». Руководителем проекта стал Е.И. Фиалко, ответственным исполнителем – Ф.И. Перегудов (руководитель проекта с 1960 г.). Основной «рабочей силой» проекта,

по выражению В.П. Денисова, стали вчерашние студенты – сотрудники лаборатории И.Д. Золотарева, которые к тому моменту стали аспирантами. К ним присоединились выпускники РТФ 1956–1960 гг. Н.А. Сысоев, Г.Б. Григорьев, Б.Я. Маслов, М.М. Райзман, Ю.М. Полищук, В.Ф. Слюсарчук и др. Из Томского университета к работе над проектом подключились выпускники радиофизического факультета Б.А. Редькин, В.А. Замотринский, В.А. Наследник. Важную роль в процессе работы сыграли «ветераны»: К.П. Тарабрин и Х.С. Бакшт – участники Великой Отечественной войны, инженеры в составе радиолокационных станций [40. С. 83]. Параллельно Х.С. Бакшт работал на военной кафедре Томского государственного университета, где читал лекции по электронным схемам радиолокационных станций. Студент ТГУ О. Мясников охарактеризовал его так: «Образцовый интеллект и доброжелательность, в общем-то не характерные для военной кафедры, сочетались в Бакште с требовательностью и строгой военной дисциплиной во взаимоотношениях с окружающими... Это был живой пример поведения молодому радиофизику на предстоящую творческую жизнь» [50. С. 18]. Впоследствии Х.С. Бакшт заведовал кафедрой радиоуправления в Томском институте радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ).

В 1959 г. коллективом организуются полевые экспериментальные исследования распространения радиоволн в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Г.С. Шарыгин (выпускник РТФ 1957 г., многолетний зав. кафедрой РТС, декан РТФ ТИАСУРа в 1986–1991 гг., создатель и научный руководитель НИИ РТС, проректор по научной работе ТУСУРа 1991–1999 гг.) описал сложные условия, в которых пришлось работать вчерашним студентам: «В памяти остались снежные заносы, холодная заводка дизелей, ночное примерзание к стене вагончика, вооруженное “отражение атаки” местного пса на секретную технику... круглосуточные дежурства около самодельных приемников, среди замерзших волноводов и разбросанных полущубков...» [40. С. 72]. Несмотря на это экспедиции коллектива последовали одна за другой каждый год летом и зимой в течение последующих шести лет.

На чем базировалась мотивация членов коллектива, практически полностью состоящего из молодых исследователей? Ведь материально-бытовое положение аспирантов и молодых сотрудников ТПИ (о высоких стипендиях студентов РТФ было сказано выше) было неудовлетворительным. Обсуждая на страницах «За кадры» причины низкого уровня подготовки аспирантов, научной и учебной работы молодых сотрудников В. Волюнец (аспирант кафедры автоматики и телемеханики ТПИ) отмечал: «Посмотрите, как живут молодые ассистенты и аспиранты в поселке “Спутник”. Каждому человеку дается кровать, постель и стул. На комнату дается один стол. Нет ни красного уголка, ни телевизора или радиоприемника, ни газет, ни книг, ни журналов. В магазине часто отсутствуют самые необходимые продукты питания. Если тебе негде переночевать в городе, – забудь о театре, о симфонических концертах и вечерах, а вечерний сеанс в кино с девуш-

кой остается для тебя гриновской мечтой... Собрание комсомольцев ясно показало, что молодежь не хочет так больше жить и работать» [51].

Сказывалась на научной работе и перегруженность аспирантов (впрочем, как и всего профессорско-преподавательского состава) общественными поручениями. Здесь ТПИ не был исключением: такую же проблему отмечал среди студентов Томского госуниверситета директор Сибирского физико-технического института В.Д. Кузнецов [12. С. 123].

Опираясь на воспоминания современников, авторы данной статьи могут заключить, что среди других факторов, влияющих на мотивацию молодого коллектива под руководством Е.И. Фиалко, стоит выделить молодость и, как следствие, амбициозность его членов. Как отмечал Г.С. Шарыгин «...задача, которую перед нами поставили, была (курсив наш) настолько сложная, что и сейчас она не решена полностью. Но мы были молоды и полны энтузиазма и оптимизма. Почти сразу стало ясно, что основная проблема не в создании аппаратуры, а в преодолении трудностей и ограничений, которые накладывает среда распространения радиоволн. А каковы эти ограничения, можно было решить только путем опыта, эксперимента. Тогда и началась наша экспедиционная эпопея» [52. С. 1854].

Ставка на молодежь на радиотехническом факультете выразилась в создании по инициативе Ф.И. Перегудова первых студенческих конструкторских бюро (СКБ) в ТПИ [53]. Базой научно-исследовательских работ студентов стала работа, проводимая коллективом под руководством Е.И. Фиалко в рамках Международного геофизического года и Международного геофизического сотрудничества. Организация этих бюро была призвана не только углубить теоретические знания студентов, но и научить их применять полученные знания на практике, приобретая конструкторские навыки и умения самостоятельной работы. Ядром СКБ стали студенты В. Хазанов, В. Мариненко, Л. Бутаков, В. Бронников и др. [54, 55].

Условия работы в СКБ РТФ и его роль в формировании исследовательской составляющей студентов подробно отразились в воспоминаниях В.Я. Кривчика (выпускник ТИРиЭТа 1963 г., поступивший на РТФ в 1958 г. по специальности «Промышленная электроника»): «Это была настоящая студенческая организация со своим главным инженером, ведущими специалистами – студентами старших курсов, и младшекурсниками, исполнителями нижних уровней... Работы СКБ были в русле основной науки и хозяйственных кафедр... Задачи перед студентами ставились преподавателями и аспирантами кафедры, в том числе в виде заданий на курсовые и дипломные проекты. Студенты часто сами формулировали задачи, учились принимать решения, вели разработки, экспериментировали и добивались результата «в железе», «старшие» натаскивали младших, младшие учились и набирались опыта, все это происходило в атмосфере творчества и благожелательности. По результатам были доклады на семинарах и конференциях местного масштаба. Иными словами, на нас и вместе с нами работала добротная образовательно-воспитательная среда» [40. С. 211–212].

Активность научного студенческого общества РТФ также выразилась в работе над стенной газетой «Радист», занимавшейся организацией и популяризацией научной работы студентов факультета [56]. Неоднократно признавались образцовым среди факультетских газет (в том числе на конкурсах) газеты «Радиотехник» и «Выпрямитель» [Там же].

Стоит отметить еще два качества, присущие молодому коллективу радиотехников ТПИ: равноправие среди членов коллектива и нарочитая «военнизированность», характерная в целом для того периода среди молодежи. «У нас появились радиолокационные станции, гусеничные тягачи, полевые источники питания и другая техника, – отмечал в воспоминаниях В.П. Денисов. – Вместе с ней появился и обслуживающий персонал: водители, техники, лаборанты, снабженцы. Все они были равноправными членами коллектива и преданы делу. “Бывало, радиодетали из-под земли мы доставали. Теперь космическая эра, доставим и из-под Венеры”, – эта шутка из стенгазеты передает рабочую атмосферу в коллективе. Деление на руководителей и рядовых было только по выполняемым ими делам. “Сотрудники, прикидывающиеся рядовыми”, – написал Е.И. Фиалко на одной из моих служебных записок» [40. С. 83].

Работа над проектом «Пункт» была завершена в 1960 г. с созданием действующего макета аппаратуры и его полевыми испытаниями. В ходе реализации проекта Главное артиллерийское управление затребовало проведение опытно-конструкторских работ, которое РТФ не имело возможности выполнить. Попытка факультета при активном участии Ф.И. Перегудова организовать при ТПИ НИИ радиотехнического профиля не увенчалась успехом, в результате чего он увел коллектив проекта в конструкторское бюро Завода измерительной аппаратуры (основано в 1956 г.). Впоследствии на основе этого КБ был образован НИИ «Проект».

Неудавшаяся, на первый взгляд, попытка создания НИИ радиотехнического профиля в ТПИ окончилась созданием в апреле 1962 г. ТИРиЭТа – вуза, сосредоточившего главные силы г. Томска в указанных областях. В дальнейшем большая часть сотрудников, работавших над «Пунктом», начала свою работу в этом институте. Исследования, проводившиеся во второй половине 1950-х гг. под руководством Е.И. Фиалко и Ф.И. Перегудова в конечном итоге положили начало развитию радиотехнической промышленности в Томске и стали прекрасной базой подготовки специалистов этой отрасли [16. С. 192]. Тематика, разрабатываемая в рамках проекта «Пункт», в частности исследование влияния среды распространения радиоволн на работу радиотехнических систем и их рациональное проектирование, оказалась, по оценке В.П. Денисова, «практически неисчерпаемой» и на многие десятилетия определила работу многих научных коллективов ТИРиЭТа [40. С. 83]. Экспедиционные исследования, начатые коллективом на территориях Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, продолжались на Кавказе и в Крыму, а после – по акваториям Тихого и Индийского океанов.

Конечно, не стоит забывать, что работа коллектива Ф.И. Фиалко представляла лишь одну из кафедр радиотехнического факультета. Так, на кафедре теоретических основ радиотехники за эти годы развились два научных направления: широкополосные усилители (лидер И.А. Суслов) и фазоизмерительная техника (лидер К.М. Шульженко), ставших фундаментом становления ряда научных школ в Западной и Восточной Сибири. На кафедре телевидения и управления под руководством В.С. Мелихова было разработано, изготовлено и сдано в эксплуатацию 10 телецентров в городах Западной Сибири и Казахстана (подробнее об этом см.: [57, 58]). На кафедре электровакуумной техники (с 1957 г. – «Электронные приборы») под руководством Д.А. Носкова велись исследования над усовершенствованием конструкции и технологии изготовления электронного инжектора для бетатрона, а также по разработке нового ускорителя электронов – микротрона для синхротрона «Сириус». Под руководством Л.М. Ананьева на кафедре промышленной электроники разрабатывалось изготовление малогабаритных бетатронов – чрезвычайно перспективное направление того времени [8. С. 68].

Детальное описание развития указанных выше кафедр в 1950-е гг. потребовало бы отдельной и весьма обширной работы. Отметим лишь, что они внесли существенный вклад в развитие радиотехнического факультета, а в дальнейшем почти в полном составе перешли в ТИРиЭТ и стали основанием его успешной работы в течение многих десятилетий.

Выводы

Подводя итоги исследования, отметим, что множество выявленных нами примеров свидетельствуют о принципиальной кадровой открытости и идейной незамкнутости г. Томска, позволяют несколько дополнить дихотомию схемы центр-периферийных отношений в науке, типологизировав лидеров внутренней периферии на «провинциальные» (значение которых ограничено сугубо географической локацией) и «региональные» (агрегирующие с поправкой на географию потенциал практически со всего национального научного пространства) центры. К числу последних и стоит отнести г. Томск, внутренняя структура которого мало в чем отходила от столичных принципов организации науки и образования, уступавший Москве и Ленинграду скорее количественно, нежели качественно.

К концу 1950-х гг. сообщество томских радиофизиков оформилось не только идейно, но и институционально. Момент зарождения новой дисциплины совпал с обозначившейся устойчивой тенденцией начала двадцатых годов XX столетия к изучению производительных сил региона. Развитие школы шло в направлении приложения достижений науки к нуждам техники в лице местной промышленности. Прикладная направленность радиофизического сообщества была его характерной чертой. Это было обусловлено как уже упомянутой ориентацией на нужды ВПК, так и влиянием государственной власти, рассматривающей науку с утилитарной точки зрения, а тесную связь

науки и промышленности – как неотъемлемую составляющую развития народного хозяйства и прогресса общества. «Проводником» этой установки был Томский политехнический институт.

Молодое сообщество радиотехников ТПИ воспитывалось поколением военных в условиях начала холодной войны. Это поколение было пропитано духом советской коллективной ответственности и взаимовыручки, не боялось трудностей и обладало дерзостью в постановке научных задач и их решении. Оно имело мощную фундаментальную подготовку, основанную на традициях радиофизической школы Томского государственного университета и традициях Томского политехнического института в области подготовки инженерных кадров, и, кроме того, солидную практическую подготовку на предприятиях радиотехнического профиля и в академических институтах Томска и Новосибирска. Наконец, несмотря на то что положение аспирантов и молодых ученых как в вузах, так и в академических институтах было неудовлетворительным в материально-бытовом плане и проигрывало положению рабочих в радиотехнической отрасли, социальный статус радиотехника был высок. Это позволяет авторам данной работы выдвинуть гипотезу о том, что, будучи воспитанными в духе советского идеала служения Родине, молодое сообщество радиотехников в рассматриваемый период успешно преодолевало материальные затруднения, соответствуя идеалу «советского человека», который культивировался в СССР. Так формировалось молодое научное сообщество.

Очевидно, что поступательное развитие науки – области, традиционно зависящей от финансирования, в СССР не могло обойтись без участия государства. Однако движущими силами институционализации радиофизики следует признать лидеров научного сообщества, сумевших развить актуальную для своего времени научную тематику и основать научные традиции. В случае же томской радиофизики второй четверти двадцатого столетия мы имеем дело с экспериментально-творческим объединением, внутренние границы которого, определявшиеся текущим направлением и результатами совместного научного поиска, были важнее формальных званий и должностей. Фундаментом успешной работы стал томский научно-образовательный комплекс, располагающий сильными научными школами по целому ряду дисциплин.

Решающим же фактором в развитии томской радиофизики и радиотехники стало доставшееся местному научно-образовательному комплексу в наследство еще от дореволюционной эпохи наличие плотных связей между университетом и политехническим институтом: многие университетские радиофизики работали по совместительству в ТПИ, а часть институтских радиотехников – в университете. В результате взаимодействие традиций классического университета и политехнического института получилось весьма успешным. Подготовка инженеров-радиотехников в ТПИ оказывала свое влияние на специфику университетского образования томских радиофизиков, и наоборот. Особую роль играл и Сибирский физико-технический

институт, ставший устойчивой учебно-практической базой для студентов, «инкубатором» для аспирантов, карьерным трамплином для молодых ученых, а также

опытно-экспериментальной базой для проведения фундаментальных и прикладных исследований местными радиофизиками.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Говоря о радиофизике как о научном направлении, авторы в ряде случаев сознательно сужают фокус исследования до развития радиотехники, которая представляет собой яркий пример технической дисциплины, активно использующей методы радиофизики в удовлетворении нужд промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации : (утв. указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998/> (дата обращения 10.09.2020).
2. Визгин В.П., Кессених А.В. Советская физика в 1949–1960-е и последующие годы // К исследованию феномена советской физики 1950–1960-х гг. Социокультурные и междисциплинарные аспекты / Сост. и ред. В.П. Визгин, А.В. Кессених и К.А. Томилин. СПб. : РХГА, 2014. С. 102–168.
3. Балакшин А.С. Первые шаги радиотехники в Сибири // Высшая школа и научно-педагогические кадры Сибири (1917–1941 гг.). Новосибирск, 1980. С. 64–76.
4. Зайченко П.А. Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева : очерки по истории первого сибирского университета за 75 лет (1880–1955 гг.). Томск, 1960. 478 с.
5. Синаев В.С., Кирсанова Е.С., Плотникова М.Е. и др. Томский университет. 1880–1980 : очерк истории и деятельности / отв. ред. М.Е. Плотникова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. 431 с.
6. Развитие физических наук в Томском университете : сб. ст. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. 125 с.
7. Томский политехнический университет. 1896–1996 : исторический очерк / под ред. А.В. Гагарина. Томск : Изд-во ТПУ, 1996. 448 с.
8. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 1962–2002 годы : исторический очерк / отв. ред. В.Т. Петрова. Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2002. 175 с.
9. Литвинов А.В. Образование и наука в Томском государственном университете в 20–30-е гг. XX в. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. 156 с.
10. Петров К.В. Профессорско-преподавательский состав Томского университета: 1945 начало 80-х гг. : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2004. 235 с.
11. Ульянов А.С. Томский государственный университет в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2007. 258 с.
12. Сорокин А.Н. Взаимодействие научного сообщества физиков Сибири и власти в первое послевоенное десятилетие (на примере Томского научно образовательного комплекса) // Былые годы. 2013. № 1 (27). С. 120–125.
13. Профессора Томского университета : биограф. словарь / отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 1996. Вып. 1: 1888–1917. 288 с.
14. Профессора Томского университета : биограф. словарь / гл. ред. С.Ф. Фоминых; Том. гос. ун-т. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 2. 544 с.
15. Профессора Томского университета : биограф. словарь / отв. ред. С.Ф. Фоминых; Том. гос. ун-т. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. 530 с.
16. Профессора Томского политехнического университета : биограф. справочник : в 2 ч. / авт.-сост.: А.В. Гагарин, Г.П. Сергеевых; под ред. В.Я. Ушакова; Том. политех. ун-т. Томск : Изд-во ТПУ, 2006. Т. 3, ч. 2. 265 с.
17. Демин В.В., Завьялов А.С., Малянов С.В. Первый и единственный за Уралом // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 278. С. 6–16.
18. Кузнецова С.И. Первые радиотехники в Томском технологическом // Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 313, № 4. С. 115–120.
19. Морев В.А. История средств и способов связи Томской губернии второй половины XIX первой четверти XX вв. : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2004. 284 с.
20. Миркин В.В. История системы связи Западной Сибири в 1921–1941 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2005. 258 с.
21. Костерев А.Г., Хаминов Д.В. Томский научно-образовательный комплекс (посл. четв. XIX – сер. XX в.) // Вестник ТГПУ. 2012. Вып. 9. С. 13–20.
22. Балакшин А.С. Развитие радиотехники в г. Томске в период 1919–1930 гг. : машинописная рукопись воспоминаний. 148 с.
23. Минц А.Л. Первая в Европе радиовещательная передача на коротких волнах // Новости Радио. 1926. № 5.
24. Бобровников М.С., Дмитренко А.Г. Радиофизические исследования в Томском университете // Развитие физических наук в Томском университете : сб. ст. Томск, 1981. С. 82–105.
25. Телеграфная связь с Востоком прервана наводнением // Красное Знамя. 1928. 30 июля.
26. Фоминых С.Ф., Куш В.В., Потекаев А.И. Организация СФТИ и его деятельность в предвоенный период: исторический очерк // Сибирский физико-технический институт: история создания и становления в документах и материалах (1928–1941 гг.). Томск, 2005. С. 7–54.
27. Костерев А.Г. «Отец сибирской физики». Академик В.Д. Кузнецов. Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2016. 175 с.
28. Кессених В.Н. Волновое сопротивление однопроводной линии при возбуждении её сосредоточенной ЭДС // Доклады АН СССР. 1940. Т. 27, № 6. С. 558–562.
29. Телевидение и телевещание в 1932 г. // Радиофронт. 1932. № 1.
30. Детинко В.Н. Исследования по радиоэлектронике в Томском университете // Развитие физических наук в Томском университете : сб. ст. Томск, 1981. С. 52–71.
31. Сорокин А.Н. Первая региональная физическая конференция в Томске весной 1934 года как явление консолидации научного сообщества для решения задач индустриализации Сибири // Вестник Новосибирского государственного университета. 2012. Т. 11, вып. 1. С. 131–136.
32. Кессених В.Н. Вопросы исследования ионосферы и солнечные затмения // Журнал технической физики. 1937. № 7. С. 1141–1152.
33. Кессених В.Н., Булатов Н.Д., Бэрвальд Г.Г., Денисов В.Г. Ионосферные наблюдения во время полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. в г. Томске // Журнал технической физики. 1937. № 7. С. 1238–1252.
34. Фоминых С.Ф., Ульянов А.С. Томский университет: от первого дня войны до последнего // С верой в победу! Томский университет в годы Великой Отечественной войны : сб. док. и воспоминаний. Томск, 2005. 232 с.
35. Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 80. Оп. 3. Д. 241.
36. Гость с фронта // Красное знамя. 1942. 23 дек.
37. «Наша тревожная молодость, Северо-Западный фронт...» // За советскую науку. 1975. 30 апр.
38. Кессених В.Н. Распространение радиоволн. М., 1952. 488 с.
39. Первый в Сибири // За кадры. 1960. 11 мая.

40. Из прошлого в будущее : воспоминания и размышления выпускников и ветеранов университета / отв. ред. Н.Н. Чернышева. Томск : Изд-во Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2002. 238 с.
41. Фиалко Евгений Иосифович. URL: wiki.tpu.ru/wiki/Фиалко_Евгений_Иосифович (дата обращения: 13.08.2020).
42. Располов О.М., Кузьмин И.А., Харин Е.П. К 50-летию международного геофизического года (1957–1958 гг.) : от I Международного полярного года (1882–1883 гг.) до Международного гелиофизического года (2007–2008 гг.) и Международного полярного года (2007–2009 гг.) // Геомагнетизм и Аэрономия. 2007. Т. 47, № 1. С. 3–10.
43. Для развития радиотехники // За кадры. 1959. 6 мая.
44. Фиалко Е.И., Перегудов Ф.И., Немирова Э.К. и др. Некоторые результаты радиолокационных наблюдений метеоров в Томске в период 1957–1959 гг. // Известия Томского политехнического института. 1962. Т. 100. С. 16–19.
45. По заданию МГТ // За кадры. 1960. 11 мая.
46. Ученые института семилетке // За кадры. 1959. 25 марта.
47. С Ученого совета // За кадры. 1959. 4 нояб.
48. Они награждены орденом Ленина // За кадры. 1961. 20 сент.
49. Путь в большую науку // За кадры. 1960. 5 нояб.
50. Друзей прекрасные черты : выпускники РФФ–57 о ТГУ и о себе : [сб. ст.] / сост. Ю.М. Гармаш, В.А. Замотринский, Г.А. Медведев и др.; ред. М.П. Рыжковская и др.; Том. гос. ун-т. Томск : Изд-во НТЛ, 2007. 239 с.
51. Объединить усилия научной молодежи // За кадры. 1963. 23 янв.
52. Ермолов П.П. Исследователь тропосферных радиоканалов над морской поверхностью : памяти профессора Г.С. Шарыгина (1930–2018) // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (Крымико'2018) : материалы 28-ой Междунар. Крымской конф. Севастополь, 9–15 сентября 2018 г. Севастополь, 2018. С. 1851–1862.
53. О тех, кто дружен с наукой // За кадры. 1959. 22 апр.
54. Работаем с душой // За кадры. 1959. 17 дек.
55. Популяризовать работу научных кружков // За кадры. 1952. 11 марта.
56. Стенная печать института // За кадры. 1954. 4 мая.
57. Кондаков П.П. 55 лет томскому телевидению // Томский политехник. 2010. Вып. 16. С. 88–91.
58. Мелихов С.В. Ведущий создатель томского телевидения Мелихов Всеволод Сергеевич // Из прошлого в будущее : воспоминания и размышления выпускников и ветеранов университета / отв. ред. Н.Н. Чернышева. Томск : Изд-во Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2002. С. 143–150.

Viktor V. Raskolets, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (Tomsk, Russian Federation) E-mail: predator-101@mail.ru

Anton G. Kosterev, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (Tomsk, Russian Federation) E-mail: antonkosterev@rambler.ru

Maksim Yu. Kim, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (Tomsk, Russian Federation). E-mail: maksim.i.kim@tusur.ru

RADIOPHYSICAL COMMUNITY IN TOMSK IN THE 1910–1960s: INSTITUTIONALIZATION OF THE DIRECTION AND THE LEADERS' ROLE IN THE DEVELOPMENT

Keywords: radiophysics; radio engineering; radio electronics; Tomsk State University; Tomsk Polytechnic University; V.N. Kessenich, A.B. Sapozhnikov; F.I. Peregudov.

The article reconstructs the history of the formation and development of radiophysics on the basis of archival materials, periodicals, memoirs and scientific works of contemporaries. The authors focus on the local radiocommunity that played an important role in the institutionalization of one of the scientific breakthrough direction of the 20th century in Tomsk.

It is noted that the works of the representatives of the school of the science history and higher education in Siberia under the leadership of S.F. Fominikh were significant. The reviews in the jubilee publications were of great importance for the research. The dictionaries made by professors of Tomsk State and Polytechnic Universities played prominent role.

It is emphasized that the period of formation of Tomsk radiophysics fell on the 1920s. The first steps of Tomsk radiophysics were extremely practice-oriented with the evident bias to radio engineering. A new scientific direction was appearing under interfacing the research interest of scientists and the enthusiasm of radio amateurs. As one of the priority directions, Tomsk radiophysics was formed after the foundation of the Siberian Physics and Technology Institute (SPhTI). The applied character of searching and scientific works at SPhTI evaluated the leading role of its personnel within the period of 1941–1945 when the institute became the so-called “staff” of Tomsk scientists’ committee assisting industry, transport and agriculture during the war.

It is indicated that the practical needs of national economy particularly of military and industrial complex made it necessary to open electrophysical faculty at Tomsk Polytechnic Institute in 1946. However, Tomsk Polytechnic Institute became the center of training of radio technicians only in 1950 with the opening of the radio engineering faculty. The personnel and students of TPI managed to achieve the cooperation between their scientific and technology radioengineering research and the Academy of Sciences of USSR as well as the Ministry of Defense, thereby strengthening the scientific authority at the all-Union level.

It is concluded that by the end of 1950s the community of Tomsk radio technicians was institutionally formed. Progressive development of radiophysics in Tomsk allows to assume that Tomsk by the end of 1950s had become the “regional” leading city within the center and periphery cooperation between scientific-educational complexes. The applied orientation of the radiophysical community was its peculiarity. The motive forces of physics institutionalization were undoubtedly the leaders of the radiophysical community, who managed to develop scientific subject area, actual for their time and to form some scientific traditions.

REFERENCES

1. Russian Federation. (2016) *Strategiya nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii: (utv. ukazom Prezidenta RF ot 01.12.2016 № 642)* [Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation: (approved by Decree No. 642 of the President of the Russian Federation of December 1, 2016)]. [Online] Available from: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998/> (Accessed: 10th September 2020).
2. Vizgin, V.P. & Kessenikh, A.V. (2014) *Sovetskaya fizika v 1949–1960-e i posleduyushchie gody* [Soviet physics in 1949–1960 and later]. In: Vizgin, V.P., Kessenikh, A.V. & Tomilin, K.A. *K issledovaniyu fenomena sovetskoy fiziki 1950–1960-kh gg. Sotsiokul'turnye i mezhdistsiplinarnye aspekty* [On the study of the phenomenon of Soviet physics in the 1950–1960s. Sociocultural and interdisciplinary aspects]. St. Petersburg: RKhGA. pp. 102–168.

3. Balakshin, A.S. (1980) Pervye shagi radiotekhniki v Sibiri [The first steps of radio engineering in Siberia]. In: Soskin, V.L. (ed.) *Vysschaya shkola i nauchno-pedagogicheskie kadry Sibiri (1917–1941 gg.)* [Higher school and scientific and pedagogical personnel of Siberia (1917–1941)]. Novosibirsk, 1980. pp. 64–76.
4. Zaychenko, P.A. (1960) *Tomskiy gosudarstvennyy universitet imeni V.V. Kuybysheva: ocherki po istorii pervogo sibirskogo universiteta za 75 let (1880–1955 gg.)* [Tomsk State University named after V.V. Kuibyshev: essays on the history of the first Siberian university for 75 years (1880–1955)]. Tomsk: Tomsk State University.
5. Sinyaev, V.S., Kirsanova, E.S., Plotnikova, M.E. et al. (1980) *Tomskiy universitet. 1880–1980: ocherk istorii i deyatelnosti* [Tomsk University. 1880–1980: an outline of history and activities]. Tomsk: Tomsk State University.
6. Gaman, V.I. & Krivov, M.A. (1981) *Razvitie fizicheskikh nauk v Tomskom universitete* [Development of Physics at Tomsk University]. Tomsk: Tomsk State University.
7. Gagarin, A.V. (ed.) (1996) *Tomskiy politekhnicheskii universitet. 1896–1996: istoricheskiy ocherk* [Tomsk Polytechnic University. 1896–1996: a historical sketch]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University.
8. Petrova, V.T. (ed.) (2002) *Tomskiy gosudarstvennyy universitet sistem upravleniya i radioelektroniki. 1962–2002 gody: istoricheskiy ocherk* [Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics. 1962–2002: a historical sketch]. Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics.
9. Litvinov, A.V. (2006) *Obrazovanie i nauka v Tomskom gosudarstvennom universitete v 20–30-e gg. XX v.* [Education and Science at Tomsk State University in the 1920s and 1930s]. Tomsk: Tomsk State University.
10. Petrov, K.V. (2004) *Professorsko-prepodavatel'skiy sostav Tomskogo universiteta: 1945 nachalo 80-kh gg.* [Faculty of Tomsk University: 1945 – early 1980s]. History Cand. Diss. Tomsk.
11. Ulyanov, A.S. (2007) *Tomskiy gosudarstvennyy universitet v gody Velikoy Otechestvennoy voyny 1941–1945 gg.* [Tomsk State University during the Great Patriotic War of 1941–1945]. History Cand. Diss. Tomsk.
12. Sorokin, A.N. (2013) Interaction of Academic Community of Siberian Physicists with Authorities in the First Post-war Decade (Tomsk Scientific and Educational Park Case Study). *Bylye gody*. 1(27). pp. 120–125.
13. Fominykh, S.F. (ed.) (1996) *Professora Tomskogo universiteta* [Professors of Tomsk University]. Vol. 1. Tomsk: Tomsk State University.
14. Fominykh, S.F. (ed.) (1998) *Professora Tomskogo universiteta* [Professors of Tomsk University]. Vol. 2. Tomsk: Tomsk State University.
15. Fominykh, S.F. (ed.) (2001) *Professora Tomskogo universiteta* [Professors of Tomsk University]. Vol. 3. Tomsk: Tomsk State University.
16. Gagarin, A.V. & Sergeevykh, G.P. (2006) *Professora Tomskogo politekhnicheskogo universiteta* [Professors of Tomsk Polytechnic University]. Vol. 3. Tomsk: Tomsk Polytechnic University.
17. Demin, V.V., Zavyalov, A.S. & Malyanov, S.V. (2003) Pervyy i edinstvennyy za Uralom [The first and only one beyond the Urals]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 278. pp. 6–16.
18. Kuznetsova, S.I. (2008) Pervye radiotekhniki v Tomskom tekhnologicheskoy [The first radio engineers in the Tomsk Technological University]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta – Bulletin of Tomsk Polytechnic University*. 313(4). pp. 115–120.
19. Morev, V.A. (2004) *Istoriya sredstv i sposobov svyazi Tomskoy gubernii vtoroy poloviny XIX pervoy chetverti XX vv.* [The history of the means and methods of communication in the Tomsk province in the second half of the 19th and first quarter of the 20th centuries]. History Cand. Diss. Tomsk.
20. Mirkin, V.V. (2005) *Istoriya sistemy svyazi Zapadnoy Sibiri v 1921–1941 gg.* [The history of the communication system of Western Siberia in 1921–1941]. History Cand. Diss. Tomsk.
21. Kosterev, A.G. & Khaminov, D.V. (2012) Tomsk Scientific and Educational Complex (last quarter of the 19-th – the middle of the 20-th century). *Vestnik TGPU – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 9. pp. 13–20.
22. Balakshin, A.S. (n.d.) *Razvitie radiotekhniki v g. Tomске v period 1919–1930 gg.* [Development of radio engineering in Tomsk in 1919–1930]. [Typescript].
23. Mints, A.L. (1926) Pervaya v Evrope radioveshchatel'naya peredacha na korotkikh volnakh [The first radio broadcasting on short waves in Europe]. *Novosti Radio*. 5.
24. Bobrovnikov, M.S. & Dmitrenko, A.G. (1981) Radiofizicheskie issledovaniya v Tomskom universitete [Radiophysical research at Tomsk University]. In: Gaman, V.I. & Krivov, M.A. (1981) *Razvitie fizicheskikh nauk v Tomskom universitete* [Development of Physics at Tomsk University]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 82–105.
25. *Krasnoe Znamya*. (1928) Telegrafnaya svyaz' s Vostokom prervana navodneniem [Telegraph communication with the East interrupted by flood]. 30th July.
26. Fominykh, S.F., Kushch, V.V. & Potekaev, A.I. (2005) Organizatsiya SFTI i ego deyatelnost' v predvoennyy period: istoricheskiy ocherk [Organization of SPTI and its activities in the pre-war period: a historical sketch]. In: *Sibirskiy fiziko-tekhnicheskii institut: istoriya sozdaniya i stanovleniya v dokumentakh i materialakh (1928–1941 gg.)* [Siberian Institute of Physics and Technology: history of creation and formation in documents and materials (1928–1941)]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 7–54.
27. Kosterev, A.G. (2016) “Otets sibirskoy fiziki”. *Akademik V.D. Kuznetsov* [“Father of Siberian Physics”. Academician V.D. Kuznetsov]. Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics.
28. Kessenikh, V.N. (1940) Volnovoe soprotivleniye odnoprovodnoy linii pri vzbuzhdenii ee sosredotochennoy EDS [Wave resistance of a single-wire line upon excitation of its concentrated EMF]. *Doklady AN SSSR*. 27(6). pp. 558–562.
29. Anon. (1932) Televidenie i teleshchaniye v 1932 g. [Television and television broadcasting in 1932]. *Radiofront*. 1.
30. Detinko, V.N. (1981) Issledovaniya po radioelektronike v Tomskom universitete [Research in radio electronics at Tomsk University]. In: Gaman, V.I. & Krivov, M.A. (1981) *Razvitie fizicheskikh nauk v Tomskom universitete* [Development of Physics at Tomsk University]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 52–71.
31. Sorokin, A.N. (2012) The first regional physical conference in Tomsk in spring OF 1934 as the phenomenon of consolidation of scientific community for decision of problems of Siberia's industrialization. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta – Novosibirsk State University Bulletin*. 11(1). pp. 131–136. (In Russian).
32. Kessenikh, V.N. (1937) Voprosy issledovaniya ionosfery i solnechnye zatmeniya [Research of ionosphere and solar eclipses]. *Zhurnal tekhnicheskoy fiziki*. 7. pp. 1141–1152.
33. Kessenikh, V.N., Bulatov, N.D., Bervald, G.G. & Denisov, V.G. (1937) Ionosfernye nablyudeniya vo vremya polnogo solnechnogo zatmeniya 19 iyunya 1936 g. v g. Tomске [Ionospheric observations during the total solar eclipse on June 19, 1936, in Tomsk]. *Zhurnal tekhnicheskoy fiziki*. 7. pp. 1238–1252.
34. Fominykh, S.F. & Ulyanov, A.S. (2005) Tomskiy universitet: ot pervogo dnya voyny do poslednego [Tomsk University: from the first day of the war to the last]. In: Fominykh, S.F. (ed.) *S veroy v pobedu! Tomskiy universitet v gody Velikoy Otechestvennoy voyny* [With faith in victory! Tomsk University during the Great Patriotic War]. Tomsk: Tomsk State University.
35. The Center for Documentation of the Contemporary History of the Tomsk Region (CDNI TO). Fund 80. List 3. File 241.
36. *Krasnoe znamya*. (1942) Gost' s fronta [Guest from the front]. 23rd December.
37. *Za sovetskuyu nauku*. (1975) “Nasha trevozhnaya molodost', Severo-Zapadnyy front...” [“Our Troubled Youth, the North-Western Front ...”]. 30th April.
38. Kessenikh, V.N. (1952) *Rasprostraneniye radiovoln* [Propagation of radio waves]. Moscow: Gos. Izd. techn.-teoret. lit.
39. *Za kadry*. (1960) Pervyy v Sibiri [First in Siberia]. 11th May.

40. Chernysheva, N.N. (ed.) (2002) *Iz proshlogo v budushchee : vospominaniya i razmyshleniya vypusnikov i veteranov universiteta* [From the past to the future: memoirs and reflections of graduates and veterans of the university]. Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics.
41. Wiki.tpu.ru. (n.d.) *Fialko Evgeniy Iosifovich*. [Online] Available from: wiki.tpu.ru/wiki/Fialko_Evgeniy_Iosifovich (Accessed: 13th August 2020).
42. Raspopov, O.M., Kuzmin, I.A. & Kharin, E.P. (2007) K 50-letiyu mezhdunarodnogo geofizicheskogo goda (1957–1958 gg.): ot I Mezhdunarodnogo polyarnogo goda (1882–1883 gg.) do Mezhdunarodnogo geliofizicheskogo goda (2007–2008 gg.) i Mezhdunarodnogo polyarnogo goda (2007–2009 gg.) [To the 50th anniversary of the International Geophysical Year (1957–1958): from the First International Polar Year (1882–1883) to the International Heliophysical Year (2007–2008) and the International Polar Year (2007–2009)]. *Geomagnetizm i Aeronomiya*. 47(1). pp. 3–10.
43. *Za kadry*. (1959) Dlya razvitiya radiotekhniki [For the development of radio engineering]. 6th May.
44. Fialko, E.I., Peregodov, F.I., Nemirova, E.K. et al. (1962) Nekotorye rezultaty radiolokatsionnykh nablyudeniye meteorov v Tomske v period 1957–1959 gg. [Some results of radar observations of meteors in Tomsk in the period 1957–1959]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo instituta*. 100. pp. 16–19.
45. *Za kadry*. (1960a) Po zadaniyu MGG [On the instructions of MGY]. 11th May.
46. *Za kadry*. (1959a) Uchenye instituta semiletke [Scientists of the seven-year institute]. 25th March.
47. *Za kadry*. (1959b) S Uchenogo soveta [From the Academic Council]. 4th November.
48. *Za kadry*. (1961) Oni nagrazhdeny ordenom Lenina [They were awarded the Order of Lenin]. 20th September.
49. *Za kadry*. (1960b) Put' v bol'shuyu nauku [The way to big science]. 5th November.
50. Garmash, Yu.M., Zamotrin, V.A., Medvedev, G.A. et al. (2007) *Druzey prekrasnye cherty: vypusniki RFF–57 o TGU i o sebe* [Friends are wonderful traits: graduates of the RFF-57 about TSU and about themselves]. Tomsk: NTL.
51. *Za kadry*. (1963) Ob'edinit' usiliya nauchnoy molodezhi [Combine the efforts of scientific youth]. 23rd January.
52. Ermolov, P.P. (2018) Issledovatel' troposfernykh radiokanalov nad morskoy poverkhnost'yu: pamyati professora G.S. Sharygina (1930–2018) [Researcher of tropospheric radio channels over the sea surface: in memory of Professor G.S. Sharygin (1930–2018)]. *SVCh-tekhnika i telekommunikatsionnye tekhnologii (Krymiko'2018)* [Microwave equipment and telecommunication technologies (Krymiko'2018)]. Proc. of the 28th International Conference. Sevastopol, September 9–15, 2018. Sevastopol. pp. 1851–1862.
53. *Za kadry*. (1959c) O tekh, kto druzhen s naukoy [About those who are friendly with science]. 22nd April.
54. *Za kadry*. (1959d) Rabotaem s dushoy [We work with soul]. 17th December.
55. *Za kadry*. (1952) Populyarizovat' rabotu nauchnykh kruzhkov [To popularize the work of scientific circles]. 11th March.
56. *Za kadry*. (1954) Stennaya pechat' instituta [The Institute wall newspapers]. 4th May.
57. Kondakov, P.P. (2010) 55 let tomskomu televideniyu [55 years of Tomsk television]. *Tomskiy politekhnichesk. 16*. pp. 88–91.
58. Melikhov, S.V. (2002) Vedushchiy sozdatel' tomskogo televideniya Melikhov Vsevolod Sergeevich [Lead founder of Tomsk television Vsevolod Sergeevich Melikhov]. In: Chernysheva, N.N. (ed.) *Iz proshlogo v budushchee : vospominaniya i razmyshleniya vypusnikov i veteranov universiteta* [From the past to the future: memoirs and reflections of graduates and veterans of the university]. Tomsk: Tomsk University of Control Systems and Radioelectronics. pp. 143–150.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АКСЯНОВА Галина Андреевна, кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН (Москва); научный сотрудник Лаборатории археологических и этнографических исследований Западной Сибири Национального исследовательского Томского государственного университета. E-mail: gaksyanova@gmail.com

БАРАНОВА Светлана Измайловна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета (Москва) E-mail: svetlanbaranova@yandex.ru

БЕЛЯЕВ Леонид Андреевич, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделом Московской Руси Института археологии РАН (Москва); ведущий научный сотрудник Лаборатории археолого-этнографических исследований Западной Сибири Национального исследовательского Томского государственного университета. E-mail: labeliaev@bk.ru

БЕРЕЗКИН Юрий Евгеньевич, доктор исторических наук, заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург). E-mail: berezkin1@gmail.com

БОБРОВ Владимир Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом гуманитарных исследований Института экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово); заведующий кафедрой археологии Кемеровского государственного университета. E-mail: bobrov4545@mail.ru

БАГАШЁВ Анатолий Николаевич, доктор исторических наук, директор Тюменского научного центра СО РАН. E-mail: bagashev@ipdn.ru

ВАРЕНОВ Андрей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения Гуманитарного института Новосибирского государственного университета. E-mail: avvarenov@mail.ru

ГАЗИМЗЯНОВ Ильгизар Равильевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИЛ междисциплинарных, инновационных и научно-практических археологических и этнологических исследований кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института международных отношений Казанского федерального университета. E-mail: g-ilgizar@yandex.ru

ГАНЕНОК Владимир Юрьевич, магистрант Института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета. E-mail: vova.ganenok.96@mail.ru

ИСМАЙЛОВА Эмира Рзахан кызы, преподаватель истории, обществознания и философии Кемеровского профессионально-технического техникума, соискатель кафедры археологии Института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета. E-mail: ismaiylowa.esmira@mail.ru

КАРЛОВА Ксения Федоровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории и культуры Древнего Востока Института востоковедения РАН (Москва). E-mail: kseniadom87@mail.ru

КИТОВА Людмила Юрьевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры археологии Института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета. E-mail: lyudmila.kitova@mail.ru

КОБЕЛЕВА Лилия Сергеевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск). E-mail: kobeleva@archaeology.nsc.ru

КОСТЕРЕВ Антон Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и социальной работы Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. E-mail: antonkosterev@rambler.ru

КУДИНОВА Мария Андреевна, кандидат исторических наук, докторант Пекинского университета (Китай). E-mail: maria-kudinova@yandex.ru

ЛАПШИН Владимир Анатольевич, доктор исторических наук, директор Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург). E-mail: vladimirlapshin51@yandex.ru

МОЛОДИН Вячеслав Иванович, академик РАН, главный научный сотрудник, заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск). E-mail: molodin@archaeology.nsc.ru

МЫЛЬНИКОВА Людмила Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск). E-mail: l.mylnikova@yandex.ru

НАДЬ Золтан, PhD Habil., професор, заведующий кафедрой этнографии и культурной антропологии Университета г. Печ (Венгрия). E-mail: nagy.zoltan@pte.hu

НЕСТЕРОВА Марина Сергеевна, кандидат исторических наук, ученый секретарь Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск). E-mail: msnesterova@gmail.com

ОКТАБРЬСКАЯ Ирина Вячеславовна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), профессор Новосибирского государственного университета. E-mail: siem405@yandex.ru

ПИВНЕВА Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, заведующая отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН (Москва). E-mail: pivnel@mail.ru

ПЛАСТЕЕВА Наталья Алексеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург); старший научный сотрудник Алтайского государственного университета (Барнаул). E-mail: natalya-plasteeva@yandex.ru

РАСКОЛЕЦ Виктор Владимирович, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник НОЦ «Истории и социальной работы» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. E-mail: predator-101@mail.ru

РЫНДИНА Ольга Михайловна, доктор исторических наук, профессор кафедры музеологии, культурного и природного наследия Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского государственного университета. E-mail: gynom_97@mail.tomsknet.ru

САВЕНКОВА Татьяна Михайловна, старший лаборант кафедры анатомии человека лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. E-mail: reis_05@bk.ru

РЫКУН Марина Петровна, кандидат исторических наук, заведующая кабинетом антропологии Национального исследовательского Томского государственного университета. E-mail: m_rykun@mail.ru

СМЕРДИНА Лидия Николаевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической и ортопедической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета. E-mail: 582998@kemtel.ru

СМЕРДИНА Юлия Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической и ортопедической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета. E-mail: 582998@kemtel.ru

СОЛОДОВНИКОВ Константин Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора физической антропологии Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН. E-mail: solodk@list.ru

ТИШКИН Алексей Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета (Барнаул). E-mail: tishkin210@mail.ru

ТОМИЛОВ Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН). E-mail: n.a.tomilov@gmail.com

ФУРСОВА Елена Федоровна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, заведующая отделом этнографии Института археологии и этнографии СО РАН. E-mail: mfl1@mail.ru

ХОХОРОВСКИ Ян, доктор гуманитарных наук, государственный профессор, Институт археологии Ягеллонского университета в Кракове (Польша). E-mail: j.chochorowski@uj.edu.pl

ШЕВЕЛЕВ Дмитрий Николаевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории древнего мира, средних веков и методологии истории факультета исторических и политических наук Национального исследовательского Томского государственного университета. E-mail: shev-dn@yandex.ru

ШЕРСТОВА Людмила Ивановна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры российской истории факультета исторических и политических наук Национального исследовательского Томского государственного университета. E-mail: sherstova58@mail.ru

ШНИРЕЛЬМАН Виктор Александрович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (Москва), член Европейской академии наук. E-mail: shnirv@mail.ru

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ

Научный журнал

2020 № 68

Председатель редакционного совета – Э.В. Галажинский

Главный редактор – В.П. Зиновьев

Ответственный секретарь – Е.А. Федосов

Подписано к печати 15.12.2020 г. Формат 60х84^{1/8}. Бумага белая писчая. Гарнитура Times New Roman.
Цифровая печать. Печ. л. 24,5. Усл. печ. л. 22,8. Тираж 50 экз. Заказ № 4506. Цена свободная.

Дата выхода в свет 18.12.2020 г.

Редактор Е.Г. Шумская

Оригинал-макет Е.Г. Шумской

Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой

Редакторы-переводчики – А.А. Глущенко, В.Н. Горенинцева

Журнал отпечатан на полиграфическом оборудовании
Издательства Томского государственного университета
634050, г. Томск, Ленина, 36
Телефон 8+(382-2)–53-15-28

Учредитель – Томский государственный университет

Периодичность издания шесть номеров в год. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию.
Ознакомиться с полнотекстовой версией журнала и требованиями к оформлению материалов можно на сайте: <http://journals.tsu.ru/history>

Founder – Tomsk State University

Tomsk State University Journal of History is issued six times per year. The Journal uses double-blind peer review of all articles.

Full-text versions of the issues are available on the website of the Journal: <http://journals.tsu.ru/history>.

The instruction for authors on paper submission is on the website of the Journal: <http://journals.tsu.ru/history>. Free price

ISSN 1998-8613, e-ISSN 2311-2387

Адрес издателя и редакции:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,
Томский государственный университет,
редакция журнала «Вестник ТГУ. История»
Телефон 8(382-2)–52-96-67
Факс 8(382-2)–52-98-46
Ответственный секретарь Е.А. Федосов
E-mail: feavestnik@yandex.ru

Editorial Office and Publisher Office address:

TSU Journal Editorial Board, Tomsk State University
34 Lenin Avenue, Tomsk, Russia, 634050
Tel: 8(382-2)–52-96-67
Fax: 8(382-2)–52-98-46
Executive Editor: Egor Fedosov
E-mail: feavestnik@yandex.ru

Издательство:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,
Томский государственный университет,
Издательство Томского государственного университета
Телефон 8(382-2)–52-96-75
E-mail: rio.tsu@mail.ru

Publisher:

Tomsk State University Press,
36 Lenin Avenue, Tomsk, Russia, 634050
Tel: 8(382-2)–52-96-75
E-mail: rio.tsu@mail.ru